ИНТЕГРАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

INTEGRATION OF ARCHAEOLOGIC AND ETHNOGRAPHIC RESEARCH

Алтайский государственный университет
(Россия, Барнаул)

Иркутский государственный технический
университет (Россия, Иркутск)

Омский филиал Института археологии
и этнографии СО РАН (Россия, Омск)

Омский научный центр СО РАН (Россия, Омск)

Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского (Россия, Омск)

Нанкинский университет
(Китайская Народная Республика, Нанкин)

Павлодарский государственный университет
(Казахстан, Павлодар)

Ховдский государственный университет
(Монголия, Ховд)

Altai State University
(Russia, Barnaul)

Irkutsk State Technical University
(Russia, Irkutsk)

Omsk Division of Institute of Archaeology
and Ethnography of the SB RAS (Russia, Omsk)

Omsk Research Center of the SB RAS (Russia, Omsk)

Omsk F. M. Dostoevsky State University
(Russia, Omsk)

Nanjing University
(People's Republic of China, Nanjing)

Pavlodar State University
(Republic of Kazakhstan, Pavlodar)

Khovd University
(Mongolia, Khovd)

Интеграция археологических и этнографических исследований

Сборник научных трудов

Integration of archaeologic and ethnographic research

Collection of Proceedings

Барнаул, Омск
Издательский дом «Наука»

Barnaul, Omsk
Publishing house "Nauka"

2015

УДК 930.26+39
ББК 63.40+63.50
И73

И73 **Интеграция археологических и этнографических исследований** : сборник научных трудов / гл. ред. Н. А. Томилов ; отв. ред. : М. А. Корусенко, А. А. Тишкин, К. Н. Тихомиров, М. Н. Тихомирова, Н. Н. Серегин. – Барнаул ; Омск : Изд. дом «Наука», 2015. – 362 с.

ISBN 978-5-98806-211-0

Сборник научных трудов подготовлен на основе материалов исследователей – участников XXI Международного научного симпозиума «Интеграция археологических и этнографических исследований», проведенного в Барнауле 6–8 октября 2015 г. Симпозиум посвящен 130-летию со дня рождения С. И. Руденко и 200-летию со дня рождения А. Ф. Миддендорфа.

В сборнике представлены работы ученых: археологов, этнологов, антропологов, экологов и других специалистов из Азии, Европы, посвященные изучению проблем интеграции археологических и этнографических исследований по следующему кругу проблем: историографические аспекты взаимодействия археологических и этнографических исследований (личности, авторские подходы, опыт и проблемы интеграции); этноархеологические исследования (источники, методика и теория); проблемы исследования кулайской историко-культурной общности Западной Сибири; научные результаты практических работ в области интеграции археологии, этнографии, других гуманитарных и естественных наук.

Сборник рассчитан на специалистов в области археологии, этнологии, этноархеологии, истории, культурологии и других наук.

This collection of proceedings were assembled from the original scientific research of participants of the 21th International symposium “Integration of Archaeologic and Ethnographic Research”, which took place in Barnaul on October 06–08, 2015. The symposium dedicated to the 130th anniversary of the birth of S. I. Roudenko and 200th anniversary of the birth of A. F. Middendorf.

The proceedings collects the work of archaeologists, ethnologists, anthropologists, ecologists and other experts from Asia, Europe, devoted to studying the problem of how to integrate archaeologic and ethnographic research. The following themes are addressed: Historiographic aspects of interaction of archaeologic and ethnographic research (personalities, original approaches, experience and problems of integration); Ethnoarchaeologic research (sources, methodology and theory); Problems of researching Koulay historical-cultural entity in Western Siberia; Practical research results in the sphere of integration of archaeology, ethnography and other humanities and natural sciences.

The proceedings will be of interest to experts in the field of archaeology, ethnology, ethnoarchaeology, history, cultural science and other sciences.

УДК 930.26+39
ББК 63.40+63.50

Рецензенты:
д-р ист. наук Ю. Ф. Кирюшин, Барнаул;
канд. ист. наук Б. А. Коников, Омск

Редакционная коллегия:
канд. ист. наук М. А. Корусенко (отв. ред.), академик, д-р ист. наук А. П. Деревянко, канд. ист. наук К. Н. Тихомиров (отв. ред.), канд. ист. наук М. Н. Тихомирова (отв. ред., уч. сек.), канд. ист. наук Н. Н. Серегин (отв. ред., уч. сек.), д-р ист. наук Н. А. Томилов (гл. ред.), д-р ист. наук А. А. Тишкин (отв. ред.)

Симпозиум проведен в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 33.1684.2014/К «Алгоритмический анализ динамики социокультурных систем народов Северной Евразии в XVIII–XXI веках»

© Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН, 2015
© Алтайский государственный университет, 2015
© Оформление. ООО «Издательский дом “Наука”», 2015

ISBN 978-5-98806-211-0

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЛИЧНОСТИ, АВТОРСКИЕ ПОДХОДЫ, ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ

Е. В. Бубнель[1], Г. Н. Гарустович[2], А. С. Проценко[1]

Россия, Уфа, [1]Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, [2]Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УГОРСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОЙ ТЕМЫ*

The labour analyzes the “Ugric problem” – the international scientific themes in the history of Eastern Europe. The basis of the source base, sure, archaeological research, but for her are also important data from other disciplines. At the moment, the authors emphasize the fact-interdisciplinary developments – from linguistics-steppe population of the Southern Urals. The presence of characteristic Ugric reservoir in place names, folklore of the indigenous population of the region allows us to strengthen the scientific evidence in order to come closer to understanding the features of the ethnogenesis of the Bashkirs, and the definition of the ancestral home of the Hungarian people.

Реальная суть «угорской проблемы» в отечественной исторической науке связана с определением роли угроязычных этнических групп в этно- и культурогенезе автохтонных народов Южного и Среднего Урала, в первую очередь – башкир (ныне – носителей тюркского языка), и их взаимосвязи с процессом сложения венгров (западных угров). Международный характер научной темы определяются аналитическими разработками венгерских ученых (проблемы этногенеза и этнической истории мадьяр; поиск их прародины; определение пути и времени миграции унгаров в Паннонию; культурные связи венгров и обских угров; вопросы локализации легендарной Magna Hungaria) и их российских коллег в поиске следов былого расселения угров по обе стороны Уральских гор. Основополагающее значение в данном познавательном процессе принадлежит археологии, поскольку именно ее методами возможно выявление памятников древних угров; определение культурно-бытовой и территориальной специфики носителей данной этнической доминанты (причем в исторической перспективе); обоснование хронологических реперов; материальное наполнение содержания нарративов медиевистики.

Однако сейчас нам хотелось бы обратить внимание на наличие целого пласта вспомогательной фактологии, выявленной специалистами других областей знаний, позволяющей дополнить источниковую базу нашей темы новыми материалами. Аналитическая литература по угорской тематике объемна и многогранна, но и «сопредельные» дисциплины дают все больше информации для размышлений. Угорская научная проблема имеет широкий территориальный охват, но мы рассмотрим ее фактологию через призму «башкирских» материалов.

Начнем с данных **топонимики**. Важнейшим показателем проживания угров в лесостепной зоне Предуралья (в центральной части современного расселения башкир) являются древние названия

* Работа выполнена в рамках базовой части Государственного задания на проведение НИР Министерства образования и науки РФ (2014–2016 гг.). Тема НИР «Кочевники Золотой Орды XIII–XV вв. и казачество Урала XVI–XIX вв.: проблемы этно- и социально-культурной преемственности» (проект № 2936).

© Бубнель Е. В., Гарустович Г. Н., Проценко А. С., 2015

гор, рек и озер. В результате историко-лингвистических исследований установлено наличие сразу нескольких хронологических пластов в топонимии Башкортостана. Не считая поздних (славянских), здесь фиксируются индоевропейские (иранские), тюркские, а также названия финно-угорского (пермского, угорского, волжско-финского) происхождения. Исследованиями ученых из Венгрии (Л. Рашоньи, Д. Немета и др.) и нашей страны (Дж. Г. Киекбаева [1956; 1972], Р. Г. Азнагулова [1971], А. К. Матвеева [1961; 1968], Ф. Г. Хисамитдиновой [1988], А. А. Камалова [1994] и др.), приведены многочисленные факты древних номинаций угорского происхождения. По словам А. А. Камалова, финно-угорские названия распространены по всей Республике Башкортостан, однако большинство из них приходится на северные районы республики [1997; см. также: *Камалов*, 2005]. При всем том, что работы Р. З. Шакурова отличаются выраженным «башкироцентризмом» и содержат массу исторических несуразностей, но даже в них признается присутствие «венгерской» топонимии в Башкортостане [*Шакуров*, 1986: 83–135; 1998].

Исследования топонимики восточных районов Республики Татарстан также привели к выявлению лингвистического пласта интересующих нас реалий в ономастике [*Арсланов*, 1993; 1996; 2003–2004]. То же самое можно сказать о территории юга Пермской области [*Мухаева*, 2003: 46–47] и т. д.

К сожалению, лингвистические явления трудно датировать. При этом на примере простых созвучий имеется возможность «подгонки» многих номинаций под нужный автору язык. Скажем, в стремлении «изъять» из истории приуральских угров (Югру) авторы пускаются в пространные рассуждения о неких тюрках-оногурах (не имеющих ни единой археологической привязки); высказывают категорические, но бездоказательные выводы. К примеру, «начало движения протовенгров из зауральских лесостепей на запад случилось никак не позже середины I тыс. до н. э.» [*Напольских*, 2005: 241–242]. Какие материалы подтверждают эту дату и какие памятники имеются в виду, естественно, не сообщается. По причине их отсутствия. Или берется народный термин «чудь», объявляется древним названием какого-либо современного финно-пермского народа [см.: *Белых*, 1996; *Лимеров*, 2009] без учета того, что в Зауралье (там, где никто даже в ретроспекции не локализует финно-пермские этносы) это легендарное название встречается повсеместно («чудские копи» и т. п.).

И сейчас находятся авторы (как правило, неспециалисты в области языкознания), пытающиеся посредством словесных «натяжек» оспаривать принадлежность древних названий к какому-либо не тюркскому языку [см.: *Аминев*, 2008; и др.]. Однако и в таких делах специалисты к процессу манипуляций с буквами подходят куда с большим размахом [см.: *Напольских*, 2001; 2008]. Причины этого коренятся не только в явлениях этнического самолюбования, но и в объективно слабой разработанности научных критериев в российской этнической теории.

Коренные различия башкирского и венгерского языков общеизвестны [*Серебренников*, 1963], хотя определенные фонетические сходства в них не исключаются. Наличие дефиниций финно-угорского происхождения в башкирском языке считается свидетельством древних контактов уралоидных популяций [*Миржанова*, 1971; *Мукимова*, 2014]. Но есть лингвистические категории, споры о семантике и происхождении которых в тюркологии и угроведении не затихают до сих пор. Речь идет о таких фундаментальных архетипах в башкирской этнонимии, как ‘башкорт’ (‘башкурт’), ‘иштяк’ (‘истэк’), а также о параллелях в племенных названиях башкир и мадьяр.

При всем многообразии этимологических характеристик самоназвания башкир, все они опираются на тюркскую лексику. Однако еще Д. М. Данлоп доказывал, что этноним ‘башҡорт’ восходит к формам *beshgur, bashgur*, т. е. «пять племен, пять угров» [*Danlop*, 1954: 34]. Подобная семантика в регионе была поддержана лишь Дж. Г. Киекбаевым, Р. З. Янгузиным [2007: 21] и А. К. Салминым [2014: 157]. Схожую ситуацию мы наблюдаем по отношению к этнониму ‘иштяк’ (т. е. остяк), как башкир называли казахи и другие тюркоязычные соседи. В литературе обычно говорится об употреблении этого термина Наср-ад-дином Рабгузи (XIII – начало XIV в.) и Абу-л-Гази (XVII в.), но не акцентируется внимание на том, что он фигурирует в качестве самоназвания части башкирских племен [*Башкирские шежере*, 1960: 174; *Кузеев*, 1974: 204; см. также: *Рона-Таш*, 1987; *Юсупов*, 2010]. То есть нет оснований считать этноним исключительно внешним.

Не менее важным показателем этнических связей башкирского и венгерского народов считается наличие изоглосс в названиях племенных образований: баш. – юрматы, кесе, еней, юрми; венг. – дьярмат, кэси, йэнеоо [*Nemeth*, 1966; *Немет*, 1971; и др.].

В последние годы появились работы, в которых анализируются башкиро-угорские параллели в **фольклористике**, **религиоведении** и других областях научных знаний [*Котов*, 2005; *Надршина*, 1989; *Бубнель*, 2014; и др.]. То есть процесс накопления фактологии активно продолжается.

Азнагулов Р. Г. Топонимы финно-угорского происхождения в бассейнах рек Самара, Сакмара, Сим // Ономастика Поволжья. – Горький, 1971. – № 2. – С. 238–240.

Аминев З. Г. О некоторых так называемых венгерских топонимах в башкирских землях // Ядкяр. – Уфа, 2008. – № 1. – С. 61–67.

Арсланов Л. Ш. Финны, угры и самодийцы в Восточном Закамье (III в. до н. э. – XIV в. н. э.) / Л. Ш. Арсланов, Е. П. Казаков, К. И. Корепанов. – Елабуга : ЕГПИ, 1993. – 140 с.

Арсланов Л. Ш. Топонимия финно-угро-самодийского происхождения в районах западного Закамья Республики Татарстан // Финно-угроведение. – Йошкар-Ола, 1996. – № 4. – С. 3–20.

Арсланов Л. Ш. Финно-угорские элементы в топонимии Альметьевского района Республики Татарстан // Finno-Ugrica. – Казань, 2003–2004. – № 7–8. – С. 68–71.

Башкирские шежере. – Уфа : Башкнигоиздат, 1960. – 304 с.

Белых С. К. Чудь в этнической истории пермских народов // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. – Сыктывкар, 1996. – Т. 1. – С. 48–51.

Бубнель Е. В. Религиозные верования угров Приуралья в эпоху средневековья / Е. В. Бубнель, А. С. Проценко. – Уфа : Изд-во БГПУ, 2014. – 112 с.

Камалов А. А. Башкирская топонимия. – Уфа : Китап, 1994. – 302 с.

Камалов А. А. Башкирская топонимия (сравнительное и ареальное исследование) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Уфа, 1997. – 61 с.

Камалов А. А. Угорский субстрат в этногенезе башкир // Башкирская филология: история, современность, перспективы / А. А. Камалов, З. Н. Юнусов. – Уфа, 2005. – С. 12–18.

Киекбаев Д. Г. Вопросы башкирской топонимики // Учен. зап. Башкир. гос. пед. ин-та им. К. А. Тимирязева. Сер. Филологическая. – 1956. – Вып. VIII, № 2. – С. 230–247.

Киекбаев Д. Г. Введение в урало-алтайское языкознание. – Уфа : Башкнигоиздат, 1972. – 152 с.

Котов В. Г. О сходстве космогонических мифов у башкир и угров // От древности к новому времени. – Уфа, 2005. – Вып. VII. – С. 92–103.

Кузеев Р. Б. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. – Москва : Наука, 1974. – 576 с.

Лимеров П. Ф. Образ чуди в коми фольклоре // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 2. Гуманитарные науки. – 2009. – № 1–2 (63). – С. 81–90.

Матвеев А. К. Топонимические типы Верхнего и Среднего Прикамья // Отчет Камская (Воткинская) археологическая экспедиция. – Москва, 1961. – Вып. 2. – С. 310–330.

Матвеев А. К. О древнейших местах расселения угорских народов (по данным языка) // Учен. зап. Перм. гос. ун-та. – 1968. – № 191. – С. 136–146.

Миржанова С. Ф. Финно-угорские элементы в говорах башкирского языка // Археология и этнография Башкирии. – Уфа, 1971. – Т. IV. – С. 282–286.

Мукимова Н. А. Финно-угорские заимствования в башкирском языке : дис. ... канд. филол. наук. – Уфа, 2014. – 215 с.

Мухаева З. А. Топонимия территории пермского говора татарского языка (юга Пермской области) : дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 2003. – 257 с.

Надршина Ф. А. Общие мотивы в несказочной прозе тюркских и финно-угорских народов Поволжья и Приуралья // Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. – Москва, 1989. – Т. 1. – С. 346–348.

Напольских В. В. «Угро-самодийцы» в Восточной Европе // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 1 (5). – С. 113–126.

Напольских В. В. Йогра (Ранние обско-угорские-пермские контакты и этнонимия) // Антропологический форум. – Санкт-Петербург, 2005. – № 3. – С. 240–268.

Напольских В. В. Пермско-угорские взаимоотношения по данным языка и проблема границ угорского участия в этнической истории Предуралья // Вопр. археологии Урала.– Екатеринбург ; Сургут, 2008. – Вып. 25. – С. 14–25.

Немет Ю. Ф. Венгерские племенные названия у башкир // Археология и этнография Башкирии. – Уфа, 1971. – Т. IV. – С. 249–262.

Рона-Таш А. Иштек // Башкирская этнонимия. – Уфа, 1987. – С. 45–58.

Салмин А. К. Угорская глава в истории чувашей // ЭО. – 2014. – № 2. – С. 153–166.

Серебренников Б. А. К вопросу о связи башкирского языка с венгерским. Препринт. – Уфа : ИИЯЛ БФАН СССР, 1963. – 36 с.

Хисамитдинова Ф. Г. Угорская субстратная топонимия на -ш/-с в Башкирии // Проблемы древних угров на Южном Урале. – Уфа, 1988. – С. 102–111.

Шакуров Р. З. По следам географических названий. – Уфа : Башкнигоиздат, 1986. – 184 с.

Шакуров Р. З. Историко-стратиграфическое и ареальное исследование башкирской топонимии Южного Урала и Предуралья : дис. ... д-ра филол. наук. – Уфа, 1998. – 81 с.

Юсупов Р. М. К семантике родовой символики башкир и этимологии этнонимов башкорт, иштяк // Городские башкиры. – Уфа, 2010. – С. 28–32.

Янгузин Р. З. Происхождение // Янгузин Р. З., Хисамитдинова Ф. Г. Коренные народы России: башкиры. – Уфа : Китап, 2007. – С. 5–81.

Danlop D. M. The History of the Jewish Khazars. – New York : Princeton University Press, 1954. – 293 p.

Nemeth G. Ungarische Stammesnamen bei den Baschkiren // Acta Orientalia Hungarica. – Budapest, 1966. – XVI (1–2).

С. С. Гаврилов

Россия, Благовещенск, Амурский государственный университет

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В КОНЦЕПЦИИ С. М. ШИРОКОГОРОВА*

The publication is devoted to a transition problem from collecting ethnographic material to its complex method of studying in the concept of the outstanding Russian scientist S. M. Shirokogorov. The scientist insisted on need of mastering the ethnographer collector science which would be a theoretical basis of his activity – ethnology.

Сергей Михайлович Широкогоров – выдающийся русский антрополог, этнограф, лингвист и педагог первой половины XX в., чье имя и научное наследие широко известны в мировой науке. Сергей Михайлович в своих монографиях указывал на необходимость перехода от сбора этнографического материала к его комплексному, с использованием данных этнографии, археологии и антропологии, методу изучения.

К такому выводу выдающийся ученый пришел еще в начале своей научной деятельности. Нет сомнения в том, что в самый начальный период у С. М. Широкогорова преобладали археологические интересы. В МАЭ он регистрировал археологические коллекции, с геологами ездил в археологические экспедиции, стремился совершенствовать свои знания в этой области путем учебы в Археологическом институте. Однако совет В. В. Радлова изучать живую этнографию, снаряжение экспедиций для полевой работы у тунгусо-маньчжурских народностей России и Китая, формирование солидного этнографического материала, особенно по шаманизму, годы нелегких экспедиций, накопление колоссального оригинального полевого материала повлияли на поворот Широкогорова к антропологии. А решение о назначении Сергея Михайловича на должность антрополога поставило окончательную точку в выборе ученого между антропологией и археологией. В то же время говорить о том, что это был выбор, не совсем правильно. Занятия С. М. Широкогорова в петербургский период археологией, антропологией и этнографией не были последовательной сменой увлечений его разными науками. Образование, полученное Широкогоровым в разных гуманитарных высших учебных заведениях Парижа, где давно утвердилась концепция триады этих наук, а также идеи комплексного, с использованием данных этнографии, археологии и антропологии, метода изучения народов, кото-

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, тема «Этнические миграции как фактор цивилизационных взаимодействий и социокультурных трансформаций в Восточной Азии (история и современность)», проект № 14-18-00308.

© Гаврилов С. С., 2015

рой придерживались в Московском университете Д. Н. Анучин, а в Петербургском – Э. Ю. Петри, Ф. К. Волков, С. И. Руденко, естественно, не ставили перед Сергеем Михайловичем вопроса о восприятии данных наук по отдельности. На практике он постепенно, но неуклонно шел к овладению этим триединством. Более того, он склонен был добавить сюда еще лингвистику, фольклористику, философию, биологию.

Комплексный подход лежит в основе всей теории С. М. Широкогорова. Слово «комплекс», по мнению ученого, является адекватным выражением целостности и сложности изучаемых систем. Так, исходя из данного определения, понятие «социальная организация» – «…это комплекс этнографических элементов, регулирующих функционирование общества как постоянного конгломерата людей, образующих, в свою очередь, комплекс с определенным внутренним равновесием, которое дает возможность этнической единице воспроизводить себя, сохранять экономическую систему, материальную культуру, умственную и психическую деятельность, т. е. обеспечивать непрерывность существования этнической единицы в ее целостности» [*Shirokogoroff*, 1929: 5]. Через понятие «комплекс» Сергеем Михайловичем определяются и этнос, и психологическая сфера, и шаманизм.

Целостность, системность комплексного подхода С. М. Широкогоров считал одним из главных принципов научного исследования. По этому поводу в своем фундаментальном труде “Psychomental complex of the Tungus” ученый пишет: «Материальная культура, социальная организация и психоментальный комплекс образуют сбалансированную систему, каждый элемент который тесно прилажен к другому и взятые все вместе взаимодействуют между собой» [*Shirokogoroff*, 1935: 1].

Подчеркивая сложный характер этносоциальной, духовной и материальной культуры, образующей некую систему, С. М. Широкогоров отмечает, что и отдельные составляющие этой системы тоже носят системный характер, и изменение одного элемента в них приводит к изменению всей системы.

Идея комплексного метода изучения этнографического материала затрагивала давно волновавшую С. М. Широкогорова проблему соотношения наук, занимающихся исследованием человека и этноса в разных аспектах, т. е. антропологии, этнографии, этнологии и истории. Обращаясь к этой проблеме на различных этапах своей жизни, в результате ученый окончательно оформил свои взгляды во введении к книге “Psychomental complex of the Tungus” [*Shirokogoroff*, 1935: I–X].

Сергей Михайлович, не принижая значения собирания материалов и отмечая блестящее прошлое антропологии и этнографии, выступал против «мании собирательства» и настаивал на необходимости овладения этнографом-собирателем наукой, которая была бы теоретической основой его деятельности. Такую науку ученый называл этнологией. Этнология, по мнению ученого, как раз та наука, в основе которой должен лежать комплексный метод. Этнография у Широкогорова, вооружившись современными теоретическими знаниями, описывает и анализирует «живые» комплексы в их историческом и функциональном аспектах. Поэтому она близка к историческим дисциплинам, а также наукам, занимающимся изучением культуры. Задача этнографии, как считает ученый, в изучении культурной адаптации этносов. Этнограф, вскрывая внутренние механизмы действия того или иного комплекса культур, должен понять причины функционирования этих механизмов, которые иногда находятся вне сферы культуры, т. е. заключены в человеческой природе, географической среде, историческом развитии. Установить же связь между физическими условиями существования человека и культурной адаптацией, происходящей в этнической среде, под силу, по мнению Широкогорова, только этнологии. Поэтому этнологию Сергей Михайлович определяет как науку, изучающую общие процессы изменений, происходящих с этносом, и помещает ее в самом центре предложенной им схемы классификации наук [*Shirokogoroff*, 1935: I–X].

Первоначальное отнесение физической антропологии С. М. Широкогоровым к ответвлению зоологии в результате его практической деятельности и корректив изменяется на отнесение ее к этнологии. В работах по антропологии ученый показал, что физические, физиологические, умственные, психические и биологические процессы протекают в этносе очень медленно, быстрые же изменения могут нарушить этническое равновесие [*Shirokogoroff*, 1925: 21].

Непременным условием этнографического исследования Широкогоров считал знание языка изучаемого народа. Будучи знатоком различных диалектов эвенкийского (тунгусского) языка и имея склонность и вкус к теоретической лингвистике, Сергей Михайлович написал несколько статей сугубо лингвистического характера, стал составителем тунгусско-русского и русско-тунгусского словарей, изданных в Японии уже после смерти ученого [*Shirokogoroff*, 1944].

Определяя этнологию как комплексную дисциплину, С. М. Широкогоров и лингвистические проблемы не отделял от этнографических. Именно поэтому он включился в возникшую еще

в 1920-е гг. дискуссию по алтайской теории языков или теории родства тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и, возможно, корейского языков. Для подтверждения своих взглядов широко привлекались материалы различных тунгусских языков. На этой теории основана гипотеза о генеалогической связи народов, говорящих на этих языках [*Ревуненкова*, 2003: 100–119].

С. М. Широкогоров в статье о терминах ориентации у северных тунгусов, в книге о социальной организации тунгусов и в специальной книге, посвященной урало-алтайской гипотезе показал неубедительность ссылки на тунгусские языки с точки зрения реально существующего живого эвенкийского материала [*Shirokogoroff*, 1928: 167–187; 1929: 359–361; 1931: 89–198]. Ученый отмечал случайность свидетельствующих в пользу урало-алтайской гипотезы примеров, приводимых исследователями, а также и то, что эти примеры не отражают действительного распределения лексем и значений как в диалектах эвенкийского языка, так и в других тунгусо-маньчжурских языках и диалектах. Он показал и сложность в различении исконно тунгусского слова от древних монгольских заимствований. Различия между тунгусскими и другими языками выделяемой алтайской семьи настолько велики, что, с точки зрения Широкогорова, целесообразнее говорить о существовании отдельной независимой тунгусской языковой семьи, которая подверглась сильному влиянию монгольских языков. Свой окончательный вывод Широкогоров формулирует так: пока не реконструированы пратунгусский, прамонгольский и пратюркский языки, вряд ли возможно выделять общий алтайский праязык. Историко-аналитический подход к развитию тунгусского языка и этноса Широкогорова воспринимается вполне современным и по сей день [*Ревуненкова*, 2003: 100–119].

Нецелесообразными с точки зрения комплексного подхода С. М. Широкогоров считал начинания, организованные советской властью в 1930-е гг., по созданию письменности и литературного языка у тунгусов [*Shirokogoroff*, 1991: 35–66; *Широкогоров*, 1995: 132–159]. Неодобрение ученого было связано с тем, что начинание не исходило из внутренних культурных потребностей самих тунгусов. Будучи знатоком эвенкийского (тунгусского) языка, он не мог не видеть, что созданный литературный язык тунгусов оказался искусственным, упрощенным, детским, а значит, не имеющим ни научной ценности, ни будущего. Современные исследователи в целом соглашаются с таким видением Широкогорова. Так называемый литературный язык эвенков (тунгусов) действительно оказался нежизнеспособен [*Бурыкин*, 2001: 12–17].

В своем большом труде под названием «Этнология» С. М. Широкогоров представил в законченном виде собственную методологию этнографии как комплексной науки, существующей независимо от смежных с нею наук, таких как история, социология, биология, география и т. д. В этом труде, который он практически завершил, но не успел довести до публикации, автор уделил особое внимание и проблеме межэтнического давления, которую он разрабатывал еще во времена своих первых полевых исследований. Обращение к этим идеям С. М. Широкогорова весьма целесообразно и актуально и в современных условиях, при изучении природы современных этнических конфликтов [*Ревуненкова*, 2003: 100–119].

Таким образом, комплексный метод изучения этнографического материала в концепции С. М. Широкогорова представляет собой целостный, системный, с использованием данных этнографии, археологии, антропологии, лингвистики, фольклористики, философии и биологии, метод изучения народов. Данным методом, по мнению ученого, должна обладать этнология, которую он помещает в самом центре предложенной им схемы классификации наук.

Бурыкин А. А. Лингвистические взгляды С. М. Широкогорова и общие проблемы литературных языков малочисленных народов севера России в 30–90-е годы XX века // Широкогоровские чтения. – Владивосток, 2001. – С. 12–17.

Ревуненкова Е. В. Сергей Михайлович Широкогоров / Е. В. Ревуненкова, А. М. Решетов // ЭО. – 2003. – № 3. – С. 100–119.

Широкогоров С. М. Тунгусский литературный язык // Краеведческий бюллетень. – Южно-Сахалинск, 1995. – № 1. – С. 132–159.

Shirokogoroff S. M. Process of Physical Growth among the Chinese. Vol. I. The Chinese of Chekiang and Kiangsu: measured by Dr. V. Appleton. – Shanghai : The Commercial Press. 1925. – 137 p.

Shirokogoroff S. M. Northern Tungus Terms of Orientation // Rocznik Orientalist yczny. – Lwow, 1928. – Vol. IV. – P. 167–187.

Shirokogoroff S. M. Social organization of the Northern Tungus (with introductory chapters concerning geographical distribution and history of this group). – Shanghai : The Commercial Press, 1929. – 427 p.

Shirokogoroff S. M. Ethnological and linguistical aspects of the Uralo-Altaic hypothesis. – Peiping : The Commercial Press, 1931. – 198 p.

Shirokogoroff S. M. Psychomental complex of the Tungus. – London : Kegan Paul, Trench, Trubner& Co, 1935. – 469 p.

Shirokogoroff S. M. A Tungus dictionary. Tungus-Russian and Russian-Tungus, photogravured from manuscript. – Tokyo : The Minzokugaku Kyokai (The Ethnological Society of Japan), 1944. – 258 p.

Shirokogoroff S. M. Tungus Literary Language // Asian Folklore Studies. – Nagoya, 1991. – Vol. L. – P. 35–66.

Г. Н. Гарустович

Россия, Уфа, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С. И. РУДЕНКО В ВОЛГО-УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

This article is concerned with analyses of S. I. Rudenko's archeological works dealing with the Uralo-Povolzhye region in the first half of the 20th century, the period when he started his research activity. His field research was stopped by Stalinist purges. S. I. Rudenko's articles and monographs are of great value for the modern local historical science.

Сергей Иванович Руденко (16(28).01.1885, Харьков – 16.07.1969, Ленинград) широко известен на Южном Урале как выдающийся историк и автор фундаментальных монографий по этнографии башкирского народа [*Руденко*, 1916; 1925; 1955]. Археологические работы исследователя в регионе пока еще мало известны, на них мы и хотим обратить внимание.

В 1915 г. в Оренбурге побывал М. И. Ростовцев, где в то время проживали его родители. Ученого заинтересовали материалы раскопок Прохоровских курганов, собранные сотрудниками Оренбургской ученой архивной комиссии (ОУАК). Российским историком были изучены коллекции из Оренбургского музея, а впоследствии с помощью приват-доцента Петербургского университета С. И. Руденко им организуется экспедиционный выезд в район д. Прохоровки (Шарлыкский район Оренбургской области). Там исследовались курганы раннего железного века, изучение которых привело к выделению прохоровской археологической культуры (IV–II вв. до н. э.). С этого времени степные уральские древности становятся самостоятельной познавательной темой в российской исторической науке.

Важным итогом данных исследований стало издание М. И. Ростовцевым книги «Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма» [*Ростовцев*, 1918; см. также: *Труды*..., 1913: 59–60]. Один из разделов данной монографии был написан С. И. Руденко. Академик Ростовцев в предисловии к своей книге благодарят за содействие А. А. Спицына, А. В. Попова (председателя ОУАК), С. И. Руденко, В. Я. Толмачева (одного из первых профессиональных уральских археологов) и др. [*Ростовцев*, 1918: I–II].

В начале века, помимо расширения этнографических и археологических исследований, в регионе возрастает интерес к антропологии башкир. Еще в конце XIX в. начинаются раскопки заброшенных башкирских кладбищ (Ф. Д. Нефедов, Н. М. Малиев, Д. П. Никольский и др.) с целью получения краниологических коллекций [*Абрамов*, 1907; *Никольский*, 1899]. Конечно, дореволюционные исследователи (большей частью – местные врачи) не смогли решить сложные вопросы этногенеза башкир, но они хотя бы начали движение в сторону решения этих проблем. Вершиной изучения этнографических и антропологических реалий башкирского народа в начале XX в. следует считать монографию С. И. Руденко «Башкиры», изданную еще до революции, но не утратившую своего научного значения до наших дней [*Руденко*, 1916].

Таким образом, уже в дореволюционный период исследователь получает известность в стране не только как этнолог-аналитик, но и как профессиональный археолог. На примере научной деятель-

© Гарустович Г. Н., 2015

ности С. И. Руденко на Южном Урале можно проиллюстрировать выводы историографов о том, что в рамках краеведческого этапа регионального исторического познания в начале XX в. происходит постепенное усиление профессиональной составляющей – сначала за счет приезжих специалистов (таких как С. И. Руденко), а затем уже и на основе подготовки местных кадров.

Полевые исследования С. И. Руденко в Волго-Уральском регионе возобновились вскоре после завершения Гражданской войны, причем он все чаще выступает в них как организатор науки. «По традиции», Сергей Иванович приступает к работам в одной из самых слабо изученных областей нашей страны: речь идет о территории Западного Казахстана.

В начале 1926 г. Совет народных комиссаров Казахской АССР обратился в Особый комитет по изучению союзных и автономных республик и областей (ОКИСАР) Академии наук СССР с просьбой о проведении на ее территории комплексных экспедиционных исследований. Эта экспедиция работала по инициативе Наркомзема республики [*Ферсман*, 1929: 13, 29; и др.]. В 1926 г. Академия наук Казахстана формирует Антропологический отряд для работы в западных областях. Имея своей главной задачей антропологические исследования в Актюбинском районе, отряд также проводил археологические поиски. Руководство отрядом было возложено на С. И. Руденко, а в его составе работал М. П. Грязнов, нацеленный на «выяснение культурного прошлого Казахстана». Грязнов провел разведку к западу от Орска в пределах северной части Актюбинской области [*Грязнов*, 1927: 218]. Материалы полевых исследований публиковались на страницах серийного издания «Казаки» (под ред. С. И. Руденко). Прекращение и без того малого финансирования привело к свертыванию успешно начавшихся полевых работ [см.: *Руденко*, 1927а: 7–59; 1927б: 83–134]. Отметим, что исследования на Урале и в Западном Казахстане ученый успевал совмещать с экспедиционными выездами в другие удаленные районы страны (Западная Сибирь, Алтай). А в 1927 г. возникает еще один перспективный научный проект.

Еще во второй половине 20-х гг. XX в. правительственные органы союзных и автономных республик неоднократно обращались в Академию наук с предложениями об организации научных учреждений в регионах. Президиум АН СССР принимает постановление о создании ряда комплексных баз Академии наук и сети специальных исследовательских станций [*Кольцов*, 1988: 81–86]. Небольшая научная группа в Казахстане получила звучное наименование «Казахстанская комплексная экспедиция», а в 1928 г. свои исследования развертывает Комплексная Башкирская экспедиция (КБЭ) [*Ферсман*, 1929: 2–5]. В сентябре 1927 г. правительство Башкирской АССР обратилось в ОКИСАР с предложением провести всестороннее обследование территории республики. В Уфе при участии академика А. Е. Ферсмана на совещании ответственных и научных работников был намечен план изучения ресурсов республики на ближайшие 5 лет. В Академии наук была создана Комиссия по исследованию Башкирской АССР под председательством С. И. Руденко [*Ферсман*, 1929: 12–13]. В рамках КБЭ планировались создание антропологического (археологического) отряда, который должен был возглавить сам Сергей Иванович.

Он выступил с докладом «О комплексном изучении Башкирии» на заседании краеведческого Общества по изучению Башкирии, где сформулировал основные задачи антропологических и археологических исследований в республике. Нехватка средств на раскопки и отсутствие местных специалистов вынудили С. И. Руденко попытаться привлечь для работы на Южном Урале сотрудников ГАИМК, в первую очередь А. В. Шмидта. В 1927 г. Шмидт, возглавлявший отряд Уральской археологической экспедиции АН СССР, раскапывает интересные курганные захоронения эпохи средневековья в Зауральской Башкирии (всего 3 кургана) и обследует несколько заброшенных башкирских кладбищ на северо-востоке республики (Тамьян-Катайский кантон). Сам С. И. Руденко вскрыл курганные захоронения эпохи бронзы в Аргаяшском кантоне у с. Нурбаково (ныне – Челябинская обл.; материалы не опубликованы). Он планировал постепенное расширение работ КБЭ, но жизнь внесла в эти планы свои коррективы. Археологический отряд Башкирской комплексной экспедиции в 1928 г. возглавлял уже не Руденко, а Шмидт. Но и полевые работы исследователя в Башкортостане продолжались лишь один год, и прекратились они из-за обычной нехватки средств.

В это время в ГАИМК и в Русском музее поднимается мутная волна травли многих археологов [*Таланов*, 1932: 76–78]; репрессированы были С. А. Теплоухов, М. П. Грязнов, А. А. Миллер и др. В начале 30-х гг. разгрому подверглось так называемое палеоэтнологическое направление в археологии [*Формозов*, 1995: 228–229]. Из Ленинградского университета, где Руденко еще в 1921 г. получил звание профессора, его выгнали в 1929 г. Через год по так называемому «Академическому делу» заместитель директора Русского музея получает 10 лет. В его судьбе весьма негативную роль сыгра-

ли не только отдельные представители ГАИМК, но и один из казанских археологов – М. Г. Худяков, который лишь в 1929 г. окончил аспирантуру. Худяков очень быстро добился расположения С. Н. Быковского [о нем см.: *Формозов*, 1993: 76–81] и занялся публичным разносом «руденковщины» [*Худяков*, 1931: 167–169]. Арестованному в Уфе ученому «припомнили» все: и дворянское происхождение, и жизнь в Западной Сибири при Колчаке. В результате Руденко оказался на строительстве Беломорско-Балтийского канала [*Кузьминых*, 1995: 165].

Сергей Иванович «был арестован после возвращения из экспедиции на Алтай, где вел раскопки Пазырыка... Но приступить к обработке материалов экспедиции ученому довелось лишь через 17–20 лет, когда он вернулся в Ленинград» [*Формозов*, 1993: 75]. После отбытия срока профессор в нашем регионе больше не работал, хотя его научные связи с Башкирией все же не прерывались [*Руденко*, 1973: 17–31].

Сталинские репрессии не согнули выдающегося ученого, он сумел вынести все выпавшие на его долю трудности. Известен его вклад в разработку эскимосской проблемы. А в 1942 г. С. И. Руденко занимает должность старшего научного сотрудника Института археологии АН СССР; в 1945 г. ему присвоено звание доктора технических наук. В звании профессора Ленинградского университета он также был восстановлен и работал в университете до 1954 г. Труды профессора Руденко оказали определяющее влияние на формирование исторических взглядов знаменитого отечественного кочевниковеда – Л. Н. Гумилева, а также других молодых ученых [*Массон*, 1965: 233–234]. Особое научное значение имеют его исследования памятников древней культуры Горного Алтая (1947–1950 и 1954 гг.; Пазырыкские курганы и др.), Монголии (Ноин-Ула) и аналитические работы по изучению номадизма степей Евразии. В современном Башкортостане и сейчас переиздаются труды исследователя [*Руденко*, 2007], и ни одно серьезное историческое сочинение не обходится без упоминания его имени, использования его полевых материалов и аналитической теории.

Абрамов А. Н. Башкиры // Русский антропологический журнал. – 1907. – № 3–4. – С. 1–55.

Грязнов М. П. Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане // Казаки. Антропологические очерки. – Ленинград, 1927. – Вып. II. – С. 179–221.

Кольцов А. В. Роль Академии наук в организации региональных научных центров СССР (1917–1961 гг.). – Ленинград : Наука, ЛО, 1988. – 261 с.

Кузьминых С. В. Ленинградские годы в жизненном и творческом пути М. Г. Худякова / С. В. Кузьминых, В. И. Старостин // Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. – Санкт-Петербург, 1995. – С. 157–172.

Массон В. М. К 80-летию С. И. Руденко // СА. – 1965. – № 4. – С. 233–239.

Никольский Д. П. Башкиры: этнографическое и санитарно-антропологическое исследование. – Санкт-Петербург : Тип. П. П. Сойкина, 1899. – 377 с.

Ростовцев М. И. Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма. – Петроград : Девятая государственная типография, 1918. – 190 с. – (Материалы по археологии России, издаваемые ИАК; № 37).

Руденко С. И. Башкиры: опыт этнологической монографии. Ч. 1. Физический тип башкир. – Петроград : Тип. «Якорь», 1916. – 312 с. – (Зап. ИРГО по отделению этнографии ; т. 43, вып. 1).

Руденко С. И. Башкиры: опыт этнологической монографии. Ч. 2. Быт башкир. – Ленинград : Гос. тип. им. И. Федорова, 1925. – 330 с. – (Зап. РГО ; т. 43, вып. 2).

Руденко С. И. Антропологические особенности западных казаков // МОКИСАР. – Ленинград, 1927а. – Вып. 3. – С. 7–59.

Руденко С. И. Очерк быта казаков бассейна рек Уила и Сагыза // МОКИСАР. – Ленинград, 1927б. – Вып. 11. – С. 83–134.

Руденко С. И. Башкиры: историко-этнографические очерки. – Москва ; Лениград : Изд-во АН СССР, 1955. – 394 с.

Руденко С. И. Башкирские сказки и поверья // Археология и этнографии Башкирии. – Уфа, 1973. – Т. 5. – С. 17–31.

Руденко С. И. Башкиры: историко-этнографические очерки. – Уфа : Китап, 2007. – 376 с.

Таланов Н. В Русском музее // Сообщения Государственной академии истории материальной культуры. – 1932. – № 3–4. – С. 76–78.

Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. – Оренбург : Типолитография губернского правления, 1913. – Вып. 29. – 239 с.

Ферсман А. Е. Экспедиционная деятельность Академии наук СССР и ее задачи. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1929. – 38 с.

Формозов А. А. Археология и идеология (20-30-е годы) // Вопр. философии. – 1993. – № 2. – С. 70–82.

Формозов А. А. О книге Л. С. Клейна «Феномен советской археологии» и о самом феномене // РА. – 1995. – № 3. – С. 225–232.

Худяков М. Г. Критическая проработка руденковщины // СЭ. – 1931. – № 1–2. – С. 167–169.

Т. Н. Глушкова, А. Р. Мухьярова

Россия, Сургут, государственный педагогический университет

РОЛЬ С. И. РУДЕНКО В ИЗУЧЕНИИ ТЕКСТИЛЯ И КОСТЮМА РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЯ И МОНГОЛИИ

This article represented the main aspects research activity of S. I. Rudenko in sphere of textile and Altay's and Mongolian's people costume. The archaeological researches were made great information for reconstruction material culture of Altai and Mongolian's people by S. I. Rudenko. His researches were a great example high quality of interpretation archaeological materials and made on this base historical reconstruction.

Имя С. И. Руденко связано с раскопками и исследованиями археологических памятников раннего железного века на Алтае. Его специальные работы, написанные по этим материалам, до сих пор не потеряли своей актуальности.

На Алтае расцвет раннего железного века связан с памятниками, объединенными в пазырыкскую археологическую культуру скифского типа VI–III вв. до н. э. [*Соенов*, 2013].

Исследование пазырыкских памятников началось в XIX в. К настоящему времени на Алтае известны сотни памятников этой археологической культуры: курганные захоронения, ритуальные и поминальные сооружения, петроглифы, остатки поселений и т. д. К более позднему времени относится могильник Ноин-Ула в Монголии. Из них наиболее знаменитыми объектами являются курганы.

Среди объектов особое место занимают большие курганы знати с мерзлотой (или ее остатками) на могильниках Ак-Алаха-1 и 3, Аржан I и II, Башадар, Берел, Катанда, Ноин-Ула, Пазырык, Туекта, Шибе и т. д., которые имеют каменные насыпи диаметром несколько десятков метров. Они изучались экспедициями В. В. Радлова, П. К. Козлова, М. П. Грязнова, С. В. Киселева, С. И. Руденко, А. А. Гавриловой, С. С. Сорокина, В. Д. Кубарева, Н. В. Полосьмак, В. И. Молодина, З. С. Самашева и др.

Раскопки С. И. Руденко «царских» курганов в Пазырыке, Башадаре, Туэкте и др. дали исключительный по обилию, разнообразию и научной ценности материал, освещающий все стороны жизни кочевников скифского времени. В деталях исследованы погребальные сооружения, мумифицированные тела и скелеты погребенных; трупы и скелеты лошадей. Подробно изучены многочисленные предметы одежды и украшений, разнообразные ткани, предметы домашней утвари, искусства и культа, многочисленные предметы конской упряжи [*Руденко*; 1948; 1950а; 1951а; 1951б; 1952б; 1957; 1958; 1967б]. Помимо огромного количества находок, свидетельствующих об оригинальной блестящей местной культуре, в Пазырыкских курганах были впервые найдены древнейшие переднеазиатские и китайские ткани и ковры чрезвычайно высокой исторической и художественной ценности [*Руденко*, 1949; 1952а; 1961; 1968; 1976]. Раскопки ноин-улинских курганов дали столь же уникальные материалы для детального изучения текстиля и костюма более позднего времени [*Руденко*, 1962; 1967а].

Экспедиции Русского музея, осуществляемые под его руководством в 1920-е гг., носили комплексный характер. Однако именно изучение древних памятников Горного Алтая, которыми он столь

© Глушкова Т. Н., Мухьярова А. Р., 2015

богат, стали определяющими в научных интересах С. И. Руденко в последующее время. Раскопанные в ходе экспедиций 1920-х гг. археологические памятники относились к различным эпохам и представляли собой разные погребальные и поминальные сооружения.

В течение ряда лет (с 1947 по 1954 г.) он исследовал различные артефакты в хронологическом диапазоне от эпохи палеолита до средневековья. Наибольший интерес у ученого вызвали уникальные памятники скифской эпохи Горного Алтая, которые открыли яркую культуру кочевого общества скифской эпохи [*Руденко*, 1950б; 1953].

Исследования в Ноин-Уле привлекли широкое внимание ученых к памятникам II в. до н. э. – V в. н. э. В конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. публикуются аналитические статьи и обобщающие труды, посвященные материалам из Ноин-Улы.

Важным достижением для исследователя стали не только теоретические разработки по социальной структуре, но и планомерное изучение некоторых аспектов материальной культуры пазырыкского населения Алтая, прежде всего определение основного костюмного комплекса из «царских» погребений. Для анализа одежды С. И. Руденко опирался на разные группы источников: археологические, письменные, изобразительные и этнографические, что свидетельствует об использовании ученым комплексного подхода.

Помимо изучения материальной культуры кочевников «скифского» времени, ученый уделял особое внимание рассмотрению культуры кочевников «гунно-сарматского» времени, в частности хунну [*Усова*, 2010]. Известным научным трудом исследователя стала монография «Культура хуннов и Ноинулинские курганы» [*Руденко*, 1962]. Наибольший интерес вызывает глава, посвященная обзору хуннского костюма из погребений Ноин-Улы на территории Северной Монголии. Автором отмечено, что большинство предметов одежды были собственного производства, хотя по существу мало отличались как от скифо-сакской, так и от сарматской одежды.

Ткани из раскопок С. И. Руденко, а затем и ноин-улинские подробно изучались и описывались специалистами по древнему текстилю, начавшими свою работу еще в 1920–1930-е гг. в Институте древних технологий – А. А. Воскресенским, Н. П. Тихоновым, В. Н. Кононовым, а также А. С. Верховской [*Руденко*, 1968]. Шелковый текстиль из раскопок, проводимых на Алтае, в это время и позже изучался исследователем из Эрмитажа Е. И. Лубо-Лесниченко [*Лубо-Лесниченко*, 1957; и др.].

Исследователи древнего текстиля определили его технологические характеристики, на которые С. И. Руденко опирался в процессе анализа археологических источников. Изучение этих материалов позволило утверждать о том, что у пазырыкцев были тесные связи со странами Передней Азии и Китая.

Для анализа одежды С. И. Руденко применял комплексный подход, суть которого состоит в опоре на археологические, этнографические, изобразительные и письменные материалы. Он писал: «Об одежде скифо-саков до раскопок Пазырыкских курганов мы имели представление по изображениям скифов на сосудах и других изделиях из ценных металлов греческой работы, по изображениям саков на персидских барельефах ахеменидского времени и по двум одеждам, найденным в Котандинском кургане Горного Алтая. …Подлинные одежды, впервые обнаруженные в оледенелых курганах Горного Алтая, существенно дополняют наши сведения о скифо-сакской одежде» [*Руденко*, 1951б: 127].

При рассмотрении некоторых элементов костюма из курганов скифского времени (головные уборы, кафтан, штаны) С. И. Руденко проводит аналогии с костюмами скифов Причерноморья, саков Казахстана и народов Передней и Средней Азии [*Руденко*, 1960; 1961]. Изучая одежду и текстильные материалы, он пришел к выводу, что более крепкими были связи с Передней Азией, у хунну – с эллинистическим миром и Китаем.

Выводы, полученные С. И. Руденко при изучении пазырыкских и хуннских памятников, стали настоящим прорывом в изучении раннего железного века в СССР. Их характеризуют такие признаки, как тщательность проработки информации разного рода, доказательность выводов, широта интерпретаций, включенность результатов исследования в общую характеристику процессов и тенденций исторического развития региона в этот период, достоверность сделанных реконструкций, их жизнеспособность до сегодняшнего дня. Последующие и современные исследователи, как правило, базируются на полученных им результатах, располагая серьезной базой конкретно-исторического материала и методическим арсеналом исследователя.

Тщательность публикации материала (текстовое описание, табличный материал, иллюстративные ряды в каждой работе) позволяет точно понять логику самого исследования и оценить достоверность реконструкций и обоснованность полученных выводов. Тщательность и обоснованность реконструкций можно объяснить и обращением к технологическим аспектам исследовательской прак-

тики. Думается, что С. И. Руденко вполне отдавал себе отчет в том, что материалы, которые он изучал и публиковал, являются поистине уникальными. Об этом свидетельствует одно только название его работ: «Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая» [*Руденко*, 1968], «Культура населения Горного Алтая в скифское время и ее связи с культурами Азии и Китая» [*Руденко*, 1960], «Скифская проблема и алтайские находки» [*Руденко*, 1996] и др.

Прекрасный язык, отточенная логика текста, его четкая структура, обобщение информации при усиленном внимании к деталям, полученным при изучении исторических источников, привлекают внимание специалистов и всех интересующихся подобной проблематикой и делают его работы доступными для разных категорий населения.

Таким образом, исследования текстиля и одежды, оставленные нам одним из крупнейших специалистов в области археологии и этнографии Евразии Сергеем Ивановичем Руденко, задают высокую планку для его последователей, стремление к которой позволяет качественно выполнять работы, продолжающие заложенные традиции.

Лубо-Лесниченко Е. И. Символическое значение орнамента ноин-улинской ткани МР 1330 // СГЭ. – 1957. – Вып. XII. – С. 50–52.

Руденко С. И. Второй Пазырыкский курган: результаты работ экспедиции ИИМК АН СССР в 1947 г. Предварительное сообщение. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1948. – 64 с.

Руденко С. И. Искусство скифов Алтая / С. И. Руденко, Н. М. Руденко. – Москва : Изд-во ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1949. – 90 с.

Руденко С. И. К древнейшей истории Горного Алтая: Горноалтайская экспедиция ИИМК АН СССР 1949 г. // ВИ. – 1950а. – № 2. – С. 155–159.

Руденко С. И. Раскопки Пазырыкской группы курганов // КСИИМК. – 1950б. – Вып. 32. – С. 11–25.

Руденко С. И. Пятый Пазырыкский курган // КСИИМК. – 1951а. – Вып. 37. – С. 106–116.

Руденко С. И. Сокровища Пазырыкских курганов // По следам древних культур. – Москва, 1951б. – С. 113–142.

Руденко С. И. Горноалтайские находки и скифы. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952а. – 268 с.

Руденко С. И. Башадарские курганы // КСИИМК. – 1952б. – Вып. 45. – С. 30–39.

Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – Москва ; Лениград : Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

Руденко С. И. К вопросу о датировке и историко-культурной оценке горноалтайских находок // СА. – 1957. – Т. 27. – С. 301–306.

Руденко С. И. О чем поведали курганы // Наука и жизнь. – 1958. – № 10. – С. 23–25.

Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время и ее связи с культурами Азии и Китая // Научная конференция по истории Сибири и Дальнего Востока. Секция археологии, этнографии, антропологии и истории Сибири и Дальнего Востока дооктябрьского периода : докл. – Иркутск, 1960. – С. 45–46.

Руденко С. И. Искусство Алтая и Передней Азии (середина I тыс. до н. э.). – Москва : Изд-во вост. лит., 1961. – 68 с.

Руденко С. И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 205 с.

Руденко С. И. Ноин-Ула // Советская историческая энциклопедия. – Москва, 1967а. – Т. 10. – Стб. 301.

Руденко С. И. Пазырык // Советская историческая энциклопедия. – Москва, 1967б. – Т. 10. – Стб. 723–724.

Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая. – Москва : Искусство, 1968. – 136 с.

Руденко С. И. Искусство Алтая и Южной Сибири в скифское время // История искусства народов СССР. – Москва, 1976. – Т. 1. – С. 255–275.

Руденко С. И. Скифская проблема и алтайские находки // Антология советской археологии (1941–1956). – Москва, 1996. – Т. III. – С. 126–132.

Соенов В. И. Пазырыкские курганы в контексте современных проблем сохранения археологических памятников Алтая // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 9. – URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/09/26490 (дата обращения: 20.02.2015).

Усова И. А. Изучение костюма народов Центральной Азии поздней Древности и раннего Средневековья // Изв. АлтГУ. – 2010. – № 4–1. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-kostyuma-narodov-tsentralnoy-azii-pozdney-drevnosti-i-rannego-srednevekovya (дата обращения: 27.02.2015).

П. К. Дашковский

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ТВОРЧЕСТВЕ С. Г. КЛЯШТОРНОГО*

The article presents a historiographical analysis of the concept of S. G. Klyashtorniy concerning the reconstruction of religious and mythological beliefs of Turkic peoples of Central Asia in the middle Ages. Special attention is paid to the fact that the scientist considering the subject, on the one hand, relied on the source study research of medieval written sources, on the other hand took into account the ethnographic data on the Turkic-speaking peoples generalized by other scientists. In this case, S. G. Klyashtorniy pointed to the significance of genetic and cultural continuity in the realization of the historical and ethnographic approach.

В развитие отечественной номадологии во второй половине XX – начале XXI в. огромный вклад внес С. Г. Кляшторный, который скончался в сентябре 2014 г. Исследование научного наследия ученого еще только предстоит провести, хотя отдельные моменты его концепции уже получили историографическую оценку [*Васютин, Дашковский*, 2009; *Дашковский*, 2011]. В данном случае остановимся только на небольшом аспекте творчества этого выдающегося тюрколога, связанном с рассмотрением вопроса религиозно-мифологического развития тюркских племен в контексте этнополитической истории Средней и Центральной Азии. Такой целостный подход к изучению номадов нашел отражение в многочисленных статьях и монографиях С. Г. Кляшторного, часть из которых подготовлена и в разное время опубликована в соавторстве с другими учеными.

Рассматривая мировоззрение тюркоязычных народов Центральной Азии, С. Г. Кляшторный пытался изучить две крупные проблемы: особенности религиозно-мифологической картины мира тюрок и знакомство кочевников с прозелитарными религиями в эпоху средневековья.

В 1970–1980-е гг. С. Г. Кляшторный опубликовал несколько статей, в которых в рамках историко-этнографического подхода попытался представить основные особенности религиозно-мифологической системы кочевников. Исследователь детально проанализировал рунические надписи, сведения китайских хроник, византийских историков, а также этнографические и археологические данные, что позволило ему прийти к следующим выводам.

Прежде всего С. Г. Кляшторный [1981: 120] предложил выделить шесть мифологических сюжетов, которые группируются в три мифологических цикла. Первый цикл представляет собой космологические и космогонические мифы, которые включают повествования о сотворении вселенной и космической катастрофе. Во втором цикле, посвященном тюркскому пантеону и обществу, повествуется о богах, а также о божественном сотворении государства и небесном рождении каганов. Наконец, третья группа мифов, носящая этногонический и генеалогический характер, включает повествования о происхождении народа – племени тюрок и деятельности первопредков – культурных героев. Отдельное внимание исследователь уделил реконструкции представлений о времени и пространстве, обусловленных как культурно-историческими процессами, так и особенностями мифологического мировосприятия. В результате он отметил наличие у тюрок воззрений о вертикальной и горизонтальной проекции мира, а также о профанном и сакральном восприятии времени [*Кляшторный*, 2004].

Большинство выявленных мифологических сюжетов можно типологически отнести к разряду универсальных этиологических мифологем, хотя конкретные персонажи и события, безусловно, несут на себе элементы уникальности, характерной для мифологии разных народов. Тюрколог подчеркнул сложность мировоззрения номадов, которое включало в себя как ранние религиозные традиции (тотемные генеалогические и космогонические мифы), так и более поздние комплексы представлений, которые сформировались в период сложения государственности. Более конкретно структурные компоненты религии тюрок С. Г. Кляшторный не указывает. В то же время из рассуждений ученого

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ – МинОКН Монголии (проект № 13-21-03001а/G, тема «Этнокультурные и политические процессы как факторы исторической динамики религиозной ситуации в трансграничном пространстве юга Западной Сибири и Западной Монголии»).

© Дашковский П. К., 2015

можно сделать вывод о мощном шаманском пласте в религии номадов, что согласовывалось с выводами М. Мори, С. Е. Малова, Л. П. Потапова в этом вопросе.

Важно обратить внимание на мнение ученого относительно возможности привлечения этнографических данных при мировоззренческих реконструкциях. С. Г. Кляшторный подчеркивал важность сопоставления тюркских рунических текстов и этнографического материала XIX – начала XX в., что во многом уже успешно было сделано Ж. П. Ру, Л. П. Потаповым, С. М. Абрамзоном и И. В. Стеблевой. При этом ученый обращал внимание, что такие сопоставления будут объективны и обоснованы, если существует определенная историческая преемственность между сопоставляемыми народами. Сопоставление материалов по разным народам, отдаленным не только во времени, но и территориально, а также относящимся к различным хозяйственно-культурным типам, уровню социальной организации, образу жизни и т. д., представлялось ученому некорректным, даже если внешни такие корреляции носили целостный характер. Именно за широкие и недостаточно аргументированные исторические и этнографические аналогиии С. Г. Кляшторный критиковал французского исследователя Ж. П. Ру [*Кляшторный*, 1981]. В своих работах Кляшторный, как правило, приводил этнографические данные исключительно по тюркоязычным народам Сибири и Центральной Азии, между которыми как раз прослеживалась определенная генетическая преемственность и культурная связь.

Другая научная проблема – знакомство средневековых кочевников с прозелитарными религиями – была поднята С. Г. Кляшторным еще в начале его научного творчества в одной из первых публикаций. Ученый поддержал точку зрения отечественных и зарубежных исследователй о том, что тюркские племена в эпоху средневековья были знакомы с манихейством, христианством (несторианством), буддизмом и некоторыми тибетскими верованиями. Касаясь вопроса религиозного синкретизма у кочевников, исследователь вступил в дискуссию относительно степени распространения манихейства у кыргызов [*Кляшторный*, 1959: 166–167]. В частности, Кляшторный отмечал, что термин «мар» и изображения священнослужителей, открытые в Хакасии, можно рассматривать как свидетельство распространения не только манихейства у кыргызов, но и несторианства. Это связано с тем, что манихейство и центрально-азиатское христианство (несторианство) во многом сами носили синкретичный характер, поэтому трудно дифференцировать соответствующие письменные и иконографические источники [*Кляшторный*, 1959: 166]. В то же время проведенный тюркологом анализ 45 памятники рунической письменности кыргызов показал, что на 9 из них содержится изображение символа креста, который генетически ближе именно к несторианству. В этой связи ученый полагал, что частичная замена обряда кремации у кыргызов на ингумацию в IX в. как раз была связана с влиянием несторианства прежде всего на аристократию. Однако распространение данной конфесси было поверхностным, и по-прежнему прочные позиции имел традиционный шаманский комплекс [*Кляшторный*, 1959: 167]. Позднее развернется достаточно острая, но продуктивная дискуссия среди исследователей относительно влияния прозелитарных религий на традиционную систему верований кыргызов.

Влияние различных религий, в том числе манихейства, на мировоззрение средневековых кочевников затрагивалось тюркологом и позднее при изучении «Книги гаданий», хотя полностью вопрос о степени воздействия той или иной конфессии на содержание и композиционно-стилистические особенности произведения не решен [*Кляшторный*, 1981: 127, 136–137; 2006а; *Klyashtorny*, 2004; *Стеблева*, 1970; 1989: 52–53; и др.].

Кроме влияния манихейства и несторианства на мировоззрение тюркских народов Центральной Азии, С. Г. Кляшторный совместно с В. А. Лившицем на основе анализа надписи на Бугутской стеле осветил особенности знакомства тюрок с буддизмом. Упомянутая Бугутская стела являлась одним из ранних согдийских памятников на территории Первого тюркского каганата. Полученные при ее анализе выводы хорошо соотносятся со сведениями китайских источников о создании буддийской общины. При этом тюркологи, очевидно, допускают существования этой религии в качестве государственной в период правления Таспара и Махан-тегина. Другим важным результатом анализа Бугутской стелы явилась реконструкция процедуры принятия важных государственных решений каганами [*Кляшторный*, 1971; 1978б: 56–57], которая во многом базировалась, судя по содержанию текста, на шаманском мировоззренческом комплексе. Эта обстоятельство еще раз свидетельствует об устойчивости традиционного мировоззрения у кочевников, но не исключает определенной религиозной политики и формирования синкретичных представлений.

Следует отметить, что, несмотря на всю трудность выявления синкретичных черт в системе мировоззрений кочевников эпохи средневековья, тем не менее С. Г. Кляшторный не атрибутировал

религию номадов исключительно как шаманизм. Это связано еще и с тем, что, согласно традиционному для отечественной науки подходу, указанная религиозная форма была характерна преимущественно для обществ, находящихся на догосударственном уровне развития. В этой связи востоковед подчеркивал формирование особого комплекса представлений и обрядов именно в раннегосударственный период, что было продиктовано определенными социально-политическими интересами правителей. К числу таких поздних элементов он относит представления о покровительстве божественной пары Тенгри и Умай клану каганов, сакрализацию их власти и освящение погребально-поминальных сооружений правителей, ежегодные жертвоприношения в «пещере предков» и др. [*Кляшторный*, 1981: 136–137; 2003: 249–251; 2004]. С. Г. Кляшторный вслед за другими учеными (П. Пеллиот, М. Мори) указывал на то, что каган обладал функцией первосвященника. Этот факт дополнительно свидетельствовал о важности государственного культа в тюркском обществе, что находило отражение в погребально-поминальных комплексах и рунических текстах [*Кляшторный*, 1964; 1978а; 1981: 136–137; 2003; 53–63].

В последние годы жизни тюрколог по-прежнему занимался изучением этноконфессиональных процессов в Центральной Азии в эпоху раннего средневековья, что нашло отражение в работе «Памятники древнетюркской письменности в Восточном Туркестане» [*Кляшторный*, 2006а: 183–241]. Тюрколог основательно изучил рунические тексты буддийского, манихейского, христианского содержания, обнаруженные в Восточном Туркестане. Свои исследования в этом направлении он подкрепил анализом огромного количества публикаций зарубежных ученых по проблеме. После работ С. Е. Малова это фактически первая отечественная обобщающая публикация, посвященная характеристике конфессиональной принадлежности тюркских рунических текстов Центральной Азии. Кляшторный отметил, что тюркские буддийские общины появились в Монголии и Восточном Туркестане не позднее второй половины VII в. Более того, буддизм существовал уже в позднехуннских государствах IV–V вв., с которыми исторически связаны тюрки [*Кляшторный*, 2006а: 197]. По мнению исследователя, эта конфессия должна была служить идеологической основой укрепления тюркской державы. Однако социально-политический кризис и распад каганата помешали буддизму закрепиться у кочевников. Новый этап распространения буддизма относится к началу второй четверти VII в. С этого времени буддизм прочно закрепляется у уйгуров вплоть до официального принятия Бегю-каганом в 762–763 гг. манихейства. Наконец, в X в. вновь зафиксирован подъем буддизма у уйгуров, а также у кимаков и кыргызов. Отмеченная ситуация подтверждается как памятниками письменности, так и некоторыми археологическими материалами [*Кляшторный*, 1974; 2005; 2006а: 198–199; *Арсланова*, 1973; и др.]. Кроме того, в одной из своих работ, касающихся манихейства, Кляшторный отметил, что в Центральной Азии тюркские памятники этой религии обнаружены только в Дуньхуане и на Орхоне. По мнению тюрколога, несмотря на то, что в Семиречье пока не найдены манихейские тексты, тем не менее можно полагать, что эта область наряду с вышеуказанными районами являлась основным регионом сложения и расцвета тюркского манихейства, распространенного через купцов-согдийцев [*Кляшторный*, 2006б: 122]. В то же время, следуя логике рассуждения востоковеда, можно заключить, что в полной мере манихейство проявило себя не у тюрок и кыргызов, а у уйгуров, у которых оно имело статус государственной религии [*Кляшторный*, 2006б: 121].

Таким образом, рассматривая религиозно-мифологические представления тюркских народов Центральной Азии, С. Г. Кляшторный опирался на источниковедческие исследования письменных средневековых источников. С другой стороны, тюрколог учитывал этнографические данные по тюркоязычным народам, обобщенные другими учеными. При этом тюрколог указывал на значимость именно генетической и культурной преемственности при реализации историко-этнографического подхода.

Арсланова Ф. Х. Руническая надпись на зеркале из Верхнего Прииртышья / Ф. Х. Арсланова, С. Г. Кляшторный // Тюркологический сборник – 1972. – Москва, 1973. – С. 306–315.

Васютин С. А. Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего Средневековья (отечественная историография и современные исследования) / С. А. Васютин, П. К. Дашковский. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 400 с.

Дашковский П. К. Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. – 244 с.

Кляшторный С. Г. Историко-культурное значение Суджинской надписи // Проблемы востоковедения. – 1959. – № 5. – С. 162–169.

Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. – Москва : Наука, 1964. – 215 с.

Кляшторный С. Г. Согдийская надпись из Бугута / С. Г. Кляшторный, В. А. Лившиц // Страны и народы Востока. – 1971. – Т. X. – С. 121–146.

Кляшторный С. Г. Бронзовое зеркало из Восточного Туркестана с рунической надписью / С. Г. Кляшторный, Е. И. Лубо-Лесниченко // Сообщения Государственного Эрмитажа. – Ленинград, 1974. – С. 45–48.

Кляшторный С. Г. Храм, изваяние, стела в древнетюркских текстах // Тюркологический сборник. – 1974. – Москва, 1978а. – С. 238–255.

Кляшторный С. Г. Открытие и изучение древнетюркских и согдийских эпиграфические памятников Центральной Азии / С. Г. Кляшторный, В. А. Лившиц // Археология и этнография Монголии. – Новосибирск, 1978б. – С. 37–60.

Кляшторный С. Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник. – 1977. – Москва, 1981. – С. 117–138.

Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2003. – 560 с.

Кляшторный С. Г. Образ кагана в орхонских памятниках // Монгольская империя и кочевой мир. – Улан-Удэ, 2004. – С. 100–103.

Кляшторный С. Г. Степные империи древней Евразии / С. Г. Кляшторный, Д. Г. Савинов. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2005. – 346 с.

Кляшторный С. Г. Памятники древнетюркской письменности в Восточном Туркестане // Кляшторный С. Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. – Санкт-Петербург, 2006а. – С. 183–241.

Кляшторный С. Г. Манихейские обители в стране Аргу // Изв. НАН РК. Сер. Общественных наук. – 2006б. – № 1. – С. 121–124.

Стеблева И. В. Древнетюркская книга гаданий как произведение поэзии // История, культура, языки народов Востока. – Москва, 1970. – С. 150–177.

Стеблева И. В. Синкретизм религиозно-мифологических представлений домусульманских тюрков // Народы Азии и Африки. – 1989. – № 4. – С. 51–57.

Klyashtorny S. G. The Manichaean Text T II D and Yrq bitiq XIX // Turfan Revisited. Fist Centery of Research into the Arts and Culture of the Silk Road. – Berlin, 2004. – P. 147–149.

М. А. Демин

Россия, Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И ТОПОНИМИКИ В ТРУДАХ А. П. УМАНСКОГО ПО ИСТОРИИ ТЕЛЕУТОВ

The publication is devoted to the problem of the complex use of the sources in the work on the history of teleuts of a famous Siberian scholar A. P. Umansky. He demonstrated the perspective of the integration of history, archaeology, ethnography and other sciences while studying of ethnopolitical history of South Siberia at the beginning of the second part of the IInd century b. c.

Известный сибирский историк и археолог А. П. Уманский начал заниматься телеутской проблематикой по совету М. П. Грязнова с учетом сложностей интерпретации ряда поздних погребений у с. Большая Речка и плохой изученности погребального обряда телеутов. В первые годы знакомства с археологическими памятниками края Уманский продолжал считать, что важнейшей проблемой архе-

© Демин М. А., 2015

ологии Алтая является поставленная Грязновым задача исследования материалов «поздних кочевников» XI–XVI (XVII) вв. Крайне слабую изученность памятников этого периода он объяснял тем, что курганы в сильной степени пострадали от грабителей и поэтому не привлекали внимание археологов. Между тем, по убеждению барнаульского исследователя, без изучения погребальных сооружений этого периода невозможно решить проблему этногенеза алтайских племен, осветить их политическую и экономическую историю, выявить связи с соседними народами и пр. [ГААК. Ф. Р-1820. Оп. 1. Д. 93. Л. 3, 11]. По воспоминаниям Алексея Павловича, лишь со временем, когда он «влез в этнографию телеутов», то убедился в объективной сложности поиска археологических памятников позднего средневековья в силу особенностей погребального обряда населения Южной Сибири в эту эпоху [цит. по: *Тишкин*, 2008: 190]. В ходе первых самостоятельных археологических раскопок курганного могильника у реки Иня близ одноименного села в 1951 г. А. П. Уманский с учетом позднего характера инвентаря высказал предположение, что его могли оставить телеуты, расселявшиеся здесь в середине II тыс. н. э. [*Уманский,* 1952], однако вскоре он утвердился во мнении о принадлежности погребений к сросткинской культуре [*Уманский*, 1959: 82–85].

Этнографические материалы попадали в поле зрения А. П. Уманского во время знакомства с краеведческими музеями Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и Камня-на-Оби в период работы инспектором отдела культуры Алтайского крайисполкома. Более того, наряду с археологическими раскопками, он прилагал усилия по сбору этнографических материалов. Так, летом и осенью 1960 г. в ходе археологических работ в Родинском районе исследователь вывез оттуда большую серию предметов этнографии. К этому его подтолкнула бедность и невыразительность экспозиций по дореволюционной истории и периоду между Гражданской и Великой Отечественной войнами в краевом музее. Кроме того, исследователь хотел продемонстрировать сотрудникам музеев перспективность и плодотворность работы по сбору материалов традиционной русской культуры [ГААК. Ф. Р-1820. Оп. 1. Д. 157. Л. 29–31]. Эти сборы ученый впоследствии определил как первую этнографическую экспедицию в Кулунду.

Фундаментальный труд А. П. Уманского по истории «Телеутской землицы» базируется главным образом на документальных источниках XVII – первой четверти XVIII в. Однако автор считал принципиально важным применение комплексного подхода к изучаемой теме, привлечение помимо письменных актовых материалов данных исторической географии, этнографии, картографии, лингвистики, фольклористики, археологии и топонимики.

Топонимические сведения были почерпнуты исследователем из различных карт и чертежей, включая богатейшее картографическое собрание ГААК, а также в какой-то мере были получены в результате его собственных 30-летних исследований. Ученый поставил перед собой очень сложную задачу – выявить собственно алтайские (телеутские) топонимы из массы географических названий тюркского происхождения [*Уманский*, 1995: 19–20]. На следы пребывания телеутов в Верхнем Приобье, по наблюдению А. П. Уманского, указывают названия нескольких озер в Алтайском крае и Новосибирской области (Телеутское, Телеутенок), рек (Телеутка), сел (Телеутское, Ветренно-Телеутское и Подветренно-Телеутское), других географических пунктов (Телеутская степь, Теленгусский бор). Ряд топонимов с основой «калмак», «калмык» и «татарин», «татара» также, по мнению исследователя, указывают на расселение телеутов, которых в русских источниках именовали «белыми калмыками» или «татарами». Это названия озер (Колмаково), рек (Калманка, Калманская, Татарка, Татарочка), островов (Калмак, Калмацкий, Татарчонок), сел (Калманка, Усть-Калманка, Калмакские (Калмыцкие) Мысы) и других географических пунктов. Некоторые топонимы Верхнего Приобья ученый связывал с особенностями быта, религии и формами подданства предков алтайцев (реки Юртная, Шаманиха, остров Камов, села Юртошное, Ясашное), другие – с именами телеутских князей Абака и Табуна, третьи – с различными диалектами алтайского языка (например, широко распространенное в говоре русских крестьян от Томска до предгорий слово «елбан») [*Уманский*, 1995: 51–54]. Данные топонимики, в частности встречающиеся на юге Западной Сибири гидронимы алтайского происхождения, позволили исследователю вести аргументированную полемику по поводу мест обитания телеутов и уточнить рубежи «Телеутской землицы» [*Уманский*, 1969: 41–62].

Этнографические материалы использовались А. П. Уманским для определения этнического состава населения Южной Сибири, характеристики социально-экономических отношений у «выезжих телеутов», выяснения характера их хозяйственных взаимоотношений с соседними народами, и прежде всего русскими. Здесь ученый опирается на путевые заметки дипломатов Н. Спафария и И. Унковского, записки начальника уральских и сибирских заводов В. И. Геннина, труды участников

академических экспедиций Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, И. Г. Георги, И. П. Фалька, П. С. Палласа, а также на последующие работы Г. И. Спасского, В. В. Вербицкого, В. В. Радлова, С. П. Швецова и других авторов. На основе главным образом этнографических источников Уманский не только описал традиционные формы хозяйства телеутов (скотоводство, охота, собирательство), но и пересмотрел вопрос о сроках их перехода к пашенному земледелию. Вопреки мнению Л. П. Потапова и других исследователей ученый, опираясь на этнографические данные русских источников, пришел к заключению о переходе под влиянием русских крестьян телеутов-выселенцев к земледелию не в XVIII, а во второй половине XVII в., причем на добровольной основе. Этнографические и археологические материалы легли в основу тезисов Уманского о перестройке хозяйства и быта «выезжих телеутов» на «русский лад», усвоении ими более рациональных способов ведения скотоводческого хозяйства, возделывании по примеру русских крестьян огороднических и технических культур, применении новых способов охоты и рыбной ловли, развитии торговли, появлении оседлых долговременных поселений [*Уманский*, 1980: 262–274].

Анализ преданий томских и бачатских телеутов о переходе их в русское подданство, записанных В. В. Вербицким, Н. А. Костровым и другими исследователями, позволил А. П. Уманскому нарисовать картину острой политической борьбы в телеутском обществе в связи с включением «выходцев» в состав Русского государства. Анализ исторических сказаний алтайцев дал основание ученому утверждать, что раскол телеутских сеоков в XVII в. происходил не по классовому или родовому признаку, а по поводу их внешнеполитической ориентации, что, по заключению историка, наносит еще один удар как по «теории завоевания», так и по концепции бесконфликтного включения азиатских народов в состав России [там же: 218–225].

Археологические источники привлекались исследователем для определения ареала кочевания телеутов и характеристики их торгово-хозяйственной деятельности. Так, для подтверждения торговых контактов русского и коренного населения он приводит материалы раскопок одного из жилищ на поселении XVII–XVIII вв. в урочище Татарские могилки, где были найдены железный нож, замок с ввинчивающимся сердечником и большой дужкой и другие предметы русского происхождения [там же: 273–274]. О развитии охоты и рыболовства у аборигенных народов свидетельствовали находки промысловых животных и крупных рыб на Раздумье, озере Кокуйском, на Чумыше близ с. Степной Чумыш и на других памятниках [*Уманский*, 1995: 59; 1980: 271]. В арсенале ученого находилась значительная группа выявленных и частично исследованных памятников эпохи позднего средневековья: городища-кокуи (на озере Кокуйском, в урочище Раздумье, в урочище Курлак близ с. Сайлап), неукрепленные поселения (в урочище Татарские могилки у с. Степной Чумыш, на Елбане у с. Зайцево, в урочище Борки близ с. Киприно, на озере Анисимово близ с. Черемное, на озере Телеутском близ Камня и др.), курганный могильник у с. Зайцево на Чумыше, грунтовые погребения Раздумье-I и VII и у станции Плотинная, а также большая серия случайных находок из различных пунктов Алтайского края и Новосибирской области. У исследователя была неосуществившаяся идея опубликовать планы верхнеобских городищ-кокуев, отдельных погребений и рисунки вещественного материала из археологических памятников начала второй половины II тыс. н. э. [*Уманский*, 1972: 47–59; 1995: 10]. С интерпретацией верхнеобских городищ связана последняя, к сожалению, не завершившаяся из-за кончины ученого полемика с новосибирскими коллегами. Речь шла о возможности отождествления известного по письменным источникам Тарлава «городка» с зафиксированным П. И. Юхневичем городищем в долине речки Чингиски, названном местными жителями «Могилой Чингиз-хана» [ГААК. Ф. Р-1820. Оп. 1. Д. 113. Л. 17–18]. В завершение сюжета об археологических источниках отметим, что в связи со сложностью проблемы этнической принадлежности позднекочевнических объектов А. П. Уманский не счел возможным выделить собственно телеутскую группу памятников, ограничившись указанием на их хронологическую принадлежность [*Уманский*, 1995: 20–21].

В исследованиях по истории «Телеутской землицы» А. П. Уманский опирался преимущественно на русские актовые материалы XVII–XVIII вв. Однако, обладая большим опытом археологических и в какой-то мере этнографических и топонимических изысканий и восприняв идею комплексного использования источников для изучения истории сибирских аборигенов, реализованную в трудах А. П. Окладникова, С. А. Токарева, Л. П. Потапова, А. П. Дульзона и других ученых, он сумел успешно воплотить ее в работах по телеутской тематике, продемонстрировав перспективность интеграции истории, археологии, этнографии и других наук при изучении сложнейших вопросов этнополитической истории Южной Сибири начала второй половины II тыс. н. э.

ГААК. Ф. Р-1820. Оп. 1. Д. 93, 113, 157.

Тишкин А. А. Встречи с А. П. Уманским // Вопр. археологии и истории Сибири. – Барнаул, 2008. – С. 179–207.

Уманский А. Из далекого прошлого Алтая / А. Уманский, В. Григорьева // Алтайская правда. – 1952. – № 123.

Уманский А. П. Памятники культуры Алтая. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1959. – 251 с.

Уманский А. П. «Телеутская землица» в XVII столетии // Учен. зап. Горно-Алт. НИИ истории, языка и литературы. – Барнаул, 1969. – Вып. 8. – С. 41–62.

Уманский А. П. К вопросу о датировке и этнической принадлежности верхнеобских городищ-«кокуев» // Вопр. археологии Сибири. – Новосибирск, 1972. – С. 47–59. – (Науч. тр. Новосиб. гос. пед. ин-та ; вып. 38).

Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII–XVIII веках. – Новосибирск : Наука, 1980. – 294 с.

Уманский А. П. Телеуты и их соседи в XVII – первой четверти XVIII века. – Барнаул : Барнаул. гос. пед. ун-т., 1995. – Ч. I. – 171 с.

А. В. Жук

Россия, Омск, государственный университет им. Ф. М. Достоевского

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ МИДДЕНДОРФ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ «ПЕРВОБЫТНОГО СОСТОЯНИЯ НАРОДОВ» (К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

The article devoted to the life of the famous Russian scientist A. F. Middendorf – integrated Siberian expedition of the Imperial Academy of Sciences 1842–1848. During the expedition, and subsequently, in the processing of its materials, A. F. Middendorf manifested itself, among other things, and as a historical ethnographer who has done a lot to explore the culture of the natives of Siberia. Of great importance for understanding the achievements A. F. Middendorf have works his fellow expedition, M.-A. Castren.

В 1855 г., поминая недавно скончавшегося М.-А. Кастрена, К. Ф. Свенске отметил: «Другой, более счастливый совместник Кастрена на поприще исследования Сибири, академик А. Ф. Миддендорф, неутомимо продолжает издавать, под личным своим наблюдением, описание своего путешествия» [*Свенске*, 1855: 171]. Реплика «*более сча́стливый»* не случайна: М.-А. Кастрен был всего лишь двумя годами старше А. Ф. Миддендорфа…

Александр Федорович родился 6 августа 1815 г. Отец его служил инспектором Санкт-Петербургской губернской гимназии и был одним из ближайших сподвижников С. С. Уварова на ниве организации русского народного просвещения. Семнадцати лет от роду А. Ф. Миддендорф поступает на медицинский факультет Императорского Дерптского университета.

Что такое был в то время Дерптский университет – очень хорошо передал А. С. Пушкин. Кто-то из баронов Дельвигов, будучи студентом в Дерпте, имел нужду в таком наглядном пособии, как скелет. Не желая тратиться обычным порядком, он изъял в фамильном склепе кости одного из предков, собрал их на проволоке и установил в своей каморке. Вышел скандал, и «наглядное пособие» разошлось по приятелям. Череп достался А. Н. Вульфу (также студенту); Алексей Николаевич подарил его А. С. Пушкину, а тот отвез череп барону А. А. Дельвигу. К подношению Александр Сергеевич присовокупил замечательную *археологическую* поэму, которая украсила альманах «Северные Цветы на 1828 год» [*Пушкин*, 1995: 68–72, 603–609, 1148–1149].

Возможно, нечто в этом роде было и с Александром Федоровичем; недаром он и на склоне лет отмечал по случаю: «Всякому известно, что религиозные обычаи и воззрения загораживают путь самому усердному собирателю черепов» [*Миддендорф*, 1869: 628]. По другому поводу, уже в Си-

© Жук А. В., 2015

бири, он писал: «Не берусь отличить любой остяцкий череп от киргизского, но готов распознать их скелеты» [там же: 659]. С чем-то подобным А. Ф. Миддендорф встретился и на Таймыре: «Один из моих казаков рассказывал мне, что какой-то Береговой Юрак возил с собою, за истукана, отца своего, высохшего в черную мумию» [там же: 685].

Защитив диссертацию, А. Ф. Миддендорф провел 1837–1839 гг. в университетах Германии, а по возвращении определяется в Киевский университет на кафедру зоологии. Однако ни приятный для жизни Киев, ни собственная кафедра не манили его.

Детство и юность Александра Федоровича пришлись на эпоху романтизма; и в науку он пришел вполне романтично – через страсть к скитаниям. Причем Федор Иванович (отец) всячески поддерживал эту страсть: в 1825 г. он подарил 10-летнему сыну на день рождения не что-нибудь, а охотничье ружье! Как следствие – энтузиастический отрок не вылезал из болот Эстляндии, набирался опыта и грезил о дальних странствиях…

Мечты сбылись по возвращении в Россию. В 1840 г. А. Ф. Миддендорф едет с К. М. фон Бэром на Белое море. Значительную часть пути, от Колы до Кандалакши, Александр Федорович проделал самостоятельно, выполняя при этом серьезные этнографические наблюдения [там же: 636].

Как полевик, А. Ф. Миддендорф произвел на К. М. Бэра хорошее впечатление; и на следующий, 1841 г. он приглашает 26-летнего профессора зоологии возглавить комплексную Сибирскую экспедицию Императорской академии наук. Президент Академии (с 1818 г.) С. С. Уваров, лично знавший А. Ф. Миддендорфа с младенчества, одобрил его кандидатуру.

Фактически предприятие А. Ф. Миддендорфа представляло собой *две* экспедиции. В начале 1843 г. он спустился из Красноярска по Енисею в Туруханск, прошел в устье Дудинки, после чего обследовал полуостров, уделив основное внимание озеру Таймыр и его окрестностям. В Красноярск Александр Федорович возвратился в январе 1844 г.

Далее через Иркутск и Якутск А. Ф. Миддендорф прибыл в Амгинскую слободу, что в 170 верстах к юго-востоку от Якутска. Отсюда экспедиция перебралась на Учур, приток Алдана, и двинулась вверх по склонам Станового хребта; перевалив хребет, вышли на верховья Уды. Спустившись по Уде, Миддендорф обследовал район Удской губы, Тугурского залива и Шантарских островов. Заключительный этап, от устья Тугура до Амура, охватил бассейны Тугура, Амгуни, Селимджи, Зеи, Гилюя. По Амуру, выйдя на него ниже Албазина, а затем по Аргуни поднялись в Нерчинск; на этом экспедиция была завершена.

В понедельник 5 марта 1845 г. А. Ф. Миддендорф возвратился в Санкт-Петербург; в Сибири его сменил М.-А. Кастрен, выехавший в феврале из Гельсингфорса.

Награды не заставили себя ждать – 30-летний А. Ф. Миддендорф был произведен в статские советники (чин V класса, промежуточный между полковником и генерал-майором в армии). Кроме того, он получил орден св. Владимира IV степени и 400 руб. серебром в год сверх жалованья любого размера впредь. 2 августа 1845 г. Миддендорф становится адъюнктом Императорской академии наук, а 19 сентября – действительным членом только что открывшегося Императорского Русского географического общества.

Облик той экспедиции был не совсем обычен. Она имела комплексный характер, и в итоге были получены важные естественно-научные результаты. Однако этнография явно стояла в этом комплексе наособицу. Не случайно «в усиление» А. Ф. Миддендорфу Академия придала именно *лингвистического этнографа*; да и собственно естествоведческие изыскания выполнялись с ярко выраженным этно-культурным акцентом. Так, в разделе «Сибирская фауна» большое место занимают приемы упряжной и верховой езды, транспортные средства аборигенов, подробности рыбной ловли и охотничьих промыслов; в «Растительности Сибири» – *съедомые растения* северной флоры, вплоть до картофеля и огурцов, сюжеты по хлебопашеству, скотоводству, осушительным и оросительным работам; а «Климат Сибири» вообще ориентирован по большей части на соответствующие личные переживания аборигенов и путешествующих.

Не случайно и то, что изыскания А. Ф. Миддендорфа охватили именно Таймыр, Якутию и Приамурье. Вообще, изучение Русского Севера развивалось тогда энергично. Еще в первой половине 1820-х гг. Ф. П. Врангель, П. Ф. Анжу и Ф. Ф. Матюшкин обследовали земли от реки Оленек до Колючинской губы. На Алеутских островах в 1824–1839 гг. жил и работал И. Е. Попов-Вениаминов; П. В. Малахов ходил в 1838–1839 гг. по Юкону. В 1839 г. начинаются 10-летние странствия И. Г. Вознесенского; по Аляске в 1842–1844 гг. ходил Л. А. Загоскин. В начале 1830-х гг. на Нижней Оби и Северном Урале ведут изыскания Ф. Белявский и Н. И. Стражевский.

В 1820 – первой половине 1830-х гг. среди самоедов, от Мезени до Кары, работал архимандрит Вениамин (В. Г. Смирнов). В 1832–1834 гг. Новую Землю и ее окрестности обследует П. К. Пахтусов. Далее здесь появляется К. М. фон Бэр; затем он работает в Лапландии, по берегам Белого и Баренцева морей. В 1837 г. А.-Г. фон Шренк обходит земли от Архангельска до Северного Урала; в 1839 г. он посещает Лапландию. В 1840 и 1843 гг. Печору обследуют В. Н. Латкин, А. А. Кейзерлинг и П. И. Крузенштерн. М.-А. Кастрен, определенный в экспедицию А. Ф. Миддендорфа *лингвистическим этнографом*, прошел в 1842–1844 гг. от Кандалакши и Соловков до Обдорска, Березова и Тобольска [*Кастрен*, 1860]. В 1844 г. у мезенских самоедов побывал В. А. Иславин.

На таком фоне *север и восток Сибири* смотрелись сиротливо. После С. И. Челюскина и Х. П. Лаптева (вторая половина 1730-х – начало 1740-х гг.) на Таймыре всерьез никто не ходил; в Центральную Якутию и за Яблоновый хребет последним заглядывал Г. А. Сарычев (вторая половина 1780-х гг.). На Гилюе и Зее в 1736–1737 гг. были геодезисты П. Н. Скобельцын и В. Шатилов. Правда, в 1832 г. Н. Н. Ладыженский спустился по Амуру до Албазина; но вот ниже ходил лишь Г. И. Лоншаков (а это еще вторая половина 1680-х гг.). Эти-то *белые пятна* на карте современных исследований и должен был, по замыслу К. М. фон Бэра, стереть А. Ф. Миддендорф.

И не только А. Ф. Миддендорф: его изыскания во многом дополняет М.-А. Кастрен. В 1847 г., по прибытии в Енисейск, он спустился в Туруханск и Дудинку, откуда совершил ряд поездок – вплоть до Толстого Носа. На следующий год, базируясь на Читу, М.-А. Кастрен разъезжает «по ромашке», добираясь вплоть до Нерчинска [там же]. Вообще, для правильной оценки этого научного предприятия маршруты А. Ф. Миддендорфа 1842–1845 гг. и М.-А. Кастрена 1842–1848 гг., а также результаты их изысканий нужно рассматривать вместе.

А результаты эти соотносились весьма примечательно. А. Ф. Миддендорф – естественник, знаток и любитель скелетов – много внимания уделил факторам физической антропологии. И, в отличие от М.-А. Кастрена, он очень скоро пришел к выводу, что язык и этничность – это совершенно разные вещи. «*Кастрен* даже начинает сомневаться в том, существует ли известная разница между кавказскою и монгольскою расою людей. Он отвечает на этот вопрос отрицательно и не смущается тем, что естествоиспытатели ссылаются на различную форму черепов. “Замечателен факт, – продолжает он, – что у европейского Финна кавказский, а у азиятского монгольский тип, что Турок в Европе похож на европейца, а в Азии – на Азиятца. Но если все-таки хотят отстаивать это различие рас физиологическим путем, то одну половину финских и тюркских племен нужно причислить к кавказской, другую – к монгольской расе, а это было бы нелепо”.

Почему же *Кастрен* упустил из виду, что он сам больше всех привел свидетельств в пользу слияния и еще более резкой замены языков в Сибири, а потому ему следовало не отрицать вероятности телесного смешения различных типов, а, напротив того, подтвердить ее с лингвистической точки зрения» [*Миддендорф*, 1869: 637].

Миддендорфовы интерпретации этнографического материала очень стильны, красивы: «Самоеды, будучи, вероятно, не столько вытеснены с Алтая, сколько обращены в отчаянное бегство (по словам Плано Карпини, Оготаем, сыном Чингис-Хана), не могли остановиться ни в Барабинской степи, ни в первобытных лесах между Обью и Енисеем, но, оставив на месте обессиленных бегством, устроили себе новую родину только тогда, когда пробрались чрез широкий лесной пояс и опять увидели перед собою степь на самом крайнем севере. Тут-то, среди тундры, они и засели, сдавленные, с одной стороны, обитавшими к западу Финнами, именно Остяками, а с другой – живущими в лежащих к юго-востоку горах Тунгусами» [там же: 638]. И ниже: «Якуты и Тунгусы – губители медведей, Самоеды – ловцы северных оленей. Народ, который расставляет ловушки, не в состоянии произвести героев» [там же: 656].

А. Ф. Миддендорф сполна испытал на себе, что положение исследователя посреди аборигенов далеко не просто. Так, на Амуре «странствование сообща представляет непрерывные легкомысленные кутежи, на которые всякий, у кого есть что-нибудь, должен вносить свою долю до тех пор, пока у него ничего больше не останется; никто не оставляет компании до тех пор, пока весь запас не истощится.

При таком коммунистическом хлебосольстве горьше всех приходится солидному европейскому путешественнику, экономно рассчитавшему и распределившему все для себя и для спутников своих по неделям и дням, по фунтам и лотам. <…>

В пустыни же европеец зависит от дикаря. Тут я могу присоветовать только одно: с самого начала разделить все запасы по порциям, уложить их отдельно в разные мешки и по-иезуитски, как этого

требует культ, по веселом окончании вскрытого мешка, опустошение которого разгоняет всех гостей, на дальнейшем пути снова приняться за бережливое расходование другого» [там же: 709].

Очень живо А. Ф. Миддендорф комментирует, на примере якутов, стародавнее, восходящее еще к Геродоту (История, IV, 25) сказание о людях Севера, которые засыпают (или умирают) на полгода: «Вследствие продолжительности зимней ночи на глубоком севере, наклонность всех первобытных людей к бездельничанию и баклушничанью развилась у этих поселенцев до величайшей виртуозности. Вследствие этого, успехи нового учения, добытые крещением, усвоены и даже развиты ими с редкою добросовестностью. Вошло в закон до того спать по бесчисленным праздникам, что только еда и последствия ея могли нарушить эту зимнюю спячку.

Верх этих порядков заключался в том, что, очевидно, вследствие нашего приезда, по временам являлись гости для того, чтобы поспать в гостях. По-видимому, друг друга приглашали на такое парадное спанье. Это делалось к концу зимы. Люди как бы старались спать про запас. Когда в летней половине года наступают подвиги тундры, когда и ночь не в состоянии отодвинуть солнечный круг под горизонт, тогда те же зимние сони пробуждаются к самой усиленной, почти непрерывающейся деятельности» [там же: 761–762].

Довелось А. Ф. Миддендорфу – правда, невзначай – стать и археологом: «Когда мы собирались устроить свой шалаш на более продолжительное время у р. Таймыра, на полувысоте береговой покатости, и я успел приискать для него довольно сухое местечко с прежним очагом, то мы не мало удивились, что, по снятии некоторых каменных плит для уравнения места под нашу стоянку и вследствие разгребания земли моею собакою, добрались до *сайбы* или до самоедского потаенного хранилища запасов.

Действительно, вскоре появилось маховое гусиное перо, но под ним, среди кучи валунов, мы открыли не запас съестных припасов, а зашитое в шкуры мертвое тело. Оно было стянуто в сидячем положении, т. е. схоронено точно так, как хоронились тела и в Европе во время каменного периода. Оказалось, что это было тело девушки в полном облачении лучшего наряда; горелое же место было остатком заупокойной тризны» [там же: 688].

В целом экспедиция А. Ф. Миддендорфа стала важным событием в истории нашей науки. Теперь могли сказать, что на памяти нынешних исследователей проведаны все (почти все) аборигены нашего Севера – от *финских хладных скал* до Русской Америки. Императорскому Русскому географическому обществу, непосредственным поводом к открытию которого послужила эта экспедиция, было на что опереться в секторе этнографии.

Радовало и то, что материалы А. Ф. Миддендорфа так скоро начали выходить в свет – нечастый случай в науке. Более того, все знали, что «четвертый том, еще не изданный, будет вмещать в себе добычу экспедиции по части этнографии, географии и статистики и, наконец, подробнейшее донесение о самом путешествии» [*Свенске*, 1855: 174]. Как бы авансируя успех этого тома, Александра Федоровича еще 24 апреля 1846 г. избирают помощником К. М. фон Бэра по должности управляющего отделением этнографии Императорского Русского географического общества. В том же 1846 г. покровитель Миддендорфов С. С. Уваров возведен в графское Российской империи достоинство.

Кастрен М.-А. Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири (1838–1844, 1845–1849). Т. VI. Собрание старых и новых путешествий / Магазин землеведения и путешествий. – Москва : Изд. Николай Фролов, Тип. Александра Семена, 1860. – Ч. 2. – 495 с.

Миддендорф А. Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1869. – Ч. II. – 833 с.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. III. Стихотворения 1826–1836. Сказки. – Москва : Воскресенье : Газ.-журн. обозрение, 1995. – 1378 с. (Репринт изд. 1948–1949 гг.).

Свенске К. Ф. Обзор главнейших путешествий и географических открытий в пятилетие с 1848 по 1853 год. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1855. – Т. I. – 525 с.

С. М. Киреев

Россия, Горно-Алтайск, Национальный музей им. А. В. Анохина

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕБЫВАНИИ С. И. РУДЕНКО В ГОРНОМ АЛТАЕ В 1924 ГОДУ

The unknown facts about S. I. Rudenko's stay in Mountain Altai in 1924 are given in the article. These data were obtained from archive of the National museum of name A. V. Anokhin. The scientist appeared the participant of researches of a burial ground of Scythian time in the villages of Ulala (Gorno-Altaisk) which were carried out by V. I. Levin who became subsequently the famous anthropologist.

Вклад С. И. Руденко, 130-летний юбилей которого отмечается в 2015 г., в изучение древней истории Горного Алтая огромен, многопланов и имеет мировое значение. Основной его заслугой является открытие и изучение больших мерзлотных «царских» курганов скифского времени. Свои первые работы в регионе он начал в 1924–1925 гг., проведя обширные и тщательные разведывательные экспедиции, намечая места будущих исследований, проводя отдельные раскопки. «В мае С. И. Руденко сделал запрос в Российскую академию истории материальной культуры на получение открытого листа на право производства раскопок в пределах Ойротской области (ныне – Республика Алтай. – *С. К.*) и Уймонской степи сроком с 1 июня по 1 сентября 1924 г.» [*Шмидт*, 2004: 66].

12 июня ему был выдан открытый лист, и вскоре он выехал на Алтай. С. И. Руденко прибыл на Алтай во главе Алтайской экспедиции этнографического отдела Государственного Русского музея. Сам он в книге «Горноалтайские находки и скифы» писал так о своей экспедиции: «В задачи возглавляемой мною Алтайской экспедиции этнографического отдела Русского музея, начавшей свои исследования в 1924 г., входило, помимо изучения современного коренного населения Алтая, обследование и археологических памятников этой области» [*Руденко*, 1952: 5–6].

О работах С. И. Руденко и его экспедиции в Горном Алтае в 1924–1925 гг. имеется достаточно много свидетельств [*Руденко*, 1926; 1952; *Грязнов*, 1926; *Бородаев*, 1986; *Шмидт*, 2004; *Тишкина*, 2010; и др.]. Тем не менее появляются материалы к его жизненной и научной биографии, раскрывающие неизвестные ранее страницы пребывания ученого на Алтае в эти первые ознакомительные с регионом годы.

Одним из таких свидетельств являются документы, обнаруженные автором в архиве Национального музея им. А. В. Анохина. Они представляют собой небольшую папку, в которой находятся бумаги о раскопках В. И. Левина в 1924 г. семи погребений скифского времени в с. Улала (ныне – г. Горно-Алтайск). Это странички дневника (или его копия) Левина, его письмо в Ойротский краеведческий музей, опись находок, переданных в Антропологический музей МГУ и страничка с карандашными зарисовками девяти найденных при раскопках предметов, выполненных художником Н. Титовым. Других сведений о В. И. Левине и его деятельности в Горном Алтае в архивных документах музея не имеется. Ученый с таким именем известен как исследователь народов Кавказа [*Левин*, 1932]. Не вдаваясь в описание и анализ его раскопок в с. Улала, их детализацию, остановимся лишь на тех свидетельствах, которые относятся к упоминанию в них С. И. Руденко.

Итак, В. И. Левин, судя по его дневниковым записям, свои раскопки проводил на восточной окраине с. Улала, в конце Алферовской улицы. Позднее, в 1933 г., на этом же месте директор Ойротского музея А. В. Якубский раскопал четыре погребения также скифского времени. Могильник получил название Алферовского и хорошо известен в археологии Алтая [*Суразаков*, 1982: 121–128]. Заметим, что при цитировании В. И. Левина сохранена орфография, пунктуация и стиль письма автора записок. Раскопки памятника начались 25 июня, и в первые три дня В. И. Левиным производились довольно подробные записи, часто даже с указанием времени. Они позволяют достаточно подробно реконструировать особенности погребального обряда и расположение костяков и находок инвентаря в первых четырех погребениях. Сразу же после начала раскопок «встретились кости человека». Автор дневника делает подробное, иногда даже детальное описание костей, один раз даже на латыни и составляет их перечень. Это свидетельствует о его хорошем знании анатомии, а следовательно, и о специальном образовании.

© Киреев С. М., 2015

С 28 июня по 5 июля В. И. Левин болел и «раскопки систематически не производились», но «частичные раскопки и записи» вели некие «товарищи». 6 июля Левин вновь приступает к работам, и именно в это время в Горном Алтае, в Улале, по крайней мере – на раскопе, появляется экспедиция С. И. Руденко. Левин записывает в дневнике: «Раскопки возобновились и продолжаются совместно с проф. Руденки и его студентами». Как известно, С. И. Руденко сопровождали Л. Н. Глухов, научный сотрудник, и студенты С. П. Суслов и Б. А. Борнеман. Также в составе первой экспедиции был проводник и переводчик, местный житель Я. П. Челтушев. Левин сообщает, что «в тот же день были убраны костяки из могил № 1, 2, 3, они нумеруются и складываются для отправки в музей». Очевидно, идея передачи обнаруженных при раскопках погребений находок в Антропологический музей принадлежала Руденко, который окончание работ на памятнике взял в свои руки. Хорошо известны обширные познания ученого-эрудита и в области антропологии. После этой записи в дневнике автора имеется всего лишь несколько строк: «Руденкой производится измерение могил, положение погребений, высот местности, отдаленности от берега реки и т. д.».

По окончании работ провинциальный исследователь «передал материалы всех раскопок и полный отчет профессору Руденки в Эрмитаж». В Антропологический музей МГУ было «передано 313 номеров» (наименований артефактов) в семи запакованных свертках. В перечне кроме костей упоминаются черепки и обломки горшков, костяная пряжка, металлическая и костяная игла, медная подвеска. Указано, что данные вещи принял(а) и. о. зав. музеем Боржуко (или Боржука). Также в день начала раскопок В. И. Левин провел съемку местности, которая, как он отмечает, «находится у профессора Руденки в Ленинграде». Производились фотосъемки процесса раскопок и отдельных объектов могильника, о чем свидетельствуют соответствующие дневниковые записи об измерении параметров погребений и фотографировании. Но цифры в дневнике не указаны. В скобках Левин пишет: «Размеры могил находятся у проф. Руденки в Ленинграде». Не обнаружены в архивах музея и фотографии раскопок. Нет в записях Левина и никаких сведений о дате окончания раскопок, не подведены итоги. Имеются косвенные упоминания о возникшей небольшой дискуссии о хронологии раскопанных могил, возникшей между Руденко и Левиным.

Известно, что Сергей Иванович задержался в Улале еще на несколько дней. Так, 8 июля он посещает местный краеведческий музей, который в это время (с осени 1923 г.) размещался в доме писателя-этнографа Г. А. Юрганова [*Белекова*, 2010: 60]. Документальным свидетельством этого факта является подаренная ученым его первая монография «Башкиры. Опыт этнологической монографии. Часть 1. Физический тип башкир», изданная в Петрограде в 1916 г. На книге имеется авторская дарственная надпись: «Улалинскому музею с пожеланиями от автора, 8 июля 1924 г.».

Стоит заметить, что С. И. Руденко не считал свое участие в работах отряда В. И. Левина, советы, консультации, собственными раскопками. В «Кратком отчете о раскопках С. И. Руденко, произведенных им по поручению Русского музея летом 1924 года в Восточном Алтае» [*Жизненный путь*…, 2004: 115–117] автор среди своих исследований не упоминает ни о каких раскопках в Улале, очевидно и естественно считая их авторство за другим человеком. Вскоре его путь уже лежал к Телецкому озеру, далее – на Чулышман и Улаган, через Пазырык, к новым открытиям.

Работая над продолжением обоснования и выделения северного варианта пазырыкской культуры [*Киреев*, 1992: 55–54], в том числе и с материалами Алферовского могильника, составной частью которого являются раскопки В. И. Левина, с участием в них С. И. Руденко, я написал в 2001 г. частное письмо в Эрмитаж с просьбой о возможности поиска предметов, увезенных ученым. Но письмо осталось без ответа. Неожиданно давняя история получила свое продолжение. В конце 2014 г. пришло письмо от старшего научного сотрудника НИИ и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина МГУ Д. В. Пежемского, который со своими коллегами в хранилище среди материалов 20–30-х гг. обнаружил антропологические артефакты из раскопок В. И. Левина «могильника на р. Майма близ г. Улалы». Возможно, в дальнейшем будут найдены и увезенные Руденко находки из курганов, копия дневника, план, описание местности, фотографии и другие материалы, упоминаемые Левиным в своих записках.

Это позволит ввести в научный оборот новые данные о северном варианте пазырыкской культуры, расширить численность погребений Алферовского могильника до одиннадцати и считать раскопки В. И. Левина 1924 г. первыми известными археологическими исследованиями на территории современного Горно-Алтайска. А в богатой на события и научные открытия биографии С. И. Руденко заполнить еще одну белую страничку.

Белекова Э. А. История музейного дела в Республике Алтай (1918–2009 гг.) : дис. … канд. ист. наук. – Барнаул, 2010. – 225 с.

Бородаев В. Б. С. И. Руденко и Алтай // Скифская эпоха Алтая. – Барнаул, 1986. – С. 3–9.

Грязнов М. П. Доисторическое прошлое Алтая (работы Алтайской экспедиции Государственного Русского музея в 1924–25 гг.) // Природа. – 1926. – № 9–10. – С. 97–98.

Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и его коллег. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 148 с.

Киреев С. М. Работы на Майминском комплексе в 1990–1991 гг. // Проблемы сохранения, использования и изучения памятников археологии. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 55–56.

Левин В. И. Этнографическое распределение некоторых признаков у населения Северного Кавказа // Антропологический журнал. – 1932. – № 2. – С. 82–94.

Руденко С. И. Алтайская экспедиция // Этнографические экспедиции 1924 и 1925 гг. Государственного Русского музея. – Ленинград, 1926. – С. 61–78.

Руденко С. И. Горноалтайские находки и скифы. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. – 268 с.

Суразаков А. С. Об археологических исследованиях в Горном Алтае // Археология и этнография Алтая. – Барнаул, 1982. – С. 121–136.

Тишкина Т. В. Археологические исследования на Алтае (1860–1930-е гг.). – Барнаул : Азбука, 2010. – 287 с.

Шмидт О. Г. Археологические исследования Сергея Ивановича Руденко // Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и его коллег. – Барнаул, 2004. – С. 61–83.

Н. А. Кузнецов

Россия, Новокузнецк, музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

О ПОПЫТКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТНОНИМА «БОМА» К НОСИТЕЛЯМ ВЕРХНЕОБСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Medieval Chinese, Arab, European writings that mention peoples inhabiting the Sayano-Altai region, allow a very broad interpretation of the uncertainty of place names used, metrology, and others. Also, there is the problem of subjectivity researchers.

In the West Siberian archaeological literature was approved by the view that the people that the Chinese called “boma” (“Tans horse”), this medieval population of Western Siberia.

Actually written historical sources, telling about this people is not a lot. In translations of Russian researchers used about 10 of these sources.

They include a reference to the “North Sea” – “Beihai”. The term Chinese geographers, clearly translated into Russian as hydronym “Baikal”. The dimensions of the “Boma” region matched of the territory of the southern Baikal region. Described in the sources of landscapes and fauna, characteristic of the Baikal region, as well as to other Southern Siberia.

“Variegated horse” corresponds popular here in antiquity suit horses, from which there was ethnonym “Alagui” – “owning piebald horses”. “Alagui” – one of the components of the delivery bulagat tribe living in the Baikal region. Thus, there is no reason for locating people “Boma” in Western Siberia.

Попытки атрибутировать археологические культуры как материальные остатки жизнедеятельности конкретной этнической группы редко бывают удачными. Соотнесение таких понятий, как «этнос» и «археологическая культура», исключительно сложно [см.: *Клейн*, 1991: 186–189]. Более того, сама теория этноса сейчас подвергается сомнению. В. А. Шнирелъман пишет: «В поздние

© Кузнецов Н. А., 2015

советские десятилетия наши ученые были увлечены теорией этноса и видели в этносе универсальную организацию, характерную для всего мира. Сегодня целый ряд российских этнологов смотрят на эту концепцию все более скептически…» [*Шнирельман*, 2011: 20]. Л. Т. Яблонский утверждает, что «само существование этносов как исторической реалии теперь подвергается сомнению именно профессионалами-этнологами. В зарубежной литературе понятие *“этнос”* фактически отсутствует» [*Яблонский*, 2011: 87].

Тем не менее, этнические интерпретации популярны у наших историков. Реально работающего механизма для корректной реализации исследований такого типа никем не предложено. В связи с этим многочисленные этнические определения археологических культур не выдерживают критики.

Использование письменных источников облегчает задачу историка, но сибирские реалии таковы, что источники, в которых упоминаются народы, населявшие Сибирь в ту или иную историческую эпоху, весьма туманны и неопределенны. Это дает большой простор для спекуляций и подгонки желаемого результата под некорректное исследование.

Китайские, арабские, европейские сочинения, в которых упоминаются народы, предположительно населявшие Саяно-Алтайский регион, допускают очень широкое толкование из-за неопределенности используемой топонимики, неопределенности используемых мер, неопределенности путей сообщения. Кроме того, существуют серьезные субъективные проблемы, связанные с толкованием географической терминологии в среде российских историков и археологов.

Конкретно о народе бома издано уже большое количество публикаций. Следует отметить, что коллеги из восточной Сибири, Прибайкалья, Якутии воспринимают как давно решенный вопрос о локализации расселения этого народа и считают его одним из компонентов позднейшего якутского народа. Локализация бома в Прибайкалье совершенно логична и не противоречит сведениям китайских и мусульманских авторов. Однако в археологической литературе стало утверждаться мнение, что народ бома – это средневековое население Западной Сибири [*Селезнев*, 1994] или даже конкретно – носители верхнеобской археологической культуры. Основная роль в «пропаганде» этой версии принадлежит А. М. Илюшину. Целый ряд публикаций, в которых он настойчиво проводит данную идею, повлияли на то, что и другие исследователи стали соглашаться с Илюшиным, подходя не критично к проблеме, полагаясь исключительно «на слово», стали рассматривать как народ бома носителей верхнеобской культуры.

Этот эффект не настолько безобиден, как хотелось бы. Подобное состояние дел непременно приведет в дальнейшем к усилению искажения истории Сибири. Поэтому настоятельно требуется рассмотреть аргументацию А. М. Илюшина и разобрать ее подробно. Аргументы его, повторяясь и «эволюционируя» на протяжении почти десятка публикаций (в основном пересказывающих друг друга), окончательно оформились в публикации 2007 г. [*Илюшин*, 2007: 109–112].

Мы уже тезисно высказывали свою точку зрения [*Кузнецов*, 1995: 37–38], но, посчитав, что вопрос совершенно прозрачен, не достаточно подробно остановились на разборе источников.

О народе бома существует обширная историография. Но собственно письменных исторических источников, рассказывающих об этом народе, немного. В переводах российских исследователей используется около десяти таких источников, которые часто восходят к одному первоисточнику, но «дополняют» друг друга, искажая названия, сообщая противоречивые сведения, что приводит к путанице.

А. М. Илюшин, по его собственным словам, отождествлял этноним «бома» с археологическими культурами и археолого-этнографическими комплексами носителей верхнеобской этнокультурной общности раннего средневековья, чьи памятники зафиксированы от Прииртышья до Енисея, а затем он сделал вывод о наличии государства Бома, которое располагалось на территориях от бассейна Оби на западе до Байкала на востоке и от северных отрогов Саяно-Алтая на юге до Северного Ледовитого океана на севере.

Ни малейших оснований делать такие выводы нет. «Северное море» – «Бэйхай» китайских географов однозначно переводится на русский язык как гидроним «Байкал». Ни о каком Ледовитом океане средневековые китайские географы не рассуждали, зато Байкал им был очень хорошо известен еще с легендарных времен «Каталога гор и морей», а непосредственно на Байкале китайцам часто приходилось бывать уже в эпоху Хань. Таким образом, апелляция к Северному Ледовитому океану источниками опровергается.

Размеры государства Бома произвольно определены А. М. Илюшиным как 2500 на 1500 км. В реальности цифра «30 дней пути» не может быть переведена как 1500 км. Даже если абстрагироваться от условности цифры – «крейсерская скорость» бактриана позволяет ему проходить

до 30 км в день. Все, что выше, требует идеальных условий. Скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда. Таким образом, самое оптимистическое указание на протяженность страны Бома не может превышать 900 км извилистого пути (бома живут в горной местности). Этому вполне соответствует расстояние (по современной автомобильной дороге, которая существенно укорачивает традиционный путь) от Ангарска до Кяхты (более 700 км). Размеры территории с юга на север, по разным данным, составляют или 50, или 15 дней пути. Цифры различаются более чем в три раза. Но даже максимальное значение не принципиально превышает расстояние по современным автомобильным дорогам от Слюдянки (юг Байкала) до Северобайкальска (около 1000 км, а с учетом сложного рельефа можно предположить, что до северного Байкала искомая территория не доходила).

В качестве южной границы, по мнению А. М. Илюшина, выступают северные отроги Саяно-Алтая. Основополагающим является тезис: «Бома находятся на север от цзйегу (хягасов)». Этот аргумент опровергается двумя аксиомами: во-первых, непосредственно к югу от Баргуджин-Тукум проживали, согласно Рашид-ад Дину, племена туматов. Во-вторых, согласно тому же автору, туматы жили в пределах страны кыргызов. Таким образом, территория Бома (Прибайкалье) оказывается непосредственно к северу от кыргызов.

Хотя кыргызы выступают соседями бома, но «...язык друг друга не понимают». Это вполне естественно, так как Прибайкалье населено в значительной мере монголоязычными племенами.

Описываемые в источниках ландшафты и животный мир характерны для Прибайкалья, как и для прочей южной Сибири.

Из «Синь тай шу» известно, что «государство Бома управляется эркином». Титул этот достаточно редко фигурирует в источниках. Однако такой титул принадлежит, кроме бома, правителю племен байырку (баргутов), которые составили часть позднейшего бурятского народа. Это косвенно подтверждает родство бома и байырку.

Наконец, о городе Алакчин Абу-л Гази пишет, что по берегам Анкара-мурэн, возле моря (Байкал), располагаются кочевые племена, их лошади пеги по цвету, посуда их из серебра. «Это та страна, которую имеют в виду узбеки, когда говорят: “Есть страна, где все лошади пеги, а очаги из золота”» [цит. по: *Зуев*, 1960: 125].

Сравним это с цитатой из Алтан Дэбтера, где расписываются доли жертвенного мяса для прибайкальских соратников Чингисхана: «Детям Баян-нойона, управляющего баргутами. Племенам бурят, уйгуров, чивданов… жителям лесов…владеющих пегими лошадьми, у которых золотые таганы, стены юрт подбиты соболем, а крыша из бобра» [цит. по: *Михайлов*, 1989: 89].

Любопытно «другое название» бома – била или элоджи (гелочи). Одно из древнейших бурятских племен называется булагат (булагачин). «Пестрая лошадь» соответствует популярной здесь в древности масти лошадей, от которой произошел этноним «алагуй» – «владеющие пегими лошадьми». Алагуй – один из родов, составляющих племя булагатов. Этноним «булагат» тоже непосредственно связан с пего-булаными лошадьми («ала-була» – конская масть «буланый в яблоках»).

Описание бома как народа, сеющего пять злаков, находят подтверждение при раскопках в Прибайкалье поселений курумчинской культуры, – на поселении Унге найдены зерна пяти злаковых растений, из которых основным было просо [*История Сибири*..., 1968: 293].

Таким образом, нет ни малейших оснований для локализации народа бома в Причулымье и Кузнецкой котловине.

Зуев Ю. А. Тамги лошадей из вассальных княжеств // Тр. Ин-та истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1960. – Т. 3. – С. 93–134.

Илюшин А. М. Страна Бома. Миф или реальность? // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. – 2007. – № 3. – С. 109–113.

История Сибири с древнейших времен до наших дней : в 5 т. Т. 1. Древняя Сибирь. – Ленинград : Наука, 1968. – 454 с.

Клейн Л. С. Археологическая типология. – Ленинград : Изд-во АН СССР : ЛФ ЦЭНДИСИ : Ленингр. археол. науч.-исслед. об-ние, 1991. – 448 с.

Кузнецов Н. А. К вопросу о народе бома // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 1995. – Ч. 1. – С. 37–40.

Михайлов Т. М. Юго-восточная Сибирь в отношениях с Центральной Азией в XIII–XVII вв. // Этнокультурные процессы в юго-восточной Сибири в Средние века. – Новосибирск, 1989. – С. 85–98.

Селезнев А. Г. Барабинские татары: истоки этноса и культуры. – Новосибирск : Наука, 1994. – 176 с.

Шнирельман В. А. Подделки и альтернативная история // Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. – Москва, 2011. – С. 17–34.

Яблонский Л. Т. Теория этногенеза и ее фальсификация в современной России // Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. – Москва, 2011. – С. 85–94.

Л. Д. Макаров

Россия, Ижевск, Удмуртский государственный университет

СООТНОШЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОЦЕССОВ РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ БАССЕЙНА СРЕДНЕЙ ВЯТКИ*

The article deals with the consideration of the main sources for solving problems of Russian colonization in the Vyatka region. The materials of the first phase of the chronological accumulation of sources (until the mid XX century) are presented by written data. The second stage is characterized by the active use of archaeological data, auxiliary and natural sciences, the discovery of new written sources. Complex analysis of sources of indicates the beginning of colonization in the second half of XII – early XIII century.

Наиболее информативными для решения вопросов русской колонизации Волго-Камья являются письменные известия. К сожалению, этой группой источников Вятка не богата, поэтому необходимо восполнять нехватку сведений данными вспомогательных дисциплин, значительную долю которых мы имеем благодаря археологическим раскопкам. Именно археология позволила решить многие недоступные прежде проблемы заселения русскими Вятского края.

Условно выделяется два хронологических этапа в изучении рассматриваемой темы. Первый охватывает вторую половину XVIII – первую половину XX в., когда освещение вопроса основывалось на данных письменных источников. Второй (вторая половина XX – начало XXI в.) начал формироваться в середине 1950-х гг. с началом масштабных раскопок, что позволило включить в научный оборот новый полноценный источник – археологический. Одновременно появляются данные других дисциплин, а историками обнаруживаются новые письменные источники. В итоге появилась реальная возможность комплексного подхода к решению отдельных вопросов колонизации региона [*Макаров*, 2012: 115].

На первом этапе изучение проблем русского заселения бассейна Вятки свелось к анализу противоречивых известий письменных источников [*Макаров*, 1992а; 2000; 2006а]. В XVII–XVIII вв. было популярно утверждение польского хрониста М. Стрыйковского (1582) об основании г. Хлынова вятичским князем Вятко, которое проникло в русскую историческую литературу («Синопсис», А. И. Манкиев, М. М. Щербатов) и упоминалось наряду с другими версиями (П. И. Рычков, Екатерина II), но некоторыми отвергалось (И. Н. Болтин). Зарождение местной исторической литературы вызвало появление в начале XVIII в. «Повести о стране Вятской» (ПСВ), сообщавшей о начале заселения беглыми новгородцами в 1181 г. среднего течения Вятки. Этот памятник письменности надолго определил приоритет новгородской версии освоения региона и возникновения Вятской земли. Однако ряд историков заметили явные противоречия в тексте ПСВ (А. И. Вештомов, Н. М. Карамзин, А. Тянгинский), а некоторые прямо выразили сомнение в его достоверности (И. Н. Болтин, Е. Е. Голубинский, Н. Н. Романов).

* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ на выполнение базовой части государственного задания (НИР № 2174) в сфере научной деятельности в 2014–2016 гг.

© Макаров Л. Д., 2015

ПСВ показалась исследователям неубедительной, так как Вятка в русских летописях появляется впервые лишь в 1374 г. в рассказе о набеге новгородских ушкуйников. Фигурирующая в ПСВ дата выхода новгородцев в Прикамье – 1174 г. – вызвала предположение о 200-летнем удревнении событий. Основательной критике подвергли данный источник А. А. Спицын [1880; 1883; 1888] и А. С. Верещагин [1887; 1904; 1905]. После выхода работ этих авторов доверие историков к сведениям ПСВ явно пошатнулось (Л. Н. Спасская, П. И. Наумов, М. М. Богословский, С. Ф. Платонов, Г. Ф. Чиркин, М. П. Грязнов, М. К. Любавский, А. А. Столбов, А. В. Эммаусский и др.). Однако не все историки восприняли критику ПСВ безоговорочно. Так, И. Н. Смирнов, П. Н. Луппов, А. И. Соболевский, А. Ф. Трефилов датировали начало колонизации края русскими не позднее XIII в. Лишь в последних работах П. Н. Луппов пришел к выводу о недостоверности сведений ПСВ и связал начало русского заселения с ушкуйниками 1374 г. [*Луппов*, 1958а: 29–49; 1958б: 8–18].

Первый этап исследования показал, что попытки решить спорные проблемы посредством анализа лишь письменных и отчасти лингвистических источников зашли в тупик. Выход из него историки (П. Н. Луппов, А. И. Копанев) видели в расширении круга источников, в том числе археологических.

Второй этап изучения темы ознаменовался началом первых раскопок широкими площадями. В 1956–1960 гг. московский археолог Л. П. Гуссаковский провел исследования на Никульчинском и Орловском (Халтуринском) городищах, Никульчинском I могильнике, в г. Кирове на Хлыновском и Вятском городищах, принесших богатейший пласт материальной культуры XII–XVI вв., оставленной русскими поселенцами и аборигенами края. Новые материалы позволили археологу соотнести находки со сведениями летописей и ПСВ, значительно обогатив историографию русской колонизации региона и вернув доверие к ранним датировкам [*Гуссаковский*, 1962; 1967; 1999]. В 1961–1965 гг. небольшие исследования провела И. И. Стефанова, подтвердившая выводы коллеги [*Очерки*…, 1972: 45]. Результаты работ археологов оспорил А. В. Эммаусский [*Очерки*…, 1972: 45–47; *Эммаусский*, 1970: 90; 1971: 14–15], а позднее начинающий археолог С. Д. Захаров [1989; 1999]. Возобновление крупных раскопок осуществила Камско-Вятская экспедиция Удмуртского университета, созданная в 1973 г. Р. Д. Голдиной. В 1979–1990 гг. автором были проведены раскопки основных памятников региона: городищ Никульчинское, Ковровское, Шабалинское, Котельничское, Хлыновское, Слободское, Подчуршинское; селищ Никульчинское II, Шабалинское, Искра, Худяковское, Родионовское, Покста II; могильников Шабалинский, Хлыновский I, Покста. Некоторые объекты изучали коллеги по КВАЭ: Н. А. Лещинская (Кривоборское городище, 1987; Еманаевский и Покста могильники, 1985 и 1986), В. В. Ванчиков (поселение Мысы IV, 1991), С. Е. Перевощиков (Хлыновское городище, 2013). Заметны и работы археологов Кирова: Л. А. Сенниковой (Худяковское поселение, 1981–1983; могильник Гоньба, 1991; Усть-Чепецкий могильник, 1993; Слободские городище и II могильник, 1993 (совместно с Т. А. Медведевой); Хлыновский I могильник, 1991), В. В. Ванчикова (посад Хлынова, 1986, 1989; Хлыновский I могильник, 1989; Шестаковское городище, 1997), Е. А. Кошелевой (посад Хлынова, 1992–2008), И. Ю. Трушковой (Лальское городище, 2005), А. Л. Кряжевских (посад Хлынова, 2009; Ковровское городище, 2014). Отметим и пермского археолога Н. Е. Соколову, которая, при участии И. Ю. Трушковой, исследовала Орловские городище и посад (1999). Все эти изыскания значительно расширили источниковую базу и в целом подтвердили выводы Л. П. Гуссаковского и наши заключения [*Макаров*, 2002; 2011а; 2013а].

Наряду с традиционными археологическими методами, внедряются естественно-научные методы, причем известны опыты их применения довоенного времени. Так, в 1937 г. М. П. Грязнов провел антропологическое исследование останков покойных с пяти вятских кладбищ XVI–XVIII вв., а Д. Г. Рохлин осуществил их палеопатологический анализ [Архив ИИМК. Ф. 91. Папка 20. Д. 8; *Рохлин*, 1965: 211–215; *Макаров*, 1999: 41–42]. Антропологические определения проводили позднее Р. М. Фаттахов (Никульчинский II могильник XVI–XVIII вв., 1979, 1981), И. О. Рясик, А. Р. Узлов, К. А. Никольский, А. А. Баженова, Е. В. Медова, Е. В. Сукова (Усть-Чепецкий могильник XIII–XV вв., 1996), И. Г. Широбоков (некрополи древнерусские XIII–XV вв. (Еманаевский, Покста) и русские XVI–XIX вв. (Котельничский, Зуево-Ключевской III, Подчуршинский, Ильинский, Благодатский, Воткинский, Михайловский)) [*Широбоков*, 2013]. Не остались в стороне палеозоология (А. Г. Петренко, О. Г. Богаткина, В. Ю. Захаров), палеоботаника (А. В. и Н. А. Кирьяновы, В. В. Туганаев и Т. П. Ефимова), металлография (С. Е. Перевощиков).

Дополнительные знания дает нам лингвистика (В. Ф. Барашков, В. И. Троицкий, Л. Н. Макарова, Э. Д. Головина, В. Г. Долгушев), ономастика (Д. М. Захаров, А. Л. Мусихин), фольклористика

(Д. К. Зеленин, В. А. Коршунков, С. В. Стародубцева, А. Л. Мусихин и др.), этнография (Д. К. Зеленин, И. Ю. Трушкова, В. А. Любимов и др.) [*Макаров*, 2011б: 114–116, 120–121].

С середины 1980-х – начала 1990-х гг. начался новый этап в исследовании письменных памятников. Впрочем, ему предшествовал период поиска и исследования новых источников А. В. Эммаусским, которому, в частности, удалось выявить младший список «Сказания о вятчанех» 30–80-х гг. XVIII в. [*Эммаусский*, 1983]. Незадолго до своей кончины в 1987 г. ученый завершил монографию «История Вятского края в XII – середине XIX века», опубликованную в сокращении [*Эммаусский,* 1995] и в полном объеме [*Эммаусский,* 1996]. В ней он на основании археологических данных признает раннее начало новгородской и владимиро-суздальской колонизации (XI – начало XIII в.) и пишет об ограблении ушкуйниками в 1374 г. Вятки, т. е. отказывается от прежней точки зрения [*Эммаусский*, 1995: 14–17; 1996: 27–30]. К изучению вятского рукописного наследия обращался екатеринбургский историк А. Г. Мосин [1986; 1988]. Автору также приходилось прибегать к анализу памятников письменности [*Макаров*, 1992б; 2006б; 2010; 2013б]. Значительный вклад в исследование вятских сочинений вносят: В. В. Низов [1992; 1994; 1995; 1997; 1999], А. Л. Мусихин [1999; 2004] и А. Балыбердин [2007; 2012; *Повесть*..., 2006] и особенно Д. К. Уо. Последнему в 1991 г. удалось повторно открыть «Анатолиевский сборник», оказавшийся в 1974 г. в Ташкенте [*Уо*, 1997; 2003]. Выяснилось, что сборник был составлен в первой четверти XVIII в. в Вятке дьяконом Богоявленского собора Семеном Федоровичем Поповым. В составе сборника выявлен старший список «Сказания о вятчанех» конца XVII в. – один из основных источников ПСВ. Таким образом, новые письменные источники в основном подтверждают ранние археологические датировки русской колонизации Вятского края.

Архив ИИМК. Ф. 91. Папка 20. Д. 8.

Балыбердин А. «Повесть о стране Вятской» об основании Хлынова в 1181 году // Православие на Вятской земле (к 350-летию Вятской эпархии). – Вятка (Киров), 2007. – С. 31–36.

Балыбердин А. О филигранях вятских рукописей // Вятская земля в прошлом и настоящем. – Киров, 2012. – С. 14–19.

Верещагин А. С. Заселена ли была Вятка новгородскими выходцами в XII веке? // КВГ на 1888 г. – Вятка, 1887. – С. 155–160.

Верещагин А. С. Из истории древнерусской Вятки // ПККВГ на 1905 год. – Вятка, 1904. – Отд. 2. – С. 179–233.

Верещагин А. С. Повесть о стране Вятской (Вятский летописец). Предисловие и послесловие // Тр. ВУАК 1905 года. – Вятка, 1905. – Вып. III. – Отд. II. – С. 1–12, 54–97.

Гуссаковский Л. П. Археологические исследования в с. Никульчино Кировской области // ВАУ. – Свердловск, 1962. – Вып. 2. – С. 118–121.

Гуссаковский Л. П. Древнерусский город Орлов (совр. г. Халтурин) // КСИА АН СССР. – 1967. – Вып. 110. – С. 102–105.

Гуссаковский Л. П. Из истории русской Вятки // Европейский Север в культурно-историческом пространстве. – Киров, 1999. – С. 32–41.

Захаров С. Д. Характеристика раскопов Л. П. Гуссаковского на территории Хлыновского кремля // Вятская земля в прошлом и настоящем: (К 500-летию вхождения в состав Российского государства). – Киров, 1989. – С. 17–19.

Захаров С. Д. Раскопы Л. П. Гуссаковского в Хлыновском кремле // Европейский Север в культурно-историческом процессе (К 625-летию г. Кирова). – Киров, 1999. – С. 41–48.

Луппов П. Н. История города Вятки. – Киров : Киров. кн. изд-во, 1958а. – 240 с.

Луппов П. Н. Введение // Документы по истории Удмуртии XV–XVII вв. – Ижевск, 1958б. – С. 8–48.

Макаров Л. Д. История Вятской земли XII–XVI вв. в дореволюционной историографии // Актуальные проблемы историографии дореволюционной России. – Ижевск, 1992а. – С. 81–95.

Макаров Л. Д. Литературные и летописные произведения Вятской земли XVI–XVIII вв. как исторический источник // История, историография, источниковедение Удмуртии. – Ижевск, 1992б. – С. 60–77.

Макаров Л. Д. Вятские материалы М. П. Грязнова в архиве Института истории материальной культуры Российской академии наук // 120 лет археологии восточного склона Урала. Первые чтения памяти В. Ф. Генинга. – Екатеринбург, 1999. – Ч. 1. – С. 39–42.

Макаров Л. Д. К истории вопроса о заселении русскими Вятского края // Новгородская Русь: историческое пространство и культурное наследие. – Екатеринбург, 2000. – С. 306–314.

Макаров Л. Д. Русские археологические памятники в материалах Камско-Вятской экспедиции Удмуртского университета: хроника исследования // Исследовательские традиции в археологии Прикамья. – Ижевск, 2002. – С. 188–228.

Макаров Л. Д. История Вятской земли XII–XVI вв. на страницах советской исторической литературы 1920–1950 годов // Герценка: Вятские записки. – Киров, 2006а. – Вып. 10. – С. 55–64.

Макаров Л. Д. Вятские исторические сочинения XVI–XVIII вв. и проблемы их исследования // Журналистика Удмуртии: история и современность. – Ижевск, 2006б. – С. 36–43.

Макаров Л. Д. Вятская земля по летописным данным (конец XIV – начало XVI века) // Современные научные исследования: история, культурология, социальная философия. – Ижевск, 2010. – С. 5–10.

Макаров Л. Д. Вклад археологов УдГУ в исследования памятников русской колонизации Прикамья // Наука в УГПИ-УдГУ: история, современное состояние, перспективы. – Ижевск, 2011а. – С. 52–60.

Макаров Л. Д. Русские вятчане: исторические истоки формирования региональной группы населения // Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии. – Омск, 2011б. – С. 115–126.

Макаров Л. Д. Историография источниковедения русской колонизации Вятского края в XII–XV вв. // Социальная мобильность в традиционных обществах: история и современность. – Ижевск, 2012. – С. 115–120.

Макаров Л. Д. Из истории изучения русской археологической культуры Вятского края // История культуры в университетском образовании: педагогический опыт и современные образовательные практики. – Ижевск, 2013а. – С. 149–153.

Макаров Л. Д. Вятские агиографические сочинения как исторический источник // Духовная традиция в русской литературе. – Ижевск, 2013б. – С. 83–95.

Мосин А. Г. Книжная культура и летописная традиция русского населения Вятского края (XVII – сер. XIX в.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. – Свердловск, 1986. – 19 с.

Мосин А. Г. Духовная культура русского населения Вятского края эпохи феодализма в дореволюционной и советской историографии // Историография общественной мысли дореволюционного Урала. – Свердловск, 1988. – С. 55–61.

Мусихин А. Л. «Повесть о стране Вятской» в документах вятских административных учреждений конца XVIII в. // Европейский Север в культурно-историческом процессе (К 625-летию г. Кирова). – Киров, 1999. – С. 380–389.

Мусихин А. Л. Происхождение точных дат славянской колонизации Вятки в «Повести о стране Вятской» // Герценка: Вятские записки. – Киров, 2004. – Вып. 6. – С. 52–71.

Низов В. В. О вятском летописании XV в. // Чтения памяти В. Б. Кобрина «Проблемы отечественной истории и культуры эпохи феодализма». – Москва, 1992. – С. 137–140.

Низов В. В. Слободская летопись – неизвестный памятник вятского летописания XVII в. // Русская культура и мир. – Нижний Новгород, 1994. – Ч. 1. – С. 68–70.

Низов В. В. Древнейшие известия о Вятском городе Слободском // Слободской и слобожане. – Слободской, 1995. – С. 3–16.

Низов В. В. Летописи о вятском городе Котельниче // Шведы и русский Север: историко-культурные связи (К 210-летию А. Л. Витберга). – Киров, 1997. – С. 354–361.

Низов В. В. Книги и читатели средневековой Вятки // ЭЗВ. Т. 9. Культура. Искусство. – Киров, 1999. – С. 189–206.

Очерки истории Кировской области. – Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, 1972. – 455 с.

Повесть о стране Вятской / сост., пер. свящ. А. Балыбердин. – Вятка : Буквица, 2006. – 64 с.

Рохлин Д. Г. Болезни древних людей. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 198 с.

Спицын А. А. По поводу доказательства о новгородском происхождении вятчан // ВГВ. – 1880. – 27 авг. (№ 69).

Спицын А. А. Свод летописных известий о Вятском крае // КВГ на 1884 год. – Вятка, 1883. – С. 145–186.

Спицын А. А. Первый труд по истории Вятского края // ВГВ. – 1888. – № 83–87.

Уо Д. К. «Анатолиевский сборник» и проблема вятского летописания // Шведы и Русский Север: историко-культурные связи (К 210-летию А. Л. Витберга). – Киров, 1997. – С. 336–349.

Уо Д. К. История одной книги: Вятка и «не-современность» в русской культуре петровского времени. – СПб. : Дм. Буланин, 2003. – 305 с.

Широбоков И. Г. О перспективах изучения антропологических коллекций Музея древней и средневековой история Камско-Вятского междуречья Удмуртского университета // Историко-культурное наследие – ресурс формирования социально-исторической памяти гражданского общества. – Ижевск, 2013. – С. 208–211.

Эммаусский А. В. Археологические памятники Кировской области // Ленинское отношение к памятникам истории и культуры. – Киров, 1970. – С. 84–93.

Эммаусский А. В. К вопросу о времени основания города Вятки (Кирова) : учеб. посообие. – Киров : Киров. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина, 1971. – 44 с.

Эммаусский А. В. «О вятчанех как они поселись на Вятке» // Спутник агитатора. – Киров, 1983. – С. 22–27.

Эммаусский А. В. Вятка в XII–XVII вв. // ЭЗВ. Т. 4. История. – Киров, 1995. – С. 12–50, 67–75.

Эммаусский А. В. История Вятского края в XII – середине XIX века. – Киров : Киров. обл. тип., 1996. – 272 с.

Л. С. Марсадолов

Россия, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, ОАВЕС

НАУЧНОЕ ВЛИЯНИЕ РАБОТ С. И. РУДЕНКО НА СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХРОНОЛОГИИ ПАМЯТНИКОВ ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ

S. I. Rudenko is one of the most known archaeologist and ethnographer of Russia in XX century. His expedition has found in 1924, and in 1929, 1947–1949 years has excavation group of 5 big barrows in Pazyryk on Altai. He researched chronology, art and economy Pazyryk's culture. Now these problems continue to be studied by many scientists and scientific schools.

Сергей Иванович Руденко – один из самых известных и выдающихся археологов и этнографов России XX в.

Открытие и раскопки пазырыкских памятников. В 1924 г. Алтайская экспедиция С. И. Руденко обнаружила группу больших курганов в урочище Пазырык на Восточном Алтае. Летом 1929 г. по предложению начальника экспедиции С. И. Руденко и при его временном участии отряд М. П. Грязнова раскопал первый большой курган в Пазырыке. В 1947–1949 гг. Руденко продолжил и завершил в Пазырыке изучение остальных четырех больших курганов. В 1950 г. он исследовал два кургана в Башадаре, а в 1954 г. – два кургана в Туэкте (Центральный Алтай); было обнаружено много нового материала, более раннего, чем в Пазырыке.

С. И. Руденко и хронология пазырыкских памятников. В 1953 г. он опубликовал монографию «Культура населения Горного Алтая в скифское время», подводящую итоги изучения курганов Пазырыкской группы. Используя метод археологических параллелей со Скифией, Передней Азией и Китаем, первые два и, возможно, 5-й курганы были датированы V в. до н. э., а остальные – концом V, вернее IV в. до н. э. С. И. Руденко не принял ранее выделенный М. П. Грязновым шибинский этап и возражал против датировки С. В. Киселевым 1-го Пазырыкского кургана гунно-сарматским временем.

В Лаборатории археологической технологии ИИМК АН СССР, возглавляемой С. И. Руденко, в 1956–1957 гг. И. М. Замоторин выполнил *первую в России дендрохронологическую работу на археологическом материале* из пяти больших Пазырыкских курганов, а затем и Туэкты-1. Впервые с точностью до одного года была установлена очередность сооружения курганов в урочище Пазырык. В радиоуглеродной лаборатории в 1959–1961 гг. С. В. Бутомо получил несколько датировок по С-14 для ряда больших курганов Алтая. Учитывая данные С. В. Бутомо и И. М. Замоторина, а также археологические параллели, С. И. Руденко в монографии 1960 г. выдвинул следующую хронологию больших курганов Алтая: **в середине VI в. до н. э.** последовательно сооружаются курганы у д. Черновой, Араголе, 2-й Башадарский, 1, 6 и 2-й Туэктинские курганы; **во 2-й половине V в. до н. э.** – 1-й и 2-й Пазырыкские курганы, а 4-й и 3-й Пазырыкские курганы воздвигли в последней четверти V в. до н. э., а Пазырык-5 – на рубеже V–IV вв. до н. э. Период с VII по IV в. до н. э. он называл скифским временем без подразделения на более дробные культурно-исторические этапы.

© Марсадолов Л. С., 2015

Современные проблемы определения абсолютных дат больших курганов Алтая. Все археологи прекрасно знают, что археология – часть истории, а историю нельзя написать без дат. Более 70 лет ведется то затухающая, то вновь возрождаемая дискуссия о хронологии больших Пазырыкских курганов. Диапазон точек зрения разных авторов колеблется в пределах от VI до III в. до н. э., т. е. 400 лет, хотя пять больших курганов в Пазырыке были сооружены всего за 50 лет.

Определение абсолютного возраста для каждого из больших курганов Алтая в пределах двух-трех столетий ныне мало приемлемо для хорошо изученного скифо-сакского времени степного региона Евразии, а без дат с точностью 10–50 лет не сопоставить археологические памятники с датами мировой истории.

На современном этапе научных исследований, как и полвека назад, пока возможны четыре основных пути абсолютного датирования саяно-алтайских курганов: 1) археологический, 2) дендрохронологический, 3) радиоуглеродный и 4) комплексный.

По данным дендрохрологии, 1-й Туэктинский курган был сооружен на 130 лет раньше 2-го и 1-го Пазырыкских курганов, затем 4, 3 и 5-й курганы, соответственно, через 48–49 лет после Пазырыка-2. Среди археологов нет особых разногласий по поводу *относительной хронологии* больших курганов Алтая. К самым ранним большим курганам относятся Туэкта-1 и Башадар-2, затем были сооружены большие курганы в Пазырыке и самый поздний – курган в Шибе.

В 1950–2000-е гг. многие археологи верили, что радиоуглеродный метод поможет однозначно решить вопросы абсолютного датирования пазырыкских памятников. К концу XX в. начали накапливаться противоречивые факты между археологическими и естественно-научными датировками, а в начале XXI в. все более востребованным становится комплексный подход при датировании археологических объектов.

Более 50 лет назад, в 1960 г., об этом правильно написал С. И. Руденко: «Радиокарбонный метод для таких сравнительно поздних памятников, как интересующие нас курганы, не может служить надежным критерием для установления абсолютного возраста каждого кургана в отдельности. Важно только, что их возраст укладывается в пределах скифского времени, т. е. примерно между 520 и 340 гг. до н. э.».

Еще в 1930–1950-е гг. наметились два основных направления в *абсолютном датировании* больших Пазырыкских курганов – «классическое» и «омолаживающее». Ныне начинающим ученым и студентам стало трудно разобраться во взглядах разных школ и ученых, поэтому часто археологи не критически воспринимают даты из последних по времени публикаций, хотя там тоже могут быть ошибки (как, например, произошло с ошибочными денроопределениями Е. И. Захарьевой, хотя она проводила исследования через 15 лет после И. М. Замоторина).

«Классическое» направление – это даты классического периода – V в. до н. э., для 1-го и 2-го Пазырыкских курганов – **ок. 450 г. до н. э.** При такой датировке находки из Пазырыков-1 и 2 имеют много археологических аналогий не только в соседних, но и в удаленных регионах Евразии – в Прикубанье, Поволжье, Приуралье, Северном Причерноморье, Передней Азии (Сузы, Персеполь), Греции и др. Пазырыкские курганы близки не только к ранним Семибратним на Кубани, но и к Нимфейским курганам в Северном Причерноморье, Журовским на Украине, курганам из Мечетсая, Филипповки в Приуралье, Рогозихе в Приобье и к другим памятникам. Многие российские и зарубежные ученые (Г. Азарпай, А. Ю. Алексеев, М. И. Артамонов, Л. Л. Баркова, А. Р. Конторович, Е. Ф. Королькова, С. В. Киселев, Л. С. Марсадолов, Е. В. Переводчикова, С. И. Руденко и другие археологи) обратили внимание на поразительное сходство Пазырыкских и Семибратних курганов. Сходство между этими памятниками прослеживается по стилю, сюжетам и композиции независимо от материала, из которого изготовлены разные предметы во 2-й половине V в. до н. э. (см. рис.). Именно в Пазырыке-2 и близких к нему по времени ранних Семибратних на Кубани (рис.: *12, 25, 30*) и Филипповских курганах в Приуралье были найдены импортные серебряные ахеменидские предметы, которые, вероятно, могли быть привезены воинами-наемниками, если они принимали участие в военных событиях греко-персидской войны, когда персы широко использовали помощь воинов-саков, скифов и других кочевников.

О «дальних родственных» связях между Алтаем и Кубанью свидетельствует сходство не только отдельных предметов, но и погребального обряда с захоронением человека с конем в одной яме (восточная ориентировка человека, положение на спине и т. д.), что прослеживается только в ранних Пазырыкских и Семибратних курганах середины V в. до н. э. Вероятно, если бы были известны только радиоуглеродные определения, то и датировка Семибратних курганов была бы тоже очень спорной, хотя даты Семибратних курганов в течение последних 60 лет остаются неизменными.

Сопоставление предметов из курганов Алтая и Кубани (2-я половина V в. до н. э.):
Пазырыкские курганы: *1–2, 4–5, 10, 12, 15–16* – Пазырык-2; *3, 6–9, 11, 13* – Пазырык-1; *14* – Пазырык-5; Семибратние курганы: *19–20* – 2-й курган; *21–30* – 4-й курган; *17* – 3-й курган; *18* – 6-й курган.
По материалам публикаций С. И. Руденко, М. П. Грязнова и Л. С. Марсадолова, составил Л. С. Марсадолов

«Омолаживающее» направление предлагает даты для Пазырыков – **2-я половина IV–III вв. до н. э. и позднее**. Еще в 1950-е гг. С. И. Руденко подробно проанализировал проблему предполагаемого рядом археологов сходства находок из Пазырыка и Ноин-Улы и показал их хронологическое различие. За период более чем 60 лет археологи этого направления не привели надежных археологических аналогий Пазырыкам с хорошо датированными памятниками IV–III вв. до н. э. в Восточной Европе.

Как показано в книге П. И. Шульги в 2010 г., на современном этапе датировки китайских средних и рядовых курганов по своей точности не могут сравниться с алтайскими датами. Например, основное погребение и впускное погребение в кургане M16 и курган M01 могильника Цзяохэ Гоубэй китайские археологи датировали ханьской эпохой, т. е. II в. до н. э. – II в. н. э. П. И. Шульга в ранних работах датировал основное погребение кургана M16 1-й половиной V в. до н. э., позднее – концом V в. до н. э., а соседний курган M01 – 2-й половиной IV в. до н. э., в соответствии с поздними датами для Пазырыков. Следует отметить, что по археологическим аналогиям с предметами из Пазырыкских и Филипповских курганов, по «классическим» датировкам для Пазырыка курган M16 в Цзяохэ Гоубэй можно датировать 1-й половиной, а курган M01 – 2-й половиной V в. до н. э., что позволяет устранить большой хронологический разрыв, как между курганами M16 и M01, так между ними и Пазырыками.

Какие же обобщающие хронологические выводы можно сделать через 85 лет, прошедших со времени раскопок кургана Пазырык-1 в 1929 г., через 60 лет после исследования других больших курганов в Пазырыке, Башадаре, Туэкте и публикации их материалов? А выводы *достаточно печальные*: археологи до сих пор не могут договориться об абсолютных датах самых известных курганов Алтая, где *найдены не единицы, а тысячи предметов*. До сих пор археологи не могут договорится, к каким же надежно датированным евразийским памятникам близки большие курганы Алтая. Все больше становится археологических работ, в которых при публикации новых материалов почти нет археологических аналогий и датировок, а только «туманные» широкие радиоуглеродные даты. С 1990-х гг. выводы зарубежных специалистов стали важнее наших собственных исследований. Все дело в том, что археологи перестали верить своим глазам, интуиции, археологическим аналогиям с хорошо датированными памятниками в других регионах России.

Определения абсолютных дат больших курганов Алтая – Туэкты-1, Башадара-2, Пазырыков – важная научная задача для датирования ключевых памятников пазырыкской культуры, главнейших для интерпретации накопленных обширных археологических материалов не только Алтая, но и соседних регионов Центральной Азии – Казахстана, Тувы, Хакасии, Монголии и др.

На современном, сложном для российской науки этапе нужна консолидация разных научных школ для решения задачи абсолютной хронологии больших и малых курганов Алтая, новые детальные анализы археологических аналогий, дендро- и радиоуглеродных определений. Не отдельные научные школы и направления, а только совместные обсуждения за круглым столом специалистов разных направлений помогут выйти из хронологического тупика для пазырыкских датировок, продолжающего более 60 лет.

Сохранение наследия С. И. Руденко. Археологические находки из курганов в Пазырыке, Башадаре и Туэкте исчисляются не десятками, не сотнями, а тысячами предметов, большинство из которых сохранились в первозданном виде. Из двенадцати изученных археологами в XX в. больших курганов Алтая восемь (Пазырыки 2–5, Башадар 1–2, Туэкта 1–2) были раскопаны под руководством С. И. Руденко и еще четыре кургана – по его инициативе или частично при его временном участии (Пазырык-1, Шибе, Катанда, Берель – исследования М. П. Грязнова, А. А. Гавриловой и С. С. Сорокина).

Всего в девяти больших курганах Алтая было обнаружено 92 коня в полном снаряжении (Пазырыки, Туэкта, Башадар). Вдумайтесь в это число – **92 коня** – приличный табун середины I тыс. до н. э., не имеющий по сохранности аналогов в мире.

Рукописные научные материалы С. И. Руденко по Алтаю хранятся в архивах РАН и ИИМК РАН в Санкт-Петербурге и Барнауле.

В Эрмитаже хранятся, реставрируются, экспонируются и изучаются коллекции из больших курганов Алтая. Новые эрмитажные экспозиции по материалам раскопок С. И. Руденко в Пазырыке, Туэкте и Башадаре были открыты в 2009 и 2011 гг. в трех залах музея.

В Алтайском государственном университете (Барнаул) были проведены научные конференции к 100- и 120-летним юбилеям С. И. Руденко, а в ИИМК РАН, где он работал долгое время, не было проведено ни одной подобной конференции, хотя в Омске и Санкт-Петербурге (ИИМК РАН) были

организованы и проведены конференции к 90-, 100-, 110-летним юбилеям М. П. Грязнова. На двух юбилейных заседаниях, посвященных юбилеям С. И. Руденко, в секции этнографии Русского географического общества (Санкт-Петербург), в 2010 и 2015 гг. Л. С. Марсадоловым, Д. Г. Савиновым и Г. И. Зайцевой были прочитаны научные доклады об изучении пазырыкских материалов.

Для более достоверных научных выводов по актуальным проблемам пазырыкской культуры Алтая необходимы дальнейшие совместные многогранные исследования всех научных школ и специалистов.

А. В. Овчинников

Россия, Казань, национальный исследовательский технологический университет

ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ В БРИКОЛАЖЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТ И. Л. ИЗМАЙЛОВА)

According to materials of Kazan historian I. L. Izmailov analyzed the specifics of usage the ideas of ethnoarchaeology in the discourse of national histories. Analyzed the biography of the researcher and proposed them a “theoretical model” of “ethnoarchaeological reconstructions”, which substantiate the usage archaeological sources for ethnogenetic myths.

Случившаяся в 1990–2000-х гг. на постсоветском пространстве так называемая этническая мобилизация способствовала активизации конструирования национальных историй [*Шнирельман*, 2003; 2006]. При изучении этого феномена, пожалуй, одним из самых важных является вопрос о «зоне демаркации» академического и обыденно-массового знаний.

Наука в современном понимании этого слова возникла в особых социальных условиях индустриальных, в основном протестанско-капиталистических стран. В социумах, которые можно условно назвать «незападными» или постаграрными и посттрадиционными, наука является заимствованным престижным институтом, и идеалы научного поиска часто вступают в противоречие с особенностями мировоззрения, для которого характерно восприятие окружающей действительности не с позиций логики, а сквозь призму мифоэмоциональных образов. Через эти образы происходит структурирование реальности и группировка эмпирического материала. Одними из таких образов являются «народ», «этнос», «нация», которые, как варны, касты, сословия, претендуют на объективное существование отдельно от сознания человека. Эти образы не являются абстрактными понятиями, поэтому они не могут служить теоретико-методологическим основанием научных исследований (собственно научным, видимо, следует признать анализ представлений об этническом и национальном). Однако, как показывает постсоветский опыт, в местных академических гуманитарных штудиях именно этнонациональные образы выступают точкой отсчета конструирования нарратива, особым бриколажем, удерживающим мысль в строго определенных рамках. В подавляющем большинстве случаев эти образы не верифицируются и не фальсифицируются, однако в рамках национальных историй встречаются редкие попытки осмысления базовых терминов и построения «теоретических моделей». Может ли сам факт таких попыток положить начало процессу демифологизации национальных историй?

Поставленный вопрос имеет прямое отношение к этноархеологии, так как нередко написанные в ее рамках работы оказываются включенными в те или иные варианты этногенетических мифов, а ведущиеся между этноархеологами методологические дискуссии часто бывают затяжными и малопродуктивными из-за лично-обыденных представлений авторов. На наш взгляд, эмпирическим материалом для ответа на вопрос может послужить изучение творчества казанского историка и археолога, специализирующегося на национальной истории и этноархеологии, Искандера Леруновича Измайлова (р. 1960). В 1983 г. он окончил исторический факультет Казанского госу-

© Овчинников А. В., 2015

дарственного университета. Большое влияние на его становление как ученого оказал известный казанский археолог Альфред Хасанович Халиков (1929–1994). В 1996 г. он защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Археология» (тема: «Вооружение и военное дело волжских булгар X–XIII вв.»). С начала 1990-х гг. И. Л. Измайлов участвует в бурной общественно-политической жизни Татарстана, переживавшего тогда, как и другие регионы бывшего СССР, актуализацию национального самосознания различных групп населения. Судя по библиографии его работ, именно в то время у профессионального археолога появляется интерес к проблемам этнологии. Кроме специфической политической ситуации, большую роль в этом, видимо, сыграло общение, переросшее затем в научное сотрудничество с известным этнологом Дамиром Мавлявеевичем Исхаковым (р. 1952). Д. М. Исхаков был и остается одним из видных деятелей татарского национального движения, активно участвующим в общественно-политической жизни Татарстана и стремящимся сделать свои многочисленные научные и публицистические работы фактором укрепления самосознания «единой татарской нации».

Результатом сотрудничества И. Л. Измайлова и Д. М. Исхакова стала, с одной стороны, их критика лагеря «булгаристов» – сторонников альтернативной версии татарской национальной истории, с другой – совместные работы по истории татарского народа, представляющие собой типичные этногенетические нарративы, хронологически и географически охватывающие тысячи лет и огромные пространства Евразии [*Исхаков*, 2000; 2001; 2007]. В этих текстах за Измайловым были полностью «закреплены» древний и раннесредневековый периоды, история и археология Волжской Булгарии. Скудость письменных источников обусловила внимание к археологии, а характер самого жанра национальной истории сделал неизбежным облечение этого внимания в форму этноархеологии. Знание Исхаковым последних достижений мировой этнологической науки, стремление доказать научность создаваемого текста привели к созданию археологом Измайловым «этноархеологической методики определения» «булгарского средневекового этноса» [*Измайлов*, 2003; 2007].

В относительно завершенном виде логику этой «методики» можно проследить в автореферате докторской диссертации И. Л. Измайлова [2013]. Диссертация защищалась 1 ноября 2013 г. в диссертационном совете при Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана по специальности «Археология». Примечательна формулировка первого заданного диссертанту вопроса: «Что изучает археология?» В развернувшейся дискуссии участвовал автор этих строк, суть возражений которого к представленной Измайловым «методике» будет изложена ниже. В Казани диссертация была успешно защищена, однако после дополнительно рассмотрения 28 ноября 2014 г. в Институте археологии РАН [*Подразделения*..., 2015] была отклонена ВАК как не соответствующая заявленной специальности.

По материалам автореферата проанализируем этноархеологические штудии казанского исследователя. Исходной точкой его рассуждений выступает априорное признание существования «этноса волжских булгар» [*Измайлов*, 2013: 3]. Это утверждение является следствием опрокидывания в прошлое современной национально ориентированной картины мира, а не результатом анализа источников. Согласно логике национализма, если сегодня население планеты разделено на народы (в этническом смысле этого слова), то и для предшествующих эпох было характерно то же самое. Встречающиеся в источниках «булгары» якобы могут быть только «этносом» и никаким другим видом общности. В научном плане этнизация термина «булгары» вовсе не оправдана, наоборот, если мы ее отбросим, то придем к более адекватным источникам историческим реконструкциям. Сегодня в литературе появляется все больше обоснованных утверждений о том, что для многих регионов мира этничность является плодом колониализма и капитализма, и до эпохи модерна идентичность имела плавающий ситуационный характер, а самоидентификация людей опиралась на социальные семейно-клановые и общинные связи, имевшие к языку и культуре опосредованное значение [*Шнирельман*, 2013]. Полноценная реализация этих положений выводит из рамок национальных историй древний и средневековый периоды, оставляя лишь XIX и XX вв., на протяжении которых складывалось этническое самосознание. Однако игнорирование достижений этнологической науки грозит этнонациональным историческим нарративам потерей наукообразности.

Судя по автореферату и другим работам И. Л. Измайлова, выход из этой противоречивой ситуации был найден им в дефиниции «особого средневекового этноса» [*Измайлов*, 2013: 18]. Определения этого ключевого для своего исследования понятия автор не приводит. Постараемся разобраться самостоятельно. Измайлов совершенно верно пишет, что средневековое общество делится на «страты – сословия, которые имеют не только свою культуру, отраженную в их одежде, отношении к ору-

жию и т. д., но и разные представления о своей общности» [там же: 8]; «в средневековом обществе ни культура, ни язык не являются основой для формирования этнополитических единиц» [там же: 20]. Далее он пишет, что «для средневековых обществ не была характерна этническая идентичность, которая была слита с сословно-социальным статусом, конфессиональной принадлежностью и политической властью» [там же: 8]. В последнем утверждении мы видим логическое противоречие: с одной стороны, этничность не была характерна, с другой – была слита со «статусом», «принадлежностью» и «властью». Измайлов прав в том, что для традиционного общества типичны социально-политическая и религиозная (фактически не разделимая с первой) идентичности, в формировании которых культура и язык не играют привычной нам определяющей роли. Здесь отчетливо видна возможность отказаться от поиска этничности там, где ее явно нет, но специфика конструирования национальной истории не дает этого сделать. Законы бриколажа заставляют Измайлова игнорировать логические противоречия и упорно пользоваться терминами с приставкой «этно-», результатом чего и явился «особый средневековой этнос» как конгломерат социальных групп, не обладающих единым языком и культурой, скрепленных подчинением одной правящей династии, этничность которых является плодом воображения автора, пишущего свои тексты в эпоху модерна и национализма.

Неприемлемые в научном анализе допущения делают возможным длинную цепь ошибок. Если булгарский «этнос» имел место, то, согласно современным представлениям, у него должна была быть своя «ментальность». И. Л. Измайлов заявляет средневековую булгарскую ментальность как источник «сведений о ключевых аспектах этнополитических представлений» и делает ее изучение основой для «системной этноархеологической методики» [там же: 17]. Обращение к этноархеологии в данном случае некорректно, так как последняя изучает «живую» и доступную для исследователя этнографическую реальность (включая и материальную культуру), а не этничность «реально функционировавшего (в IX–XIII вв.! – *А. О.*) общества» [там же]. Только затем полученные результаты соотносятся с археологическим материалом отдаленных эпох и создаются гипотетические модели исторических реконструкций [*Томилов*, 2015].

Вместо полноценного этнографического материала у И. Л. Измайлова имеется набор отрывочных данных средневековых письменных источников о группе (или группах) населения, отделенных от исследователя тысячелетием. Эти немногочисленные источники не являются булгарскими и характеризуют население Волго-Камья X–XIII вв. с позиции внешнего наблюдателя. Единство булгарской общности могло существовать только в сознании этого наблюдателя (дипломата, путешественника, купца) и обуславливаться его интересами, которые он преследовал при классификации населения. В специальной литературе отмечается, что этничность может быть внутренней, декларируемой, приписываемой другими, официально фиксируемой идентичностью [*Коростелев*, 2002]. Каким образом подобные варианты этничности можно изучить у человека, жившего тысячу лет назад? Причем речь идет именно о реальном человеке, а не некой общности, которая является лишь категориальным инструментом современного исследователя. Приблизиться к пониманию внутренней этничности человека можно, например, при помощи глубинного интервью, но как проделать эту работу с жителем Биляра XI в.?

Неверное, понимание этноархеологической методики и скудость письменных источников не помешали И. Л. Измайлову «реконструировать» (вернее, сконструировать) булгарскую «ментальность», «этнополитическими автостереотипами» которой оказались связь с династией, представления о едином прошлом и своей миссии в исламском мире [*Измайлов*, 2013: 54]. В средневековом обществе нахождение под властью одной династии вовсе не способствовало формированию общего самосознания подданных, и, судя по «Запискам…» Ахмеда Ибн Фадлана, булгары не были исключением. Вывод об общих исторических представлениях Измайлов сделал прежде всего на основе сведений о несохранившейся «Истории Булгарии» Якуба Ибн Нугмана. Видимо, это была история не страны или народа, а правящей династии, поэтому наличие «Истории…» не говорит о разделяемых всем населением исторических мифах, что пытается доказать Измайлов. И наконец, принятие ислама тоже не доказывает факта формирования этнического самосознания. Так как религия в средневековом обществе имела социальный характер, для подавляющего большинства населения в ней важны были ритуалы, а не догматы (вспомним сюжеты с принятием религии князем Владимиром и эльтебером булгар Алмушем, описанные, соответственно, в ПВЛ и «Записках…» Ахмеда Ибн Фадлана). Отсюда следует, что религиозное единство вовсе не означало единства культурного (человек под страхом наказания мог не есть свинины, что подтверждается археологическим материалом с булгарских памятников, и в то же время не считать «своим» живущего в соседней общине мусуль-

манина из неродственного клана). Говоря об исламе как важном факторе булгарской идентичности, Измайлов идет в русле современного этнонационализма, стремящегося включить в свою орбиту ту или иную мировую религию. «Булгарский ислам», видимо, является составной частью распространяемой сегодня в Татарстане концепции «татарского ислама».

В этнокультурно и этносоциально значимых элементах этнического контекста булгарской ментальности И. Л. Измайлов пытается выявить «те признаки и артефакты, которые могли бы быть зафиксированы археологически» [там же: 17]. Нетрудно догадаться, что затем «становится целесообразным обратный путь рассмотрения типологизации этнокультурных явлений археологической культуры, но только под углом зрения выявленного этнического контекста и как способ его уточнения» [там же]. Подобная «методика» открывает широкий простор для использования археологических источников в этногенетическом мифотворчестве.

Отвечая на поставленный в начале статьи вопрос, можно констатировать, что сам факт попыток теоретизирования в рамках национальных историй не позволяет говорить о демифологизации и «научной реабилитации» этого жанра. Наоборот, есть основания утверждать о «квазитеоретизировании», цель которого, в отличие от научной методологии, состоит не в выработке четких определений базовых понятий, а в оперировании расплывчатыми образами, отсутствие полного понимания которых позволяет интерпретировать эмпирический материал в зависимости от конкретной ситуации, что является одним из признаков мифа.

Измайлов И. Л. Этноархеологическая методика определения (на примере исследования средневековой булгарской этнополитической общности) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2003. – С. 101–105.

Измайлов И. Л. Булгарский средневековый этнос: критика традиционных методик определения // Этнологические исследования в Татарстане. Вып. I. Материалы итоговой конференции Ин-та истории им. Ш. Марджани АН РТ, посвящ. 10-летию Ин-та. – Казань, 2007. – С. 5–17.

Измайлов И. Л. Волжская Булгария в IX – первой трети XIII века: становление социальной, религиозной и этнополитической структуры общества : автореф. дис. … д-ра. ист. наук. – Казань, 2013. – 68 с.

Исхаков Д. М. Этнополитическая история татар в VI – первой четверти XV в. / Д. М. Исхаков, И. Л. Измайлов. – Казань : Иман, 2000. – 136 с.

Исхаков Д. М. Этнополитическая история татар в VI – первой четверти XV века / Д. М. Исхаков, И. Л. Измайлов // Татары / под ред. Р. К. Уразмановой, С. В. Чешко. – Москва, 2001. – С. 41–100. – (Народы и культуры).

Исхаков Д. М. Этнополитическая история татар (III – середина XVI вв.) / Д. М. Исхаков, И. Л. Измайлов. – Казань : Школа, 2007. – 356 с.

Коростелев А. Д. Парадоксы этнической идентичности // Идентичность и толерантность. – Москва, 2002. – С. 86–110.

Подразделения. Диссертационный совет // Институт археологии РАН : [сайт]. – URL: http://archaeolog.ru/?id=13 (дата обращения: 01.03.2015).

Томилов Н. А. Этноархеология как научное направление // Кафедра этнографии и музееведения Омского государственного университета : [сайт]. – URL: http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=402 (дата обращения: 01.03.2015).

Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. – Москва : Академкнига, 2003. – 592 с.

Шнирельман В. А. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. – Москва : НЛО, 2006. – 690 с.

Шнирельман В. А. Этничность в археологии – реальность или фантом? // Этничность в археологии или археология этничности? Материалы круглого стола / ред. В. С. Мосин, Л. Т. Яблонский. – Челябинск, 2013. – С. 48–79.

В. А. Подобед, А. Н. Усачук, В. В. Цимиданов

Украина, Донецк, областной краеведческий музей

ЛИСИЦА В «ТЕКСТАХ» КУЛЬТУР СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ ЭПОХИ БРОНЗЫ

The authors examine a place of a fox in the beliefs of the steppe and forest-steppe tribes of the Bronze Age Eurasia. They have analyzed burials with fangs of the animal and other complexes and assume that a fox was considered as a protector of women and marriage, a creature which enabled priests to contact to the other world.

Человек, который любит искусство ради искусства... самое большое удовольствие зачастую черпает из наименее значительных и ярких его проявлений.

А. Конан Дойль. Медные буки

В некоторых культурах эпохи бронзы степной и лесостепной Евразии получили распространение подвески из зубов (как правило, клыков) животных семейства псовых – собаки, волка, лисицы, корсака. Несомненно, с каждым из перечисленных зверей были связаны специфические нюансы знаковой нагрузки. Мы попытаемся выяснить, какое место в верованиях племен бронзового века могла играть лисица.

Э. Р. Усманова показала, что в синташтинской и алакульской культурах подвески из лисьих клыков коррелируются с погребениями женщин, детей и подростков [*Усманова*, 2010: табл. 2][*]. По мнению исследовательницы, эти предметы выступали в качестве оберегов матери и ребенка [там же: 83]. На наш взгляд, применительно к некоторым комплексам можно предполагать и иное функциональное назначение зубов лисицы.

В захоронении синташтинского времени из Бестамака (Костанайская область, Республика Казахстан), яма 2, близ костей ног женщины 30–35 лет лежали 3 клыка лисицы и бронзовый браслет, являвшиеся, вероятно, частями одного украшения, а также костяной диск с отверстием. За спиной размещались две группы предметов: а) сосуд, фрагменты бронзовых игл и других предметов, кусочки медистого песчаника, камешки (1 красный и 5 желтых), кусок окаменевшей смолы и астрагал овцы; б) сосуд, глиняная лепешка (крышка от него?), бронзовые шило, фрагмент кольца и подвеска, 2 кремневых наконечника, 2 абразива, 2 обломка пестов, сплески и капельки меди, кусок медистого песчаника, 150 желтых камешков, створка раковины, 3 резца бобра и обожженный астрагал овцы. В могиле выявлены и другие вещи – сосуды, кремневые отщеп и скребок, каменный цилиндрик, бронзовые нож, браслеты и бляшки, костяные пронизи, пастовые бусы [*Калиева*, 2008: 36–37]. Стоит заострить внимание на двух нюансах: а) клыки лисицы не находились на теле умершей, откуда правомерен вывод, что охранительная функция была для данных вещей не основной; б) в состав комплекса входило много явно неутилитарных предметов, откуда правомерно допущение о принадлежности умершей к служителям культа. При такой интерпретации клыки лисицы могли быть призванными обеспечивать их обладательнице помощь данного зверя [*Пропп*, 1986: 192–193].

В яме 8 того же могильника исследовано парное погребение женщины 25–30 лет и девушки 13–15 лет. На левой руке старшей из умерших находились 2 браслета, к одному из которых были прикреплены 5 клыков лисицы. На правой руке покойницы размещались бронзовые бляшки, браслет и клык собаки. Прочий инвентарь, связанный с этим костяком, – сосуд, 2 бронзовые скобы, височные подвески, костяные пронизи. Второй костяк сопровождался разнообразными украшениями и другими артефактами. Между черепами усопших выявлены остатки берестяной коробочки(?), где лежали бронзовые шило, игла, кусочки металла, камешки и по одному клыку собаки, волка и лошади [*Калиева,* 2008: 50–54]. Учитывая содержимое «коробочки», можно вновь предположить связь погребен-

[*] О том же свидетельствуют материалы Чистолебяжского и Хрипуновского могильников [*Матвеев*, 1998: 111, 146, 148, 165].

© Подобед В. А., Усачук А. Н., Цимиданов В. В., 2015

ных (или одной из них) с ритуальной функцией*. Любопытно и то, что у старшей покойницы клыки лисицы, с одной стороны, и клык собаки – с другой, находились на разных руках, что, очевидно, подчеркивало оппозицию между данными животными, существовавшую в представлениях людей, оставивших рассматриваемый могильник.

Подвески из клыков лисицы встречаются и в захоронениях срубной культуры, причем, по имеющимся у нас данным, – не во всем ареале срубной общности, а лишь на Южном Урале (0,1 % учтенных срубных захоронений) и в Среднем Поволжье (0,3 % захоронений). Стоит отметить, что из четырех учтенных нами срубных погребений с лисьими клыками три демонстрируют корреляцию лисицы с женским полом. Так, в парном захоронении из Качкиново (Башкортостан, РФ), 5/1, близ одного из погребенных находились 3 просверленных клыка – 2 лисьих и 1 волчий [*Морозов,* 2003: 8]. Судя по параметрам скелетов, умершие являлись взрослыми. А нахождение на руках усопших цельнометаллических браслетов свидетельствует в пользу женского пола [см.: *Цимиданов*, 2006: табл. 5].

В погребении 1/3 из Масленниково I (Самарская область, РФ) также присутствовал браслет, что позволяет предполагать женский пол. Возраст умершей – 9 лет. Ее сопровождали 5 подвесок из клыков: 1 из лисьего и 4 из собачьих. При этом 1 подвеска лежала в головах девочки (из текста публикации не ясно, был ли это клык лисицы, но последнее весьма вероятно), а 4 – близ шейных позвонков**. Другой инвентарь представлен 2 сосудами, бронзовой височной подвеской, I и II фалангами лошади [*Мышкин*, 2012: 299–300; *Рослякова*, 2012: 360].

Погребение 2/2 из Рождествено I (Самарская область, РФ) может быть причислено к женским в силу присутствия здесь набора украшений (височная подвеска и бусины) [*Цимиданов*, 2006: табл. 5]. Умершую 7 лет сопровождали 2 подвески из клыков лисицы. Они размещались за черепом в области шеи, причем были сломаны в районе отверстий для подвешивания. В могиле среди прочего инвентаря выявлены также 5 I и 4 II фаланги лошади [*Крамарев,* 2012: 87; *Рослякова,* 2012: 358].

Наконец, в погребении 3/8 этого же могильника, где один из умерших являлся «маленьким ребенком», а возраст второго (кремированного) не определен, находились лежавшие один возле другого клык лисицы и клык собаки с просверленными отверстиями. Изделия были равноудалены от обоих погребенных [*Крамарев*, 2012: 94–95; *Рослякова*, 2012: 358].

Итак, в срубной культуре лисьи клыки, похоже, являлись исключительно женскими атрибутами. Кроме того, в как минимум половине учтенных комплексов они не находились в момент похорон на телах погребаемых, а еще в одном случае были сломаны. Отсюда видно, что даже если рассматриваемые артефакты и являлись оберегами, то в ходе погребения необходимость в этой их функции явно отпадала. Заострим внимание и на том, что дважды лисьи клыки коррелировались с фалангами лошади. Что стоит за данным фактом, пока не ясно. Наконец, следует отметить, что в срубном обществе подвески из клыков лисицы не являлись атрибутом служителей культа – ни одно из рассмотренных выше погребений не демонстрирует явных знаков этого статуса.

Суммируя изложенное выше, правомерно допустить, что население бронзового века рассматривало лисицу как покровительницу женщин, девушек и девочек. Подобные представления дожили до нового времени. В частности, их можно найти в фольклоре осетин [*Афанасьев*, 1976: 126] и восточных славян [*Гура*, 1997: 208, 212, 253; *Тянина*, 2011: 167; *Возный*, 2013: 169]. Добавим, что у многих народов Евразии встречаются сказки, где лисица (или лис) помогает юноше жениться [см., напр.: *Сказки...*, 1976: 468–480; *Турецкие сказки*, 1986: 39–42; *Сказки...*, 1988: 463–469; *Курдские сказки...*, 1989: 457–458]. Очевидно, здесь мы сталкиваемся с отголосками образа лисицы – патронессы брачных уз. Как мы полагаем, подобный персонаж присутствовал в мифологии носителей алакульской культуры. На это, в частности, указывает

---

* Стоит упомянуть и погребение 35 могильника Тузовские Бугры 1 (Алтайский край, РФ), относящееся к эпохе энеолита. Здесь выявлены нижняя челюсть и клык лисицы, а также другие многочисленные и разнообразные артефакты, значительная часть которых была, очевидно, нашита на облачение умершего [*Кирюшин*, 2011: 110]. Судя по находившимся в могиле остаткам лука, погребенный являлся мужчиной. «Варварское великолепие» его одеяния и семантическая «перегруженность» комплекса неутилитарными предметами делают весьма вероятными предположения о том, что этот человек при жизни имел отношение к культовому служению и, возможно, являлся шаманом.

** Похоже, в данном случае мы вновь имеем дело с оппозицией «лисица – собака».

накосник* из могильника Лисаковский I (Костанайская область, Республика Казахстан), группа А, ограда 23, п. 2. В его состав, помимо бронзовых компонентов, входили клык, 3 пяточные кости и астрагал лисицы [*Усманова*, 2005: 36; табл. 44].

В фольклоре лисица порой помогает герою добывать «чудные чуда» [*Шотландские народные...*, 1967: 259–274; *Сказки...*, 1988: 463–469]. Согласно концепции В. Я. Проппа, все эти «чуда» находятся в царстве мертвых [*Пропп*, 1986: 47–51 и след.]. В данной связи уместно вспомнить и легенду о спасении мессенского царя Аристомена из пропасти (семантически тождественной входу в Аид) с помощью лисицы [*Павсаний*, 1996, IV, 18, 3–4] или лисицу, помогающую Орфею, когда он спускался в мрачное царство Аида за Эвридикой [*Михайлов*, 1987: 21]**. Отдельно укажем на связь лисицы с культом мертвых в китайской традиции, которая насчитывает без малого два тысячелетия [*Алимов*, 2008: 52]. Отсюда реконструируется еще одна мифологическая функция рассматриваемого зверя – он воспринимался как посредник между мирами. Существование отмеченной мифологемы в эпоху бронзы подтверждается некоторыми комплексами срубной культуры. Так, в кургане 5 из Комаровки (Самарская область, РФ) на краях погребальной площадки находились черепа и кости нескольких животных, в том числе лисицы [*Алихова*, 1955: 93]. Локализация останков интересующего нас хищника на стыке пространства, отведенного умершему, и мира живых людей свидетельствует в пользу того, что носители срубной культуры считали лисицу «пограничным» зверем. А в кургане 11 из Кайбел, (Ульяновская область, РФ), помимо серии срубных захоронений, была выявлена яма с костяком лисицы [*Мерперт*, 1958: 90]. Зверь словно призван был сопровождать умерших на тот свет. Очевидно, именно вера в медиативные способности лисицы и побуждала служителей культа обращаться к ней за помощью.

Алимов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая. – Санкт-Петербург : Наука, 2008. – 284 с.

Алихова А. Е. Курганы эпохи бронзы у с. Комаровки // КСИИМК. – 1955. – Вып. LIX. – С. 91–99.

Афанасьев Г. Е. Дохристианские религиозные воззрения алан (по материалам амулетов могильника Мокрая Балка) // СЭ. – 1976. – № 1. – С. 125–130.

Возный И. П. Пережитки языческих верований в быту древнерусского населения Прут-Днестровского междуречья // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Иркутск, 2013. – Т. 2. – С. 167–172.

Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. – Москва : Индрик, 1997. – 912 с.

Иванов В. Дионис и прадионисийство. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1994. – 343 с.

Калиева С. С. Могильник у поселения Бестамак (предварительное сообщение) / С. С. Калиева, В. Н. Логвин // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2008. – № 9. – С. 32–58.

Кирюшин Ю. Ф. Раковины моллюсков *Dentalium* и *Corbicula* в погребениях могильника Тузовские Бугры 1 / Ю. Ф. Кирюшин, К. Ю. Кирюшин, А. В. Шмидт, Д. В. Кузменкин // Изв. АлтГУ. – 2011. – Вып. № 4–1. – С. 105–114.

Крамарев А. И. Раскопки Рождественского I курганного могильника на юге Самарской Луки / А. И. Крамарев, О. В. Кузьмина // Бронзовый век. Эпоха героев (по материалам погребальных памятников Самарской области). – Самара, 2012. – С. 83–157.

Курдские сказки, легенды и предания. – Москва : Наука, 1989. – 624 с.

Матвеев А. В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск : Наука, 1998. – 417 с.

Мерперт Н. Я. Из древнейшей истории Среднего Поволжья // МИА. – 1958. – № 61. – С. 45–156.

Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. – Москва, 1987. – С. 3–34.

Морозов Ю. А. Погребальные памятники срубной культуры бассейна реки Дема (Башкирское Приуралье) / Ю. А. Морозов, Р. А. Нигматуллин. – Уфа : ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2003. – 48 с.

Мышкин В. Н. Раскопки курганных могильников Масленниково I и Карабаевка I в Самарском Поволжье / В. Н. Мышкин, О. В. Кузьмина // Бронзовый век. Эпоха героев (по материалам погребальных памятников Самарской области). – Самара, 2012. – С. 296–347.

---

* Накосники алакульской и других культур эпохи бронзы, скорее всего, были свадебными атрибутами, поскольку, судя по этнографическим данным, свадьба была именно тем событием, когда женщина надевала наиболее «богатые» украшения [*Цимиданов*, 2012: 53].

** Укажем на значение лисицы в дионисийском культе [*Иванов*, 1994: 118–119].

Павсаний. Описание Эллады. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1996. – Т. I. – 354 с.

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1986. – 367 с.

Рослякова Н. В. Археозоологические комплексы из могильников эпохи поздней бронзы Самарского Поволжья / Н. В. Рослякова, П. А. Косинцев // Бронзовый век. Эпоха героев (по материалам погребальных памятников Самарской области). – Самара, 2012. – С. 348–378.

Сказки народов Памира. – Москва : Наука, 1976. – 536 с.

Сказки народов мира. Т. IV. Сказки народов Европы. – Москва : Детская литература, 1988. – 720 с.

Турецкие сказки. – Москва : Наука, 1986. – 397 с.

Тянина Е. А. Амулеты средневекового Новгорода из зубов и костей животных // Археологические вести. – 2011. – Вып. 17. – С. 159–168.

Усманова Э. Р. Могильник Лисаковский I: факты и параллели. – Караганда ; Лисаковск : Изд-во КарГУ, 2005. – 232 с.

Усманова Э. Р. Костюм женщины эпохи бронзы Казахстана. Опыт реконструкций. – Караганда ; Лисаковск [б. и.], 2010. – 176 с.

Цимиданов В. В. Срубная культурно-историческая общность: мужчины и женщины // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – 2006. – № 5. – С. 193–214.

Цимиданов В. В. «Золушки» срубной культуры // Літопис Донбасу. – 2012. – № 20. – С. 45–58.

Шотландские народные сказки и предания. – Москва : Худ. лит, 1967. – 327 с.

С. Ф. Татауров

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН, государственный университет им. Ф. М. Достоевского

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МИФЫ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

The article is devoted to problem of definition of time and nature of distribution of Islam in Western Siberia. There are considered criteria of allocation of signs of a Muslim ceremony of burial in materials of funeral complexes of the XIII–XVIII centuries. There are analyzed written sources which are given in scientific publications. The factors which had impact on distribution of this religion among the Turkic population of Western Siberia are considered. There are given the conclusion about division of this process into stages – primordial penetration, transformation of Islam into religion of elite of society, gradual transition to formation of the first Muslim communities and opposition to conversion of the population to Orthodoxy in the conditions of the Russian state, final Islamization of the Siberian Tatars.
Keywords: Western Siberia, Tatars, Islam, community, archeology, history, religion, state.

Двадцать лет назад, в 1994 г., в Омске с большим размахом была проведена Международная научная конференция «Исламская цивилизация в преддверии XXI века (к 600-летию ислама в Сибири)», на которой были подведены определенные итоги изучения истории распространения ислама в Сибири. В. И. Соболев в своем докладе, посвященном археологическим исследованиям этого процесса, сказал следующее: «Вопросу исламизации населения Западной Сибири в научной работе практически не уделялось внимания. В основном изучению подвергались проблемы традиционных религиозных обрядов и верований. Существующей ситуации есть вполне объективное объяснение – отсутствие в настоящее время широкой источниковой базы» [*Соболев*, 1994: 140]. Спустя двадцать лет после этого выступления стала очевидна правильность суждений ученого. В настоящий момент круг источников по этой проблеме, которым оперируют ученые, по-прежнему сильно ограничен, и пока перспективы по его расширению достаточно туманны.

Большинство авторов в качестве точки отсчета распространения ислама в Западной Сибири принимают 1394–1395 гг. – поход исламских миссионеров (366 шейхов и 1700 воинов) на берега Иртыша, известный нам по двум рукописям, хранящимся в Тобольском государственном музее-заповед-

© Татауров С. Ф., 2015

нике и опубликованным в свое время Н. Ф. Катановым [1903]. С этой публикации прошло более ста лет, и многие погребальные комплексы, прописанные в этих рукописях, были найдены и осмотрены. Сейчас в Западной Сибири насчитывается около 80 культовых мест захоронения святых «астана», которые так или иначе связаны с борьбой за веру и восходят к этому легендарному походу [*Селезнев*, 2009: 101]. Но нет ни одного объекта из этого списка, который бы имел установленную дату возведения и антропологические данные о захороненном, так как археологически такие комплексы не исследовались. Если принимать во внимание, что документы об этом походе носят легендарный характер и никаких археологических следов это событие после себя не оставило, то данные утверждения выглядят весьма зыбко. Хотя время от времени появляются работы, в которых делаются попытки связать тот или иной археологический комплекс с этими событиями [*Карачаров*, 2009].

В. И. Соболев на первый план в проблеме изучения проникновения и развития в Западной Сибири ислама на первое место ставил «прямые свидетельства», а именно археологические данные и русскоязычные письменные документы, где конкретно указывалась вера предводителя ханства: «Закон же царя Кучума, иже под его властию Мохмеда» [1994: 140–141]. На основании археологических материалов Барабы (прежде всего могильников) Соболев возникновение ислама в регионе относил к достаточно поздним XVIII–XIX вв., к тому времени, когда в определенной мере сформировалась современная система расселения тюркоязычного населения Западной Сибири [там же: 141].

Такой подход позволяет увязывать погребальные комплексы с конкретными мусульманскими общинами, так как только наличие общины и возможность соблюдения этим населением определенных норм, предписанных для выполнения религиозных действий, свидетельствуют о приверженности определенной вере. Это особенно актуально для распространения ислама в Западной Сибири, где такие факторы, как природные условия, специфика исторического развития и значительная удаленность от религиозных центров, привели к распространению на этой территории «бытового ислама» – формы религии, которая позволяет гибко подходить к традиционным нормам и обычаям местного населения и в необходимых случаях допускать значительные отклонения от установок шариата [*Корусенко*, 2003; *Юнусова*, 1996].

Термин «бытовой ислам» важен для нас и с той позиции, что за перечислением 2–3 могильников мы не можем назвать других мусульманских погребальных памятников для XVII–XVIII вв., так как в Западной Сибири в это время не было традиции хоронить мусульман на отдельных кладбищах. Исходя из того, в какой форме был принят ислам местным населением, следует допускать и определенные послабления в выполнении правил при совершении погребального обряда.

Наличие инвентаря является для многих исследователей чертой разграничения между мусульманскими и немусульманскими захоронениями. На наш взгляд, это ошибочное мнение. Следует допускать, что захоронения выполнялись во многом с учетом традиционных обрядов, сложившихся у населения за много поколений до прихода новой религии. Представителей элиты татарского общества погребали как военных вождей, погибших за благополучие и сохранение своего рода, поэтому и снаряжали для продолжения этой миссии в другом мире согласно тем традициям, которые были приняты. Рядом хоронили воинов, погибших вместе с ними. Это был определенный компромисс между новой религией и традициями тюркских воинов, во главе которых стояли вожди, шедшие впереди во всех сражениях и бывшие гарантами их жизней и благополучия их семей. В период распространения и укрепления ислама в Западной Сибири в погребения «борцов за веру» в многочисленных астана в качестве сопровождающего инвентаря могли класть оружие. В связи с этим назрела острая необходимость более пристального внимания к таким комплексам и их исследования археологическими методами.

Еще одним безусловным для исследователей признаком того, что погребение совершено по канонам ислама, является ориентация погребения – головой на северо-запад и обращение лица покойного в сторону Мекки [*Соболев*, 1994: 140–141; *Водясов*, 2013; 2014].

Для этого критерия есть несколько моментов, которые ставят под сомнение его безоговорочное использование. Следует определиться с тем, что для населения Сибири того времени означала Мекка. Это было совершенно неопределенное в географическом описании место, практически недоступное для того, чтобы совершить туда паломничество. Вероятно, из-за этой неопределенности хан Кучум и приглашенные им исламские миссионеры стали строить астана непосредственно вблизи основных населенных пунктов сибирских татар. Именно эти святые места стали местами поклонения для их жителей, куда они совершали паломничества и где проводили важнейшие религиозные обряды [*Селезнев*, 2009: 126–134].

М. А. Корусенко, работая с татарами, проживающими по реке Таре, обратил внимание на некоторые расхождения в ориентации головы покойного: «Характерно, что информанты из д. Чеплярово сами отмечали разницу, в каком направлении кладут умершего головой у них и в д. Юрт-Бергамак: у них – на запад, а в Юрт-Бергамаке – на восток. Обычно западное направление головы и поворот лица к югу они связывают с направлением на *Киблу* (Мекку). Восточная ориентация головы умершего, видимо, в настоящее время также ассоциируется с направлением на мусульманские святыни. Случаи ориентации покойного в могиле головой на восток зафиксированы нами также в деревнях Инцисс и Берняжка. Причем одна из респондентов – Накия Хамитовна Уразмаметова (Назырова) – утверждала, что Мекка находится именно на востоке» [*Корусенко*, 2003: 61].

В целом следует отметить, что для могильников этого времени и более поздних ситуация с большим диапазоном ориентации погребений является обычным явлением. Например, при раскопках татарского могильника Бергамак II, датируемого нами XVII–XVIII вв. и расположенного также на реке Таре, было зафиксировано пять вариантов ориентации захоронений. Такая же ситуация с разбросом ориентации могил прослеживается и на современных татарских кладбищах [*Корусенко*, 1997]. То же мы наблюдаем и в Барабе, где определенная часть погребений ориентирована головой на юг и лицом на восток, что объясняется, возможно, монгольским влиянием [*Молодин*, 1990: 172].

На наш взгляд, использование этих двух критериев – безинвентарности и ориентации умерших в погребениях на Мекку – не является достаточным основанием относить археологические комплексы к мусульманским. Необходимы дополнительные доказательства.

В последнее время стали появляться работы, где декларируется раннее проникновение ислама (XIII в.) на достаточно северные территории, а именно в Томское Приобье [*Водясов*, 2013; 2014]. В частности, выделены на двух могильниках – Астраханском (датируется ранним средневековьем) и Тояновом городке (датируется поздним средневековьем) – группы могил с «признаками исламской погребальной обрядности» [*Водясов*, 2013: 134]. Причем эти захоронения разделили еще на две части – «погребения, соответствующие канону мусульманского обряда» и «погребения с чертами мусульманской обрядности». Так вот, судя по тексту статьи, только семь могил на Астраханском могильнике соответствуют канону. Во всех остальных случаях применяется определенный допуск приближения к канонам: либо невозможность установления положения черепа, либо выполнение только одного из двух критериев, приведенных выше. Есть и еще один допуск – наличие только одной вещи в захоронении, «которая могла и не являться погребальным инвентарем (детали одежды, украшения, находившиеся на умершем в момент смерти, и т. д.)». Тем самым мы можем констатировать, что количество погребений, на которых основываются все построения в работах, ничтожно мало. Еще одним фактором, не позволяющим выдвигать эти памятники, в частности Астраханский могильник, в качестве «уникального и опорного памятника в контексте дальнейшего исследования этапов исламизации местного населения», является датировка этих комплексов. Л. М. Плетнева пишет, что по ряду признаков хронологического порядка Астраханский могильник отличается от других могильников развитого средневековья, и допускает, что данный комплекс в целом датируется XIII–XIV вв., а возможно, и XV в. [*Плетнева*, 1997: 116].

Что касается Тоянова городка, то, к сожалению, в силу того, что его исследовало большое количество ученых и результаты работ по большей части не опубликованы, привлекать его материалы необходимо чрезвычайно осторожно. На настоящий момент вопрос о датировке Тоянова городка остается открытым. Что касается собственно раскопок М. П. Грязнова, то на его рисунках, которые хранятся в Музее археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, не зафиксировано положение черепов в захоронениях, только общая ориентация [*Татауров*, 2012].

Закономерно возникает вопрос к авторам и об истории мусульман, которые оставили эти памятники. Откуда они пришли и какова их судьба? К сожалению, они не дают нам ответа на этот вопрос.

На наш взгляд, свидетельством того, что население территории исповедует определенную религию, являются несколько факторов: наличие общины при достаточном количестве взрослого мужского населения, храмовых комплексов для совершения служб, надмогильных сооружений, безальтернативно указывающих на религиозную принадлежность усопшего.

Появление религиозных общин на территории какого-либо региона означает наличие определенной группы населения и ресурсов, которые могут стать центром для распространения своей религии среди широких масс населения этого района и распространения ее на более отдаленные регионы. Первые мусульмане попали в Западную Сибирь достаточно рано, намного раньше декларируемого

авторами рассмотренных в статье работ XIII в. Но формирование мусульманских общин начинается только во второй половине XVI в. и связано с образованием Сибирского ханства и деятельностью хана Кучума.

Непременным атрибутом существования религиозной общины является наличие храмового комплекса. Например, с мусульманской общиной г. Тары связано строительство первых, после присоединения Западной Сибири к Российскому государству, мечетей, сначала деревянных, а затем и каменной. При них сначала была открыта начальная мусульманская школа (мектеб), а позднее и средняя (медресе). Тарская община долгое время была одним из основных центров распространения мусульманства в Западной Сибири [*Храмы...*, 2014].

В настоящий момент, за исключением фундамента тарской мечети (заложенной примерно в 1775 г. и разрушенной в 30-е гг. XX в.), храмовые комплексы интересующего нас периода в городах Сибирского ханства не найдены. Возможно, остатки мечети зафиксировал Н. Н. Пигнатти во время своих исследований Искера [*Пигнатти*, 1915: 13]. Есть упоминания путешественников XVIII в. об остатках кирпичных мечетей в городах сибирских татар [*Фальк*, 1824: 396]. В ряде научных работ имеются рисунки городов, даются реконструкции столиц сибирских ханств с одной или несколькими мечетями. Но все эти сведения требуют дополнительных исследований.

Еще одним неопровержимым фактом распространения мусульманства являются надмогильные сооружения. Они условно делятся на два блока – это мавзолеи и надмогильные камни с эпитафиями. Традиция возводить мавзолеи пришла в Западную Сибирь с юга вместе с миссионерами и переселенцами из Бухары и трансформировалась у них вследствие отсутствия привычного строительного материала – камня в устройстве оградок, срубов и т. д. В рассмотренных выше рукописях, захоронения «павших за веру» называются мавзолеями [*Селезнев*, 2009: 103], но какие конструктивные детали астаны соответствуют традиционным мавзолеям, еще предстоит исследовать.

Надмогильные камни с изречениями из Корана также являются прямым доказательством существования мусульманской общины. В Тарском Прииртышье самый ранний камень – кайрак – находится на кладбище д. Сеитово и датируется ранее XVII в. Подобные камни известны и в других районах Западной Сибири [там же: 189].

Таким образом, следует подчеркнуть, что только наличие религиозной общины и связанных с ее деятельностью храмовых и погребальных комплексов может считаться неопровержимым свидетельством распространения религии в регионе.

Водясов Е. В. Признаки мусульманской погребальной обрядности в Обь-Томском междуречье / Е. В. Водясов, О. В. Зайцева // Вестн. ТГУ. История. – 2013. – № 3 (23). – С. 134–137.

Водясов Е. В. Время появления ислама в Томском Приобье по археологическим данным / Е. В. Водясов, О. В. Зайцева // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань, 2014. – Т. III. – С. 368–370.

Карачаров К. Г. Мусульмане на севере Западной Сибири в позднем средневековье в свете новейших исследований / К. Г. Карачаров, Д. И. Ражев // Форум «Идель-Алтай» – Материалы научно-практической конференции «Идель-Алтай»: истоки евразийской цивилизации I Междунар. конгресса средневековой археологии евразийских степей. – Казань, 2009. – С. 116–118.

Катанов Н. Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против инородцев Западной Сибири // Учен. зап. Казан. ун-та. – 1903. – Кн. XII. – С. 133–146.

Корусенко М. А. Планиграфия и ориентация татарских поселений и могильников в низовьях р. Тары / М. А. Корусенко, С. Ф. Татауров // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Т. 2. Культура тарских татар. – Новосибирск, 1997. – С. 91–118.

Корусенко М. А. Погребальный обряд тюркского населения низовьев р. Тара в XVII–XX вв.: опыт анализа и содержания. – Новосибирск : Наука, 2003. – 192 с. – (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума ; т. 7).

Молодин В. И. Бараба в эпоху позднего средневековья / В. И. Молодин, В. И. Соболев, А. И. Соловьев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 262 с.

Пигнатти В. Н. Искер (Кучумово городище) // Ежегодник Тобольского губернского музея. – 1915. – Т. 25. – С. 1–36.

Плетнева Л. М. Томское Приобье в начале II тыс. н. э. (по археологическим источникам). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1997. – 350 с.

Селезнев А. Г. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального / А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, И. В. Белич. – Москва : Изд. дом Марджани, 2009. – 216 с.

Соболев В. И. Распространение ислама в Сибири // Ислам, общество и культура : материалы Междунар. науч. конф. «Исламская цивилизация в преддверии XXI века (к 600-летию ислама в Сибири)». – Омск, 1994. – С. 140–142.

Татауров С. Ф. Материалы исследований Тоянова городка М. П. Грязновым в архиве МАЭ ОмГУ // VIII исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. – Омск, 2012. – С. 193–196.

Фальк И. П. Записки путешествия. Ч 1. От Санкт-Петербурга до Томска. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1824. – 560 с. – (Полное собрание ученых путешествий по России ; т. 6.).

Храмы в крепостных стенах: конфессиональная история города Тары / О. Ю. Алферова, С. А. Алферов, Е. И. Кудряшова, С. Ф. Татауров. – Омск : Изд. дом «Наука», 2014. – 230 с.

Юнусова В. И. Ислам и музыкально-культурные традиции народов Поволжья (к проблеме взаимосвязи конфессии и художественной культуры) // ЭО. – 1996. – № 2. – С. 19–30.

С. С. Тихонов[1, 2], М. А. Корусенко[1, 2], Н. А. Томилов[1, 2]

Россия, Омск, [1]филиал Института археологии и этнографии СО РАН,
[2]государственный университет им. Ф. М. Достоевского

XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ЭТНОАРХЕОЛОГИИ (РОССИЯ, ИРКУТСК, МАЙ 2013 ГОДА)

This article contains information about the XX International symposium “Integration of archaeologic and ethnographic research”. He was organized and held in spring 2013 Russian and foreign experts in the field of ethnoarchaeology. In the symposium, dedicated to the famous cientista M. A. Castrén and R. G. Kuseev, was taken part about a hundred scientists.

Традиционно международный научный симпозиум «Интеграция археологических и этнографических исследований» проводится в разных городах, чтобы привлечь к участию в нем как можно больше ученых, занимающихся проблемами интеграции наук. Его принимали как российские города: Москва, Нальчик, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа, так и города ближнего зарубежья: Алма-Ата и Одесса. На этот раз он был проведен на прибайкальской земле.

С 27 по 30 мая 2013 г. в Иркутске на базе Иркутского государственного технического университета прошел юбилейный – двадцатый – международный симпозиум «Интеграция археологических и этнографически исследований». Его главными организаторами стали ученые Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Иркутского государственного технического университета, Университета Абердина (г. Абердин, Великобритания). Мероприятие помогали организовывать Военно-Сибирская государственная академия образования (Иркутск), а также Иркутский государственный университет.

Оргкомитет симпозиума возглавили: академик РАН В. И. Молодин, профессора Д. Д. Андерсон, Н. А. Томилов, А. В. Харинский. Рабочими языками симпозиума стали русский и английский.

Как правило, в работе текущего симпозиума принимает участие председатель или сопредседатель следующего научного мероприятия (см. рис.).

Как обычно, и это является одной из традиций симпозиума, к его началу были опубликованы два тома научных работ, присланных учеными:

Интеграция археологических и этнографических исследований : сб. науч. тр. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. – Т. 1. – 332 с.

Интеграция археологических и этнографических исследований : сб. науч. тр. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. – Т. 2. – 312 с.

© Тихонов С. С., Корусенко М. А., Томилов Н. А., 2015

Председатели оргкомитетов симпозиума «Интеграция археологических и этнографических исследований»: (слева направо) д-р ист. наук, профессор А. В. Харинский – сопредседатель XX симпозиума; д-р ист. наук, профессор Н. А. Томилов – бессменный председатель оргкомитетов всех симпозиумов; д-р ист. наук, профессор А. А. Тишкин – сопредседатель XXI симпозиума

Этноархеологи, археологи, этнографы, историки и другие коллеги, интересующиеся вопросами интеграции археологии и этнографии, а также проблемами комплексных исторических исследований, пройдя по следующей ссылке: http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=1362, могут ознакомиться с содержанием этих изданий и скачать их электронную версию в формате *.pdf.

В Иркутск приехали отечественные ученые из следующих городов: Анадырь – 2, Барнаул – 9, Владивосток – 2, Горно-Алтайск – 1, Ижевск – 1, Иркутск – 18, Йошкар-Ола – 1, Казань – 6, Кемерово – 2, Магадан – 1, Москва – 2, Нижний Тагил – 2, Новосибирск – 3, Омск – 16, Пущино – 1, Санкт-Петербург – 6, Томск – 2, Тюмень – 2, Улан-Удэ – 4, Челябинск – 1, Чита – 2, Якутск – 2. Иностранные ученые (18 человек) прибыли из следующих стран: Австрия – 1, Бельгия – 1, Великобритания – 2, Германия – 2, Дания – 1, Казахстан – 1, Канада – 1, Польша – 1, США – 3, Финляндия – 3, Франция – 1, Швеция – 1.

По традиции симпозиум был посвящен памяти ученых, внесших существенный вклад в дело интеграции археологии и этнографии. В этот раз симпозиум был посвящен памяти двух исследователей – 200-летию со дня рождения М. А. Кастрена и 85-летию со дня рождения Р. Г. Кузеева.

Матиас Александр Кастрен (1813–1851) – профессор Хельсингского университета по кафедре финской филологии. Изучал уральские и алтайские языки, для чего собирал материалы во время многолетних поездок по Карелии, Уралу, Сибири, Саянам, Прибайкалью. Он разработал гипотезу о генетическом родстве этих двух языковых семей.

Раиль Гумерович Кузеев (1929–2005) – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик Академии наук Республики Башкортостан. Почетный гражданин Уфы. Изучал сложнейшую проблему этнической истории башкир. С его исследованиями связано развитие этнографии, археологии, источниковедения, ономастики, востоковедения, этнической антропологии, музееведения, религиоведения, этносоциологии, этнополитологии в Башкирии.

В их честь прочитали доклады А. В. Жук (Омск) – «М. А. Кастрен в русской археологии и этнографии 1840-х годов (к 200-летию со дня рождения)»; Г. А. Аксянова (Москва) – «Незарастающие маршруты М. А. Кастрена: антропология самодийских популяций в этноисторическом контексте»; Н. А. Томилов (Омск) – «Раиль Гумерович Кузеев – выдающийся исследователь народов Евразии и организатор науки».

Отказ от секционных заседаний и обсуждение работ по разным направлениям всеми учеными, принимающими участие в симпозиуме, – еще одна особенность симпозиума. Но в Иркутске пришлось от нее отказаться, так как число ученых, принявших участие в этом научном мероприятии, было очень велико, и все выступали с докладами. Поэтому было проведено два общих заседания: пленарное и заключительное, остальная работа велась по секциям. Их было организовано

шесть: «Этноархеологические исследования: теория, методика, историография, источники / Ethnoarchaeological researches: theory, techniques, historiography, sourse», «Археология окружающей среды / Environmental archaeology», «Исторические реконструкции по данным археологии и этнографии / Historical reconstruction by archaeological and ethnographic research», «Взаимодействие человека и животных / Biosociality. New conseptions of human and of animal agency as documented by archaeological and ethnographic research», «Мир инобытия: мировоззрение и практики древних и традиционных обществ по данным археологии, этнографии и смежных наук / Alternative worlds and worldwies: the worldwiev and practices of ancient and traditional societies as documented by archaeologists, ethnographers and interdisciplinary researchers», «Сакральные территории по данным археологии и этнографии / Sacred landscapes: sacred territories as documented by archaeological and ethnographic research». Обратим внимание на то, что названия некоторых секций на русском и английском языках близки по смыслу, но имеют некоторые смысловые особенности.

Прочитанные учеными доклады касались разных аспектов интеграции археологии и этнографии, проведению мультидисциплинарных исследований, использованию методов и технологий естественных наук в гуманитарных исследованиях.

На наш взгляд, имеются некоторые отличия в тематике и подходах к проведению исследований у отечественных и иностранных ученых. Так, наши иностранные коллеги широко используют методы естественных наук, а для решения отдельных вопросов они могут легко объединяться во временные коллективы. Они занимаются такими темами, как “Biosociality. New conseptions of human and of animal agency as documented by archaeological and ethnographic research”. Это предполагает не столько изучение процесса приручения и использования животных, что продемонстрировали на этой секции русские ученые, сколько изучение и сравнение человеческих обществ и сообществ животных по материалам археологии и этнографии.

Отечественные ученые больше работают в традиционном ключе, исследуя возможности использования методов и источников археологии и этнографии для изучения прежде всего культуры древних и традиционных обществ. Но эти работы имеют или подразумевают исследования в области теории и методологии наук, что, безусловно, является сильной стороной отечественной науки.

В целом же участники симпозиума с интересом слушали все доклады и оживленно их обсуждали. С интересом участники симпозиума осмотрели архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и экспозицию Байкальского лимнологического музея в Листвянке. На этом работа симпозиума была завершена.

А. А. Тишкин

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СТУДЕНТА С. И. РУДЕНКО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

This year marks the 130th anniversary of the birth of famous domestic researcher Sergei Ivanovich Rudenko. However, the initial period of his life is still not sufficiently filled with the necessary information. An important source in this aspect is the personal affair of a student S. I. Rudenko stored in the Central State Archive of Saint Petersburg. Two original documents published in the article.

В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения известного отечественного исследователя Сергея Ивановича Руденко. Направления его научной деятельности охватывали несколько областей гуманитарных, естественных и технических знаний: этнография, география, археология, физическая антропология, гидрология и др. Реализовать многие направления помогла хорошая подготовка

© Тишкин А. А., 2015

в Санкт-Петербургском университете. Важным источником для наполнения конкретным содержанием студенческого периода жизни С. И. Руденко является его личное дело, хранящееся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836]. Как уже было отмечено [*Тишкин*, 2009: 33], в указанном архиве имеется еще одно дело студента с такой же фамилией и с такими же инициалами, начатое в 1901 г. [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 38851]. К сожалению, оно оказалось в плохом состоянии и не выдавалось даже для просмотра. Стоит только предполагать, что это был однофамилец, так как указанный первым архивный документ реально отражает страницы обучения именно будущего выдающегося археолога и этнографа С. И. Руденко.

Отдельная информация, копия свидетельства о рождении и фотография гимназиста из личного дела уже опубликованы [*Тишкин*, 2009]. Задача данного сообщения заключается в том, чтобы ввести в научный оборот оригиналы двух документов из личного дела: «Аттестат зрелости» (рис. 1–2) и «Свидетельство» о том, что С. Руденко был зачислен в студенты Императорского Санкт-Петербургского университета на естественное отделение физико-математического факультета, на котором прослушал курсы, установленные планом, а также «выполнил требуемые работы и сдал соответствующие испытания…» (рис. 3). Эти материалы являются важными источниками*. Но их необходимо оценивать, опираясь на реальности столетней давности.

Некоторые материалы биографического плана изложены самим С. И. Руденко в прошении о зачислении его в университет [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 5]. К этому прошению и был приложен «Аттестат зрелости», который свидетельствует о том, что Сергей Иванович – православный, сын дворянина, родился в г. Харькове 16 января 1885 г., окончил Пермскую гимназию, но до этого три года обучался в Витебской гимназии. Во время обучения «…поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ хорошая, прилежание достаточное и любознательность одинаковая ко всем предметам» [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 6–6 об]. Аттестат зрелости подписан большим кругом ответственных лиц, среди которых директор, инспектор, законоучитель, многие преподаватели, секретарь совета. Часть фамилий можно идентифицировать при углубленном изучении пермского периода жизни С. И. Руденко. Об этом времени имеется информация, связанная с его увлечением этнографией башкир и работой отца [*Массон*, 1965: 238].

Приведенные оценки отражают определенный уровень знаний гимназиста по 11 предметам. Из этого становится понятным, что С. Руденко предпочтение отдавал географии, истории и русскому языку, а также имел высокие результаты по «Закону Божьему» и хорошие показатели по логике и французскому языку. Другие перечисленные дисциплины (рис. 1) оказались более сложными, и по ним показаны удовлетворительные знания. Кстати, в рассматриваемом документе отдельным примечанием дана расшифровка выставленных оценок (рис. 2): «Отметка 5 означает познания и успехи отличные, 4 – хорошие, 3 – удовлетворительные».

На наш взгляд, именно увлечение географией и историей впоследствии сыграло главную роль в выборе не только естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, но и дальнейшей научной деятельности.

Что касается второго публикуемого документа (рис. 3), то он повторяет некоторые общие сведения, отраженные в «Аттестате зрелости», а также демонстрирует информацию о том, что С. И. Руденко прослушал курсы, установленные для группы «Географии (VII)», выполнил необходимые работы, сдал соответствующие испытания и в итоге имел «...восемь зачтенных полугодий». Свидетельство датировано 13 апреля 1909 г. [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 22]. Это тоже важный показатель. Дело в том, что именно весной 1909 г. С. И. Руденко предоставилась возможность в течение длительного времени провести этнографическое, антропологическое и археологическое изучение коренных народов Нижнего Приобья. Данная экспедиция по заданию этнографического отдела Русского музея стала важным этапом в становлении С. И. Руденко как ученого. После возвращения в Санкт-Петербург весной 1910 г. Сергею Ивановичу удалось по первому разряду закончить естественное отделение физико-математического факультета, и он был оставлен при кафедре географии и антропологии [*Решетов*, 1998: 9].

---

* Автор благодарен руководству ЦГИА СПб за возможность знакомства с личным делом студента С. И. Руденко и публикации сделанных по заказу копий документов.

М. Н. П.

ИМПЕРАТОРСКІЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ УНИВ. 14 АПР. 1909

ПРОВѢРЕН

АТТЕСТАТЪ ЗРѢЛОСТИ.

Данъ сей Руденко Сергѣю, православнаго вѣроисповѣданія, сыну дворянина, родившемуся въ городѣ Харьковѣ шестнадцатаго января 1885 года, обучавшемуся 3 года въ Витебской гимназіи и 4 года въ Пермской гимназіи и пробывшему 1 годъ въ VIII классѣ, въ томъ:

Во первыхъ, что, на основаніи наблюденій за все время обученія его въ Пермской гимназіи, поведеніе его вообще было отличное, исправность въ посѣщеніи и приготовленіи уроковъ, а также въ исполненіи письменныхъ работъ хорошая, прилежаніе достаточное и любознательность одинаковыя въ классахъ и преподаваемыхъ предметахъ.

Во вторыхъ, что онъ обнаружилъ нижеслѣдующія познанія:

	Предметы гимназическаго курса.	Отмѣтки, полученныя въ Петербургѣ Графомъ на основаніи § 74 правилъ для выпускныхъ	Изъ отмѣтокъ, полученныхъ 1, 2, 4, 12, 14, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3 и 5 іюня 1904 года
1	Законъ Божій	4 четыре	5 пять
2	Русскій языкъ, съ церковнославянскимъ и его литературой	4 четыре	4 четыре
3	Латинскій языкъ	4 четыре	—
4	Греческій языкъ	3 три	3 три
5	Французскій языкъ	3 три	3 три
6	Математика	3 три	3 три
7	Математическая географія	3 три	—
8	Физика	3 три	—
9	Исторія	4 четыре	4 четыре
10	Географія	5 пять	4 четыре
11	Французскій языкъ	3 три	4 четыре
12	Нѣмецкій языкъ	—	—
13	Гимнастика	—	—

Рис. 1. Первая страница «Аттестата зрелости», выданного С. Руденко в Пермской гимназии [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 6]

На основаніи чего и выданъ ему, Руденко, сей аттестатъ зрѣлости, предоставляющій ему всѣ права, обозначенныя въ §§ 130—132 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 30 Іюля 1871 г. Устава гимназій и прогимназій.

Примѣчаніе: Отмѣтка 5 означаетъ познанія и успѣхи отличные, 4 хорошіе, 3— удовлетворительные. Г. Пермь Іюня 10 дня 1904 года.

Директоръ Гимназіи

Инспекторъ

Законоучитель

Преподаватели

Секретарь Совѣта

Рис. 2. Вторая страница «Аттестата зрелости»

Сообщено въ Канцелярію Проректора за № 922

Свидѣтельство.

Предъявитель сего Сергѣй Ивановичъ Руденко вѣроисповѣданія, сынъ дворянина родившійся въ Харьковѣ 1885 года, былъ принятъ по аттестату Пермской гимназіи

въ число студентовъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета въ Іюнѣ 1904 года

и зачисленъ на отдѣленіе естественнаго

наукъ Физико-Математическаго Факультета, на которомъ прослушалъ установленные планомъ для группы географіи (VI) курсы, выполнялъ требуемыя работы и сдалъ соотвѣтствующія испытанія, причемъ получилъ отмѣтки, указанныя въ выданномъ отъ Факультета свидѣтельствѣ.

По выполненіи всѣхъ условій, требуемыхъ правилами о зачетѣ полугодій, имѣетъ восемь зачтенныхъ полугодій.

Въ удостовѣреніе чего, на основаніи ст. 77 Общаго Устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россійскихъ Университетовъ 24 Августа 1884 года, выдано

это свидѣтельство отъ Физико-Математическаго Факультета ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета за надлежащею подписью и съ приложеніемъ университетской печати 13 Февраля 1909 года за № 735.

Свидѣтельство это знакомъ на жительство служить не можетъ.

Деканъ Физико-Математическаго Факультета Императорскаго С.-Петербургскаго Университета

Секретарь Физико-Математическаго Факультета

Секретарь Совѣта

Рис. 3. Свидетельство об обучении С. И. Руденко в Императорском Санкт-Петербургском университете [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 22]

Известно, что в 1912/1913 учебном году С. И. Руденко проходил в университете испытания на степень магистра географии. Для поощрения, а также в целях совершенствования знаний и подготовки к профессорскому званию он был отправлен за границу на два года. В июне 1913 г. молодой исследователь выехал из Петербурга. Во время путешествия ему удалось посетить многие страны (Турцию, Сирию, Палестину, Египет, Испанию, Италию, Францию) и познакомиться с различными музеями и историческими памятниками [*Массон*, 1965: 238]. Однако это тема для отдельных публикаций.

Среди остальных материалов рассматриваемого личного дела студента С. И. Руденко особый интерес представляет зачетная книжка, которая отражает процесс и результаты обучения [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 23–27]. Среди указанных фамилий преподавателей имеются известные ученые. Особое место в этом списке занимает Ф. К. Волков, сыгравший значительную роль в подготовке С. И. Руденко [*Тихонов*, 1997; 2003: 115–130; *Тишкин*, 2001; и др.]. Как уже было отмечено [*Тишкин*, 2009: 36], студенческие годы выдающегося исследователя могут стать темой отдельной обширной публикации. Для этого, кроме материалов ЦГИА Санкт-Петербурга, имеются другие многочисленные архивные сведения и публикации.

Массон В. М. К 80-летию С. И. Руденко // Советская археология. – 1965. – № 4. – С. 237–239.

Решетов А. М. Руденко Сергей Иванович // Профессора Томского университета : биогр. слов. – Томск, 1998. – Т. 2. – С. 377–380.

Тихонов И. Л. Деятельность Ф. К. Волкова в Санкт-Петербургском университете // Традиции отечественной палеоэтнологии. – Санкт-Петербург, 1997. – С. 11–16.

Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете : историографические очерки. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 332 с.

Тишкин А. А. Некоторые сведения о детских и юношеских годах С. И. Руденко (по материалам одного архивного дела) // Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. – Барнаул, 2009. – С. 33–36.

Тишкин А. А. Воспоминания С. И. Руденко о своем учителе – Федоре Кондратьевиче Волкове / А. А. Тишкин, О. Г. Шмидт (Лыжникова) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Нальчик ; Омск, 2001. – С. 16–19.

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 38851. Дело Императорского С.-Петербургского университета студента Сергея Ивановича Руденко. Началось 1901 г.; Д. 42836. Дело Императорского С.-Петербургского университета студента Сергея Ивановича Руденко. Началось 1904 г. 27 л.

А. А. Тишкин[1], Т. В. Тишкина[1], Т. П. Семкина[2]

Россия, [1]Барнаул, Алтайский государственный университет,
[2]Шелаболиха, районный музей

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В ШЕЛАБОЛИХИНСКОМ МУЗЕЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ*

The municipal museums of the Altai Territory have bright archaeological, numismatic and ethnographic collections. Their study hasn't systematically been taken. Among the collections of Shelabolikha District Museum are ancient and medieval products which are presented in this publication. They are basically incidental findings and supplement existing information on the individual stages in the history of the population of the Upper stream of Ob river.

---

* Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (постановление № 220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», договор № 14.Z50.31.0010, проект «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии».

© Тишкин А. А., Тишкина Т. В., Семкина Т. П., 2015

Идея создания в Шелаболихе (Алтайский край, Россия) районного музея возникла в 1980-е гг. С того времени целенаправленно стали собираться необходимые материалы. В 1990 г. вышло постановление об учреждении музея. Осенью 1992 г. его директором назначили Н. М. Брюшкову. Для музея было выбрано одно из старых зданий в центре села, являющееся памятником истории и культуры, – деревянное помещение бывшей торговой лавки (современный адрес: пер. Пионерский, 19). С большими сложностями здание отремонтировали и оборудовали для музейной деятельности. Открытие Шелаболихинского краеведческого музея состоялось 24 мая 1994 г. К тому времени основной фонд состоял из 294 единиц хранения (ед. хр.). В 1990-е гг. сотрудники продолжили активно заниматься сбором экспонатов. Участие в пополнении фондов приняли коллекционеры-любители.

В 1997 г. директором музея стал В. А. Гостеев. Его деятельность была направлена на организацию разнообразных выставок, а также на изучение исторического прошлого. С марта 1998-го по 2001 г. фонды музея увеличились на 523 предмета. В 1998 г. издана книга «Из истории населенных пунктов Шелаболихинского района». В ней представлен краткий очерк об исследовании древних и средневековых памятников, подготовленный А. Б. Шамшиным [1998]. За прошедшие годы эта информация может быть дополнена новыми материалами, в том числе из раскопок раннесредневекового памятника Филин-I [*Горбунов, Тишкин,* 1999; 2001: 281; *Горбунова, Тишкин, Хаврин*, 2009: 60–63; *Тишкин, Горбунов, Горбунова*, 2011: 61; и др.].

С 2009 г. директором Шелаболихинского районного музея является Наталья Сергеевна Иванова. Одним из основных направлений деятельности стала фондовая работа. К 1 января 2014 г. в музее имелось 5554 ед. хр. основного и 1148 ед. хр. вспомогательного фондов [*Тишкина, Семкина*, 2015: 258, 260].

В настоящее время экспозиция музея состоит из нескольких разделов и размещается в четырех залах общей площадью 92 кв. м. Необходимо отметить, что все работы по ее подготовке и оформлению проводятся исключительно силами сотрудников. Первый раздел «Живая старина – жива» объединяет несколько тем. Вниманию посетителей представлены часть бивня мамонта и кости других ископаемых животных, а также каменные орудия труда, орнаментированные фрагменты керамических сосудов, металлические изделия и др. Археологическая коллекция музея включает более 100 ед. хр. (в основном случайные находки и сборы подъемного материла). Кроме этого, имеется нумизматическое собрание (293 ед. хр.), а также этнографические и другие предметы истории.

Особое внимание привлекают древние и средневековые изделия из цветных металлов. Для идентификации состава сплавов эти предметы всесторонне изучались с помощью портативного рентгенофлюоресцентного спектрометра ALPHA SERIES™ (модель Альфа-2000, производство США). Часть результатов таких исследований уже опубликована [*Тишкин*, 2013: 93–95, рис. 1; 2015; *Тишкин, Семкина, Черепанова*, 2015]. Проводится работа по тестированию и атрибуции других археологических экспонатов.

Среди древних металлических предметов особое место занимает медный наконечник стрелы (рис. 1)*, который предположительно происходит из хорошо известного Новообинцевского «клада», относимого к кулайской культуре [*Тишкин*, 2013: 94]. Другим примером может стать экспонат, который обозначен следующим образом: бронзовый топор (тесло, кельт; ОФ № 5339). Эта случайная находка была передана в музей Ф. И. Степановым, жителем с. Быково Шелаболихинского района Алтайского края. Аналогичные кельты обнаружены в памятниках переходного периода от эпохи бронзы к раннему железному веку разных регионов, в том числе на территории Верхнего Приобья [*Тишкин*, 2015].

Рис. 1. Медный наконечник стрелы кулайской культуры. Шелаболихинский районный музей

* Все рисунки, представленные в публикации, выполнены А. Л. Кунгуровым.

Следующая группа изделий представляет собой отдельные детали, которые украшали раннесредневековую конскую узду: наконечник ремня (рис. 2: *1*) и две бляхи-накладки (рис. 2: *2–3*). Эти предметы происходят из упомянутого памятника Филин-I, который находился у одноименного озера около с. Новообинцево в Шелаболихинском районе Алтайского края [*Тишкин, Семкина, Черепанова,* 2015]. В 1998 г. на одном из курганов при его распашке обнажились части деревянных конструкций и захоронения лошадей. Затем данный объект существенно пострадал в ходе несанкционированных раскопок, предпринятых местными жителями. Часть находок удалось собрать с помощью местного учителя А. С. Тагильцева. Сведения о них опубликованы [*Горбунов, Тишкин*, 1999]. Три предмета, как сейчас понятно, попали в Шелаболихинский районный музей. Археологической экспедицией Алтайского государственного университета были осуществлены исследования двух курганов указанного памятника. Полученные материалы позволили отнести «элитные» погребения к шадринцевскому этапу сросткинской культуры и датировать их 2-й половиной X – 1-й половиной XI в. [*Тишкин, Горбунов,* 2000; *Горбунов, Кунгуров, Тишкин*, 2001; *Горбунов, Тишкин*, 2001; *Тишкин, Горбунов, Горбунова,* 2011: 61; и др.].

Кроме представленных экспонатов, имеется еще один наконечник ремня (рис. 2: *4*). Изученное изделие демонстрирует интересный феномен. Он заключается в том, что серебряный сплав с существенным присутствием меди и других элементов использовался для изготовления изделия, которое затем еще дополнительно с помощью амальгамирования покрывалось золотом [*Тишкин, Семкина, Черепанова,* 2015: 255–256]. При изучении раннесредневековых украшений конской амуниции, происходящих из погребений конца IX – начала XI в., зафиксирована такая закономерность: в предметах без золочения серебро в больших количествах не присутствует [*Горбунова, Тишкин, Хаврин*, 2009: 170].

Восемь схожих блях-накладок под одним инвентарным номером представляют собой изделия, каждое из которых крепилось к кожаной основе с помощью железного шпенька, проходившего через отверстие в центре (рис. 2: *5–12*). По всей видимости, рассмотренные предметы представляют собой части единого комплекта. Аналогии этим изделиям обнаружены при рассмотрении материалов из кургана № 11 памятника Катанда-3, который датирован 2-й половиной VII – 1-й половиной VIII в. [*Мамадаков, Горбунов,* 1997: 117, рис. 10-3]. Правда, схожие изделия изготовлялись по другой технологии. Указанная датировка соответствует времени существования в Верхнем Приобье одинцовской культуры [*Тишкин, Горбунов, Горбунова*, 2011: 42–53].

Рис. 2. Раннесредневековые металлические изделия. Шелаболихинский районный музей

Все представленные выше изделия, как было отмечено, уже введены в научный оборот. Краткие сведения о других находках сообщаются впервые. Детальное изучение их еще предстоит выполнить. Пока есть смысл обозначить их наличие в археологической коллекции музея.

Среди изделий из цветных металлов находится крупный бронзовый нож (ОФ № 4459) с обломанным острием и кольцевым навершием. Длина предмета – 21,1 см, из которых на рукоять приходится 13,2 см. Общая форма – слабо выгнутообушковая. Толщина обуха (самая большая у места перехода рукояти в клинок) – до 0,75 см. Место перехода от рукояти к лезвию плавное. На клинке есть зарубины. Ширина клинка – до 2,2 см. Изделие сильно патинизировано. Предварительно оно может быть датировано периодом поздней бронзы.

Следующий нож имеет меньшие размеры (ОФ № 5316). Часть окончания рукояти и острия обломаны, судя по всему, еще в древности. Длина изделия сейчас составляет 13,6 см. Клинок вогнутообушковый. Лезвие слегка заовалено, имеет дефекты, было заточено. Переход рукояти в клинок оформлен изгибом. Длина сохранившейся части клинка – 8 см. Ширина рукояти в центре – 1,1 см. Поверхность патинизирована с одной стороны сильнее, чем с другой. Подобные изделия были распространены в 1-й половине I тыс. до н. э.

Медное шило или крупная игла (ОФ № 5314) имеет длину 12 см, диаметр (в центре) – 0,45 см. Навершие расковано. Таким образом сформирована уплощенная поверхность с оформленной верхней частью подтреугольной формы. В этом месте сделано отверстие диаметром до 4 мм, которое слегка смещено от центра. Острие не заточено. Предмет сильно покрыт окислами темного цвета. Узкая датировка изделия пока затруднительна. Предварительно можно указать широкие хронологические рамки – эпоха палеометалла, хотя не исключены другие варианты.

Трехлопастной, черешковый наконечник стрелы (ОФ № 4601) имеет литейный брак (отсутствует одна лопасть). Изделие оказалось длиной 3,7 см, из которых на черешок приходится 1,4 см. Сохранившиеся лопасти имеют оформленные шипы. Вероятнее всего, наконечник изготовили в скифо-сакское время.

Фрагмент металлического зеркала (рис. 3: *1*) имеет такие размеры (по углам) – 4,4 × 3,8 см. Его толщина составляет 2–3 мм. Предмет патинизирован и демонстрирует часть копии китайского изделия. Орнамент нечеткий, линии размыты. Пока установить полное изображение не удалось. Предположительно находку можно отнести к эпохе средневековья.

Крупная бляха (ОФ № 5315) сильно покрыта окислами темного цвета (рис. 3: *2*). Она имеет следы литейного брака в виде заливки деталей художественного оформления, которые должны быть без металла. Размеры изделия такие: длина (по центру) – 5,15 см; максимальная ширина – 3,6 см. В центре – перемычка (шириной до 0,6 см; длиной 1,7 см). С обратной стороны этой перемычки, перпендикулярно ей и примерно по центру располагается петелька для кожаного ремешка. Она выступает над поверхностью на 0,8 см, диаметр отверстия – около 0,6 см. Бляха оформлена прорезями в виде запятых и треугольников. Подобные изделия были довольно широко распространены на начальном этапе раннего железного века. Их находят в памятниках раннего железного века Западной и Южной Сибири, а также в Монголии и Китае. Несмотря на это, необходимо дополнительное исследование данного предмета для установления более четкой датировки.

Рис. 3. Фрагмент металлического зеркала и поясная бляха. Шелаболихинский районный музей

Особое внимание в рассматриваемом музее привлекает фрагмент бронзового китайского зеркала доханьского времени, предположительно обнаруженный в окрестностях с. Киприно и имеющий инвентарный номер 5317. Такой предмет дополняет серию находок, зафиксированных в Верхнем Приобье и на Алтае [*Тишкин, Хаврин*, 2006; *Тишкин, Серегин*, 2011; *Тишкин, Фролов*, 2013], и требует специального комплексного изучения.

В заключение можно отметить, что в музее имеются предметы из цветных металлов этнографического времени, которые также будут исследоваться с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра. После завершения работы с археологической коллекцией планируется подготовка специального каталога. Данная работа позволит ввести в научный оборот древние и средневековые материалы, необходимые для реконструкции истории населения Верхнего Приобья.

Горбунов В. В. Курганный могильник сросткинской культуры Филин-I – аварийный памятник археологии / В. В. Горбунов, А. А. Тишкин // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 1999. – Вып. X. – С. 137–141.

Горбунов В. В. Раскопки курганов на Алтае / В. В. Горбунов, А. Л. Кунгуров, А. А. Тишкин // Археологические открытия 2000 года. – Москва, 2001. – С. 212–214.

Горбунов В. В. Продолжение исследований курганов сросткинской культуры на Приобском плато / В. В. Горбунов, А. А. Тишкин // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2001. – Т. VII. – С. 281–287.

Горбунова Т. Г. Средневековые украшения конского снаряжения на Алтае: морфологический анализ, технологии изготовления, состав сплавов / Т. Г. Горбунова, А. А. Тишкин, С. В. Хаврин. – Барнаул : Азбука, 2009. – 144 с.

Мамадаков Ю. Т. Древнетюркские курганы могильника Катанда-3 / Ю. Т. Мамадаков, В. В. Горбунов // Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1997. – Вып. 2. – С. 115–129.

Тишкин А. А. Перспективные возможности проведения рентгенофлюоресцентного анализа изделий из цветных металлов в музеях Алтайского края // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. – Барнаул, 2013. – С. 93–98.

Тишкин А. А. О необходимости изучения археологических предметов, хранящихся в муниципальных музеях Алтайского края // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 2015. – С. 246–250.

Тишкин А. А. Результаты исследования курганов сросткинской культуры на Приобском плато / А. А. Тишкин, В. В. Горбунов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2000. – Т. VI. – С. 405–410.

Тишкин А. А. Алтай в эпоху средневековья: иллюстрированный исторический атлас / А. А. Тишкин, В. В. Горбунов, Т. Г. Горбунова. – Барнаул : Печатная компания АРТИКА, 2011. – 136 с.

Тишкин А. А. Коллекция раннесредневековых изделий в Шелаболихинском районном музее // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края / А. А. Тишкин, Т. П. Семкина, Т. М. Черепанова. – Барнаул, 2015. – С. 251–257.

Тишкин А. А. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета) / А. А. Тишкин, Н. Н. Серегин. – Барнаул : Азбука, 2011. – 144 с.

Тишкин А. А. Обломки металлических зеркал из Верхнего Приобья и их рентгенофлюоресцентный анализ / А. А. Тишкин, Я. В. Фролов // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. – Барнаул, 2013. – С. 103–106.

Тишкин А. А. Использование рентгенофлюоресцентного анализа в археологических исследованиях / А. А. Тишкин, С. В. Хаврин // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. – Вып. 2. – С. 74–86.

Тишкина Т. В. История создания и деятельность МКУК «Шелаболихинский районный музей» / Т. В. Тишкина, Т. П. Семкина // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2015. – С. 258–263.

Шамшин А. Б. Очерки древнего прошлого Шелаболихинского района // Из истории населенных пунктов Шелаболихинского района. – Барнаул : Управление архивного дела администрации Алтайского края, 1998. – С. 15–33.

И. В. Федотова

Россия, Омск, государственный историко-краеведческий музей

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА В МУЗЕЕ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 1974–1984 ГОДАХ: КРАТКИЙ ОЧЕРК

The article is about the first stage in the formation of the archaeological collections of the Museum of Archaeology and Ethnography of the Omsk State University in 1974–1984. At that time the becoming of same young archaeologists took place. Also there was a highly fruitful work of the old generation archaeologists. The exploration and excavation materials of those researchers were given to the archaeological fund of the Museum. It was the foundation for the further object studies of the archaeological heritage in Western Siberia.

Музей археологии и этнографии Омского государственного университета* был создан осенью 1974 г. по инициативе преподавателей и студентов-историков гуманитарного факультета под руководством Н. А. Томилова [*Томилов*, 2007: 327]. Мы попытаемся представить историю формирования его археологического фонда в первое десятилетие существования – с 1974 по 1984 г. В этом нам помогут материалы научного архива, фонды и учетная документация МАЭ. Сразу же возникает вопрос: какие коллекции музея считать первыми в его археологическом собрании? Строго говоря, самые ранние материалы здесь – это материалы разведки Александра Ивановича Петрова (1953–2000) в Шербакульском районе Омской области 1973 г. [*Герасимов*, 2010: 19]. Ее маршрут проходил близ озер Большой и Малый Ащи-куль, Жалтыр. Были исследованы памятники каменного века – Максимовка I, II, Екатеринославка, Малый Ащи-куль I, II, Большой Ащи-куль I, II, III, Щербакульская стоянка и др. Но, к огромному сожалению, коллекции, собранные на них, не сохранились в фондах. Нам приходится работать только с архивными материалами, содержащими описание этих предметов [*Петров*, 1973]. Поэтому первыми артефактами в археологическом фонде можно считать глиняный сосуд и бронзовые котлы саргатской культуры из кургана у д. Богдановки (Горьковский район Омской области), полученные в ходе раскопок 1967–1968 гг. и подаренные МАЭ Владиславом Александровичем Могильниковым в 1974 г.** Кроме того, В. А. Могильников передал МАЭ в 1980 г. небольшую коллекцию с поселения Богочаново III (Чудской горы), расположенного в Знаменском районе Омской области.

Систематическое формирование археологического фонда началось только в 1976 г., с переездом в Омск доктора исторических наук Владимира Ивановича Матющенко (1928–2005). Летом этого же года под его руководством была организована совместная экспедиция Омского и Томского университетов. Она продолжила исследование могильника у д. Нагорный Иштан в Кривошеинском районе Томской области (начато в 1975 г.). На могильнике были выявлены комплексы эпох поздней бронзы и средневековья, а также отдельные неолитические предметы [*Матющенко*, 1977: 222]. Эти материалы поступили в фонд археологии МАЭ ОмГУ, который с того времени стал быстро расти. Перечислим некоторые другие коллекции, которые В. И. Матющенко передал в МАЭ до середины 1980-х гг. [*Археологические коллекции...*, 2007: 114–115]. В 1977 г. это материалы с могильника у д. Новооболонь (Горьковский район Омской области) и Коконовского поселения (Омский район Омской области); в 1979–1982 гг. – с могильника Ашпыл (Красноярский край); в 1981 г. – коллекции с могильников Еловский I и II (Кожевниковский район Томской области); материалы, собранные у г. Ташкента с поселений раннего железного века и средневековья Ак-Тепе, Варахша, Бенке-Тепе, Шам-Тепе (экспедиция отряда Института археологии АН Узбекской ССР); в 1982 г. – коллекции с Еловского поселения и Могильника Еловский I; в 1983–1984 гг. – коллекции с городища Мурлинское I, поселений Мурлинка II и III, с памятников в районе Кривого Озера и близ д. Атак (все – Тарский район Омской области). А впереди Владимира Ивановича ждали раскопки уникального комплекса у д. Окунево, Исаковского III и Сидоровского I курганных могильников!

---

* С 2012 г. – Музей археологии и этнографии Музейного комплекса ОмГУ.

** В книге поступлений археологического фонда (Ф-VI) МАЭ под № 1 записана коллекция со стоянки Карым VII, раскопки А. И. Петрова 1978 г. А более ранние по времени поступления коллекции 1973–1977 гг. занесены в учетную документацию значительно позже.

© Федотова И. В., 2015

Мы уже упоминали А. И. Петрова. В 1976 г., после службы в армии, он вернулся к археологическим изысканиям. В конце этого года Александр Иванович устроился на работу в ОмГУ по приглашению В. И. Матющенко [*Матвеев*, 2007: 141]. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. Петров вел активную научно-исследовательскую деятельность, результатом которой стала диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Эпоха позднего неолита и ранней бронзы в Среднем Прииртышье», защищенная в 1987 г. под руководством Матющенко [*Петров*, 2014]. В ней обосновывалось выделение екатерининской археологической культуры в таежной и лесостепной зонах Среднего Прииртышья. В МАЭ хранятся материалы с комплексов памятников в районе д. Екатериновки, Хутор Бор (Тарский и Тевризский районы Омской области). От А. И. Петрова в 1977–1983 гг. также поступили коллекции со стоянок Александровка I, Ава Луговая I, с городищ Тентис I и II, с группы памятников у д. Ямсыса (стоянка Ямсыса VIII, поселения Ямсыса III, XII и др.), Александровка, Вознесенка, Журавлевка (все – Тевризский район Омской области), группы памятников у д. Окунево (Муромцевский район Омской области), кургана Кайсы II (Усть-Ишимский район Омской области), с памятников Усть-Уй I, III, стоянки Крапивка I, грунтового могильника Усть-Куренга (Тарский район Омской области), курганного могильника Озерки III, местонахождений Водяное I, II, Гофмансталь I, II, Кухарево (Исилькульский район Омской области), памятников Карым I-IX, городище Высокая гора (Учинья I) (Тюменская область). К сожалению, не все материалы А. И. Петрова сохранились в фондах музея. Так, не обнаружены материалы разведок 1976 г. в Москаленском районе Омской области близ озера Эбейты и Амирской балки [*Герасимов*, 2010: 31].

К моменту переезда В. И. Матющенко в Омск А. И. Петров уже был опытным исследователем. Но вскоре у Владимира Ивановича появилось несколько студентов, увлеченных археологией. Достаточно рано они начали самостоятельные изыскания. Например, Игорь Геннадьевич Глушков (1958–2008). В 1977–1979 гг. он работал в Крутинском районе Омской области, обследовав памятники по берегам озер Ик, Салтаим и Тенис. Здесь стоит назвать поселения Красный мыс I–III, Китерьма I–IV, Красный Пахарь I, II, Усть-Китерьма I, II, Дарвино I, Березово I, Саранин I, II, местонахождение и поселения Калачики I–III, памятники в районе д. Яман, местонахождения Салтаим I, Березово II, Кошара I, городища Калугино I и Дарвино II. В 1979 г. И. Г. Глушковым были проведены аварийные раскопки на поселении Саранин II близ д. Калугино. [*Глушков*, 1979: 1–9]. В 1980 г. Игорь Геннадьевич пополнил фонды музея материалами поселений Тайчинское I–IV, Иванов Мыс II, III, стоянки Ямсыса VI и Хутор-Бор I (Тевризский район Омской области), поселения Бобровка I (Знаменский район Омской области), в 1981 г. – большой коллекцией с городища Калугино I (Крутинский район Омской области). В 1982 г. им проведены раскопки на поселении Крохалевка I (Коченевский район Новосибирской области). В 1983 г. Глушков вернулся к исследованию поселения Саранин II (Калугино III), а также изучил поселение Бызовка I (III) (Большереченский район Омской области).

Другой исследователь, начавший работу в эти годы, – Александр Яковлевич Труфанов. В 1979 г. он провел разведку в Крутинском и Тюкалинском районах Омской области, в ходе которой были найдены поселения Савиновка I, Старосолдатское I, Иваново-Сергиевское I, местонахождение Иваново-Сергиевское II, городище Усть-Логатское. В 1980–1984 гг. А. Я. Труфанов организует масштабные раскопки поселения Новотроицкое I (Омский район Омской области). Кроме того, в 1982 г. он исследует поселение Ямсыса VII (Тевризский район Омской области). В 1984 г. Труфанов занят спасательными работами на поселении Николаевка IV (близ Омска). В этом же году проведены разведочные работы в Нижнеомском районе Омской области, в районе с. Хомутинка, д. Усть-Горы, Рязанка и Киршовка. В ходе этого полевого сезона был обнаружен Исаковский II курганный могильник, вскрыты два кургана, показавшие свою принадлежность саргатской культуре раннего железного века [*Труфанов*, 1984: 1–68].

Еще один известный археолог, начавший исследования в конце 1970-х гг., – Борис Викторович Мельников. В 1978 г. им проведены разведочные работы в Москаленском районе Омской области, в окрестностях сел Звездино, Куянбар, Волчанка и Помурино. В итоге обследованы местонахождения эпохи неолита – бронзы Волчанка I–V, поселение Звездино I и местонахождения Звездино II–IV, Рыбное I, II. На некоторых памятниках собран подъемный материал. К сожалению, на сегодняшний момент он не обнаружен. Остались только архивные документы с описаниями этих коллекций [*Мельников*, 1978: 1–5].

К этому же времени относится археологическая деятельность Людмилы Роландовны Ротермель, выпускницы Омского государственного педагогического института. Л. Р. Ротермель, как и А. И. Петров, стала работать в ОмГУ с 1976 г. А летом 1978 г. Ханты-Мансийский отряд Среднеиртышской археологической экспедиции под ее руководством проводил изыскания в Ханты-Мансийском районе Тюменской области (в этом отряде были упомянутые выше А. И. Петров, И. Г. Глушков, А. Я. Тру-

фанов). Обследована зона предполагаемого затопления в связи со строительством Самаровского гидроузла. Исследованы поселение Самарово I (Самаровская гора), местонахождение Самарово II, городища Самарово III, V, поселение Самарово IV, городище Микрорайон строителей и поселение Пропащий Бор. Собраны небольшие коллекции, отнесенные автором работ ко 2-й половине I тыс. н. э. [*Ротермель*, 1979: 1–8].

1979–1980 гг. стали для Л. Р. Ротеремель временем изучения поселения Жар-Агач I в Нововаршавском районе Омской области. В 1977 г. этот памятник обследован разведочным отрядом под руководством В. И. Матющенко [*Герасимов*, 2010: 57–58]. Работы Людмилы Роландовны дали интересный материал позднего бронзового века (саргаринско-алексеевская культура), востребованный в экспозиционной работе музея.

В фондах МАЭ хранятся коллекции, полученные в ходе первых самостоятельных разведок Валерия Терентьевича Галкина. Летом 1979 г. Омским отрядом Среднеиртышской экспедиции ОмГУ проводилось разведочное обследование правого берега реки Иртыш в Омском районе Омской области. В тот год удалось осмотреть поселения Ачаир I, V, VIII, IX и местонахождения Ачаир II–IV, VI,VII, а также курган Речное, поселение Розовка I, местонахождение Розовка II, местонахождения Усть-Заостровка I, II. В основном это памятники эпох поздней бронзы – раннего железа [*Галкин*, 1980: 7].

В 1981 г. группа Среднеиртышской археологической экспедиции под руководством В. Т. Галкина была занята разведочными работами в Омском и Муромцевском районах Омской области. Эта группа посетила поселение Розовка I (Омский район), городище Юрты I и стоянку Юрты II, могильник Юрты III (без находок), городище Юрты IV [*Галкин*, 1981: 1–10]. В 1982 г. им же проведена разведка на поселении Бобровка I (Тевризский район Омской области).

Ранние раскопки Светланы Владимировны Сотниковой тоже дали новые материалы для МАЭ. В 1982–1983 гг. ею были обследованы местонахождение Нововаршавская Сопка (Нововаршавский район Омской области), в 1982 г. – городище Битые горки (Омский район Омской области). В 1983 г. исследовательница изучает левый берег реки Иртыш в пределах Нововаршавского и Таврического районов. На могильнике Ермак IV был заложен разведочный шурф, и он оказался перспективным для дальнейших изысканий. Осмотрены курганы близ озера Щелочного, местонахождения Щелочное Озеро I, II, Сибирское I–IV, Дробышево I, стоянка на сопке у с. Нововаршавского (Нововаршавская Сопка), памятники между д. Новоивановкой и Баландино, у д. Прииртышье, Солоновка, Рассохино, курганы у д. Луговое, могильник Караман VII и др. [*Сотникова*, 1984: 3–20].

Игорь Евгеньевич Скандаков начал археологические изыскания в студенческом возрасте. В 1981 г. он провел сборы на памятниках в окрестностях Омска – на городище Большой Лог I и поселении Большой Лог II, местонахождениях Новомосковка I, II, Сперановском городище. Полученные коллекции поступили в МАЭ [*Галкин*, *Скандаков*, 1981: 1–65, 98–104].

Этнографом Натальей Ивановной Новиковой, которая заведовала МАЭ в 1976–1980 гг., было обследовано местонахождение у д. Левдым в Ханты-Мансийском округе (1978 г.). Археологом и краеведом Раисой Леонидовной Журовой проведены изыскания на Шаманском мысу (Средний Васюган Томской области) в 1984 г. Обе коллекции также пополнили фонды МАЭ.

Таким образом, за 1974–1984 гг. в фонд археологии МАЭ поступило свыше 270 коллекций (всего в учетной документации по состоянию на 1 января 2015 г. числится около 530 коллекций). Но в основном это разведочные, сравнительно малочисленные собрания. Самые крупные коллекции – материалы раскопок Мурлинского городища, Еловского археологического комплекса (В. И. Матющенко), поселения Екатериновка I (А. И. Петров), поселения Новотроицкое I (А. Я. Труфанов). Первое десятилетие существования МАЭ тесно связано со становлением молодых омских археологов, которые определялись в это время с направлением своих научных изысканий и пробовали силы в изучении различных районов Западной Сибири. Дальнейшим этапам истории формирования археологического фонда МАЭ будут посвящены наши отдельные публикации*.

Археологические коллекции, переданные В. И. Матющенко в Музей археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета и Музей археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского // Рыцарь сибирской археологии. – Омск, 2007. – С. 104–117.

* Автор публикации выражает благодарность С. С. Тихонову и А. Я. Труфанову за помощь в написании данной статьи.

Галкин В. Т. Отчет о полевых работах Омского отряда Среднеиртышской археологической экспедиции ОмГУ летом 1979 года в Омском районе Омской области // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 20-1. – Омск, 1980. – 8 с.

Галкин В. Т. Коллекционные описи археологических работ летом 1981 года / В. Т. Галкин, И. Е. Скандаков // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 43-2. – Омск, 1981. – С. 1–104.

Галкин В. Т. Отчет о полевых работах Среднеиртышской археологической экспедиции в Муромцевском и Омском районах Омской области в 1981 году // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 43-1. – Омск, 1981. – 10 с.

Герасимов Ю. В. Археологические памятники Степного и Южного лесостепного Прииртышья в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 196 с.

Глушков И. Г. Отчет о полевых работах Крутинского отряда Среднеиртышской археологической экспедиции Омского государственного университета летом 1979 г. // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 21-1. – Омск, 1979. – 9 с.

Матвеев А. В. О работе А. И. Петрова в Омском областном краеведческом музее в 1970-е гг. // Рыцарь сибирской археологии. – Омск, 2007. – С. 140–147.

Матющенко В. И. Раскопки Иштанского могильника / В. И. Матющенко, Т. Н. Косых // Археологические открытия 1976 г. – Москва, 1977. – С. 222.

Мельников Б. В. Отчет о разведочных археологических работах в Москаленском районе Омской области в 1978 году // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 14-1. – Омск, 1978. – 5 с.

Петров А. И. Отчет по археологической разведке, произведенной летом 1973 г. в Шербакульском районе Омской области: полевые чертежи и рисунки // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 4-1. – Омск, 1973.

Петров А. И. Эпоха позднего неолита и ранней бронзы в Среднем Прииртышье. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2014. – 348 с. – (Тр. ученых Ом. ун-та).

Ротермель Л. Р. Отчет о полевых работах Ханты-Мансийского отряда Среднеиртышской археологической экспедиции ОмГУ летом 1978 года в Ханты-Мансийском районе Тюменской области // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 16-1. – Омск, 1979. – 8 с.

Сотникова С. В. Отчет о разведке левого берега р. Иртыш в Нововаршавском и Таврическом районах Омской области в 1983 году // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 36-1. – Омск, 1984. – 23 с.

Томилов Н. А. Музей археологии и этнографии Омского государственного университета (краткий исторический очерк) / Н. А. Томилов, Г. М. Патрушева // Томилов Н. А., Захарова И. В. Этнографические научные центры Западной Сибири середины XIX – начала XXI века. Омский этнографический центр. – Омск, 2007. – С. 327–360.

Труфанов А. Я. Отчет об археологических работах, проведенных Среднеиртышской археологической экспедицией Омского государственного университета в Омском и Нижнеомском районах Омской области в 1984 году // МАЭ МК ОмГУ. – Ф. II. – П. 39-1. – Омск, 1984. – 68 с.

О. Г. Филиппова

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет,
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА С. И. РУДЕНКО В БИЙСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМЕНИ В. В. БИАНКИ*

The scope of research of noted scientist of XX century Sergei Ivanovich Rudenko (1885–1969) included anthropology, ethnography, archaeology, hydrology, etc. However, he achieved prominence by running archaeological excavations of kurgan fields in the Altai Mountains (Pazyryk, Tuekta, and Bashadar kurgans). The main part of collections from these sites was transferred to the State Hermitage (St. Petersburg). At the same time, the Biysk Museum of Regional Studies also possesses several archaeological materials obtained during excavations under the direction of this distinguished scientist. The true mark of pride in the museum archaeological collection are

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-11-22001).

© Филиппова О. Г., 2015

the details of sarcophagus obtained from the second Pazyryk kurgan and remains of horse harness of Scythian Epoch, which were donated to the museum in 1950–1960.

Научная деятельность известного ученого XX в. Сергея Ивановича Руденко (1885–1969) охватывала различные отрасли гуманитарных и естественных наук – антропологию, этнографию, археологию, гидрологию и др. Однако мировую известность ученому принесли археологические раскопки курганных могильников Горного Алтая – Пазырыкских, Башадарских и Туэктинских.

Знакомство Сергея Ивановича Руденко с Алтаем состоялось в 1924 г., когда он возглавил Алтайскую экспедицию Русского музея, главной задачей которой являлись археолого-этнографические исследования Восточного Алтая. В мае 1924 г. С. И. Руденко сделал запрос в Российскую академию истории материальной культуры на получение открытого листа на право производства раскопок в пределах Ойротской области и Уймонской степи сроком с 1 июня по 1 сентября 1924 г. [Архив ИИМК. Д. 126. Л. 1. 1924 г.]. Данное ходатайство было удовлетворено, и на тот момент заведующий этнографическим отделом Русского музея С. И. Руденко получил открытый лист. К этому времени за плечами молодого ученого, последователя палеоэтнологической школы Ф. К. Волкова, уже имелся серьезный опыт археологических изысканий – участие в исследовании Мезинской палеолитической стоянки, самостоятельные раскопки остяцкого могильника у с. Обдорскав Тобольской губернии, Прохоровских курганов в Оренбургской губернии и др. [*Кирюшин*, 2004: 10; *Шмидт*, 2004: 61–66].

После рекогносцировочного обследования, проведенного в 1924 г., изучение археологических памятников Горного Алтая продолжилось в 1925, 1927, 1929 гг. За этот период С. И. Руденко и сотрудниками его экспедиций были проведены археологические исследования различных памятников, таких как афанасьевские погребальные сооружения в урочище Арагол; курганный могильник Катанда II; средневековый могильник Кудыргэ, ставший в дальнейшем базой для создания первой классификации средневековых периодов истории племен Горного Алтая; курганный могильник Сростки; курган в урочище Шибе на реке Урсул; 1-й Пазырыкский курган и др. [*Шмидт*, 2006: 13–14].

Несмотря на уникальность полученных археологических материалов, возобновить археологические исследования на Алтае оказалось возможным лишь по прошествии многих лет. Изучение памятников археологии Горного Алтая становится главной темой научных исследований С. И. Руденко в послевоенный период.

Возобновление работ на Улаганском плоскогорье началось в середине июля 1947 г. при участии Института истории материальной культуры АН СССР и Государственного Эрмитажа: в 1947 г. были произведены раскопки 2-го Пазырыкского кургана, в 1948 г. – 3-го, 4-го и начаты 5-го (закончили в 1949 г.); в 1949 г. – три малых кургана Пазырыкской группы – 6, 7, 8-й [*Руденко*, 1953: 7].

Обращает на себя внимание интенсивность работ Сергея Ивановича. За короткий срок 1947–1949 гг. было вскрыто семь курганных сооружений. Результаты проведенных исследований публиковались в кратчайшие сроки: «Второй Пазырыкский курган: Результаты работ экспедиции ИИМК АН СССР в 1947 г. Предварительное сообщение» (1948); «Культура Алтая времени сооружения Пазырыкских курганов» (1949); «Предварительное сообщение о раскопках в Улагане 1947 г.» (1949); «Древнейшая скифская татуировка» (1949); «Раскопки Пазырыкской группы курганов» (1950); «Пятый Пазырыкский курган» (1951); «Горноалтайские находки и скифы» (1952); «Культура населения Горного Алтая в скифское время» (1953) и многие другие. В последней из указанных работ Сергей Иванович обобщил в культурно-историческом плане данные, добытые при раскопках Пазырыкской группы курганов. Отдельно рассмотрены географические условия долины и особенности образования подкурганной мерзлоты. Кроме этого, подробному анализу подверглись различные аспекты жизнедеятельности пазырыкцев: хозяйство и образ жизни, средства передвижения, одежда и украшения, искусство, социальный строй и другие вопросы.

Археологические исследования на Алтае продолжились в 1950 и 1954 гг. Экспедициями Института истории материальной культуры АН СССР производились раскопки Башадарских курганов и Туэктинских курганов в бассейне реки Урсул, левого притока Катуни. По результатам исследований в Центральном Алтае было обнаружено много новых ценных материалов, более ранних, чем в Пазырыке. Археологические находки из курганов в Пазырыке, Башадаре, Туэкте, исследованных С. И. Руденко, исчислялись не десятками, не сотнями, а тысячами предметов, большинство из которых сохранились в первозданном виде [*Руденко*, 1953]. Обширный и уникальный материал всесторонне освещал материальную и духовную культуру древних племен Алтая и являлся источником для

дальнейших исследований многими поколениями не только археологов, но и этнографов, палеозоологов, антропологов, искусствоведов и других специалистов [*Марсадолов*, 2004: 56].

В 1954 г. закончились экспедиционные археологические исследования Сергея Ивановича Руденко на Алтае, начатые им еще в 1920-х гг. Напомним, что к тому моменту ученому уже исполнилось 69 лет. Несмотря на солидный возраст, ученый вел активную деятельность по изучению древних памятников Горного Алтая. Сфера научных интересов в данной области была настолько широка, что включала совершенно различные памятники древности в хронологическом диапазоне от эпохи палеолита до средневековья.

Большая часть археологических материалов, полученных в ходе экспедиций С. И. Руденко, вошли в коллекцию Государственного Эрмитажа и представлены в постоянной экспозиции музея. Вместе с тем в музеях Алтайского края имеются археологические материалы, полученные в ходе экспедиций Сергея Ивановича Руденко в Горном Алтае.

Так, в Бийском краеведческом музее им. В. В. Бианки имеются артефакты, переданные профессором Руденко. В постоянной экспозиции музея в зале «Археология и этнография Алтая» размещены материалы из Пазырыкских и Туэктинских курганов. Согласно записям в книгах поступления основного фонда Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки, данные материалы переданы С. И. Руденко в 1952 и 1966 гг. Так, в книге поступлений № 1 под номером 72 основного фонда в августе 1954 г. зафиксирована запись о передаче следующего предмета – «детали саркофага Пазырыкской культуры (две нижние детали и одна часть от крышки), переданные от Горно-Алтайской научной экспедиции Академии наук под руководством профессора С. И. Руденко». В качестве датировки предмета указаны IV–I вв. до н. э., в качестве срока передачи предмета – 1952 г.

Вместе с тем на сегодняшний день в экспозиции музея размещены одна часть колоды и две части крышек от них. В аннотации предмета, расположенной на части колоды и размещенной в экспозиции музея, указана принадлежность ко 2-му Пазырыкскому кургану, раскопки которого закончились еще в 1947 г.

Следующая передача материалов от С. И. Руденко в Бийский музей зафиксирована в книге поступлений № 4 под номером государственного учета Оф 4501а. Запись выполнена 20 декабря 1966 г. на основании акта передачи из Государственного Эрмитажа от 21 февраля 1966 г. В книге поступлений сделана групповая запись – «коллекция резных деревянных предметов для украшения уздечного убора из раскопок С. И. Руденко у села Туэкта. 1954 год». Согласно информации, представленной сотрудниками музея, опись данной коллекции содержит 44 наименования и 78 предметов. Данная информация также подтверждается актом передачи Государственного Эрмитажа под № 86 от 21 февраля 1966 г. Большая часть переданных предметов представлена деревянными бляхами-подвесками различных типов и налобными бляхами. Кроме того, в акте передачи также указаны деревянные S-образные псалии и «отпил колоды, выдолбленной из ствола дерева»*.

В книге поступлений основного фонда № 4 под номерами государственного учета Оф 5243 и Оф 5244 зафиксирована передача от С. И. Руденко из Государственного Эрмитажа двух щитов из ивовых прутьев, состоящих из 39 и 24 палочек, скрепленных кожей из 1-го Туэктинского кургана. Один из них представлен в постоянной экспозиции музея.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки обладает одним из наиболее богатых музейных собраний – общий фонд музея составляет более 145 тыс. единиц хранения, из них более 65 тыс. предметов составляют коллекции по археологии. В середине XX в. основными способами формирования археологических собраний алтайских краеведческих музеев, в том числе Бийского музея, были экспедиции, проводившиеся с целью раскопок и разведок памятников, и случайные сборы, осуществляемые сотрудниками музея и краеведами [*Нестеров*, 2013: 59]. Передача археологических коллекций из крупнейших музеев, таких Государственный Эрмитаж, скорее всего, была разовым явлением.

Таким образом, археологическая коллекция, переданная С. И. Руденко в Бийский краеведческий музей в середине прошлого столетия, является одним из главных украшений археологической коллекции музея и не случайно представлена в его постоянной экспозиции.

---

* Автор публикации выражает благодарность за предоставленную возможность изучения материалов сотрудникам Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки, а также ведущему научному сотруднику отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, д-ру культурологии Леониду Сергеевичу Марсадолову.

Кирюшин Ю. Ф. Жизненный путь Сергея Ивановича Руденко / Ю. Ф. Кирюшин, А. А. Тишкин, О. Г. Шмидт // Жизненный путь, творчество, научное наследия Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. – Барнаул, 2004. – С. 9–21.

Марасадолов Л. С. Вклад С. И. Руденко и ленинградских археологов в изучение больших курганов Центральной Азии // Жизненный путь, творчество, научное наследия Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. – Барнаул, 2004. – С. 55–61.

Нестеров Е. А. Комплектование, учет, хранение археологических материалов в краеведческих музеях Алтайского края в 1950–1980-х гг. // Вестн. ТГУ. Культурология и искусствоведение. – 2013. – № 2 (10). – С. 56–60.

Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

Шмидт О. Г. Археологические исследования Сергея Ивановича Руденко // Жизненный путь, творчество, научное наследия Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. – Барнаул, 2004. – С. 61–84.

Шмидт О. Г. Археологические исследования С. И. Руденко Северной Евразии : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 2006. – 24 с.

А. А. Чернова

Россия, Барнаул, Алтайская государственная академия культуры и искусств

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. В. АНОХИНА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ

The article presents detailed description of the folklore and ethnographic heritage of A. V. Anohina and specifies in detail the geography of its location in Russia. The article analyzes the unique sources for the study of ethnography of Altai region.

Исследования в области этнографии и фольклора народов Алтая тесно связаны с именем талантливого ученого Андрея Викторовича Анохина. Музыкант, композитор, общественный деятель, он одним из первых обратился к изучению этнографии, фольклора населения Алтая. Являясь знатоком Алтая, ученый активно налаживал работу по его изучению и сохранению накопленных о нем знаний.

Целью данной статьи является исследование и описание фольклорно-этнографического наследия А. В. Анохина. Основным источником для освящения этой темы послужили материалы Государственного архива Республики Алтай. Ранее в периодической печати этот архивный материал не упоминался. Описи книг, рукописей, оставшиеся после смерти А. В. Анохина, – уникальный источник для выявления всего научно-творческого наследия ученого. Материалы, включенные в данную опись, находятся в различных регионах России. Они были расформированы и переданы в Санкт-Петербург – в Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), Томский областной краеведческий музей, Республиканский музей им. А. В. Анохина. На это указывает статья исследователя Р. М. Еркиновой, в которой дается подробное описание перемещений вещественных и письменных источников личного фонда ученого [*Еркинова*, 2013].

Материалы А. В. Анохина, оставшиеся после его смерти, вошли в перепись, составленную его учеником А. Новиковым. По данным этой переписи, ученый является автором более 150 рукописных работ по этнографии народов, населяющих Алтай [Госархив СПД РА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 17. Л. 18]. На сегодняшний день опубликованы лишь некоторые из них, в частности материалы по шаманизму, бурханизму в Западном Алтае, верованиям местного населения, краеведению [*Анохин*, 1927; 1994;

© Чернова А. А., 2015

2011; *Святогорье...*, 2000]. С другими его работами исследователи могут познакомиться лишь в музеях и архивах. В состав рукописного наследия ученого входят этнографические характеристики народностей Алтая и сопредельных территорий, описания их религиозных верований, фольклорный материал местных жителей (легенды, былины, обрядовая поэзия, сказки), дневники экспедиций, доклады и тексты выступлений А. В. Анохина на различных собраниях. К последним относятся, например, доклад, прочитанный им весной 1910 г. в Москве «Буддийская храмовая музыка среди монголов и сойотов», доклад «Мифология в шаманстве алтайцев», написанный автором в 1912 г., «Космогония алтайцев», «Народное песенное музыкальное творчество алтайцев, манголов и шорцев» [Госархив СПД РА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 17. Л. 18–24].

По материалам Государственного архива Республики Алтай можно определить объем и состав музыкального фольклорно-этнографического наследия Андрея Викторовича Анохина. Список папок с музыкальными произведениями, составленный А. Новиковым, включает 153 наименования. Он представлен в рукописных и печатных вариантах. В нем можно выделить следующие группы: церковная музыка, музыкальная этнография, светская музыка. В рамках обозначенной темы огромный интерес представляют его труды по этническому музыковедению. Они включают записи уже существующих песен и собственное творчество на основе этнографического материала. Большую часть его музыкального наследия составляют сборы этнографических экспедиций. Они представлены в музеях Томска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Горно-Алтайска. К этим материалам можно отнести свадебные, похоронные, бытовые песни, шаманские мелодии, мистерии.

При изучении его композиторского таланта важно творчество самого А. В. Анохина, в том числе и в этнографическом направлении. К данному виду деятельности можно отнести его трилогию Хан-Эрлик, Хан-Алтай и Талай-хан. Эти работы были рассмотрены бийским исследователем Н. В. Виницкой. Она справедливо отметила тот факт, что «деятельность Анохина для изучения шаманизма и традиций алтайской культуры выделяется особенно. Он не только описал их теоретически, но и создал на основе собранного фольклорного материала музыкально-сценическую трилогию» [*Виницкая*, 2010: 58].

Большое значение для исследователей этнографии Алтая могут иметь снимки, сделанные А. В. Анохиным в этнографических экспедициях. В списке рукописей, оставшихся после смерти Анохина, пронумеровано 196 снимков, среди которых имеются фотографии посуды для шаманских жертвоприношений, фотографии шорского кама с двумя видами бубнов, шорского аила, шаманских могил, телеутки и ее одежды, фотографии варки мяса на шорской свадьбе, одежды кумандинцев, теленгитского шамана, женской алтайской шубы, убранства казахской юрты, фотографии монгольского монастыря, женских украшений кумандинцев, семьи шорцев, сушки одежды телеутами, шатра для камлания, шорца-охотника, дома Вербицкого на Кондоме, бурханского жертвенника, алтайских детей, шорского улуса, группы крещеных алтайцев и др. [Госархив СПД РА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 17. Л. 28].

В список материалов, оставшихся после смерти А. В. Анохина, вошли также карты, хранившиеся у ученого. Среди них необходимо отметить отчетную карту к путешествиям по Булгарии, Монголии, Тибету 1876, 1878, 1879, 1890 гг., карту Семиреченского переселенческого района, карту северной части Тобольской губернии с указанием пройденного пути члена Западно-Сибирского отдела ИРГО в зиму 1879 г., карту Уральской и Турганской области, карту поверхности Сургутского рудника, карту Томской губернии, населенных мест Горного Алтая, дорожную карту Кавказа, схематическую карту Енисейской губернии, составленную [П. М.] Головачевым, карту приморского переселенческого района, карту Тобольской губернии, карту Енисейской губернии, карту высот, карту восточной Маньчжурии, изданную РГО, карту Забайкальской области, карту Иркутской губернии, карту Амурского переселенческого района. Карты помогают воспроизвести круг проблем, волнующих ученого. Особо следует отметить «племенную (этническую. – *Прим. авт.*) карту Ойротии», составленную Анохиным с участием Тозыякова, основой для которой служил планшет карты Алтайского округа. Это уникальный памятник научной этнографической мысли начала XX в., свидетельствующий о глубоком знании ученым этнического многообразия Алтая [Госархив СПД РА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 17. Л. 44].

Интерес представляет и опись книг А. В. Анохина. В состав описи его библиотеки входят 203 наименования. Список выполнен А. Новиковым в письменном и печатном вариантах в 1932 г. Представленные книги можно разделить по тематическому принципу на следующие группы: краеведческая литература; книги по этнографии Алтая, литература на алтайском языке; словари, учебники по грамматике алтайского языка; музыкальная литература; литература по истории и деятельности

Алтайской духовной миссии и антирелигиозная литература; историческая литература. Остановимся подробнее на некоторых группах книг.

Краеведческая литература включает следующие книги: «Приходная окладная ясачная книга Томского уезда», Н. Н. Баклай «Памяти П. А. Словцова как историка Сибири», В. В. Радлов «Средняя Зарявшанская долина», Дж. Кеннин «Сибирь и ссылка», Л. А. Уткин «О некоторых дикорастущих и культурных лекарственных растениях», П. Казанский «Родному краю» (стихи). Краеведение было важной составляющей деятельности А. В. Анохина.

В круг специализированных материалов по этнографии Сибири входили: «Программа для собирания этнографических сведений», «Сборник инструкций и программ для экскурсоводов», «Первый Всесоюзный тюркологическй съезд», «Курс этнологии» профессора Преображенского, журнал «Этнографическое обозрение» за 1889 г., С. А. Макарьев «Полевая этнография», журнал «Северная Азия» за 1926 г., Б. Д. Поливанов «Лекция по введению в языкознание», Л. [С.] Савельев «Символические знаки у наших инородцев», «Сборник к 80-летию Г. Н. Потанина», журнал «Этнографические исследования» за 1928 г., В. Сапожников «Вторая поездка в Монгольский Алтай», «Экономический статистический сборник Ойротской автономной области», Л. [С.] Савельев «Как живут народы Северного края», А. Э. Каруновская «Из алтайских верований и обрядов, связанных с ребенком», «Опыт программ исследования поселков малых народов Сибири», Н. П. Дыренкова «Брак, термины родства и запрет у киргизов», А. [Н.] Самойлович «Некоторые дополнения к классификации турецких языков», А. А. Ярилов «Сибирские инородцы: мелецкие татары», П. П. Сойкин «Турки-османы», Р. Карутц «Среди киргизов-туркменов на Мангышлак».

Группа «Литература на алтайском языке, словари, грамматика алтайского языка» из книжного собрания А. В. Анохина уникальна. Здесь представлены словари алтайского языка, грамматика, арифметический задачник и политграмота на алтайском языке. Интерес вызывает книга «История возникновения и проникновения в жизнь идей нового тюркского алфавита» автора Агазаде, являющаяся библиографической редкостью. А. В. Анохин знал алтайский язык и обучал ему учащихся школы им. Третьего Коминтерна, в которой работал в 1922–1926 гг.

Список литературы, оставшийся после смерти ученого, представляет большую ценность в качестве источника для изучения его творческой биографии. Обращение к личным библиотекам известных общественных или государственных деятелей позволяет получить оригинальные данные о конкретном человеке и представляет его духовный облик, что отражает особый путь личности в пространстве культуры.

Для характеристики фольклорно-этнографического наследия важны и художественные рисунки, оставленные А. В. Анохиным. В списке рукописей, оставшихся после смерти А. В. Анохина, пронумеровано 460 рисунков, классифицированных по разделам: жилище, посуда, предметы обстановки, орудия труда, разные предметы, одежда, охотничьи принадлежности, искусство, археология, шаманство, камская одежда, ритуальная посуда, культ предков, предметы шаманства, бурханизм, жертвенник шаманский, жертвенник бурханистов, сферы, где живут духи по представлению шаманистов. В примечании к описи рисунков говорится, что список составлен был самим Анохиным в 1931 г. [Госархив СПД РА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 17. Л. 29–38].

Как упомянуто выше, наследие А. В. Анохина имеет широкую географию размещения в России. В Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) находится фонд Анохина [*Еркинова*, 2013]. В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в Санкт-Петербурге хранится коллекция фонографических записей, сделанных Анохиным в рамках научно-исследовательской деятельности [*Бурыкин*, 2013]. Также материалы есть в рукописном фонде Фонограммархива ИРЛИ, где представлены ценные текстовые материалы по фольклору народов России, в том числе записи образцов фольклора народов Сибири, а также имеется небольшое собрание машинописных и рукописных текстовых записей, сделанных Анохиным [там же].

Томский областной краеведческий музей располагает коллекцией из личного фонда А. В. Анохина «Материалы, записанные А. В. Анохиным в этнографических экспедициях 1909–1914 гг.», состоящей только из письменных источников, которая не выставлялась в музее и не была оцифрована. Документы, составляющие ядро собрания, можно сгруппировать по следующим направлениям: буддизм (исследования музыки, термины и понятия), шаманизм (исследования музыки, термины и понятия, описание ритуальной одежды и музыкальных инструментов, тексты шаманских мистерий), бурханизм (описание религиозной обрядности), фольклор (сказки, эпос, тексты народных песен) [ТОКМ. Личный фонд А. В. Анохина].

В музее археологии и этнографии Сибири ТГУ хранятся материалы, связанные с именем А. В. Анохина, собранные в рамках его экспедиции на Алтай в 1910 г. художницей А. А. Ворониной-Уткиной. Эти графические рисунки и живопись наиболее полно освещают вопросы обрядности шаманизма [*Томск художественный...*, 2002].

В Государственном музее литературы, искусства и культуры Алтая, в экспозиции по шаманизму, выставлено рукописное издание книги А. В. Анохина «Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествия по Алтаю в 1910–1912 гг. по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии» [ГМИЛИКА. ОФ-17600/1]. Также здесь находится личный фонд Анохина, который включает переписку ученого с его родственниками, знакомыми, друзьями [*Краткий справочник-путеводитель...*, 2003].

Горно-алтайский музей также содержит материалы об А. В. Анохине. Это документы, связанные с его жизнью и творчеством: черновики, наброски, рукописи, личные педагогические записи [*Еркинова*, 2013: 38–39].

Таким образом, фольклорно-этнографическое наследие А. В. Анохина, весьма значительное по объему и разноплановое по составу, является важным источником изучения культуры населения Горного Алтая. Оно служит источниковедческой базой для исследований по фольклористике, этнографии, лингвистике и ряду смежных научных дисциплин. Все научные труды Анохина стали результатом его практической деятельности в сфере сохранения культурного наследия алтайского народа. Теоретические изыскания ученого пока изучены неполно, что объясняется недостаточным количеством опубликованных материалов и их территориальной рассредоточенностью. Практическая деятельность исследователя также требует более тщательного анализа. Ученый большое внимание в своих фольклорно-этнографических исследованиях уделял музыкальному оформлению жизни населения Алтая. Сделанные им нотные записи разрозненны и хаотичны. Впереди огромная работа по структурированию и расшифровке музыкальных записей Андрея Викторовича. Научная обработка и публикация трудов ученого позволят, на наш взгляд, расширить источниковедческую базу для изучения исторических процессов на Алтае и раскроют новые перспективы для дальнейших исследований.

Анохин А. В. Бурханизм в Западном Алтае // Сибирские огни. – 1927. – № 5. – С. 162–167.

Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествия по Алтаю в 1910–1912 гг. по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. – Горно-Алтайск : Ак Чечек, 1994. – 152 с.

Анохин А. В. Лекции по Алтаеведению. – Бийск : Изд. дом «Бия», 2011. – 152 с.

Бурыкин А. А. Рукописные материалы и фонозаписи А. В. Анохина в собраниях фоноархива Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН / А. А. Бурыкин, А. Ю. Кастров, Н. Д. Светозарова // Анохинские чтения. – Горно-Алтайск, 2013. – С. 28–32.

Виницкая Н. В. Отражение идеи религиозного многообразия Алтая в трилогии А. В. Анохина // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – Ч. II. – С. 56–58.

Госархив СПД РА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 17. Л. 18–24, 29–38, 44.

ГМИЛИКА. ОФ-17600/1. Личный фонд А. В. Анохина.

Еркинова Р. М. Камлание шамана Сапыра в записях А. В. Анохина // Анохинские чтения. – Горно-Алтайск, 2013. – С. 38–39.

Краткий справочник-путеводитель по фондам и собраниям Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2003. – 54 с.

Святогорье: история Республики Алтай в документах Центра хранения Архивного фонда Алтайского края, XVI – начало XX века. – Горно-Алтайск : [б. и.], 2000. – 231 с.

ТОКМ. Личный фонд А. В. Анохина. 22 дела. Материалы, записанные А. В. Анохиным в этнографических экспедициях 1909–1914 гг.

Томск художественный: начало XX в. : кат. выставки. – Томск : Раско, 2002. – 88 с.

ЭТНОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИСТОЧНИКИ, МЕТОДИКА И ТЕОРИЯ

А. Т. Ахатов

Россия, Уфа, Институт этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН

ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГРАФО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

According to archaeological materials of the Republic of Bashkortostan are considered basic problems of isolation and study ethnoarchaeological complexes Peoples of the South Urals XVIII – early XX centuries, which are related primarily to the lack of archaeological and ethnographic research area and especially its ethnic and cultural development.

Широкие интеграционные процессы, характеризующие развитие отечественной науки во второй половине XX – начале XXI в., обусловили появление новых подходов, методик и областей знаний, сформировавшихся на стыке двух и более научных дисциплин. Эта тенденция проявилась и в сфере гуманитарного познания, в которой в настоящее время существует целый ряд научных направлений, опирающихся в своих исследованиях на комплексный подход (культурная антропология, палеоэтнография, геоархеология и т. д.).

Среди междисциплинарных исследований, связанных с изучением истории человека, культуры и общества, особое место занимает этноархеологическое направление, являющееся на сегодняшний день одним из актуальных и перспективных векторов научного познания исторической реальности прошлого.

К настоящему времени среди российских исследователей сложилось три основных понимания этноархеологии (особое направление научных знаний, субдисциплина археологии, субдисциплина этнологии) и выделяется четыре группы разноплановых исследований, с помощью которых решаются поставленные перед ней задачи (сопоставление данных археологии и этнографии, этноархеология в классическом, бинфордовском понимании, экспериментальная археология, изучение этнографо-археологических комплексов (ЭАК) Западной Сибири). Последнее направление, связанное прежде всего с научно-исследовательской деятельностью группы археологов и этнографов из Омска во главе с Н. А. Томиловым, развивается наиболее интенсивно в нашей стране [*Корусенко,* 2013: 106–109].

Омскими учеными проводятся комплексные исследования истории и культуры народов Западной Сибири путем изучения многокомпонентных ЭАК, каждый из которых представляет собой «фактически реконструированный или сконструированный с помощью данных этнографии археологический социокультурный комплекс», основу которого «составляют этнически определяемые археологические материалы памятников, обогащенные этнографической информацией». Выделенный с привлечением исторических данных ЭАК может быть исследован, насколько позволяют материалы и в плане выявления более ранних его этапов [*Томилов*, 1996: 16–17].

Используемая методика, базирующаяся на выделении и изучении ЭАК, основой для которых служат археологические памятники Западной Сибири (поселения и могильники) XVI – первой четверти XX в., представляется перспективной и для исследования развития истории и культуры населе-

© Ахатов А. Т., 2015

ния Южного Урала (прежде всего Республики Башкортостан) первоначально в XVIII – начале XX в., а в дальнейшем, при успешной ее апробации, и в более раннее время.

В условиях многонационального и полиэтничного региона, где башкиры были известны по письменным источникам с IX–X вв., а представители других национальностей массово появляются с середины XVI в., она позволит, с одной стороны, более полно изучить этническую и социокультурную историю края, а с другой – может помочь при решении вопросов, связанных с этно- и культурогенезом башкирского народа.

К настоящему времени в Башкортостане сформирована значимая база археологических материалов, характеризующих развитие Южного Урала с древнейших времен до эпохи средневековья, и собраны богатые этнографические коллекции, отражающие культуру и быт народов края в XIX–XX вв. Так, музейный фонд Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН включает в себя около 230 тыс. предметов – 981 археологический, 186 этнографических и 30 коллекций драгметаллов [*Сафин*, 2011: 156]. Не менее значимыми являются и фонды архивных документов середины XVIII – начала XX в., являющихся важными составляющими при конструировании ЭАК. В Центральном историческом архиве Республики Башкортостан на сегодняшний день на учете состоит 164 280 единиц хранения (325 фондов) дореволюционных материалов [*Путеводитель по фондам...*, 2009: 4], в том числе картографические материалы по отдельным населенным пунктам, статистические данные 5–10 ревизий (1795–1858 гг.) и т. д.

Несмотря на имеющийся массив археологических, этнографических и письменных источников, при выделении и изучении ЭАК XVIII – начала XX в. на территории Башкортостана прослеживается ряд проблем, связанных как с неразработанностью теоретических аспектов, методов и методик данных исследований, так и с малой изученностью археологических памятников нового времени.

К настоящему времени в республике сформировались богатые традиции археологических и этнографических исследований, однако в регионе проведено всего несколько совместных, комплексных археолого-этнографических экспедиций и исследований [*Яминов,* 1997; *Минеева*, 2004; *Савельев*, 2012; *Кортунов,* 2008] и обследовано небольшое количество поселенческих памятников XVI – начала XX в. [*Ахатов,* 2014б: 17–21].

В связи с этим, несмотря на имеющийся массивный корпус картографического материала XVIII – первой половины XX в., в регионе нет археологической карты сел и деревень, наглядно демонстрирующей исчезнувшие (археологизировавшиеся) и существующие до настоящего времени населенные пункты многонационального региона. Вместе с тем проводившиеся археологической экспедицией Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы под руководством Г. Т. Обыденновой в 2005 г. разведочно-рекогносцировочные исследования в Кармаскалинском, Аургазинском, Чишминском и Мелеузовском районах Республики Башкортостан с целью сравнения данных картографического и археологического нахождения отдельных башкирских населенных пунктов показали свою состоятельность и целесообразность [*Обыденнова*, 2005].

Помимо картографирования поселенческих памятников археологии нового времени, важной проблемой является систематизация и обработка археологического материала, полученного с раскопов уже изученных памятников, их типологизация и датировка. На сегодняшний день в разной степени исследовано несколько поселенческих комплексов (часть с могильниками) русского (с. Николо-Березовка, д. Масляный мыс) и башкирского (Азнаевское поселение, Ибрагимовский (Тукус) аул, поселение Юлуково-4 и др.) населения в основном XVIII – начала XX в., которые могут стать основой для выделения ЭАК, материалы с которых на данный момент большей частью еще не опубликованы [*Свод...*, 2004: 91, 94; *Иванов*, 2007; *Ахатов*, 2014а: 14–15].

Говоря о проблемах исследования ЭАК на территории республики, нужно отметить, что они во многом перекликаются с аналогичными при изучении ЭАК на территории Западной Сибири [*Тихонов,* 1997; *Татаурова*, 2010]. Однако сложность при выделении и конструировании отдельных ЭАК на территории Башкортостана (особенно в западных и северо-западных районах) определяется также спецификой этнокультурного развития региона в XVI – начале XX в.

В ходе активных этнических процессов, происходивших в указанное время, на Южный Урал не только переселялись русские, чуваши, татары (в том числе и мишари), марийцы, удмурты и другие народы, но и шло формирование новых этнографических групп и этносословных сообществ – бакалинских крящен, тептярей, нагайбаков [*Трофимова*, 2009; *Якупов*, 2002; *Атнагулов*, 2007]. В результате интенсивных миграций на территории региона уже к концу XVIII в. существовало большое количество этнически смешанных населенных пунктов. По подсчетам А. З. Асфандиярова, по V ре-

визии 1795 г. из 186 обследованных сел и деревень Белебеевского уезда (части современных Чекмагушевского, Илишевского, Альшеевского и других районов) 103 (54,5 %) являлись полиэтничными, из 182 изученных поселений соседнего Бирского уезда (части современных Балтачевского, Краснокамского, Мишкинского и других районов) 65 (35,7 %) были смешанными [*Асфандияров*, 2009: 195]. Активные межэтнические взаимодействия приводили не только к межкультурному обмену, нивелировке культурных явлений, но и к смене этничности населения целых сел и деревень, что усложняет выделение отдельных ЭАК, их изучение и типологизацию.

В целом, говоря о выделении и изучении ЭАК на территории Южного Урала, нужно отметить, что, несмотря на имеющиеся проблемы, связанные в основном с недостаточной археолого-этнографической исследованностью территории и особенностями ее этнокультурного развития, имеющиеся археологические памятники XVIII–XX вв., выявленные на территории Республики Башкортостан, свидетельствуют о перспективности данного направления для изучении этнокультурного развития региона в целом и населяющих его отдельных народов в частности.

Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. – Уфа : Китап, 2009. – 744 с.

Атнагулов И. Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-этнографического исследования хозяйства и материальной культуры второй половины XIX – начала XX века. – Магнитогорск : МаГУ, 2007. – 244 с.

Ахатов А. Т. Этноархеологические исследования ИЭИ УНЦ РАН (краткие результаты археологических экспедиций 2014 г.) // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность. – Уфа, 2014а. – С. 12–15.

Ахатов А. Т. Изучение поселенческих памятников XVI–XIX вв. на территории Республики Башкортостан: проблемы и перспективы развития археологии нового времени в регионе / А. Т. Ахатов, Э. В. Камалеев // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. – 2014б. – № 4–1 (60). – С. 17–21.

Иванов В. А. Научный отчет о раскопках аула XVIII–XX веков в окрестностях с. Ибрагимова Кармаскалинского района Республики Башкортостан по договору № 6/6 от 26 марта 2007 г. за 2007 г. По проекту: «Башкирский аул XVI–XIX вв. в историко-археологическом исследовании». – Уфа, 2007. – 18 с., прил. // НА ЛАИИ ИИПО БГПУ им. М. Акмуллы.

Кортунов А. И. Результат этнографо-археологического исследования башкирской деревни (аула) Тукус (Тукуч, Текес, Тукусево, Тукучево). Исследования и исследователи юго-востока России (XIX–XX вв.) / А. И. Кортунов, С. Л. Воробьева // Вторые региональные историко-краеведческие чтения памяти проф. П. Е. Матвиевского (28–29 февраля 2008 г.). – Оренбург, 2008. – С. 95–98.

Корусенко М. А. Современная российская этноархеология / М. А. Корусенко, С. С. Тихонов // Интеграция археологических и этнографических исследований : в 2 т. – Иркутск ; Омск, 2013. – Т. 1. – С. 106–111.

Минеева И. М. Этнографо-археологические комплексы горно-долинных участков хребта Ирендык на Южном Урале // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Алматы ; Омск, 2004. – С. 52–54.

Обыденнова Г. Т. Отчет о научно-исследовательской работе по ГНТП за 2005 г. Тема: «Башкирский аул XVI–XIX вв. в историко-археологическом исследовании». – Уфа, 2005. – 32 с., прил. // НА ЛАИИ ИИПО БГПУ им. М. Акмуллы.

Путеводитель по фондам Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан. – Уфа : ГУП РБ УПК, 2009. – 144 с.

Савельев Н. С. Малые культовые объекты Южного Урала: от археологии к этнографической современности // Документы и материалы по истории башкирского народа (с древнейших времен до середины XVI в.). – Уфа, 2012. – С. 128–166.

Сафин Ф. Г. Институт этнологических исследований Уфимского научного центра РАН / Ф. Г. Сафин, А. Б. Юнусова, И. Г. Петров, Ф. Г. Галиева // Изв. УНЦ РАН. – 2011. – Т. 1, № 1. – С. 151–164.

Свод археологических памятников Республики Башкортостан, выявленных в 1987–2000 годах / авт.-сост. Н. С. Савельев. – Уфа : Информ-реклама, 2004. – 184 с.

Татаурова Л. В. Проблемы изучения материальной культуры русских XVII–XIX вв. по археологическим источникам // Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. 1. – Казань, 2010. – С. 181–182.

Тихонов С. С. Этнографо-археологические комплексы: проблемы конструирования и изучения (по материалам культуры татар и русских Тарского Прииртышья XVI–XX вв.) / С. С. Тихонов, Н. А. Томилов // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Т. 2. Культура тарских татар. – Новосибирск, 1997. – С. 10–19.

Томилов Н. А. Этнографо-археологические комплексы: проблемы конструирования и изучения (по материалам культуры татар и русских Тарского Прииртышья XVI–XX вв.) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Т. 1. Культура тарских татар. – Новосибирск, 1996. – С. 10–25.

Трофимова Г. И. Песенная традиция татар-кряшен Бакалинского района Башкортостана : дис. ... канд. искусствоведения. – Казань, 2009. – 301 с.

Якупов Р. И. Тептяри: историко-этнологические очерки: к проблеме генезиса этничности. – Москва : Старый сад, 2002 . – 268 с.

Яминов А. Ф. Баишевский микрорайон: итоги и перспективы этноархеологических исследований в Башкирском Зауралье / А. Ф. Яминов, Н. С. Савельев, А. В. Псянчин // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Уфа, 1997. – С. 182–185.

Ю. В. Герасимов

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН, научный центр СО РАН

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ – НОВОГО ВРЕМЕНИ В ТАРСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАЦИИ

In the article the peculiarities of funeral rites population of Irtysh-Tara region during of periods of the developed Middle ages and New time. Based on the statistical analysis revealed similarities and differences, suggested a genetic relationship between the population who left the study monuments.

Погребальный обряд является одним из наиболее устойчивых компонентов культуры этноса. Вариации, наблюдаемые не только в пределах памятников одной эпохи, но и в пределах одного памятника, не противоречат существованию определенных констант. Постоянство обряда имеет глубокую мировоззренческую укорененность, поскольку он связан с решением самой великой и страшной загадки человеческой жизни – переходом в смерть. Погребальный обряд можно рассматривать как комплекс действий, реализация которых призвана решить две главные задачи: отправить душу умершего в иной мир и защитить живых от ее вредоносного воздействия. Какие именно действия следует для этого предпринять, определяет социокультурная традиция: этническая, конфессиональная или этноконфессиональная. Ее успешное существование сталкивается со следующей дилеммой: онтология мира мертвых априорна, а потому не может быть верифицирована, но в то же время ее знание абсолютно необходимо для организации различных социальных практик. Указанные обстоятельства определяют диалектичность погребальной обрядности, в соответствии с которой фундаментальная парадигма сохраняет постоянство, но элементы и структурные компоненты могут изменяться под влиянием внешних факторов. Поэтому вариативность обряда следует рассматривать не как отклонение от установленной нормы, стандарта, а как форму его существования в социокультурном пространстве, не обязательно связанную с изменениями мировоззренческих представлений.

Эпоху средневековья в Западной Сибири принято датировать V–XIV вв., а ее финал связывать с началом становления ранних государственных образований в Западной Сибири [*Коников*, 2007: 140–141] и новым этапом этногенеза коренного населения [*Соболев*, 1984: 129]. В этот период в Тарском Прииртышье исчезают курганные могильники усть-ишимской культуры и появляются погребальные памятники нового типа, который исследователи связывают с предками одной из этнических групп сибирских татар – тарских [*Корусенко*, 2003]. Сопоставление выявленных черт погребальной обрядности комплексов указанных типов может иметь большое значение для изучения процессов этногенеза автохтонного населения южнотаежного Прииртышья.

© Герасимов Ю. В., 2015

Обзор погребальных традиций населения Среднего Прииртышья в эпоху позднего средневековья на основе археологических данных был предпринят в соответствующем разделе коллективной монографии «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири» [см.: *Очерки…*, 1994: 290–293]. Развитие погребального обряда этой группы с комплексным использованием этнографических и археологических материалов рассмотрено М. А. Корусенко [*Корусенко*, 2003]. Подробный анализ могильников позднего средневековья Барабинской лесостепи выполнен новосибирскими археологами [*Молодин*, 1990]. Сводная характеристика некрополей усть-ишимской культуры составлена Б. А. Кониковым [*Коников*, 2007]. Ограниченный круг источников, имевшихся в распоряжении исследователей в то время, позволил выполнить только качественный анализ. Сегодня благодаря работам этнографо-археологической группы Омского филиала ИАЭТ СО РАН в Тарском Прииртышье выделен и атрибутирован целый ряд поселений и могильников, относящихся к периодам средневековья и нового времени [*Мельников*, 1991; *Корусенко*, 2008]. Вместе с достижениями прежних лет сформирована представительная источниковая база, что дает возможность провести количественный сравнительный анализ памятников двух эпох. Рассмотрим количественные характеристики погребального обряда, следы которого фиксируются в археологических памятниках двух эпох. Для сравнительного анализа использованы как уже опубликованные материалы, так и результаты раскопок автора и его коллег*, выполненных в последнее десятилетие. Всего привлечены данные по 53 захоронениям из 11 могильников усть-ишмской культуры и 538 погребениям из 6 некрополей позднего периода.

Захоронения в период развитого средневековья совершались в курганных насыпях, как правило, округлых или овальных очертаний, по размерам подразделялись на малые – до 5 м, средние – 5–10 м и крупные – до 10 м в диаметре [*Коников*, 2007: 79]. Наличие рвов для курганов этой эпохи скорее исключение, чем правило. Для топографии могильников усть-ишимской культуры характерна привязка к ландшафту – цепочки курганов были приурочены к выдающимся участкам рельефа (террасы, мысы, останцы), располагаясь вдоль бровок террас. Насыпи могли образовывать один или несколько рядов, расположенных параллельно или под углом друг к другу. Если комплекс содержал насыпи разных размеров, то, как правило, меньшие группировались вокруг более крупных. Количество насыпей в пределах одного памятника может достигать нескольких десятков, но, как правило, не превышает тридцати. На этом фоне резко выделяется памятник Паново I, в составе которого насчитывается 77 курганов разных размеров; и планиграфия памятника необычна – насыпи расположены хаотично, не образуя видимых цепочек.

Погребальные комплексы позднего средневековья, как правило, тяготели к могильникам предшествующей эпохи. Небольшие насыпи образовывали ряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад, основанием которых обычно являлись курганные насыпи [*Корусенко*, 2008: 124]. Как правило, насыпь или могила оконтурена рвом с одной или двумя перемычками. Могильники намного крупнее предшествующих и обычно насчитывают сотни захоронений.

В насыпях усть-ишимских курганов следов каких-то надмогильных сооружений не фиксировалось, но на следующем этапе они появляются как рамы-обкладки из одного или нескольких (до четырех) венцов, уложенных на дневную поверхность и засыпанных сверху.

В период средневековья фиксируется традиция сооружения могильных перекрытий из плах или полотнищ бересты, на которых разводился огонь, засыпавшийся в процессе сооружения насыпи; аналогичный обычай мы наблюдаем и на памятниках XVII–XVIII вв.

Погребения в усть-ишимское время совершались, как правило, в ямах, но известны единичные случаи помещения покойника на дневную поверхность; в комплексах нового времени последний вариант отсутствует. Могильные ямы в курганах имели вытянутые пропорции, нередко в длину превышали рост погребенного, глубина могла варьироваться в пределах 20–50 см от уровня материка. Для могильников позднего периода характерны ямы овальных или прямоугольных очертаний, размерами пропорциональные костяку, глубиной 40–70 см от уровня материка. В усть-ишимских могилах нередко встречаются остатки плашек, устилавших дно ямы; в поздних комплексах они исчезают.

Использование в погребальных ритуалах развитого средневековья и нового времени огня надежно документируется археологическими данными, но кремация, известная в памятниках раннего средневековья, в курганах усть-ишимского этапа исчезает. Погребенные укладываются вытянуто на спине, руки вытянуты вдоль тела, кисти могли укладываться на таз. В большинстве случаев

* Автор выражает благодарность М. А. Корусенко и М. Ю. Здору за возможность использовать неопубликованные материалы.

костяки в усть-ишимских курганах ориентированы головой на северо-запад, но известны единичные случаи отклонения к юго-западу, югу и востоку. Для погребальных комплексов нового времени северо-западная ориентация погребенных становится своего рода «визитной карточкой», поскольку статистически ее преобладание абсолютно. Такое постоянство ориентации в археологии принято объяснять привязкой могилы к точке захода солнца [*Корусенко*, 2003: 88], но статистика демонстрирует серьезную уязвимость данной концепции. Дело в том, что точка заката в широтах Омского Прииртышья смещается в течение года в пределах 133–47° от севера. Следовательно, ориентация погребений должна наблюдаться в четверти северо-запад – юго-запад, хотя, возможно, и не в равной пропорции. Не должно быть отклонений к северо-северо-западу и северу, поскольку таких положений у закатного солнца не существует. Между тем ориентация погребенных головой на юго-запад встречается в единичных случаях, а вот отклонения к северу наблюдаются довольно часто. Следует также учитывать, что определить на местности направление на северо-запад очень непросто ввиду отсутствия надежных астрономических ориентиров. Объяснить отмеченное противоречие может гипотеза о том, что зимой погребения не совершались, но этнографических подтверждений этому пока получить не удалось.

Традиция снабжения погребенного сопроводительным инвентарем сохраняется как минимум до начала XVIII столетия. Номенклатура предметов в погребениях рассматриваемых эпох идентична: элементы одежды и украшения, предметы вооружения, орудия труда. Типологические различия носят эпохальный характер – в поздних комплексах широкое распространение получают предметы русского и среднеазиатского импорта. При этом в усть-ишимских комплексах в обязательном порядке встречаются керамические сосуды, помещенные в могилу, а также фрагменты сосудов, оставленные на поверхности насыпи. В дальнейшем эта традиция угасает – в поздних погребениях находки сосудов единичны, хотя встречаются котлы или сосуды в насыпи.

Сравнительный анализ показывает, что в погребальных памятниках усть-ишимской культуры развитого средневековья и нового времени фиксируются как черты сходства, так и отличия. Ярким проявлением региональной традиции, как нам представляется, можно считать устоявшуюся ориентацию погребенного головой в сектор запад – север-северо-запад. Отметим специфическое использование огня в погребальном обряде: костер разводился на плахах перекрытия и засыпался землей в процессе сооружения насыпи. Зафиксированная на некоторых погребениях усть-ишимской культуры, эта практика получает широкое распространение в могильниках XVI–XVII вв. Различия проявляются в первую очередь в самой организации некрополей: на поздних памятниках количество насыпей исчисляется сотнями, в то время как на усть-ишимских ограничено двумя-тремя десятками. Данное обстоятельство иллюстрирует изменение представлений о смерти, согласно которым теперь следовало погребать всех умерших на одном кладбище и по одному обряду. Следует отметить тенденцию к сокращению размеров насыпей и могильных ям при углублении последних; наконец, исчезает обычай помещать в погребение сосуд. Изменяется конструкция внутри- и надмогильных сооружений.

В целом статистические материалы позволяют предполагать генетическую связь культурных традиций могильников усть-ишимского времени и погребений XVI–XVII вв., разумеется, с учетом определенных трансформаций. Утверждению о прямой преемственности противоречит в первую очередь двухсотлетний хронологический разрыв между периодами, но нельзя также отрицать участие носителей усть-ишимской культуры в этногенезе сибирских татар. Нерешенными остаются вопросы о наличии и роли пришлого компонента, механизмах его взаимодействия с автохтонным населением и археологических свидетельствах таковых. Для их решения необходим как более детальный анализ уже имеющихся материалов, так и получение новых, относящихся к эпохе развитого средневековья.

Коников Б. А. Омское Прииртышье в раннем и развитом средневековье. – Омск : Изд. дом «Наука», 2007. – 466 с.

Корусенко М. А. Погребальный обряд тюркского населения низовьев р. Тара в XVII–XVIII вв.: опыт анализа структуры и содержания. – Новосибирск : Наука, 2003. – 192 с. – (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума ; т. 7).

Корусенко М. А. Планиграфия курганно-грунтовых могильников в низовьях р. Тара (предварительные итоги исследования) / М. А. Корусенко, А. В. Полеводов // Время и культура в археолого-этнографических

исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. – Томск, 2008. – С. 119–125.

Мельников Б. В. Поздние погребальные памятники таежного Прииртышья // Древние погребения Обь-Иртышья. – Омск, 1991. – С. 142–156.

Молодин В. И. Бараба в эпоху позднего средневековья / В. И. Молодин, В. И. Соболев, А. И. Соловьев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 262 с.

Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 2. Мир реальный и потусторонний. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1994. – 475 с.

Соболев В. И. К вопросу о формировании барабинских татар // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. – Омск, 1984. – С. 129–131.

Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западной Сибири в конце XVI – начале-первой четверти XIX в. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. – 281 с.

П. К. Дашковский, Н. С. Гончарова

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ЭПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ*

This article deals with the aspects of the integration of archaeological and ethnographic data to the context of the reconstruction of the worldview of the ancient population of Siberia in the Eneolithic and Bronze epoch. Controversial points of this approach and its effectiveness in domestic research are presented.

Важная роль интеграции археологии и этнографии в исследованиях различных культурных явлений неоднократно отмечалась отечественными учеными [*Чернецов*, 1953; 1971; *Окладников*, 1972: 193; *Грачева*, 1981; *Глушков*, 1993; *Томилов*, 1993: 30–32; *Клейн*, 2009: 135; и мн. др.]. В этом смысле совмещение данных двух наук давно зарекомендовало себя в качестве одного из наиболее плодотворных подходов к реконструкции мировоззрения древнего населения. Использование этнографических данных для интерпретации образов и сюжетов древнего искусства и погребального обряда населения эпохи энеолита и бронзы получило широкое распространение как в советский период, так и на современном этапе развития отечественной исторической науки.

Следует отметить, что теоретические разработки и выводы отечественных и зарубежных этнографов относительно ранних форм религии стимулировали изучение религиоведческой проблематики на археологическом материале. Такая тенденция способствовала формированию наиболее раннего «традиционного» подхода к мировоззренческим реконструкциям, где основной процедурой становится проецирование данных этнографии на археологические источники [*Дашковский*, 2011; *Дашковский, Гончарова,* 2013].

При этом обращение археологии к этнографии первоначально было обозначено в качестве палеоэтнографического подхода, суть которого в «умении находить и объективно осмысливать археолого-этнографические параллели при реконструкции тех или иных явлений археологической действительности» [*Косарев*, 1991: 7]. При этом сопоставлять данные археологии и этнографии лучше всего с учетом экологической обусловленности исторических процессов. Особенно это важно при исследовании представлений древнего человека о мире [там же: 7–9].

Использование этнографических источников является необходимой составляющей комплексного подхода. Отмечая важность такого методологического направления в современных археологи-

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии (проект № 13-21-03001а/G, тема «Этнокультурные и политические процессы как факторы исторической динамики религиозной ситуации в трансграничном пространстве юга Западной Сибири и Западной Монголии»).

© Дашковский П. К., Гончарова Н. С., 2015

ческих исследованиях, ориентированных в том числе и на изучение системы идей, В. И. Молодин затрагивает один из дискуссионных вопросов привлечения данных этнографии в археологии – вопрос учета пространственно-временных рамок привлекаемых материалов [*Молодин*, 1985: 3–5]. Более подробно эта проблема была рассмотрена Л. С. Клейном [2009: 136], выделившим общесравнительные (по общности законов) и конкретно-исторические (на основе родства, контактов) аналогии.

Попытка соединения в исследованиях результатов этнографических изысканий и археологических источников с целью атрибутации и интерпретации последних вызвала необходимость разработки условий для интеграции наук. Ученые отмечают, что обычный поиск археологами этнографических параллелей зачастую ведет к ошибкам и поверхностным суждениям. Признавая сложность решения возникшей проблемы, исследователи все же призывают разрабатывать варианты взаимопроникновения теории и методики, а также максимально учитывать всю совокупность материальных и духовных явлений культуры, специально их не разграничивая [*Томилов*, 1993; *Кениг*, 2010: 4]. При этом применительно к эпохе палеометалла возникает еще одна сложность для реконструкции мировоззрения древнего общества, связанная с более значительным временным разрывом между археологическим источником и этнографическими данными по сравнению с поздними эпохами. Однако это практически нивелируется наличием преемственности черт традиционной культуры [*Косарев*, 1991; *Томилов*, 1993]. Кроме того, по мнению некоторых ученых, минимизировать ошибки и в целом обозначить перспективные пути интеграции археологии и этнографии позволит обращение к опыту зарубежных исследователей [*Шнирельман*, 1979; *Кениг*, 2010: 24–25].

Несмотря на возникающие сложности, использование этнографических материалов позволило отечественным ученым успешно провести реконструкцию некоторых аспектов мировоззрения населения Южной и Западной Сибири эпохи палеометалла. Первоначально исследователи обращались к этнографическим свидетельствам без разработки методологических вопросов. Так, одним из первых изучая древние народы Сибири, использовал традиционный подход в своих исследованиях С. В. Киселев. Проводя работу в том числе и по реконструкции мировоззрения по данным искусства, погребального обряда, ученый сопоставил известные ему этнографические параллели с сибирскими материалами эпохи бронзы [*Киселев*, 1951: 168]. Э. Б. Вадецкая [1967: 36–37] в этнографии находит параллели пантеону носителей окуневской культуры. Исследовательница критически относится к полному переносу представлений на окуневские изваяния, аргументируя это тем, что похожие изображения у сибирских народов могут иметь разное значение. Однако, по ее мнению, этнографические параллели могут указать на общее направление, в котором нужно искать смысл изваяний [*Вадецкая*, 1980: 57, 74].

Показательными являются исследования по реконструкции мировоззрения на материалах первобытного изобразительного искусства с привлечением этнографических данных. Я. А. Шер [1980] считает данные сибирской этнографии важнейшим источником сведений по объяснению семантики рисунков, однако не настаивает на сибирских параллелях, указывая на возможные доиндоевропейские корни изображенных образов и сюжетов. Кроме того, вопросы семантики изображений в контексте этнографической традиции рассматривают М. А. Дэвлет [1980: 244–247; 1997: 241–244; 2012], Бутьян В. А [2003] и др.

На основании сходства элементов костюма изображений и костюмов шаманов, известных по этнографическим данным, отдельные аспекты мировоззренческих представлений реконструируются В. Д. Кубаревым [1988] по материалам каракольской культуры Алтая. Этнографические материалы по народам Сибири и в целом Евразии применяются М. Ф. Косаревым [1991: 146] для изучения религиозных представлений. При этом автором справедливо подчеркиваются некоторые недостатки работы, а именно не совсем оправданное проецирование этнографических данных на археологические [там же: 134, 137]. Следует отметить, что сам подход к изучению культовых представлений на основе широкого привлечения этнографических данных был развит и применен исследователем ранее [*Косарев*, 1981]. Кроме того, сибирские этнографические данные широко используются Ю. Ф. Кирюшиным [2004: 23, 69–70, 85–88] для реконструкции религиозных представлений и обрядовых действий.

В современных исследованиях, целиком посвященных реконструкции мировоззрения населения Южной и Западной Сибири эпохи бронзы, в целях комплексного исследования мировоззренческих традиций также используются этнографические свидетельства. Предпочтение в этом случае исследователи отдают тем источникам, которые отразили представления, стадиально и культурно близкие

к духовной культуре населения юга Западной Сибири в эпоху бронзы [*Михайлов*, 2001; 2005; *Косарев*, 2003].

Использование этнографических данных при изучении мировоззрения населения Южной и Западной Сибири эпохи палеометалла, в том числе и в рамках комплексного подхода, позволило достигнуть значительных результатов в области реконструкции представлений древнего человека. Продолжает оставаться актуальным вопрос об условиях интеграции двух смежных наук, поскольку роль этнографических данных в процессе реконструкции мировоззрения высока. Проецирование данных этнографии на археологические источники оправдано в том варианте, когда можно ретроспективно в рамках историко-этнографического подхода проследить развитие мировоззрения народов, связанных генетически, а также при изучении древних представлений о мире на предмет выявления так называемых мифологических универсалий.

Бутьян В. А. Антропоморфные изображения в наскальном искусстве Северной Азии: эпоха энеолита-бронзы : дис. ... канд. ист. наук. – Кемерово, 2003. – 273 с.

Вадецкая Э. Б. Древние идолы Енисея. – Ленинград : Наука, 1967. – 80 с.

Вадецкая Э. Б. Памятники окуневской культуры / Э. Б. Вадецкая, Н. В. Леонтьев, Г. А. Максименков. – Ленинград : Наука, 1980. – 148 с.

Глушков И. Г. Этноархеология: к истории археолого-этнографических параллелей // Историческое познание: традиции и инновации. – Ижевск, 1993. – С. 62–66.

Грачева Г. Н. Вопросы методики использования данных этнографии в археологических исследованиях / Г. Н. Грачева, Л. П. Хлобыстин // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. – Томск, 1981. – С. 134–138.

Дашковский П. К. Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. – 244 с.

Дашковский П. К. Методологические подходы к изучению мировоззрения населения Южной и Западной Сибири эпохи палеометалла: историографический аспект / П. К. Дашковский, Н. С. Гончарова // Изв. АлтГУ. – 2013. – № 4/1 (80). – С. 131–136.

Дэвлет М. А. Петроглифы Мугур-Саргола. – Москва : Наука 1980. – 269 с.

Дэвлет М. А. Окуневские антропоморфные личины в ряду наскальных изображений Северной и Центральной Азии // Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. – Санкт-Петербург, 1997. – С. 240–250.

Дэвлет М. А. Человек и его место в системе мироздания (по материалам петроглифов бассейна Верхнего Енисея) // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. – Москва ; Кемерово, 2012. – С. 3–34.

Кениг А. В. Этноархеология как метод исторических реконструкций (на примере тазовских селькупов). – Екатеринбург ; Ханты-Мансийск : Изд-во АМБ, 2010. – 128 с.

Кирюшин Ю. Ф. Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2004. – 294 с.

Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. – Москва : АН СССР, 1951. – 364 с.

Клейн Л. С. Новая археология (критический анализ теоретического направления в археологии Запада). – Донецк : ДНУ, 2009. – 393 с.

Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – Москва : Наука, 1981. – 282 с.

Косарев М. Ф. Древняя история Западной Сибири. Человек и природная среда. – Москва : Наука, 1991. – 302 с.

Косарев М. Ф. Основы языческого миропонимания: по сибирским археолого-этнографическим материалам. – Москва : Ладога-100, 2003. – 352 с.

Кубарев В. Д. Древние росписи Каракола. – Новосибирск : Наука, 1988. – 173 с.

Михайлов Ю. И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири. – Кемерово : Кузбасиздат, 2001. – 345 с.

Михайлов Ю. И. Ритуальная символика женских погребений синташтинского и андроновского времени // Археология Южной Сибири. – Кемерово, 2005. – Вып. 23. – С. 58–61.

Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск : Наука, 1985. – 200 с.

Окладников А. П. Сокровища томских писаниц. Наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы / А. П. Окладников, А. И. Мартынов. – Москва : Искусство, 1972. – 296 с.

Томилов Н. А. Проблемы этнической истории (По материалам Западной Сибири). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1993. – С. 30–48.

Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. – 1953. – № 35. – С. 7–71.

Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала. – Москва : Наука, 1971. – 148 с.

Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – Москва : Наука, 1980. – 321 с.

Шнирельман В. А. Методы использования этнографических данных для реконструкции первобытной истории в зарубежной науке // Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. – Москва, 1979. – С. 126–162.

Д. Ю. Ефремова

Россия, Марий Эл, Национальный музей им. Т. Евсеева

САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МАРИЙЦЕВ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

In the article the process of a sacralization of space in traditional Mari society since a Middle Ages era is considered. On the basis of the analysis of archaeological and ethnographic sources the main tendencies of a sacralization of the vital environment are shown.

Проблемы формирования и развития представлений о сакральном пространстве в марийской традиционной культуре на сегодняшний день малоизучены. Несомненно, процесс формирования сакрального пространства в марийском обществе начинается еще в эпоху средневековья, когда появляются устойчивые представления о размещении культовых объектов. Сакрализация охватывает все стороны жизни, и это хорошо прослеживается в организации жилого (на поселениях) и нежилого (появление наряду с могильниками святилищ) пространства.

Анализ организации сакрального пространства на поселении показывает, что в традиционных представлениях марийцев эпохи средневековья нет четкого противопоставления «сакрального» и «профанного». Ярким примером может служить так называемая постройка «кудо». В жилищном комплексе марийцев XIX в. «кудо» является надворным строением для приготовления пищи (летней кухней), и одновременно, по мнению ряда этнографов, она использовалась для совершения семейных ритуально-священных действий [*Козлова*, 1964: 52; *Кудрявцев*, 2004: 86]. Принцип ее устройства практически не изменялся – это срубная постройка из легких бревен, положенных прямо на землю, без пола, потолка, окон, с открытым очагом в центре [*Козлова*, 1964: 52]. Размещалась она обычно напротив избы, отдельно от других надворных построек, иногда посредине двора [*Крюкова*, 1956: 113].

Археологически по ряду признаков «кудо» выделяется уже в I тыс. н. э. (городища Васильсурское II, Сомовское II, Еманаевское, Малахайское, селище «Галанкина гора»). Примечательно, что вещевой инвентарь объектов представлен льячками, ошлакованной керамикой, фрагментами тиглей, кусками бронзы и медной проволоки, шлаками, что указывает на их связь с производством бронзовых украшений. К концу I тыс. н. э. конструктивные особенности постройки «кудо» усложняются («Галанкина гора»), и в начале II тыс. н. э. появляется новый двухкамерный тип (Важнангерское городище). Подобное разделение «кудо» на две неравные части отмечено и в этнографической литературе [*Хейкель*, 1888: 5; *Калиев*, 2003: 136–137]. При этом малая часть («изикудо») характеризуется как особо табуированное священное место обитания семейно-родового духа Кудоводыжа. Для приноше-

---

* Калта – кошелек [*Васильев*, 1991: 101].

** Эртне – берестяной короб [*Васильев*, 1991: 454].

© Ефремова Д. Ю., 2015

ний этому божеству делали сумочку «кудо-водыж калта»* (кошелек кудо-водыжа) или «куд-эртньэ»** (берестяной короб летней кухни) четырехугольной формы или в форме воронки, помещаемый в углу «кудо» [*Васильев*, 1927: 20]. Здесь же хранились все принадлежности домашних языческих молений и жертвоприношений [*Холмберг*, 1926: 1–3; *Крюкова*, 1956: 115]. Можно предположить, что Кудо-водыж приобретет более четкий образ семейно-родового покровителя только в XIV в. – с момента фиксации «изикудо» на Важнангерском городище.

Сакральная функция данной постройки ярко иллюстрируется ее особенным значением в поминальной обрядности. У бирских марийцев во время праздника Сьöсьöвойзымаш через 2 года после смерти человека кости лошади, на которой один из родственников ездил на кладбище, хоронят в шалаше («кудо») [*Васильев*, 1927: 103–104]. По описанию архимандрита Макария 1849 г., нижегородские марийцы в «кудо» приносили покойника, клали его на «лубок» и подвешивали к перекладине до прихода священника [*Иванов*, 2004: 157]. Здесь же оставляли посуду, употреблявшуюся для поминовения, и выделяли место для подвешивания посула – обещание принести жертву [*Васильев*, 1927: 44, 103–105, 113].

Таким образом, «кудо» в жилом сакральном пространстве марийцев занимает промежуточное положение: с одной стороны, это бытовой объект («летняя кухня»); с другой – место совершения целого ряда сакральных действий, в котором с XIV в. выделяется специальное пространство для покровителя рода.

Можно предположить, что подобное же значение в сакральном смысле имели и производственные металлообрабатывающие постройки, выявленные на площадках ряда городищ I тыс. н. э. («Чертовое городище», Сомовское II, «Иванова гора») [*Ефремова*, 2010; *Архипов*, 1962: 207, табл. XLII-1; 1979: 43–46]. Они не входили в жилищный комплекс и помещались на окраинах жилых площадок. В последующем так же располагались и кузницы, одна из которых обнаружена на Юльяльском селище (XIII – начало XV в.) [*Никитин*, 1987]. Позднее они размещались в удалении от поселений*, о чем свидетельствуют и современные названия урочищ**. Обращает на себя внимание тот факт, что в «кудо» II тыс. н. э. предметы, связанные с литьем, отсутствуют, но название кузницы в марийском языке – «апшаткудо» (кудо кузнеца) сохраняет ее древнейшие культовые черты, связанные с магией металла.

Безусловно, сакральным характером наделяются и люди, имеющие отношение к «кудо» («летняя кухня» с бронзолитейными предметами) и «апашткудо» (исключительно бронзолитейные постройки и затем кузницы): женщины-литейщицы и мужчины-литейщики/кузнецы. Это хорошо видно по особенностям погребального обряда этой категории носителей культовой практики, в котором зафиксировано большое количество охранительных элементов [*Никитина*, 2012]. Женщины-литейщицы помимо производственной стороны своей деятельности несли функцию сохранения и умножения рода, связанную с пронимальной магией. К концу XI в. женщины, постепенно утрачивая свое влияние в обществе, уступают свое место мужчинам-литейщикам/кузнецам. Процесс этот закономерен и в какой-то мере объясняет наличие в марийском обществе большого количества сакральных персон мужчин: жрецов (картов), ворожей и знахарей, что подтверждается этнографическим материалом (мужеды, сунальчи, шӱведышы) [*Святыни*..., 177]. Вероятно, иллюстрацией передачи функций охраны рода может служить и устаревшее в марийском языке слово «арвуй», означающее «жрец-вожак». Таким образом, на первый план выходят мужчины-жрецы-вожди, мужчины-кузнецы и поклонение железу.

Сохранение особого сакрального отношения к железу в марийской среде отмечается этнографами. Среди верховных божеств горных марийцев упоминается Кӱртньӧводыж (Железный воин), который ездит на тройке карих лошадей, одет как исправник, как бывшему конному воину, в жертву

---

* Эти факты зафиксированы в археологических отчетах: Бадьинская кузница расположена в 200–300 м к востоку от селища Бадьино на краю террасы левого берега р. Ляж [*Никитин*, 1994]; раскоп 1997 г. на поселении Красное селище II располагался на месте старой деревенской кузницы [*Никитина*, 1998]; при исследовании святилища возле д. Юнга-Пернянгаши (в 500 м к юго-западу от деревни) был обнаружен котлован от кузницы с куском кричного железа [*Ефремова*, 2003]; в 260 м к северо-западу от д. Средний околоток Горномарийского района обнаружена впадина от котлована, по словам местных жителей, возможно, от старой кузницы [*Акилбаев*, 2014].

** Например, «Старая кузница» в 2500 м к западу от д. Арзебеляк Звениговского района РМЭ [*Никитин*, 1986]; «Апшат йар» (Озеро кузнеца) в 2600 м к востоку от с. Владимирское Горномарийского района РМЭ.

ему приносят лошадей [*Смирнов*, 1889: 166, 170]. Он является двоюродным братом большого бога Кугурака (т. е., вероятнее всего, Чумбылата), чье имя переводится с марийского языка как «муж (человек) крепкий, твердый, как сталь» [*Черных*, 1995: 539]. В свою очередь на связь Чумбылата с железом и кузнечным производством указываети марийская легенда [*Четкарев*, 1951: 166]. Особый статус этих божеств подчеркивается и посвящением им святилищ: Сиухинское (в Горномарийском районе РМЭ) и Чумбылатское (в Кировской области) [*Ефремова*, 2009: 31–41].

Жилое пространство отделялось от нежилого не только различного рода оградами. Археологический материал Марийского Поволжья содержит данные об усилении сакральной границы жилого и нежилого пространства несколькими путями: 1) через скрытые сакральные объекты, сопоставимые с этнографическим понятием «строительная» или «заложенная» жертва; такие объекты, как правило, фиксируются внутри укреплений городищ, под ними или рядом с ними (Ардинское, «Чертово городище», Кубашевское, Пайгусовское, Еманаевское, Сиухинское, Васильсурское V, Важнангерское) [*Ефремова*, 2013: 93–95]; 2) через размещение святилищ возле укреплений городищ (Еманаевское, Важнангерское) и на окраинах поселений («Галанкина гора», Сутырское VIII, Майданское I, Красное селище II). Все это семантически усиливало значение границы.

По мнению этнографов, в традиционном жизненном пространстве марийцев и сегодня сохранились сакральные маркеры между территорией освоенного пространства и неосвоенным человеком миром, где действовали духи природных стихий. К ним относятся одиночно стоящие деревья: «лирообразные» сосны (деревья с двумя вершинами изогнутой формы), которые стоят на пожнях, полях и на перекрестках дорог; деревья, отмеченные зарубками, затесами и обрезанием ветвей [*Конкка,* 2007] и, возможно, часовни на окраинах деревень и сел.

Акилбаев А. В. Отчет о результатах проведения археологического обследования территорий, отведенных под строительство автомобильных дорог и ВОЛС в Горномарийском, Мари-Турекском, Медведевском, Оршанском районах Республики Марий Эл. Йошкар-Ола, 2014 // Архив НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 1190.

Архипов Г. А. Городища первой половины I тыс. н. э. в Марийской АССР // Тр. Марийской археол. экспедиции. Т. II. Железный век Марийского края. – Йошкар-Ола, 1962. – С. 206–231.

Архипов Г. А. Археологические свидетельства о ремесле древних марийцев // Археология и этнография Марийского края. Вып. 4. Из истории хозяйства населения Марийского края. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 43–50.

Васильев В. М. Материалы для изучения верований и обрядов народа Марий. – Краснококшайск : Маробиздат, 1927. – 128 с.

Васильев В. М. Марла-рушламутер. Марийско-русский словарь / В. М. Васильев, А. А. Саваткова, З. В. Учаев. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1991. – 512 с.

Ефремова Д. Ю. Отчет о разведочных работах в бассейне р. Большая Юнга в Горномарийском районе Республики Марий Эл в 2003 г. Йошкар-Ола, 2003 // Архив НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. I. Д. 1083.

Ефремова Д. Ю. Развитие идей А. А. Спицына в исследовании святилищ и культовых мест Ветлужско-Вятского междуречья // Самобыткая Вятка: история и культура. – Киров, 2009. – Вып. 2. – С. 31–41.

Ефремова Д. Ю. Отчет о раскопках «Чортова городища» в Нижегородской области летом 2009 г. Йошкар-Ола, 2010 // Архив НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. I. Д. 1138.

Ефремова Д. Ю. Формирование сакрального пространства на примере культовых объектов Марийского Поволжья // Переходные эпохи в археологии. – Сыктывкар, 2013. – С. 93–95.

Иванов А. Г. Культура и быт марийцев Нижегородской губернии в описаниях православного духовенства середины XIX в. // Марийский археографический вестник. – 2004. – № 14. – С. 150–159.

Калиев Ю. А. Мифологическое сознание Марий: феноменология традиционного мировосприятия. – Йошкар-Ола : Марийский гос. ун-т, 2003. – 216 с.

Козлова К. И. Этнография народов Поволжья. – Москва : Изд-во МГУ, 1964. – 174 с.

Конкка А. П. Марийские деревья-знаки: маркеры сакральных границ // Сборник РГНФ. – 2007. – № 4. – URL: http://www.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r&id=m75&search_year=2007 (дата обращения: 05.05.2015).

Крюкова Т. А. Материальная культура марийцев XIX века. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1956. – 160 с.

Кудрявцев В. Г. Деревянное зодчество марийцев. – Йошкар-Ола : МарНИИЯЛИ, 2004. – 120 с.

Никитин В. В. Отчет о работе неолитического отряда Марийской археологической экспедиции в 1985 г. Йошкар-Ола, 1986 // Архив ИА РАН. Р-1. Д. 10914.

Никитин В. В. Отчет Марийской археологической экспедиции за 1986 г. Йошкар-Ола, 1987 // Архив ИА РАН. Р-1. Д. 11752.

Никитин В. В. Отчет Марийской археологической экспедиции о разведочных работах в 1994 г. Йошкар-Ола, 1994 // Архив ИА РАН. Р-1. Д. 18058.

Никитина Т. Б. Отчет о работах III отряда МАЭ в 1997 г. Йошкар-Ола, 1998 // Архив ИА РАН. Р-1. Д. 19767.

Никитина Т. Б. Погребальный обряд комплексов с литейными принадлежностями из средневековых могильников IX–XII вв. Ветлужско-Вятского междуречья / Т. Б. Никитина, Д. Ю. Ефремова // Поволжская археология. – 2012. – № 2. – С. 146–165.

Святыни. Культ предков. Древняя история. – Йошкар-Ола : Марийское кн. из-во, 2009. – 704 с.

Смирнов И. Н. Черемисы: историко-этнографический очерк. – Казань : Тип. Имп. ун-та. 1889. – 212 с.

Хейкель А. О. Строение черемисов, мордвы, эстонцев и финнов. Гельсингфорс, 1888 // Архив НРФ МарНИИЯЛИ. РФ-1. Д. 925.

Холмберг У. Finno-Ugric Mythology / The Mythology of AllRaces. V. IV. Boston, 1926 // Архив НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. I. Д. 94. Л. 1–3.

Черных С. Я. Словарь марийских личных имен. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1995. – 624 с.

Четкарев К. А. Марийские предания о родоплеменных богатырях // Учен. зап. МарНИИ. Вып. 4. Литература, фольклор, искусство. – Йошкар-Ола, 1951. – С. 151–172.

А. М. Илюшин

Россия, Кемерово, Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ ИНДИВИДА В ПРОСТРАНСТВЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ)

In the article materials of excavation of funeral monuments of the developed Middle Ages in the territory of Kuznetsk Depression located on the northern periphery of Sayano-Altai are analyzed. On the basis of data on typological classification of these sources by means of methods of the comparative analysis and modeling the question of the social statuses of the individual in space of life and death is investigated.

Исследование вопроса о социальных статусах индивида по материалам погребальных памятников развитого средневековья Кузнецкой котловины основывается на важном постулате, который является первоначальной точкой отсчета в понимании языка погребального обряда. Его суть состоит в том, что погребальный обряд у аборигенов, практикующих язычество, должен восприниматься как продолжение жизни в другом измерении (или перевернутом состоянии), но с теми же культурными формами, социальными стереотипами восприятия и интерпретации, как и в их реальной жизни, в соответствии со своей культурной традицией. Закодированная в погребальном обряде информация, представленная устойчивыми культурными формами, позволяет понять правила формирования ряда конкретных сообщений и раскрыть содержание их смысла, а также приблизиться к пониманию его уникальных вариативных форм. Таким образом, погружение в мир знаков и символов, комбинированно выраженных в погребальном обряде средневекового социума Кузнецкой котловины, дает нам возможность опосредованно вступать в коммуникативные связи с индивидами и культурой этой эпохи и ориентироваться в социокультурном пространстве [*Илюшин*, 2009б: 149–150].

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы обобщить накопленный опыт по расшифровке закодированной смысловой информации о социальных статусах индивидов, погребенных в Кузнецкой котловине в период развитого средневековья (XI–XIV вв.). Для достижения этого результа-

© Илюшин А. М., 2015

та используется информация по типологической классификации артефактов и элементов-признаков погребального обряда из банка данных по средневековой археологии Кузнецкой котловины, где систематизированы сведения о раскопках более 500 погребений на более 30 погребальных памятниках развитого средневековья. Сравнительный и статистический анализ этих материалов позволяет выявлять общее и индивидуальное, а методы моделирования и реконструкции – интерпретировать их как статусные символы.

Первая позиция, указывающая на социальный статус погребенного индивида, напрямую связана с положением социальной группы, членом которой он являлся в социальной системе. В период развитого средневековья социум Кузнецкой котловины как локальная социальная система входил в состав Басандайской этнокультурной общности, являющейся составной частью Восточного Дешт-и-Кипчака. Локальная социальная система состояла сначала из двух, а затем из трех социокультурных (археолого-этнографических) комплексов [*Илюшин*, 2005: 75–108], каждый из которых состоял из социальных групп, занимающих свое место на вертикальной социальной оси в соответствии с этническими, экономическими, профессиональными и другими признаками. О положении социальных групп средневекового общества Кузнецкой котловины свидетельствуют такие данные, как месторасположение погребального памятника, количество объектов на нем и трудозатраты, связанные с их сооружением, неординарность погребальных сооружений и конструкций, «богатство» сопроводительного инвентаря и количество погребенных животных.

Среди социальных групп выделяются три вида статусных рангов – высокий, средний и низкий, которые можно перенести на погребальные памятники. К высокому рангу, как правило, относятся объекты, расположенные на высоких береговых террасах близ устья рек или занимающие доминирующее положение в закрытых экологических нишах. К их числу можно отнести курганные группы Усть-Канда, Конево, курганные могильники Октябрьский и Новокамышенка, а также одиночный курган Сапогово-2 [*Илюшин*, 1997: 7–8; 2005: 37, 39–42; 2008: 77–78; 2012: 6–7, 78]. Погребальные памятники, относящиеся к низкому рангу, как правило, располагаются в долинах среднего течения рек на первых береговых террасах. К их числу можно отнести курганные могильники Шанда, Торопово-1 и Ишаново [*Илюшин*, 1993: 6; 1999: 5; 2014: 5, рис. 1]. Другие погребальные памятники, относимые к категории среднего ранга, устойчивой привязки к топографическим особенностям ландшафта не имеют.

Вторая позиция, указывающая на социальный статус погребенного индивида, напрямую связана с его положением внутри социальной группы, членом которой он был. Именно здесь проявляется естественный статус индивида с такими устойчивыми половозрастными характеристиками, как мужчина и женщина, и грань между детским и взрослым статусом человека. Помимо антропологических материалов, на это указывают трудозатраты, связанные с захоронением индивида, комплексы погребального инвентаря и специфические элементы погребального обряда в отдельных социальных группах. Наблюдения за возрастной гранью между детским и взрослым статусом по материалам Торопово-1, Конево и Ишаново позволили установить, что она была плавающей на уровне 8–10 лет [*Илюшин*, 1999: 68–69; 2012: 73] практически у всех социальных групп и, видимо, зависела от физиологических характеристик индивидов. При этом удалось установить, что у детей погребенных на могильнике Торопово-1 существует знак их половой принадлежности, заключающийся в том, что девочек погребали в неглубоких грунтовых ямах, а мальчиков – на уровне материка и древней дневной поверхности [*Илюшин*, 1999: 71]. У всех социальных групп фиксируется устойчивая зависимость, за единичными исключениями, находок по гендерному признаку. В женских могилах это отдельные группы украшений (бусы и заколки), а в мужских – предметов вооружения (лук, стрелы, копья, сабли, палаши, топоры, панцирные пластины) и одежды (железные и костяные пряжки и украшения поясных ремней). У социальных групп, стоящих внизу социальной системы, отмечена закономерность находок предметов конского снаряжения лишь в мужских могилах [*Илюшин*, 2014: 87]. По половому признаку практически во всех социальных группах статус лидера выполняли мужчины, второстепенный статус закреплен за женщиной, а самый низкий статус в каждой социальной группе имели дети за исключением социальной группы, сооружавшей курганный могильник Торопово-1, где статус лидера был закреплен за женщинами, а второстепенный – за мужчинами [*Илюшин*, 1999: 72].

Внутри социальных групп также выделяются три вида статусных рангов индивидов, занимающих в ней высокое, среднее и низкое положение. На высокий статус индивида внутри группы указывают размеры погребального сооружения, его месторасположение, «богатство» погребального инвен-

таря и отдельные его категории, а также конструкция и размеры могилы. Так, на курганной группе Конево, отождествляемой с социальной группой высокого ранга по имущественному признаку, были выявлены три социальные группы индивидов. Первая, элитарная состояла из профессиональных воинов рыцарей и их ближайших родственников, погребенных с большими трудозатратами и богатым сопроводительным инвентарем. Вторая, средняя по статусу группа индивидов состояла из обедневших родственников, погребенных менее пышно и с более бедным сопроводительным инвентарем. Третья, низшая по социальному статусу группа индивидов представлена пленниками (домашние рабы), челядью и наложницами, выполняющими функции прислуги и работников, погребенными с наименьшими трудозатратами, без сопроводительного инвентаря или с единичными предметами. При этом курганные насыпи были расположены с северо-северо-запада на юго-юго-восток согласно статусному рангу погребенных в них индивидов [*Илюшин*, 2012: 77–78].

На погребальных памятниках зачастую особыми символами выделяется статус основателя социальной группы или ее главы. Как правило, курганы и могилы этих индивидов выделяются большими размерами и богатым сопроводительным инвентарем (наличие посуды из благородных металлов), что характерно для социальных групп высокого ранга [там же: 79]. Для социальных групп среднего и низкого ранга более характерно наличие таких находок, как железное кресало и кремень для высекания искры, а также железной посуды (котел, котелок, сковорода), характеризующих погребенного индивида как держателя очага, имеющего социальный статус кошевого, кормильца для своей большой семьи или рода [*Илюшин*, 2014: 88; *Плетнева*, 2003: 163; *Швецов*, 1980: 200–201].

На комплексе синхронных археологических памятников близ с. Ур-Бедари выявлены отдельные погребальные памятники для групп индивидов, имеющих различные социальные статусы. На курганной группе Усть-Канда (ханские курганы) были погребены представители элитарной части населения (большие по размерам погребальные сооружения и богатство сопроводительного инвентаря). На курганном могильнике Усть-Канда-1 были погребены представители высокого статуса – профессиональные воины-всадники, в чьих могилах выявлены престижные изделия вооружения и конского снаряжения. На курганных могильниках Ур-Бедари и Саратовка, а также курганной группе Бирюля-1 были погребены представители среднего статуса, а на могильнике Ур-Бедари-1 в основном обнаружены безинвентарные грунтовые могилы, в которых были погребены женщины (наложницы) с грудными детьми и эмбрионами, имеющие низкий социальный статус [*Илюшин*, 2008: 77–78].

Высокий социальный статус индивидов в группе по профессиональной принадлежности, как правило, принадлежит погребенным воинам, что фиксируется повсеместно. Находки трех бронзовых игольниц в мужских погребениях на курганном могильнике Ишаново позволили высказать предположение, что эти изделия являются профессиональным символом портных, которые в низкой по рангу социальной группе имели средний и низкий статус [*Илюшин*, 2014: 88].

Социальный статус индивидов по этническому признаку не являлся определяющим в обществе, так как население было полиэтничным. Индивиды всех трех социокультурных (археолого-этнографических) комплексов были представлены в различных по рангу социальных группах и, пропорционально своей численности, занимали в них все три социальных статуса – высокий, средний и низший. Можно лишь частично отметить более привилегированное положение за счет большей численности представителей социокультурного комплекса, погребенных по обряду ингумации с тушей или шкурой коня, по сравнению с другими [*Илюшин*, 2005: 75–108] на смешанных погребальных памятниках Ур-Бедари, Торопово-1 и Мусохраново-1 [*Елькин*, 1970: 81–90; *Илюшин*, 1999: 72–76; 2009а: 95–105].

Подводя итоги, можно констатировать, что на территории Кузнецкой котловины в период развитого средневековья (XI–XIV вв.) сложилась сложная социальная структура, где существовали трехуровневые ранги социальных статусов на уровне межгрупповых и внутригрупповых отношений, которые регулировали распределение индивидов по социальным позициям.

Елькин М. Г. Курганный могильник позднего железного века в долине р. Ур // ИЛАИ. – Кемерово, 1970. – Вып. 2. – С. 81–92.

Илюшин А. М. Курганы средневековых кочевников долины реки Бачат. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1993. – 116 с.

Илюшин А. М. Курган-кладбище в долине р. Касьмы как источник по средневековой истории Кузнецкой котловины. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. – 118 с. – (Тр. Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции ; т. 2).

Илюшин А. М. Население Кузнецкой котловины в период развитого средневековья (по материалам раскопок курганного могильника Торопово-1). – Кемерово : Изд-во КузГТУ, 1999. – 208 с.

Илюшин А. М. Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпоху средневековья. – Кемерово : Изд-во КузГТУ, 2005. – 240 с.

Илюшин А. М. Гипотеза о происхождении Урус-хана (на основе комплексного подхода к историческим источникам) // Археология Степной Евразии. – Кемерово, 2008. – С. 74–82.

Илюшин А. М. Результаты раскопок Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2008 году // Вестн. КузГТУ. – 2009а. – № 1. – С. 95–105.

Илюшин А. М. Погребальный обряд как символический язык культуры средневекового населения Кузнецкой котловины // Социогенез в Северной Азии. – Иркутск, 2009б. – С. 149–153.

Илюшин А. М. Курганы поздних кочевников близ устья Ура. – Кемерово : Изд-во КузГТУ, 2012. – 188 с.

Илюшин А. М. Курганы кыштымов в долине Ура. – Кемерово : Изд-во КузГТУ, 2014. – 216 с.

Плетнева С. А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV–XIII века) : учеб. пособие. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2003. – 248 с.

Швецов М. Л. Котлы из погребений средневековых кочевников // СА. – 1980. – № 2. – С. 192–204.

В. М. Кимеев

Россия, Кемерово, государственный университет

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЕФИЦИРОВАННЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИТОМЬЯ

The article reviews the experience of archaeological excavations and reconstruction of archaeological medieval monuments, which are located the territories of two the reserve-museums of Kuzbass: “The Tulber town”, which is in the Pritomye and “The Three Rivers” (eco-museum branch “Tazgol” in the Mountain Shoria). This experience can be used on other famous archaeological monuments in Siberia.

Притомье как особый историко-археологический и этнокультурный регион за прошедшее столетие исследован достаточно основательно кемеровскими, новокузнецкими и томскими археологами. Выявлены и частично раскопаны памятники начиная с эпохи палеолита до позднего средневековья, значительная часть результатов раскопок была опубликована. Однако только незначительная часть археологических памятников разных эпох музеефицирована на месте их первоначального нахождения в составе музеев-заповедников «Тюльберский городок» и «Трехречье».

Систематические раскопки археологического памятника позднего средневековья (начало II тыс. н. э.) – городища «Городок» были проведены в 1997–2002 гг. новокузнецким археологом Ю. В. Шириным, хотя сам памятник впервые случайно обнаружен барнаульским землеустроителем Рингсом в 1910 г. В нескольких шурфах, заложенных им на внутренней площадке городища и в земляном валу, были найдены фрагменты керамики и кости, которые бесследно исчезли вместе с землемером [*Ширин*, 2002: 41].

В 1940 г. городище вновь было обследовано томским археологом Н. А. Чернышевым, в 1954 г. – сотрудником Новокузнецкого краеведческого музея У. Э. Эрдниевым, в 1958 г. – сотрудниками Кемеровского областного краеведческого музея Г. П. Сафронюком и В. Н. Алексеевым, в 1962 г. – кемеровским археологом А. И. Мартыновым. Подробных отчетов о раскопках, находок или их рисунков не сохранилось.

© Кимеев В. М., 2015

В результате раскопок Ю. В. Ширина большей части внутренней площадки городища «Городок» и участка фортификационного сооружения (ров, земляной вал с реданами и остатками сгоревшей оборонительной стены из столбов и полубревен, входные ворота с земляной мостовой перемычкой через ров) была составлена коллекция, хранящаяся в фондах экомузея-заповедника «Тюльберский городок». Им же была предложена первая графическая реконструкция оборонительного и производственного комплекса, которая положена в основу реконструкции объекта.

После создания в 2003 г. муниципального учреждения «Этноэкологический музей-заповедник – экомузей “Тюльберский городок”» Кемеровского муниципального района раскопки были продолжены и начата музеефикация посредством реконструкции объектов в едином экспозиционном комплексе.

При музеефикации археологического памятника – ритуального городища – был предложен и реализован «реконструктивный» метод с внесением элементов реконструкций на отдельных раскопанных и подвергшихся изучению участках. Были реконструированы: часть бревенчато-земляного оборонительного вала с воротами, смотровыми площадками и мостовой перемычкой через ров; две каркасных юрты древних металлургов с ритуальными плавильными печами внутри, навес с тремя реконструированными плавильными печами, два ящика – с рудой и древесным углем, сруб с подлинными каменными наковальнями [*Кимеев*, 2001: 65].

В центре городища по результатам раскопок и описаниям этнографов реконструировано святилище с жертвенником – *тайелга.* Оно представляет собой округлую земляную площадку, в центре которой вкопан столб, на который одним концом опирается длинная жердь со шкурой жертвенного барана, свисающей над лабазом в виде сруба из трех венцов на четырех столбах. Голова барана в шкуре ориентирована на заход солнца, т. е. на входные ворота в городище с запада, а это показывает, что жертва предназначалась Эрлику. Противоположный конец жерди закреплен в земле.

Снаружи оборонительного вала городища частично сохранились два конных спуска по склону оврагов к реки Томи.

Пространственное моделирование изначальной структуры позволило включить объекты в экспозиционную структуру музея, в которой они представлены как часть природно-физического феномена измененной историко-культурной среды, что создает уникальную визуально-пространственную модель на базе экспонируемого памятника. Остальная часть городища представлена в «натурной консервации» для сохранения первоначального облика памятника. Такой «открытый» показ позволил представить городище как часть рекреационной системы историко-ландшафтного комплекса музея-заповедника.

Для полноты знакомства с материалами раскопок в выставочном павильоне оборудован «Музей Томи» с археологическими находками в витринах, этнографическими экспонатами на подиумах.

К юго-западу от городища, на береговой террасе вниз по течению Томи, реконструированы три из девяти раскопанных средневековых порываевских курганов. Впервые насыпи курганов на правом берегу Томи, у д. Порывайка Крапивинского района Кемеровской области, были найдены в 1954 г. У. Э. Эрдниевым, который составил описание и схематичный план памятника. Эта же курганная группа была осмотрена в 1958 г. В. Н. Алексеевым.

Очередная попытка выявления этого памятника с целью его документальной фиксации, исследования и включения в инфраструктуру создаваемого экомузея «Тюльберский городок» была предпринята в 1998 г. археологом Ю. В. Шириным. В ходе аварийных раскопок в 1998 г. было выявлено четыре кургана на разных участках. В 2001 г. работы на памятнике продолжены кемеровским археологом А. С. Васютиным, раскопавшим дополнительно еще пять курганов. В двух из девяти обследованных курганов выявлены могилы с остатками погребений по обряду кремации и сопроводительный материал, среди которого были голова и конечности лошади, железное кресало, поясные кольца, ножи, кузнечные клещи, зубило, детали украшений из сердолика [*Васютин*, 2002: 79]. Все материалы раскопок представлены в витринах выставочного павильона. В реконструкции каркасной тюльберской юрты, сооруженной напротив курганов, оборудована фотовыставка раскопок курганов в 1998 и 2001 гг.

Распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от 26 марта 2009 г. № 287-р в п. Усть-Кабырза Таштагольского района начал создаваться комплексный музей-заповедник «Трехречье». Инициатором его строительства явился председатель областного Совета народных депутатов Кемеровской области Н. И. Шатилов, который за год до этого предложил кемеровскому этнографу В. М. Кимееву и новокузнецкому археологу Ю. В. Ширину провести археологическую разведку

в окрестностях его турбазы «Дом на Мрассу», расположенной на месте бывшего шорского улуса Усть-Пызас. В тот год впервые был обнаружен целый комплекс памятников в границах Усть-Кабырзинского сельского поселения, который в дальнейшем мог стать основой экспозиций будущего музея под открытым небом. В 2009 г. по заказу главы Таштагольского района В. Н. Макуты были произведены охранные раскопки.

В 2009 г. в процессе раскопок разрушающегося многослойного поселения Пызас-2, расположенного в 200 м от устья реки Пызас, у п. Усть-Кабырза, был обнаружен грунтовый могильник (IX–VII вв. до н. э). На краю террасы левого берега реки Мрассу в верхнем слое скальной породы было выявлено уцелевшее погребение с останками костяка женщины с богатым инвентарем: глиняный орнаментированный сосуд и обломки поздней керамики, бронзовый нож в ножнах, бронзовые и каменные бусы, бронзовое зеркало и шейная гривна, мелкие медные бляшки-нашивки и пряжка.Фрагменты керамики, вероятно, использовались в поминальном обряде.

Эти находки на могильнике указывают на устойчивые этнокультурные связи населения Алтая, современной Горной Шории и степей Среднего Енисея с эпохи бронзы. Сама территория могла на протяжении многих столетий быть временной стоянкой небольших групп, мигрировавших из степей Алтая через современную Горную Шорию по долинам рек Кондома, Пызас, Мрассу, Кабырза в Минусинскую котловину и обратно. До настоящего времени сохранились и используются участки этих таежных троп. Глиняный сосуд, найденный в уцелевшей могиле, свидетельствует о культурных связях с лесостепным Алтаем, а бронзовые вещи – с Минусинской котловиной.

Новокузнецким архитектором В. Н. Усольцевым в 2010 г. был предложен эскизный проект реконструкции некрополя «Кабырзинской принцессы», включающий в себя реконструкции двух могил с костяками-муляжами, копиями бронзовых украшений и кувшинов под оргстеклом. Дополнить некрополь должны были каркасная конструкция под крышей – выставочной галереей и деревянная срубная многоугольная юрта-сторожка [*Кимеев*, 2011: 205]. Однако в 2013 г. на месте могильника были установлены две деревянные скульптуры.

Подлинный материал раскопок поселения и грунтового могильника Усть-Пызас-2 в 2011 г. был помещен в диораме в виде костяка с подлинными бронзовыми предметами и керамическим сосудом в Музее этнографии и природы Горной Шории г. Таштагола.

В 2011 г. распоряжением администрации Таштагольского района к музею-заповеднику «Трехречье» был присоединен в качестве филиала экомузей «Тазгол» в п. Усть-Анзас Таштагольского района, экспозиции которого создавались с 1990 г. Составной части экомузея стали два исследованных археологических памятника: поселение Усть-Анзас-1 и грунтовый могильник Кайчак.

Реконструкция могильника и культового места Кайчак представляет собой археологический комплекс объектов погребального, ритуального и хозяйственного назначения. Первые находки были сделаны случайно в 1995 г. при проведении земляных работ на залесенной площадке второй надпойменной террасы плоской горы Кайчак, в 230 м выше по Мрассу от устья реки Анзас. В захоронении, совершенном по обряду кремации на стороне, было найдено скопление железных предметов IX–XI вв.: три трехлопастных наконечника стрел, топор-тесло и нож. В 1996 г. археологами Ю. В. Шириным, А. С. Васютиным и Д. Г. Савиновым при раскопках было обнаружено еще одно скопление пережженных костей с железными удилами XI–XII вв., остатки плавильной печи, зубы и кости ног жертвенной лошади: атрибуты святилища типа алтайского «тайелга» [*Савинов*, 1997: 179].

Эти находки свидетельствует о сохранении тесных торговых и этнокультурных связей средневекового населения современной Горной Шории с соседними скотоводами абаканских степей, осуществляемых посредством троп и дорог, проложенных по долинам рек Ортон, Чулдугол, Кабырза, Пурла и используемых вплоть до современности. Территория современного п. Усть-Анзас на берегу реки Мрассу могла быть перевалочной базой с торговой факторией, сторожевым постом и культовым центром. Реконструкции в составе экспозиций погребения так называемого кыргызского воина и культового жертвенника «тайелга» стали почитаемыми как у местных жителей п. Усть-Анзас, так и у всех приезжающих в поселок на праздники и обрастают новыми мифами.

Pritomye, as a special historical, archaeological and ethno-cultural region over the past century are investigated thoroughly enough by archaeologists from Kemerovo, Novokuznetsk and Tomsk. There have been identified and partially excavated monuments since the Paleolithic era to the late Middle Ages, a considerable part of the excavation was published. However, only a small part of the archaeological monuments

of different eras been added to the category of museum objects in their original place of stay in the museums-reserves “Tullbergi town” and “Three rivers”.

Systematic excavations of archaeological monument of the late Middle Ages (the beginning II thousand BC) sete “Town” was by Novokuznetsk archaeologist U. W. Shirin in 1997 2002, although the monument for the first time by accident Barnaul land surveyor Rings in 1910. In test pits, that he laid on the inner court sete and the earthworks, were found fragments of pottery and bones, which disappeared with the surveyor [*Ширин*, 2002: 41].

In 1940 the sete was examined again by Tomsk archaeologist N. A. Chernyshev, in 1954 by employee of Novokuznetsk regional museum C. E. Erdnievym in 1958 by employees of the Kemerovo regional museum G. P. Safronyuk and V. N. Alekseev, in 1962 Kemerovo settlement archaeologist A. Martynov. Detailed reports on the excavations, finds or drawings did not survive.

The excavations U. W. Shirin most of the internal setement area “Town” aand fortification (ditch, an earth mound with the remains of the burnt redans and defensive walls and pillars polubreven, the entrance gate to the ground pavement bridge across the moat) was compiled collections in reserve funds ecomuseum “Tyulbersky town”. He also was offered the first graphic reconstruction of the defense and industrial complex, which was the basis for the reconstruction of the object.

Adding to the category of museum objects archaeological monument - a ritual sete was proposed and implemented “reconstructive” method which is based on the introduction of elements on separate reconstructions excavated and exposed areas of study. There were reconstructed: the part of a log-earthen rampart with a gate, observation deck and roadway bridge over the moat; two frame tent ancient metallurgists with ritual smelters inside the canopy with three reconstructed melting furnaces, two boxes of ore and charcoal frame with authentic stone anvils [*Кимеев*, 2001: 65].

In the center of the sete based on the results of excavations and descriptions of ethnographers renovated sanctuary with altar – *tayelga*. It is a circular earthen ground, dug in the center of which the pillars on which rests one end of a long pole with a skin of a sacrificial ram hanging over Labasa a log of 3 crowns on four pillars. Ram’s head in the skin is aimed at sunset, ie, at the entrance to the fort from the west, showing that the victim was meant for Erlik. The opposite end of the pole fixed in the ground.

Outside the defensive wall sete partly preserved two horse descents on the slopes of ravines to river Tom.

Spatial modeling of the original structure has allowed to include objects in the exhibit structure of the museum, they are presented as part of the natural and physical phenomena altered historical and cultural environment, which creates a unique visual-spatial model based on the exhibited works. The rest of the sete to be in “full-scale conservation” to preserve the original appearance of the monument. This “open” show allowed submitting as part of the sete of historical and recreational complex landscape museum reserve.

To the south-west of the sete, on the waterfront terrace downstream Tom reconstructed three of the nine mounds excavated medieval poryvaevskih. First mound mounds on the right bank of the river. Tom at the village Poryvayka Krapivinskoye region of Kemerovo region were found in 1954 C. E. Erdnievym which was a description and schematic plan of the monument. The same barrow group was examined in 1958 V. N. Alekseev.

Another attempt to identify this monument, with a view to fixing the documentary, and the inclusion of research infrastructure created ecomuseum “Tyulbersky town”, was launched in 1998 by archaeologist U. W. Shirin. During emergency excavations in 1998 was excavated mound at four different sites. In 2001, work continued on the monument Kemerovo archaeologist AS Vasyutin unearthed an additional five mounds. In two of the nine mounds surveyed identified graves with the remains of burials according to the custom of cremation and accompanying material, among which were the head and limbs of the horse, iron flints, belt rings, knives, blacksmith’s tongs, chisel, details of carnelian jewelry [*Васютин*, 2002: 79]. All excavated material on display in the windows of the pavilion. In the framework of reconstruction tyulberskoy yurts erected in front of mounds, equipped with a photo exhibition excavations of burial mounds in 1998 and 2001.

Order of the board of administration of the Kemerovo region of 26.03.2009 № 287-p in the village of Ust-Kabyrza Tashtagolsky district began to form a comprehensive museum “Three Rivers”. The initiator of its construction was the Chairman of the Regional Council of People’s Deputies of the Kemerovo region NI Shatila, who a year earlier proposed Kemerovo ethnographer V. M. Kimeevu and Novokuznetsk archaeologist Y. Width conduct archaeological exploration in the vicinity of his camp site “Home Mrassu”, located on the former site of the Shor ulus Ust-Pyzas. In that year, was first discovered by a complex of monuments within the boundaries of Ust-Kabyrzinskogo rural settlement, which in the future could become the basis

for future exhibitions open-air museum. In 2009, by order of the Head of District Tashtagolsky VN Makuta were produced protective archaeological excavation.

In 2009, during excavations collapsing multilayer settlement "Pyzas-2", located 200 meters from the mouth of the river Pyzas near the village Ust-Kabyrza was discovered ground burial (IX–VII centuries BC). On the edge of the terrace of the left bank of the river Mrassu in the upper layer of rock was found with the remains of the surviving burial skeleton of a woman with a rich inventory: ornamented clay vessel fragments and later pottery, bronze knife in a sheath, bronze and stone beads, bronze mirror and neck-ring, small copper plaque-stripe and buckle. Fragments of pottery, probably used in a memorial ceremony.

These findings in barrow pointing to the cemetery on sustainable ethno-cultural communication population Altai Mountain Shoria modern and Middle Yenisei steppes from the Bronze Age. Barrow could for centuries to be a temporary encampment of small groups that migrated from the steppes of the Altai through modern Mountain Shoria river valleys of condoms Pyzas, Mrassu, Kabyrza in Minusinskuyu hollow and back. Hitherto preserved and used these sites taiga trails. Clay vessel found in the intact tomb suggests cultural links with forest-steppe Altai and bronze items from Minusinsk depression.

In 2010 Novokuznetsk architect VN Usoltsev proposed a conceptual design of the so-called reconstruction of the necropolis "Kabyrzinskoy Princess", which includes the reconstruction of two graves with skeletons, dummies, copies of bronze ornaments and jugs under Plexiglas. Complement the necropolis were framed structure under the roof of the exhibition gallery and a wooden carcass polygonal yurt-lodge [*Кимеев*, 2011: 205]. Instead, in 2013 on the site of the burial ground were two wooden sculptures.

Original material of the excavation sete and burial ground Ust-Pyzas-2 in 2011 was placed in a diorama as a skeleton with the original bronze objects and ceramic vessels in the Museum of Ethnography and the nature of the Mountain Shoria Tashtagol.

In 2011, the order of administration Tashtagolsky district eco-museum "Tazgol" has been attached as a branch of the museum-reserve "Three Rivers" in the village of Ust-Anzas Tashtagolsky area, the exposure of which were created since 1990 have become an integral part of ecomuseum two studied archaeological sites, settlement "Ust-Anzas 1" and ground burial "Kaychak".

Reconstruction of the burial and cult place "Kaychak" is a funeral archaeological complex objects, ritual and economic purposes. The first finds were made by accident in 1995 during excavation at the site of the second flat floodplain terraces Kaychak mountain, at 230 meters upstream from the river mouth Mrassu Anzas. At the burial, cremation rite perfect for on the side, was found accumulation of iron objects IX–XI centuries: three tri-tip arrows, ax-adze and knife. In 1996, archaeologists Y. Width, AS Vasyutin and DG Savinov was found during excavations of another cluster-burned bones with iron fished XI–XII centuries., The remnants of the melting furnace, teeth and leg bones of sacrificial horse: type attributes sanctuary Altai "tayelga" [*Савинов*, 1997: 179].

These findings are indicative of maintaining close trade ties and ethno-cultural population medieval modern mountain Shoria with neighboring pastoralists Abakan steppes undertaken by trails and roads that ran along the river valleys Orton, Chuldugol, Kabyrza, Purla and used up to the present. The territory of modern village Ust-Anzas on the bank Mrassu could be a transit point to the trading posts, guard post and religious center. Reconstruction in the exposition of the so-called burial "Kyrgyz warrior" and the cult of the altar "tayelga" were honored as the locals claim Ust-Azas and all coming to town for the holidays and acquire new myths.

Васютин А. С. Курганная группа Порывайка / А. С. Васютин, Ю. В. Ширин // Аборигены и русские старожилы Притомья. – Кемерово ; Городок, 2002. – С. 41–77.

Кимеев В. М. Опыт музеефикации средневекового культового городища в экомузее «Тюльберский городок» // Проблемы сохранения и музеефикации памятников историко-культурного наследия в природной среде. – Кемерово, 2001. – С. 64–66.

Кимеев В. М. Тайны Кабырзинской принцессы / В. М. Кимеев, Ю. В. Ширин. – Кемерово : ООО «Примула», 2011. – 272 с.

Савинов Д. Г. «Тазгол» – музей памяти поколений // Шорский сборник. Этноэкология и туризм в Горной Шории. – Кемерово, 1997. – Вып. 2. – С. 179–183.

Ширин Ю. В. Городище Городок в Кемеровском районе // Аборигены и русские старожилы Притомья. – Кемерово ; Городок, 2002. – С. 41–77.

М. А. Корусенко[1], А. В. Полеводов[2]

Россия, Омск, [1]филиал Института археологии и этнографии СО РАН,
[1]государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
[2]Министерство культуры Омской области

ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, ИСТОЧНИК В КОНЦЕПЦИИ ЭТНОГРАФО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: К ПРОБЛЕМЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В РАМКАХ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ*

The article deals with the history of forming the concept of ethnographo-archaeological complex (EAC) and the basic theoretical concepts of ethnoarchaeology as an interdisciplinary branch of science. The concepts of the object, subject, and source of ethnoarcheology have been specified, the aim of this research area has been indicated as the study of the regularities of existence, adaptation and reproduction of sociocultural systems in their historical dynamics. The EAC is suggested to be the basis of research. The article concerns with a range of secondary concepts (sociocultural phenomena, elements and properties of a sociocultural system, the tradition as the form and mechanism of the existence of a sociocultural system, etc.). Future research prospective has been determined.

История и историография вопроса. Идея этнографо-археологического комплекса (ЭАК) была впервые сформулирована в публикации В. Б. Богомолова и Н. А. Томилова [1981].

В методологическом плане выдвинутая концепция представляла собой попытку качественно нового осмысления исторических процессов с использованием комплексных общеисторических методик и интеграции методов исследования ряда исторических наук (прежде всего речь идет об археологии и этнографии, но предполагалось использование данных лингвистики, физической антропологии и т. д.). Первоначальный вариант исследований предлагал сопоставление археологических и этнографических материалов по традиционной культуре аборигенов Сибири. Основным был выбран отрезок XVII–XX вв.

Разработки начала 1980-х гг. не были подкреплены ни теоретическими изысканиями, ни практическими исследованиями. Идея ЭАК на время ушла из фокуса внимания научного сообщества. Тем не менее один из авторов концепции – Н. А. Томилов сумел заинтересовать этими разработками группу омских исследователей – культурологов, археологов, этнографов.

Речь идет о попытке реализации практического проекта исследований, предпринятых В. Б. Мельниковым, В. В. Дрягиным и В. Б. Яшиным (1988–1991 гг.) [*Мельников*, 1996]. В их интерпретации идея озвучена как АЭК (археолого-этнографический комплекс). Основной методический посыл этого подхода – возможность трансляции археологических данных позднего средневековья – нового времени на этнографическую современность и предположение о возможности стыковки полученных материалов без предварительных исследовательских процедур. Одной из разработок коллектива, заслуживающей внимания, является понятие «базовый памятник», материалы которого наиболее полно и уверенно позволят провести исторические реконструкции. Понятие «базовый памятник» давало перспективы для экспериментов по совмещению археологических и этнографических данных в рамках ограниченного территориально комплекса. Здесь возможны были исследования как практического, так и теоретического плана (например, для доработки объектно-предметной области, разработки проблем источниковой базы и методик сбора материалов). Однако исследовательский коллектив распался, не доведя работы до сколько-нибудь результативного завершения.

Следующий подход к проблеме предпринят Н. А. Томиловым в начале 1990-х гг. Ему удалось сформировать новый исследовательский коллектив, состоящий из археологов и этнографов, и начать как теоретические, так и практические изыскания в рамках проекта «Этнографо-археологические комплексы народов Западной Сибири».

В нескольких программных работах [1993: 38–53; 1996; 1998] Н. А. Томилов изложил свое видение проблемы интеграции данных археологии и этнографии в рамках концепции ЭАК. Им были даны определения объекта и предмета, выдвинуты гипотезы, касающиеся самой методи-

* Работа подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки России, проект № 33.1684.2014/К«Алгоритмический анализ динамики социокультурных систем народов Северной Евразии в XVIII–XXI веках».

© Корусенко М. А., Полеводов А. В., 2015

ки исторических реконструкций с привлечением данных ряда наук, прежде всего, конечно, речь шла об археологии и этнографии. Автор концепции ЭАК предположил, что такая интеграция наук должна привести к созданию новой научной дисциплины – этноархеологии, которую он, в отличие от западных ученых, видел именно самостоятельной наукой, а не методом в рамках археологии или этнографии.

Исследовательский коллектив начал разработку методической составляющей концепции ЭАК (в основном в разделе прикладного научного инструментария). Приблизительно к 2000 г. были разработаны и апробированы интегрированные методики сбора данных, одинаково «понятные» археологии и этнографии. Сюда можно отнести методики научного описания этнографических некрополей, методики интеграции данных генеалогий и ревизских сказок (шире – официальных метрических документов), методики изучения землепользования и природопользования, методики картографирования поселений и усадеб и т. д. Некоторые стандартные археологические и этнографические методики были существенно дополнены. Вместе с тем в теоретических основаниях создаваемой концепции ЭАК явно наблюдались пробелы как на методическом уровне, так и на уровне базовых понятий.

Кроме того, на тот момент не совсем ясно было соотношение выдвигаемой концепции с «классической этноархеологией». Изначально объектом исследования этноархеологов являлись «живые» этнографические общества, хотя цели таких работ были сформулированы главным образом в соответствии с задачами археологии [*Кениг*, 2010: 34–47]. Предметом исследования при таком подходе являются механизмы функционирования культуры человеческих коллективов и их отражение в материальной сфере, а целью – выявление наиболее общих закономерностей между социальными аспектами жизнедеятельности и их отражением в материальных остатках. В конечном итоге эти изыскания служат сугубо археологическим задачам.

В противоположность вышеупомянутому подходу Н. А. Томилов предложил рассматривать этноархеологию не как субдисциплину археологии, а как самостоятельное научное направление, интегрирующее подходы комплекса наук, но в основном археологии и этнографии, в изучении социокультурных систем.

Выше было отмечено, что для теоретических оснований концепции ЭАК была характерна «контурность», что вызвало совершенно обоснованную критику коллег [см.: *Глушков*, 1994; *Кениг,* 1996: 10–12; *Корчагин*, 1997]. Но полноценной научной дискуссии по данной проблеме в 1990-е – начале 2000-х гг. не получилось.

Итогом развития проекта ЭАК к началу 2000-х гг. явились достижения в основном в эмпирической сфере. Был разработан прикладной инструментарий сбора данных, что позволило собрать данные по этнографии, археологии и истории аборигенного и русского населения Тарского Прииртышья.

В этот же период обнажилось существенное отставание в разработке методов осмысления, а самое главное, интеграции археологических и этнографических данных в рамках ЭАК. Классические схемы исторических реконструкций оказались не вполне пригодны для интерпретации собранных материалов. Стало очевидно, что дальнейшее развитие концепции ЭАК невозможно без доработки теоретического аппарата. Эти разработки были начаты в середине 2000-х гг. В результате таких теоретических поисков получено представление о компонентах ЭАК [*Тихонов*, 2004; 2007]. Описана история и историография подходов к интеграции археологических и этнографических исследований в отечественной науке [*Томилов*, 2003; *Жук*, 2003: 32–49; и др.], появились проблемные работы [*Татаурова*, 2011; *Тихонов*, 2010; *Корусенко*, 2001; 2012; и др.]. С 2008 г. разработка теоретических понятий ведется авторами настоящей работы в рамках концепции «некросферы традиционной культуры» [см.: *Корусенко*, 2013а; 2013б].

Хочется еще раз акцентировать внимание наших коллег на предлагаемых формулировках базовых понятий теории ЭАК.

Объект. Исходным для него является понятие социокультурной системы. Предполагаем, что социокультурная система в данном контексте соответствует либо включает в себя традиционную культуру. Эта культура сформирована неким человеческим коллективом, который существует/существовал в определенных пространственных и временных границах. Содержание этого пространственно-временного континуума – социум и формируемая им социокультурная система (традиционная культура) – может быть обозначено как ЭАК [*Томилов*, 2002: 16]. То есть в концепции ЭАК объект исследования помещен в определенную «систему координат» и представляет собой социокультурную систему – как «живую», актуальную, так и в виде фрагментов (реликтов) ее предшествующих (постактуальных) состояний, зафиксированных в исторической памяти представителей социума (носи-

телей традиционной культуры), а также в виде археологизированных объектов, отражающих уже не существующие, прошлые состояния такой системы.

Предмет. При формулировке предмета Н. А. Томилов определил его (предмет этноархеологии – научного направления) как «…свойства социокультурных явлений отражать историческую действительность и исторические процессы, а также свойства сопряжения этих явлений в одну систему, которые позволяют конструировать или реконструировать социокультурные системы прошлого, их внутренние связи и взаимоотношения с другими системами…» [там же: 16].

Таким образом, можно заключить, что социокультурная система проявляется или является, становится доступной для изучения через феномен социокультурных явлений. Вполне понятно, что социокультурные явления суть свойства культуры человеческого коллектива.

Тогда, развивая мысль нашего старшего коллеги, полагаем, что предметом этноархеологии в рамках концепции ЭАК являются *свойства культуры* исследуемого человеческого коллектива *(в нашем контексте – традиционной культуры) отражать и воспроизводить* (адаптируя к изменяющимся условиям) ее элементы в исторической динамике.

Из этих определений логично вытекает цель подобных исследований – выявить закономерности и механизмы, которые обеспечивают существование социокультурной системы как целостного явления (синхронный аспект проблематики) и представить (реконструировать) динамику ее развития (диахронный аспект).

То есть исследователю в рамках ЭАК необходимо установить структурные элементы системы, связи между ними, выявить формы их взаимодействий и трансформаций (модификаций), приводящих к изменениям в системе.

В качестве элементов социокультурной системы мы априори предполагаем как объекты материального мира, так и явления нематериального характера*, которые определенным образом связаны и взаимодействуют, обеспечивая функционирование актуального (синхронного) состояния социокультурной системы. Но при этом особую важность, по нашему мнению, приобретает исследование связей между этими элементами, их трансформаций (модификаций). Одним из результатов такого исследования может быть реконструкция (и, вероятно, конструирование) связей между теми элементами социокультурной системы, которые отражают ее предыдущие состояния и в настоящее время пребывают в дискретном (постактуальном, реликтовом, «археологизированном») состоянии.

Иными словами, мы предполагаем, что подобные элементы возможно выявить или при отсутствии таковых – предположить их существование и реконструировать.

В нашем понимании такие феномены (связи между элементами социокультурной системы) можно отождествить с традициями. Вслед за К. В. Чистовым мы понимаем традицию и как способ существования социокультурной системы, и как конкретные механизмы ее воспроизводства. То есть традиция – некая совокупность явлений, действий, через которую социокультурная система (например, в форме традиционной культуры) проявляется [*Чистов*, 1986: 108]. Еще одно важное допущение. Очевидно, в рамках традиционной культуры традиции представлены в форме комплексов обрядов, обычаев и действий, затрагивающих различные стороны жизни человеческого коллектива. В контексте наших разработок традиций может быть множество, причем каждая из них пребывает одновременно как в синхронном, так и в диахронном состояниях, поскольку постоянно апеллирует к прошлому.

Понятие традиции/традиций может стать инструментом для создания модели социокультурной системы из археологических и этнографических контекстов. Проще говоря, при исследовании ЭАК необходимо выявление традиций на этнографических материалах, на материалах «живой культуры» в ее актуальном состоянии, с последующими попытками проследить их (традиции или их фрагменты) в исторической памяти людей, а по возможности и на археологических данных.

Источник. В связи с этим нельзя не обратить внимание на специфику источниковой базы (источника) для этноархеологических исследований в рамках концепции ЭАК.

В нашем понимании данные археологии, этнографии, других наук должны быть преобразованы в нечто общее в сравнении, например, с сугубо археологическим и этнографическим источниками. Если эту ситуацию представить в виде иерархической системы, то этноархеологический источник – элемент более высокого таксономического уровня, вмещающий в себя как археологические и этно-

---

* В описываемом контексте под ними мы понимаем классическую триаду – материальную, духовную, соционормативную составляющие традиционной культуры.

графические данные, так и установленные между ними системные связи, отношения, позволяющие интегрировать их между собой.

Другими словами, исследователь использует данные нескольких наук, полученные в рамках как традиционных, так и специально разработанных методик, «сопрягает» их, находит их точки соприкосновения, системные связи (на уровне элементов социокультурной системы), и в этот момент такая совокупность данных, выявленных связей, отношений и становится этноархеологическим источником. И уже этот источник, в свою очередь, позволяет реконструировать, а в каких-то частях сконструировать традиции (элементы системы с их связями, отношениями), отражающие материальные и нематериальные стороны функционирования социокультурной системы в рамках-границах, заданных ЭАК [*Корусенко*, 2012: 127–128; 2013а: 31–32].

В рамках концепции ЭАК исследования социокультурной системы (традиционной культуры в виде совокупности материальных и нематериальных объектов, явлений, представлений, связанных в рамках традиций) возможны в следующих направлениях. Это прежде всего исследование поселений и жилищ; изучение путей сообщений по современным и археологическим материалам; хозяйственных занятий, систем питания; погребального обряда и некрополей в этнографии и следов погребальных практик и могильников в археологии и т. д.

Таким образом, в настоящее время можно констатировать выход из методологического тупика в виде целой серии перспективных разработок в рамках концепции ЭАК. Авторы отдают себе отчет в том, что необходимо их дальнейшее развитие, уточнение и апробация, прежде всего в рассмотрении структурных элементов социокультурной системы, в изучении подсистем – компонентов ЭАК, изучении связей между элементами системы в ее исторической динамике. На методическом уровне нуждаются в разработке и апробации методы реконструкции и, при необходимости, конструирования элементов социокультурной системы, нуждаются в расширении представления об эвристических возможностях моделирования ЭАК на объемной источниковой базе.

Богомолов В. Б. Теоретические и методические аспекты археолого-этнографических исследований / В. Б. Богомолов, Н. А. Томилов // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. – Томск, 1981. – С. 125–128.

Глушков И. Г. Этноархеология как область экспериментальной археологии // Археологические микрорайоны Западной Сибири. – Омск, 1994. – Ч. 2. – С. 107–110.

Жук А. В. Материалы к истории археолого-этнографических исследований в XX в. / А. В. Жук, С. С. Тихонов, Н. А. Томилов // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2003. – Т. 6. – С. 32–49.

Кениг А. В. К проблеме содержания термина «этноархеология» // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Новосибирск ; Омск, 1996. – Ч. 2. – С. 10–12.

Кениг А. В. Этноархеология как метод археологических реконструкций (на примере тазовских селькупов). – Екатеринбург ; Ханты-Мансийск : Изд-во АМБ, 2010. – 128 с.

Корусенко М. А. О соотношении «теория – конкретный метод – частная методика» в рамках методологии ЭАК / М. А. Корусенко, Е. Ю. Смирнова // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Нальчик ; Омск, 2001. – С. 28–31.

Корусенко М. А. Заметки об этноархеологическом источнике: научном феномене или научном мифе? / М. А. Корусенко, А. В. Полеводов // VIII исторические чтения памяти М. П. Грязнова. – Омск, 2012. – С. 122–129.

Корусенко М. А. Методы совмещения археологических и этнографических данных в рамках интегрированных исследований культуры и социума: к постановке проблемы / М. А. Корусенко, А. В. Полеводов // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. – Барнаул, 2013а. – С. 30–35.

Корусенко М. А. Некросфера ритуала: к содержанию понятия / М. А. Корусенко, А. В. Полеводов // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Иркутск ; Омск, 2013б. – Т. 1. – С. 100–105.

Корчагин П. А. Этноархеология или археология нового времени? / П. А. Корчагин, А. Ф. Мельничук // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Уфа, 1997. – С. 77–80.

Мельников Б. В. Из опыта археолого-этнографических исследований Омского университета в Западной Сибири (1987–1991 гг.) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1996. – Т. 1. – С. 25–29.

Татаурова Л. В. О методике получения этноархеологического источника // Методика междисциплинарных археологических исследований. – Омск, 2011. – С. 213–228.

Тихонов С. С. Компоненты этнографо-археологического комплекса (по материалам исследований аялынских татар) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Алмата ; Омск, 2004. – С. 56–61.

Тихонов С. С. Анатомия этнографо-археологического комплекса // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Одесса ; Омск, 2007. – С. 9–19.

Тихонов С. С. Теорема о неполноте как одно из методологических оснований археолого-этнографических исследований // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Казань ; Омск, 2010. – С. 37–42.

Томилов Н. А. Проблемы этнической истории (по материалам Западной Сибири). – Томск : Изд-во ТГУ, 1993. – 222 с.

Томилов Н. А. Этноархеология и этнографо-археологический комплекс // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Т. 1. Культура тарских татар. – Новосибирск, 1996. – С. 10–25.

Томилов Н. А. Проблема этнографо-археологических комплексов в исследованиях омских этноархеологов // ЭО. – 1998. – № 1. – С. 3–14.

Томилов Н. А. Этноархеология: понятие, объектно-предметная и проблемная сферы // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2002. – Т. 5. – С. 9–19.

Томилов Н. А. Археолого-этнографическое направление в российской науке конца XVII–XX вв. // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2003. – Т. 6. – С. 10–17.

Чистов К. В. Народные традиции и фольклор: очерки теории. – Ленинград : Наука, 1986. – 304 с.

Р. Р. Назаров

Узбекистан, Ташкент, Институт истории АН РУз

ИНТЕГРАЦИЯ ЭТНОГРАФИИ И АРХЕОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛАХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ)

Archaeology and ethnography are historically connected. In the process of scrutinizing an archaeological phenomenon its ethnographical analogies are researched as well, ethnographers, in their turn, attempt to find ancient roots of a phenomenon in archaeological material. In the frames of one discipline its not always possible to research the problem – the object of study, methods and sources have their peculiarities. To overcome this obstacle some researchers attempt a cross-disciplinary research.

Если проанализировать процесс развития науки, то можно увидеть, что он ведет к дифференциации и интеграции наук. Углубленное исследование в избранной области вызывает сначала обособление методик, а затем дифференциацию направления исследований. Дифференциация заставляет применять методы смежных наук и ведет к их интеграции и формированию новых дисциплин. В результате такого развития ученым и коллективам удалось достичь результатов мирового уровня. Может быть, именно эти процессы и породили мнение, что открытия делаются на стыке наук. Известны опыты интеграции археологии и этнографии – работы в Хорезме, Южной Туркмении. На стыке наук делаются открытия, имеющие теоретическое, методологическое, эвристическое значение.

Осознанное или неосознанное стремление археологов и этнографов лучше познать генезис древнейших явлений культуры человека заставляет их обращаться к материалам и методам смежных наук. В истории развития археологии и этнографии всегда имелись попытки их интеграции. В настоящее время наблюдается активизация археолого-этнографических исследований.

Путешественники с эпохи Великих географических открытий начали проникать в неевропейские страны – Америку, Африку, Австралию, Океанию. Их взору представали аборигены, пользую-

© Назаров Р. Р., 2015

щиеся каменными и костяными орудиями, умеющие изготавливать медные и железные орудия, украшения, знающие земледелие и скотоводство, поклоняющиеся божествам, требующим человеческих жертв. Неведомые европейцам мастера изготавливали изделия из драгоценных металлов, камней, раковин. Социальная структура была сложна и не всегда понятна европейцам.

В XVIII в. мыслители Просвещения пытались упорядочить картину человеческого развития. Они расположили общества по восходящей от простых к развитым, выделяя эпохи дикости, варварства с этапами ранним, развитым, поздним. Эта концепция была развита в XIX в., вошла в систему формационных представлений.

Науки, связанные с изучением первобытных людей, имели много общего и не были дифференцированы. Ученые занимались изучением приблизительно одинакового общества, но по разным материалам; количество данных по древним периодам развития человека было невелико, исследователи знали и древность, и этнографию, кроме того, ориентировались в геологии, биологии и других науках. В начале XIX в. наука о древностях делала первые шаги. Были раскопаны памятники, началась дифференциация археологических направлений. Формировалась археология изучения античных Греции и Рима. Ученые, изучая остатки древних городов, соотносили материалы с письменными источниками и не обращались к этнографии. Вероятно, это было следствием европоцентризма, мнения о превосходстве европейцев над «туземцами». Первобытная археология больше была связана с поисками древнейших предков человека и с изучением древних жителей Европы. Эти ученые работали в областях, мало затронутых Античностью, – в Центральной и Северной Европе. Они, особенно изучающие древность человечества, неплохо разбирались в геологии.

Начиная со второй половины XIX в. количество материалов о ранних этапах развития человечества растет. Наступает время специализации. Оформляется направление исследований «современного первобытного человека», связанных с поездками в не тронутые цивилизацией страны и изучением первобытного человека по материалам раскопок. Стадиально уровни развития примерно совпадали. Интересна двоякость процесса: с одной стороны, дифференциация наук: развитие несвязанных направлений археологии и этнографии; с другой – интеграция: появление дисциплин, требующих взаимодействия археологов и этнографов (экспериментальная археология, этнография).

После 1917 г. археология и этнография политизируются. Распространился вульгаризованный марксизм, многие археологи и этнографы замолчали, эмигрировали, были репрессированы. Социальный (официальный) заказ науке – показ «преимуществ социализма», сравнение «социалистических народов» и их предков. Отсюда – развитие этногенетических исследований народов Центральной Азии, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Культурологические исследования, развитие типологии и классификации являлись наименее политизированными и стали преобладающими в археологии. Для этнографов считалось важным показать особенности развития наций и народностей для того, чтобы разработать механизмы их вхождения в «братскую семью социалистических наций». Это не умаляет заслуг археологов, сумевших провести широкомасштабные работы и изучить археологические памятники в Центральной Азии, Сибири, разработать методики раскопок (изучения памятников на широкой площади). Однако работы по интеграции археологии и этнографии почти не велись. То же относится и к разработкам в области исследований социальных, демографических, экономических структур древних и средневековых обществ.

В 1950–1960-е гг. работали крупные археолого-этнографические экспедиции: Хорезмская, Южно-Туркменская, в составе которых десятки исследователей, занимающихся изучением культуры народов на ограниченной территории. Однако, несмотря на название «археолого-этнографическая», это были экспедиции, где ученые работали чаще всего параллельно. Некоторые ученые (С. П. Толстов и др.) занимались изучением поздних археологических памятников и сравнением полученного материала с этнографическими данными, закладывая основы интеграции археологии и этнографии.

В 1960–1970-е гг. на Западе развивается направление «новая археология», связанное с изучением стоянок аборигенов и экстраполяцией материалов на древние стоянки. В результате внесены коррективы в археологические данные. Трассологический метод завоевал мировое признание. Ученые мира занялись экспериментальной археологией, сооружая гигантские конструкции, сжигая экспериментальные дома, живя жизнью человека эпохи бронзы или железа.

В конце 1970-х гг. начинается виток интеграции археологии и этнографии. В Институте этнографии работала группа этноархеологии, занимающаяся со времен Хорезмской экспедиции изучением памятников Джетыасарской и Чирикрабадской археологических культур и их этнической интерпретацией.

Археолого-этнографическая интеграция – объективная исследовательская потребность, вытекающая из специфики источниковой базы и не зависящая от уровня развития науки. Это актуально и в этноархеологическом аспекте (при изучении этнографического материала методами археологии), и в аспекте палеоэтнографическом (при изучении археологического, этнографического материалов древности, средневековья, нового времени методами этнографии). Этнография невозможна без археологии, и наоборот.

Археология и этнография изучают многообразные проявления культуры. Очень специфичны исследования палеолита. Некоторые работы по изучению керамики, металлургии, каменного инвентаря с привлечением методов естественных наук так глубоки, что для исследований требуют обширных знаний. Этнография имеет дело с живой культурой и намного разнообразнее. Детальное изучение любого направления науки позволяет так полно изучить феномен культуры, что исследователь оказывается почти единственным специалистом, квалифицированно занимающимся проблемой.

Все это результат дифференциации науки о первобытности и о древнем человеке, начавшейся в конце XIX – начале XX в. Глубоким прошлым человека занимались биологи, антропологи, геологи, археологи. Лучшие научные силы были сосредоточены в Европе. Чтобы совершить своеобразное путешествие в прошлое, исследователь мог провести раскопки, но он мог, покинув Европу, побывать в Австралии, Океании, Африке, Южной Америке, где люди жили жизнью «дикарей» Европы. Материалы, собранные в экспедициях и полученные при раскопках стоянок и поселений в Европе, иллюстрировали жизнь человека на одинаковых этапах его развития (неолита, бронзового века и др.). Для получения информации использовались разные методы: в этнографии – наблюдение, работа с информаторами; в археологии – раскопки, датировки, классификации, типологии, реконструкции, интерпретации.

Для развития науки о первобытности на начальных этапах данная особенность большой роли не играла. Количество данных и число ученых было невелико, они успевали знакомиться с работами коллег, работать в экспедициях, обменяться мнениями в печати, на симпозиумах и т. д. Основоположники науки о прошлом были «интегрированными» («недифференцированными») учеными. Следующее поколение проходило подготовку у учителей, специализируясь в области и по методикам, где учителя были авторитетами. В результате специализация по археологии и этнографии стала глубже. Начался процесс дифференциации науки о первобытности по методикам исследования и предметным областям.

С течением времени проблематика исследований становилась шире, ученые совершенствовали старые и разрабатывали новые методы исследований, количество материалов росло, продолжилась дифференциация:

– по территории (Центральная Азия, Кавказ, Сибирь);

– по эпохе (неолит, средневековье);

– по проблематике (керамика, оружие, земледелие).

Дальнейший процесс специализации предполагает узкую специализацию (оружие Центральноазиатского средневековья, неолитическое скотоводство Кавказа). Налицо локализация по территории, хронологии, проблематике.

Тот же процесс идет в этнографии, но проблематика шире: конфликтология, этносоциология, этноэкология, гендер, адаптация в иной культуре, этнопедагогика, материальная, духовная, соционормативная культуры традиционных и индустриальных обществ.

Процесс развития наук двояк: с одной стороны, углубление исследований и дифференциация, с другой – объединение проблематик и интеграция.

А. Г. Селезнев

Россия, Омск, государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
филиал Институт археологии и этнографии СО РАН

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК КАК ОСНОВА ХРОНОТОПА САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА (К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА БАХТИНА)*

A new sacral spaces phenomenon is analyses in the apticle. On the basis of the Mikhail Bakhtin concept, an archaeological monument is considered as a basis of a chronotope of the modern sacral centers. The conclusion about basic identity of modern occult-mystical mythologies and practices and archaic traditional representations and archetypes was made.

Возникновение и рост новых сакральных пространств и ритуальных практик на фоне бурного всплеска эзотерики и мистицизма – весьма заметная тенденция современного социокультурного развития России. В последние годы автором данного сообщения совместно с коллегами проводилось систематическое этнографическое обследование одного из таких сакральных центров в районе д. Окунево Муромцевского района Омской области.

Интерес к вновь возникшим сакральным пространствам базировался на предшествующем опыте изучения святилищ, функционирующих в сфере традиционной культуры. С начала 2000-х гг. группа исследователей (А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, И. В. Белич и др.) выполняла проект по изучению культа святых и традиционных культовых комплексов мусульман Сибири. Даже поверхностное сравнение с очевидностью демонстрировало общность культовых практик и мифологических мотивов, получивших развитие в рамках традиционных и новейших сакральных комплексов. Парадоксально, но чрезвычайно архаичные мифологические мотивы эсхатологии, катастрофизма, превращения хаоса в космос ревитализируются в настоящую эпоху кризиса привычных духовных ценностей [см., напр.: *Чернявская*, 2008: 205–207, 216–223]. Эти мотивы без труда обнаруживаются в мифологии бурно развивающихся современных сакральных центров [*Селезнев*, 2011].

Одним из таких наиболее ярких мотивов является приуроченность традиционных святилищ к символически «вечным» объектам: горе, пещере, отдельным большим камням, деревьям, живописным озерам или речным долинам [*Виноградов*, 2006; *Корусенко*, 2013: 182–184; *Макаров,* 1988; *Щепанская*, 2003: 264–293]. Эти и подобные объекты, связывающие воедино пространство и время (вечность!), составляют естественную основу хронотопа культового комплекса. Мы используем понятие «хронотоп» в том его значении, которое было разработано в трудах выдающегося российского культуролога Михаила Михайловича Бахтина применительно к литературе и отчасти мифологии. По Бахтину, хронотоп – это существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе [*Бахтин*, 1975, ср.: *Гуревич*, 1990: 115–159]. Полагаем, что данное понятие также адекватно отражает и процесс освоения сакрального пространства.

В ряду хронотопических объектов особое положение занимают выделяющиеся на местности археологические памятники разных эпох. Неслучайно многие традиционные святилища имеют четкую привязку к археологическим памятникам (или к старинным архитектурным ансамблям), а иногда и располагаются непосредственно на их месте [см., напр.: *Штырков*, 2012]. В плане обсуждаемой проблемы очень характерный пример – известное и весьма почитаемое мусульманское святое место в Западной Сибири – Тюрмитякская астана. Памятник расположен в Усть-Ишимском районе Омской области, на реке Ишим, неподалеку от ее впадения в Иртыш. Комплекс связан сразу с несколькими «вечными» объектами: живописным округлым в плане озером, носящим характерное название Астана-Бурень; видимыми археологическими объектами, осмысляемыми как могилы предков; возвышающимся останцом, на котором также расположен археологический памятник [*Селезнев*, 2013].

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Новый сакральный центр России в социальном окружении: проблемы взаимодействия с государственными, религиозными, медийными институтами», проект № 14-01-00431.

© Селезнев А. Г., 2015

Новейшие сакральные пространства ассоциированы с археологическими объектами еще в большей степени, нежели традиционные. Многие места силы современной эпохи в той или иной степени связаны с памятниками археологии: скифские погребения Укока, окуневские изваяния в Хакасии, Долина царей в Тыве [*Селезнев*, 2011; *Broz*, 2011: 275–276], дольмены на Кавказе [*Андреева*, 2014]. Аркаим [*Шнирельман*, 2011; 2014; 2015] и «принцесса» Укока [*Михайлов*, 2013: 43–45; *Селезнев,* 2011: 129–133; *Плетц*, 2014: 22–30; *Broz*, 2009: 50–51, 66; 2011: 266–268; *Halemba*, 2006: 18–19; 2008: 283–287, 294–297; *Mikhailov*, 2013: 41–44; *Plets*, 2013: 74–84; 88–93] – самые известные в России случаи (в Европе наиболее популярен, конечно, Стоунхендж). Типовой механизм формирования таких центров основан на идее реактуализации, пробуждения, активации сакрального потенциала археологических объектов, наделяемых сверхъестественными функциями. Эти представления зачастую подкреплены мифом, что именно данная территория была колыбелью древнейших суперцивилизаций и с нее начнется спасение всего человечества [*Яшин*, 2012: 97–98; 2014а: 114–116].

Оккультно-мистическая «свистопляска» вокруг археологических памятников рассматривается специалистами в числе важнейших социокультурных факторов, определяющих становление и развитие модных постмодернистских течений современной археологической мысли [*Клейн*, 2011: 344; 2012; 2014: 559–590]. Эта «свистопляска» растет и ширится, вовлекая в свою орбиту все новые археологические объекты [*Богатова*, 2015: 78–79; *Шнирельман*, 2015; *Яшин*, 2014б]. Ныне, к большому удивлению самих археологов, археологические объекты классифицируются не только по типам, хронологии и культурной принадлежности, но и по критерию восприятия памятника в современной культуре, включая ассоциированность его с новейшими сакральными пространствами и мифологией истории [*Андреев*, 2014].

Окунево занимает промежуточное положение между центрами, полностью ассоциированными с конкретными археологическими объектами (Аркаим, Укок, возможно, Долина царей), и локусами, никак внешне не связанными с археологическими памятниками (Обитель рассвета виссарионовцев в красноярской тайге [см.: *Urbańczyk*, 2014]. Археологический контекст «окуневского феномена» расплывчатый и неконкретный.

Тем не менее аспект «древних цивилизаций» присутствует уже в рассказах о рождении феномена, а именно – о прибытии сюда из Индии в 1992 г. гражданки США латвийского происхождения Расмы Розитис, получившей духовное имя Раджани. В конце концов Расма оказалась в Окуневе, основала общину последователей Бабаджи – бабаджистов и храм – *ашрам*, к слову сказать, единственный в России. «Археологический» контекст сыграл в этом выборе существенную роль. Причудливое осмысление археологического наследия Окунево характерно также для мифологии «ведических православных» (ревнителей древнеславянских традиций) и для других культурно-религиозных групп [*Селезнев*, 2014].

Ядром сакрального пространства является Татарский увал. Сейчас это место называется Омкар и осмысляется как пуп Земли, энергетический центр. Вероятно, определенную роль в его сакрализации сыграло то обстоятельство, что здесь расположен памятник ОМ V, интерпретируемый специалистами как культовый комплекс переходного и раннежелезного времени [*Матющенко*, 1994: 87–91]. Важнейшая роль в окуневской мифологии отводится личности выдающегося российского археолога, исследователя окуневских древностей Владимира Ивановича Матющенко (1928–2005). Примечательно, что археолог в мифологическом контексте выступает в качестве верховного демиурга – дарителя высших сакральных знаний, ср. фрагмент записанного нами текста: «…он (В. И. Матющенко. – *А. С.*)… раскрыл много глубин и исторических фактов» [*Селезнев*, 2014: 46].

В 2014 г. непосредственно на «пупе Земли» (Татарском увале) – главном месте сакрального комплекса – появился столб, установленный последователями Бабаджи, на котором был помещен текст, разъясняющий официальный символ веры религиозного объединения (см. рис.).

Как видно, текст содержит мотив сакрализации образа археолога и полноценное его включение в священный пантеон. Можно констатировать, что археологическое наследие («архетип древних цивилизаций») является одним из главных факторов, легитимизирующих сакральность пространства.

В наши дни археологические памятники подвергаются сакрализации более охотно, нежели пещеры, деревья или камни. Случаются, впрочем, и занятные комбинации, как это происходит с сейдами Кольского полуострова, когда природные объекты воспринимаются эзотериками как археологические памятники и подвергаются сакрализации [см.: *Лихачев*, 2014]. В эпоху постмодерна и информационных технологий использовать в качестве объекта своих фантазий такой интеллектуально

насыщенный комплекс, как археологический памятник, стало модно и престижно. Однако качественных различий здесь нет: новая оккультно-мистическая мифология, связанная с археологическими объектами, является лишь модернизацией весьма архаичных традиционных представлений и архетипов.

ОМКАР ШИВА ДХАМ – ОЗНАЧАЕТ МЕСТО, ОТКУДА НАЧАЛОСЬ ТВОРЕНИЕ

Археологические раскопки на Татарском увале под руководством профессора Матющенко подтвердили, что живописное правобережье Тары сыздавна служило местом священнодействия для многих проживающих здесь народов.

В настоящее время общиной «Омкар Шива Дхам» здесь проводится возрожденный Бабаджи огненный ритуал – ХАВАН (ЯГЬЯ), в древности изобретенный ришами для очищения окружающей среды.

Звуки трубы уничтожают плохие вибрации … Звуки колоколов и раковин очищают атмосферу и пробуждают сознание, с дымом хавана разрушаются вредные микробы в воздухе, а хорошие бактерии, необходимые для жизни, в нем произрастают. Если вы находитесь возле дхуни, это очищает ваши вибрации.

Церемония хаван дает возможность людям символически участвовать в управлении, расширении и сохранении Творения.

Дхуни – это одно из чудес света. К нему относятся как к Божеству.

Потому, большая просьба относиться к МЕСТУ бережно!
Не распивайте спиртные напитки, не бросайте окурки!
Для каждого действа – своё место. Имеющий уши – да услышит.

Официальный текст религиозной общины «Омкар Шива Дхам», содержащий мотивацию возникновения сакрального места на Татарском увале. Татарский увал (Омкар, пуп Земли), д. Окунево Муромцевского района Омской области, 2014 г. Фото А. Г. Селезнева

Андреев В. М. Археологический памятник в современном культурном пространстве: культурологический анализ : дис. … канд. культурологии. – Челябинск, 2014. – 233 с.

Андреева Ю. О. «Места силы», «духи дольменов» и «знания первоистоков» : археологические памятники и движение New Age «Анастасия» // ЭО. – 2014. – № 5. – С. 73–87.

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – Москва, 1975. – С. 234–407.

Богатова О. Конструирование сакрального социального пространства эрзянского неоязыческого ритуала // Инновации в антропологии: новые направления, объекты и методы в российских антропологических исследованиях. – Москва, 2015. – С. 59–81. – URL: http://static.iea.ras.ru/books/InnovationsInAnthropology-Sokolovsky.pdf (дата обращения: 06.06.2015).

Виноградов В. В. Представления о камнях-валунах в традиционной русской культуре / В. В. Виноградов, Д. В. Громов // ЭО. – 2006. – № 6. – С. 125–143.

Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – Москва : Искусство, 1990. – 396 с.

Клейн Л. С. История археологической мысли : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. – Т. 2. – 626 с.

Клейн Л. Рациональный взгляд на успехи мистики // В защиту науки. – 2012. – № 10. – С. 57–68.

Клейн Л. С. История антропологических учений / под ред. Л. Б. Вишняцкого. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014. – 744 с.

Корусенко М. А. Мифология сибирских татар в символах образов и вещей (опыты прочтения) / М. А. Корусенко, Ю. И. Ожередов, А. А. Ярзуткина. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2013. – 336 с.

Лихачев В. А. Сейд на Большом Вудъявре // Сибирский сборник – 4: Грани социального: Антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 220–232.

Макаров Н. А. К изучению культовых камней / Н. А. Макаров, А. В. Чернецов // СА. – 1988. – № 3. – С. 79–90.

Матющенко В. И. Комплекс археологических памятников на Татарском увале у деревни Окунево / В. И. Матющенко, А. В. Полеводов. – Новосибирск : Наука, 1994. – 224 с.

Михайлов Д. А. Алтайский национализм и археология // ЭО. – 2013. – № 1. – С. 37–51.

Плетц Г. Международное значение репатриации укокской принцессы (готова ли российская археология к диалогу с коренными народами?) / Г. Плетц, В. И. Соенов, Н. А. Константинов, Э. Робинсон // Древности Сибири и Центральной Азии. – 2014. – № 7 (19). – С. 17–45.

Селезнев А. Г. Старые и новые иеротопии Сибири: технология конструирования религиозной идентичности // Население Сибири: межнациональные отношения, образование и культурная идентичность. – Омск, 2011. – С. 123–136.

Селезнев А. Г. Исламские культовые комплексы астана в Сибири как иеротопии: сакральные пространства и религиозная идентичность // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2013. – № 2 (21). – С. 111–119.

Селезнев А. Г. Новая мифология истории: архетип «древних цивилизаций» и сакральный центр в районе деревни Окунево // ЭО. – 2014. – № 5. – С. 41–59.

Чернявская Ю. Идентичность на фоне мифа // Антропологический форум. – 2008. – № 8. – С. 198–226.

Шнирельман В. А. Аркаим: археология, эзотерический туризм и национальная идея // Антропологический форум. – 2011. – № 14. – С. 133–167.

Шнирельман В. А. Аркаим и Стоунхендж между прошлым и будущим // ЭО. – 2014. – № 5. – С. 19–40.

Шнирельман В. Археология и религия: вызовы постмодерна // Инновации в антропологии: новые направления, объекты и методы в российских антропологических исследованиях. – Москва, 2015. – С. 82–121. – URL: http://static.iea.ras.ru/books/InnovationsInAnthropology-Sokolovsky.pdf (дата обращения: 06.06.2015).

Штырков С. А. Предания об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и мифология ландшафта (на материалах Северо-Восточной Новгородчины). – Санкт-Петербург : Наука, 2012. – 228 с. – (Kunstkamera Petropolitana).

Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. – Москва : Индрик, 2003. – 528 с. – (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования).

Яшин В. Б. Иеротопические мотивы и локусные культы в новых религиозных движениях // Ом. науч. вестн. – 2012. – № 3 (109). – С. 95–99.

Яшин В. Б. Классик археологии и «неклассическая» археология // Vita scientificus, или Археолог В. И. Матющенко. – Омск, 2014а. – С. 108–131.

Яшин В. Б. Реактуализация архаических мифоритуальных практик в современной России на примере куатовской иеротопии (социологические и религиоведческие аспекты) // Современные проблемы науки и образования. – 2014б. – № 5. – URL: http://www.science-education.ru/119-14593 (дата обращения: 14.03.2015).

Broz L. Substance, Conduct, and History: “Altaian-ness” in the Twenty-First Century // Sibirica. – 2009. – Vol. 8, N. 2, Summer. – P. 43–70.

Broz L. Spirits, Genes and Walt Disney’s Deer: Creativity in Identity and Archaeology Disputes (Altai, Siberia) // The archaeological encounter: anthropological perspective. – St. Andrews, 2011. – P. 263–297.

Halemba A. The Telengits of Southern Siberia: Landscape, Religion and Knowledge in Motion. – London : Routledge, 2006. – 222 p.

Halemba A. What does it feel like when your religion moves under your feet? Religion, Earthquakes and National Unity in the Republic of Altai, Russian Federation // Zeitschrift für Ethnologie. – 2008. – Bd. 133, H. 2. – P. 283–299.

Mikhailov D. A. Altai Nationalism and Archeology // Anthropology and Archeology of Eurasia. – 2013. – Vol. 52, N. 2. – P. 33–50.

Plets G. Repatriation, Doxa, and Contested Heritages: The Return of the Altai Princess in an International Perspective / G. Plets, N. Konstantinov, V. Soenov, E. Robinsson // Anthropology and Archeology of Eurasia. – 2013. – Vol. 52, N. 2. – P. 73–100.

Urbańczyk J. Last testament church – the power of unanimity // Сибирский сборник – 4: Грани социального: Антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры. – Санкт-Петербург, 2014. – P. 293–304.

Н. Н. Серегин

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет

К ВОПРОСУ О «КОМПЛЕКСЕ ВЛАСТИ» В ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКАХ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*

The article concerns symbols of the power at early medieval Turkic society on materials of funeral sites. According to the available materials “complex of the power” included some subjects of arms, and also lashes and stacks. Also some products made of precious metals (belt, horse equipment, mirror, vessel) had certain relation to symbols of the power.

Символика власти, демонстрирующая принадлежность отдельного человека или группы людей к политической элите, в той или иной степени присутствует в любом обществе. Особое значение она имела в традиционных социумах, для которых в целом характерны разного рода знаковые системы, а также четкое внешнее проявление статуса и функций индивида, в том числе его отношения к власти. Значительный массив информации для изучения специфики рассматриваемого явления в конкретных обществах предоставляют результаты археологических исследований. В настоящей работе кратко представлены возможности исследования символов власти у раннесредневековых тюрок Центральной Азии, основавших во 2-й половине I тыс. н. э. крупнейшие кочевые империи и распространивших характерные для них представления об атрибутах политической элиты на значительные территории.

Несмотря на длительную историю исследований археологической культуры раннесредневековых тюрок Центральной Азии, материалы, демонстрирующие особенности символики власти у кочевников, до сих пор весьма фрагментарны. Традиционно основным источником для изучения элиты номадов 2-й половины I тыс. н. э. считаются мемориальные «каганские» комплексы Монголии. Вместе с тем данные объекты предоставляют довольно ограниченный объем информации о символах власти в обществе кочевников. Это связано главным образом с тем, что полноценно раскопана лишь незначительная часть таких памятников, к тому же зачастую разрушенных. Представительные вещественные материалы, демонстрирующие «элитную» субкультуру раннесредневековых тюрок, получены только в ходе раскопок на комплексе Бильге-кагана [*Баяр*, 2004: 73–84]. Среди показательных атрибутов на каменных изваяниях, выявленных при исследовании мемориальных объектов, отметим сложные головные уборы, клинковое оружие, наборные пояса, а также зафиксированные в нескольких случаях жезлы.

Как ни странно, гораздо больший объем сведений о символах власти в обществе раннесредневековых тюрок Центральной Азии предоставляют материалы исследований «рядовых» погребальных памятников, в значительном количестве обнаруженные на Алтае, в Туве, Минусинской котловине и, в меньшей степени, в Монголии, Кыргызстане и Казахстане. Эти комплексы демонстрируют высокую степень дифференциации общества кочевников [*Серегин*, 2013]. Одним из важных аспектов социальной интерпретации материалов раскопок является выделение категорий предметов сопроводительного инвентаря, отражающих высокое прижизненное положение погребенного человека, в том числе символов власти.

Корректное определение социальной значимости предметов сопроводительного инвентаря не может быть интуитивным или основываться только на рассмотрении частоты встречаемости находок. Необходим учет комплекса показателей и привлечение дополнительных источников и материалов (письменных, изобразительных, этнографических и др.). Основными являются следующие факторы: 1) материальная ценность предметов; 2) символическая значимость вещей; 3) закономерности распределения изделий в погребениях и особенности распространения конкретных находок; 4) общие тенденции развития кочевых обществ Центрально-Азиатского региона в раннем средневековье («престижная» экономика, роль военного дела, направления торговых связей и др.). Эффективным подходом представляется выделение из совокупности предметов сопроводительного инвентаря

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (проект «Центральная Азия в эпоху раннего средневековья: комплексная реконструкция этнокультурной и социально-политической истории», МК-2490.2014.6).

© Серегин Н. Н., 2015

«комплекса власти», включающего показатели военно-управленческого могущества и политического статуса, и «комплекса богатства», объединяющего признаки высокого имущественного положения, материального достатка [*Васютин*, 1998: 18; *Матренин*, 2005: 179; и др.].

«Комплекс власти» в обществе раннесредневековых тюрок Центральной Азии был представлен главным образом предметами вооружения. Оружие дистанционного боя (лук и стрелы) являлось весьма распространенным и не маркировало погребения знатных воинов. При этом не вызывает сомнений социальная значимость ***клинкового оружия ближнего боя*** (рис.: *7–10*). Особый культурный статус сабли, меча и кинжала в эпоху средневековья подтверждают многочисленные свидетельства письменных источников среднеазиатского происхождения [*Дмитриев*, 2001: 234–237]. Такие предметы являлись символом оружия и атрибутом власти военачальника у многих народов Евразии различных исторических периодов [*Распопова*, 1980: 79; *Измайлов*, 2008: 39; и мн. др.]. Обратим внимание на то, что кинжал в раннем средневековье рассматривался не только как предмет вооружения, но и как элемент костюма и отличительный знак ранга знатного воина. Дополнительным подтверждением является упоминание о кинжале как о поясном украшении тюрок, приведенное в китайских династийных хрониках [*Лю Маоцай*, 2002: 19].

Предметы из погребений раннесредневековых тюрок Центральной Азии:
1 – защитный доспех; *2–4* – копье; *5–6* – боевой топор; *7–10* – клинковое оружие ближнего боя; *11–13* – плети и стеки [сост. по: *Кызласов*, 1951; *Гаврилова*, 1965; *Овчинникова*, 1982; *Худяков*, 1996; 2004; *Могильников*, 1997; *Горбунов*, 2003; 2006; *Тишкин*, 2003; *Кубарев*, 2005]

Особое символическое значение имел также ***боевой топор*** (рис.: *5–6*), рассматривавшийся, по всей видимости, как знак власти военачальника. К примеру, на одном из произведений пенджикентской живописи зафиксировано изображение царя без доспеха, но с топором [*Распопова*, 1980: 76]. Редкие изображения знатных воинов с обозначенным предметом вооружения известны на петроглифах раннего средневековья, обнаруженных в различных районах Центрально-Азиатского региона [*Жолдошов*, 2005: 72].

Несомненно, ценным предметом воинского снаряжения являлся ***защитный доспех*** (рис.: *1*). Значимость данного элемента паноплии в значительной степени определялась сложностью и трудоемкостью его изготовления. В том числе поэтому тяжеловооруженная конница была элитным родом войска кочевников и формировалась из представителей наиболее знатных родов общества.

Судя по имеющимся сведениям, особый статус в обществе раннесредневековых номадов имело ***копье*** (рис.: *2–4*). Такие изделия нередко фиксируются при исследовании наскальных изображений. При этом зачастую на копьях, находящихся в руках конных воинов, присутствуют дополнительные элементы – бунчуки и небольшие флажки [*Советова*, 2005: 94]. Известно, что такие атрибуты являлись отличительным признаком знатных воинов, командующих подразделениями различного уровня [*Бобров*, 2005: 116–117]. Кроме того, имеется информация о том, что бунчуки, знамена или штандарты в раннем средневековье представляли собой символ властных полномочий и использовались для подтверждения статуса послов при ведении переговоров [*Худяков*, 2011: 294–295].

Важно подчеркнуть, что обозначенные выше предметы вооружения являются весьма редкими находками в памятниках раннесредневековых тюрок Центральной Азии. Вместе с тем имеются все основания для того, чтобы предполагать определенную степень их распространения во 2-й половине I тыс. н. э. Об этом свидетельствуют сведения письменных источников, результаты исследования каменных изваяний и петроглифов раннего средневековья. Поэтому, вероятно, исключительность рассматриваемых предметов в погребениях раннесредневековых тюрок Центральной Азии обусловлена не ограниченностью их распространения, а тем, что они помещались только в могилы людей, имевших при жизни высокий статус.

Дополнительным фактором, позволяющим отнести рассмотренные предметы вооружения к социально значимым элементам вещевого комплекса раннесредневековых тюрок Центральной Азии и своего рода символам власти, является изучение тенденций в их распределении в погребениях. Помимо редкости находок, существенным показателем в этом отношении можно считать то, что мечи, кинжалы, копья, боевые топоры и фрагменты доспеха в абсолютном большинстве случаев зафиксированы в могилах, при исследовании которых отмечено присутствие «богатого» сопроводительного инвентаря.

К предметам, включенным в «комплекс власти», по всей видимости, следует также отнести ***плети и стеки*** (рис.: *11–13*). Наибольшее значение имели богато оформленные находки [*Кызласов*, 1951: 50–55]. Статус плети как особого символа власти подтверждают сведения письменных источников среднеазиатского происхождения, а также фольклорные, этнографические и иконографические материалы [*Соловьева*, 1996: 40; *Ожередов*, 2005: 216–220; и др.].

Выделяемый в составе сопроводительного инвентаря погребений раннесредневековых тюрок Центральной Азии «комплекс богатства», очевидно, имеет гораздо меньшее отношение к атрибутам власти. Вместе с тем, судя по имеющимся сведениям, включаемые в него предметы также могли отражать принадлежность человека к элите общества номадов. Очевидно, признаком, отличавшим верхушку социума от остального населения, являлся костюм [*Доде*, 2005: 25]. В данном случае особое внимание следует обратить на связанные с его оформлением предметы торевтики, изготовленные из цветных металлов. В научной литературе весьма подробно представлена социальная значимость наборного пояса, являвшегося своего рода паспортом раннесредневекового кочевника. Основными показателями престижности пояса, судя по всему, были материал, из которого изготовлены его составляющие, их количество, а также художественное оформление. Имеются многочисленные свидетельства того, что в обществах раннего средневековья пояс с золотыми накладками считался признаком, определявшим принадлежность человека к элитным слоям населения [*Могильников*, 1997: 214]. Схожие тенденции характерны для украшений конского снаряжения. Редкими и, очевидно, престижными элементами материальной культуры номадов были и другие предметы торевтики – металлические сосуды и зеркала.

Важно подчеркнуть, что полученные результаты демонстрируют символизм предметов через призму традиций погребально-поминальной обрядности. В связи с этим дальнейшая конкретизация сведений о знаках власти в обществе раннесредневековых тюрок Центральной Азии требует корре-

ляции сделанных выводов со сведениями дополнительных источников. Большое значение для развития данной тематики имеет продолжение раскопок на территории Монголии, представлявшей в центр кочевых империй кочевников 2-й половины I тыс. н. э.

Баяр Д. Новые археологические раскопки на памятнике Бильгэ кагана // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 4 (20). – С. 73–84.

Бобров Л. А. Военное дело сяньбийских государств северного Китая в IV–VI вв. н. э. / Л. А. Бобров, Ю. С. Худяков // Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. – Новосибирск, 2005. – С. 80–200.

Васютин С. А. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии : автореф. дис. … канд. ист. наук. – Барнаул, 1998. – 23 с.

Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 146 с.

Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. I. Оборонительное вооружение (доспех). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 174 с.

Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. II. Наступательное вооружение (оружие). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 232 с.

Дмитриев С. В. К вопросу о культурном статусе холодного оружия в традиционной культуре народов Средней Азии // Евразия сквозь века. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 234–237.

Доде З. В. Символы легитимации принадлежности к империи в костюме кочевников Золотой Орды // Восток. – 2005. – № 4. – С. 25–35.

Жолдошов Ч. М. Изображение вооружения в средневековых петроглифах Кыргызстана // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. – Бишкек, 2005. – Вып. I. – С. 67–74.

Измайлов И. Л. Защитники «Стены Искандера». – Казань : Татар. кн. изд-во, 2008. – 206 с.

Кубарев Г. В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 400 с.

Кызласов Л. Р. Резная костяная рукоятка плети из могилы Ак-кюна (Алтай) // КСИИМК. – 1951. – Вып. XXXVI. – С. 50–55.

Лю Маоцай. Сведения о древних тюрках в средневековых китайских источниках // Бюллетень Общества востоковедов. – Прил. 1. – М. : Ин-т востоковедения РАН, 2002. – 126 с.

Матренин С. С. Булан-кобинская культура Горного Алтая / С. С. Матренин, А. А. Тишкин // Социальная структура ранних кочевников Евразии. – Иркутск, 2005. – С. 152–183.

Могильников В. А. Курган 85 Кара-Кобы-I и некоторые итоги изучения древнетюркских памятников Алтая в связи с исследованиями в Кара-Кобе // Источники по истории Республики Алтай. – Горно-Алтайск, 1997. – С. 187–234.

Овчинникова Б. Б. Погребение древнетюркского воина в Центральной Туве // СА. – 1982. – № 3. – С. 210–218.

Ожередов Ю. И. Сакральные предметы сибирских татар по материалам фольклора: плеть // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2005. – С. 216–220.

Распопова В. И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. – Ленинград : Наука, 1980. – 139 с.

Серегин Н. Н. Социальная организация раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии (по материалам погребальных комплексов). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 206 с.

Советова О. С. Об использовании знамен в военном деле средневековых кочевников (по изобразительным источникам) / О. С. Советова, А. Н. Мухарева // Археология Южной Сибири. – Кемерово, 2005. – Вып. 23. – С. 92–105.

Соловьева О. А. Символы, символические знаки и знаки власти (на среднеазиатском материале) // Символы и атрибуты власти (генезис, семантика, функции). – Санкт-Петербург, 1996. – С. 38–45.

Тишкин А. А. Раннетюркское погребение на могильнике Яконур (по материалам раскопок М. П. Грязнова) / А. А. Тишкин, В. В. Горбунов // Древности Алтая. – Горно-Алтайск, 2003. – № 10. – С. 107–117.

Худяков Ю. С. Балтарганские находки / Ю. С. Худяков, В. А. Кочеев, В. М. Моносов // Гуманитарные науки в Сибири. – 1996. – № 3. – С. 46–53.

Худяков Ю. С. Древние тюрки на Енисее. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – 152 с.

Худяков Ю. С. Символы и атрибуты государственности у енисейских кыргызов в эпоху раннего средневековья // Этническая история и культура тюркских народов Евразии. – Омск, 2011. – С. 294–299.

С. С. Тихонов

Россия, Омск, государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
филиал Института археологии и этнографии СО РАН

ЭТНОГРАФО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОПРОСЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОЙ ОМСКОЙ КРЕПОСТИ)*

In this article question of the possibility of search of archaeological sites, which are the basis for the study of archaeological-ethnography complexes of the peoples of Western Siberia, and the meaning of the maps in such studies was considered. The work have as base activity during search of archaeological materials documenting the location of fortifications first Omsk fortress. Later its was correlated with geographical plans and maps of the XVIII–XXI centuries.

Картографирование мест расположения объектов для этнографо-археологических исследований – поселений и могильников XVII–XX вв. – позволяет рассмотреть вопросы пространственного расположения этнографо-археологических комплексов (ЭАК), проанализировать системы землепользования и природопользования, а также изучить закономерности системы расселения изучаемых народов и процессы ее формирования [*Этнографо-археологические комплексы…*, 2014; *Тара*…, 2014; *Адаптация*..., 2014].

Однако, если нанесение интересующих исследователей объектов на карты масштабом 1:500000 или 1:1000000 является рутинной в целом процедурой, то при работе с картами масштабом 1:100000 появляются проблемы, связанные с точной локализацией объектов. В общем, тенденция такова: чем крупнее масштаб карты, тем большая точность нужна при нанесении на нее данных, что в одной из работ отметила М. П. Черная [2013: 81].

Ситуация с обнаружением на местности обозначенного на картах объекта (как вариант могут иметься подробные описания его расположения) более сложная. Например, автору не удалось найти материальные свидетельства (культурного слоя, находок керамики, предметов утвари, остатков жилых и хозяйственных сооружений и т. д.) существования в пойме правого берега Иртыша от озера Утичье до устья реки Кунлук (Муромцевский район Омской области) русских деревень и татарских юрт конца XVII – первой трети XVIII в., имеющихся на чертежах С. У. Ремезова [*Хорографическая чертежная книга*…, 2011] и в описаниях Г. Ф. Миллера [1996: 75–99]. Возможно, изменилась ландшафтная ситуация, не такой стала конфигурация водоемов или неверно были оценены базовые расстояния. Может быть и так, что за время существования этих населенных пунктов культурных остатков в слое не отложилось. Например, я и мой коллега С. Ф. Татауров заложили несколько шурфов на территории татарской деревни Юрт-Бергамак (Муромцевский район Омской области) через год или два после того, как жители деревни разъехались. К тому времени от деревни осталось несколько домов, хозяйственные постройки, хорошо различались улицы, огороды и т. д., но ни в одном месте (во дворах домов, на дорогах и т. п.) культурного слоя зафиксировано не было.

Иными словами, от изучения картографического материала до выявления указанных там объектов для археолого-этнографических исследований «дистанция огромного размера».

С подобными трудностями при определении в центре современного Омска мест расположения фортификационных сооружений первой Омской крепости (далее – Крепость) мы столкнулись, начав ее небольшие археологические исследования в 2013 г. Инициатором подготовки проекта был С. Ф. Татауров (заведующий сектором археологии Омского филиала ИАЭТ СО РАН), куратором проекта стал автор данных тезисов, исполнителем – выпускница аспирантуры Омского филиала ИАЭТ СО РАН Н. В. Беликова (Телятникова). Работы поддержал Омский государственный историко-краеведческий музей (директор – П. П. Вибе).

---

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ. Проект № 15-11-55005/15 «Тарская и Омская крепости как военно-политические центры присоединения Омского Прииртышья к Российскому государству по археологическим и историческим материалам».

© Тихонов С. С., 2015

Территория Крепости, в 1716 г. заложенной полковником И. Д. Бухгольцем после неудачного похода за золотом, в настоящее время застроена, заасфальтирована, через нее проходят различного рода коммуникации (телефон, свет, газ, канализация и т. д.), хотя есть участки, где можно вести земляные работы. На первом этапе исследований предполагалась закладка серии шурфов для выявления строений Крепости и их соотнесения с объектами современного Омска.

Схему расположения шурфов мы старались соотнести с планами Крепости и их проекциями на современные карты. Первый выполнил такую реконструкцию архитектор В. И. Кочедамов [1960: 8, рис. 5]. К сожалению, он не поделился с читателями своей методикой. Из рисунка видно, что крепость занимает территорию на правом берегу Оми в районе современной площади Ленина (рис. 1*а*), которую в 1960–1970-х гг. серьезно перепланировали. Полнее понять реконструкцию В. И. Кочедамова помогает работа архитектора М. М. Хахаева [*Антология...*, 2013: 94], где контуры Крепости ограничивают примерно ту же площадь (рис. 1*б*).

Можно предположить, что основой для реконструкции В. И. Кочедамова стал план Крепости 1755 г. [*Палашенков*, 1960б: вкл.]. На этом рисунке показаны первые надпойменные террасы правого берега Иртыша и правого берега Оми (рис. 2). В месте слияния террас и располагалась Крепость. Интересно, что совпадает угол, образованный террасами. Видимо, базовой стороной В. И. Кочедамов выбрал северную сторону Крепости, расположив ее на современной карте так же, как на плане 1755 г. – вдоль террасы Оми, соотнес расположение северо-западного угла крепости на обоих картах с мостом через Омь (современное название моста – Юбилейный) и относительно этих двух реперов наложил контур Крепости 1755 г. на современную карту. М. М. Хахаев воспроизвел эту же ситуацию, но вместо плана он поместил контуры крепости на «объемный рисунок».

Казалось бы, с реконструкцией архитекторов можно согласиться, но они не учли тот факт, что терраса правого берега Иртыша проходит не там, где они провели западную стену Крепости (по плану 1755 г. она идет вдоль террасы правого берега Иртыша). У уважаемых специалистов получилось так, что Крепость восточной и северной частями стоит на коренной террасе, а западной частью спускается в пойму, иными словами, стоит на склоне. Вряд ли мог поручик Каландер, швед по национальности, попавший в русский плен в ходе русско-шведской войны, так несуразно заложить крепость. Скорее всего, что на плане 1755 г. была неправильно показана конфигурация террас, и угол, образованный ими, был ближе к прямому.

Для изучения этого обстоятельства мы рассмотрели карту Омска 1940 г. (рис. 3*а*) и карту Омска 2015 г. (рис. 3*б*), приведя их в один масштаб в редакторе CorelDRAW. Реперными точками стали: 1 – место переправы через Иртыш – паромная переправа через Иртыш (1940) и Ленинградский мост на ее месте (2015); 2 – мост через Омь (1940) и Юбилейный мост на его месте (2015); 3 – второй мост через Омь – мост через Омь на улице Березовского (1940) и Фрунзенский мост примерно в этом же районе (2015); 4 – дворец генерал-губернатора – краеведческий музей (1940) и ОГИК музей (2015). Масштабирование было проверено по линии железной дороги и расположенному на ней зданию железнодорожного вокзала. В целом все точки совпали. При трассировании следов террасы Иртыша на обеих картах стало очевидно, что терраса Иртыша и проспект Карла Маркса примерно параллельны. То есть конфигурация террасы на карте 1755 года показана неверно.

Если исходить из того, что западная сторона Крепости располагалась вдоль террасы, то следует признать, что А. Ф. Палашенков описал место расположения крепости верно: «Крепость была заложена на выступе левого коренного берега Оми, метрах в 200 от устья. <…> Границы проходили примерно в следующем направлении: юго-западная крепостная линия шла до пересечения теперешних улиц Рабфаковской с Почтовой по кромке четко обрисовывшегося тогда взгорья; южная линия начиналась на территории от улицы Рабфаковской и шла между улицей Лермонтовской и Почтовой до стыка улиц Лермонтовской со Стачечной. Отсюда делала поворот на северо-восток, но не доходя Пушкинской, снова круто поворачивала к Оми и шла параллельно названной улице, пересекая улицу им. 10-летия Октября между областной библиотекой и Облпрофсоветом» [*Палашенков*: 1960а: 12].

В ходе земляных работ в районе западной стены Крепости в 1948–1958 гг. были обнаружены следы рва (в двух местах), пушечные дула XVIII в. от стоявшей у моста батареи, часть первого крепостного кладбища [там же: 18–19], что подтверждает сведения А. Ф. Палашенкова (рис. 3*а*, *б*, *5* – область находок, относящихся к Крепости).

В 2013–2014 гг. Н. В. Беликова в мемориальном сквере к западу от пр. Карла Маркса, примерно в створе бывшей Рабфаковской улицы, заложила несколько шурфов. В двух из них найдены материалы, которые возможно соотнести с остатками Крепости.

а

б

Рис. 1. Контуры первой Омской крепости, нанесенные на карту современного Омска архитекторами В. И. Кочедамовым (*а*) [1960: 8] и М. М. Хахаевым (*б*) [*Антология*..., 2013: 94]

Рис. 2. План первой Омской крепости 1755 г. [*Палашенков*, 1960б: вкл.]

Рис. 3. Месторасположение объектов первой Омской крепости и г. Омска
на картах 1940 *(а)* и 2015 гг. *(б)*: *1* – место переправы через Иртыш – паромная переправа через Иртыш (1940) и Ленинградский мост на ее месте (2015); *2* – мост через Омь (1940) и Юбилейный мост на его месте (2015); *3* – второй мост через Омь – мост через Омь на улице Березовского (1940) и Фрунзенский мост примерно в этом же районе (2015); *4* – дворец генерал-губернатора – краеведческий музей (1940) и ОГИК музей (2015); *5* – область находок, относящихся к Крепости

Для подтверждения или опровержения этого предположения требуются дальнейшие исследования.

Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVI – XVIII веке (по материалам археологических исследований). – Омск : Издатель-Полиграфист, 2014. – 374 с.

Антология омского краеведения. Т. 1. Избр. тр. А. Ф. Палашенкова. – Омск : ОГИК музей, 2013. – 742 с.

Кочедамов В. И. Как рос и строился город. – Омск : Ом. кн. изд-во, 1960. – 111 с.

Миллер Г. Ф. Описание городов, крепостей, острогов, слобод, сел, деревень, островов, рек, речек, озер и других достопримечательностей на реке Иртыш и возле него вверх от города Тобольска // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. – Новосибирск, 1966. – С. 75–99. – (История Сибири. Первоисточники ; вып. VI).

Палашенков А. Ф. Материалы к археологической карте Омска // Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – Вып. 3 (10). – Омск, 1960а. – С. 3–23.

Палашенков А. Ф. Планы Омской крепости 1722 и 1755 гг. // Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – Вып. 3 (10). – Омск, 1960б. – С. 25–29.

Тара в XVI–XIX веках – российская крепость на берегу Иртыша. – Омск : Амфора, 2014. – 332 с.

Хорографическая чертежная книга Сибири С. У. Ремезова : в 2 т. Т. 1. Факсимильное издание рукописи Houghton Library of the Harvard College Library Harvard University. – Тобольск : [б. и.], 2011. – 350 с.

Черная М. П. Методико-источниковедческие подходы к решению проблемы локализации исторических объектов // Вестн. ТГУ. История. – 2013. – № 3 (23). – С. 81–90.

Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: природная среда, этносы, источники. – Омск : Изд. дом «Наука», 2014. – 192 с. – (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума ; т. 13).

Н. А. Томилов

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН, государственный университет им. Ф. М. Достоевского

ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ КАК ОТРАСЛЬ ЗНАНИЯ В ОМСКИХ НАУЧНЫХ СЕРИЯХ

The article dwells upon the topicality of ethno-archaeological knowledge. Some data on the series of scholarly works “Integration of archaeologic and ethnographic research” and “Ethnographo-archaeological complexes: problems of culture and society” is presented. Viewpoints on ethnoarcheology as a scientific phenomenon are analyzed.

Исследования на стыке археологии и этнографии в XX – начале XXI в., особенно в последние четыре десятилетия, ввели в научный оборот относительно большой объем фактических данных и привели к новым методолого-теоретическим обобщениям, выводам, к разработке источниковедческих и методических аспектов археолого-этнографических работ. Это позволило ряду ученых за рубежом, а затем и в России заявить о формировании нового направления исследования на стыке археологии и этнографии. Оно получило название этноархеологии и стало широко распространяться начиная с 1960-х гг.

Потребность в этноархеологических знаниях возникла тогда, когда использование прямых и косвенных аналогий для археологов в этнографии и поиски этнографами следов традиционных культур предков современных народов в археологических материалах зашли как бы в тупик. Специалисты двух наук стали осознавать ограниченность таких «прямых» обращений археологов к этнографии, а этнографов к археологии.

© Томилов Н. А., 2015

Эти обращения существенно не увеличивали объем информации в области этнической истории – формирования (этногенеза) и последующего развития этносов (этнодинамика) и, шире, историко-культурных общностей вплоть до этнораспада (гибели или трансформации в другое этническое образование).

Но казалось, что и для изучения истории социальных образований (институтов), социальных структур и отношений то, что часто именуется социогенезом, а также поиски археолого-этнографических аналогий путем сравнительно-исторического метода, метода классификации и даже метода типологии как бы исчерпали себя.

То же самое виделось и в изучении процессов культурогенеза – становления и дальнейшего функционирования отдельных явлений культуры и традиционных систем культуры. И хотя результативность связи археологии и этнографии как смежных наук в изучении культур традиционных обществ была явно выше, чем в исследованиях социогенеза и социодинамики, все же и здесь выявлялась недостаточность простого сосуществования двух наук.

Таким образом, к середине XX в. возникло понимание того, что перевод по отдельности археологических и этнографических источников в область исторических знаний стал как бы недостаточным для нового информационного взрыва в исследовании истории населения первобытной эпохи и последующих исторических эпох вплоть до новейшего времени (особенно в тех случаях, когда речь идет о так называемых бесписьменных народах). Тогда некоторые археологи стали заниматься поисками путей внедрения этнографических знаний и методов в археологию, в том числе изучением процессов изготовления орудий труда, предметов быта, жилищ и т. д. А отдельные этнографы решили овладеть смежной археологической наукой и самим проводить археологические раскопки и археолого-этнографические исследования. В советской науке благодаря во многом идеям и деятельности тогдашнего директора Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР С. П. Толстова (но не только его) были предприняты широкомасштабные меры, приведшие к многолетним работам Тувинской и Хорезмской комплексных археолого-этнографических экспедиций.

В 1960–1980-е гг. ученые стали понимать, что просто консолидация усилий археологов и этнографов в изучении исторической действительности, включая прежде всего социокультурную действительность (действительность вообще – это действительное бытие сущего), хотя и приносит новые результаты, но все же недостаточно эффективна в этом деле. Тогда-то и появилась идея интеграции археологических и этнографических исследований, которая, в отличие от консолидации ученых двух наук, требовала новых исследовательских программ.

Объем взаимодействия и взаимопроникновения археологии и этнографии в деле реконструкции и конструирования социокультурных комплексов археологического прошлого и их отдельных составляющих, в деле изучения этих комплексов и процессов их формирования и функционирования оказался очень большим. Поэтому встал вопрос о качественно новом сближении этих наук на уровне интеграции и появлении нового этноархеологического научного направления.

В начале 1993 г. в открытом за год до этого Омском филиале Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН (ОИИФФ СО РАН) несколько молодых ученых подняли вопрос о необходимости стыковки археологических и этнографических работ при изучении истории и культуры народов южной части Западной Сибири. 15 марта 1993 г. в филиале состоялось научное совещание археологов и этнографов на тему «Интеграция археологических и этнографических исследований в Западной Сибири». На совещании было высказано единодушное мнение о необходимости организации в филиале научно-поисковой группы по проведению фундаментальных исследований многокомпонентных социокультурных этнографо-археологических комплексов. На другой день по Омскому филиалу ОИИФФ СО РАН был издан приказ о начале работ по теме «Этнографо-археологический комплекс» и о формировании группы для ее выполнения. Она и развернула совместные археолого-этнографические работы по изучению археологических памятников и этнографии тарских татар (одна из этнических групп сибирских татар) XVII–XX вв. С 1994 г. были начаты такого рода исследования по истории и культуре русских бассейна Нижней Тары [*Томилов*, 1996б: 12–19; 2004: 28–33].

С целью проведения широкого обмена мнениями по данной проблеме с коллегами разных научных центров страны был организован ежегодный всероссийский (с 1998 г. – международный) научный семинар (с 2007 г. – симпозиум) «Интеграция археологических и этнографических исследований» [*Дьякова* и др., 2014: 142–153; *Томилов*, 1999а: 3–10; 2008: 35–60]. В 1996 г. омские археологи и этнографы выпустили в свет через Сибирскую издательскую фирму РАН «Наука» первый том серии

«Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума» (всего выпущено 13 томов). Основная цель издания именно такой серии заключается, по нашему мнению, в том, чтобы стимулировать формирование и развитие этноархеологии в России [*Томилов*, 1996а: 7–9; 2006: 7–8].

Сегодня Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского и Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН (преемник с 2006 г. Омского филиала ОИИФФ СО РАН) продолжают издавать эти две научные серии – «Интеграция археологических и этнографических исследований» (сборник научных статей с материалами вышеназванного международного симпозиума) и «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума». Есть еще серийные научные издания омских учреждений по тематике археологии, этнографии и отчасти этноархеологии [*Корусенко, Томилов, Томилова,* 2010: 61–66], в том числе и общероссийский журнал «Культурологические исследования в Сибири» [*Tomilov, Tomilova,* 2009: 142–148]. В настоящей нашей статье приводится краткий обзор тех теоретических положений, которые охватывают лишь вопросы об этноархеологии как научном направлении в статьях двух вышеназванных серий.

Следует заметить, что широкой и стабильно существующей дискуссии по вопросу об этноархеологии как самостоятельной отрасли знаний в омских научных сериях не было организовано. Тем не менее ряд ученых высказывались по данной теме. Можно условно выделить два этапа этой дискуссии. Первый охватывает период 1994–2002 гг., когда были обозначены несколько подходов к этому направлению науки. Следующий этап приходится на срок с 2003 г. по настоящее время, когда эпизодически отдельные ученые в своих статьях возвращались к оценкам этноархеологии в отечественной науке.

Итоги обсуждения данной темы на первом этапе были подведены в книге А. В. Жука, С. С. Тихонова и Н. А. Томилова «Введение в этноархеологию» [2003а] и отчасти в статьях Н. А. Томилова [1996в: 10–25; 1998: 11–23; 1999б: 25–30; 1999: 75–84; 2000: 26–29; 2002: 9–19; и др.]. В омских научных сериях были помещены статьи по теоретико-методологическим аспектам этноархеологии целой группы ученых – В. В. Боброва [1997: 20–22; 1999: 29–31], И. Г. Глушкова [1994: 107–109], А. В. Жука [1999: 9–17], А. М. Илюшина [2001: 26–27], А. В. Кенига [1995: 21–23; 1996: 10–12; 1997: 64–69; 2003: 109–113], Л. С. Клейна [1998а: 29–66; 1998б: 97–120], П. А. Корчагина и А. Ф. Мельничука [1997: 77–79], П. А. Косинцева [1998: 127–129], Б. В. Мельникова [1996: 25–29], О. В. Мельниковой [1998: 15–17; 2003: 121–123], А. М. Решетова [1996: 85–89; 2003: 105–108], Е. В. Смынтыны [2001: 37–39], С. П. Сторожевой [1997: 134–137], С. С. Тихонова [2001: 40–42], Н. А. Томилова, Ю. П. Холюшкина [1997: 170–171], В. А. Шнирельмана [2002: 19–38]. Ниже приведем только основные концептуальные подходы к этноархеологическому направлению.

В 1960–1970-е гг. в англо-американской археологии этноархеология стала развиваться как направление, связанное прежде всего с методикой современной археологии. Этноархеологию стали определять как «археологию действия», «живую археологию», акцентируя внимание на анализе механизмов археологизации «живой культуры». Цель основного метода этноархеологии в западной науке была определена как достижение умения проводить более объемные или даже почти полные реконструкции социокультурных явлений. А основной задачей здесь стало изучение закономерностей и механизмов превращения «живой» культуры в «мертвую», иначе сказать, этнографической культуры в археологическую. Познание этих закономерностей и механизмов резко увеличивало возможности обратного действия – воссоздавать на археологических материалах «живой» социокультурный облик древнего населения.

И. Г. Глушков писал, что возникшая в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в англо-американской археологии этноархеология базировалась «...на целенаправленном изучении живой культуры для целей археологической реконструкции» [*Глушков*, 1995: 1]. Складывается впечатление, что этот известный уже сибирский ученый-археолог был склонен придерживаться такого же понимания этого научного направления. И уже совсем конкретно только с методической стороны определяет этноархеологию А. В. Кениг, когда под этим научным направлением предлагает «...понимать метод экспериментального моделирования, проводимый на “живой” этнографической культуре» [*Кениг*, 1995: 23].

Из отечественных этнографов на эту тему более подробно высказывается В. А. Шнирельман. Освещая развитие зарубежной этноархеологии 1970-х гг., он в целом справедливо, на наш взгляд, еще в 1984 г. обратил внимание на то, что западные этноархеологи на том этапе не смогли «...найти необходимый “баланс” между организующей ролью теории и корректирующей ролью методики». И далее он стремится более точно определить суть работы этноархеологов, «...которые ищут пути совершенствования процедуры исторических реконструкций, стремясь глубже понять органичность

связи между культурными остатками и функционирующими культурными системами» [*Шнирельман*, 1984: 112–113].

В. А. Шнирельману принадлежит и определение этноархеологии. Оно выстроено следующим образом: «ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ (Ethnoarcheologie, Ethnoarchaeology, Ethnoarcheologie; синонимы – археологическая этнография, археология действия, живая археология) – направление исследования, появившееся на стыке археологии и этнографии и широко распространившееся в 60–70-е гг. Объектом исследования Э. служит материальная культура современных народов, а предметом – специфика отражения в ней особенностей поведения людей и их социальных взаимоотношений» [*Шнирельман*, 1988: 95].

В оценках В. А. Шнирельмана в связи с определением этноархеологии важны два момента. Во-первых, этноархеология определяется как научно-исследовательское направление, которое не только сложилось на стыке археологии и этнографии, но и существует как субдисциплина в археологии и этнографии.

Второй момент – это достаточно широкая проблематика, разнообразные виды и методы работы в этноархеологии. Налицо стремление этноархеологического направления к новым научным поискам, к расширению своей проблематики и к разработке новых методов исследования.

Вот что по этому вопросу писала в 1998 г. исследовательница из Ижевска О. М. Мельникова: «…целостное восприятие этноархеологии как научной дисциплины сформировалось у специалистов, чьи исследования изначально строятся на понимании объекта этноархеологии как социокультурной системы, реконструируемой путем интеграции археологических и этногеографических знаний [*Томилов* Н. А., 1997]. По всей видимости, этноархеология трансформируется из метода исследования (как способа познания материальной культуры через традиционные методики источниковедческого анализа археологии и этнографии) к исследовательскому направлению с широкой предметной сферой – от древней ископаемой материальной культуры до современной материальной культуры (археологии самих себя), от него – к самостоятельной дисциплине, генетически связанной с археологией, этнографией посредством источника, а в широком смысле с историей в целом – со всеми структурными компонентами научной дисциплины – объектом, предметом науки, познавательными установками, теорией, методами исследования, понятийным аппаратом и т. п.» [*Мельникова*, 1998: 17].

Определение этноархеологии видится автором данной статьи следующим образом:

ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ – научное направление (или даже отдельная формирующаяся наука), возникшее и развивающееся в результате интеграции археологии и этнографии в XX в., призванное решать круг проблем по генезису и динамике общества и культуры человечества, а также их элементов разных хронологических периодов на основе сопряжения археологического и этнографического видения этих проблем.

И более краткая дефиниция этого направления: ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ – отрасль научного знания о культуре и обществе, интегрирующая их археологическое и этнографическое познания.

Объект этноархеологии составляют, исходя из предложенного выше ее предназначения, социокультурные системы с их сложной структурой и связями, конструируемыми или реконструируемыми путем интеграции археологического и этнографического познаний.

Предмет этноархеологии в общем виде составляют свойства социокультурных явлений отражать историческую действительность и исторические процессы, а также свойства сопряжения этих явлений в одну систему, которые позволяют конструировать или реконструировать социокультурные системы прошлого, их внутренние функциональные связи и взаимоотношения с другими системами.

На втором этапе освещения теоретических вопросов по этноархеологии как отрасли знания в омских научных сериях выступлений ученых было немного – это статьи М. Л. Бережновой [2003: 36–39], М. А. Корусенко и С. С. Тихонова [2013: 106–111], Л. В. Татауровой [2010: 60–64], Н. А. Томилова [2003: 10–16], И. А. Шутелевой [2003: 90–91]. Отметим и тот факт, что в серии «Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума» в 2009 г. было переиздано учебное пособие А. В. Жука, С. С. Тихонова, Н. А. Томилова «Введение в этноархеологию» [2009: 79–134].

В 2003–2013 гг. на страницах более всего обсуждалась проблема создания и оценки этноархеологического источника, а соответственно, этому и вопрос о возможностях и трудностях соединения информаций из археологических и этнографических источников. Так, М. Л. Бережнова проанализировала практику сбора и осмысления материалов в археологии и этнографии по трем позициям:

1) объектно-предметная сфера археологии и этнографии и используемые методики; 2) задачи исследований этих наук в их современной интерпретации; 3) зависимость результатов исследований в этих науках от личности исследователя [*Бережнова*, 2003: 36]. В целом она считает, что археологические и этнографические источники часто… не совпадают по цели, которую ставил перед собой собиратель» [там же: 37].

Л. В. Татаурова проанализировала состав и структуру археологического и этнографического источников, методы их сбора и интерпретации. Выводом стало ее определение: «Этноархологический источник – это археологический артефакт (или комплекс артефактов), возвращенный с научными целями на какое-то время в этнокультурную среду, где он не является чуждым элементом, а его назначение, применение и технология изготовления могут быть объяснены с точки зрения содержания, формы, этнокультурной идеологии» [*Татаурова*, 2010: 61].

В плане выделения и характеристики исследовательских направлений в этноархеологии позитивной представляется работа И. А. Шутелевой о процессуальной археологии, использующей данные этнографии. Она определяет ее как «…одно из наиболее важных, но не единственных направлений, которое активно использует археолого-этнографические построения в реконструктивных целях» [*Шутелева*, 2003: 91].

М. А. Корусенко и С. С. Тихонов в работе «Современная российская этноархеология» привели сведения о существующих разноплановых пониманиях этноархеологии и как особо самостоятельного направления, и как субдисциплин археологии и этнографии. Но главным образом они определили и кратко охарактеризовали четыре направления исследований в этноархеологии: 1) сопоставление данных археологии и этнографии; 2) археологические реконструкции как метод этноархеологии; 3) экспериментальная археология; 4) моделирование и изучение этнографо-археологических комплексов. Также они рассмотрели перспективы развития этноархеологии в России [*Корусенко*, *Тихонов*, 2013: 106–110].

Относительно изучения истории этноархеологических исследований в России авторы вышеназванной статьи считают, что она еще не написана и создавать ее нужно, изучая историю вышеприведенных четырех исследовательских направлений. Отметим все же, что отчасти такая работа проводится, свидетельством чему является статья, написанная А. В. Жуком и мною под названием «Этноархеологическое направление отечественной науки: периодизация процесса развития» [*Жук, Томилов*, 2011: 321–324; см. также: *Жук, Тихонов, Томилов*, 2003б: 32–48].

Пониманию назначения этноархеологии в статье «Оружие: этнический или социальный маркер? (Этноархеологический этюд)» дал интерпретацию В. А. Шнирельман. Он пишет: «Одним из перспективных путей совершенствования методов интеграции археологических данных является этноархеология. Ее суть состоит в изучении живых социальных систем с целью выявления того, как социальные факты соотносятся с материальными, могут ли последние, а если могут, то как и в какой мере, служить для их адекватного понимания. Иными словами, речь идет об археологическом подходе к изучению живых обществ с тем, чтобы выявить существенные взаимосвязи и взаимозависимости, существующие между материальной культурой и всеми другими сферами человеческой деятельности и культуры» [*Шнирельман*, 2012: 64].

Представляется все же, что речь здесь нужно вести не только о материальной культуре, но и о природно-средовой и отчасти духовной культуре, т. е. о тех явлениях этих трех сфер, которые могут быть представлены в археологическом пространстве в вещевом виде.

Весь вышедший в свет в 2014 г. 13-й том серии «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума» заняла монография, вернее, ее первый том «Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: природная среда, этносы, источники» (авторский коллектив тома: М. Л. Бережнова, С. Н. Корусенко, А. В. Матвеев, С. Ф. Татауров, Л. В. Татаурова, К. Н. Тихомиров, С. С. Тихонов, Н. А. Томилов) [2014]. Во введении, написанном С. С. Тихоновым, и в первой главе (автор Н. А. Томилов) «Этнографо-археологические комплексы: подходы и поиски путей реализации» содержатся интерпретации омскими учеными понятия и содержания этноархеологии как особого научного направления.

Но об этом речь уже шла выше. А в целом, как нам представляется, накопленные результаты исследований теоретико-методологических, историографических, источниковедческих и методических тем в сфере этноархеологии позволяют приступить к написанию книги о российской этноархеологии.

Бережнова М. Л. Этноархеология: сумма наук или интеграция? // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2003. – С. 36–39.

Бобров В. В. Социальные реконструкции в археологии – этноархеология и этнография (проблема интеграции) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Уфа, 1997. – С. 20–22.

Бобров В. В. Социальные реконструкции в археологии – этноархеология и этнография (проблема интеграции) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1999. – Т. 4. – 29–31.

Глушков И. Г. Этноархеология как область экспериментальной археологии // Археологические микрорайоны Западной Сибири. – Омск, 1994. – Ч. 2. – С. 107–109.

Глушков И. Г. Керамика как археологический источник (методика технологической диагностики лепной посуды) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1995. – 37 с.

Дьякова О. В. XX Международный научный симпозиум «Интеграция археологических и этнографических исследований» / О. В. Дьякова, А. М. Илюшин, М. А. Корусенко, Ю. И. Ожередов, С. С. Тихонов, А. А. Тишкин, Н. А. Томилов // Культурологические исследования в Сибири. – 2014. – № 1. – С. 142–153.

Жук А. В. Ранние опыты интеграции археологических и этнографических исследований в России // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1999. – Т. 4. – С. 9–17.

Жук А. В. Введение в этноархеологию : учеб. пособие для студ. ист. фак. высш. учеб. заведений / А. В. Жук, С. С. Тихонов, Н. А. Томилов / отв. ред. В. И. Молодин. – Омск : Наука, 2003а. – 72 с.

Жук А. В. Материалы к истории археолого-этнографических исследований в Сибири в XX в. / А. В. Жук, С. С. Тихонов, Н. А. Томилов // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2003б. – Т. 6. – С. 32–48.

Жук А. В. Введение в этноархеологию : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Жук, С. С. Тихонов, Н. А. Томилов // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Омск, 2009. – Т. 11. – С. 79–124.

Жук А. В. Этноархеологическое направление отечественной науки: периодизация процесса развития / А. В. Жук, Н. А. Томилов // Этническая история и культура тюркских народов Евразии. – Омск, 2011. – С. 321–324.

Илюшин А. М. К вопросу о предмете этноархеологии // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Нальчик ; Омск, 2001. – С. 26–27.

Кениг А. В. Этноархеология как метод реконструкции образа жизни // Интеграция археологических исследований. – Омск, 1995. – Ч. 1. – С. 21–23.

Кениг А. В. К проблеме содержания термина «этноархеология» // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Новосибирск ; Омск, 1996. – Ч. I. – С. 10–12.

Кениг А. В. Из истории становления англо-американской этноархеологии // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Уфа, 1997. – С. 64–69.

Кениг А. В. Из истории становления англо-американской этноархеологии // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2003. – Т. 6. – С. 109–113.

Клейн Л. С. Археология и этнография: проблемы сопоставлений // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1998а. – Т. 3. – С. 29–66.

Клейн Л. С. Археология и этнография: проблема сопоставлений // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Санкт-Петербург, 1998б. – Ч. I. – С. 97–120.

Корусенко М. А. Научные журналы и серии по археологии, этнографии, этноархеологии и культурологии в Омске / М. А. Корусенко, Н. А. Томилов, В. С. Томилова // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Казань ; Омск, 2010. – С. 61–66.

Корусенко М. А. Современная российская этноархеология / М. А. Корусенко, С. С. Тихонов // Интеграция археологичеких и этнографических исследований. – Иркутск ; Омск, 2013. – Т. 1. – С. 106–111.

Корчагин П. А. Этноархеолоия или археология нового времени / П. А. Корчагин, А. Ф. Мельничук // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Уфа, 1997. – С. 77–79.

Косинцев П. А. Этнозоология, этноархеология, археозоология и археология // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Санкт-Петербург, 1998. – Ч. I. – С. 127–129.

Мельников Б. В. Из опыта археолого-этнографических исследований Омского университета в Западной Сибири (1987–1991 гг.) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Т. 1. Культура тарских татар. – Новосибирск, 1996. – С. 25–29.

Мельникова О. М. Заметки о содержании этноархеологии // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Санкт- Петербург, 1998. – Ч. II. – С. 15–17.

Мельникова О. М. Заметки о содержании этноархеологии // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2003. – Т. 6. – С. 121–123.

Решетов А. М. Проблема интеграции этнографических и археологических исследований в свете истории наук // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Новосибирск ; Омск, 1996. – Ч. I. – С. 85–89.

Решетов А. М. Проблема интеграции этнографических и археологических исследований в свете истории науки // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2003. – Т. 6. – С. 105–108.

Смынтына Е. В. Представления о пространстве в англоязычной этноархеологии // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Нальчик ; Омск, 2001. – С. 37–39.

Сторожева С. П. Этнографическое направление в “Journal of Anthropological” // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Уфа, 1997. – С. 134–137.

Татаурова Л. В. Этноархеологический источник // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2010. – С. 60–64.

Тихонов С. С. Некоторые проблемы интеграции научных дисциплин // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Нальчик ; Омск, 2001. – С. 40–42.

Томилов Н. А. О серии «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума» // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1996а. – Т. 1. – С. 7–9.

Томилов Н. А. О становлении омского этноархеологического направления // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Новосибирск ; Омск, 1996б. – Ч. 1. – С. 12–19.

Томилов Н. А. Этноархеология и этнографо-археологический комплекс // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1996в. – Т. 1. – С. 10–25.

Томилов Н. А. Проблемы этноархеологии и этноархеологических исследований омских ученых // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1998. – Т. 3. – С. 11–23.

Томилов Н. А. О российском международном научном семинаре «Интеграция археологических и этнографических исследований» (1993–1998 гг.) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Москва ; Омск, 1999а. – С. 3–10.

Томилов Н. А. Этноархеология как научное направление // Интеграция археологических и этнографических исследований. – М. ; Омск, 1999б. – С. 25–30.

Томилов Н. А. Этноархеология как научное направление // ЭО. – 1999в. – № 6. – С. 75–84.

Томилов Н. А. Об этноархеологии как научном направлении российской науки // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Владивосток ; Омск, 2000. – С. 26–29.

Томилов Н. А. Этноархеология: понятие, объектно-предметная и проблемная сферы // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2002. – Т. 5. – С. 9–19.

Томилов Н. А. Археолого-этнографическое направление в российской науке конца XVII–XX в. // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2003. – Т. 6. – С. 10–16.

Томилов Н. А. Этноархеология в омском научном центре России // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Алматы ; Омск, 2004. – С. 28–33.

Томилов Н. А. О серии «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума» // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Омск, 2006. – Т. 9. – С. 7–8.

Томилов Н. А. Международный научный симпозиум (семинар) «Интеграция археологических и этнографических исследований» (к 15-летию со дня основания) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Новосибирск ; Омск, 2008. – С. 35–60.

Холюшкин Ю. П. Этноархеология и этническая история в сети Internet // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск ; Уфа, 1997. – С. 170–171.

Шнирельман В. А. Этноархеология – 70-е годы // СЭ. – 1984. – № 2. – С. 100–113.

Шнирельман В. А. Этноархеология // Этнография и смежные дисциплины, этнографические субдисциплины, школы и направления. Методы. – М., 1988. – С. 95.

Шнирельман В. А. Археологическая культура и социальная реальность (проблема интерпретации керамических ареалов) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2002. – Т. 5. – С. 19–38.

Шнирельман В. А. Оружие: этнический или социальный маркер? (Этноархеологический этюд) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2012. – Т. 12. – С. 63–67.

Шутелева И. А. Подходы к этноархеологии в исследованиях процессуалистов // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2003. – С. 90–91.

Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: природная среда, этносы, источники / М. Л. Бережнова, С. Н. Корусенко, А. В. Матвеев, С. Ф. Татауров, Л. В. Татаурова, К. Н. Тихомиров, С. С. Тихонов, Н. А. Томилов. – Омск : Изд. дом «Наука», 2014. – 192 с. – (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума ; т. 13).

Tomilov N. The journal "Cultural Research in Siberia" and its place in the study of history and culture (on the 10th anniversary of its founding) / N. Tomilov, B. Tomilova // Experiment. – Los Angeles, California, USA. – 2009. – Vol. 15. – P. 142–148.

О. А. Шубина

Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинский областной краеведческий музей

АЙНСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ НА САХАЛИНЕ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

Remains of the Ainu burials represent the smallest, insufficiently studied and vulnerable group of archaeological sites identified to date in Sakhalin. Archaeological researches integrated with ethnological data provide important details of Ainu funeral rites, burial items and cultural relations with peoples of the adjacent territories.

Среди большого количества (свыше 2000) выявленных к настоящему времени на острове Сахалин археологических памятников остатки погребений составляют самую малочисленную и наименее изученную группу. Погребений, связанных с неолитическим населением Сахалина, к настоящему времени не обнаружено. Крайне малочисленной является информация о захоронениях периода палеометалла. Этнографические данные свидетельствуют о том, что жители средней и северной части острова – ороки (уйльта) и нивхи – традиционно практиковали воздушный тип захоронения и трупосожжение, соответственно, вплоть до XIX – начала XX в., что ограничивает возможности изучения погребального обряда этих этносов методами археологии. У жителей юга острова – айнов, заселивших Сахалин, как считается, в X–XIII вв. н. э. [*Василевский*, 1992: 119–124], был распространен обряд ингумации – погребения в земле. Он довольно полно описан исследователями, посещавшими остров в XIX – первой половине XX в. [*Добротворский*, 1875: 87; *Поляков*, 1895: 239, 265; *Каталог...*, 1898: 183–185; *Жеребцов*, 2012: 142–157 и др.]. Вместе с тем многие детали обряда, погребальный инвентарь, а также особенности захоронений раннего этапа культуры сахалинских айнов могут быть изучены лишь в ходе тщательного археологического исследования.

С сожалением следует отметить, что грунтовые погребения представляют собой наиболее уязвимую часть археологического наследия Сахалина. Айнские грунтовые захоронения и могильники не имеют выраженных внешних признаков, они, как правило, находились в непосредственной близости к селениям и не имели определенной устоявшейся топографии, с помощью которой был бы возможен их целенаправленный поиск. Селения айнов располагались преимущественно в приустьевой части рек южной части острова. Эти места в наибольшей степени подвержены влиянию современной хозяйственной деятельности; в настоящее время, в большинстве случаев, они заняты постройками населенных пунктов, дачными участками, рыболовецкими станами, по этим местам проложены дороги. Обнаружение грунтовых погребений, как правило, является делом случая: большинство таких находок происходит в ходе строительных или иных хозяйственных работ и зачастую приводит к серьезному повреждению или уничтожению этих уникальных объектов. Информация о погребениях, полученная вне археологических раскопок, бывает существенно усечена или безвозвратно утрачена.

© Шубина О. А., 2015

Сопоставление данных письменных и документальных источников XVII–XIX вв., топонимики, картографического материала, этнографических данных, музейных коллекций и итогов археологических разведок позволяет определить круг целенаправленного поиска потенциально перспективных мест, где могут быть найдены и исследованы археологическими методами селения и могильники сахалинских айнов.

В середине XIX в. на острове было зафиксировано 95 айнских селений, в них 350 «юрт» с общим числом жителей 2479 человек [*Рудановский*, 1866: 99], к середине XX в. количество селений сократилось до 12 с общим числом жителей 1159 человек [*Жеребцов*, 2012: 39]. Около 300 археологических памятников острова содержат материал, характеризующий культуру айнов на разных этапах ее развития, и всего лишь чуть более 20 местонахождений были идентифицированы как места захоронений, где обнаружены предметы типично айнского погребального инвентаря и найдены костные остатки. К таковым относятся находки в Кузнецово, Невельске, Калинино, Холмске, Парусном, Белинском, Новоенисейском, Старомаячном, Соловьевке, Корсакове, Южной, Свободном, Лесном, на мысе Рорей, в Стародубском, в Ай-Кирпичном, Взморье, Мануе, на озерах Айнское и Невское, на реках Найба и Богатая. Эти объекты расположены на побережьях южной и средней частей Сахалина. Большинство известных захоронений, судя по сохранности органического материала и набору погребального инвентаря, относится к XIX – первой половине XX в.

Осмотр айнских могил, поверхностные сборы и археологические раскопки производились японскими исследователями в 1930-е гг. на ряде могильников, где было обследовано несколько десятков захоронений [*Этнологические исследовательские путевые заметки*...], однако полученная в то время информация до сих пор является крайне разрозненной и труднодоступной. В послевоенное время лишь на пяти археологических памятниках были проведены спасательные раскопки: в с. Парусном в 1955 г., в г. Невельске в 1979 г., в урочищах Свободное и Кузнецово в 1979–1985 гг., в окрестностях с. Лесного в 1988 г. Результаты исследований опубликованы лишь частично [*Грибанова*, 1998; *Шубин*, 1982; *Голубев*, 1986а; 1986б]. Попытки обобщения и интерпретации имеющихся данных также малочисленны [*Шубин*, 1988: 104–129; *Осипова*, 2008: 114–144].

Археологические свидетельства в значительной степени подтверждают и во многом дополняют данные этнографических наблюдений исследователей XIX в., касающихся погребального обряда сахалинских айнов. И. С. Поляков, изучавший айнов в 1881–1882 гг. и заставший их традиционную культуру незадолго до начала интенсивной колонизации острова, так описывал их погребальный обряд: «Взрослого мужчину хоронят при всех принадлежностях его земной жизни, т. е. кладут с ним саблю, если таковая имеется, и трубки с кисетами и табаком. Женщин же кладут в могилу с котелками, ложечками и различной домашней утварью. Вырывая могилу на глубине 1–2 аршин от поверхности земли, айны опускают на дно могилы соломенную циновку, на которую и помещают умершего навзничь, а затем приставляют к покойнику две боковые доски и прикрывают его крышкой такой фигуры, что с боковинами все устройство очень напоминает наш простой деревянный гроб» [*Поляков*, 1895: 239].

Айнское погребение, в полной мере соответствующее этому описанию, было обнаружено в районе с. Лесного. Оно располагалось в могильной яме размером около 1 × 2 м, глубиной 0,5 м, низ которой был выстлан циновкой. Покойник находился в деревянном гробу, который представлял собой подпрямоугольную конструкцию размером 1,5 × 0,57 м в виде рамы из поставленных на ребро и не скрепленных между собой досок, а сверху был также накрыт доской. Из-за высокой влажности почвы органические остатки и кости скелета не сохранились, за исключением небольшого фрагмента черепной коробки и пряди волос. Погребальный инвентарь включал голубые стеклянные бусины, кольцеобразные серьги из серебряной проволоки, остатки кожаного пояса с медными подвесками и нашивками, нож в деревянных ножнах, завернутый в ткань кусочек белого кварца, а также предметы японского производства: медная гарда была обернута в тонкую шелковую ткань, пришита к одежде покойного в области плеча и использовалась в качестве застежки; составная курительная трубка находилась в районе пояса, при погребении она была разломана на две части, причем ее чашечка была завернута в кусок шелковой ткани с золотой нитью, что свидетельствует об особом отношении к этой вещи как большой ценности или семейной реликвии. Данная курительная трубка относится к концу XVII в. и является одной из самых древних трубок, найденных на Сахалине [*Шубина*, 2013: 107]. Рядом с погребенным обнаружены остатки деревянной чашки с черно-красным лаковым покрытием и японская монета 1920 г. выпуска. Ориентация погребения – головой на север, в скорченном положении. Обряд погребения, облик инвентаря и яркие этногра-

фические параллели позволяют интерпретировать его как айнское женское погребение и датировать 1920–1940-ми гг. [*Шубина*, 1989].

В с. Парусном на юго-западном побережье острова были обнаружены остатки трех захоронений, частично разрушенных в ходе строительных работ. Костяки сохранились фрагментарно, все они были ориентированы головой на северо-восток, располагались на спине, в деревянных ящиках без дна. Удалось зафиксировать остатки подстилки из морской травы, волосы, кости скелета. В состав погребального инвентаря одной из могил входили голубые стеклянные бусы, серебряные кольцеобразные серьги, остатки кожаного пояса с металлическими украшениями, курительная трубка, детали монтировки меча – гарда и сэппа японского производства [*Самарин*, 2004: 25]. Часть украшения кожаного пояса представляла собой спекшуюся стопку монет, нанизанных на шнурок, к которому крепились деревянные ножны. Среди них были китайские монеты, отлитые в 1736–1796 и 1821–1850 гг. [*Самарин*, 2013: 36, 39] и японские монеты 1636–1668, 1769 и 1922 гг. выпуска [*Самарин*, 2014: 27]. Последняя монета определяет нижнюю хронологическую границу захоронения. В двух других погребениях сохранились железные изделия (наконечники, лезвие ножа), берестяные ножны, остатки деревянной краснолаковой посуды, медные украшения, мундштук курительной трубки. Судя по сохранности и характеру погребального инвентаря и по расположению могил, все они относятся к одному периоду и могут быть датированы 1920–1940-ми гг.

В ходе охранных археологических раскопок древнего поселения на окраине г. Невельска в культурном слое Охотской культуры (VII–X вв. н. э.) было обнаружено три погребения. Все ориентированы головой на север, при этом в первом погребении костяк находился в вытянутом положении на спине, в двух других – в скорченном положении на правом и левом боку, без видимых следов деревянных конструкций. Погребальный инвентарь сопутствовал всем трем захоронениям и представлен типичным для материальной культуры айнов набором изделий, в числе которых намеренно поврежденные бронзовые курительные трубки, нож, лаковая посуда, железный котел, голубые стеклянные бусы, железная гарда от меча, хранившаяся отдельно и использовавшаяся как украшение.

При раскопках многослойного поселения Кузнецово 1 был обнаружен айнский грунтовый могильник, исследовано девять погребений. В них найдены хорошо сохранившиеся мечи, гарды, трубки, подвески, китайская монета выпуска 1796–1821 гг. и другие изделия. Примечательно, что следов деревянных конструкций не выявлено, а умершие были завернуты в циновку или ткань, что может свидетельствовать о несколько более раннем времени захоронений, чем, например, в Парусном и Лесном.

Археологические коллекции, полученные в ходе раскопок на местах погребений, а также в разрушенном культурном слое айнских поселений и могильников и характеризующие типичный набор погребального инвентаря, хранятся в фондах и экспозиции Сахалинского областного краеведческого музея, учебного археологического музея Сахалинского государственного университета, муниципальных музеях. Они не только несут информацию об особенностях погребального культа сахалинских айнов, но и свидетельствуют о развитых торговых и культурных связях островных жителей с народами сопредельных территорий. В числе других артефактов имеются предметы быта и ритуальные изделия китайского и японского производства, полученные сахалинскими аборигенами в XVII–XIX вв. в ходе меновой торговли [*Шубина*, 2001: 315–328]. Это курительные трубки, разнообразные украшения (литые фигурные, кольцевые и сложносоставные подвески), деревянная краснолаковая посуда, железные котлы *цури мими набэ* на трех ножках и с характерными ушками для подвешивания, мечи *эмусь* и их детали – гарды, сэппы, накладные пластинки-украшения [*Шубина*, 2013]. В айнских могильниках и на местах селений найдены китайские монеты X – середины XIX в. и японские монеты XVII–XIX вв. [*Самарин*, 2013; 2014]. Они не являлись средством денежного обращения, но использовались в качестве украшений и аксессуаров. Многие из этих вещей ценились чрезвычайно высоко, хранились в семьях как фамильные ценности на протяжении долгого времени, нередко определяя имущественный и социальный статус владельца, передавались как родовые реликвии из поколения в поколение и уходили в *Похна котан* – «селение мертвых» вместе с последним хозяином для сопровождения его души в загробный мир, в соответствии с религиозными представлениями айнов.

Задача изучения погребальной обрядности сахалинских айнов включает в себя много аспектов, которые на данном этапе остаются малоизученными или слабо доказанными. Интеграция археологических исследований и данных этнографии приобретает в этой связи особую актуальность.

Василевский А. А. Периодизация айнской культуры на Сахалине // Б. О. Пилсудский – исследователь народов Сахалина. – Южно-Сахалинск, 1992. – Т. 2. – С. 119–124.

Голубев В. А. Археологические источники изучения древней истории Сахалина и Курильских островов // Проблемы археологических исследований на Дальнем Востоке СССР. – Владивосток, 1986а. – С. 20–22.

Голубев В. А. Духовная культура айнов о. Сахалин в свете новых археологических источников / В. А. Голубев, Н. В. Плотников, О. В. Тарасов // XXVII съезд КПСС и задачи музейного строительства в Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 1986б. – С. 14–15.

Грибанова Л. С. Отчет о раскопках айнских погребений в селе Парусное Красногорского района в мае 1955 года // Вестн. Сахалинского музея. – 1998. – № 5. – С. 168–173.

Добротворский М. М. Айнско-русский словарь. – Казань : Тип. Казан. ун-та, 1875. – 488 с.

Жеребцов Б. А. Материальная и духовная культура Сахалинских айнов. – Южно-Сахалинск : СОКМ, 2012. – 196 с.

Каталог Сахалинского музея // Сахалинский календарь на 1897 г. – Пост Александровский, 1898. – С. 175–192.

Осипова М. В. Айны острова Сахалин. Традиции и повседневность. – Хабаровск : Риотип, 2008. – 192 с.

Поляков И. С. На Сахалине // Живописная Россия. – Санкт-Петербург ; Москва, 1895. – Т. XII. – Ч. 2. – Очерк 4. – С. 229–272.

Рудановский Н. В. Обзор местности о. Сахалина // Восточное Поморье. – 1866. – № 23. – С. 99.

Самарин И. А. Гарды : кат. коллекций музеев Сахалинской области. – Южно-Сахалинск : СОКМ, 2004. – 52 с.

Самарин И. А. Китайские монеты *цянь* в истории Сахалина. Эпоха Средневековья и Нового времени. – Южно-Сахалинск : СОКМ, 2013. – 64 с.

Самарин И. А. Японские монеты «Канъэй цухо», обнаруженные на Сахалине // Торговля на Севере в Средневековье и Новое время и японизация Эдзо. – Хиросаки, 2014. – С. 17–33 (на яп. яз.).

Шубин В. О. Раскопки поселения древнего человека Невельск 2 : препринт / В. О. Шубин, М. М. Прокофьев, О. А. Шубина. – Южно-Сахалинск : [б. и.], 1982. – 24 с.

Шубин В. О. Погребальный обряд айнов Южного Сахалина // Айны: проблемы истории и этнографии. – Южно-Сахалинск, 1988. – С. 104–129. – (Этнографические исследования Сахалинского областного краеведческого музея ; вып. 6).

Шубина О. А. Айнское погребение вблизи пос. Лесное на о. Сахалин // Исследования по археологии Сахалина и Курильских островов. – Южно-Сахалинск, 1989. – С. 11–13.

Шубина О. А. Древние поселения и могильник на реке Богатой / О. А. Шубина, И. А. Самарин, С. В. Горбунов // Вестн. Сахалинского музея. – 2001. – № 8. – С. 307–336.

Шубина О. А. Предметы японского производства XVII–XIX вв. в археологических коллекциях Сахалинского областного краеведческого музея / О. А. Шубина, И. А. Самарин, Т. Сэкинэ // Вестн. Сахалинского музея. – 2013. – № 20. – С. 99–118.

Этнологические исследовательские путевые заметки относительно айну южного Сахалина // Научный архив СОКМ. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–18.

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛАЙСКОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В. В. Горбунов

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет

ПАМЯТНИКИ КУЛАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ВОПРОСЫ ДАТИРОВКИ И ПЕРИОДИЗАЦИИ*

Examines the monuments Koulay culture from the territory of Lesostepnoi Altai. Marked their place in known chronological schemes. Based on the latest data offered a refined Dating and periodization koulay settlements and cemeteries, which are divided into two stages: Troitsky (I century BC – II century AD) and Fominsk (III – first half of IV century AD).

К настоящему времени в южных районах Западной Сибири исследована значительная группа памятников, которая по облику предметного комплекса относится к кулайской археологической культуре. На территории лесостепного Алтая это могильники Ближние Елбаны-VII (31 могила), Татарские Могилки (3 могилы), Кармацкий (2 могилы), разрушенные могилы у сел Фоминское и Шипуново, на Круглом озере, ритуальный могильник Обские Плесы-II (6 захоронений животных), Новообинцевский клад, поселения Ближние Елбаны-IV, Бочанцево-1, Городище-1 и 3, Малый Иткуль-1 и 6, Раздумье-1а, Троицк-1, Усть-Чумыш-I, Усть-Чумышская Пристань-1, Чудацкая Гора и 18 поселений, на которых проводились только сборы [*Грязнов*, 1956; *Бородаев*, 1987; *Шамшин*, *Казаков*, 1992; *Бородаев, Горбунов,* 1993; *Абдулганеев, Казаков*, 1994; *Горбунов*, 1996; *Казаков, Удодов*, 1998; *Иванов*, 2000; *Абдулганеев и др.*, 2003; *Ширин*, 2003; 2004; *Шамшин, Сингаевский*, 2007; *Тишкин, Горбунов,* 2012]. Датировка перечисленных памятников археологами имеет существенные расхождения, не позволяющие рассматривать их в рамках ранее созданных схем периодизации. Поэтому данные вопросы нуждаются в дополнительном изучении и уточнении.

Первый опыт хронологической атрибуции интересующих нас памятников лесостепного Алтая принадлежит М. П. Грязнову. Опираясь на результаты работ в урочище Ближние Елбаны, он выделил верхнеобскую культуру с тремя последовательными этапами: одинцовским (II–IV вв. н. э.), переходным (V–VI вв. н. э.) и фоминским (VII–VIII вв. н. э.), – происхождение которой связывалось с миграцией угорских племен [*Грязнов*, 1956: 112, 124, 140]. К фоминскому этапу были отнесены известные тогда памятники Ближние Елбаны-IV и VII, Круглое Озеро, Фоминское, Чудацкая Гора [там же: 133]. Почти четверть века спустя эта схема была пересмотрена Т. Н. Троицкой, обосновавшей принадлежность объектов фоминского этапа к кулайской культуре. Согласно ее периодизации кулайская культура Новосибирского Приобья прошла в своем развитии три этапа (конец III–II вв. до н. э., I в. до н. э. – I в. н. э., конец I–III вв. н. э.) и принадлежала угро-самодийской общности [*Троицкая*, 1979: 48–50, 64]. Фоминские памятники были отнесены к третьему этапу, с оговоркой о возможном более раннем возрасте поселения Чудацкая Гора [там же: 43, 49]. Другая периодизация кулайской культуры, для всей территории распространения, была предложена Л. А. Чиндиной. Согласно ее схеме

* Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (постановление № 220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», проект № 2013-220-04-129 «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии».

© Горбунов В. В., 2015

выделено два этапа: васюганский (V–II вв. до н. э.) и саровский (II в. до н. э. – V в. н. э.), а население, оставившие кулайские памятники, определено как самодийское [*Чиндина*, 1984: 99, 172–175]. Фоминские объекты относились к южной периферии кулайской культуры саровского времени, при этом неоднократно подчеркивалась поздняя датировка Ближних Елбанов-VII и Татарских Могилок в рамках III–IV вв. н. э. [там же: 105–107, 110, 162].

В 1980–1990 гг. барнаульскими археологами были открыты и опубликованы новые комплексы, материалы которых позволили вернуться к вопросу о раннем проникновении кулайского населения на территорию лесостепного Алтая. Наиболее раннюю датировку в рамках IV–III вв. до н. э. получили Новообинцевский клад и поселение Чудацкая Гора [*Бородаев*, 1987: 109; *Абдулганеев, Казаков,* 1994: 114]. Однако бронзовые изделия с этих памятников вполне справедливо синхронизируются со вторым этапом кулайской культуры Новосибирского Приобья [*Ширин*, 2004: 55–58]. Сравнительный анализ керамики с раннекулайских поселений лесостепного Алтая, проведенный исследователями с учетом датирующих предметов из металла и кости [*Бородаев*, *Горбунов*, 1993: 185–186; *Григоров*, 1998: 213; *Шамшин*, *Сингаевский*, 2007: 57–58], позволяет наметить следующую последовательность их бытования: Чудацкая Гора (рубеж II–I вв. до н. э.), Бочанцево-1 и Раздумье-1а (I в. до н. э.), Усть-Чумышская Пристань-1 и Усть-Чумыш-I (I в. н. э.), Троицк-1 (конец I–II вв. н. э.).

Сравнительно недавно поселенческие материалы были подкреплены находками из погребений, которые можно считать наиболее ранними захоронениями кулайской культуры на территории южнее Новосибирского Приобья. Речь идет о двух могилах, раскопанных в 2002 г. на памятнике Кармацкий в Барнаульском Приобье [*Тишкин*, *Горбунов*, 2012: 102–108]. Принадлежность исследованных могил к кулайской культуре определяется костяными наконечниками стрел, имеющими крупные пропорции, килевидный абрис пера и приостренные плечики, а также керамикой, представленной закрытой круглодонной банкой, украшенной гребенчатым штампом по срезу и под карнизом венчика. Не противоречат этому и данные погребального обряда: грунтовый характер могил, деревянное перекрытие и рама, одиночная и парная ингумация, вытянутое положение костяков на спине с ориентацией головой в западный сектор, что находит полные соответствия на могильнике Ордынское-1 [*Троицкая*, 1979: 22, 71–73, табл. XXIII]. Важную информацию дал радиоуглеродный анализ, полученный по образцу древесины (доска от деревянной рамы) из более глубокой кулайской могилы Кармацкого. Это дата 1990 ± 60 лет (СОАН-5047), т. е. 40 г. н. э. Ее калибровка показывает диапазон с середины I в. до н. э. до первой трети II в. н. э. [*Тишкин*, *Горбунов*, 2012: 108].

Наличие на территории лесостепного Алтая целой серии ранних кулайских поселений и грунтового могильника позволяет поставить вопрос о выделении для данной территории не одного, а двух этапов развития кулайской культуры. Нам представляется, что первый из них следует датировать I в. до н. э. – II в. н. э., а второй – III – первой половиной IV в. н. э. За более поздним этапом логично оставить название Фоминский, давно и прочно вошедшее в литературу. Ранний этап предлагается назвать Троицкий, по поселению Троицк-1. На сегодняшний день это единственный однослойный раннекулайский памятник, к тому же полностью раскопанный.

К троицкому этапу (I в. до н. э. – II в. н. э.) кулайской культуры лесостепного Алтая относятся поселения Бочанцево-1, Раздумье-1а, Троицк-1, Усть-Чумыш-I, Усть-Чумышская Пристань-1, Чудацкая Гора, могильник Кармацкий, Новообинцевский клад. Начало данного этапа можно связать с миграцией самодийских (саровских) племен конца II–I вв. до н. э. [*Чиндина*, 1984: 161–162, рис. 48]. Половина из перечисленных памятников располагается на левобережье Оби в пределах Приобского плато по ленточным борам от Касмалы до низовьев Алея. Другая половина расположена на правобережье Оби в боровых массивах приустьевой зоны ее притоков от Черемшанки до Аллака. Судя по керамике, большинство раннекулайских поселений занимает места, где ранее находились поселки каменской культуры. Механическое смешение саровских и каменско-староалейских элементов орнамента на посуде говорит об ассимиляционных процессах между кулайским и местным населением, которые окончательно завершились к рубежу I–II вв. н. э. Об этом свидетельствуют материалы однослойного поселения Троицк-1, где представлена уже только саровская керамика. Значительная группа раннекулайских памятников на территории лесостепного Алтая делает неубедительными попытки ряда исследователей довести существование здесь каменской культуры до II в. н. э. [*Ширин*, 2004: 59; *Фролов*, 2008: 170, 175].

К фоминскому этапу (III – первая половина IV в. н. э.) кулайской культуры лесостепного Алтая относятся поселения Ближние Елбаны-IV, Городище-1 и 3, Малый Иткуль-1 и 6, могильники Ближние Елбаны-VII, Татарские Могилки, ритуальный некрополь Обские Плесы-II и ряд других менее изу-

ченных памятников. Их обособление было вызвано процессом локализации периферийных районов кулайской общности, начавшимся в III в. н. э. [*Чиндина*, 1984: 170]. Почти все фоминские объекты расположены на правобережье Оби в пределах Бийско-Чумышской возвышенности и Предсалаирской равнины. Однако обнаружение фоминской керамики на поселении Плесики-1 (левый берег реки Бурлы) в северо-восточной части Кулундинской равнины говорит о том, что ареал этого этапа был намного шире и включал районы обского левобережья [*Казаков*, *Удодов*, 1998: 177–179). По поселению Малый Иткуль-1 из постройки-2 имеется радиоуглеродная дата 2210 ± 25 (СОАН-2850) – 260 г. н. э. [*Абдулганеев*, 2001: 107]. Хронология фоминских могильников хорошо разработана Ю. В. Шириным [2003: 102–114]. Отличительными чертами фоминского этапа являются: обряд кремации, упрощенная орнаментация керамики, техника рельефного литья, предметы костюма «приуральского» облика, предметы вооружения и снаряжения «южносибирского» (в своей основе хунно-сяньбийского) облика. Ю. В. Ширин [2003: 19, 158] находит эти отличия достаточными для выделения самостоятельной фоминской культуры. На наш взгляд, они не превышают общекулайских признаков в фоминских памятниках и отражают внутреннее развитие культуры, обусловленное западными и южными контактами ее населения. На территории лесостепного Алтая кулайская культура прекращает свое существование раньше всего, в середине IV в. н. э., о чем свидетельствует нижняя граница новой одинцовской культуры [*Горбунов*, 2004: 95].

Абдулганеев М. Т. Поселение Чудацкая Гора / М. Т. Абдулганеев, А. А. Казаков // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. – Барнаул, 1994. – С. 111–115.

Абдулганеев М. Т. Фоминский комплекс поселения Малый Иткуль-1 // Проблемы изучения древней и средневековой истории. – Барнаул, 2001. – С. 103–110.

Абдулганеев М. Т. История исследования памятников Зонального района / М. Т. Абдулганеев, Б. Х. Кадиков, Ю. Ф. Кирюшин, Н. Ю. Кунгурова // Зональный район: история, люди и судьбы. – Барнаул, 2003. – С. 50–78.

Бородаев В. Б. Новообинцевский клад // Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. – Новосибирск, 1987. – С. 96–114.

Бородаев В. Б. Троицк-1 – новое поселение кулайской культуры на левобережье Барнаульского Приобья / В. Б. Бородаев, В. В. Горбунов // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1993. – Ч. II. – С. 183–189.

Горбунов В. В. Ритуальные захоронения животных кулайской культуры (грунтовый могильник Обские Плесы II) // Погребальный обряд древних племен Алтая. – Барнаул, 1996. – С. 156–166.

Горбунов В. В. Этнокультурная ситуация на территории лесостепного Алтая в эпоху Великого переселения народов // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. – Барнаул, 2004. – С. 92–95.

Григоров Е. В. К вопросу о нижней хронологической границе памятников фоминского типа в Верхнем Приобье (по материалам поселений) // Древние поселения Алтая. – Барнаул, 1998. – С. 212–213.

Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1956. – 163 с. – (МИА ; № 48).

Иванов Г. Е. Свод памятников истории и культуры Мамонтовского района. – Барнаул : Алтайский полиграфический комбинат, 2000. – 160 с.

Казаков А. А. Поселение Плесики 1 / А. А. Казаков, В. С. Удодов // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 1998. – Вып. IX. – С. 176–179.

Тишкин А. А. Погребения кулайской культуры на памятнике Кармацкий в Барнаульском Приобье / А. А. Тишкин, В. В. Горбунов // Игорь Геннадьевич Глушков. – Ханты-Мансийск, 2012. – Ч. 3. – С. 102–109.

Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск : Наука, 1979. – 124 с.

Фролов Я. В. Погребальный обряд населения Барнаульского Приобья в VI в. до н. э. – II в. н. э. (по данным грунтовых могильников). – Барнаул : Азбука, 2008. – 479 с.

Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – 256 с.

Шамшин А. Б. Аварийные археологические раскопки в Тальменском районе / А. Б. Шамшин, А. А. Казаков // Проблемы сохранения, использования и изучения памятников археологии. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 61–62.

Шамшин А. Б. Этнокультурная ситуация на территории Барнаульского Приобья в конце III в. до н. э. – I в. н. э. / А. Б. Шамшин, А. Т. Сингаевский // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск, 2007. – Вып. 5. – С. 51–79.

Ширин Ю. В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тысячелетия н. э. (погребальные памятники фоминской культуры). – Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2003. – 288 с.

Ширин Ю. В. О ранних кулайских памятниках Верхнего Приобья // РА. – 2004. – № 2. – С. 51–60.

А. В. Гусев

Россия, Салехард, Научный центр изучения Арктики

ИЗДЕЛИЯ ИЗ РОГА И КОСТИ УСТЬ-ПОЛУЯ: ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСКОПОК 2006–2014 ГОДОВ)

The article presents generalized record of techniques producing products from a bone and horn of the Ust' Poluy Archaeological object. It's located on the Northwest Siberia and it dates from the early Iron Age. Available sources allowed reconstructing in details progression of creating different kind of tools and weapons.

Кость и рог служили важным сырьем для получения различных орудий с глубокой древности. Однако, учитывая органический характер этих материалов, изделия из кости и рога вряд ли можно назвать частой находкой на археологических памятниках Западной Сибири раннего железного века. Исключений здесь не так уж и много, одним из них является археологический памятник Усть-Полуй, расположенный в черте современного Салехарда. Авторы исследований рассматривают объект как остатки древнего межплеменного святилища, основной период функционирования которого пришелся на I в. до н. э. – I в. н. э. В это время мысовая площадка была отделена искусственным рвом, под выкидом из которого было встречено женское погребение, на территории памятника были оставлены объекты в виде кострищ с выкладками вещей вокруг, остатки деревянных рам и настилов, скопления камней. Эпизодические посещения площадки происходили несколько ранее и позднее основного периода.

Объем коллекции из кости и рога, полученной в указанный период составляет около 1300 изделий и заготовок. По мнению исследователей, такого количества источников в целом достаточно для характеристики уровня косторезного дела определенного культурно-хронологического периода [*Бородовский*, 1997: 40].

Изделия из кости представлены следующими категориями: наконечники стрел нескольких типов, проколки различных форм, ножи для чистки рыбы, рыболовные «спицы», двулезвийные скребки так называемого неолитического типа, пуговицы упряжи.

Сырьем для костяных орудий служили кости северного оленя: метаподии, грифельные кости, лопатки. Использование остальных костей скелета – ребер, позвонков, челюстей и т. д. не прослеживалось. Изделий из костей лося не более 1–2 %, что не противоречит данными по доли лосиных костей в остеологической части коллекции памятника. Использование костей других млекопитающих и земноводных (бивня мамонта, моржового клыка и позвонков кита) проявилось при изготовлении отдельных категорий вещей.

Наконечники стрел в большинстве своем представлены изделиями удлиненно-иволистной формы. Основным сырьем для их изготовления служили диафизы плюсневой кости задней конечности и лучевая кость. По имеющимся находкам от плюсневой кости почти обязательно брались дугообразные выступы с задней (вентральной) части. С передних метаподий использовался участок сочленения лучевой и локтевой кости. Подобная избирательность объясняется тем, что стенки диафиза костей ног северного оленя имеют незначительную толщину, именно в этих частях мощность костного вещества максимальна. Такие наконечники легко узнаваемы по сечению пера и наличию продоль-

© Гусев А. В., 2015

ного паза. Сочленение лучевой и локтевой кости позволяло получать изделия с близким к треугольной форме сечением. Еще одной частью диафиза, получившей широкое применение, стали пластины с передней (плантарной) стороны плюсны, имеющей продольный сухожильный желоб. Наконечники, выполненные из гладких частей диафизов бедренной, берцовой и плечевой костей оленя, получили несколько меньшее распространение.

Последовательность обработки кости позволяют реконструировать технологические следы на готовых изделиях и имеющиеся в коллекции заготовки. Диафизы метаподий расчленялись продольно с помощью каменного ударника (песта), иногда этому предшествовало нанесение предварительной разметки ножом, отделялись эпифизы. С полученных пластин лишняя костная масса часто удалялась путем обивки. Заготовки подвергали предварительному вымачиванию или распариванию, что позволяло в дальнейшем осуществлять резание железным ножом. Завершающая обработка включала в себя резание, придание формы, скобление лезвием ножа (шабрение), шлифовку на каменном абразиве.

Отделенные пластины диафиза служили универсальным сырьем для последующего получения из них проколок, рыболовных спиц и других орудий, имеющих ножевидное лезвие и следы сработанности. Пястные кости служили материалом для получения двулезвийных скребков, применяемых в обработке шкур.

Сырьем для часто встречаемых на памятнике ножей для чистки рыбы служили лопатки северного оленя. Последовательность изготовления включала в себя подрезание лопаточной кости и рассечение суставной части на две половины. Таким образом из одной заготовки можно было получить два орудия, одно из которых имело одно рабочее лезвие, а второе – два. Затем удалялись края лопатки, подрезался суженный конец, и на завершающем этапе формировалось рабочее лезвие с одной или двух сторон. Кроме того, из фрагментов пластинчатой кости лопаток изготовлялись трапециевидные и круглые подвески, имитирующие бронзовые прототипы.

Использование грифельных костей в качестве проколок относится к разряду универсальных явлений. Для превращения таких костей в проколку либо орудие для развязывания узлов требовалось лишь затачивание окончания. Впрочем, часто проколки и шилья изготовлялись из различных трубчатых костей, обломков эпифизов и т. д. Судя по следам сработанности, в качестве проколок использовались и некоторые наконечники стрел.

Роговое сырье обладало большим потенциалом для получения различных орудий, что нашло отражение в материалах Усть-Полуя. Во-первых, рог более пластичен, легче поддается резанию, а основные первоначальные заготовки – ветвь и лопатообразные разветвления – более массивны, чем кости скелета. Во-вторых, что немаловажно, рога олени сбрасывают ежегодно, что упрощает получение такого сырья.

Представленные в коллекции заготовки и изделия позволяют проследить определенные закономерности в раскрое материала. Части роговой ветви могли использоваться целиком, или же она разделялась продольно на пластины, служившие основным полуфабрикатом для получения изделий. Идентичным образом утилизировались и крупные отростки. Мощная лопатообразная часть, как правило, разрезалась на крупные одинарные пластины, в редких случаях ее двойные куски шли в обработку целиком. Популярностью в качестве сырья пользовались участки сочленения ветви/отростка и лопатообразной части. Наконец, для получения крупных изогнутых изделий задействовались участки закраин надглазничного отростка/лопаты и ветви. В обработку шел свежий рог оленей, убитых (принесенных в жертву?) на территории памятника, либо перед началом работ заранее приготовленное сырье предварительно вымачивалось и распаривалось до придания необходимой эластичности [*Алексашенко*, 2006: 270].

Доля роговых наконечников по отношению к костяным составляет приблизительно 1:4, при этом в большинстве случаев это изделия сложной формы – различные типы томаров, «когтистые», двушипные, гарпунные наконечники.

Детали луков представлены концевыми накладками, различающимися по форме. Все они выполнены из пластин от роговых ветвей с толстым слоем компактного вещества.

В коллекции представлено более 150 роговых рукоятей ножей. Клинки, как правило, отсутствовали, а на местах закрепления черешков часто прослеживались надломы. Сырьем для изготовления рукоятей служили роговые ветви небольшого диаметра или отростки. Паз для черешка лезвия выбирался в пористой сердцевине заготовки железным ножом. Среди рукояток есть изделия, украшенные головой оленя или фигуркой пушного зверя.

Массовой категорией находок являются роговые скребки, по форме напоминавшие лопаточку и использовавшиеся для обработки шкур. Сырьем для них служили участки сочленения крупных отростков и лопатообразного разветвления. Отдельные фрагменты массивной ветви были задействованы при получении различных по размеру клиньев, наконечников копий, возможно, наконечников хореев.

На памятнике было найдено более 50 деталей двухчастных вертлюгов, некоторые из них представлены целыми комплектами. Это универсальные приспособления, которые могли быть задействованы как в собачьей, так и в оленьей упряжи [*Гусев*, 2014:54]. По форме приемника вертлюги разделяются на несколько типов.

Изделия, украшенные художественными изображениями, разнообразны по своему назначению. Чаще всего это ложки с украшенными рукоятями, кроме того, известны гребни и проколки. Излюбленными сюжетами служили хищные птицы, пушной зверь, голова оленя. Сырьем для их получения служили пластины из компактного рогового вещества ветви и лопатообразных разветвлений.

Основным инструментом для изготовления и обработки различных орудий труда служили железные ножи небольших размеров. Они также присутствуют в составе коллекции Усть-Полуя. Кроме того, на ряде изделий прослеживаются следы применения резцов с прямоугольным и скругленным лезвием.

Алексашенко Н. А. Костяные изделия Усть-Полуя из собрания МАЭ РАН (результаты трасологического изучения) // Свод археологических источников Кунсткамеры. – Санкт-Петербург, 2006. – Вып. 1. – С. 265–301.

Бородовский А. П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая пол. II тыс. до н. э. – первая пол. I тыс. н. э.). – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – 224 с.

Гусев А. В. Комплекс предметов, связанных с оленеводством, по материалам святилища Усть-Полуй (Нижнее Приобье) // Уральский исторический вестник. – 2014. – № 2 (43). – С. 53–62.

Е. М. Данченко

Россия, Москва, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева

КУЛАЙСКИЙ ФЕНОМЕН: В ПЛЕНУ МЕТОДОЛОГИИ ПЯТИДЕСЯТЫХ

The studying of cultural specific of Kulay population becomes complicated by the limited possibilities of typological method to reveal reliable diagnostic markers. The real functions of artifacts might be changeable therefore archaeological types and cultures are artificial and simplified models.

Вопросы методологии редко обсуждались в связи с кулайской проблематикой, не говоря уже о том, что сама культура была выделена В. Н. Чернецовым вопреки любым методологическим принципам. Основанием тому послужило своеобразие бронзовых изображений и предметов вооружения, предположительно происходивших с жертвенных мест, в то время как керамика, поселенческие и погребальные комплексы еще не были выявлены [*Чернецов* 1953б: 223].

За прошедшие десятилетия объем накопленных материалов несоизмеримо вырос, однако степень их изученности нельзя признать удовлетворительной. Дискуссионными остаются хронология и периодизация кулайских древностей, ареал их распространения, культурная принадлежность (археологическая культура с этапами? общность с вариантами?), линии последующего развития в культурогенезе эпохи средневековья. Сказанное поневоле заставляет задуматься о том, какой путь проде-

© Данченко Е. М., 2015

лала западносибирская археология с начала 1950-х, когда В. Н. Чернецов и М. П. Грязнов начинали первую систематизацию накопленных данных.

Оба ученых группировали имеющийся материал на основе сравнительно-типологического анализа морфологических признаков, выделяли типы и культуры, выстраивая их на хронологической шкале и пытаясь выявить преемственность. Подобная практика и сегодня используется большинством западносибирских археологов, многие из которых считают, что ей нет альтернативы. Это может показаться убедительным, но только если не брать в расчет опыт изучения «живых» сообществ людей, а не выпавших из контекста ископаемых артефактов. Так, в этнологии недостатки формально-типологического подхода проявились в безуспешных попытках выделения объективных признаков этноса и в признании решающей роли самосознания в структуре этнической идентичности; в гендерных исследованиях – в разнице между половой принадлежностью индивидов, определяемой по физическим характеристикам, и их сексуальной самоидентификацией. Опора на внешние морфологические признаки не учитывает того, что в различных ситуациях назначение и смысл элементов культуры могут меняться, подобно тому, как в зависимости от контекста изменчивы значения одних и тех же слов. К тому же выделяемые типологическим путем категории и маркеры отражают прежде всего субъективное видение самих ученых, а не предпочтения носителей изучаемых культур, что приводит к созданию искусственных конструктов, о чем свидетельствует и история изучения кулайских древностей.

К ним В. Н. Чернецов отнес предметы бронзового ажурного литья, в то же время объединив в среднеиртышскую культуру памятники с фигурно-штамповой керамикой [*Чернецов* 1953б: 223, 224], которую в настоящее время одни специалисты считают позднекулайской (саровской), другие – потчевашской (спирановского этапа). Таким образом, одни и те же материалы признаются разнокультурными, что ставит вопрос о возможностях сравнительно-типологического метода в выявлении культурно-показательных признаков.

С предложением считать таковыми своеобразный «кулайский» аналог «скифской триады» [*Труфанова*, 2003: 3] трудно согласиться. В степную «триаду» входят категории инвентаря, которые, имея выраженные мировоззренческие и социально-знаковые функции, не являются диагностирующими признаками при выделении конкретных культур в рамках гигантской скифо-сибирской общности. В «триаду» таежной зоны, помимо бронзовых предметов вооружения и антропозооморфных изображений, включается и керамика, которая обычно служит основным критерием определения культурной принадлежности. При этом ареалы бытования всех трех категорий находок совпадают лишь частично [*Могильников*, 1988: 29; 1990: 163], а значит, они не могут в равной степени быть культурно-показательными.

Бронзовые кельты и наконечники стрел протокулайского и кулайского типов, равно как и стилистически сопоставимые образцы литья, встречаются с васюганской, саровской, новочекинской, белоярской, калинкинской, журавлевской, богочановской, саргатской, кашинской посудой и потому скорее являются «надкультурными». Наличие различных по стилю литых изображений в составе «кладов» означает, что жертвенные места, откуда они происходят, могли посещаться разнокультурными группами, или одно и то же население использовало в своих ритуалах разнотипные отливки. И в том, и в другом случае трудно считать подобные находки надежным культурно-диагностирующим маркером.

Растущее число «керамических» культур указывает на определяющее значение, придаваемое глиняной посуде при атрибуции комплексов. При этом порой складывается впечатление, что тип керамики – едва ли не вживленный под кожу чип с пожизненным идентификационным кодом, позволяющим безошибочно устанавливать этнокультурную принадлежность населения, направления его связей или миграций. Но в Западной Сибири керамическая посуда производилась в течение ограниченного времени, причем на различных этапах и территориях ее культурно-знаковая роль, по-видимому, не была одинаковой, судя по разнице трудозатрат на изготовление и декорирование. При этом лесостепные саргатские сосуды мало менялись на протяжении всей эпохи раннего железа, а таежные керамические типы средневековья чередовались в среднем через два-три столетия, хотя имеющиеся материалы не дают оснований предполагать смену населения.

Не меньше вопросов порождает угасание производства позднесредневековой лепной керамики. По всей видимости, на вытеснившие ее, изначально чужеродные, но более функциональные в утилитарном смысле медные котлы и круговые кринки было перенесено и традиционное сакральное значение, о чем свидетельствуют фольклор и ритуальная практика сибирских татар.

Распространение саровской посуды и некоторых типов вещей от предгорий Алтая до Полярного круга объясняется миграциями кулайцев из Среднего Приобья [*Чиндина*, 1984: рис. 48], однако трудно представить, что демографическая ситуация могла привести к подобному «пассионарному взрыву», охватившему Западно-Сибирскую равнину. Другими причинами распространения стиля, моды, идей и товаров могла быть диффузия без масштабных переселений: торговля; «бродячие» мастера, работавшие на заказ; брачный обмен с соседями; выделение социальных групп, например дружинников, со своей системой ценностей и символикой.

На нынешнем этапе изучения кулайских памятников погребальный обряд трудно использовать в качестве культурно-определяющего критерия не только потому, что он лучше известен в периферийных районах ареала, являвшихся контактными зонами. В обрядах захоронения всегда наблюдаются отклонения от принятого канона, прослеживается сочетание общего и специфического, что полностью соответствует механизму действия архетипов [*Данченко*, 2009]. Об этом же свидетельствуют отмеченные В. Н. Чернецовым стилистические различия предметов сплошного и ажурного литья, выражавшие единый комплекс религиозно-мифологических представлений [*Чернецов*, 1953а: 175, 176]. Следует заметить, что к кулайским нередко относят весьма разнородные изображения без анализа стиля и выявления локальных групп, не говоря уже об индивидуальных особенностях отдельных мастеров.

Культура как система адаптации пластична и изменчива, но изменения в ее отдельных сферах протекают по-разному. Наиболее устойчивы и консервативны коллективные представления, которые, подобно языку, неосознанно усваиваются последующими поколениями и с глубокой древности доживают до наших дней, образуя своеобразный культурный континуум. Примерами могут служить известные с мезолита до этнографической современности обряды ритуальной стрельбы вглубь Камня Дыроватого на Чусовой или в Айдашинской пещере близ Ачинска [*Кызласов*, 1999], где есть и находки кулайского облика; присутствие наконечников стрел на других культовых местах; использование огня в погребальной обрядности, имеющее широчайшее пространственно-временное распространение.

Коллективные представления существуют вполне автономно от социально-экономических перемен, о чем в наши дни свидетельствуют случаи сакрализации аборигенами древних артефактов или изготовление культовых орнитоморфных изображений на токарном станке. В различные периоды способы визуализации архетипических элементов традиционного мировоззрения могут меняться, перемещаясь с одних форм на другие, подобно джину, переселившемуся из лампы в кувшин. Поэтому систематика археологических материалов с помощью формально-типологического метода не улавливает их внутреннего содержания и чревата искусственной «нарезкой» упомянутого континуума на культуры и этапы на основе субъективно определяемых критериев.

Данченко Е. М. Погребальный обряд как культурный и этнический маркер в археологии // Сибирский сборник – 1: Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. – Санкт-Петербург, 2009. – Кн. 1. – С. 112–117.

Кызласов И. Л. Камень Дыроватый (Символика пещерных святилищ и культовой стрельбы из лука) // ЭО. – 1999. – № 4. – С. 37–50.

Могильников В. А. К этническому составу Омского Прииртышья в раннем железном веке // Археология Западной Сибири (история, краеведение и музееведение Западной Сибири). – Омск, 1988. – С. 27–30.

Могильников В. А. К особенностям этнокультурного развития Омского Прииртышья в раннем железном веке // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. – Томск, 1990. – С. 163–164.

Труфанова Ж. Н. Плоское ажурное литье кулайской культуры : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Ижевск, 2003. – 26 с.

Чернецов В. Н. Бронза усть-полуйского времени // Древняя история Нижнего Приобья. – Москва, 1953а. – С. 121–178. – (МИА ; № 35).

Чернецов В. Н. Усть-полуйское время в Приобье // Древняя история Нижнего Приобья. – Москва, 1953б. – С. 221–241. – (МИА ; № 35).

Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – 255 с.

С. В. Кузьминых

Россия, Москва, Институт археологии РАН

МЕТАЛЛООБРАБОТКА УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ЭПОХУ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА (ЛЕСОСТЕПЬ И ТАЙГА): ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ*

Three vectors of the development of nonferrous metalwork of forest-steppe and taiga peoples of the Urals and the West-Siberian Valley are marked. They are: the one connected to the inner evolution and transformation of late-bronze cultures of the region, the one determined by the migration of taiga people to the south, and the one connected to the counter migration wave form the steppe regions of Kazakhstan.

В IX – начале VII в. до н. э. при переходе к раннему железному веку цветная металлообработка лесостепных и таежных культур Урала и Западно-Сибирской равнины развивалась в тесной взаимосвязи с культурно-историческими процессами той эпохи. Первый вектор развития был связан с внутренней эволюцией и трансформацией позднебронзовых культур (межовской, бархатовской, ирменской, корчажкинской, позднесузгунской, лозьвинской, барсовской, еловской и др.) в русле ранее сложившихся традиций. Это привело к формированию баитовской культуры в Зауралье, позднеирменской – в Обь-Иртышском междуречье, большереченской (на ее мыльниковском этапе) – в Верхнем Приобье.

Второй вектор обусловлен миграцией на юг таежных групп населения, характерным индикатором которых является «крестовая» керамика. Основная миграционная волна связана с крупнейшими речными магистралями региона – Обью, Иртышом и Ишимом. Не случайно сформировавшиеся на юге Среднего Приобья молчановская, в Среднем Прииртышье – красноозерская, в бассейнах Лозьвы и Тавды – гамаюнская культуры тяготеют к этим рекам и их притокам. Истоки этих культур связаны с памятниками атлымской, лозьвинской и иных культур финала бронзового века.

Третий вектор связан со встречной волной мигрантов из степных районов Казахстана (берликская культура, по В. И. Молодину), сложившихся на базе позднейших памятников алексеевско-саргаринской культуры (донгальский, бегазинский и трушниковский типы) и адаптировавшихся в Прииртышье и в глубинных районах Барабинской лесостепи в среде позднеирменских и красноозерских групп населения. На кромке степи и лесостепи в Зауралье и Северном Казахстане появляются памятники сакского круга.

Аналитически исследованные и представительные серии металла этой эпохи пока что единичны. Все они (Чича-I, Инберень VI, Усть-Барсукское и др.) свидетельствуют о доминировании оловянных и оловянно-мышьяковых бронз в позднеирменских, красноозерских и предкулайских памятниках. Импорт сырья и изделий (кинжалы, двухлопастные наконечники стрел и поясная гарнитура сакских типов), судя по всему, осуществлялся по Иртышу из Рудного Алтая и, возможно, из районов Центрального Казахстана.

Разнонаправленность векторов развития западносибирских культур переходной эпохи заметно сказалась на металлокомплексе. В позднеирменском сохранился традиционный набор орудий (прежде всего однолезвийных ножей) и украшений, характерных для предшествующей ирменской культуры. В красноозерских комплексах показательно присутствие литейных форм для отливки кельтов раннеананьинских типов – на Иртыше наиболее восточный край их ареала. В большереченских памятниках продолжается изготовление двуушковых кельтов. На Верхней Оби, как и на Енисее, эта позднебронзовая традиция оказалась весьма живучей. Во всех культурах Урала и Западной Сибири начала эпохи раннего железа, включая таежные, заметную долю составляют импорты, характерные для культур ранних кочевников Казахстана и Саяно-Алтая.

В последующие периоды раннего железного века источники поступления меди и сплавов на Западно-Сибирскую равнину кардинально не изменились. Оловянные и оловянно-мышьяковые бронзы из Рудного Алтая и Казахстана доминируют в таежных (гамаюнская, белоярская, калинкинская, кулайская) и лесостепных (богочановская, большереченская на ближнеелбанском этапе) культурах. На востоке региона, в памятниках томского варианта кулайской общности, в отличие от сургут-

* Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ (№ 14-06-00287) и РГНФ (№ 14-01-00348а).

© Кузьминых С. В., 2015

ского и новосибирского вариантов, основу коллекций составляют изделия из саянской мышьяковой и «чистой» меди. На западе региона, как и в начале позднего бронзового века (абашевско-синташтинские центры), вновь заметен металл уральского происхождения. Орудия, оружие и сырье гороховской и саргатской культур, а также степных савроматской и прохоровской (от Урала до Ишима) – это в основном «чистая» медь, выплавленная металлургами иткульской культуры. В зауральской лесостепи, как показали исследования О. Ю. Зиминой и В. А. Заха, складывается восточный вариант иткульской культуры. Уральский металл мог поступать по Иртышу и Оби вплоть до Барсовой Горы. Косвенно об этом свидетельствуют находки здесь гамаюно-иткульской керамики. В то же время большая часть украшений саргатской культуры отлита из сплавов с лигатурой олова и цинка. Заметную часть среди них составляют импорты из приаральских (джетыасарских), южноказахстанских и среднеазиатских мастерских (прежде всего – зеркала), а также из Китая, Индии и Ближнего Востока.

В лесостепных и таежных культурах Урала и Западной Сибири в отличие от культур степного пояса на протяжении всего раннего железного века сохраняются традиции позднебронзовой металлообработки. Они выразились в производстве кельтов, наконечников копий, чеканов, однолезвийных ножей, культового литья и разнообразных украшений. Сохранились и традиционные пути поступления металла из горно-металлургических центров Саян, Рудного Алтая, Центрального Казахстана и Урала. Наиболее живучими эти традиции оставались в глубинных таежных производственных центрах – кулайских и усть-полуйских.

С. Н. Панина

Россия, Екатеринбург, Свердловский областной краеведческий музей

«МИР ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ»: ПОЛИМОРФИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ В ИТКУЛЬСКОМ И КУЛАЙСКОМ КУЛЬТОВОМ ЛИТЬЕ

In the article there is doing review of bronze cult casting of the early Iron Age: polymorphic figures in binary opposition (ornithomorphic, zoomorphic, anthropomorphic) that are typicals for regions of mountain forest Zauralye (Itkul culture) and Tomsko-Narymsky Priobye (Kulaiskaja culture).

Бронзовая художественная пластика – уникальное явление в духовной культуре древних народов Урала и Западной Сибири. Но только в раннем железном веке в двух регионах – горно-лесном Зауралье (иткульская культура – VIII–III вв. до н. э.) и Томско-Нарымском Приобье (кулайская культура – VIII в. до н. э. – IV в. н. э.) существует традиция выплавлять плоские односторонние отливки с изображением двух или нескольких персонажей (орнитоморфы, антропоморфы, зооморфы), расположенных в бинарной оппозиции.

Основными образами иткульской культовой медной пластики являются изображения орнитоморфов (преимущественно хищных птиц) и антропоморфов, в единичных случаях встречен образ волка в композиции с антропоморфом.

О полиморфных изображениях в бинарной оппозиции (хищная птица – антропоморф) в культовых отливках иткульской культуры писала Н. В. Федорова, отмечая этот признак иконографической типологии орнитоморфной пластики Горного Урала одним из определяющих своеобразие региона [*Угорское наследие*, 1994: 36].

Исследователь иткульской культуры Г. В. Бельтикова на основе изучения технологии медеплавильного производства определила хронологическую последовательность возникновения и функционирования литейных производств. Ранние металлургические площадки сосредоточены в верховьях реки Исети и озера Иткуль (VII–VI вв. до н. э.), медеплавильное производство Полевского района относится к V в. до н. э., самые поздние центры исследованы в Сысертском районе, на озерах Багаряк и Аятское, они относятся к IV–III вв. до н. э. [*Бельтикова*, 2005].

© Панина С. Н., 2015

Находки птицевидных и антропоморфных идолов связаны с территориями иткульских «гнезд» меднолитейного производства: в верховья Исети, близ Полевского на горе Караульной, Азов, на Иткульском озере, в районе озера Багаряк, на Аятском озере. Это так называемые клады на вершинах гор [*Викторова,* 1999: 97, рис. 1; 101, рис. 2; 2004: 160–161, рис. 27–28; 427, рис. 107; 428, рис. 108; фото 42] или отдельные находки, как правило, на местах металлургических производств. В единичном случае серия птицевидных идолов обнаружена в погребении на Скворцовской горе V на Шигирском торфянике [*Чаиркина*, 2011: ил. 16].

Образы птицевидных идолов подразделяются на простые и сложные. К простым относятся изображения разных по видовому составу хищных птиц (ястреб, сокол, коршун), единичны находки изображения совы, а также дятлов и воронов [*Чемякин*, 2011]. Во всех случаях это образ птицы с различной моделировкой деталей – хвостового оперения, абриса фигуры, крыльев, головы [*Панина*, 2012: 173, табл. 1-*12–16*].

К сложным изображениям относятся полиморфические фигуры, так называемые перевертыши, сочетающие в себе признаки орнитоморфа и антропоморфа с солнечными лучами над головой по принципу бинаризма [там же: 173, табл. 1-*10, 11, 18, 19*].

Если единичные находки, как правило, относятся к простым птицевидным изображениям, то клады можно подразделить на два вида: в одних найдены только птицевидные идолы (гора Караульная, грот Сухореченский, озеро Куяш-Огневское), в других – устойчивый набор, состоящий из антропоморфа(-ов) с солнечными лучами на голове, птицевидного(-ных) идола(-ов) и круглых медных блях (зеркал) с ушками или без них на оборотной стороне (Адуйский камень, Палкинский клад, клад с Азов-горы).

Автор статьи проанализировала иткульскую культовую пластику, используя хронологическую сетку Г. В. Бельтиковой, и пришла к выводу, что, вероятно, к раннему этапу развития иконографии образа относятся простые орнитоморфы и клады, состоящие только из птицевидных идолов. Для среднего этапа характерны клады с набором антропоморфов, орнитоморфов, круглых блях, наконечника копья. Самый поздний этап характеризуется наличием в кладах сложных полиморфов – «перевертышей», в которых, вероятно, образы слились в единое целое или взаимозаменяемы [*Панина*, 2012].

Существуют две версии использования кладов в культовой практике иткульского населения. Первая – клады с птицевидными идолами, бляхами, зеркалами и антропоморфами связаны с обрядом погребения душ литейщиков-кузнецов [*Викторова,* 1999]. Вторая – это святилищные (жертвенные) комплексы [*Чемякин,* 2011]. Благодаря новым находкам в погребении на Скворцовской горе и в Смолинском святилище обе версии подтверждаются [*Панина*, 2012].

Прежде чем обратиться к иконографии кулайских «перевертышей», необходимо уточнить само понятие. В отличие от А. Я. Труфанова и Ж. Н. Труфановой [2002], автор относит к «перевертышам» те изображения, в которых два или несколько персонажей находятся в бинарных отношениях: изображение лося-щуки из Кулайского культового места [*Полосьмак,* 1991: 76, рис. 39-*1*], антропоморф-зооморф(-ы) из Кривошеинского культового места [*Яковлев*, 2001: 230], а также рыбинская находка [*Яковлев*, 2004: 92, ил. 1-*1*], орнитоморф-зооморфы (вертикальное расположение) – бакчарские находки [*Труфанов,* 2002: 136, рис. 7] и примкнувшие к ним орнитоморфы из Саровского культового места [*Яковлев*, 2001: 66, № 18; 92, № 31]. Все перечисленные находки можно условно разделить на две группы. В первую входят образы, в иконографии которых имеется отдаленное сходство с иткульскими персонажами. Это рыбинская находка и орнитоморфы из Саровского культового места. В. Д. Викторовой была высказана гипотеза о том, что потомки иткульских металлургов появились в Западной Сибири в саровский период [*Викторова*, 2002: 84]. Сходство птицевидных фигурок из Саровского культового места (геральдическая поза, декор) под № 20, 21 с иткульскими орнитоморфами из клада с Азов-горы, реки Сысерти отмечал исследователь кулайской металлопластики [*Яковлев*, 2001: 175]. Необходимо обратить внимание еще на две птицевидные фигурки № 18, 31 [там же: 66–67, 92–93]. У полиморфов иткульской культуры солнечные лучи на голове антропоморфа одновременно изображали хвостовое оперение орнитоморфов [*Панина*, 2012: 172, табл. 2-*18, 19*]. У птицевидных фигурок № 18, 31 хвост оформлен параллельными валиками в невысоком рельефе, имеются выступы-отростки под валиками, расположенные почти перпендикулярно тулову, которые исследователь трактует как лапы [*Яковлев*, 2001: 66–67, 92–93]. Известно, что птица в полете поджимает лапы, а не расставляет их в стороны. Эти детали отливки напоминают скорее короткие трехпалые ручки. Тогда декор хвоста и выступы-отростки, возможно, являются стилизованными признаками антропоморфа. А вся фигура – стилизованный образ иткульского полиморфа в бинарной оппозиции. Возможно,

аналогичная ситуация прослеживается и в семантике образов рыбинской находки [*Яковлев*, 2004: 92, ил. 1-1]. Автор в статье нашел аналогии в Адуйском/Исетском/Украинском идолах, но интерпретировал солнечные лучи над головой как диадему, принадлежность мира мертвых [там же: 97]. Между тем наличие двух профильных фигур хищников и их вертикальное положение мордой вверх также отсылают нас к иткульским антропоморфам с фигурой волка сбоку. Исходя из вышеизложенного, можно предположить более раннюю дату рыбинской находки, в отличие от возраста трех других из этой серии [там же: 92 ил. 1-*2–4*].

Во вторую группу кулайских «перевертышей» входят бакчарские находки, бинарное изображение лося-щуки – Кулайское культовое место, полиморфная фигурка – Кривошеинское культовое место. В данном случае можно отметить менее четко организованную оппозицию бинаризма, которая выражается в множественности образов, не противостоящих друг другу.

Бельтикова Г. В. Среда формирования и памятники зауральского (иткульского) очага металлургии // Археология Урала и Западной Сибири. – Екатеринбург, 2005. – С. 162–186.

Викторова В. Д. Находки на горе Азов / В. Д. Викторова, А. В. Непомнящих, О. В. Непомнящих // 120 лет археологии восточного склона Урала. – Екатеринбург, 1999. – С. 96–103.

Викторова В. Д. Почему на птицевидных изображениях появились личины // Уральский исторический вестник. – Екатеринбург : Академкнига, 2002. – С. 74–89.

Викторова В. Д. Клады на вершинах гор // Культовые памятники горно-лесного Урала. – Екатеринбург, 2004. – С. 158–173.

Зыков А. П. Холмогорский клад / А. П. Зыков, Н. В. Федорова. – Екатеринбург : Сократ, 2001. – 174 с.

Панина С. Н. Иконографический анализ образов культовой металлопластики иткульской культуры лесного Зауралья. Ранний железный век // Археология Арктики : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию открытия памятника археологии «Древнее святилище Усть-Полуй». – Екатеринбург : Деловая книга, 2012. – С. 170–175.

Полосьмак Н. В. Очерки семантики кулайского искусства / Н. В. Полосьмак, Е. В. Шумакова. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 92 с.

Труфанов А. Я. Кулайские перевертыши / А. Я. Труфанов, Ж. Н. Труфанова // Барсова гора. 110 лет археологических исследований. – Сургут, 2002. – С. 133–140.

Угорское наследие / А. П. Зыков, С. Ф. Кокшаров, Л. М. Терехова, Н. В. Федорова. – Екатеринбург : Внешторгиздат, 1994. – 159 с.

Чаиркина Н. М. Погребальные комплексы эпохи энеолита и раннего железного века. – Екатеринбург : НИСО УрО РАН, 2011. – 205 с.

Чемякин Ю. П. Металлические орнитоморфные изображения раннего железного века Восточной Европы, Урала и Западной Сибири (лесная и лесостепная зоны) / Ю. П. Чемякин, С. В. Кузьминых // Тверской сборник. – Тверь, 2011. – Вып. 8, ч. II. – С. 43–73.

Яковлев Я. А. Иллюстрации к ненаписанным книгам. Саровское культовое место. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2001. – 273 с.

Яковлев Я. А. В копилку урало-сибирской художественной металлопластики железного века // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. – Томск, 2004. – С. 91–124.

Д. Ю. Рыбаков

Россия, Северск, Музей города Северска

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОМСКОГО ПРИОБЬЯ В КОНЦЕ IV – II ВЕКЕ ДО Н. Э.

The materials of archaeological sites of Tomsk Ob region end 4–2 century BC associated with migration of kulaisk cultural-historical community. Showing their cultural characteristics. Based on available data raises the question of the allocation of local variant of kulaisk cultural-historical community in Tomsk Ob region.

Томское Приобье в VII–III вв. до н. э. являлось северной периферией обширной скифо-сибирской общности, где проживало население шеломокской культуры. Сейчас известно более 20 памятников этой культуры (поселение Кижирово II, Шеломок I, Шеломок II, Полигон, Самусь II, Лагерный сад, Нагорный Иштан, Каштаково), в том числе и два курганных могильника (Савинский, Аникин Камень I). В структуре поселенческиех комплексов отсутствуют городища. Единственным шеломокским городищем в Томском Приобье до недавнего времени считалось Козюлино II [*Борзунов*, 1994: 328–329; *Плетнева*, 2001: 211]. Однако проведенные в последние годы раскопки памятника дали материал времени переходного от бронзового к железному веку. Согласно ему городище Козюлино II датируется VIII–VI вв. до н. э. и отражает процесс возникновения шеломокской культуры на основе позднеирменского компонента [*Рудковская, Рыбаков*, 2004: 76; *Рудковская* 2008: 179–185].

Характерными чертами шеломокской культуры являются керамика и специфическое бронзовое литье, выполненное в скифо-сибирском стиле [*Плетнева*, 1977: 7–28; 2001: 210–212; *Троицкая*, 1999]. Последнее в основном представлено копытными и хищниками, а также птицами, выполненными в скифо-сибирском зверином стиле [*Плетнева*, 2012: 146–167]. Керамика шеломокской культуры подробно обработана и описана Л. М. Плетневой. Сосуды в основном имеют баночную форму и плоское дно. Венчики большинства сосудов прямые с горизонтальным или округлым срезом. Орнаментирована, как правило, верхняя часть сосуда. Из элементов орнамента преобладает жемчужник. В среднем число сосудов, орнаментированных чистым жемчужником или в сочетании с другими элементами, для всех памятников составляет от 59,8 до 69,6 %. Также при орнаментации шеломокских сосудов в незначительном количестве использовались лунки, резные линии, оттиски гребенки, оттиски-палочки, крестики, сквозные отверстия, желобки [*Плетнева*, 1973: 127–140].

Как было установлено Л. М. Плетневой, кулайские памятники в Томском Приобье не имеют местных корней и появляются в результате миграции с северных территорий [*Плетнева*, 1977: 91]. Начало этого процесса большинство исследователей относят к IV–III вв. до н. э., а причину видят прежде всего в ухудшении природно-климатических условий [*Чиндина*, 1979: 50; *Троицкая*, 1979: 21, 45; *Могильников*, 1986: 26–27]. Относительно недавно имеющиеся палеоклиматические данные для Северной Азии были значительно дополнены в результате построенной сверхдлинной древесно-кольцевой хронологии на основе перекрестного датирования образцов лиственницы Гмелина. В результате проведенных исследований были установлены аномальные периоды похолоданий и потеплений в последние 2,5 тыс. лет. Судя по полученным данным, период аномального похолодания охватывает Северную Азию с 366 по 265 гг. до н. э. [*Наурзбаев,* 2001: 17–25], следовательно, если южная волна миграции кулайцев явилась следствием ухудшения природно-климатических условий, то проникновение кулайцев в Томское Приобье могло произойти уже в последней трети IV в. до н. э.

На данный момент в пределах территории Томского Приобья выявлено 13 поселенческих комплексов, связанных с первоначальным проникновением кулайцев, а также 6 отдельных находок. Одна из важных особенностей кулайских памятников Томского Приобья конца IV–II вв. до н. э. заключается в характере поселенческих комплексов. Наиболее существенной их чертой является включение в структуру поселений городищ. Как правило, все они мысовые и защищены дуговидными и трапециевидными незамкнутыми системами фортификации (рис.: *1–3*). Три городища, расположенные по реке Томи, включают в систему фортификации элементы, которые предположительно можно связать с башенной архитектурой (рис.: *4*). Этот вопрос был рассмотрен нами в ряде публикаций [*Рыбаков*, 2009а: 147; 2010: 251–254]. Топографическая приуроченность к мысовым участкам – характерная черта городищ в Нарымском Приобье. В Новосибирском Приобье кулайские городища III–II вв. до н. э.

© Рыбаков Д. Ю., 2015

(Дубровинский Борок-2, Дубровинский Борок-4) относятся к террасному типу. В дальнейшем эта фортификационная особенность, когда городища привязываются к террасам, в Новосибирском Приобье получает развитие. В более позднее время здесь из шести кулайских городищ лишь одно является мысовым [*Росляков*, 1995: 73–79].

Памятники шеломокской культуры и находки (керамика, культовая металопластика) на них с территории Томского Приобья конца IV–II вв. до н. э.
Городища: *1* – городище Нагорный Иштан II; *2* – городище Чердашный Лог III, поселение Чердашный Лог X; *3* – городище Половинка I, поселение Половинка I; *4* – городище Рюзаково II [*Рыбаков*, 2009а: 147–148; 2010: 251–254; и др.].
Керамика: *5–7, 9, 12, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 30* – городище Рюзаково (Духовое);
14, 16–18, 22, 24 – поселение Рюзаково (Духовое); *19* – поселение Рюзаково III; *10, 11, 27, 28* – поселение Кижирово II; *13, 29* – Киндинское II городище; *8* – поселение Половинка I [*Панкратова*, 2012: 166–187; *Плетнева*, 1973: 129–151; 1977: 55; *Рыбаков*, 2011: 87–94; *Чиндина*, 1984: 76–93, 143; и др.].
Культовая металлопластика (зооморфные и простые антропоморфнные изображения):
31–33 – Степановская коллекция; *34* – находка Пороховые Склады; *35* – Оськинская находка [*Дураков*, 1995: 44–51; *Чиндина*, 1984: 72–76; и др.]

Вызывает интерес факт существования в Томском Приобье так называемых парных кулайских городищ. Из 12 известных на сегодняшний день городищ, связанных с начальной миграционной волной кулайцев, 10 являются парными, т. е. находятся на расстоянии от 20 до 1500 м друг от друга. Сейчас трудно говорить о том, существовали ли они одновременно. Раскопки парных городищ Рюзаково (Духовое) и Рюзаково II дали однотипную керамику, что, на наш взгляд, позволяет говорить об их синхронности. Похожая ситуация наблюдается в расположении потчевашских городищ Омского Прииртышья, когда два или более городищ группируются на ограниченной территории. Как считает Б. А. Коников, этот принцип строительства обеспечивал возможность тактического маневра осажденных и вынуждал к распылению сил нападавших [*Коников*, 1995: 76].

Еще одной характерной чертой поселенческих комплексов в Томском Приобье являются их значительные размеры. Так, в таежных областях количество западин на кулайских комплексах составляет от 2–3 до 10–15 единиц [*Чиндина*, 1984: 16]. В Томском Приобье этот показатель значительно выше и в среднем составляет 28 западин на одно поселение. Не исключено, что парность городищ и более крупные размеры поселений свидетельствуют о консолидации кулайского населения и связаны с военной конфронтацией, имевшей место при освоении ими новых территорий.

Керамика памятников Томского Приобья конца IV–II вв. до н. э несет в себе следы двухкомпонентности с преобладанием кулайских черт. Так, по данным морфологии верхней части сосудов, для них характерен прямой профиль венчика (62,3 %) с округлым (29,1 %) или горизонтальным (30,8 %)* срезом. Данные морфологические особенности керамики характерны и для сосудов шеломокской культуры. Так, для памятников V–III вв. до н. э. по форме венчика и его срезу наибольшую группу составляют прямые венчики с прямым обрезом края (31,8 ± 1,44 %) или с округлым обрезом края (34,8 ± 1,48 %). Общая численность группы – 66,6 ± 1,49 % [*Плетнева*, 1977: 55]. Значительная часть сосудов конца IV–II вв. до н. э. в Томском Приобье – плоскодонные, что также является характерной чертой шеломокской керамики, в то время как большинство сосудов васюганского этапа кулайской культуры были круглодонными или с заостренным дном [*Чиндина*, 1973: 161].

Проведенный технико-технологический анализ керамики поселения и городища Рюзаково (Духовое) показывает, что для изготовления формовочных масс характерно использование дресвы [*Рыбаков,* 2013]. Данная технология является местной традицией и свойственна для шеломокских сосудов. Зато она нетипична для керамики васюганского этапа, где в подавляющем большинстве использовался шамот [*Чиндина*, 1984: 143]. В то же время использование шамота для формовочных масс незначительной части сосудов Рюзаковского комплекса свидетельствует о смешении гончарных традиций. Значительная часть керамики Томского Приобья имеет на своих стенках следы заглаживания зубчатым предметом, что является характерной чертой кулайской керамики [там же: 144].

Ранее автором на материалах кулайских памятников Томского Приобья была произведена классификация керамики. Для периода, связанного с первоначальным этапом кулайского освоения данного региона, было выделено 5 групп [*Рыбаков*, 2011]. Было установлено, что орнаментация значительного числа сосудов также имеет следы двухкомпонентности. В первую очередь это выражено в большом количестве чистого жемчужника и его сочетаний (48,4 %), как правило, с ямками (рис.: *5, 9*). При этом следует отметить полное отсутствие проколотого жемчужника и практически полное отсутствие приплюснутого. Последний характерен для орнаментации васюганской керамики [*Чиндина*, 1973: 162]. Очень редко встречается мотив, когда под рядом жемчужника чередуется ряд ямок. Эта черта свойственна для кулайской керамики Нарымского Приобья [там же: 162]. В Томском Приобье преобладает мотив «ямочно-жемчужный пояс», когда жемчужник чередуется с ямками в одной строке.

Применение гребенчатого штампа характерно как для кулайской, так и для шеломокской керамики. Сам по себе он в данном случае не является культурным маркером, однако весьма показательным может быть орнаментальный мотив, который наносился с его использованием. Так, в Томском Приобье отсутствует двойной зигзаг, который использовался на васюганской керамике Нарымского Приобья [*Чиндина*, 1973: 162]. Очень редко используется горизонтальный и вертикальный гребенчатый штамп. Зато получает распространение наклонный (рис.: *6, 8*). Иногда его оттиски образуют елочный мотив (рис.: *7*). Значительная часть сосудов орнаментируется оттисками гладкой лопатки.

---

* Здесь и далее речь идет о памятниках, к которым была применена статистическая обработка керамики: городище Рюзаково (Духовое), поселение Рюзаково (Духовое), поселение, городище Чердашный Лог I, поселение Половинка I (всего 268 сосудов).

В целом число сосудов, орнаментированных оттисками гребенчатого штампа и лопатки, составляет 51,3 % (группа 1).

Использование горизонтальных рядов наколов уголка лопатки на незначительной части керамики является весьма характерным орнаментальным признаком культур скифо-сибирского мира. Число таких сосудов (рис.: *10–15*) на кулайских памятниках Томского Приобья конца IV–II вв. до н. э. невелико и в среднем составляет 5,3 % (группа 2).

Отдельно следует рассмотреть керамику, которая резко выделяется на фоне других сосудов. Число ее невелико и составляет в среднем 6,6 % (группа 3). Сосуды имеют большую размерную категорию. Орнаментальная композиция лаконична, как правило, она включает пояс, состоящий из ямок или жемчужин, ниже которых расположен ряд оттисков палочки или лопатки (рис.: *16–17*). Один сосуд этой группы реконструирован графически (рис.: *18*). Его остродонная форма весьма архаична. Судя по данным технико-технологического анализа, при его изготовлении использовалась своеобразная рецептура формовочной массы, включающей ожелезенную глину и мелкий песок в концентрации 1: 1–2 [*Рыбаков*, 2013: 88]. Почти всегда стенки таких сосудов имеют следы заглаживания зубчатым предметом.

Число сосудов, орнаментированных штампом «уточка», в среднем составляет 27,2 % (группа 4). Как правило, «уточка» сочетается с другими элементами орнамента – жемчужником, ямками, гладкой лопаткой, гребенчатым штампом, отступающей лопаткой или палочкой (рис.: *19–24*). Элементы, выполненные в отступающей технике нанесения, за редким исключением, встречаются лишь со штампом «уточка». Число сосудов с сочетанием «уточки» и элементов, выполненных в технике отступания (в подавляющем большинстве использовалась палочка и лопатка), составляет для памятников, подвергнутых статистической обработке, 9,7 % от общей выборки. Сочетание штампа «уточка» с отступающей лопаткой и палочкой не характерно для керамики группы 5 по классификации Л. А. Чиндиной [1984: 87–88]. В Новосибирском Приобье в могильнике Каменный Мыс зафиксировано всего три сосуда, орнаментированных отступающей палочкой. Использование элементов, выполненных в отступающей технике исполнения, и штампа «уточка» является весьма показательной чертой керамических комплексов кулайских памятников конца IV–II вв. до н. э. в Томском Приобье.

Одной из наиболее малочисленных групп является керамика, орнаментированная антропоморфными и антропо-зооморфными изображениями (группа 5). На данный момент можно говорить, что на территории Томского Приобья в рамках первого этапа известно 10 сосудов этой группы: один – с городища Рюзаково (Духовое) (рис.: *25, 26*), восемь – с поселения Кижирово II (рис.: *27, 28*), один – с Усть-Киндинского городища (рис.: *29*) [*Березовская*, 2006: 96; *Рыбаков*, 2009б: 63; *Панкратова*, 2012: 166–171]. Пока отсутствуют какие-либо данные о нахождении подобной керамики на других территориях, связанных с кулайской КИО, что дает основание предположить ее локальное, ограниченное Томским Приобьем, распространение.

Для кулайской керамики Томского Приобья не характерно использование треугольного штампа. Фактически можно говорить о его отсутствии в этот период. Такая же закономерность замечена Т. Н. Троицкой для первого и второго этапов новосибирского варианта кулайской культуры [*Троицкая*, 1973: 158; 1979: 44]. В свою очередь употребление треугольного штампа в Нарымском Приобье выступает хоть и не доминирующей, но весьма характерной чертой васюганской керамики. Еще одной особенностью керамики Томского Приобья является ее меньшая орнаментальная насыщенность по сравнению с кулайской керамикой из Нарымского Приобья. В среднем число строк на одном сосуде составляет 3,36 строки. К сожалению, для Нарымского Приобья отсутствуют какие-либо опубликованные статистические данные на этот счет. Однако, судя по материалам Степановского III поселения, которое датируется васюганским этапом кулайской культуры (раскопки Н. В. Торощиной), в среднем число строк на один сосуд составляет 7,44 строки.

Значительное количество сплесков бронзы, фрагментов литья, а также тигельной керамики свидетельствует о том, что металлообработка бронзы была широко распространена и производилась непосредственно в Томском Приобье. Анализ культовой металлопластики показывает, что в Томском Приобье в конце IV–II вв. до н. э. получает распространение литье, выполненное в кулайском стиле. В его сюжетном и стилистическом отношениях отсутствует какой-либо синкретизм с культовым литьем, типичным для шеломокской культуры. Стилистические особенности культовой металлопластики отличаются от керамического материала, где наблюдается смешение технологических, морфологических и орнаментальных традиций с преобладанием кулайских черт. Традиционно считается, что в древности носителями гончарных традиций являлись женщины [*Глушков*, 1996: 118]. Учиты-

вая, что в гончарном производстве и металлообработке отмечается явное половое разделение, можно предположить, что в ассимиляционные процессы со стороны шеломокцев было вовлечено прежде всего женское население. В целом для культовой металлопластики Томского Приобья первого этапа не характерны простые зооморфные изображения, включающие в свой сюжет один образ животного. Отсутствуют изображения копытных, в том числе и лосей. Последняя черта характерна также и для Сургутского Приобья [*Чемякин*, 2010: 330; 2013: 140]. По мнению И. А. Дуракова, изображение лося является специфической чертой кулайской культуры Нарымского Приобья [1995: 44–51]. В Томском Приобье основной массив находок состоит из сложных зооморфных изображений и простых антропоморфных (рис.: *30–35*).

Анализ материальной культуры показывает, что все исследованные памятники Томского Приобья конца IV–II вв. до н. э. имеют черты, характерные для кулайской КИО. В то же время, несмотря на значительное сходство, имеется ряд локальных отличий, характерных только для кулайских памятников Томского Приобья. Их наличие, на наш взгляд, позволяет поставить вопрос о выделении томского локального варианта кулайской КИО.

Березовская Н. В. Погружение в археологические древности на берегах Кинды и Тагана // Земля Кожевниковская. – Томск, 2006. – С. 95–105.

Борзунов В. А. Городища второй половины раннего железного века. Лесная зона и северная часть лесостепи // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. I. Кн. 1. Поселения и жилища. – Томск, 1994. – С. 318–330.

Глушков И. Г. Керамика как археологический источник. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – 328 с.

Дураков И. А. Образ лося в культовом литье кулайской культуры // Традиции и инновации в истории культуры. – Новосибирск, 1995. – С. 44–51.

Коников Б. А. Об эволюции оборонительных сооружений Омского Прииртышья эпохи железа // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. – Кемерово, 1995. – С. 74–79.

Могильников В. А. Взаимоотношение кулайской и саргатской культур // Краткие сообщения Ин-та археологии АН СССР. – 1986. – Вып. 189. – С. 25–29.

Наурзбаев М. М. История климата позднего голоцена на востоке Таймыра по данным сверхдлинной древесно-кольцевой хронологии / М. М. Наурзбаев, О. В. Сидорова, Е. А. Ваганов // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 3 (7). – С. 17–25.

Панкратова Л. В. Архитектоника антропо-зооморфных изображений на керамике Кижировского городища / Л. В. Панкратова, Л. М. Плетнева // Археолого-этнографические исследования Северной Евразии: от артефактов к прочтению прошлого. К 80-летию Светланы Вячеславовны Студзицкой и Михаила Федоровича Косарева. – Томск, 2012. – С. 166–187.

Плетнева Л. М. Керамика Томского Приобья эпохи раннего железа // ИИС. – Томск, 1973. – Вып. 7. – С. 129–151.

Плетнева Л. М. Томское Приобье в конце VIII–III вв. до н. э. – Томск : Изд-во ТГУ, 1977. – 142 с.

Плетнева Л. М. Шеломокская культура // Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: материалы к энциклопедии Томской области. – Томск, 2001. – С. 210–212.

Плетнева Л. М. Предметы скифо-сибирского звериного стиля из Томского Приобья. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2012. – 190 с.

Росляков С. Г. Укрепленные поселения кулайской культуры в Новосибирском Приобье // Археология вчера, сегодня, завтра. – Новосибирск, 1995. – С. 71–83.

Рудковская М. А. Исследования на Нижней Томи / М. А. Рудковская, Д. Ю. Рыбаков // Археологические открытия 2003 г. – Москва, 2004. – С. 76.

Рудковская М. А. Керамика городища Козюлино II // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. – Томск, 2008. – С. 179–185.

Рыбаков Д. Ю. Некоторые особенности фортификации кулайских городищ в Томском Приобье // Археология и этнография азиатской части России (новые материалы, гипотезы, проблемы и методы). – Кемерово, 2009а. – С. 147–148.

Рыбаков Д. Ю. Комплексные исследования городища Рюзаково (Духовое) // Проблемы археологии и истории Северной Евразии. – Томск, 2009б. – С. 57–67.

Рыбаков Д. Ю. Фортификация кулайских городищ в Томском Приобье // Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. – Томск, 2010. – С. 251–254.

Рыбаков Д. Ю. Керамический комплекс поселения Рюзаково (Духовое) // Вестн. ТГПУ. – 2011. – Вып. 11 (113). – С. 87–94.

Рыбаков Д. Ю. Результаты технико-технологического анализа кулайской керамики поселенческого комплекса Рюзаково (Духовое) / Д. Ю. Рыбаков, Н. Ф. Степанова // Вестн. ТГУ (История). – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 86–90.

Троицкая Т. Н. О культурной принадлежности могильника Каменный Мыс // ИИС. – Томск, 1973. – Вып. 7. – С. 152–160.

Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск : Наука, 1979. – 122 с.

Троицкая Т. Н. Еще раз о кижировской культуре / Т. Н. Троицкая, О. Е. Назарова // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул, 1999. – С. 199–203.

Чемякин Ю. П. Образ лося в кулайской пластике // Культура как система в историческом контексте. Опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. – Томск, 2010. – С. 327–330.

Чемякин Ю. П. Культовая металлопластика сургутского варианта кулайской культуры // Вестн. ТГУ (История). – 2013. – № 2 (22). – С. 137–141.

Чиндина Л. А. Культурные особенности среднеобской керамики эпохи железа // ИИС. – Томск, 1973. – Вып. 7. – С. 161–174.

Чиндина Л. А. О миграциях кулайцев // Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири. – Томск, 1979. – С. 48–51.

Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа (кулайская культура). – Томск : Изд-во ТГУ, 1984. – 255 с.

Ю. П. Чемякин

Россия, Екатеринбург, Уральский государственный педагогический университет

О НИЖНЕЙ ДАТЕ И АРЕАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

The views of L. A. Chindina on the origin of Kulay culture and the formation of community are scrutinized. Statistics are given on the research of monuments on different territories. A conclusion is made on the formation of regional Kulay cultures and community on the turn of IV–III centuries BC in the middle taiga zone of Western Siberia.

Кулайские древности были открыты еще в конце XIX в., но лишь находки на горе Кулайка и ряд подобных местонахождений позволили И. М. Мягкову впервые охарактеризовать «культуру типа Кулайки» [1929: 75]. Еще через четверть века свое представление о кулайской археологической культуре высказал В. Н. Чернецов [1953]. Сегодня кулайской культуре (общности) посвящено немало трудов, отметим лишь работу Т. Н. Троицкой [1979] и обобщающую монографию Л. А. Чиндиной [1984а]. С расширением источниковой базы по раннему железному веку западносибирской тайги, выделением новых археологических культур ряд положений последней работы вошел в противоречие с этими материалами, развернулись дискуссии, в том числе связанные с методологическими аспектами (критерии выделения культуры, соотношение понятий «археологическая культура», «локальный вариант культуры», «культурно-историческая общность» и др.). Возникает представление о так называемой кулайской триаде, включающей оружие, культовое литье и своеобразную керамику, украшенную фигурными штампами («уточкой») [*Чиндина* 1984а: 122, 177; 2006: 410; *Борзунов*, *Чемякин*, 2006: 80].

Подводя итоги дискуссии на II Северном археологическом конгрессе, Л. А. Чиндина обозначила проблемы «кулаеведения» и высказала предложения для их решения, в том числе: «1. Договориться

© Чемякин Ю. П., 2015

о понятиях “культура” и “общность” на разных этапах кулайской истории. 2. Обратить особое внимание на проблему миграции в истории культуры. 3. Принять решение по поводу усть-полуйской культуры…» [2006: 416]. Прошло еще 8 лет, но решение этих проблем не сдвинулось с места (исключение – диссертация Д. А. Рыбакова, посвященная кулайской археологической культуре в Томском Приобье [2014]). Рассмотрим ситуацию, связанную с первым вопросом.

На семинаре 1976 г. в Новосибирске были высказаны разные взгляды на происхождение кулайских древностей [*Ранний железный век*…, 1978; *Чиндина*, 1984а: 113–115]. Л. А. Чиндина определила Нарымское Приобье как территорию генезиса культуры, добавив, что в этот ареал входило и Сургутское Приобье. По ее мнению, культура возникла в результате взаимодействия традиций еловской и молчановской культур. Первый – васюганский – этап охватывал период с VI (V) по II–I вв. до н. э. [1984а: 114, 118–120]. В основе гипотезы лежат материалы Степановского комплекса памятников (4 поселения и 1 городище раннего железного века). В нем исследованы остатки 15 жилищ, в которых найдены обломки примерно 260 сосудов [*Чиндина*, 1984б: 31]. Так как памятники расположены недалеко друг от друга, можно допустить, что они представляют собой развитие одного поселка (общины) во времени. Хотя крупные поселения (из 9–14 впадин) могут представлять совокупность руинированных остатков разновременных (но однокультурных) поселков. Монографического издания Степановского комплекса с публикацией комплексов каждого жилища пока нет, а совокупная статистика распределения орнаментальных групп на керамике по поселениям исключает анализ возможной разновременности жилищ на одном памятнике [там же: 46–47, табл. 4–5]. По нашим представлениям, тенденция развития орнамента на кулайской керамике Л. А. Чиндиной выявлена верно и близка той, что наблюдается в Сургутском Приобье. Отметим, что на самом раннем поселении – Степановском III – вскрыто одно жилище, немногочисленные сосуды из него котловидной или близкой к ней формы, отсутствуют украшенные фигурными штампами, в том числе «уточкой». Подобная посуда есть и на других поселениях, но там изучено по 3–4 жилища, и не ясно распределение разных групп керамики внутри них. Ю. Ф. Кирюшиным исследовано 1 жилище эпохи раннего железа на Нововасюганском поселении. Керамика из него сопоставима с посудой 2-й и 3-й групп [по: *Чиндина*, 1984а][*] и не содержит сосудов, украшенных фигурными штампами. Относительно большая коллекция керамики 2–4-й групп получена из траншеи, заложенной на Нововасюганском городище[**]. Там же найдено несколько фрагментов сосудов 5-й группы. Масштабы раскопок не позволяют судить о продолжительности существования обоих памятников и, соответственно, о единовременности выделенных керамических типов. Больше в Нарымском Приобье нам не известно раскопанных построек с ранневасюганской керамикой или другой, датирующейся в промежутке между концом бронзового века и началом собственно кулайской культуры. Кулайская «триада» в перечисленных памятниках представлена лишь обломками литейных форм и наконечника стрелы.

Л. А. Чиндина включила в ареал формирования кулайской археологической культуры и Сургутское Приобье [1984а: 118; 2006: 410]. Здесь в результате работ уральских археологов исследован огромный пласт разновременных древностей. Памятники эпохи поздней бронзы представлены барсовской (раскопано около 20 построек) и атлымской (около 30 построек) культурами, генетически связанными с общностью керамики с гребенчато-ямочным орнаментом (представляющими ее поздний этап). Известны памятники переходного времени, которые мы относим к началу белоярской культуры – селища Барсова гора I/40 и III/76. На них исследовано 10 жилых и 9 хозяйственных построек [*Чемякин*, 2008: 69–70, рис. 52–53]. Белоярская археологическая культура сформировалась в результате взаимодействия носителей барсовской и атлымской археологических культур и, по нашим представлениям, существовала в VIII–VII – IV–III вв. до н. э. Узко датирующих вещей в ней не найдено, а имеющиеся радиоуглеродные даты вписываются в этот хронологический отрезок. Всего в Сургутском Приобье открыто около 100 белоярских памятников, раскопано около 130 жилых и 30 хозяйственных построек, 2–3 погребения. Для культуры характерны котловидные кругло- и остродонные

[*] Л. А. Чиндиной представлены две различающиеся группировки посуды Степановского комплекса. Согласно одной, в нем выделены 4 группы с тремя вариантами в 1-й и двумя – во 2-й [*Чиндина*, 1984б]. Согласно другой, в нем 5 групп (3–7), причем 7-я относится к саровскому типу и есть только на Степановском IV поселении [*Чиндина*, 1984а: 84–88, 92–93, табл. 8].

[**] Ю. Ф. Кирюшиным и Л. В. Панкратовой представлены собственные типологии керамики Нововасюганских памятников, что затрудняет их сравнение со Степановским комплексом [*Кирюшин*, 1975; 2002]. Мы попытались унифицировать все типологии с группировкой Л. А. Чиндиной [1984а].

сосуды, в том числе на поддонах, единичные предметы культовой металлопластики; на селище Барсова гора III/36 найден трехлопастной наконечник стрелы [*Чемякин*, 2008: 66–74, рис. 45–58].

В этот же период, но несколько позже его начала, на этой территории появляется новое население, оставившее древности калинкинской археологической культуры. Известно более 50 селищ, городищ и местонахождений этой культуры, на которых изучено около 60 построек. Видимо, миграция произошла из более южных или юго-восточных районов Западной Сибири, на ряде калинкинских поселений найдены кости лошади. Отмечалось некоторое сходство калинкинских сосудов с керамикой Нововасюганского поселения и новочекинской культуры [*Чемякин*, 1981: 68; *Кирюшин*, 2002: 87–89, 95]. В целом же для них характерна чашевидная и котловидная формы, круглое дно, есть поддоны [*Чемякин*, 2008: 74–78, рис. 59–67]. На ряде памятников найдено культовое литье.

Среди белоярской и калинкинской посуды мало горшковидных форм, почти не встречается штамп в виде «уточки». Известны 21 предмет культовой металлопластики на белоярских поселениях и 7 – на калинкинских. Уже упоминался наконечник стрелы кулайского типа на белоярском селище. Таким образом, наблюдается зарождение «кулайской триады», но говорить о культуре, на наш взгляд, еще рано. Большой временной отрезок между древностями конца бронзового века и окончательным оформлением этой триады, документированный материалами более чем 200 исследованных построек в Сургутском Приобье, анализ известных материалов Нарымского Приобья позволили мне говорить о предкулайском этапе раннего железного века. В Сургутском Приобье он представлен белоярской и калинкинской культурами, в Нарымском – памятниками с васюганской керамикой 2–4-го типов [по: *Чиндина*, 1984а], поэтому было предложено назвать его белоярско-васюганским. В бассейне реки Конды ему соответствуют кульминские древности, в Среднем Прииртышье – памятники богочановской археологической культуры, в Барабе – новочекинской, в Томском Приобье – шеломокской (кижировской).

Кулайский этап, по нашим представлениям, датируется с рубежа IV–III вв. до н. э. и длится до рубежа III–IV вв. н. э. Но на разных территориях он датируется по-разному, что отчасти объясняется характером контактов, разновременностью миграций и т. д. Ареал формирования культуры – Нарымское и Сургутское Приобье. Возможно, в него входят Нижнее Прииртышье, бассейн Конды и Нижнее Приобье, но число исследованных там памятников пока не позволяет судить об этом определенно. В Нарымском Приобье ему соответствуют памятники с керамикой 5–9-го типов [по: *Чиндина*, 1984а], раскопано чуть более 20 построек на 5–6 памятниках. Их генезис связан с ранневасюганскими древностями. В Сургутском Приобье изучено около 100 построек на почти 40 памятниках, 4 могильника и отдельные погребения, клады, святилище, что позволило наметить периодизацию культуры на этой территории [*Морозов, Чемякин*, 2005; *Чемякин*, 2008: 78–94, рис. 68–88]. Ее происхождение связано с ассимиляцией пришлого населения (калинкинской археологической культуры) местным (белоярской археологической культурой). Таким образом, сформировались два варианта кулайской археологической культуры, или две кулайские культуры – нарымская и сургутская, различающиеся генезисом, отдельными элементами материальной культуры. Ряд общих черт – наличие «кулайской триады», типы построек, некоторые типы посуды, оружия – позволяют объединить их в КИО, складывающуюся на рубеже IV–III вв. до н. э. на обширной территории западносибирской тайги.

В бассейне Конды открыто более 60 кулайских памятников, раскопано около 15 построек на селищах и городищах. Керамика, найденная на них, сопоставима с ранне- и позднекулайской в Сургутском Приобье. Кулайским древностям в этом регионе предшествуют кульминские, близкие белоярским. Таким образом, здесь тоже есть подоснова для формирования местной кулайской культуры.

Аналогичная ситуация сложилась и для Нижнего Приобья, где открыто более 30 кулайских (усть-полуйских) памятников, включая такие, как городища Усть-Полуй, Няксимволь, Шеркалинский могильник. Есть основания предполагать, что усть-полуйская культура имеет местные корни.

Таким образом, на наш взгляд, кулайская культура (культуры) сразу формируется как огромная КИО, глубинные корни которой связаны с КИО керамики с гребенчато-ямочным орнаментом эпохи бронзы [*Чемякин*, 2006], а не образуется в результате массовых миграций «кулайцев» на саровском этапе [*Чиндина*, 1984а: 175].

Борзунов В. А. Ранний железный век таежного Обь-Иртышья: итоги и перспективы исследований / В. А. Борзунов, Ю. П. Чемякин // Археологическое наследие Югры. – Екатеринбург ; Ханты-Мансийск, 2006. – С. 68–108.

Кирюшин Ю. Ф. Нововасюганское поселение // ИИС. – Томск, 1975. – Вып. 16. – С. 29–48.

Кирюшин Ю. Ф. Нововасюганское городище / Ю. Ф. Кирюшин, Л. В. Панкратова // Тр. МАЭС ТГУ. – Томск, 2002. – Т. 1. – С. 67–96.

Мягков И. М. Древности Нарымского края в собрании Томского краевого музея // Тр. Том. обл. краевед. музея. – Томск, 1929. – Т. II. – С. 51–88.

Морозов В. М. Береговые кулайские городища на Барсовой Горе / В. М. Морозов, Ю. П. Чемякин // Археология Урала и Западной Сибири (К 80-летию со дня рожд. В. Ф. Генинга). – Екатеринбург, 2005. – С. 201–230.

Ранний железный век Западной Сибири. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1978. – 100 с.

Рыбаков Д. Ю. Томское Приобье в конце IV/III вв. до н. э. – IV в. н. э. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 2014. – 24 с.

Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск : Наука, 1979. – 124 с.

Чемякин Ю. П. Городища Барсов городок I/13 и I/14 // Проблемы западносибирской археологии. Эпоха железа. – Новосибирск : Наука, 1981. – С. 62–69.

Чемякин Ю. П. Кулайская культурно-историческая общность // II Северный археологический конгресс. – Екатеринбург ; Ханты-Мансийск, 2006. – С. 376–403.

Чемякин Ю. П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. – Сургут ; Омск : Ом. дом печати, 2008. – 224 с.

Чернецов В. Н. Усть-полуйское время в Приобье // МИА. – Москва, 1953. – № 35. – С. 221–241.

Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984а. – 256 с.

Чиндина Л. А. Орнамент керамики степановских памятников // Искусство и фольклор народов Западной Сибири. – Томск, 1984б. – С. 30–51.

Чиндина Л. А. Проблемы кулайской культуры: вчера и сегодня // II Северный археологический конгресс. Доклады. – Екатеринбург ; Ханты-Мансийск, 2006. – С. 404–421.

Ю. П. Чемякин

Россия, Екатеринбург, Уральский государственный педагогический университет,
ООО «Научно-аналитический центр «АВ КОМ – Наследие»

УСТЬ-ПОЛУЙ: ГОРОДИЩЕ, СВЯТИЛИЩЕ, КУЛЬТУРА

A brief historiographical review of the ideas of Oust-Polouy is given, research areas and marked. The author considers that Oust-Polouy emerged as a fortified settlement which later became a sanctuary. Oust-Polouy culture was a part of Kulay cultural-historical whole, however its local genesis is possible.

С момента открытия в 1932 г. и первых раскопок 1935–1936 гг. Усть-Полуйское городище привлекло к себе повышенное внимание. Известный советский археолог В. И. Равдоникас писал своему финскому коллеге А. М. Тальгренну: «Поразительные вещи привез наш молодой сотрудник В. Адрианов из раскопок, которые он летом произвел на Оби… Около 7000 предметов, из них более 1500 изделий из кости совершенно исключительных художественных достоинств… Пишу Вам это под свежим впечатлением, т. к. только что видел эти вещи. Это буквально мировое открытие» [цит. по: *Федорова*, 2006]. Трагическая судьба В. С. Адрианова и его полевой документации на долгие годы затруднила изучение уникальных коллекций. Только в 1953 г. вышла серия статей В. Н. Чернецова и В. И. Мошинской с интерпретацией памятника [*Чернецов*, 1953а–в; *Мошинская,* 1953а–в], была выделена усть-полуйская культура раннего железного века, предложена концепция культурогенеза на севере Западной Сибири [*Чернецов*, 1957].

Последующие открытия в конце 1960–1970-х гг. в таежном Обь-Иртышье заставили пересмотреть ряд положений этой концепции, в том числе представления об истоках усть-полуйской археоло-

© Чемякин Ю. П., 2015

гической культуры. Была признана многослойность памятника, разнородность и разновременность керамического комплекса. Переосмысление последнего привело к признанию части его близким кулайскому или даже саровским [*Мошинская*, 1978; *Чиндина*, 1984: 165–169; 1985], а части – аналогичным раннесредневековому бичевницкому [*Мурыгин*, 1985: 88–91]. В. А. Могильников [1990: 10–12] включил в усть-полуйскую археологическую культуру как локальные варианты древности белоярской археологической культуры (Сургутское Приобье) и синдейского типа (лесное Зауралье), а М. Ф. Косарев предложил расширить ее территориальные (включив «синдейский и кондинский варианты») и хронологические (выделив усть-полуйский, ярсалинский и карымский этапы) рамки. На карте «Западная Сибирь в начале эпохи железа (середина I тыс. до н. э.)» им обозначена огромная усть-полуйская общность, включающая и белоярские памятники [*Косарев*, 1991: 22–24, карта 5; 1993: 63–65]. Такое разнообразие в представлениях об усть-полуйской археологической культуре привело к другой крайности – уральские археологи предложили вообще отказаться от понятия «усть-полуйская культура», признавая разновременность памятника и то, что его основной комплекс связан с кулайской археологической культурой [*Морозов*, 1996; *Чемякин*, 1995].

Сегодня в Нижнем Приобье открыто более 30 памятников с кулайской керамикой, включая такие широко известные, как городища Усть-Полуй, Няксимволь, Шеркалинский могильник. В. М. Морозовым на трех памятниках раскопаны четыре постройки с подобной посудой. Возобновились раскопки Усть-Полуя. Но современные 12-летние(!) исследования городища вызывают больше вопросов, чем дают ответов – в научный оборот вводятся уникальные вещи, но до сих пор не понятны ни стратиграфия, ни планиграфия, ни характер памятника; признано, что памятник многослойный (или долговременный), но хронологические комплексы на нем не выделены, огромная керамическая коллекция все еще не проанализирована. Остроту проблемы показала международная конференция в Салехарде, посвященная 80-летию открытия памятника [*Археология Арктики*..., 2012]. Наиболее концентрированно она прозвучала в докладе Е. М. Данченко [2012]. В своеобразном ответе post factum А. В. Гусев и Н. В. Федорова [2012] перечислили объекты, выявленные ими на городище, однако все они были даны без анализа стратиграфии, сопутствующих комплексов и их датировки. Фразы типа «основной комплекс находок из культурного слоя памятника довольно единообразен и не вызывает никаких сомнений в его «автохтонности» и одновременности», «не вполне обычный характер керамики Усть-Полуя» и им подобные не подкреплены анализами конкретного материала и не разделяются многими коллегами, осмотревшими коллекции*.

На наш взгляд, давно сложилась ситуация, когда необходимо приостановить раскопки и осознать все накопанное. Следует систематизировать весь материал, в первую очередь классифицировать и датировать керамический комплекс, выявить связи выделенных керамических групп с индивидуальными находками и зафиксированными объектами и т. п. [см.: *Данченко*, 2012], после чего обозначить вопросы, на которых необходимо сосредоточиться при дальнейших раскопках. Не исключено, что для их решения придется изменить методику раскопок. Полевые работы необходимо сопровождать максимально полными фото- и видеофиксациями такого качества, чтобы можно было возвращаться к ним и позднее. Но это лучше сделать, пока сохраняется такая возможность, пока не весь памятник раскопан. Грустно будет отмечать post factum, что для решения уже не решаемых проблем надо было менять стратегию изучения памятника.

Пока же представляется, что Усть-Полуй – уникальный полифункциональный и поликультурный памятник, возникший как поселение (городище), на площадке которого существовали и сакральные места. Впоследствии он функционировал как святилище, вплоть до раннего средневековья. Вопрос о культурных составляющих памятника пока остается открытым, хотя ряд компонентов обозначен уже давно. На городище-святилище присутствуют перегребнинская, кулайская, ярсалинская, гляденовская, бичевницкая керамика и не только. Ни стратиграфия, ни планиграфия распространения этих типов на памятнике не ясны. Что касается усть-полуйской культуры, то для решения этого вопроса чрезвычайно важен анализ керамики Усть-Полуя, сопоставление ее с посудой Шеркалинского могильника, других памятников эпохи раннего железа, исследованных в Нижнем Приобье и на сопредельных территориях, а также раскопки новых памятников. Удивительно, но в прекрасном издании Няксимволя [*Няксимволь*, 2014], многими относимого к усть-полуйской археологической культуре, также отсутствует раздел, посвященный керамике. В Нижнем Приобье открыты и частично

* Автор выражает благодарность устроителям конференции, и в первую очередь Н. В. Федоровой и А. В. Гусеву, за возможность ознакомиться с коллекциями Усть-Полуя, а также участвовать в его раскопках.

раскопаны объекты с кульминской посудой, исследованы поселения перегребнинского и синдейского типов. То есть известен культурно-хронологический пласт древностей, подобных тем, на основе которых складывалась кулайская культура Сургутского Приобья. Поэтому есть основания полагать, что в Нижнем Приобье усть-полуйская культура, входившая в кулайскую культурно-историческую общность и датирующаяся, по нашему мнению, не ранее рубежа III–II вв. до н. э., имеет местные корни. Но это предположение требует дальнейшего изучения и обоснования.

Археология Арктики : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию открытия памятника археологии «Древнее святилище Усть-Полуй» (Салехард, 27–30 нояб. 2012 г.). – Екатеринбург : Деловая пресса, 2012. – 224 с.

Гусев А. В. Древнее святилище Усть-Полуй: размышления post factum / А. В. Гусев, Н. В. Федорова // Археология Арктики. – Екатеринбург, 2012. – С. 22–29.

Данченко Е. М. Усть-Полуй в системе урало-сибирских древностей // Археология Арктики. – Екатеринбург, 2012. – С. 86–90.

Косарев М. Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. – Москва : Наука, 1991. – 302 с.

Косарев М. Ф. Из древней истории Западной Сибири. Общая историко-культурная концепция // Российский этнограф. – 1993. – Вып. 4. – С. 63–65.

Могильников В. А. Этнокультурная история Западной Сибири в средние века : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Москва, 1990. – 47 с.

Морозов В. М. Новое в изучении усть-полуйской культуры // XIII Уральское археологическое совещание. – Уфа, 1996. – Ч. II. – С. 40–41.

Мошинская В. И. Жилище усть-полуйской культуры и стоянка эпохи бронзы в Салехарде // МИА. – Москва, 1953а. – № 35. – С. 179–188.

Мошинская В. И. Керамика усть-полуйской культуры // МИА. – 1953б. – № 35. – С. 107–120.

Мошинская В. И. Материальная культура и хозяйство Усть-Полуя // МИА. – 1953в. – № 35. – С. 72–106.

Мошинская В. И. Современное состояние вопроса о роли южного компонента в древней культуре населения Крайнего Севера и Западной Сибири // Этнокультурная история населения Западной Сибири. – Томск, 1978. – С. 56–72.

Мурыгин А. М. Поселения бичевницкого типа на Печоре и Вычегде и их место в истории северо-уральского населения // Археологические памятники Северного Приуралья. – Сыктывкар, 1985. – С. 81–97. – (МАЕСВ ; вып. 9).

Няксимволь / отв. ред. Я. А. Яковлев. – Томск ; Ханты-Мансийск : Изд-во Том. ун-та, 2014. – 196 с.

Федорова Н. В. Родословная ямальского раскопа // Северные просторы. – 2006. – № 1–2. – С. 80–90. – URL: http://www.yamalarchaeology.ru/index.php?func=viewpag (дата обращения: 16.07.2015).

Чемякин Ю. П. Еще раз об усть-полуйской культуре // Методика комплексных исследований культур и народов Западной Сибири. – Томск, 1995. – С. 201–203.

Чернецов В. Н. Бронза усть-полуйского времени // МИА. – 1953а. – № 35. – С. 121–178.

Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. – 1953б. – № 35. – С. 66–68.

Чернецов В. Н. Усть-полуйское время в Приобье // МИА. – 1953в. – № 35. – С. 221–241.

Чернецов В. Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры. Обзор и классификация материала // МИА. – 1957. – № 58. – С. 136–245.

Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – 256 с.

Чиндина Л. А. Проблемы культурно-хронологического определения усть-полуйских памятников // Урало-алтаистика. Археология, этнография, язык. – Новосибирск, 1985. – С. 38–43.

О. С. Шерстобитова

Россия, Омск, ООО «РАДИУС»

КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА В СРЕДНЕМ ПРИИРТЫШЬЕ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*

The article is devoted the genesis and interaction kulayskoy culture in the Middle Irtysh. The main sources are ceramic complexes. Analysis of the ceramics found the evidence of the early stage of culture (IV–II centuries BC). The study found evidence of the funeral rites of interaction kulayskoy and sargatkskoy cultures and the early Iron Age.

Несмотря на то, что кулайская культура считается одной из наиболее изученных в Западной Сибири, многие вопросы ее истории остаются до сих пор открытыми. В первую очередь к их числу относится проблема происхождения культуры. Среди исследователей нет единой точки зрения о компонентах сложения новой культуры раннего железного века, об исходной территории и времени ее формирования. В настоящее время существует две точки зрения относительно генезиса кулайской культуры: первая связывает зарождение культуры с Сургутским Приобьем [*Чемякин*, 2008], вторая – с Томско-Нарымским Приобьем [*Чиндина*, 1984]. Исследователи единодушны в том, что применительно к территории Среднего Прииртышья кулайская культура является пришлой, но вопрос, связанный с источником и временем проникновения на эти земли кулайских племен, до сих пор не имеет ответа.

Как известно, в основе хронологического деления кулайской культуры на этапы (ранний – васюганский, поздний – саровский, по Л. А. Чиндиной) лежит главным образом эволюция керамических комплексов. На территории Среднего Прииртышья их насчитывается достаточное количество для того, чтобы получить объективную картину протекавших здесь культурно-исторических процессов. В историографии продолжают существовать две относительно не новые точки зрения на проблему истоков и времени появления носителей кулайской традиции в Среднем Прииртышье. Ю. П. Чемякин считает, что на территории Среднего Прииртышья и Барабы собственно кулайские памятники появляются не ранее рубежа эр и существуют не более 300–400 лет, постепенно исчезая [*Чемякин*, 2008: 64]. Л. А. Чиндина, напротив, полагает, что Среднее Прииртышье и Бараба не только были населены носителями кулайской традиции уже в V–IV вв. до н. э., но и являлись одной из территорий формирования кулайской культуры. Для Барабинской лесостепи, по мнению исследователя, основой формирования послужили памятники новочекинской культуры, применительно к территории Среднего Прииртышья такой основой могла стать богочановская традиция [*Чиндина*, 1984: 164]. Богочановская культура, по мнению некоторых исследователей, напрямую связана с местными позднебронзовыми традициями, что отразилось в орнаментике раннего – журавлевского – этапа богочановской культуры [*Данченко*, 1996]. Однако на данный момент очевидных подтверждений этому тезису нет, что неоднократно было аргументировано автором [*Шерстобитова*, 2011].

Богочановская керамика, в свою очередь, также не обнаруживает прямых аналогий в «керамическом коде» кулайской культуры. Более того, на Красноярском городище (раскопки Е. М. Данченко, южнотаежное Прииртышье) обнаружено сосуществование богочановской и кулайской посуды, которая достаточно четко дифференцируется.

Таким образом, в свете новых данных тезис Л. А. Чиндиной о том, что богочановская традиция могла являться основой для формирования кулайской культуры на Иртыше не кажется столь убедительным, однако не стоит сбрасывать со счетов сам факт присутствия на этой территории ранней – васюганской – керамики кулайской культуры, о чем красноречиво свидетельствует материал ряда Прииртышских памятников.

До настоящего времени было принято считать, что территория Среднего Прииртышья была заселена племенами кулайской культуры относительно поздно (не ранее II в. до н. э., на саровском этапе существования культуры). Это подтверждалось типично «саровским» обликом кулайской посуды на городищах Большой Лог, Красноозерки и т. д. Однако проведенный комплексный анализ кулайской керамики памятников Тарского Прииртышья позволил поставить вопрос о значительном

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 11-31-00346а2.

© Шерстобитова О. С., 2015

удревнении времени проникновения на данную территорию кулайской традиции. Так, анализ керамики городищ Алексеевка-XIX и Надеждинка-V (раскопки С. Ф. Татаурова и С. С. Тихонова соответственно) выявил черты, позволяющие соотносить ее с васюганским этапом культуры, предоставив ценнейшие данные о времени первых свидетельств пребывания носителей кулайской традиции на прииртышской земле. Керамика этих памятников условно делится на две большие группы – фигурно-штампованную с преобладанием штампа в виде чередующихся рядов вертикальной, горизонтальной и наклонной «уточки», а также посуду, украшенную рядами наклонных оттисков гладкого или гребенчатого штампа. Срез венчиков, как правило, украшен доминирующим на орнаментальном поле сосуда штампом, что добавляет дополнительную органичность орнаментальной композиции каждого сосуда. Преобладает как скошенный внутрь, так и прямые срезы венчиков, «карнизик» на внутренней стороне венчика отсутствует. В орнаментации кулайской керамики Алексеевки-XIX отсутствует «жемчуг», что делает ее облик еще более архаичным и сближает с синхронными комплексами, описанными Т. Н. Троицкой для территории Новосибирского Приобья [*Троицкая*, 1979: 16]. Кулайская посуда, исследованная на Алексеевке-XIX, находит полные аналогии среди всех групп, выделенных Л. А. Чиндиной для раннего – васюганского – этапа культуры.

Говоря о генезисе кулайских древностей на территории Сургутского, Нарымского и Томского Приобья, упомянутые выше исследователи приходят к мнению о преобладании местного – позднебронзового – компонента в составе кулайской культуры. Для территории Сургутского Приобья это барсовско-калинскинские группы, для Томского и Нарымского – еловско-молчановские, для Новосибирского – большереченские. Территория Среднего Прииртышья, как было отмечено ранее, никогда не рассматривалась авторами в качестве исконной для кулайской культуры, однако есть все основания обратить внимание на предшествующую – красноозерскую – культуру самого финала эпохи бронзы и на памятники журавлевского типа переходного к раннему железному веку времени. При анализе их «керамического кода» обнаружилось множество общих черт, роднящих указанные керамические группы с кулайской традицией. В первую очередь это касается фигурных («крестовых», «струйчатых») штампов, традиции расположения некоторых элементов орнамента в шахматном порядке, широкого использования так называемого паркетного орнамента и т. д. Протокулайские реплики также отчетливо проступают в красноозерской культуре на финальном – инберенском – этапе развития в виде протокулайских наконечников стрел, известных по материалам городища Инберень-VI в Среднем Прииртышье [*Абрамова,* 1985]. Пока приведенные здесь позднебронзовые аналогии лишь отдельные наблюдения автора, которые требуют дальнейшей разработки и анализа источниковой базы.

Второй небезынтересный аспект кулайской проблематики на территории Среднего Прииртышья связан с вопросом межкультурного взаимодействия, который проявляется наиболее выпукло при анализе погребальных комплексов. В свете последних исследований автора данная задача приобрела особую значимость. В 2011 г. экспедицией Дирекции национального археологического и природного парка «Батаково» было проведено исследование двух курганов могильника Красноярка-9 (Омская область, Омский район), давшее интересные факты по интересующей нас проблеме.

Оба исследованных кургана оставлены одним населением: центральные могилы устроены на материке; захоронения совершены в вытянутом положении, на спине, головой на северо-запад. Характерной особенностью также является почти полное отсутствие сопроводительного инвентаря. Основываясь на анализе орнаментальных и морфологических свойств обнаруженной керамики, курганный могильник Красноярка-9 можно интерпретировать как смешанный саргатско-кулайский: саргатская и кулайская (саровская) культуры заключительного этапа раннего железного века.

Керамика из погребений находит аналогии в кулайских памятниках Западной Сибири. Практически полная аналогия известна среди находок могильника Ордынское-1 в Новосибирском Приобье [*Троицкая*, 1979: 102]. По наблюдениям Т. Н. Троицкой, облик кулайской культуры в Новосибирском Приобье значительно видоизменен под влиянием местной большереченской традиции, что выразилось в том числе и в орнаментально-морфологических характеристиках посуды: вся она имеет смешанный облик, «остепненный» влиянием большереченской культуры. Аналогичные выводы можно сделать при анализе синхронных погребальных комплексов с наличием кулайской посуды в Среднем Прииртышье. В курганах могильника Красноярка-9 присутствует как кулайская, так и саргатская посуда, чье совместное нахождение в пределах одного курганного пространства дополнительно подтверждает наши наблюдения. Очень интересным фактом является и то, что, помимо собственно сосуществования двух перечисленных традиций, в Среднем Прииртышье зафиксированы случаи их полного и подчас парадоксального смешения. В частности, в двух курганах саргатского могильника

Исаковка-1 (Омская область, Горьковский район, раскопки Л. И. Погодина) обнаружены кулайские сосуды. В одном случае кулайский сосуд сосуществовал совместно с классической саргатской посудой, во втором – обнаружены два весьма специфических сосуда: морфологически они полностью воспроизводят традиции саргатского гончарства, в то время как орнаменты на них выполнены в классическом кулайском стиле. Подобные формы известны в Новосибирском Приобье среди материалов могильника Каменный мыс [там же: 93, 97].

Перечисленные свидетельства глубоких интегративных процессов между двумя достаточно различными культурными образованиями имеют для западносибирской археологии особую ценность. Присутствие, наравне с кулайской, значительной доли саргатской керамики указывает на очевидные процессы взаимодействия обеих культурных традиций. Проявление таких процессов на уровне элементов погребальной обрядности говорит о далеко зашедших процессах, поскольку консервативный по своей сущности погребальный обряд наименее подвержен каким бы то ни было изменениям, в отличие от хозяйственно-бытовой сферы жизнедеятельности любого общества.

На сегодняшний день проблема недостаточности изучения источниковой базы, неразработанности и неосвещенности ряда вопросов раннего железного века Среднего Прииртышья послужила причиной того, что данный регион практически никогда не фигурировал в исследованиях в качестве самодостаточной территории локализации кулайских памятников, – авторы лишь вскользь упоминали о присутствии здесь находок данной культуры. Однако объективная ситуация региона выглядит намного перспективнее: Среднее Прииртышье, наравне с сопредельными территориями, может рассматриваться в качестве территории, на которой носители кулайской культуры жили весьма продолжительное время, о чем свидетельствуют изученные автором материалы*. Полагаем, есть все основания «удревнить» период существования кулайской культуры в Среднем Прииртышье до IV–II вв. до н. э. и включить Среднее Прииртышье в ареал распространения (а возможно, и зарождения) кулайских памятников васюганского этапа культуры. Вместе с тем обнаруженные свидетельства саргатско-кулайского взаимодействия восполняют наши представления о процессах, имевших место на прииртышской земле более 2000 лет назад. Это еще раз подтверждает выводы о том, что любая археологическая культура по своей сути не является замкнутым феноменом; понимание всех процессов, характеризующих ее как культуру, возможно лишь при полной реконструкции этнокультурной ситуации в регионе в исследуемый период, при этом аспект межкультурного взаимодействия выступает одним из первостепенных при исследованиях подобного рода.

Абрамова М. Б. Красноозерская культура на Иртыше / М. Б. Абрамова, В. И. Стефанов // Археологические исследования в районе новостроек Сибири. – Новосибирск, 1985. – С. 103–130.

Данченко Е. М. Южнотаежное Прииртышье в середине – второй половине I тыс. до н. э. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 1996. – 211 с.

Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск : Наука, 1979. – 114 с.

Чемякин Ю. П. Барсова гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. – Сургут ; Омск : Ом. дом печати, 2008. – 224 с.

Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – 256 с.

Шерстобитова О. С. Памятники журавлевского типа в Среднем Прииртышье – этап или самодостаточный феномен? // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. – Санкт-Петербург ; Москва ; Великий Новгород, 2011. – Т. 1. – С. 298–299.

---

* Автор выражает благодарность Е. М. Данченко, С. Ф. Татаурову, С. С. Тихонову, Л. И. Погодину за предоставленную возможность исследования и использования их материалов.

Ю. В. Ширин

Россия, Новокузнецк, музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

РАЗМЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЮЖНЫХ ГРУПП ПАМЯТНИКОВ КУЛАЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ

The article deals with features of local groups of sites in the southern area of Kulaika cultural continuity. These groups have signs of a cultural unity. Some of them have signs of a core of the culture. These complexes are from the Kuznetsk basin and the upper Ob 9. But it is difficult to define the exact boundaries of this unity.

Самую южную периферию ареала кулайской культурной непрерывности* (ККН) в бассейне Верхней Оби занимает фоминская культура. Ее памятники некоторые исследователи относят к последнему этапу развития верхнеобского варианта кулайской культуры [*Троицкая*, 1979: 49–50], границы которой (ни ранних этапов, ни фоминского) не установлены. Речь идет или о дискретных пунктах, или об участках бассейна Оби. Неудовлетворительность такой географической характеристики вполне объяснима – ее уточнение возможно лишь при условии завершения процедуры представления археологической культуры как системы [*Лебедев*, 1975], но до этого еще далеко. Неравномерно изучены и отдельные регионы распространения памятников.

Высказываемые мнения о южных рубежах ККН обычно опираются на миграционную концепцию, согласно которой проникновение носителей кулайской культуры из тайги Средней Оби на юг, начавшись еще в III в. до н. э. или еще раньше, прошло в несколько этапов. Этим объяснялись территориальная близость памятников первого этапа к тайге Томской области, смешанный характер комплексов и т. п. В рамках этой концепции памятники второго этапа якобы демонстрируют расширение ареала кулайской культуры на юг и юго-восток, а также изменение ландшафтных предпочтений для выбора мест поселений как результат адаптации пришлого населения. На фоминском этапе ареал, охваченный южной кулайской миграцией, будто бы достигает своего максимума.

В связи с нерешенностью многих проблем кулайского культурогенеза особенно показательны неоднократные попытки «удревнить» начальный этап проникновения кулайских культурных признаков в Барнаульское Приобье [*Бородаев*, 1993; *Абдулганеев*, 1994]. Развернутая критика выделения «ранних кулайских памятников» в Верхнем Приобье уже была дана [*Ширин*, 2004], тем не менее она осталась почти без ответа. Прежние концепции «кулайского культурогенеза» для Верхнего Приобья продолжают «развиваться» на прежних теоретических и методических позициях. Но современные подходы к изучению миграций уже не позволяют оперировать привычным набором «доказательств» и требуют не только расширения методического арсенала, но и переосмысления решаемых проблем [*Van Dommelen*, 2014: 480]. При исследовании памятников Новосибирского Приобья отмечены культурные явления, противоречащие теории тотальной экспансии кулайского населения с вытеснением прежних обитателей Приобья [*Дураков*, 1995; *Соловьев*, 1996].

С опорой на типологию керамических комплексов лесостепные группы памятников ККН можно рассматривать как культурное единство с несколькими центрами (см. рис.). Иерархия этих центров пока не ясна, но признаков культурного сходства между ними гораздо больше, чем с северными кулайскими комплексами [*Панкратова*, 2007: 18].

Для поздних групп самых южных лесостепных памятников ККН нам представляется более верным, исходя из понимания характера протекания культурогенеза в этом регионе, выделить самостоятельную фоминскую культуру [*Ширин*, 2003]. Хронологические рамки ее основных комплексов – рубеж II–III вв. – ранний IV в. Они образуют три локальные группы – в Кузнецкой котловине, в Барнаульско-Бийском и Новосибирском Приобье (рис.: *2–4*). Среди свойств размещения памятников

---

* Термином «кулайская культурная непрерывность» предлагается заменить понятие «кулайская историко-культурная общность» не только потому, что его использование обычно порождает логическую ошибку предвосхищения основания, но и из-за его методологической необоснованности в археологическом контексте. Примеры культурной непрерывности, неоднократно отмечаемые в археологии, в каждом случае требуют специальных исследований условий, их порождающих. Лишь частично это условия взаимодействия социально-территориальных групп.

© Ширин Ю. В., 2015

фоминской культуры следует отметить их приуроченность к узловым пунктам на основных транзитных маршрутах, на занимаемой ими территории.

Д. Г. Савинов, разбирая формы территориального распространения культурного комплекса, говорит о необходимости выделения ядра археологической культуры [*Савинов*, 2003: 52–56]. При картографировании типов изделий, известных по фоминским комплексам (исключая керамику), становится очевидно, что они не образуют локального ядра в ареале ККН. Известна только одна категория изделий, которая пока нигде вне фоминских комплексов Кузнецкой котловины и Барнаульско-Бийского Приобья более не встречена, – бронзовые накладки на ножны со специфическими мотивами орнаментации [*Ширин*, 2003: рис. 11].

Основные группировки памятников на южной периферии кулайской культурной непрерывности:
1 – Нижняя Томь; *2* – Кузнецкая котловина и Горная Шория;
3 – Барнаульско-Бийское Приобье; *4* – Новосибирское Приобье;
5 – Верхнее Причулымье. Точками обозначены памятники фоминской культуры
(в ареалах *2–4*) и близкие к ним (в ареалах *1, 5*)

По орнаментальным особенностям керамических комплексов, а также по иным культурным признакам комплексы Кузнецкой котловины и Горной Шории наиболее близки памятникам Верхней Оби [*Абдулганеев*, 2001; *Фролов*, 2014: рис. 1]. Но наличие в орнаментации керамики фоминских поселений Кузнецкой котловины и Горной Шории особых «таштыкских» мотивов придает им явное своеобразие по сравнению с памятниками Верхнего и Новосибирского Приобья. По этим же орнаментальным мотивам известную близость с комплексами Кузнецкой котловины имеют поселения Нижней Томи, что также требует прояснения.

Особенность памятников Новосибирского Приобья состоит в том, что они часто содержат смешанные керамические комплексы, традиционно типологически разделяемые и относимые к двум смежным этапам кулайской культуры – ордынскому и более позднему фоминскому. Почти все признаки керамики ордынского этапа присущи 6-й группе кулайской керамики (по Л. А. Чиндиной), которая встречается в Среднем Пробье, а также в Нижнем Притомье на протяжении всей первой половины I тыс. [*Чиндина*, 1984: 92, 105]. Не исключено, что ряд поселений, относимых к ордынскому этапу, следует связывать с фоминской культурой.

В свое время А. П. Уманский, размышляя о возможных пределах распространения создателей комплексов фоминского типа, высказал предположение о включении в их ареал более обширных территорий, чем Верхнее Приобье, – до Томска и Ачинска [*Уманский*, 1974: 149]. В настоящее время в Шарыповском районе на юге Красноярского края в ходе широкомасштабных разведочных работ выявлено около десятка комплексов имеющих, по мнению исследователей, кулайские признаки [*Красниенко*, 1999]. Л. А. Чиндина, развивая миграционную концепцию, в одной из недавних работ рассмотрела возможность включения в зону, охваченную кулайской миграцией, не только Верхнего Чулыма, но и отдельных территории Среднего Енисея и Восточной Сибири [*Чиндина*, 2008]. Действительно, через Верхнее Причулымье осуществлялись традиционные контакты южной периферии ККН с населением степных котловин Среднего Енисея. Но сам характер расположения кулайских комплексов в Верхнем Причулымье позволяет предполагать, что здесь был своеобразный культурный рубеж (рис.: *5*). Материалы памятников Минусинской лесостепи и Верхнего Причулымья демонстрируют результат длительного взаимодействия ареала ККН с социально-территориальными группами этого региона в тесинское и раннеташтыкское время. При этом все восточносибирские примеры проявления якобы кулайского культурного влияния пока малоубедительны.

При определенной интегрированности в систему фоминской культуры лесостепных территорий до устья Томи и до Верхнего Чулыма крайне сложно, с учетом свойств ареалов с культурной непрерывностью, оценивать культурную принадлежность памятников этих регионов.

Абдулганеев М. Т. Фоминский комплекс поселения Малый Иткуль-I // Проблемы изучения древней и средневековой истории. – Барнаул, 2001. – С. 101–110.

Абдулганеев М. Т. Поселение Чудацкая Гора / М. Т. Абдулганеев, А. А. Казаков // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. – Барнаул, 1994. – С. 111–115.

Бородаев В. Б. Троицк-1 – новое поселение кулайской культуры на левобережье Барнаульского Приобья / В. Б. Бородаев, В. В. Горбунов // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1993. – Вып. IV, ч. II. – С. 183–189.

Дураков И. А. Исследования могильника Быстровка-3 / И. А. Дураков, Т. В. Мжельская // 75 лет Новосибирскому областному краеведческому музею. – Новосибирск, 1995. – С. 47–65.

Красниенко С. В. Кулайцы на среднем Чулыме: столкновение традиций // Изучение культурного наследия Востока. Культурные традиции и преемственность в развитии древних культур и цивилизаций. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 37–40.

Лебедев Г. С. Системное описание археологической культуры // Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. – Ленинград, 1975. – С. 56–58.

Панкратова Л. В. Историко-культурные особенности позднекулайской керамической орнаментики : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Кемерово, 2007. – 23 с.

Савинов Д. Г. Динамика культурного пространства (по материалам Центральной Азии и Южной Сибири) // Теория и методология архаики. Вып. 3. Стратиграфия культуры. Что такое архаика? – Санкт-Петербург, 2003. – С. 52–60.

Соловьев А. И. К вопросу о характере проникновения кулайского населения в Новосибирское Приобье // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. – Новосибирск, 1996. – С. 224–228.

Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск : Наука, 1979. – 124 с.

Уманский А. П. Могильник верхнеобской культуры на Верхнем Чумыше // Бронзовый и железный век Сибири. – Новосибирск, 1974. – С. 136–149. – (Древняя Сибирь; вып. 4)

Фролов Я. В. Комплекс памятников раннего железного века Фирсовского археологического микрорайона: проблемы межкультурного взаимодействия // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань, 2014. – Т. II. – С. 249–252.

Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – 255 с.

Чиндина Л. А. Юго-Восточный фронтир в кулайское время // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. – Суздаль, 2008. – Т. II. – С. 182–186.

Ширин Ю. В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тыс. н. э. (погребальные памятники фоминской культуры). – Новокузнецк : Кузнецая крепость, 2003. – 288 с.

Ширин Ю. В. О ранних кулайских памятниках Верхнего Приобья // РА. – 2004. – № 2. – С. 51–60.

Van Dommelen P. Moving On: Archaeological Perspectives on Mobility and Migration // World Archaeology. – London, 2014. – 46 : 4. – P. 477–483.

А. С. Шишкин

Россия, Новосибирск, государственный краеведческий музей

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРТИНЫ МИРА КУЛАЙЦЕВ (ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА КАМЕННЫЙ МЫС)

Burials of waterfowl (ducks) were one of the important features of the burial rituals in the Kamenny Mys burial ground. The same facts were found in the Early Middle Age burial sites in taiga and forest-steppe zone of Western Siberia. The interpretation of these burials in connection with the transition of the soul of the deceased in The Lower World was suggested, based on the archaeological and ethnological data.

Погребальный обряд, бесспорно, является одним из важнейших источников для реконструкции мировоззрения обществ, оставивших тот или иной могильник. В ритуалах, связанных с процессами смерти, погребения и поминовения, отражаются космология, космогония, представления о человеке и его душе.

К настоящему времени погребальные памятники кулайцев изучены на всем пространстве существования культуры, однако многие из них малоинформативны в силу плохой сохранности погребального инвентаря и костных останков. На общем фоне многочисленностью погребений (73, включая коллективные и 4 захоронения животных), относительной сохранностью антропологического материала, богатством и разнообразием инвентаря выделяется могильник Каменный Мыс (Колыванский район Новосибирской области, урочище Каменный Мыс на левом берегу реки Уень, в 0,5 км к юго-западу от с. Черный Мыс). Курганы, относящиеся к кулайской культуре, были изучены Т. Н. Троицкой в 1968–1974 гг., значительная часть материала опубликована [*Троицкая*, 1979].

Объем тезисов не позволяет охватить все стороны погребального обряда могильника. Здесь мы рассмотрим только один его элемент, имеющий прямые аналогии в поминальной обрядности обских угров и самодийцев. Это находки полных скелетов водоплавающих птиц, расположенных в непосредственной близости от погребений. Всего обнаружено три таких случая [*Троицкая*, 1970: 13–17]. Два выделены в отдельные погребения (курган № 3, погребения 21 и 22): при зачистке на уровне материка были обнаружены кости крупных водоплавающих птиц в сопровождении фрагментов керамических сосудов. Как отмечала сама Т. Н. Троицкая, погребение 22 вряд ли было самостоятельным,

© Шишкин А. С., 2015

тем более что оно располагается недалеко от погребений 23 и 24 того же кургана. То же самое можно сказать и о погребении 21, расположенном в непосредственной близости от погребения 27. Третий случай – погребение 1 кургана № 4. Над могилой в северной ее части, выше перекрытия, выявлены угли, сажа, чуть выше них – сосуд. Второй сосуд найден чуть западнее, за пределами углистого пятна. Севернее «следов тризны» на том же уровне лежал скелет водоплавающей птицы. Здесь сопроводительный характер комплекса сомнений не вызывает. Аналогичные находки на других кулайских могильниках нам не известны, что можно объяснить условиями залегания костных останков на таежных погребальных комплексах, где не сохраняются даже значительно более массивные кости погребенных людей. Единственной кулайской аналогией можно считать находку птичьих костей на Саровском городище: у северо-западной стенки котлована «объекта 6» была выявлена могила подростка, над которой на глубине 30–35 см от дневной поверхности обнаружено скопление челюстей молодых лошадей и птиц, а также большое количество керамики [*Чиндина*, 1978: 52].

Интерпретация этих находок не рассматривалась, авторы лишь отмечают безусловно сопроводительный характер захоронений птиц и их культовое назначение. Такие находки не уникальны. Известно наличие птичьих костей в раннесредневековых могильниках релкинской и верхнеобской культур, генетически связанных с кулайской [*Чиндина*, 1977: 82; *Троицкая,* 1998: 24]. При изучении раннесредневекового могильника Усть-Изес-1 в Венгеровском районе Новосибирской области под полотнищами берестяного перекрытия были обнаружены скопления костных останков 2–3 птиц. Могильник был оставлен таежным обско-угорским населением, испытавшим заметное влияние южных, степных культур [*Соловьев*, 1997: 282]. В конце XIX в. у с. Малая Киргизка близ Архиерейской Заимки было обнаружено бронзовое изображение птицы, воткнутое хвостом в землю перед бронзовой же чашей, в которой лежали обгоревшие кости человеческого черепа. Лицевой стороной птица была повернута на юго-запад, задней стороной – к чаше [*Флоринский*, 1897: 284]. Голова, череп – традиционные вместилища жизненной силы, поэтому эту находку можно рассматривать как аналог вышеописанному обряду. Культурная преемственность таких находок несомненна: сходен контекст находок; культуры, оставившие памятники, связаны генезисом угорских и самодийских этносов Западной Сибири и их культур.

Прямые аналогии вышеприведенным находкам известны в этнографических материалах. В этнографическое время обские угры и селькупы использовали дикую утку исключительно в поминальных ритуалах. Завершающим обрядом погребально-поминального цикла является последнее прощание с душой умершего. Как правило, прощание приурочивается к первой весне после смерти человека, когда прилетают с мест зимовья перелетные птицы. Наиболее раннее сообщение мы находим у Л. Н. Гондатти: «...весной, когда прилетают чирки, у них вырывают два хвостовых пера и сжигают с ногтями и волосами (покойного): тогда эти волосы и перья дадут тени возможность перейти через огненные потоки и взобраться на высокие горы» [*Гондатти*, 1888: 41, 52]. И по сей день этот обычай фиксируется у хантов и манси с незначительными расхождениями [*Кулемзин*, 1984: 140; *Головнев*, 1995: 353, 556; *Ромбандеева*, 1980: 237–238; 1993: 113; *Федорова*, 2006: 210; и др.]. Обряд проводится следующим образом: добытую утку кладут головой на север, перед шалашиком, в котором лежит иттерма – изображение умершего, его «заместитель». Иногда утку также кладут в шалашик. При южном ветре шалашик поджигают. Это означает, что «душа на спине утки к холодному морю отправилась» [*Чернецов*, 1959: 151]. Полной аналогией обрядности обских угров являются селькупские «проводы души» умершего. На нижнем Васюгане Г. И. Пелих наблюдала сожжение изображения покойного. Куклу положили в продолговатую ямку, на дно которой были положены сухие палочки, а сверху был возведен шалашик, у входа в который положили убитую утку, затем все сооружение было подожжено, после сгорания угли и пепел засыпали [*Пелих*, 1980: 60]. Очевидно, что в данном случае птица выступает в обычном для ее мифологического образа амплуа психопомпа – проводника умершего в загробный мир, либо сама воплощает жизненную силу (душу) человека. Соответственно, душа покинет этот мир либо превратившись в птицу, либо при ее посредничестве. На это, в частности, указывает обычай сжигать иттерма – временное вместилище души покойного в виде антропоморфной фигурки – во время перелета уток. Обычай временного хранения иттерма с последующим его захоронением или переводом в ранг семейных или родовых фетишей распространен среди хантов, манси, селькупов, ненцев. Модификацией антропо-орнитоморфного образа души, по мнению В. Н. Чернецова, стало предание о ее путешествии в мир мертвых в человеческом облике на лодке, перед которой летит птица [*Чернецов*, 1959: 131–132]. Таким образом, в контексте погребально-поминальной обрядности обских угров и селькупов жертвопри-

ношение водоплавающей птицы символизировало отправление души покойного в иной мир. Этот действие знаменовало окончательное прощание с умершим. Представляется, что данный обряд вряд ли правомерно называть жертвоприношением, поскольку адресат жертвы отсутствует, скорее, это способ транспортировки души.

В археологических материалах эпохи железа и раннего средневековья появляются и первые свидетельства ритуального использования иттерма. Одной из наиболее ранних (и самых ярких) находок можно считать комплекс Холмогорского клада, убедительно интерпретированный А. П. Зыковым и Н. В. Федоровой [2001: 62, 145] как остатки ритуального захоронения нескольких посмертных изображений умерших. Наиболее вероятной датой захоронения определен конец III – начало IV в. н. э. К раннему средневековью относятся захоронения иттерма из ритуального комплекса во рве многослойного городища Барсов Городок I/20 [*Борзунов*, 2003: 113–116] и одно из погребений Сайгатинского III могильника, содержавшего остатки «куклы» из пучков прутьев [*Терехова,* 1994: 281]. Л. А. Чиндина выделяет скопления погребального инвентаря и кострища с ладьевидными сосудами могильника Релка как кенотафы или захоронения посмертного изображения, воплощавшего душу умершего [*Чиндина*, 1977: 97–98]. Захоронения иттерма выделены как одна из черт погребальных памятников карымского этапа в Среднем Прииртышье и туманских Нижнего Притоболья [*Борзунов,* 2012: 186]. К этнографическому времени иттерма приобретают современный вид – чаще всего это небольшие антропоморфные деревянные или металлические фигурки, завернутые в миниатюрные предметы одежды. Коллекция из таких предметов была собрана Д. Т. Янковичем в 1909 г. в 78 погребениях могильника Халас-Пугор и других кладбищ аборигенов Нижней Оби, датируемых XVIII–XIX вв. [*Мурашко,* 2001: 64–65, рис. 145–150].

Таким образом, можно предполагать, что комплекс представлений о загробном мире и посмертном существовании человека с характерными чертами, свойственными обско-угорскому и самодийскому населению Западной Сибири (образ души-птицы, птицы-психопомпа, реки как дороги в нижний мир, посмертного путешествия на лодке и т. д.), и соответствующая погребально-поминальная обрядность начали формироваться в эпоху железа среди носителей кулайской культуры и окончательно сложились в период средневековья.

Борзунов В. А. Средневековый культовый комплекс городища Барсов Городок I/20 // Образы и сакральное пространство древних эпох. – Екатеринбург, 2003. – С. 113–120.

Борзунов В. А. Карымские памятники таежного Приобья: основные характеристики / В. А. Борзунов, Ю. П. Чемякин // Ханты-мансийский автономный округ в зеркале прошлого. – Томск ; Ханты-Мансийск, 2012. – Вып. 10. – С. 155–216.

Головнев А. В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров. – Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 1995. – 606 с.

Гондатти Л. Н. Следы язычества у инородцев северо-западной Сибири. – Москва : Тип. Е. Г. Потапова, 1888. – 91 с.

З*ыков А. П.* Холмогорский клад. Коллекция древностей III–IV вв. / А. П. Зыков, Н. В. Федорова. – Екатеринбург : Сократ, 2001. – 174 с.

Кулемзин В. М. Человек и природа в верованиях хантов. – Томск : Изд-во ТГУ, 1984. – 192 с.

Мурашко О. А. Культура аборигенов Обдорского Севера в XIX веке (по археолого-этнографическим коллекциям Музея антропологии МГУ) / О. А. Мурашко, Н. А. Кренке. – Москва : Наука. – 155 с.

Пелих Г. И. Материалы по селькупскому шаманству // Этнография Северной Азии. – Новосибирск, 1980. – С. 5–70.

Ромбандеева Е. И. Погребальный обряд сыгвинских манси // Семейная обрядность народов Сибири. – Москва, 1980. – С. 232–238.

Ромбандеева Е. И. История народа манси (вогул) и его духовная культура. – Сургут : Сев.-Сиб. регион. кн. изд-во, 1993. – 207 с.

Соловьев А. И. Некоторые итоги исследования курганных насыпей у села Усть-Изес // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 1997. – С. 281–295.

Терехова Л. М. Среднеобская низменность / Л. М. Терехова, Г. К. Карачаров // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 2. Мир реальный и потусторонний. – Томск, 1994. – С. 277–290.

Троицкая Т. Н. Отчет о работе Новосибирской археологической экспедиции, 1970 // Новосибирский государственный краеведческий музей. Осн. фонд. № 22450/71.

Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск : Наука, 1979. – 124 с.

Троицкая Т. Н. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье / Т. Н. Троицкая, А. В. Новиков. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 152 с.

Флоринский В. М. Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни. Опыт славянской археологии. Ч. II. Вып. 2. Предметы религиозного значения. Металлургия древних народов. Боевое оружие и доспехи // Изв. Император. Том. ун-та. – Томск, 1897. – С. 273–571.

Федорова Е. Г. Материалы к погребальному обряду верхнесосьвинских манси: действия после погребения // Радловские чтения – 2006. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 208–213.

Чернецов В. Н. Представления о душе у обских угров // Исследования и материалы по вопросам первобытных и религиозных верований. – Москва ; Ленинград, 1959. – С. 114–156. – (ТИЭ ; т. 51).

Чиндина Л. А. Могильник Релка на Средней Оби. – Томск : Изд-во ТГУ, 1977. – 192 с.

Чиндина Л. А. Саровское городище // Вопр. археологии и этнографии Сибири. – Томск, 1978. – С. 51–80.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ, ДРУГИХ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Gian Luca Bonora Bonora

DOUBLE-SPIRAL PIN-HEADS IN MIDDLE ASIA AND THEIR DIFFUSION ACROSS THE EURASIAN STEPPE: SOME CULTURAL AND CHRONOLOGICAL ASSESSMENTS

This paper is dedicated than to the study of the metal double-spiral pin-heads discovered so far in the so-called Middle Asian Interaction Sphere (MAIS) area, trying to hypothesize the area of primary origin and subsequent distribution of these finds in Central and Middle Asia, in the sites of the Indus Civilization, eastward, till Mesopotamia and Siria, westward. Particular attention will be paid to the presence of the bispiral pins also across the Eurasian steppe, to their chronology and their technical characteristics, which are apparently different than the specimens documented southerly. In the Eurasian steppe they firstly appeared in the Middle – Late Bronze Age, in association with other artefacts of southern Oxus- or BMAC-related production, exactly when the steppe pastoralists began to frequent, exploit and live along the northern fringe of the MAIS territory as attested by numerous sherds of ICW ware, Andronovo metal types, semisubterranean dwellings and other artefacts. The meridianal (north-south) movement of the goods, and the ideas and techniques of how to produce ceramic vessels, artefacts in metal, bone and clay, was then bidirectional. To these evidences, now we can add also the northward diffusion of the idea of the double-spiral pins.

© Gian Luca Bonora Bonora, 2015

Л. А. Аболина

Россия, р. п. Култук (Иркутск), МБОУ СОШ № 7

РАЗВАЛ ПЕЧИ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ XVII–XIX ВЕКОВ*

The presence of a stove is the main sign of a dwelling-house. The comprehensive examination of the survived carcass of the stove allows to define its construction, size, the type of heating, the time of using; and the companion analysis provides better opportunities for exact identification of the building and for the reconstruction of the interior.

Печному отоплению уделяли внимание многие исследователи народного деревянного зодчества [*Александров*, 1964: 44–55; *Ащепков*, 1953: 74–85; *Бломквист*, 1956: 252–265; *Липинская,* 1981:

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 15-21-01002.

© Аболина Л. А., 2015

114–115; и др.]. Печам, бытовавшим на территории Сибири со времени освоения ее русскими, в последние годы были посвящены исследования А. Ю. Майничевой [2002: 81–83]; Ю. П. Лыхина, Л. А. Аболиной [2011: 205–219; 2013: 118–127]. Опираясь на этот материал, сегодня можно выделить основные виды печей, распространенные в XVII–XIX вв. на просторах как Западной, так и Восточной Сибири, начиная от печей-каменок и глинобитных русских до голландок. Тип отопления в исследуемый период варьировался от отопления по-черному до преобладающего к концу XIX в. отопления по-белому. Материал для изготовления печей также постепенно менялся от природного: камня, глины и кирпича-сырца – до обожженного печного и изразцового кирпича с применением металлических изделий.

Каждому типу жилья соответствовала определенная конструкция печи:

1. Жилые и промысловые зимовья отапливались печами-каменками, иногда обмазанными глиной. Промысловые зимовья начала XX в. почти полностью сохранили архаичный вид и планировку: небольшая клеть из кругляка на мху с маленькой дверью в сторону юга или востока, с односкатной или низкой двускатной крышей. Справа в углу находилась печь-каменка, над ней, во входной стене, – дымоволоковое отверстие, за ней, вдоль противоположной стены, – нары-полати или топчан. Слева – столик и окно. Подобную планировку имеют до наших дней бани, топящиеся по-черному (вместо полатей – полок, вместо столика – лавка). Во многих деревенских дворах кроме жилья существует отапливаемая многофункциональная постройка (зимовье, летняя кухня, тепляк), частично хранящая черты жилища первых поселенцев Сибири [*Манасеин*, 2010: 50].

2. Изба – поземная постройка безгвоздевой конструкции, рубленная в обло, с несколькими окнами по двум сторонам сруба. Русская глинобитная печь была в ней расположена слева или справа от входа, устьем в противоположную от двери сторону [*Аболина*, 2014а: 12].

3. Горница (клеть) – чистая, первоначально неотапливаемая часть связи, стоящая на подклете (различном по назначению и высоте) или без него [РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2700. Л. 3, 7 об.]. Позднее, в отличие от зимней избы, имела русскую печь, расположенную аналогично избяной, меньшего размера с дымоходом, а еще позднее – голландку [*Лыхин*, 2013: 122].

4. Постройки-связи (изба-сени-изба, изба-сени-клеть, изба-сени-горница) имели зеркальную избяную внутреннюю планировку, так как окна обеих построек выходили в чистый двор, а противоположная (часто наветренная) стена делалась глухой.

5. Подклет при наличии русской печи был жилым помещением под избой или горницей, на несколько венцов заглубленным в грунт [РГАДА. Ф. 214. Кн. 1390. Л. 16]. Расположение печи также совпадало с избяным.

6. Дом – жилое строение большего, чем изба, размера с печью, стоящей посередине, и внутренним пространством, разделенным заборками на функциональные зоны [*Аболина*, 2014в: 12]. Такие дома, как пятистенок, шестистенок, крестовик, распространились к концу XIX в. как усложненные варианты описанных выше построек. Городская архитектура получила дальнейшее развитие, также сочетались предыдущие постройки.

Остатки строений, находящиеся ниже уровня дневной поверхности, не дают полной информации о их наземной части. Чтобы расширить возможности реконструкции отапливаемых построек, необходимо лучше понимать связи архитектурных элементов и конструкции печи между собой. Наблюдение специалиста-печника за процессом раскопок развала печи позволяет более точно реконструировать печь, а следовательно, и саму постройку.

Сегодня по развалу печи можно установить ее вид, тип отопления, наличие или отсутствие голбца, его разновидностей, подклета и более точно идентифицировать номинацию помещения, которое она отапливала. Иногда это возможно осуществить даже по фрагменту оклада с остатками печи, которые часто выдают дополнительную информацию по причине исчезновения жилья: перемещение, ремонт или разбор сруба на дрова, естественное разрушение временем. Логическая последовательность процесса разрушения печи при каждой из причин за 200–300 лет почти не изменилась. В зависимости от нее один и тот же объект выглядит по-разному. В отличие от деревянных остатков оклада строения, развал печи более информативен.

С точки зрения специалиста, хотелось бы обратить внимание на наиболее важные моменты во время раскопок глинобитной печи для получения максимума информации:

1. Снятие грунта «смысловыми» слоями (дымоход, топочная камера, под, подпечек, основание) способствует визуализации процесса разрушения и лучшему конструктивно-пространственному пониманию первоначальной формы объекта.

2. Чтобы определить тип отопления, важно обратить внимание на местонахождение и количество сажи в верхнем слое, указывающее на наличие или отсутствие дымохода. Дополнительно верхний, перед развалом, слой может указать на конструкцию потолка – накатной, круглый потолок не всегда был засыпан толстым слоем земли, глина по всей площади строения, скорее всего, является засыпкой или замазкой потолка.

3. Изменяющийся цвет глины развала печи и ее состав (примесь песка и камней: гальки и голышей) – один из основных показателей типа печи. По присутствию извести и ее фрагментам, содержащим определенное количество слоев побелки, можно установить примерный возраст печи и временной промежуток ее работы (известь стали использовать для побелки в начале XX в.).

4. Дойдя до слоя обожженной глины (свода топочной камеры), необходимо обратить внимание на цвет и глубину прокала, свидетельствующие о времени функционирования печи и интенсивности топки.

5. Аккуратно расчищенный уровень пода (дно, низ) топочной камеры покажет размер всей печи, толщину стенок, направление и ширину устья (отверстия для топки), шестка (полки перед входом в топку). Если развал имеет следы физического разрушения: обожженные фрагменты, лежащие беспорядочно, на расстоянии от места печи, и отсутствие остатков деревянного опечка (основания печи), – это указывает на то, что опечек был разобран с целью перемещения избы. А это в свою очередь, возможное свидетельство небольшого возраста избы во время разборки.

6. При разборке глиняного или кирпичного пода камеры по глубине и интенсивности прокала можно более точно определить время эксплуатации печи, отметить особенности ее сооружения.

7. Следующий слой – заполнение опечка, он обычно состоит из грунта, взятого неподалеку, и поэтому может содержать элементы ранее сформированных культуровмещающих отложений.

8. От наличия остатков деревянного настила внутри опечка зависит интерпретация предметов, найденных под развалом печи, которые могут оказаться как прикладами, так и бытовым мусором из подпечка. Если настил сохранился, можно определить, для какой цели подпечек использовался (для дров, щепы, бересты, содержания кур и др.).

9. Отсутствие пола при прочитывающемся контуре печи – свидетельство того, что основанием ее служил грунт. Если развал состоит из 2–3 локальных групп обломков, часть из которых находится в подпольной яме, можно смело предполагать, что плахи пола были вынуты из-под печи при разборке сруба, а это, в свою очередь, признак перемещения жилища.

10. Если печь стояла на полу, важно знать, были ли под ней дополнительные опоры. В безгвоздевых избах дополнительных опор обычно не было. Клетки из бревен и «стулья» стали делать позднее, с появлением пиленых досок, что свидетельствует о совершенно другой конструкции и номинации (дом) и более позднем времени постройки [*Аболина*, 2014в: 12].

11. Лаз в подполье первоначально находился внутри голбца (различной высоты и формы) или каржины. Отсутствие подполья – признак наличия другого помещения для хранения корнеплодов и свидетельство того, что изба функционировала в «докартофельные» времена, так как развитие подпольного пространства в Сибири происходило зачастую в связи с распространением картофеля [*Аболина*, 2014б: 154].

Переходные варианты печей из необожженного кирпича-сырца определяются по сохранившимся фрагментам дымохода и топочной камеры.

Информативность развала кирпичной печи гораздо выше, чем глинобитной. Наличие кирпича свидетельствует о более совершенной технологии строительства и связано в основном с городскими объектами либо городским влиянием на строительство в сельской местности, является также свидетельством достатка домохозяев [*Аболина*, 2014в: 8–11].

В настоящей статье не ставилась задача исследовать кирпич как производственный продукт, поэтому он рассматривается только как конструктивный материал для изготовления определенных видов печей, по набору деталей которого возможно определить вид печи и соответстветствующее ей помещение.

Краткая последовательность разбора кирпичного развала печи в жилище обывателей городских окраин [*Краснощеков*, 2013: 69–71] дает представление о наиболее важных его элементах:

1. Кирпичный развал в большинстве случаев, если он не имеет под собой фундамента (которые стали сооружаться позднее, примерно в середине XIX в.), находится в стороне от места печи. Поэтому фиксация расположения отдельных кирпичей не столь важна, как правильная сортировка и более полный подбор деталей конструкции. Выбирая кирпич хорошей сохранности (или только

содержащий клейма), нельзя получить исчерпывающей информации. При внимательной расчистке околопечного пространства по массе, составу и концентрации кладочного раствора можно определить, чистился ли целый кирпич на месте разбора печи, это косвенно укажет на возраст печи и вторичное использование кирпича.

2. Сортировку желательно производить при разумном сохранении на фрагментах налипшего раствора, сажи и извести, это поможет более точно указать на конструктивную роль кирпича в кладке.

3. Сортировка кирпичей по месту использования в кладке должна соответствовать логической последовательности разборки печи:

а) кирпичи от дымохода со следами копоти на ложках (длинной, узкой стороне кирпича);

б) со следами копоти на постелях (длинной, широкой плоскости) – от перекрытий;

в) со следами копоти на двух сторонах – от дымовых каналов;

г) со следами выработки или подтески кирочкой, а также половины, четвертины и другие формы;

д) кирпичи, находившиеся в непосредственном соприкосновении с огнем.

4. Очень важно сохранить все образцы раствора и его включений (гальки, стекла), иногда только благодаря составу раствора можно отличить развал русской печи от развала голландки, когда отсутствует ее основание [*Исаев*, 2011: 227]. При наличие фундамента и нижнего ряда голландки по его размеру можно определить теплоемкость печи, а следовательно, размер отапливаемой комнаты.

Подводя итог, хочется обратить внимание археологов на необходимость привлечения печников-специалистов для работ с жилыми постройками позднего средневековья, что в сумме с собственно археологическими наблюдениями значительно повысит результативность исследований и возможности их архитектурной реконструкции.

Аболина Л. А. Деревянные датированные дома на территории Кабанского и Прибайкальского районов Республики Бурятия // Баландинские чтения. – Новосибирск, 2014а. – Т. IX. – Ч. 1. – С. 7–15.

Аболина Л. А. Ленские избы, печи и другие характерные детали времени // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск ; Тюмень ; Екатеринбург, 2014б. – Т. 2. – С. 151–157.

Аболина Л. А. Некоторые особенности и детали строительной культуры Белорусских переселенцев в Тарском районе (по результатам экспедиции 2013 г.) // Материалы VII регион. науч.-практ. конф. «Вагановские чтения», посвящ. 420-летию со дня основания г. Тары. – Омск, 2014в. – С. 6–12.

Александров В. А. Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край). – Москва : Наука, 1964. – 304 с.

Ащепков Е. А. Русское народное зодчество в Восточной Сибири. – Москва : Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1953. – 279 с.

Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов // Восточнославянский этнографический сборник. – Москва, 1956. – С. 4–458.

Исаев А. Ю. Предварительные результаты первого этапа спасательных археологических работ в квартале 52а города Иркутска // Русская Америка и Восточная Сибирь. – Иркутск, 2011. – С. 220–233.

Краснощеков В. В. О раскопках археологического объекта Усть-Ушаковка и фундамента Московских ворот // Земля Иркутская. – 2013. – № 1 (42). – С. 66–72.

Липинская В. А. Жилища и хозяйственные постройки русского крестьянства Сибири / В. А. Липинская, В. А. Александров, А. В. Сафьянова // Этнография русского крестьянства Сибири (XVII – середина XIX в.). – Москва : Наука, 1981. – С. 102–142.

Лыхин Ю. П. Русская печь на берегах Лены / Ю. П. Лыхин, Л. А. Аболина // Русская Америка и Восточная Сибирь. – Иркутск, 2011. – С. 205–219.

Лыхин Ю. П. Печи и печное отопление в Восточной Сибири в XVIII – середине XIX века / Ю. П. Лыхин, Л. А. Аболина // Изв. архитектурно-этнографического музея «Тальцы». – 2013. – Вып. 6. – С. 118–127.

Майничева А. Ю. Архитектурно-строительные традиции крестьянства северной части Верхнего Приобья: проблемы эволюции и контактов. Середина XIX – начало XX вв. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – 144 с.

Манасеин В. С. История с библиографией / [отв. за вып., авт. предисл. А. Н. Гаращенко ; ред. Л. В. Гаращенко]. – Иркутск : НПФ «Земля Иркутская», 2010. – 229 с.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2700. Л. 3–11 об.; Кн. 1390. Л. 15–25 об.

Н. Г. Артемьева

Россия, Владивосток, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЧЖУРЧЖЭНЬСКИХ ДОЛИННЫХ ГОРОДИЩАХ

The Jurchens' sites in Primorye have complex fortification system that includes many traditional features of such neighboring countries as Goryeo, Balhae, Liao and Sung. The Juchens' castle towns were known with their great defensive capacity due to their ramparts and additional fortification constructions. There were two types of the Jurchens' sites – the valley sites and the mountain sites. Each type has its own special fortification canon. This article shows the functional purposes of the additional fortification constructions in the Jurchens' sites in Primorye.

Чжурчжэньские городища, исследуемые на территории Приморья, имеют сложную систему фортификации, которая вобрала в себя многие традиции соседних государств – Коре, Бохая, Ляо, Сун. Города-крепости чжурчжэней обладали большой обороноспособностью благодаря наличию валов и дополнительных фортификационных сооружений на них. В период существования империи Цзинь существовало два типа городищ – долинные и горные [*Артемьева*, 1998]. Каждому типу соответствовали свои каноны фортификации.

Долинные городища всегда расположены по долинам рек, обнесены мощными земляными валами и глубокими рвами. В плане они как прямоугольные или квадратные, так и свободной формы (рис. 1: *1*). Большая часть городищ имеют много отклонений от стандарта, но обязательные элементы фортификации долинных городищ – это вал, построенный методом ханту, иногда облицованный каменной вымосткой; ров, повторяющий форму вала; ворота, оформленные Г, П и С-образными ловушками, и наличие башенных выступов. Башни (пристройки к крепостной стене, выступающие за ее плоскость) должны были обеспечивать фронтальный прострел (рис. 1: *2*). Ими укрепляли углы городищ, ворота и крепостные стены. Расстояние между башнями варьировало, но зависело от дальности полета стрелы (около 40 м).

На чжурчжэньских долинных городищах серия фронтальных башен, имеющих одинаковые размеры и размещенных на равном расстоянии друг от друга, прослеживается только на тех памятниках, которые имеют классическую планировку, приближенную к квадрату, стенами ориентированы по сторонам света, ворота расположены в центре валов (Чугуевское, Стехлянухинское, Майское, Богуславское, Новогеоргиевское городища). На территории Приморья существуют чжурчжэньские долинные городища со свободной формой планировки, нечеткой ориентацией по сторонам света, произвольным числом ворот и башен и местом их расположения (Южно-Уссурийское, Николаевское, Марьяновское, Кокшаровское 2, Пограничное городища). Несомненно, что чжурчжэни намеренно возводили эти укрепления, вписываясь в природные условия [*Артемьева*, 2010]. Все эти городища расположены вплотную к рекам, что давало возможность иметь природную преграду, доступ к воде, а также возможность покинуть крепость водным путем. Наверное, это можно объяснить не только уровнем самих фортификационных знаний и традицией, но и особенностями военной тактики, составом войск и т. п. [*Воробьев*, 1968: 70].

На долинных памятниках башни исследовались лишь на Николаевском городище. Этот город укреплен 12 фронтальными башнями и двумя надвратными. Расстояние между башнями разное. Башни северо-восточного вала находятся на расстоянии около 80 м, на южной стороне городища башни строились через 40 м.

Башня на северо-восточной стене городища представляла собой земляной выступ, возвышающийся над валом на 0,5 м и выдвинутый на внешнюю сторону более чем на 3 м (рис. 2: *1*). Внешняя сторона башни, которая спускалась в сторону рва, имела трапециевидную форму. Площадь башни – около 18 кв. м (6 × 3 м). По краю башенного выступа прослеживается обваловка высотой 0,4–0,6 м, шириной около метра. На краю башни был обнаружен кан площадью около 3 кв. м, т. е. здесь находилось сторожевое помещение. Справа и слева от башенного выступа на валу обнаружены две каменные забутовки, возвышающиеся над валом на 0,5 м. Назначение их пока не ясно. Между башенным

© Артемьева Н. Г., 2015

выступом и крепостной стеной были зафиксированы ямы от столбов, которые могли быть основой деревянного вала крепостной стены. Исследуемая башня из-за времени слегка сползла вниз, в сторону рва, поэтому при зачистке материка хорошо прослеживалась техника ее насыпки: чередование слоев методом ханту, с применением заполнения слоев камнями.

Восточная (угловая) башня находилась на восточном углу городища, также возвышаясь над валом на 0,5 м (рис. 2: *4*). Она имела размеры 12 кв. м (4 × 3 м), прямоугольную форму и была выдвинута на 3 м на внешнюю сторону городища. С внешней стороны вала она представляла собой сооружение трапециевидной формы. Поверхность башенного выступа имела небольшой наклон на внешнюю сторону (скорее всего, она просела из-за времени). Большая часть камней, которыми она была укреплена в верхней части, не сохранилась. Башня сооружалась на углу городища, на месте поворота вала. Так как городище построено не в строго геометрической форме, а со скошенными углами, башню возвели под прямым углом к южной части вала, а северная сторона вала примыкает к ней под тупым углом.

Рис. 1. План Николаевского городища *(1)* и схема-план башни *(2)*

Рис. 2. Зачистка северо-восточной башни *(1)*, юго-восточной башни *(3)*, восточной (угловой) башни *(4)* и дневная поверхность юго-восточной башни *(2)*

Еще одна башня на этом памятнике исследовалась на юго-восточной стене городища. Она отличалась своими большими размерами от всех других подобных сооружений на памятнике (рис. 2: *2, 3*). Ее длина, выступающая за пределы внешней стороны крепостной стены, – 16 м, ширина – 8 м. Она была построена так, что с нее хорошо видна вся южная сторона внешней стороны городища. После ее исследования выявлено, что с восточной стороны башни располагалось жилое помещение, внутри которого был обнаружен кан длиной около 7 м. Вся остальная часть башенного выступа была покрыта большими речными гальками, уложенными вплотную друг к другу. Эта каменная вымостка служила основанием верхней площадки башни. Большая площадь башенного выступа (около 120 кв. м) дает возможность предположить, на этом месте находилось не просто караульное помещение, а пункт размещения артиллерийского военачальника.

Раскопанные на Николаевском городище башни сооружались по общей технологии, т. е. их возводили после сооружения основного вала в виде пристроек на внешнюю сторону городища методом ханту. Их высота практически не превышала высоту вала. С внешней стороны они имели вид расширяющихся книзу трапеций. В средневековом Китае подобные сооружения называли ма мянь (лошадиные морды), и при строительстве крепостных сооружений они официально были введены в 1075 г. Ма мянь представляли собой утолщения в теле стены в виде внешних выступов с фасами по сторонам квадрата. В отличие от башен, выступы ма мянь не поднимались над стеной. На их площадках сооружали навесы, боевые и сторожевые вышки, устанавливали стационарное метательное оружие [*Школяр*, 1980: 243]. На чжурчжэньских городищах верхняя площадка башенных выступов укреплялась каменной вымосткой. По площади они были одинаковых размеров, за исключением юго-восточной башни. Судя по наличию отопительной системы, башни могли использоваться как долговременные караульные помещения. Угловые башни применялись как дозорные посты. Во время обороны на них должны были размещаться лучники. Следует отметить, что на Николаевском городище не обнаружены каменные ядра. Башенные выступы на долинных городищах могли использовать для установки аркбаллист.

Дополнительные фортификационные сооружения, которые чжурчжэни использовали для обороны городов, были заимствованы из китайского оборонного зодчества, преимущество которого они узнали во время штурмов китайских городов.

Артемьева Н. Г. Домостроительство чжурчжэней Приморья. – Владивосток : Дальпресс, 1998. – 302 с.

Артемьева Н. Г. Оборонительные сооружения Южно-Уссурийского городища // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Казань, 2010. – Ч. 1. – С. 93–96.

Воробьев М. В. Городища чжурчжэней как фортификационные сооружения // Докл. Географ. о-ва СССР. – Ленинград, 1968. – Вып. 5. – С. 60–73.

Школяр С. А. Китайская доогнестрельная артиллерия : материалы и исследования. – Москва : Наука, 1980. – 406 с.

Ш. К. Ахметова

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН

ПЕРЕДАЧА ГРЕХОВ В ПОХОРОННОМ ОБРЯДЕ КАЗАХОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

The problem of an origin of a ceremony sins transfer in funeral rites of Kazakhs in Western Siberia is considered in the article. Experts consider this ceremony like Muslim, but ministers of Islam forbid it. The author came to a conclusion about more ancient nature of a ceremony, pre-Islamic origin of transfer sins of the deceased. After adoption of Islam this ceremony merged with Muslim atonement of the missed fast in a month Ramadan – a fidiya. In a base of a ceremony (daur, iyskat, fidiya) the guarding magic lies.

© Ахметова Ш. К., 2015

Многие исследователи отмечали в погребальной практике мусульманских народов Средней Азии, России и Казахстана, наряду с элементами ранних форм верований, такой широко распространенный вид обряда, как *дәуір* (у казахов), *деур* (у северо-кавказских народов) или *давр* (у таджиков). Специфичность этого обряда заключается в том, что специалисты считают его мусульманским, а служители ислама запрещают его проведение. В Западной Сибири *даур* (*давр)* до недавнего времени был широко распространен среди казахского и татарского населения. В начале XXI в. молодые имамы, получившие хорошее теологическое образование, стали усиленно бороться с составляющими похоронной обрядности, противоречащими нормам ислама. Тем не менее в некоторых местах давр по желанию покойника или родных продолжают еще проводить. В данной работе мы хотим рассмотреть происхождение этого обряда на основе терминологического анализа с привлечением литературных источников и материалов казахских этнографических и международных казахских археолого-этнографических экспедиций Омского филиала ИАЭТ СО РАН, проводившихся под руководством автора в конце XX – начале XXI в. в Новосибирской, Омской, Тюменской областях и Алтайском крае.

Обряд выкупа и передачи грехов мулле или посторонним людям сибирские казахи называют по-разному: *дәуір, ыскат, пидия*. Совершают этот обряд после обмывания перед отпеванием – *жаназой*. Рассмотрим сначала терминологию. *Дәуір* в казахском языке имеет два значения: 1) эра, эпоха и 2) искупительная жертва, выкуп и отпущение грехов покойника [*Бекмұхаметов*, 1977: 61]. Во втором значении *дәуір* употребляют со словами *жүргізу* (водить) или *айналдыру* (окружить). Причем само слово *дәуір* د ور (перс. *доур*) с персидского переводится тоже как вращение (круговорот) [там же]. Оба значения слова не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Обряд *даур* у всех исповедующих ислам народов Северного Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Афганистана проводится по одной схеме [*Ислам на Северном Кавказе*]. Участники располагаются по разные стороны от покойника, как бы окружая его. Затем передают друг другу (туда и обратно) год за годом, по количеству лет пропущенных намазов и постов, сверток с деньгами для выкупа его грехов. Таким образом, движение обряда происходит по кругу. Поэтому казахи его называют еще *алдым-бердім* (взял – отдал), *жүргізу* (водить) или *айналдыру* (окружить). Универсальность кругового движения, характерная для многих религиозных и культурных традиций, общеизвестна. Р. М. Мустафина отмечает, что у казахов обойти вокруг человека означало принять на себя все его болезни и несчастья. В народе еще бытует выражение *айналайын қарағым* (обойду вокруг, зрачок, светильник мой) [*Мустафина*, 1992: 103]. Аналогичные данные обнаруживаются и у казахов Западной Сибири. В этом кружении, видимо, заключается и смысл обряда *дәуір*.

Слово *ысқат*, согласно казахско-русскому словарю 1925 г., трактуется как «подарки, делаемые во благо души» [*Қазақша-орысша тілмаш,* 2005: 55]. В академическом словаре *ысқат* трактуется как подарки, которые делают родные из вещей умершего на отпущение его грехов [*Казахско-русский словарь*, 2002: 992]. По словам И. Алтынсарина, *искат* – это раздаваемые бедным после омовения платья умершего и подарки муллам [*Алтынсарин*, 1870: 117]. На наш взгляд, это слово, возможно, восходит к арабскому *ихсан*. Преподаватель онлайн-медресе Абу Ахмад так передает значение этого слова: «Ихсан (араб. إِحْسَانٌ) – существительное от глагола أَحْسَنَ (делать превосходно, отлично; совершать благодеяния, делать добро). Однокоренное со словом حَسَنَةٌ – добро и означает благодеяние, милость». При этом он уточняет, что в шариате *ихсан* имеет множество смыслов, изменяясь в зависимости от контекста [*Абу Ахмад. Ихсан*].

Еще одно название, применяемое казахами для обозначения рассматриваемого обряда, – это *пидия (фидия)*. *Фидья* (араб. فِدْيَةٌ) происходит от глагола فَدَى (выкупать, освобождать за выкуп, искупать (чем-то); жертвовать (чем-то) и означает выкуп [*Абу Ахмад. Фидья, фидия*]. В отличие от обозначений *дәуір* и *ысқат, фидия* входит в терминологию шариата и связана с пожертвованием «ради Аллаха как милостыня, пища, жертвоприношение или пост, для возмещения проявленного упущения в поклонении, как совершение запрещенного или оставление обязательства» [там же]. Сура 184 «Аль-Бакара» утверждает: «А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка» [*Коран*, 2007: 28]. Согласно толкованию Ас-Саади, старики и другие люди, не способные выдержать пост, обязаны в искупление накормить одного бедняка за каждый пропущенный день [там же: 623]. Следовательно, *фидия-садака* устанавливается в качестве возмещения за недержание поста мусульманам, которые не смогли это сделать по состоянию здоровья или по другим причинам. *Фидия-садака* рассчитывается из суммы, которую человек обычно тратит на себя. Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в 2011 г. размер *фидии-садака* был определен в 100 руб. [*Хайрутдинов*]. На исламском портале 16 июня 2014 г. было размещено решение Совета

улемов ДУМ РТ об установлении *фидии* за каждый пропущенный день в размере 150 руб., исходя из стоимости пшеничной муки, фиников и изюма [*Определена сумма фидия*...].

Употребление наряду с *дәуір*, *ысқат* термина *фидия* свидетельствует об объединяющем их начале. В свое время И. Алтынсарин обращал внимание на то, что киргизы (казахи. – *Ш. А.*) понимают *ысқат* как продажу муллам грехов покойника за узаконенную плату и заставляют их при проведении обряда говорить «принимаю грех умершего» (*котердин бе, котерим* и т. д.). Он также отметил противоречие обряда шариату [*Алтынсарин*, 1870: 117]. Казахстанские исследователи также отмечали, что обряд искупления грехов не является чисто мусульманским [*Мустафина*, 1992: 21]. Передача грехов умершего противоречит ортодоксальному исламу, потому что перед Богом каждый человек отвечает за себя сам [*Толеубаев*, 1991: 97–98]. С. Е. Ажигали однозначно трактует *дәуір* как обряд домусульманского происхождения [*Ажигали*, 2001: 73]. Имам Соборной мечети Новосибирска Н. Шакирзянов в своем интернет-интервью заметил, что среди мусульман существуют различные ереси (неузаконенные религиозные обычаи) и среди них – *давра*. По его словам, *давра* противоречит исламскому шариату и приводит к опасным заблуждениям, что после смерти можно искупить все грехи, не соблюдая в течение жизни постов и молитв [*Шакирзянов*]. Итак, этот исламизированный обряд на самом деле не является мусульманским.

Г. П. Снесарев отмечает архаические моменты обряда *давр*, родственные представлениям о переносе зла, болезни на животных или какие-либо предметы, распространенные в шаманстве, перекликающиеся с «козлом отпущения» у древних евреев и т. п. По его мнению, на ранних этапах перенесение грехов осуществлялось именно на животное. Свидетельством является то, что у многих народов Средней Азии в момент передачи грехов держали за повод лошадь или верблюда [*Снесарев*, 1969: 128]. Более того, обряд перенесения грехов усопшего практикуется не только мусульманами. У бадагов в Южной Индии грехи покойника переносятся на буйволенка. Старейшина племени перечисляет длинный список грехов, которые может совершить любой бадаг, и в конце возлагает руку на буйволенка. Так грехи переходят на него. Процедура повторяется три раза разными руководителями обряда. Буйволенка могут просто трижды обвести вокруг гроба и возложить на него руку покойника, чтобы все его грехи перешли на животное [*Фрезер*, 1980: 602].

По сведениям Н. И. Гродекова, у казахов рода ошакты после обмывания трупа с правой стороны к нему подводили верблюда и перекидывали повод на другую сторону мулле, который на вопрос, берет ли он на себя грехи усопшего по неисполнению им пятикратного намаза, трижды отвечал, что берет. За это он получал верблюда или лошадь. *Даур* могли совершать сначала с верблюдом, потом с лошадью, с быком и с бараном [*Гродеков*, 2011: 213]. И. Алтынсарин в 1867 г., описывая обряд *ыскат* у оренбургских казахов, заметил: «По шариату, должна передаваться через тело какая-либо дорогая, принадлежащая умершему вещь, причем следует вопрос мулле: “Принимаешь ли эту вещь на приношение за пропущенные настоящим покойником моления и посты?” Мулла должен ответить: “Принимаю”. В теперешнее время преимущественно придерживаются и в Орде настоящего законного порядка иската» [*Алтынсарин*, 1870: 118].

В начале XX в. уже использовали деньги. С. Муканов так описывает свое участие в обряде *ыскат*, проведенном в Северном Казахстане в 1913 г.: «Когда я пришел в богатую юрту, несколько начетчиков уже сидели по правую сторону покойника, покрытого шелковым халатом. Мы должны были принять грехи покойника на себя. Церемония эта заключается в том, что деньги, завернутые в белый платок, переходят из рук в руки через гроб покойника столько раз, сколько лет прожил человек, не считая тех первых тринадцати, в которые он еще не грешил. По толкованию муллы, передаваемые деньги облегчают грехи скончавшегося. И каждый раз, принимая эти деньги, мы говорили: “Принимаем”. Это значит, что мы принимаем на свою совесть грехи покойника… Мулла все передавал нам через гроб человека деньги, завернутые в платок, и то один, то другой говорил: “Принимаю”. Нас было пятеро. Покойнику было 63 года. Деньги были переданы 50 раз. Грехи были разделены между нами, пятью начетчиками» [*Муканов*, 1951: 92].

В ауле Амангельды Карасукского района Новосибирской области в первой половине XX в. при проведении *даура* по четыре человека садились с правой и левой стороны маита и передавали через тело деньги. Позднее мулла его запретил.

К началу XXI в. в Омской области обряд *дәуір* претерпел изменения. В изголовье по обе стороны от покойника сидят родственник и мулла и передают друг другу, приговаривая *алдым – бердім* (взял – отдал), деньги, завернутые в белое вафельное полотенце. Сверток с деньгами передают столько раз, сколько лет умерший не держал намаз с 13-летнего возраста. Точно такой же обряд мы

наблюдали на похоронах старого человека в ауле Ақ Түйесай Валихановского района Северо-Казахстанской области в 2005 г. Родственник покойного сидел с правой стороны, а мулла – с левой. По словам имама мечети с. Новоцарицыно Москаленского района Омской области, в выкупе обычно задействованы деньги, собранные на *бата* – пожертвования семье покойного для поминовения в виде денег, тканей, коровьего масла, баранов, лошади от участников похорон. После проведения обряда деньги возвращают хозяину, который потом сам расплачивается с муллой. В начале 2000-х гг. *даур* запретили проводить. Несмотря на активное противодействие имамов и ходжей, в Омской области по просьбе умирающего человека обряд совершают и в настоящее время.

Родственники, беспокоясь за судьбу умершего, продолжают придерживаться этого и других подобных обрядов и обычаев. При смерти женщины всем присутствующим женщинам раздаются катушки белых ниток с иголками, а вдруг когда-то брала у соседок и не вернула. Всех одаривают тканями, носовыми платками, хлопчатобумажными салфетками или *жыртыс* – квадратными лоскутками ткани, в основном из плюша, вельвета, шелка. С этой же целью раздаются оставшееся мясо и лепешки. В основе этих действий лежит желание родственников уменьшить мелкие грехи покойника, вернуть часть долгов, которые он невольно накопил при жизни. Например, не успел сделать ответное приглашение в гости, не вернул какие-то бытовые предметы, обидел кого-то невниманием, несоблюдением определенных обычаев, проявлением жадности и т. п. Определенному кругу лиц, принимавших участие в омовении, старикам и руководителям похоронно-погребальной церемонии в Омске и Омской области дарят также новые ковры или костюмы.

В ауле Амангельды Карасукского района Новосибирской области при выносе над головой умершего очерчивают круг куском хлеба. В ауле Байгамыт Благовещенского района Алтайского края при выносе бауырсаки заворачивают в белую ткань и трижды проводят над головой маита. Этот забытый в Омской области обычай проводится для того, чтобы *ризық* (доля в судьбе) и *құт-береке* (достаток) не ушли из семьи вместе с покойником. Бауырсаки должны съесть дети и внуки. Такой обряд продолжает бытовать в Центральном Казахстане, где его называют *дәуір айналдыру* [*Галимова*, 2003: 54]. В основе его лежит тот же кругооборот, что и при искуплении грехов, но уже с противоположным смыслом. Возможно, когда-то, до принятия ислама, обряд состоял из двух частей: передачи грехов покойного животному и сохранения его доли благополучия в виде позитивной энергетики в семье.

Итак, происхождение обряда передачи грехов покойника восходит к более древним религиозным представлениям и к исламу не имеет отношения. Несмотря на борьбу с домусульманскими обрядами и обычаями, *дәуір* продолжают еще практиковать, но уже в более усеченной форме. После принятия ислама этот обряд слился с мусульманским искуплением пропущенного поста в месяц рамадан – *фидией*, что отразилось в названии обряда. В основе обряда *даур* (*ысқат, фидия*) лежит охранительная магия.

Абу Ахмад. Ихсан // Hutba.org : [сайт]. – URL: https://hutba.org/slovar/ihsan (дата обращения: 12.05.2015).

Абу Ахмад. Фидья, фидия // Hutba.org : [сайт]. – URL: https://hutba.org/slovar/fidya-fidiya (дата обращения: 12.05.2015).

Ажигали С. Е. Религиозность и обрядность сельчан Казахстана в ближайшей ретроспективе: Жетысу, середина 80-х // Обычаи и обряды казахов в прошлом и настоящем. – Алматы, 2001. – С. 35–96.

Алтынсарин И. Очерк обычаев при похоронах, при поминках у киргизов Оренбургского ведомства // Зап. Оренбург. отд. ИРГО. – Казань, 1870. – Вып. 1. – С. 117 – 122.

Галимова А. К. Семейные обряды сельских казахов Северного Казахстана в современный период : учеб. пособие. – Астана : ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2003. – 91 с.

Гродеков Н. И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. – Москва : Вост. лит., 2011. – 566 с.

Ислам на Северном Кавказе // Портал культуры народов Сев. Кавказа : [сайт]. – URL: http://cpnc.ru/categoryblog/348-2012-07-25-06-14-34.html (дата обращения: 12.05.2015).

Казахско-русский словарь. – Алматы : Дайк-пресс, 2002. – 1008 с.

Коран. Перевод смыслов и примечания Э. Р. Кулиев. – Алматы : Әлбаракат, 2007. – 820 с.

Муканов С. Мои мектебы // Песни казахских степей. – Москва ; Ленинград, 1951. – С. 67–132.

Мустафина Р. М. Представления, культы, обряды у казахов. – Алма-Ата : Қазақ университеті, 1992. – 176 с.

Определена сумма фидия и фитр-садака // Исламский портал : [сайт]. – URL: http://www.islam-portal.ru/novosti/104/4965 (дата обращения: 12.05.2015).

Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – Москва : Наука, 1969. – 336 с.

Толеубаев А. Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX – начало XX вв.). – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 276 с.

Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии : пер. с англ. – Москва : Политиздат, 1980. – 831 с.

Хайрутдинов А. Фидия-садака // Info Islam. Общероссийское информационное агентство мусульман : [сайт]. – URL: http://www.info-islam.ru/publ/statji/fidija_sadaka/5-1-0-9646 (дата обращения: 15.05.2015).

Шакирзянов Н. Жизнь и смерть в исламе // Похоронный портал : [сайт]. – URL: http://funeralportal.ru/library/1114/4005.html (дата обращения: 15.05.2015).

Бекмұхаметов Е. Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері. Түсіндерме сөздік. – Алматы : Қазақстан, 1977. – 200 с.

Қазақша-орысша тілмаш (1925). – Астана : Келешек-пресс, 2005. – 288 с.

И. И. Бахшиев[1], Р. И. Бахшиев[2]

Россия, Уфа, [1]Институт этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН, [2]Башкирский государственный университет

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ УФИМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

The usage of GIS technologies is effective in research of odd archaeological objects within the metropolis. The undertaken study allowed to form the distribution scheme of early medieval objects including 9 areas of concentration. The necropoleis boundaries were determined and correlated to known settlements.

Характеристика проблемы. В процессе изучения археологических памятников применение ГИС-технологий приобретает большую значимость и актуальность, в особенности при исследованиях разрозненных элементов в пределах плотной городской застройки. Так, территория Уфимского полуострова, на которой расположена большая часть г. Уфы, является районом концентрации значительного числа отдельных раннесредневековых захоронений, объединенных в условный комплекс «уфимских погребений». Следующей немаловажной проблемой при систематизации и анализе археологических памятников является определение границ объектов в черте города. Постановка и решение данного вопроса предусматривают процесс перехода от точечного учета и картографирования археологических объектов к площадному анализу. Последнее приобретает особое значение при ведении градостроительного планирования. В связи с этим аналитические возможности ГИС выступают ключевым инструментом государственной охраны объектов культурного наследия, их учета и позиционирования [*Бахшиев, Насретдинов, Бахшиев*, 2012].

Источниковая база. В пределах Уфимского полуострова на сегодняшний день известно о 95 объектах археологического наследия, большинство из которых определяются эпохой раннего средневековья и соотносятся с бахмутинской, турбаслинской, кушнаренковско-караякуповской культурами III–VIII вв. н. э. Преобладают поселенческие комплексы – 59 объектов, а погребальных комплексов насчитывается 36. Выделяются такие крупные средневековые некрополи, как Дежневский курганный могильник, Галановский II могильник, Глумилинские, Новиковские курганы, комплекс «уфимских погребений», а также укрепленные поселения Уфа-II, Уфа-III, Уфа-V, сеть селищ «Бельские землянки», «Салют», «Госцирк», Тоннельное, Дудкинское II и др. (см. рис.).

Методы. Работы производилось в ГИС «Историко-культурное наследие Республики Башкортостан» (ГИС ИКН РБ), представляющей собой электронную векторную топографическую карту масштаба 1:25000 / 1:50000 со слоями, характеризующими топографическую ситуацию. Система работает на платформе ГИС «ИнГео», разработчиком которой является ЦСИ «Интегро» (Уфа),

© Бахшиев И. И., Бахшиев Р. И., 2015

и основывается, как и другие ГИС, на послойной системе представления топографо-ландшафтной ситуации. Она позволяет видеть на карте как по отдельности, так и в совокупности слои, определяющие рельеф, отметки высот, строения, адресный план, гидрографию и пр. Такого рода визуализация позволяет, в частности, видеть археологические памятники в пределах современной городской застройки (слои строения, адресный план и т. д.), оценивать топографическую ситуацию (слой, рельеф и гидрография) либо наблюдать совмещенное положение слоев. Позиционирование и заполнение семантических таблиц позволило совместить археологическую и географическую информацию в единую структуру.

Общая схема расположения выделенных могильников эпохи раннего средневековья в пределах южной части Уфимского полуострова (слои «населенные пункты», «строения», «адресный план» включены).
Карта-основа: система ГИС «ИнГео» ИКН РБ (лицензия ГБУК НПЦ МК РБ № 0810-01): *1* – могильник «А»; *2* – могильник «Б»; *3* – могильник «В»; *4* – Ново-Уфимский грунтовый могильник (эпоха раннего железного века); *12* – комплекс одиночных захоронений по ул. Е. Сазонова; *13* – комплекс одиночных захоронений по ул. Сочинской; *14* – городище Уфа-I; *15* – комплекс одиночных погребений у дома Тушнова (ул. Воровского); *16* – городище Уфа-II / комплекс погребений на территории городища; *17* – городище Уфа-III, *18* – комплекс одиночных захоронений «Фестиваль»; *19* – курганы у дома женского духовного училища (ул. Тукаева); *20* – одиночный курган (по сведениям Р. Б. Ахмерова, ул. Тукаева); *21* – комплекс одиночных захоронений на стадионе «Динамо»; *22* – комплекс одиночных захоронений по ул. К. Маркса (участок д. 5–7); *23* – комплекс погребений по ул. К. Маркса (участок д. 8); *24* – комплекс одиночных захоронений на углу ул. Пушкина и Театральной; *25* – комплекс погребений по ул. Пушкина (участок Башкирского государственного театра оперы и балета); *26* – комплекс погребений по ул. Пушкина (участок Башкирского государственного медицинского университета); *27* – грунтовый могильник по ул. Социалистической (ул. М. Карима, участок дома Федерации профсоюзов Республики Башкортостан); *28* – комплекс одиночных захоронений по ул. Социалистической (ул. М. Карима, участок д. 8); *29* – комплекс погребений по ул. Аксакова (участок ТСК «Красинский»); *30* – комплекс одиночных захоронений по ул. Аксакова; *31* – комплекс одиночных захоронений на углу ул. Свердлова и Зенцова; *32* – комплекс одиночных захоронений по ул. Зенцова (участок д. 48); *33* – комплекс одиночных захоронений на углу ул. Пушкина и Гафури; *34* – комплекс одиночных захоронений по ул. Коммунистической (участок д. 11–13); *35* – курганы Уфимские (участок мусульманского кладбища); *36* – Галановский могильник

Обсуждение результатов. Картографирование позволило получить общую картину расположения раннесредневековых объектов, включающих 9 участков («кустов») концентрации. Значительная часть погребальных памятников (24 объекта) относится к турбаслинской культуре V–VIII вв. Городища Уфа-II и Уфа-III являются поселенческими комплексами, в культурном слое которых турбаслинские компоненты представлены наиболее отчетливо. Керамический комплекс бахмутинской культуры прослеживается на 10 поселенческих памятниках, в том числе и в материалах городища Уфа-II. Значительно меньшее количество кушнаренковско-караякуповской керамики фиксируется в отложениях пяти многослойных поселенческих памятников, среди которых отмеченное городище Уфа-II. Турбаслинская культурная доминанта не случайна. Участок бассейна среднего течения реки Белой с центром вокруг устья реки Уфы (территория современного г. Уфа) выступает в качестве центра расселения турбаслинских племен в период с V по VIII вв. н. э. [*Сунгатов*, 1998]. Археологический материал показывает, что к V в н. э. Уфимский полуостров был густо заселен турбаслинским населением и представлял, вероятно, один из центров их этнокультурной консолидации.

Пространственное распределение археологических памятников эпохи раннего средневековья показало их максимальную концентрацию в южной части полуострова.

На данном этапе внимание было акцентировано на изучении информации о разрозненных погребальных комплексах, фиксирующихся в основном при строительных работах и объединенных исследователями в аморфный массив так называемых уфимских погребений.

Полученные результаты картографирования позволили отдельные захоронения и группы погребений объединить в составе трех курганно-грунтовых могильников, выраженных в ГИС, как участки скопления объектов. Тем самым удалось упорядочить комплекс разрозненно расположенных погребений в целостную систему самостоятельных некрополей эпохи раннего средневековья.

Первый и наиболее крупный *могильник «А»* выделяется по 38 погребениям, соотносимым в большинстве своем с носителями турбаслинской культуры. Захоронения выявлены в основном в процессе активной городской застройки исторической части Уфы. Предварительные границы условного курганно-грунтового могильника проведены по крайним погребениям, от ул. А. С. Пушкина до ул. С. Т. Аксакова. Примечательно, что границы раннесредневекового могильника, занимая тыльную, относительно ровную часть полуострова, вплотную подступают, но не нарушают контуры более раннего Ново-Уфимского грунтового могильника эпохи раннего железа. Общая площадь некрополя – более 50 га.

Отдельно был отмечен турбаслинский *некрополь «Б»*, на территории которого в разные годы фиксировалось значительное число захоронений с богатым сопроводительным инвентарем, совершенных под курганными насыпями. Территория некрополя пролегает от участка входа в парк им. Салавата Юлаева, далее по ул. Тукаева до Дома Правительства Республики Башкортостан. Курганы в эпоху раннего средневековья занимали край высокой террасы правого берега реки Белой. Схожее расположение курганов на высоких надпойменных террасах рек наблюдается и в других турбаслинских могильниках, таких как Бирский, Дежневский, Шареевский, Сальзигутовский и др. [*Мажитов*, 1968: 10; *Пшеничнюк*, 1968; *Султанова*, 2000: 3; *Матвеева*, 1968: 6; *Федоров,* 2003]. Обнаруженный же в захоронениях могильника незаурядный погребальный инвентарь и расположение курганов на краю высокого плато, хорошо просматриваемого со стороны Бельско-Уфимской поймы, вероятно, свидетельствуют о расположении здесь некрополя родоплеменной знати, функционирующего параллельно, но при этом отдельно от курганно-грунтового «рядового» могильника «А». Занимаемая могильником территория – около 8 га.

Участок компактного расположения захоронений в пределах территории городища Уфа-II и нынешнего парка культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова был объединен в отдельный могильник. В 50-х гг. XX в. на этой территории выявлено до 18 погребений, большая часть из которых совершены в культурном слое городища Уфа-II. Данное обстоятельство, вероятно, свидетельствует о временном затухании жизни на городище или на его отдельных участках, когда цитадель и прилегающие к ней участки входили в состав крупного курганно-грунтового могильника эпохи раннего средневековья, сосуществовавшего ранее с городищем. Могильник получил соответствующую буквенно-алфавитную нумерацию в системе ГИС ИКН РБ как *некрополь «В»*. Скудные сведения об особенностях погребального обряда и наборе сопроводительного инвентаря этих захоронений позволили установить лишь общую культурно-хронологическую позицию могильника, характеризующегося присутствием как турбаслинских, так и бахмутинских черт [*Бахшиев, Насретдинов*, 2009]. Площадь памятника составляет около 10 га.

Возникновение и функционирование в эпоху раннего средневековья крупных могильников в южной части Уфимского полуострова необходимо связывать с близко находящимися поселенческими комплексами – городищами Уфа-II, Уфа-III и городищем «Монумент Дружбы», которые, по мнению исследователей, составляли единый историко-археологический комплекс [*Мажитов,* 2010: 175]. Мощность культурного слоя на этих памятниках достигает 1–3 м, что, несомненно, указывает на длительный период существования городищ и густонаселенность рассматриваемой территории в раннем средневековье.

Заключение. Выделенные могильники объединили в себе одиночные, разрозненно расположенные в городской черте погребения, значившиеся до этого как отдельные и самостоятельные археологические объекты. Определены вероятные границы этих некрополей и установлено соотношение с известными поселенческими памятниками. Научные разработки в области ГИС, а также дальнейшие исследования на базе полученных здесь результатов в перспективе позволят наметить основные направления градостроительного планирования исторического центра Уфы. Становится очевидным, что реальная структура и свойства различных составляющих древнего культурного ландшафта Уфимского полуострова значительно сложнее, чем это предполагалось ранее.

Бахшиев И. И. Погребения на территории городища Уфа-II: к вопросу о «длинной» хронологии памятника / И. И. Бахшиев, Р. Р. Насретдинов // Феномен Евразийства в материальной и духовной культуре, этнологии и антропологии башкирского народа. – Уфа, 2009. – С. 33–37.

Бахшиев И. И. Анализ пространственных данных в современной археологии: некрополи эпохи раннего средневековья южной части Уфимского полуострова / И. И. Бахшиев, Р. Р. Насретдинов, Р. И. Бахшиев // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность. – Уфа, 2012. – С. 18–22.

Мажитов Н. А. Бахмутинская культура. Этническая история населения Северной Башкирии середины I тыс. н. э. – Москва : Наука, 1968. – 162 с.

Мажитов Н. А. История Башкортостана. Древность. Средневековье / Н. А. Мажитов, А. Н. Султанова. – Уфа : Китап, 2010. – 528 с.

Матвеева Г. И. Шареевский могильник // Из истории Башкирии (дореволюционный период). – Уфа, 1968. – С. 5–20.

Пшеничнюк А. Х. Уфимский курганный могильник // Археология и этнография Башкирии. – Уфа, 1968. – Т. III. – С. 105–112.

Султанова А. Н. Бирский могильник: историко-археологическое исследование : дис. … канд. ист. наук. – Уфа, 2000. – 207 с.

Сунгатов Ф. А. Турбаслинская культура (по материалам погребальных памятников V–VIII вв. н. э.). – Уфа : Гилем, 1998. – 168 с.

Федоров В. К. Сальзигутовский могильник / В. К. Федоров, Я. В. Рафикова // Уфимский археологический вестник. – Уфа, 2003. – Вып. 4. – С. 225–229.

В. А. Борисов

Россия, Кемерово, Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ДРЕВНЕМ ГОНЧАРСТВЕ КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПРИЗНАК

The article defines the place and role of technology in the pottery tradition of ethnic and cultural features of ancient societies, a comparative analysis of the technological traditions, ornaments and elements of the funeral ceremony of a number of archaeological monuments in Western Siberia.

© Борисов В. А., 2015

К технологическим традициям в гончарном производстве относится целый комплекс конкретных навыков труда, закрепленных в повседневной практике гончаров и передаваемых из поколения в поколение. Он включает подбор и подготовку пластичного сырья, приготовление формовочной массы с добавлением определенных примесей, способ формирования полой емкости и придание изделию определенной формы, методы и приемы обработки и декорирования сырых поверхностей сосуда, сушку и обжиг готового изделия. В систему традиционного гончарства конкретного древнего общества входят также инструментарий, вспомогательные технические средства, обжиговые устройства и т. п., типологически отличающиеся от аналогичных средств керамического производства инокультурных обществ. Еще одним компонентом гончарных традиций является совокупность религиозных верований, обычаев, суеверий, эстетических норм и других элементов духовной сферы жизни древних народов. Формат данной статьи позволяет остановиться на рассмотрении только одного элемента древнего гончарства – примесей в формовочных массах, как наиболее ярких и чаще всего исследуемых специалистами технологических признаков керамической посуды.

Древние технологические традиции гончарства консервативны и устойчивы в пространстве и времени. Это определяется рядом факторов, характеризующих древние общества как традиционные. Во-первых, они закрыты от внешнего инокультурного влияния. Во-вторых, передача гончарных знаний, умений и навыков происходит при непосредственном контакте гончара-учителя и ученика, являющихся родственниками, что исключает обучение методом наблюдения со стороны. В-третьих, любые инновации в производстве глиняной посуды, как, впрочем, и в любой иной сфере хозяйственной деятельности, серьезно затруднены многочисленными запретами [*Бобринский*, 1999: 48–75].

На основе данных рассуждений возникает вполне обоснованная, но в то же время упрощенная схема взаимосвязей этнокультурных явлений: существование одного или нескольких близкородственных этносов сопряжено с наличием одной гончарной технологической традиции в рамках одной археологической культуры. В действительности гораздо чаще встречается сочетание нескольких гончарных традиций в одной археологической культуре и даже в границах одного памятника, в керамике одного сосуда, а также наличие одной и той же технологической традиции в нескольких археологических культурах.

При изучении керамики елунинской культуры раннего бронзового века на поселении Березовая Лука в лесостепном Алтае нами были выявлены две технологические традиции. Одна характеризовалась формовочными массами с добавлением шамота, другая – песчано-дресвяных примесей [*Борисов*, 2005: 165–173]. Повторное исследование елунинской керамики с данного памятника, проведенное Л. Н. Мыльниковой и С. П. Грушиным [2009: 81–84], в целом подтвердило наши выводы.

Анализируя составы формовочных масс андроновской керамики могильника Ермак IV в Среднем Приитышье, И. Г. Глушков выделяет такие рецептуры: а) чистая глина без искусственных добавок; б) глина + дресва + раковина; в) глина + речной песок; г) глина + шамот [*Глушков*, 1996: 96].

Исследования керамической посуды четырех поселений корчажкинской археологической культуры в Барнаульско-Бийском Приобье (Казенная Заимка, Фирсово-17, Фирсово-18 и Заковряшино-1) показали наличие в формовочных массах 10 рецептур, которые можно объединить в две технологические традиции. Первая основана на преобладании шамотных примесей, вторая – песчано-дресвяных. В керамике обеих традиций в разной степени присутствуют также раковины моллюсков и слюда [*Шамшин*, 2008: 161–171].

Сосуществование разных технологических традиций в производстве керамической посуды сохраняется в раннем железном веке. Исследование Рафайловского археологического комплекса, расположенного в Исетском районе Тюменской области, выявило две традиции составления формовочных масс при изготовлении глиняной посуды, относящейся к саргатской археологической культуре. Одна традиция характеризуется смешанными шамотно-дресвяными примесями, другая – примесями талька [*Борисов*, 2002: 193–202].

Во всех перечисленных керамических сериях относительно небольшая часть сосудов содержала смешанные примеси, что свидетельствует о взаимопроникновении технологических традиций.

Вторым этапом в изучении гончарных технологических традиций является их корреляция с орнаментальными традициями, господствующими в орнаментике археологического памятника и культуры в целом. В елунинском орнаменте поселения Березовая Лука С. П. Грушин выделил две традиции. Одна из них – логиновская, характеризуется оттисками «отступающей палочки», другая – кротовская – «шагающей гребенки» и «гребенчатой качалки» [*Грушин*, 2003: 54–60]. Логиновские сосуды

содержат преимущественно шамот в керамике, кротовские – песок и дресву [*Борисов*, 2005: 165–173; *Мыльникова*, 2009: 81–84].

Песчано-дресвяные примеси с добавками раковины моллюсков в керамике могильника Ермак IV И. Г. Глушков считает федоровско-алакульской технологической традицией, а шамотные добавки – местной прииртышской [1996: 96].

Корчажкинская посуда с поселений Барнаульско-Бийского Приобья по характеру примесей в керамике является смешанной. Но если внимательно проанализировать особенности орнамента, то можно выявить две закономерности в сочетании орнамента и рецептуры формовочной массы. Сосуды, содержащие преимущественно шамот, орнаментированы гладкими штампами и прорезными линиями, песок и дресву – крупнозубчатой гребенкой и зубчатыми штампами. По нашему предположению, в корчажкинской керамике сочетаются в разной степени андроновские, федоровские и, частично, алакульские, а также еловские традиции [*Шамшин*, 2008: 161–171].

По утверждению Н. П. Матвеевой, высказанному автору данной статьи в устной беседе, наличие в саргатской керамике Рафайловского археологического комплекса двух гончарных технологических традиций связано с поглощением местных племен гороховской культуры пришлым «саргатским» населением. «Саргатцы» добавляли в формовочные массы преимущественно песок, дресву и шамот, «гороховцы» – тальк.

На третьем этапе исследования целесообразно проанализировать соотношение орнаментально-технологических и погребально-ритуальных традиций, господствующих в изучаемой археологической культуре. Необходимо только учитывать, что в елунинской, андроновской (федоровской) и ирменской культурах бронзового века лесостепной части Верхнего Приобья существовала традиция изготовления погребально-ритуальной посуды по особой технологии. В формовочные массы добавлялся преимущественно шамот, обжигались сосуды при низкой температуре в течение относительно короткого времени. По сравнению с поселенческой посудой, сосуды из погребений отличались высокой пористостью и степенью водопоглощения, низкой твердостью, но в то же время обладали совершенством форм, высоким качеством обработки поверхностей и «нарядным» орнаментом [*Борисов*, 2009: 256–259].

В могилах елунинского некрополя Телеутский Взвоз-1 находились, как правило, керамические банки, орнаментированные «шагающей гребенкой» и «гребенчатой качалкой». Сосуды, декорированные «отступающей палочкой», происходят в основном из межмогильного и околомогильного пространства. Только в двух могилах стояли сосуды логиновского орнаментально-технологического типа [*Кирюшин*, 2003: рис. 13-1; 47-3]. Можно предположить, что подобная планиграфия расположения погребально-ритуальной посуды отражает деление «елунинского» общества на две основные фракции, каждая из которых сохраняла, в определенной степени, свои самобытные этнокультурные традиции и находилась на разных ступенях социальной иерархии.

Устойчивое сочетание гончарных технологических, орнаментальных и погребально-ритуальных традиций демонстрирует андроновский (федоровский) могильник Чудиновка-1, расположенный в Восточном Присалаирье [*Илюшин*, 2013].

Сравнительный анализ гончарного производства на рядом расположенных андроновских могильниках Чудиновка-1 и Дегтяревка-1, являющихся классическими андроновскими (федоровскими) памятниками, показал единство андроновских гончарных технологических традиций. В то же время керамическая посуда Чудиновки-1 содержит ряд технологических признаков, позволяющих предположить сохранение в гончарстве «чудиновцев» инокультурных пережитков. Физико-механические показатели чудиновской керамики наиболее близки кротовской керамике Абрамово X (Бараба) и Черноозерье IV (Среднее Прииртышье) [*Глушков*, 1996: 139–143]. В формовочных массах наряду с шамотом содержится небольшое количество дресвы как пережиток песчано-дресвяной традиции ранней бронзы. Применение узких лент и валиков при конструировании наряду с лоскутами и широкими лентами, а также полное отсутствие следов применения поворотного столика сохраняется с доандроновских времен, когда в памятниках ранней бронзы Верхнего Приобья господствовал жгутовой налеп [там же: 98–110].

Орнамент на чудиновских сосудах также демонстрирует сочетание федоровских и инокультурных традиций. Нами выделены два типа орнамента на больших горшках из могил Чудиновки-1. Первый тип характеризуется преобладанием федоровских признаков: «косые» треугольники по венчику, висячие пирамидки и равнобедренные треугольники, многорядные ленточные зигзаги и «елочка» по тулову, выполненные мелкозубчатой гребенкой. В орнаменте второго типа преобладают «елочки», зигзаги и горизонтальные ряды оттисков крупнозубчатой гребенки, гладких и зубчатых штампов,

лопаток, палочек, пальцев рук и т. п. Подобные орнаментиры были широко распространены в доандроновских культурах Западной и Южной Сибири. Полностью отсутствуют мелкозубчатая гребенка и федоровские геометрические фигуры. Орнамент первого типа широко распространен на сосудах федоровских могильников и на «нарядной» посуде с поселений. Орнамент второго типа преимущественно встречается на поселенческой бытовой посуде.

Большие сосуды, относящиеся к первому типу орнаментирования, происходят в основном из курганов «семейного» типа. В них могилы расположены либо рядами, либо концентрически, на периферии подкурганного пространства. Погребенные лежат в скорченном положении, преимущественно на левом боку. Это федоровская, с пережитками алакульской, погребальная традиция. Большие сосуды второго орнаментального типа встречаются, как правило, в курганах, где погребения совершены по «родовому» принципу. В них находятся только одиночные могилы. Погребенные лежат в скорченном положении, преимущественно на правом, реже на левом боку, а также встречено единичное захоронение женщины на спине с поднятыми коленями и сложенными на животе руками. Это, несомненно, федоровские, но содержащие высокий процент инокультурных признаков погребения.

Приведенные примеры позволяют сделать некоторые предварительные выводы. Гончарные традиции представляют собой устойчивые явления в системе этнокультурных признаков древних обществ. Гончарные технологические традиции практически всегда сочетаются с определенным орнаментом и элементами погребального обряда, что позволяет идентифицировать культурную принадлежность их носителей. Наличие двух или более гончарных традиций практически всегда связано с миграционными явлениями, когда пришлые племена вступают в длительные контакты с инокультурным аборигенным населением. Сосуществование разных технологических, орнаментальных и погребальных традиций предполагает длительный и сложный период этнокультурной ассимиляции и аккультурации в процессе слияния инокультурных и разноэтнических групп населения. Социальная дифференциация древних коллективов основывалась не только на половозрастных и иных внутриэтнических различиях, но и на межэтнических.

Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. – Самара : Изд-во СамГПУ, 1999. – С. 5–109.

Борисов В. А. Опыт изучения технологических особенностей и функционального назначения посуды саргатского населения Рафайловского археологического комплекса / В. А. Борисов, Н. П. Матвеева, И. Ю. Чикунова // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень, 2002. – Вып. 4. – С. 193–202.

Борисов В. А. Технологические особенности глиняной посуды поселения Березовая Лука // Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М., Тишкин А. А. Березовая Лука – поселение эпохи бронзы в алейской степи. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. – Т. 1. – С. 165–173.

Борисов В. А. Особенности ритуально-погребальной керамики (по материалам памятников эпохи бронзы Верхнего Приобья) // Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. – Барнаул, 2009. – С. 256–259.

Глушков И. Г. Керамика как археологический источник. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – 327 с.

Грушин С. П. Керамический комплекс поселения Березовая Лука как исторический источник по изучению орнаментальных традиций елунинской культуры // Источники по истории Западной Сибири. – Сургут, 2003. – Ч. 1. – С. 54–60.

Илюшин А. М. Курганы развитой бронзы в долине реки Ур / А. М. Илюшин, В. А. Борисов. – Кемерово : Изд-во Кузбас. техн. ун-та, 2013. – 303 с.

Кирюшин Ю. Ф. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-1) / Ю. Ф. Кирюшин, С. П. Грушин, А. А. Тишкин. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2003. – 332 с.

Мыльникова Л. Н. Физико-химическое исследование керамики поселения Березовая Лука / Л. Н. Мыльникова, С. П. Грушин // Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. – Барнаул, 2009. – С. 81–84.

Шамшин А. Б. Технология керамического производства лесостепного Алтайского Приобья в эпоху поздней бронзы / А. Б. Шамшин, В. А. Борисов, С. А. Ковалевский // Изв. АлтГУ. – 2008. – № 4/1. – С. 161–171.

Т. А. Васильева

Россия, Владивосток, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

ХОЗЯЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО ГОРОДИЩА (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)

Ekaterinovskoe walled town is a monument to the Jurchen time (XIII c.) in the territory of Primorye. Materials collected during archaeological investigations of the settlement suggests that the economy was of complex nature. The population have developed metal-craft and highly productive agriculture with animal husbandry. They also engaged in hunting and fishing. All this allowed the city-fortress to guard the borders of the state and live in peace. They also engaged in hunting and fishing. All this allowed the city-fortress to guard the borders of the state and to provide yourselves.

В XIII в. после создания государства Восточное Ся (Дун Ся) с восточной столицей в г. Кайюане [*Артемьева*, 2005: 545] на территории Приморского края появляется большое количество городов-крепостей, которые должны были стать ремесленными, торговыми и культурными центрами и защищать империю.

Место для новых поселений подбиралось определенное. Учитывались не только требования фортификации, но и благоприятность или неблагоприятность данной территории с точки зрения геомантики [*Васильев*, 2001: 255–258]. Важную роль в фэн-шуй играли ориентация, рельеф местности, ее очертания, характерное для нее направление ветров и вод. Все эти составляющие должны были определить, насколько выбранная земля подходит для строительства города. И поэтому большая часть горных городищ чжурчжэньской империи на юге Дальнего Востока России строились на оконечностях горных отрогов (Ананьевское – Надеждинский район, Лазовское – Лазовский), в распадках (Шайгинское, Екатериновское – Партизанский район), на отдельно стоящих сопках (Краснояровское – Уссурийский район), рядом с реками, которые раньше были судоходными, или рядом с древними дорогами.

Возводились города в государстве Восточное Ся на государственной земле, их строительство было обязательной частью государственных общественных работ, благодаря которым обеспечивалась оборона, производство, транспортировка, хранение и распределение важнейших материалов и продуктов [*Стужина*, 1979: 80–81].

Население этих городов получало от правительства казенные наделы на льготных условиях, тягловый скот и сельскохозяйственный инвентарь и становилось опорой власти [*Воробьев*, 1975: 130]. Эти города-крепости (институт моукэ и мэнъань) находились на самообеспечении, хозяйственная деятельность их должна была быть адаптирована к потребностям как мирной жизни, так и военных действий. «Эти коллективы обеспечивали себя всем необходимым и не забывали про военную тренировку» [*Воробьев*, 1975: 57].

Полученные в процессе археологического исследования на территории горных городищ в Приморье материалы свидетельствуют, что все нужды и запросы населения удовлетворялись местным производством и торговлей с соседними странами. Хозяйство носило комплексный характер с развитым ремесленным производством и сельским хозяйством, в основе которого было пашенное земледелие и скотоводство.

Одним из интереснейших и достаточно хорошо изученных памятников чжурчжэньского времени (XIII в.) в Приморье является Екатериновское городище. Расположено оно в Партизанском районе в предгорье Ливадийского хребта – южного отрога Сихотэ-Алиня, в бассейне реки Партизанской (Сучан). Восточный чашевидный склон сопки разделен распадком на две части. По гребню сопки насыпан крепостной вал протяженностью 2,2 км, который огораживает площадь в 27 га. По валу прослеживаются остатки 14 сторожевых башен и башенных выступов. Центральные ворота, укрепленные прямым траверсом, находятся с восточной стороны. Внутри городища на склонах сопки сооружены искусственные террасовидные площадки, на которых располагались жилые и хозяйственные постройки.

Во время археологических исследований на Екатериновском городище, как и на всех памятниках чжурчжэньского времени, практически в каждом раскопе встречаются изделия из металла.

© Васильева Т. А., 2015

Потребность в нем возрастала по мере развития и становления государства, строительства городов. Поэтому ремесла, связанные с производством и обработкой металла, занимали ведущее место в хозяйстве не только населения Екатериновского городища, но и других городищ Приморья. На Екатериновском городище пока не найдено печей для плавки металла, но в большинстве раскопов встречаются следы работы с металлом – шлаки, корольки, куски крицы и руды. Часто в жилищах чжурчжэней помимо очагов находятся горновые ямы, в которых разогревали поковки или куски крицы. Иногда для этих целей использовали очаги кана [*Леньков*, 1974: 64]. Найдены новые и отремонтированные вещи – заклепанные котлы, наваренные лопаты. Селились ремесленники по профессиональным признакам [*История Дальнего Востока СССР...*, 1989: 245]. По характеру вещевого материала можно предположить, что ремесленные кварталы Екатериновского городища находились у центральных ворот, в северо-восточной части городища и у родника. Массовыми находками в этих жилищах был кузнечно-слесарный инструментарий – кузнечные клещи, бородки, кузнечная обжимка, 23 напильника (в одном жилище), как целых, так и обломанных (от драчевых до надфилей), ножки угломерного инструмента, сланцевое точило, новые металлические вещи. Встречаются крупные плоские камни – наковальни. Надо отметить, что в жилищах, где найдены кузнечно-слесарные инструменты, практически всегда присутствуют новые металлические вещи. Нагляднее всего это можно определить по железным гвоздям. У использованных гвоздей головка согнута под углом или сплющена, а у новых пробоев концы не согнуты. Многообразие изделий, изготовленных из железа, стали, чугуна, стандартизация специализированных сооружений и кузнечно-слесарного инструментария говорят о высоком уровне металлообрабатывающего ремесла у чжурчжэней, даже надомников, труд которых высоко ценился и был необходим.

Многочисленны находки инструментов для работы с деревом и костью – топоры, тесла, пилы, напильники, резцы, хотя изделия из кости не сохранились, а обработанное дерево сохраняется в единичных экземплярах. Присутствуют на городище и обработанные камни.

Пока нет следов гончарного производства на городище, но большое количество керамического материала, разнообразного по формам и назначению, в том числе и бракованного, позволяет предположить местное производство посуды. К тому же Екатериновское городище относится к немногим памятникам чжурчжэньского времени, на котором присутствует лепная керамика, разнообразная по формам, причем не в единичных экземплярах. Вряд ли такую посуду, которую могли делать в домашних условиях, стали бы возить издалека.

Огромную роль в хозяйстве чжурчжэней играло земледелие. О его значении еще до создания государства есть сведения в письменных источниках: «...земля годна под коноплю и хлеба, и чжурчжэни занимаются земледелием» [*Кычанов*, 1966: 273]. А в конце существования государства в 1217 г., когда власти насаждали военные поселения и были заинтересованы в увеличении сборов зерна в государственные закрома и для армии, принимались побудительные и поощрительные меры для проведения своевременного сева [*История Золотой империи*, 1998: 209]. В Маньчжурии и прилегающих к ней районах в цзиньское время, по сведениям письменных источников, выращивали чумизу, клейкое просо, ячмень, мелкий ячмень, пшеничку, водяной и суходольный рис, коноплю и другие технические культуры, занимались огородничеством и садоводством [*Воробьев*, 1983: 58]. Такое многообразие культур еще раз подчеркивает огромное значение земледелия в хозяйственной деятельности чжурчжэней.

На Екатериновском городище в двух третях раскопов встречаются орудия обработки почвы, сельскохозяйственный инвентарь, карбонизированное зерно. По летописным, археологическим и этнографическим материалам удалось восстановить способы обработки почвы и орудия, применяемые при этом, орудия, используемых при уборке урожая, разнообразие растений, особенности переработки зерна и способы его хранения. Самым сложным орудием обработки почвы при вспашке был дальневосточный плуг, который приводился в действие тягловой силой – волами. На городище сохранились только чугунные детали плуга – лемех и отвал и их обломки. Для ручной обработки почвы пользовались мотыгами, лопатами, пешнями. Причем железные лопаты были со следами ремонта полотна скобами.

Жали зерно серпами, обрушивали в ступах, которые встречаются в хозяйственных пристройках и жилищах, а мололи в каменных мельницах, тоже найденных в жилищах.

В восьми жилищах и на террасе Внутреннего города найдены остатки карбонизированных семян культурных растений. Это были остатки деревянного корыта с зернами просовидной чумизы (определение сделано во Всесоюзном институте растениеводства им. Н. И. Вавилова). Также в жи-

лище на подушке кана найдено скопление зерна, которое лежало на тонких обгоревших прутиках. Это дало основание исследователю предположить, что зерно хранилось в небольшой плетеной, скорее всего, из ивовых прутиков корзине [*Леньков*, 1980: 11–12]. Вместе с зерном в корзине лежала и небольшая деревянная плошка, обгоревшие кусочки стенок и дна позволили восстановить ее форму. Следующие образцы зерна были определены как просо и фасоль угловатая (Ямада Горо – научный сотрудник Музея освоения Хоккайдо в г. Саппоро, Япония). И последние образцы получены с помощью водной флотации проб культурного заполнения из жилищ. Коллекция археоботанического материала значительно выросла. Больше всего семян найдено в остатках сгоревшего жилища № 35 (раскоп 62). Обнаружены зерновки гаоляна, проса итальянского и японского, пшеницы мягкой, голозерного ячменя, гречихи посевной, периллы и сои культурной. Также присутствовали семена пасленовых, из сорных – куриное просо, гречиха татарская и горец. Определения сотрудницы ИИАЭ ДВО РАН, канд. ист. наук Е. А. Сергушевой [*Васильева*, *Сергушева*, 2014: 132–135]. Состав культурных растений с других городищ чжурчжэньского времени почти такой же [*История Дальнего Востока СССР...*, 1989: 281–283].

Пашенное земледелие теснейшим образом связано с животноводством. Об этом свидетельствует остеологический материал. Найдены кости крупного рогатого скота и лошадей. Особое внимание уделялось коневодству. Найден железный скребок для чистки лошадей. Большой интерес представлял нож соломорезки. Это массивный широколезвийный нож с утолщенной прямой спинкой длиной 46,6 см и шириной 9,3 см и втульчатой ручкой длиной 10 см. В носу – отверстие диаметром 1,5 см, через которое с помощью шплинта нож крепился в деревянном станке с прорезью, укрепленной железными обкладками. Этим ножом измельчалась солома и ветки, идущие на корм тягловому скоту и лошадям.

Большое значение в хозяйственной деятельности населения Екатериновского городища играла охота. Мясо и блюда из него имели важное значение в питании чжурчжэней [*Воробьев*, 1983: 97]. Охотничьим оружием, которое часто встречается в жилищах Екатериновского городища, служили копья с железными наконечниками, плоские наконечники стрел, предназначенные для нанесения широких резаных ран. Объектом охоты чаще всего становились копытные.

Естественно, что и рыболовство играло важную роль в хозяйстве населения Екатериновского городища, давая богатую белком пищу. Бассейн реки Партизанской (Сучан) всегда был богат рыбой. И до сих пор в него заходят на нерест лососевые. На городище найдены рыболовные крючки, трехзубая острога и керамические грузила для рыболовных сетей.

Материалы, собранные при исследовании Екатериновского городища, говорят о комплексном характере хозяйства средневекового населения Приморья с развитым ремеслом и сельским хозяйством, охотой и собирательством. И эти высокопроизводительные и сбалансированные отрасли хозяйства позволяли городам-крепостям осуществлять свою главную задачу – охранять границы государства и нормально функционировать в мирное время, а также выдерживать довольно длительные военные невзгоды, сдерживая натиск многочисленных врагов.

Артемьева Н. Г. Города чжурчжэней Приморья // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. – Владивосток, 2005. – С. 542–591.

Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. – Москва : Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 488 с.

Васильева Т. А. Земледелие у чжурчжэней (по материалам исследования Екатериновского городища) / Т. А. Васильева, Е. А. Сергушева // Россия и АТР. – 2014. – № 2. – С. 127–137.

Воробьев М. В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. – 1234 г.). Исторический очерк. – Москва : Наука, 1975. – 448 с.

Воробьев М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. – 1234 г.) – Москва : Наука, 1983. – 367 с.

История Дальнего Востока СССР с древнейших времен до XVII века. – Москва : Наука, 1989. – 376 с.

История Золотой империи. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 288 с.

Кычанов Е. И. Чжурчжэни в XI в. (Материалы для этнографического исследования) // Древняя Сибирь : материалы по истории Сибири. – Новосибирск, 1966. – Вып. 2. – С. 269–281.

Леньков В. Д. Металлургия и металлообработка у чжурчжэней в XII веке (по материалам исследований Шайгинского городища). – Новосибирск : Наука, 1974. – 188 с.

Леньков В. Д. Отчет об археологических исследованиях на Екатериновском и Скалистом городищах на территории Приморского края в 1980 году // Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. № 163. 101 л.

Стужина Э. П. Китайский город XI–XIII вв.: экономическая и социальная жизнь. – Москва : Наука, 1979. – 408 с.

Е. В. Водясов

Россия, Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОМ КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ ТОМСКОГО ПРИОБЬЯ*

The article describes the importance of iron ore deposits in settlement system of medieval societies in the Tomsk Ob Region. Based on the mapping of all medieval archaeological sites and iron ore deposits found confinement of settlements to available ore deposits on the average radius of 6–10 km.

Человек во все времена руководствовался определенными требованиями к осваиваемой им территории. Общими факторами в системе расселения являются природные ресурсы, необходимые для жизни и ведения хозяйства, а также возможность удобного перемещения в пределах занимаемой ниши.

Фабула данной статьи построена вокруг территории Томского Приобья и его природных ресурсов, влияющих на географию средневековых поселений.

Томское Приобье – особая подтаежная зона Западной Сибири, сочетающая участки лесостепи с обширными поймами, пригодными для скотоводства, и труднопроходимые таежные ландшафты. Добавим, что своеобразием этой зоны является также обилие водных ресурсов и наличие нескольких месторождений железной руды. Природные характеристики региона служили предпосылками не только сложившегося в Средневековье хозяйственно-культурного типа, но и системы расселения. Рассмотрим этот тезис подробнее.

Огромный массив археологических источников демонстрирует, что основой хозяйства населения Томского Приобья во II тыс. н. э. являлись металлургия железа и скотоводство коневодческой направленности [*Водясов*, 2012а: 20]. Природные ресурсы способствовали стабильному развитию этих отраслей хозяйства на протяжение многих веков. Обращает на себя внимание тот факт, что практически все(!) исследованные средневековые поселения II тыс. н. э. Томского Приобья содержат следы черной металлургии (сыродутные шлаки, фракции железной руды, фрагменты железоплавильных горнов).

Так, на юге Томской области расположен Шайтанский археологический комплекс памятников, являющийся крупнейшим средневековым рудно-металлургическим центром не только в Приобье, но и во всей Западной Сибири. Материалы раскопок 2000–2013 гг. Томского государственного университета показали, что металлурги добыли приблизительно 4700 кг железной руды, которая способна была дать им около 700 кг железа. Если учесть, что Шайтанский рудно-металлургический комплекс занимает огромную территорию (более 10 га), а раскопками изучено менее 2 % всей его площади, то роль черной металлургии в хозяйстве населения и ее масштабы переоценить крайне сложно [*Водясов*, 2012б: 153]. Таким образом, есть все основания поддержать идею Н. М. Зинякова о выделении Томского Приобья в отдельный рудно-металлургический район [1997: 308, рис. 1].

Факт мощного развития железоделательного производства во II тыс. н. э., не фиксируемый в предшествующие эпохи, ставит закономерный вопрос о железорудных базах средневековой металлургии. По мнению Л. М. Плетневой, несмотря на эпизодическое использование местных сырьевых

* Исследование выполнено в рамках государственного задания, проект № 2059 «Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)».

© Водясов Е. В., 2015

источников, наиболее надежной железорудной базой для металлургов ТомскогоПриобья являлся рудный Алтай [1990: 102]. Однако доказательств этого утверждения приведено не было. Н. М. Зиняков (с ним автор этой статьи солидарен) считает маловероятным использование столь отдаленных источников сырья. Постоянная доставка алтайского сырья к местам плавки выглядела бы чересчур трудоемким и сложно реализуемым действом, если еще учесть, что 70–80 % массы загружаемой в горн руды уходит в отходы [*Зиняков*, 1997: 49].

В последнее время совместные с геологами исследования позволили пересмотреть позицию Л. М. Плетневой и установить, что минерально-сырьевыми источниками черной металлургии Томского Приобья служили местные железные руды [*Коноваленко*, 2010: 199].

Археологические исследования средневековых памятников Томского Приобья показали, что металлурги плавили руду непосредственно на территориях своих поселений [*Водясов*, 2012а: 20]. Это является отличительной чертой в сравнении с Горным Алтаем и Хакасией, а также Северо-Западной Сибирью [*Сунчугашев*, 1979; *Зиняков*, 1988; *Зыков*, 2008: 49], где для плавки использовали специальные вынесенные за пределы поселков производственные площадки.

При такой организации труда в Томском Приобье, когда место постоянного обитания и производства железа было ограничено единой занимаемой экологической нишей, становится интересным выявить закономерности расселения средневекового населения относительно железорудных источников.

Сегодня в Обь-Томском междуречье известно 6 месторождений железных руд: 2 – в бассейне Оби (Поздняковское месторождение болотных железных руд, Киреевское проявление сидерита) и 4 – в бассейне Томи (Казанское проявление сидеритовой руды, Линза сидерита у Лагерного Сада, Выходы гидрогетита (лимонита) в устье Томи у д. Козюлино).

Подробно описать каждое месторождение не позволяет объем статьи, поэтому остановимся на их общих характеристиках и значении в средневековом культурном ландшафте ТомскогоПриобья.

Особенностью всех рудопроявлений рассматриваемой территории является их доступность в связи с выходом рудных тел на современную дневную поверхность. Металлурги могли добывать руду открытым способом либо из обнажений террас, либо из пляжной россыпи, где она и сейчас встречается в большом количестве (например, руда буквально выстилает весь берег вдоль Поздняковского месторождения и Киреевского проявления сидерита). Видимо, по этой причине в Томском Приобье ни разу не зафиксированы на месторождениях следы древних шахт и котлованов, какие, например, описаны И. Г. Георги относительно Саянских гор [1777: 32].

Среднее содержание главного компонента в железных рудах ($Fe_{общ.}$) составляет 40–45 % [*Иванов*, 1959: 378–380; *Зиняков*, 1997: 44, табл. 1; *Асочакова*, 2010: 223; *Водясов*, 2012б: 228–234, табл. А, Ж–И].

Для сравнения отметим, что томские руды не уступают по качеству сырью древних металлургов Алтая и Хакасии. В правобережье Енисея еще с XVIII в. интенсивно разрабатывалась Ирбинская группа месторождений, где среднее содержание железа в рудах составляло 43,44 % [*Сунчугашев*, 1979: 86]. Для населения таштыкской культуры сырьевыми источниками добычи железа служили Нижне-Никольское и Тургуюльское месторождения (среднее содержание железа – всего 20–27 %), Спасское и Калиостровское месторождения со средним содержанием железа – 45–55 % [там же: 15–16]. Приблизительно такое же среднее содержание железа отмечено в рудах Алтая – около 35–40 % [*Зиняков*, 1988: 29].

Картографирование рудопроявлений и средневековых археологических памятников в Томском Приобье показало концентрацию последних вокруг залежей железной руды в радиусе не более 15 км (см. рис.).

Средняя удаленность памятников со свидетельствами черной металлургии от минерально-сырьевых источников составляет 6–10 км. Ярчайшим примером приуроченности расселения металлургов к местным сырьевым источникам является Шайтанский археологический комплекс, сырьевой базой которого служило Киреевское проявление сидерита [*Коноваленко*, 2010: 199], примыкающее к шайтанским памятникам с северо-запада.

Киреевское рудопроявление, без сомнений, играло огромную роль в экономике средневекового населения урочища Шайтан. Наибольшая концентрация средневековых памятников в Томском Приобье в окрестностях Киреевского яра [*Водясов*, 2014], а также наличие двух средневековых городищ (Усть-Таган и Киреевское-I) со следами железоделательного производства непосредственно над выходами железных руд свидетельствуют о намеренном строительстве городищ и поселков в этой экологической нише (см. рис.).

Карта-схема расположения памятников со свидетельствами черной металлургии и железорудных месторождений Томского Приобья: *1* – Козюлинский курганный могильник; *2* – городище Кижирово; *3* – Усть-Малокиргизский курганный могильник; *4* – поселение Усть-Киргизка; *5* – поселение Усть-Малая Киргизка-II; *6* – поселение Усть-Малая Киргизка; *7* – Тимирязевское-IV поселение; *8* – Тимирязевское-I поселение; *9* – могильник Тоянов Городок; *10* – поселение Кисловка-II; *11* – городище Басандайка; *12* – городище Шеломок; *13* – городище Коларово; *14* – селище Золотая Горка; *15* – Астраханцевский курганный могильник; *16* – городище Киреевское-I; *17* – городище Усть-Таган; *18* – городище Шайтан-I; *19* – поселение Шайтан-I; *20* – городище Шайтан-III; *21* – городище Шайтан-IV; *22* – местонахождение Шайтан-I; *23* – городище Шайтан-II; *24* – могильник Шайтан-II; *25* – поселение Таганское; *26* – Могильницкое городище; *27* – Могильницкое-I поселение; *28* – Могильницкое-II поселение

Важно, что с юга к киреевским рудам примыкают обширные пойменные пастбища. Последний пассаж немаловажен, поскольку, как отмечено выше, основой хозяйства населения Томского Приобья в эпоху развитого и позднего средневековья являлись железоделательное производство, основанное на местных сырьевых источниках, и скотоводство. Остеологические исследования материалов из памятников урочища Шайтан и процентные соотношения основных категорий находок позволяют определить хозяйственно-культурный тип населения как оседлые металлурги-скотоводы [*Водясов*, 2012б: 117]. В этом случае для успешного комплексного ведения хозяйства необходимы железорудные ресурсы и пастбища, прилегающие к поселениям. Примечательно, что рядом почти со всеми месторождениями железной руды простираются поймы Оби и Томи, создающие благоприятные условия для ведения скотоводства. Возможность содержания скота рядом с железорудными источниками отсутствует лишь на отрезке Оби в окрестностях Поздняковского месторождения, в окрестностях которого поселений металлургов нет (см. рис.), несмотря на достаточно широкое археологическое обследование данного участка [*Матющенко*, 1959]. В этом районе высокая терраса Оби вплотную подходит к реке, и пасти скот здесь крайне затруднительно. Возможно, по этой причине металлурги-скотоводы отказались селиться вблизи Поздняковского месторождения, а выбрали те природные ниши, которые способны были им дать все необходимые ресурсы для комплексного ведения хозяйства.

Приуроченность поселений средневековых металлургов к выходам железной руды наблюдалась и на соседних территориях. Это характерно для древней металлургии в Горном Алтае [*Зиняков*, 1988: 201, 210, рис. 1, 10]. В Саяно-Алтайском нагорье сосредоточены богатые и многочисленные залежи железной руды, поэтому металлурги тюркских каганатов обитали оседло либо непосредственно на рудниках, либо поблизости от них [*Кызласов*, 1997: 27]. Подобную картину наблюдаем и в Хакасии, где средневековые сыродутные горны часто находились на расстоянии 5–9 км от месторождений [*Сунчугашев*, 1979: 52–54].

Такая сопряженность поселений металлургов с сырьевыми базами описывается для тюркских народов и в этнографической литературе. Например, якутские металлурги на рубеже XIX–XX вв. предпочитали селиться в непосредственной близости от выходов железной руды [*Стрелов*, 1928: 55; *Серошевский*, 1993: 368]. В 1842 г. алтайцы нижнего течения реки Чулышман рассказывали путешествующему П. А. Чихачеву, что руду для плавки железа кузнецы-металлурги добывают рядом с поселениями, где стоят их мастерские-железоплавильни [по: *Розен*, 1983: 32–33]. Подобная приуроченность характерна и для татар верховьев Томи XVII–XVIII вв. [*Спасский*, 1819: 141; *Гмелин*, 2003: 102–104]. В материалах 1745–1746 гг., собранных инженером-капитаном С. Плаутиным, сообщается, что татары всех двоеданческих волостей Кузнецкого ведомства добывают железную руду рядом с поселениями и плавят ее в своих юртах, а татары Читтиберской волости платят ясак железом, выплавленным из местных руд [*Огурцов*, 2003: 164–165].

В заключение отметим, что железорудные ресурсы, доступные средневековым металлургам, являлись важнейшим гарантом существования и развития железоделательного производства в Томском Приобье. Месторождения обеспечивали и стимулировали железоделательное производство, что, в свою очередь, способствовало определенной сырьевой независимости от соседних территорий. Всестороннее изучение местных минерально-сырьевых ресурсов позволяет понять причины высокой роли черной металлургии в хозяйстве населения Томского Приобья и проследить закономерности в географии поселений.

Асочакова Е. М. К геохимии оолитовых и болотных железных руд Томской области / Е. М. Асочакова, С. И. Коноваленко // Вестн. ТГТУ. – 2010. – № 341. – С. 222–225.

Водясов Е. В. Черная металлургия в Обь-Томском междуречье в эпоху средневековья : автореф. дис. … канд. ист. наук. – Кемерово, 2012а. – 23 с.

Водясов Е. В. Черная металлургия в Обь-Томском междуречье в эпоху средневековья : дис. … канд. ист. наук. – Томск, 2012б. – 234 с.

Водясов Е. В. «Киреевский Яр»: перспектива создания природного парка как нового бренда в Томской области // Вестн. ТГУ. – 2014. – № 385. – С. 85–90.

Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 3. Самоядские, манджурские и восточные сибирские народы. – Сакт-Петербург : Тип. Вейтбрехта и Шнора, 1777. – 130 с.

Гмелин И. Г. Поездка по Рудному Алтаю в августе-сентябре 1734 г. (из книги «Reise durlch Sibirien vondem Jahre 1733–1734») // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 2003. – Вып. 5. – С. 86–108.

Зиняков Н. М. История черной металлургии и кузнечного ремесла древнего Алтая. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1988. – 276 с.

Зиняков Н. М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири : учеб. пособие для вузов по специальности «Археология». – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. – 368 с.

Зыков А. П. Кузнечные изделия Северо-Западной Сибири во II–XVII веках : дис. … канд. ист. наук. – Москва, 2008. – 223 с.

Иванов К. В. Геологическое строение и полезные ископаемые листа 0-45-XXXI (Окончательный отчет Киреевской геолого-съемочной партии за 1956–1959 гг.). – Томск, 1959 / К. В. Иванов, Г. А. Чернышев, Ю. К. Смоленцев // Архив Территориального фонда геологической информации по Сибирскому федеральному округу (Томский филиал ТФГИ по Сибирскому федеральному округу). Инв. № 0613.

Коноваленко С. И. Вещественный состав шлаков и руд железоделательного производства на территории Шайтанского комплекса средневековых археологических памятников в Томском Приобье / С. И. Коноваленко, Е. М. Асочакова, Е. В. Барсуков и др. // Минералогия техногенеза-2010. – Миасс, 2010. – С. 196–206.

Кызласов Л. Р. Первый Тюркский каганат и его значение для истории Восточной Европы // Татарская археология. – 1997. – № 1. – С. 24–31.

Матющенко В. И. Дневник разведывательной группы Музея истории материальной культуры при Томском университете летом 1959 г. // Архив Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета. – 1959. – № 172.

Огурцов А. Ю. Материалы военно-инженерной разведки 1745–1746 гг. на Алтае и в Саянах как источник по экономике коренных народов Южной Сибири // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 2003. – Вып. 5. – С. 159–165.

Плетнева Л. М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологическим источникам). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1990. – 134 с.

Розен М. Ф. Древняя металлургия и горное дело на Алтае // Древние горняки и металлурги Сибири. – Барнаул, 1983. – С. 19–35.

Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. – Москва : РОССПЭН, 1993. – 736 с.

Спасский Г. Сибирский вестник. – Санкт-Петербург, 1819. – Т. 7. – 198 с.

Стрелов Е. Д. К вопросу об эксплуатации залежей железных руд по рр. Ботоме и Лютенге (по архивным данным) // Хозяйство Якутии. – Якутия, 1928. – № 1. – С. 48–63.

Сунчугашев Я. И. Древняя металлургия Хакасии (эпоха железа). – Новосибирск : Наука, 1979. – 191 с.

Н. Ф. Галеева

Россия, Салехард, Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского

ОСТЯКИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ТАТАР СЕВЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

The article is devoted to the analysis of the Ostyaks's image (indigenous population of western Siberia) in Tatarian folklore of the north of the Omsk region. The primary source of the research are the materials collected by the author in ethnographic expedition. The image of the Ostyaks is considered in the legends and beliefs connected with the archaeological site, forms of relationships, toponymics, trades and modes of life.

По историческим источникам известно, что раньше на севере Омской области жили предки хантов. «Южные ханты в XVII–XVIII вв. жили по Иртышу, Демьянке, Нижней Конде и Оби (в XVII–XVIII вв. это в основном территория Тобольского уезда, а также Ендырской, Сухоруковской и Белогорской волостей Березовского уезда). В прошлом территория их расселения была, вероятно, гораздо

© Галеева Н. Ф., 2015

шире, захватывая как притоки Иртыша – Тару и Омь вплоть до Барабинских степей, так и бассейн реки Туры» [*Соколова*, 2009: 101].

Со временем данную территорию начали заселять татары. В записках Г. Ф. Миллера, сделанных во время его путешествия по Сибири в 1734–1741 гг., описываются места контактирования сибирских татар и остяков. Одной из таких зон являлась территория на границах современных Каргасокского района Томской области, Кыштовского и Северного районов Новосибирской области, Тарского и Седельниковского районов Омской области [*Сибирь...*, 1996: 197].

Таким образом, тот факт, что территория Омской области была зоной контактов тюркского населения с местными уграми, в частности остяками, не вызывает сомнений.

Обь-угорский компонент в структуре татарского населения Западной Сибири изучается исследователями на протяжении многих лет. Различные аспекты взаимодействия угров и татар освящены в работах З. П. Соколовой, Н. А. Томилова, Д. И. Исхакова, Ф. Т. Валеева, Р. Х. Рахимова, В. Н. Адаева, В. Б. Богомолова и др.

Основное внимание омских этнографов уделялось изучению угорского компонента в составе тарских татар тоболо-иртышакской группы (Большереченский, Знаменский, Муромцевский и Тарский районы). «В целом связи с уграми играли известную роль в этнических процессах тоболо-иртышских и барабинских татар. Нередко они жили с манси и хантами по соседству или в одних поселках, имели с ними хозяйственные, торговые контакты, вступали в межэтнические браки» [*Томилов*, 1989: 280].

В 2011–2014 гг. в Тевризском районе автором были собраны новые фольклорные материалы по данной теме.

Для многих татар, проживающих на севере Омской области, понятие «коренные жители Сибири» в первую очередь связано с термином «иштяк».

Интересен тот факт, что сами татары неоднозначны в своих суждениях по поводу этимологии этого слова. Так, если люди пожилого возраста называют иштяками «древний народ», «тех, что жили до татар», остяков и хантов, то поколение татар младше 50 лет (это в первую очередь касается потомков казанских татар) называют иштяками сибирских татар.

А. Бушен, О. Финш, В. Шишонко связывали этноним «остяк» с татарским языком и переводили как «дикий», «вольный», «грубый», «непокорный», «не платящий дань» [*Соколова*, 2009: 24].

Среди татар, проживающих на севере Омской области, сохранились фольклорные сведения об исконных хозяевах этой земли – остяках (иштяках). Легенды и предания (будучи устным народным творчеством), передаваясь из поколения в поколение, непременно подвергаются некой трансформации. Каждый информатор вносит свои, пусть и незначительные, изменения в сюжет. Время стерло из памяти людей внешний вид остяков, особенности их языка и пр. Поэтому фольклор лишь в некоторой степени отражает прошлую историческую реальность.

На сегодняшний день бытует образ остяка – умелого охотника и рыболова, посвященного в тайны религиозных культов и добровольно оставившего исконные земли для сохранения своей культуры и самобытности. Об этом свидетельствуют сюжеты, приведенные ниже, которые были условно разделены на несколько групп.

Археологический памятник

На территории Тевризского района находятся «курганы древних». В паспорте объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник Тайчи-V» указано: «Памятник расположен на подтреугольном мысу первой надпойменной террасы левого берега реки Иртыш. Высота склона мыса от подошвы – 4 м. Могильник насчитывает 27 насыпей, расположенных в основном вдоль краев террасы по линии северо-запад – юго-восток на 180 м. Датировка не ясна» [*Паспорт...,* 1989].

Старожилы д. Тайчи именуют данный объект «курганы древних» (*борынгылар кумелгян)*. Именно остяков чаще всего татары отождествляют с понятием «древние люди». *Анвар Галиевич Аширбаев* (р. 1937, д. Летнее, татарин) об этих курганах рассказал следующее: «Неподалеку от д. Тайчи когда-то располагалась д. Кутор (некоторые люди называли ее Заторное), населенная местными жителями. Они не были ни русскими, ни татарами. Когда из Вятской губернии прибыли белорусы и основали по соседству д. Новоникольск, то местные жители покинули деревню и направились в тайгу. Перед уходом они закопали все свое имущество в курганы. Вскоре рядом было заложено русское кладбище».

Также, по мнению большинства информаторов, в курганах наряду с имуществом покоятся останки людей. Несмотря на то, что местные татары не соотносят эти курганы со своими предками – татарами, к ним сохранилось уважительное отношение, о чем свидетельствует сакральный статус данного объекта. *Галия Мингалиевна Мухаметова* (р. 1934, д. Хутор, татарка) сообщила: «В этих

курганах люди погребены вместе с вещами. Бывало, что люди находили медные браслеты и кольца, но их лучше не брать, иначе можно навлечь беду. По ночам над курганами появляются светящиеся огоньки (*убыруты*). К ним нельзя подходить. И вообще, рядом с курганами нужно вести себя подобающе, перед посещением совершить омовение».

В приведенном примере прослеживается стремление местного населения объяснить присутствие курганов на занимаемой ими территории. Вероятнее всего, данный археологический объект не имеет ничего общего с остяками.

Топонимика

Галимжан Николаевич Юмин (р. 1958, д. Тайчи, татарин) сообщил: «В Тевризском районе много рек и озер с остяцким названием. Слово “ис” с остяцкого переводится как “река”. Я слышал, что название реки “Тевриз” переводится как “темная, грязная вода”. Есть еще такие реки в районе, как Мисс, Имис, Имсыса, Тайсы, Итюгас, Тентис. Интересны названия озер Каут и Кыгыш. Я не знаю, как переводятся эти названия, но они явно не русского или татарского происхождения».

Со слов *Павла Степановича Кошукова* (р. 1938, д. Бичили, русский), «деревню Бичили Тевризского района по легенде основал Калистрат Кухарский примерно в 1880-х гг. Говорят, что раньше возле речки Мисс в землянке жил хант по имени Бича. Окрестность называли Бичилинские юрты. От этого и название деревни дали – Бичили».

Взаимоотношения

В воспоминаниях старожилов сохранились сведения об обращении татар с просьбой о помощи к остяку. *Шайхислам Хусаинович Юмин* (р. 1931, д. Куксы Знаменского района Омской области, татарин): «Роща кукол находится рядом с д. Летнее, возле озера Каурдак, это часть рощи Чусма. В д. Летнее жил род Аширбаевых (ныне – жители д. Тайчи. – *Н. Г.*), представители которого были не приезжими, а коренными жителями Сибири. Аширбаевы собственноручно изготавливали кукол и молились на них, а при необходимости привязывали к деревьям. По каким-то причинам жители д. Летнее, будучи в основном татарами-мусульманами, решили искоренить эту веру: собрали всех кукол и закопали в землю. Однако этого оказалось недостаточно, поскольку место еще не очистилось. Из мест, расположенных ниже по течению Иртыша, был приглашен иштяк (судя по всему, речь идет об остяке. – *Н. Г.*), по указанию которого куклы вновь были извлечены из земли и собраны вместе. Была принесена жертва (точно неизвестно – лошадь или корова. – *Н. Г.*): остяк вспорол животному брюхо, вытащил все внутренности, сложил внутрь все куклы, зашил и спустил труп в Иртыш. Так д. Летнее была очищена от язычества, и все жители приняли ислам» [*Галеева*, 2012: 281].

О формах взаимоотношений татар с остяками сообщила и старожил д. Саургачи Усть-Ишимского района *Айнинур Картуковна Катралиева*: «У них были длинные теплые шубы, шапки, куртки, варежки, удобная обувь, сшитые из сукна и выделанных шкур, – пояснила Катралиева. – Одежду остяки носили широкую, орнаментом из бисера украшали грудь, подол, рукава; на широких поясах, которые завязывали на левом боку, делали вышивку, орнамент из меха норки, соболя, других животных, а также из бисера. Мы не показывали восхищения и удивления, но старались копировать одежду остяков. Чаще всего обувь. Драли липовое лыко, красили его в отварах из трав в разные цвета, плели лапти или чеботы» [*Зинченко*, 2011].

Промыслы и быт

Гульдифар Арслановна Гизатуллина (1927–2012, д. Тайчи, татарка) рассказывала: «Мама говорила, что раньше в этих лесах жили остяки. Они не сеяли хлеб и не разводили коров. Видимо, жили только охотой. Готовили они на кострах и любили сырую рыбу».

Вспоминает *Шайхислам Хусаинович Юмин* (р. 1931, д. Куксы, татарин): «В тайге, будучи подростком, я видел небольшой амбар, поставленный на столбы. Видимо, его охотники ставили для хранения продуктов, но татары такого не делают. Я думаю, что это был старый амбар иштяков. Они, говорят, были умелыми охотниками и рыболовами».

Камиль Жаякфарович Галеев (р. 1965, д. Тайчи, татарин) рассказал следующее: «Мужчины из д. Шиш Знаменского района рассказывали, как однажды во время работы на лесоповале набрели на семью остяков. Эта семья жила автономно и всем себя обеспечивала самостоятельно. Мужики хотели получить от остяка нож в обмен на тушенку. В ответ остяк повел их в свой амбар и показал тушу лося. Не зря люди всегда говорили, что остяки очень хорошие охотники».

Последними свидетельствами «живого контакта» с остяками стали воспоминания *Наили Газизовны Хамидовой* (р. 1946, д. Ташетканы, татарка): «Когда мне было лет 6–7, я сильно заболела и меня оставили на лечении в больнице р. п. Тевриз. Хорошо помню, как в больницу на оленьей упряж-

ке привезли женщину с маленьким ребенком. Люди говорили, что это остячка. Все врачи и больные выстроились в коридоре и возле окон, чтобы посмотреть на красивую меховую одежду женщины, оленью упряжку и странную колыбель, в которой лежал ребенок».

Завершая обзор фольклорных сюжетов, следует отметить, что они не раскрывают в полной мере вопрос взаимоотношений между остяками и татарами, но, безусловно, могут быть полезны для создания целостной картины взаимодействия татар и остяков на севере Омской области.

Галеева Н. Ф. «Рощи кукол» в представлении тевризских татар Омской области // Археология, этнология и антропология Евразии. Исследования и гипотезы. – Новосибирск, 2012. – С. 280–281.

Зинченко Н. «Тропою древних»-2 // Югра. – 2011. – № 8. – URL: http://www.ugra-start.ru/ugra/avgust-2011/299 (дата обращения: 08.10.2014).

Паспорт объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник Тайчи-V». Составлен 30.10.1989 // Архив управления по сохранению и государственной охране, М-во культуры Омской области.

Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. – Новосибирск : Сиб. хронограф, 1996. – 310 с. – (История Сибири. Первоисточники ; вып. 6).

Соколова З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI в. – Москва : Наука, 2009. – 756 с.

Томилов Н. А. Этнические контакты угров и тюрков Западно-Сибирской равнины в XVI – начале XX вв. // Материалы VI Междунар. конгресса финно-угроведов. Т. 1. Археология, физическая антропология, этнография, фольклор и этногенез пермских народов. – Москва, 1989. – С. 278–280.

Т. Г. Гребенникова

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет

МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И МУЗЕОЛОГИИ

Open-air museums have exposure in open areas, are: based on museumification monuments; based on moving objects (Skansen), by supplementing the originals playback. Historical and archaeological museums show the evolution of history and culture, human development environment in different periods.

Музеи под открытым небом как группа учреждений, основные объекты и экспозиции которых расположены вне помещений, на открытых территориях, стали появляться в Европе во второй половине XIX в. Именно музеи под открытым небом выступают объектом рассмотрения в настоящей публикации. Предметом изучения являются возможности интеграции результатов археологических и этнографических исследований и их открытого представления в таких учреждениях на основе современных методов музейного показа.

Сама идея демонстрации объектов наследия в том месте, где они обнаружены, возникла в Европе уже эпоху Возрождения. Постепенная ее трансформация способствовала тому, что принципы музейного показа памятников под открытым небом дифференцировались. Причем эта дифференциация возникла уже в представлениях А. Хазелиуса, ведь первое его этнографическое собрание было выставлено в частном доме в 1873 г., затем оно преобразовалось в музей с показом диорам интерьеров жилых построек и воспроизведением их обстановки. А уже в 1891 г., купив холм Скансен, он реализует идею показа подлинных сооружений, выставляя для обозрения под открытым небом дома, привезенные из различных провинций страны [*Норденсон*, 1993: 25]. Со временем в структуру таких музеев добавляются люди (в том числе в национальной одежде) и различные воспроизведения нематериального культурного наследия [*Де Йонг*, 1993: 28–29].

© Гребенникова Т. Г., 2015

В России тоже сложились свои традиции экспонирования под открытым небом. Так, с первой половины XIX в. появляется тенденция оставлять открытыми для осмотра территории археологических раскопок на юге страны, где в то время развернулся настоящий «археологический бум». В конце того же столетия и другие категории памятников культурного наследия начинают экспонироваться подобным образом. В 1885 г. складывается «Исторический уголок города Вологды», который был образован такими объектами, как дом Петра I, церковь Феодора Стратилата, сад на берегу Вологды, в котором были размещены под открытым небом пушки и била петровского времени. В наши дни эти памятники входят в состав Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Первый скансен в России сформировался в 1929–1934 гг. на территории музея «Коломенское» в Москве, в его создании ключевую роль сыграл архитектор П. Д. Барановский [*Музеи под открытым небом*].

Целенаправленное формирование сети музеев под открытым небом в нашей стране происходило в 1960–1990-е гг. Именно с 1960-х гг. формируются музеи под открытым небом по типу скансенов и в Сибири. Крупнейшим из них стали «Тальцы». Ключевым объектом внимания в таких музеях становилось архитектурно-этнографическое наследие. Экспонированию же археологических памятников в то время не уделялось должного внимания, оно было сконцентрировано в небольшом количестве музеев под открытым небом, созданных путем музеефикации именно археологического наследия (например, археологический музей-заповедник «Танаис») [*Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; Археологический музей-заповедник «Танаис»*].

Между тем нужно отметить, что удачный опыт интегрированного одной идеей показа открытий археологической и этнографической наук в западной практике музейного строительства имеется не только у музеев под открытым небом, но и у ряда музеев коллекционного типа (расположенные в зданиях и основанные на собраниях предметов движимого материального наследия). Одним из примеров является Музей человека в Париже (один из семи филиалов Парижского музея естествознания). Основная цель этого музея состоит в том, чтобы объединить и публично продемонстрировать в одном месте предметы, отображающие наиболее полную картину развития человека за всю его историю. Именно поэтому здесь представлены экспонаты различных исторических периодов (с древнейших времен) и со всех континентов [*Музей человека...*]. Значение такого подхода в понимании культурно-просветительской миссии музея очень велико. Формируемая база коллекций позволяет осуществлять изучение биологического развития человека и его приспособления к природному окружению; эволюцию культуры и общества, традиций и форм коммуникации.

Современная теория и практика зарубежной и российской музеологии располагает значительными разработками, позволяющими создавать интегрированное знание и транслировать его в популярной и доступной форме, делая известным и актуальным для современного общества. Так, в наши дни музеи под открытым небом создаются одним из нескольких путей:

1. На основе недвижимых памятников культурного наследия на месте их нахождения и в природном окружении (методика музеефикации).

2. На основе перевозки памятников на специально отведенную территорию из разных мест (скансен). Удачный опыт в этом отношении представлен в сезонном (работает в летнее время) Историко-архитектурном музее ИАЭТ СО РАН под открытым небом, который, кроме прочего, объединяет в своей экспозиции привезенные археологические и этнографические материалы [*Историко-архитектурный музей под открытым небом*]. Площадь территории музея составляет 46,5 га, на ней представлено несколько тематических зон: археологическая, этнографическая, архитектурная, имеется экспериментальная площадка. В целом такой интегрированный комплекс позволяет проследить историю и культуру Сибири с древнейших времен до наших дней.

3. Путем соединения первого и второго путей с созданием музеев смешанного типа, сформированных как на основе музеефицированных на месте памятников, так и с использованием привезенных с других территорий объектов.

4. Посредством соединения первого или третьего способов с внедрением технологии воспроизведения объектов наследия. При этом формируется своеобразный исторический парк, основанный на одном или нескольких базовых аутентичных объектах. Классическим примером такого музея под открытым небом является историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» в Кемеровской области. В результате удачной интеграции подлинных (музеефицирована скала с петроглифами как базовый памятник в месте его бытования) и вопроизведенных археологических и этнографических объектов музей в полной мере может именовать себя уникальным комплексом

истории и культуры народов Евразии с древнейших времен [*Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница»*].

Также важно указать, что независимо от того, какой путь создания музея под открытым небом избран, большое значение в этом процессе должны играть технологии приспособления памятников для музейного использования. Без их грамотного проектирования и реализации даже самый интересный археологический или этнографический комплекс не станет объектом культурного туризма. Среди таких обязательных мероприятий отметим следующие:

1. Исследование памятника (разведка, раскопки, мониторинг, натурные исследования, фото-, видео- и иные виды фиксации).

2. Восстановление памятника в случае необходимости (комплекс консервационно-реставрационных работ, реконструкция, ревитализация).

3. Создание инфраструктуры музея, экспозиционных и неэкспозиционных зон, пешеходных дорожек, смотровых и экспериментальных площадок, системы указателей (графических, электронных) и т. д.

4. Разработка маршрутов, экскурсий, аудиогидов, культурно-образовательных программ и других мероприятий. Необходима подготовка и издание буклетов, путеводителей, официального сайта для информационного обеспечения туристических маршрутов.

В мировой практике культурное наследие используется достаточно интенсивно. Многие музеи под открытым небом являются символом, своеобразной визитной карточкой ряда регионов, стран, городов. Кроме прочего, музеи под открытым небом служат пропаганде идеи сохранения и целесообразного использования культурного и природного наследия современным обществом.

Формы представления интегрированного археолого-этнографического знания могут быть реализованы в музеях, созданных на основе любого из указанных способов. Значение интегрированных историко-археологических музеев сложно переоценить. Они позволяют демонстрировать эволюционный процесс историко-культурного развития, процессы и результаты освоения человеком определенных природных пространств в рамках длительных промежутков исторического времени. Посетитель такого музея сможет познакомиться не с фрагментами истории и культуры отдельных народов или территорий, а уяснит идею непрерывности и эволюционности исторического процесса, историко-культурных традиций и феноменов.

Археологический музей-заповедник «Танаис» : [сайт]. – URL: http://www.museum-tanais.ru (дата обращения: 24.02.2015).

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» : [сайт]. – URL: http://www.museum-tanais.rhttp://www.talci.ru/u (дата обращения: 24.02.2015).

Де Йонг А. Первые музеи под открытым небом: о народных традициях – музейными средствами / А. Де Йонг, М. Скоугорд // Museum (ЮНЕСКО). – 1993. – № 175. – С. 27–33.

Историко-архитектурный музей под открытым небом // Институт археологии и этнографии СО РАН. Академгородок. Новосибирск : [сайт]. – URL: http://www.archaeology.nsc.ru/ru/otdel/museum/museum04.aspx (дата обращения: 23.02.2015).

Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» : [сайт]. – URL: http://www.gukmztp.ru (дата обращения: 24.02.2015).

Музеи под открытым небом // Российская музейная энциклопедия. – URL: http://www.museum.ru/RME/sci_openair.asp (дата обращения: 24.02.2015).

Музей человека (Musee de l'Homme) // Путеводитель по Парижу. – URL: http://www.just-paris.ru/museums/tematicheskie/musee-de-l-homme (дата обращения: 24.02.2015).

Норденсон Э. Вначале был Скансен // Museum (ЮНЕСКО). – 1993. – № 175. – С. 25–26.

С. П. Грушин[1], А. В. Фролов[1], С. А. Пилипенко[2]

Россия, [1]Барнаул, Алтайский государственный университет,
[2]Новосибирск, университет экономики и управления

БЕРЕСТЯНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗ ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА КАЛИСТРАТИХА 3 (ВЕРХНЕЕ ПРИОБЬЕ)*

The article deals with reconstruction technology burial boxes made of birch bark, found in Mongolian burial ground in Kalistratiha-3 (Upper Ob). Methods of manufacturing birch bark objects and funerary structures under consideration of time are numerous parallels in the ethnographic traditions of the peoples of Western Siberia.

При исследовании памятника «Калистратиха 3, грунтовый могильник» экспедицией Алтайского государственного университета было обнаружено погребение монгольского времени (могила № 5) в берестяном коробе. Могильник расположен в Калманском районе Алтайского края на северо-восточной окраине с. Калистратиха, в 0,3 км к югу от сельского кладбища. Памятник находится на левом берегу Оби, на северном борту крупного лога, прорезающего верхнюю надпойменную террасу долины реки. В ходе раскопок исследовано пять захоронений, два из которых относятся к монгольскому времени. В могиле № 5 умерший был уложен вытянуто на спине головой на юго-запад. Погребение было совершено берестяном коробе. В могиле обнаружен хорошо сохранившийся берестяной колчан с наконечниками стрел, детали одежды и портупеи, плохо сохранившийся железный нож или кинжал в деревянных ножнах и фрагмент деревянного изделия, возможно, деталь лука.

Берестяной короб, в который был помещен умерший, был перекрыт деревянными поперечными досками, поверх которых положены куски древесной коры и сделано берестяное перекрытие в один слой (рис.: *1*). Со временем под давлением земли, в результате влияния влаги, деформации бересты и перепада температур стенки короба сложились вовнутрь (рис.: *2, 3*).

Погребальный короб был изготовлен из однослойного берестяного полотна рисунком почек поперек листа. Береста снята пластовым методом при помощи ножа, на коре зафиксированы следы разреза коры и подрезки при снятии берестяного листа с березы. Сучки и частицы луба срезаны, кора заготовлена ранней весной до сокодвижения или поздней осенью, когда кора плотно прилегала к слою луба. Длина полотна – 1,8 м, ширина полотна – 75 см, из них 45 см пришлось на дно и по 15 см – на стенки конструкции (рис.: *4*).

Берестяное полотно сшито из двух неравновеликих прямоугольных листов. Второй фрагмент полотна составляет ⅓ от общей длины полотна и пришит к первому листу внахлест на 2 см, положенный поверх первого. Листы сшиты между собой швом в строчку, шаг шва составили 3–4 см, отверстия пробиты толстой иглой диаметром 0,3 см. Продольные и поперечные края полотна были подогнуты вверх на 15 см, образуя стенки и торцы конструкции. Углы полотна были сложены в треугольник и прижаты к продольным стенкам, длина угла по диагонали – 13 см. После этого с внешних сторон стенок были проложены берестяные ленты из обрезков шириной 5 см. Поверх берестяных полос был проложен расщепленный надвое деревянный прут, который образовал кант, для придания прочности конструкции.

Для закрепления канта на конструкции ножом были пробиты сквозные отверстия через берестяные ленты и стенки получившегося в итоге берестяного короба. Сквозь эти отверстия пропустили шнур из сарги, которая соединила всю конструкцию.

Внутрь берестяного короба было вложена берестяная подстилка, состоящая из двух листов (рис.: 5*а, 5б*). Первый лист шел от стоп до шейных позвонков рисунком полотна поперек листа (рис.: *5б*), вторая часть подстилки представляла собой остатки вторично использованного берестяного сосуда (рис.: *5а, 6*).

Короб для погребения был изготовлен из свежеснятых листов. На полотне короба нет следов ремонта и внешних повреждений, которые бы были при его эксплуатации.

---

* Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (постановление № 220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», проект № 2013-220-04-129 «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии».

© Грушин С. П., Фролов А. В., Пилипенко С. А., 2015

Реконструкция берестяного короба и берестяного сосуда из погребения № 5 памятника «Калистратиха 3, грунтовый могильник»:
1 – берестяной короб с перекрытиями;
2–3 – расположение слоев погребального сооружения до (2) и после (3) деформации берестяного короба от давления земли:
а – береста, *б* – кора, *в* – деревянные плашки; *4* – общий вид берестяного короба с детализацией конструкции; *5* – двухчастная берестяная подстилка: *5а* – вторично использованная часть берестяного сосуда;
5б – первый лист берестяной подстилки;
6 – реконструкция берестяного сосуда:
6а – восстановленная по отверстиям берестяная каркасная лента,
6б – вид сбоку

Ближайшей аналогией погребального короба монгольского времени в Барнаульском Приобье является короб из погребения ребенка из курганного могильника Телеутский Взвоз-1 (объект № 11) [*Грушин, Пилипенко, Бельгибаев*, 2004: 182–185]. Использование бересты в сооружении внутримогильных конструкций – характерная черта погребальной обрядности захоронений монгольского времени Барнаульского Приобья [*Тишкин*, 2009: 46–47]. Плохая сохранность органики во многих могилах этого времени не всегда позволяет подробно проследить детали погребальных сооружений с использованием бересты. Не исключено, что и в других захоронениях могли использоваться конструкции, напоминающие короб. Так, например, в погребениях могильника Усть-Алейка-Клуб дно и стенки погребения покрывались берестой (могила 4), края листов бересты подворачивались в головах погребения [там же: 139, 145]. Внутримогильная конструкция, в которой использован лист бересты, покрывающий дно и стенки могилы, напоминающая короб, прослежена и в погребении № 8 могильника Ближние Елбаны-VI [там же: 67, рис. 32].

Применение коробов с подстилками находит аналогии в погребениях Новосибирского Приобья более раннего периода XI – первой половины XIII в., в частности в кургане № 19, погребении 4 могильника Санаторный-1 [*Савинов,* 2008: рис. 122-1–4] и в Барабе (эпоха позднего средневековья) на могильнике Малый Чуланкуль-1 [*Молодин,* 1990: 131, рис. 93-2].

В целом следует подчеркнуть, что захоронения в берестяных коробах – это специфическая деталь погребального обряда населения монгольского времени Верхнего Приобья. Особенно обращает на себя внимание захоронение в коробе взрослого человека. Если детские погребения в берестяных коробах встречаются относительно часто, то захоронения взрослых – большая редкость.

Как уже отмечалось выше, нами был установлен факт вторичного использования в качестве подстилки под головой части берестяного сосуда. Он изготовлен пластовым методом при помощи ножа (рис.: *5а; 6*). Береста была заготовлена ранней весной или осенью. Берестяной сосуд разорван на две части и положен в область затылка и шеи, кверху дном в один слой.

Берестяной сосуд прямоугольной формы, сохранившаяся длина – 25 см, ширина – 30 см, изготовлен из прямоугольного листа бересты и в общих чертах аналогичен по конструкции найденному в этом же погребении погребальному коробу. Берестяной лист с рисунком коры поперек листа был подогнут с продольных сторон на 4,5–5 см, образовав стенки сосуда. От краев стенок отмерено рас-

стояние, равное высоте стенок, и сделаны вертикальные надрезы до места изгиба с дном конструкции. После чего торцевые части листов подвернули вверх по линии надреза, образовав торцевые стенки. Выступающие наружу части стенки были прижаты к боковым стенкам и пришиты (рис.: *6в*).

В стенках сосуда фиксировались пробитые ножом два параллельных ряда отверстий для деревянного обода из расщепленного прута (рис.: *6*). Хорошая сохранность стенок позволяет реконструировать недостающие детали. Судя по следам от сарги в отверстиях стенки, она укреплялась дополнительной берестяной каркасной лентой, после чего прижималась деревянным прутом, и все это закреплялось саргой по принципу обметочного шва (рис.: *6а, 6б*).

Берестяной сосуд относится к одной из самых распространенных форм берестяной посуды юга Западной Сибири – «чуманам» или «тузыякам» и дошел до этнографической современности [*Богомолов*, 1987: 113–134; *Лукина*, 1985: 65–66; *Бельгибаев*, 2006: 153–158]. Посуда такого типа известна в средневековых памятниках Алтая. Она изготовлена способом, аналогичным для погребальных коробов, для которого характерен отворот углов к стенке [*Горбунов,* 2013: 102–107] или торцу [*Грушин, Пилипенко, Бельгибаев*, 2004: 182–185]. В памятниках монгольского периода берестяной сосуд такого типа встречен при исследовании могильника Раздумье-1б [*Уманский*, 1987: 81–99].

Особенностью сосуда из могильника Калистратиха-3 является способ соединения углов посуды. Он не имеет прямых аналогий среди посуды и погребальных коробов монгольского периода юга Западной Сибири, но встречается в конструкции погребальных детских коробов из курганного могильника Санаторный-1 в Новосибирском Приобье (курган № 19, погребение 2) [*Савинов,* 2008: 230]. Могильник датируется XI – первой половиной XIII в. н. э. Эта конструктивная деталь угла сосуда может свидетельствовать о некоторой преемственности с традициями изготовления берестяной посуды населения домонгольского периода юга Западной Сибири.

Таким образом, в ходе исследования удалось реконструировать берестяную погребальную конструкцию и ее детали, сделать обоснованные выводы по особенностям технологии ее изготовления. Приемы производства берестяных предметов и погребальных конструкций монгольского времени Верхнего Приобья находят многочисленные параллели в этнографических традициях народов Западной Сибири [*Грушин, Пилипенко, Бельгибаев*, 2004]. Это открывает дополнительные перспективы для реконструкции технологических традиций изготовления изделий из бересты на территории Верхнего Приобья на протяжении продолжительного хронологического периода.

Бельгибаев Е. А. Традиционная берестяная утварь Туба // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 2006. – Вып. XV – С. 153–158.

Богомолов В. Б. Изделия из бересты барабинских татар // Проблемы происхождения и этнической истории тюркских народов Сибири. – Томск, 1987. – С. 113–134.

Горбунов В. В. Новые результаты изучения курганного могильника Сростки-I в Бийском районе Алтайского края / В. В. Горбунов, А. Г. Ситдиков, А. А. Тишкин // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 2013. – Вып. XVIII–XIX. – С. 102–107.

Грушин С. П. Берестяной короб из могильника Телеутский Взвоз-I: опыт археолого-этнографической реконструкции / С. П. Грушин, С. А. Пилипенко, Е. А. Бельгибаев // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Алматы ; Омск, 2004. – С. 182–185.

Лукина Н. В. Формирование материальной культуры хантов (Восточная группа). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. – 367 с.

Молодин В. И. Бараба в эпоху позднего средневековья / В. И. Молодин, В. И. Соболев, А. И. Соловьев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 262 с.

Молодин В. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Т. 2. Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи средневековья / В. И. Молодин, А. И. Соловьев. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – 127 с.

Савинов Д. Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (басандайская культура) / Д. Г. Савинов, А. В. Новиков, С. Г. Росляков. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 424 с.

Тишкин А. А. Алтай в монгольское время (по материалам археологических памятников). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 110 с.

Уманский А. П. Археологические памятники урочища Раздумья // Археологические исследования на Алтае. – Барнаул, 1987. – С. 81–99.

Н. А. Дубова, Р. М. Сатаев

Россия, Москва, Институт этнологии и антропологии РАН

ПЛАНИГРАФИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛЬТОВОГО ЦЕНТРА ЭПОХИ БРОНЗЫ ТУРКМЕНИСТАНА ГОНУР ДЕПЕ И СПЕЦИФИКА ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ*

Separated groups of buildings and tombs, allocated on the Bronze Age site (2300–1600 BC) are described. It is concluded that Gonur Depe, as the largest of its time religious complex shows an analogy to the existing in Turkmenistan holy sites, where people come to worship and seek to bury their dead near them.

Известный памятник эпохи бронзы Гонур Депе расположен в юго-восточных Каракумах, в 85 км к северу от районного центра Байрамали Марыйского велаята Туркменистана. Он был открыт В. И. Сарианиди в 1972 г. и раскапывался им до последних дней жизни (2013). Археологические работы продолжаются в рамках соглашения между Институтом этнологии и антропологии РАН и Национальным управлением по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Туркменистана. По имеющимся в настоящее время более чем 80 радиоуглеродным датам, памятник датируется 2300–1600 гг. до н. э. [*Зайцева*, 2008; неопубликованные данные авторов]. Общая структура памятника достаточно подробно была не раз описана В. И. Сарианиди [1973, 1990, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008; и др.]. Выделяется центральный комплекс (Северный Гонур), включающий монументальный дворец и окружающий его кремль, а также находящиеся между кремлевской стеной и так называемой стеной каре храмовые постройки (Храм Огня на востоке, Храм жертвоприношений на западе и юге, царское святилище на северо-западе). За пределами стены каре также раскопаны строения, среди которых жилые здания не выявляются, которые окружаются третьей, обводной стеной. Это Храм Воды (на юге), Храм Сомы-Хаомы (на юго-востоке), Комплекс общественных трапез (на севере). К югу от центрального комплекса расположен священный участок Теменос (Южный Гонур), к юго-западу на правом берегу древнего протока Мургаба – группа строений, центром которой является ритуальное погребение трех баранов и осла. На левом берегу Мургаба, непосредственно напротив этого погребения и связанных с ним помещений, находится восточная окраина Большого или главного некрополя, центр которого удален от дворца на расстояние около 300 м. Около северо-западного угла центральной части, за пределами обводной стены, в 2010–2011 гг. раскапывались помещения, только небольшая часть которых может быть некоторым образом связана с проживанием людей. Кроме своеобразной группы могил, включающей очень большого размера цисты, большая часть выявленных строений, скорее всего, имеет ритуальное назначение [*Сарианиди, Дубова*, 2014: 98–99; *Сарианиди, Бороффка, Дубова*, 2014].

В. И. Сарианиди, приводя весомые доказательства, обоснованно утверждал, что данный памятник, будучи крупнейшим из более чем 200 выявленных к началу 1990-х гг. в древней дельте реки Мургаб, являлся административным и культовым центром страны Маргуш. То есть в нем никто не жил постоянно, кроме правителя и его семьи. Обычные поселения, аналогичные синхронным Гонуру Аджикуи-8, 9 [*Масимов, Ляпин*, 1977; *Сарианиди*, 1990; *Adji Kui Oasis...*, 2007] и Гонуру 20, 21 [*Сарианиди, Дубова*, 2012: 39–45], располагались на разной удаленности от замковой части дельты, где было основано столичное поселение, руины которого получили современное название Гонур Депе. Иными словами, все выявленные на Гонуре структуры носили ритуальный характер: здесь совершались жертвоприношения, выполнялись разнообразные ритуалы, в том числе, по всей видимости, и при участии большого числа жителей страны, прибывавших сюда в особые дни.

На территории практически всех перечисленных строительных комплексов было раскопано почти две тысячи погребений, часть из которых группируется в локальные могильники, организованные в разное время. Так, на Большом некрополе Гонура большая часть погребений была устроена в первый период существования памятника, но ближе к его окраинам имеются и те, которые можно отнести к последнему периоду (середина II тыс. до н. э.). Также к последним векам III тыс. до н. э. относится Царский некрополь на восточном берегу Большого Южного бассейна. Достаточно компактные, ограниченные по времени существования могильники были устроены на территории к юго-западу от Северного Гонура, между ритуальным погребением животных и обводной стеной.Один из них позже

* Статья подготовлена в рамках работы по проекту РФФИ № 13-06-00233а.

© Дубова Н. А., Сатаев Р. М., 2015

был засыпан толстым (до 0,7 м толщиной) слоем золы, а второй находился неподалеку от него, рядом с обособленными зданиями пока неясного назначения. Радиоуглеродные даты, полученные по первому кладбищу, показывают, что захоронения проводились здесь между XIX и XVIII вв. до н. э. Отличительной чертой второго могильника является тот факт, что погребения устроены непосредственно одно над другим, причем палеопатологическое исследование костных останков, проведенное В. В. Куфтериным, свидетельствует, что они могли принадлежать родственникам.

Несколько разной величины групп могил раскопано в непосредственной близости от обводной стены, но снаружи от нее: на всем протяжении южной части стены, на западе и на северо-востоке (непосредственно на севере пока работы не проводились ввиду значительных по объему отвалов). Можно отметить, что в южной и северо-восточной частях это преимущественно погребения в цистах, а на западе – в подбойных могилах. Погребения в зданиях внутри города (т. е. во дворце, кремле, храмах, их окружающих, в пределах обводной стены), кроме «дахмы», описанной В. И. Сарианиди в помещении 92 дворца [см., напр.: *Sarianidi*, 1998: 70–71], начали устраиваться после полного запустения центра, в третий строительный период – около 1600 г. до н. э.

На каждой из локальных территорий Гонур Депе также могут быть выделены более ранние и более поздние строения и конструкции. В 2013 г. под руководством В. И. Сарианиди Маргианская экспедиция начала работы по уточнению положения (хронологического, стратиграфического) трех основных строительных периодов Дворца.

Генеральный план Гонур Депе (2012). Исп. В. И. Артемьев, А. М. Урманова, К. Шадурдыев, М. А. Бочкарева, Г. Давтян. Обозначения: Р – раскоп

В общей форме последовательность обживания всего пространства Гонур Депе может быть представлена на данный момент исследования таким образом. Самыми первыми постройками (конец III тыс. до н. э.) явились центральные помещения дворца и на время их сооружения – так называемая первая резиденция на юго-восточной окраине комплекса в пределах обводной стены [*Сарианиди*, 2008: 141]. Как только строительство основного дворца позволило, «первая резиденция» была заброшена, и постепенно ее стены были размыты водами Большого южного бассейна. К самому раннему периоду обитания на Гонуре относится и сооружение первых погребений на Большом некрополе, а также гробниц Царского некрополя. Почти к столь же раннему времени можно отнести два ритуальных комплекса на юго-западной окраине современного памятника, организованных на правом берегу реки Мургаб («Дом очищения» и помещения, связанные с культами огня и воды) [см.: *Дубова*, 2008]. Как было не раз подчеркнуто и В. И. Сарианиди, и архитекторами М. А. Мамедовым, В. И. Артемьевым и А. М. Урмановой, центральная часть комплекса строилась по единому, заранее составленному плану, основные стены его начали возводиться практически одновременно. В пору наивысшего расцвета и, по всей видимости, наибольшего числа паломников в храмовый город (около 2000–1900 гг. до н. э.) началась постройка Южного Гонура (Теменоса). К тому же времени относится и сооружение строений на северо-западе комплекса, вне пределов обводной стены. Как показывают радиоуглеродные даты, ближе к концу этого срока на правом берегу Мургаба, напротив все увеличивающегося в размерах Большого некрополя, стал строиться комплекс зданий, связанный с погребальными церемониями, с ритуальным погребением животных в центре (раскоп 16).

Также с 1800–1700 гг. до н. э. можно связать все более активное сооружение погребений в непосредственной близости от обводной стены города. Причем характерно, что, скорее всего, более ранними были погребения в цистах (на юге и севере) и в подбойных погребениях (на западе).

Самые ранние слои восточного фаса комплекса, причем в пределах обводной стены, но за стенами Храма Огня, связываются с занятиями земледелием, поскольку основой экономики населения Гонурского оазиса являлось орошаемое земледелие (на ранних стадиях – лиманное, на поздних – ирригационное). Главными возделываемыми культурами были пшеницы *(Triticum monococcum*, *T. dicoccum*, *T. aestivum)* и шестирядный ячмень *(Hordeum)*. Из зерновых культур выращивалось просо, из бобовых – чечевица, нут и горох, из садовых – яблоня, слива, вишня, виноград, из бахчевых – дыня [*Сатаев, Сатаева*, 2010; *Sataev, Sataeva,* 2014; *Сатаева*, 2014].

На южной окраине этой территории наиболее ранними постройками являются множество гончарных печей, поверх которых в более позднее время (около 1900–1800 гг. до н. э.) были выстроены помещения разного назначения.

Таким образом, Гонур Депе демонстрирует аналогию с некоторыми ныне существующими в Туркменистане святыми местами – могилами святых, куда люди приходят поклоняться и стремятся именно вблизи них совершить захоронение своих умерших. Святость места и в эпоху бронзы, и в наши дни сохраняется и почитается даже в том случае, когда оно давно потеряло свои некогда значимые ритуальные функции. В этом ряду аналогий нельзя не упомянуть и устройство современных кладбищ на территории археологических памятников разного времени, которое упорно практикуется, несмотря на колоссальные усилия структур по охране памятников истории и культуры не только в Туркменистане, но и в Таджикистане и Узбекистане [см., напр.: *Снесарев*, 1969; *Домусульманские верования*…, 1975].

Домусульманские верования и обряды в Средней Азии / Г. П. Снесарев, В. Н. Басилов (ред.). – Москва : Наука, 1975. – 340 с.

Дубова Н. А. «Дом очищения» на Гонур Депе. Северо-восточный комплекс помещений на раскопе 16 // Тр. Маргиан. археол. экспедиции. – Москва, 2008. – Т. 2.– С. 84–93.

Зайцева Г. И. Радиоуглеродная хронология памятника Гонур Депе / Г. И. Зайцева, Н. А. Дубова, А. А. Семенцов, П. Реймар, Дж. Мэллори, Х. Юнгнер // Тр. Маргиан. археол. экспедиции. – Москва, 2008. – Т. 2. – С. 166–179.

Масимов И. С. Археолого-топографические работы в низовьях древнего Мургаба / И. С. Масимов, А. А. Ляпин // АО 1976 г. – Москва, 1977. – С. 552.

Сарианиди В. И. Древности низовий Мургаба // АО 1972 г. – Москва, 1973. – С. 483–484.

Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 316 с.

Сарианиди В. И. Дворец Северного Гонура // ВДИ. – 2000. – № 2. – С. 248–259.

Сарианиди В. И. Некрополь Гонура и иранское язычество. – Москва : Мир-медиа, 2001. – 246 с.

Сарианиди В. И. Маргуш. Древневосточное царство в древней дельте р. Мургаб. – Ашхабад : Turkmendöwlethabarlary, 2002. – 360 с.

Сарианиди В. И. Гонур Депе. Город царей и богов. – Ашхабад : Turkmendöwlethabarlary, 2005. – 327 с.

Сарианиди В. И. Маргуш. Тайна и правда великой культуры. – Ашхабад : Turkmendöwlethabarlary 2008. – 341 с.

Сарианиди В. И. Археологические работы Маргианской археологической экспедиции в 2008–2011 гг. / В. И. Сарианиди, Н. А. Дубова // Тр. Маргиан. археол. экспедиции. – Москва, 2011. – Т. 4. – С. 29–55.

Сарианиди В. И. Археологические работы Маргианской археологической экспедиции в 2008–2011 гг. / В. И. Сарианиди, Н. А. Дубова // Тр. Маргиан. археол. экспедиции. – Москва, 2012. – Т. 4. – С. 29–55.

Сарианиди В. И. Работы Маргианской археологической экспедиции в 2011–2013 гг. / В. И. Сарианиди, Н. А. Дубова // Тр. Маргиан. археол. экспедиции. – Москва, 2014. – Т. 5. – С. 92–111.

Сарианиди В. И. Культурные контакты Маргианы (Туркменистан) в III тыс. до н. э. Новые данные по Гонур Депе (погребение № 4150) / В. И. Сарианиди, Н. Бороффка, Н. А. Дубова // Тр. Маргиан. археол. экспедиции. – Москва, 2014. – Т. 5. – С. 127–137.

Сатаев Р. М. Возможности использования этноэкологических аналогий при реконструкции системы жизнеобеспечения древнего населения Гонурского оазиса / Р. М. Сатаев, Л. В. Сатаева // Интеграция этнографических и археологических исследований. – Казань ; Омск, 2010. – С. 171–174.

Сатаева Л. В. Растения в материальной и духовной культуре Бактрийско-Маргианского археологического комплекса // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань, 2014. – Т. I. – С. 497–499.

Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов узбеков Хорезма. – Москва : Наука, 1969. – 336 с.

Adji Kui Oasis. III–II mill. BC. Vol. 1. The Citadel of the Figurines / G. Rossi Osmida (Ed.). – Firenze : Il Punto Edizione, 2007. –302 p.

Sarianidi V. Margiana and Protozoroastrism. – Athens : Kapon editions, 1998. – 192 p.

Sataev R. Results of Archaeozoological and Archaeobotanical Research at the Bronze Age Gonur Depe Site (Turkmenistan) / R. Sataev, L. Sataeva // Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. – Wiesbaden, 2014. – P. 369–372.

И. С. Жущиховская

Россия, Владивосток, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

КОРЕЙЦЫ РОССИЙСКОГО ПРИМОРЬЯ В 60-Х ГОДАХ XIX – 30-Х ГОДАХ XX ВЕКА: КЕРАМИЧЕСКАЯ И ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ

The topic concerns to the problem of conservation of certain ethnic identity in foreign cultural space. Ceramic and porcelain wares from the remains of old Korean villages in Russian Primor'e region are corresponding entirely to the native land's cultural traditions of dietary and serving utensils.

Остатки поселений корейцев Российского Приморья 1864–1937 гг. представляют важный этап в истории Дальнего Востока России, связанный с миграцией и адаптацией корейского населения в новом для него культурном пространстве. Планомерное изучение остатков корейских поселений может дать разнообразные вещественные источники по таким аспектам, как система расселения, организация хозяйственного и жилого пространства, архитектурно-строительные стандарты и технологии, трудовой и хозяйственный инструментарий, бытовая утварь и др. Этот информационный потенциал практически еще не использован в исследованиях истории корейской диаспоры Российского Даль-

© Жущиховская И. С., 2015

него Востока, оперирующих в основном письменными источниками. В частности, может быть поставлена задача изучения материальных свидетельств бытовой культуры корейцев в условиях достаточно тесного контакта с русской культурой.

Сегодняшнее состояние корейских поселений, функционирование которых как социальных и экономических структур прекратилось после 1937 г., характеризуется, во-первых, фрагментарностью и, во-вторых, наличием культурного слоя, что позволяет применить к ним некоторые методы археологического изучения – визуальное обследование с фотофиксацией, замерами, сборы с поверхности, локальные зачистки, глазомерную съемку. Так были исследованы некоторые поселения в Хасанском, Пограничном, Октябрьском районах Приморья, полученные материалы предварительно систематизированы [*Жущиховская*, 2014].

В данной статье рассматривается самая многочисленная категория находок на корейских поселениях – керамическая и фарфоровая посуда, представленная фрагментированными и целыми изделиями. Известно, что ассортимент емкостей, предназначенных для обслуживания бытовых потребностей, в частности процессов приготовления и принятия пищи, является одним из наиболее устойчивых компонентов традиционной культуры. Яркие проявления такого культурного консерватизма можно наблюдать в странах Восточной Азии – Китае, Корее, Японии, где до настоящего времени в бытовой сфере функционируют различные виды гончарных изделий, история которых насчитывает от нескольких сотен лет до двух тысячелетий. Соответственно, сохраняются и производственные навыки изготовления таких изделий [*Rha*, 2006; *Жущиховская*, 2010].

В относительно недавней истории есть примеры, когда представители восточноазиатского культурного пространства, попадая в пространство чужой культуры, стараются сохранить привычную модель питания и связанный с ней состав посуды. Так, в колониях китайских золотодобытчиков в западных районах США в XIX в. строго придерживались национальных традиций питания, для чего специальными морскими рейсами из Китая завозились не только привычные продукты, но и кухонная и столовая утварь. Между тем колонистам была вполне доступна различная керамическая и фарфоровая посуда американского и европейского производства. В данном случае использование традиционного ассортимента посуды можно считать своеобразным средством сохранения собственной культурной идентичности в инородной среде [*Aikens*, 2010: 280, 281, 323].

Корейское население Дальнего Востока в 1864–1937 гг. вполне успешно вписалось в российскую, а позднее советскую социально-экономическую и политическую действительность. Вместе с тем исследователи отмечают, что для него было характерно сильное стремление к сохранению этнической идентичности, проявлявшееся в разных аспектах духовной жизни и быта [*Петров,* 2000: 194–205, 236–247; 2001: 221–269]. В данной статье мы ставим задачу определить, в какой степени один из существенных компонентов бытовой культуры приморских корейцев отражал национальные традиции.

По результатам исследования собранных на корейских поселениях коллекций посуды установлены основные группы керамических и фарфоровых емкостей, которые могут быть сопоставлены с видовым разнообразием традиционной корейской бытовой посуды.

Группа керамических сосудов тарного назначения представлена прежде всего вместительными емкостями с широким устьем высотой до 70–80 см. Сосуды изготовлены с помощью гончарного круга и приема выбивки специальной колотушкой. Стенки толщиной до 1,5–2 см покрыты снаружи и изнутри глазурью коричневых, реже зеленых или синих тонов. Черепок прекрасно спечен, судя по низкому показателю водопоглощения (2–4 %). Данные сосуды практически аналогичны корейским емкостям *онгги*, предназначенным для ферментации, приготовления и хранения определенных продуктов, в частности блюд и приправ из сои, овощей, рыбы и др. Технология изготовления этих емкостей, сочетающая ленточный налеп, обработку на круге и выбивку с последующим глазурованием и обжигом в тоннельных склоновых печах, достигла своего расцвета в XVIII–XIX вв. и сохранилась без изменений до настоящего времени. Сосуды *онгги* востребованы и сегодня в системе традиционного питания [*Han*, 2002: 81; *Rha*, 2006: 103–139].

Соя и овощи были ведущими земледельческими культурами корейцев Российского Приморья, рыба и морепродукты также являлись важным компонентом питания [*Аносов*, 1928; *Петров*, 2000: 130–147, 156–159]. Широкое распространение на старых корейских поселениях посуды типа *онгги* свидетельствует о том, что привычные продукты обрабатывались привычными способами и составляли часть повседневной диеты. Вопрос о месте производства сосудов *онгги* пока остается открытым.

Группа керамических сосудов, связанных, по-видимому, с домашними кухонными потребностями, включает изделия небольшого и среднего размера, изготовленные на гончарном круге, неглазурованные, обожженные с использованием восстановительного режима или «дымления» (рис. 1). Судя по показателю водопоглощения, который в основном составляет 11–14 %, это керамика среднего качества, пригодная для кратковременного хранения жидких продуктов, других кухонных нужд. Общие внешние черты – преимущественно серый цвет, округлое тулово и отчетливо выделенная горловина с невысокой шейкой, простой декор в виде горизонтальных или волнистых прочерченных линий на тулове, «ленточные» ручки на тулове. Данная группа посуды по своим характеристикам близка бытовой «сероглиняной» керамике Кореи, традиции которой восходят к гончарству Троецарствия (около 300–668) и последующих периодов [*Rha*, 2006: 29–86].

Рис. 1. Нижняя часть бытового (кухонного) «сероглиняного» сосуда

Рис. 2. Керамика типа punch'ong. Чаша-пиала

Рис. 3. Фарфоровая чаша-пиала с благопожелательной символикой («богатство» и «долголетие»)

Вероятно, кухонная керамика изготовлялась корейскими поселенцами Приморья кустарным способом. В Пограничном районе Приморья обследованы остатки гончарной печи, находившейся на берегу ручья, рядом с территорией усадьбы. Печь небольшая, простого тоннельного типа, сложена из камней. Подобный тип печей характерен для традиционного гончарства Кореи. Рядом с печью найдены фрагменты бракованной пережженной «сероглиняной» керамики [*Жущиховская*, 2014].

Группа посуды, стенки которой снаружи и изнутри покрыты полупрозрачной глазурью серовато-зеленых или голубовато-зеленых тонов и часто декорированы подглазурной росписью темного цвета, серийно представлена на всех старых корейских поселениях. В основном это малого размера миски и чаши-пиалы на кольцевом поддоне, т. е. порционная столовая посуда (Рис. 2). Изделия сформованы на круге, имеют плотный черепок, близкий по качеству к «каменному». Показатель водопоглощения 2–4 % свидетельствует о высокотемпературном обжиге. Однако легкая асимметричность стенок и признаки брака глазури указывают на кустарное производство этой посуды. На изделиях отсутствуют какие-либо маркеры или клейма мастерских.

Данная группа соотносится с одной из наиболее ярких категорий традиционной корейской керамики *punch'ong* (в переводе – «бледный зелено-голубой»). Эта столовая посуда стала популярной с рубежа XIV–XV вв. Технология ее изготовления восходит к производству настоящих селадонов, переживавших свой расцвет в период Коре (918–1392). Посуда *punch'ong* была более грубой и простой, но и более доступной, нежели селадоновые изделия [*Han*, 2002: 85].

Группа фарфоровой посуды столового назначения представлена в основном чашами-пиалами, реже встречаются тарелки, блюдца. Изделия данной группы по технологическим признакам – белому или серовато-белому цвету черепа и очень низкому показателю водопоглощения (до 0 %) – относятся в основном к категории «твердого» фарфора. По особенностям морфологии и декора фарфор, собранный на местах поселений, соответствует традициям и стандартам восточноазиатского, в частности корейского, гончарства. Часто встречаются образцы сине-белого (синий декор на белом фоне) и чисто белого фарфора. В ряде случаев декор изделий представляет собой характерную благопожелательную символику (Рис. 3). По клеймам на донышках удалось установить изделия корейского, китайского и японского производства. Известно, что вплоть до середины 20-х гг. XX в. корейцы Приморья получали определенные категории традиционной бытовой утвари из-за границы контрабандой и лишь частично путем санкционированной торговли [*Аносов*, 1928: 58–59; *Петров* 2000: 198].

Фарфор европейского типа встречается на корейских поселениях очень редко. Но по фабричным клеймам установлен факт присутствия на некоторых поселениях фрагментов столовых чашпиал, изготовленных на Дмитровском и Рыбинском фарфоровых заводах Подмосковья. Эти заводы в 20–30-х гг. XX в. выпускали так называемый восточный ассортимент, поставлявшийся в советские республики Средней Азии. Наши материалы свидетельствуют, что потребителями данной продукции являлись также корейцы Приморья.

Таким образом, ассортимент посуды из старых корейских поселений Российского Приморья в полной мере демонстрирует следование культурным традициям, сложившимся и существовавшим в Корее на протяжении многих веков, и представляет собой материализованное выражение стремления к сохранению этнической идентичности в условиях проживания в чужом культурном пространстве. Пути обеспечения потребностей в привычных видах бытовой посуды были различны: местное производство, несанкционированный импорт из соседних восточноазиатских стран, а с определенного времени – организованные государственные поставки.

Аносов С. Д. Корейцы в Уссурийском крае. – Хабаровск ; Владивосток : Кн. дело, 1928. – 92 с.

Жущиховская И. С. Керамическое производство стран Восточной Азии: традиции и современность // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. – Москва, 2010. – С. 186–199.

Жущиховская И. С. Корейские поселения конца XIX – начала XX в. в Российском Приморье: перспективы археологического изучения / И. С. Жущиховская Ю. Г. Никитин // Археологические вести. – Санкт-Петербург, 2014. – Вып. 20. – С. 277–287.

Петров А. И. Корейская диаспора на Дальнем Востоке России в 60–90 годы XIX века. – Владивосток : Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2000. – 303 с.

Петров А. И. Корейская диаспора в России. 1897–1917 гг. – Владивосток : Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2001. – 399 с.

Aikens C. M. Oregon Archaeology / C. M. Aikens, T. J. Connolly, D. L. Jenkins. – Corvallis : Oregon University Press, 2010. – 496 p.
Han S. C. Notes on Things Korean. – Seoul : Hollym Press, 2002. – 248 p.
Rha S. Pottery. Korean Traditional Handicrafts. – Seoul : Ewha Womans University Press, 2006. – 151 p.

О. Ю. Зимина, В. Н. Адаев

Россия, Тюмень, Институт проблем освоения Севера СО РАН

НАЗЕМНЫЕ КАРКАСНО-СТОЛБОВЫЕ ПОСТРОЙКИ В СВЕТЕ АДАПТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДРЕВНЕГО И СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Above-ground buildings are commonly found in Western Siberia and are known since the Late Stone Age to the Middle Ages. Ethnographic studies have shown that the population of the north-taiga zone have been used such constructions until recently. The authors believe that the considered type of buildings has a number of advantageous parameters due to which it has been fully consistent with the adaptation capabilities of the local populations for several eras of its existence.

Довольно редко в истории удается проследить бытование определенных вещей/явлений на протяжении длительного времени. В качестве примера можно назвать жилища наземного типа. Под термином «жилища наземного типа» мы подразумеваем постройки каркасно-столбовой конструкции, не углубленные в почву (без котлована), возведенные на древней дневной поверхности. В настоящее время на поселениях остатки этих сооружений имеют вид округлых, приподнятых над поверхностью площадок, окруженных неглубокими ямками или канавками, иногда валообразными насыпями. Площадки слабо выражены в рельефе, их высота составляет не более 0,15–0,3 м, иногда до 0,5–0,7 м. Размеры варьируют от небольших (3 × 4 – 7 × 7 м) до более значительных (7 × 14 – 12 × 15 м и т. п.). Сохранность остатков этих построек низкая и предоставляет очень мало данных для реконструкции наземной части и интерьера. По остаткам конструкции в слое и материке чаще всего предполагают каркасную или каркасно-столбовую конструкцию в форме пирамиды / усеченной пирамиды. Иногда эти постройки имеют слабую насыщенность культурного слоя находками, что дает основания для интерпретации части их в качестве сезонных [*Очерки*…, 1994: 284, 300 и др.; *Чемякин*, 2002; 2004; *Михалев*, 2007; *Зимина*, 2009; и др.].

В пределах Западно-Сибирского региона поселения, на которых исследованы остатки построек наземного типа, отличаются довольно разрозненной хронологией и географией. Они распространены от южной границы лесостепи (долина реки Тобол) до северо-таежной зоны (бассейн реки Пур) и от Зауралья до Новосибирского Приобья; встречаются в археологических культурах различных эпох: энеолита (андреевская культура), финальной бронзы (барсовская культура), переходного времени и начала раннего железного века (белоярская, калинкинская, кулайская (раннего этапа), иткульская и баитовская культуры), средневековья (потчевашская и усть-ишимская, сросткинская) [*Очерки*…, 1994: 284, 300 и др.; *Зах*, 1999: 15; *Михалев*, 2007; 2008; *Цембалюк*, 2011; *Адамов*, 2000: 14–15; *Косинская*, 1994; *История Ямала*, 2010].

В большинстве случаев между приведенными выше археологическими культурами разных регионов Западной Сибири связь отсутствует, что позволяет предполагать конвергентное возникновение аналогичных типов построек у разных групп населения в разное время. Однако значительное количество известных поселений с остатками наземных жилищ не датировано [*Древности...*; *Чемякин,* 2004].

Сохранение некоторых типов сооружений на протяжении длительного периода свидетельствует об их универсальности. Рассматриваемый тип построек сохранился до современности. Летом 2013 г. в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе работ археолого-этнографи-

© Зимина О. Ю., Адаев В. Н., 2015

ческой экспедиции Института проблем освоения Севера СО РАН в окрестностях п. Кикки-Акки (верховья реки Таз) были зафиксированы два полуразрушенных, заброшенных в конце 1990-х – 2000 гг. селькупских жилища каркасно-столбовой конструкции, крытых песком и дерном. Отсутствие в их основании сколько-нибудь существенного углубления в почву ярко выделяет их среди сходных по конструкции полуземлянок, распространенных у соседних групп селькупов, кетов и восточных хантов. По-селькупски такая постройка именуется *пой-мат*, что означает «деревянный дом», на русском языке верхне-тазовские селькупы нередко ее называют землянкой или засыпухой. Постройки близки типам жилищ каркасной конструкции в виде усеченной пирамиды по типологии З. П. Соколовой [1998: 137–138].

Рассматриваемый тип жилищ является сезонным – он широко использовался в XX в. владельцами небольших оленьих стад и безоленными охотниками для проживания в зимнее время: «Кто в одном месте сидит – у того землянка. Они летом возле речки там живут, зимой – в землянках» [*Полевые материалы...*, 2013]. Встречаются описания пой-мат, несколько углубленного в почву [*Кениг*, 2010: 59–61; *Ириков*, 2002: 73–74]. Судя по всему, пой-мат в варианте без котлована имеет лишь локальное распространение среди селькупов Верхнего Таза. С. В. Лезова считает, что конструкция этого жилища была перенесена на территорию Тазасюга (реки Нарым, Вах) в ходе миграции селькупов на северные таежные территории, произошедшей в XVII–XVIII вв. Причем с переходом селькупского населения от оседлого рыболовства к полукочевому охотничьему хозяйству произошло соответствующее конструкционное упрощение жилища, а именно: значительно уменьшилась (а в отдельных районах практически нивелировалась) жилищная яма [*Лезова*, 1991: 104–107].

В одном из жилищ в окрестностях п. Кикки-Акки проживали от одного до трех человек (хозяин-мужчина и его гости, занимавшиеся сезонным промыслом), во втором жило около пяти человек (женщина зрелого возраста и ее дети – взрослые и подростки). Жилища были оставлены, так как их хозяева прекратили заниматься сезонным промыслом (первая постройка) или оленеводством (вторая постройка).

В силу ограниченности объема статьи мы лишь кратко остановимся на особенностях конструкции селькупской постройки. Пой-мат сооружался на очищенной от дерна площадке размером 4 × 3 м (либо пропорционально большего масштаба). Его каркас составляли четыре опорных столба, вкопанных по углам и наклоненных внутрь под углом около 70°, на которые укладывались четыре горизонтальных балки. Далее конструкция обкладывалась в особом порядке колотыми плахами, берестой, дерном и песком. Помещение отапливалось небольшой глинобитной печью каминного типа, размещавшейся в центре, для дымохода оставляли небольшое квадратное отверстие в середине крыши. Пой-мат обычно изготавливался в течение 3–7 дней, в строительстве принимали участие все трудоспособные члены семьи. Наиболее трудоемкая работа с деревом осуществлялась мужчинами. Соответственно, общее число строителей обычно составляло 2–5 человек. Каждую осень жилище ремонтировали, укладывая в появившиеся щели мох и подсыпая скатившийся песок, причем со временем грунтовое покрытие становилось все более устойчивым. Подобная постройка при небольшом ежегодном ремонте могла служить до 20 лет и более. В жилище размером 4 × 3 м могли проживать 1–2 семьи, в общем количестве от 1 до 10 человек, включая детей. По воспоминаниям, такие постройки в прошлом могли располагаться небольшими группами, при этом расстояние между домами было не менее 20–30 м. Внутреннее пространство распределялось следующим образом: у входа перед столбами была женская половина, дальняя сторона землянки являлась мужской (она же гостевая). Спальные места располагались у боковых сторон жилища. Вещей в помещении обычно находилось немного, основная часть хранилась на улице. Внутри жилища вещи лежали в основном около столбов или непосредственно на них, подвешенные на крючках. Например, на двух столбах у входа обычно висели котлы и другие предметы, связанные с кухней. В углах по обе стороны от входа стояли дрова. У двух дальних от входа столбов находились мужские вещи и инструменты. Учитывая ограниченность объема помещения, его обитатели значительную часть времени проводили снаружи. В особенности это касалось мужчин, для которых пой-мат фактически являлся лишь местом сна, отдыха и приема пищи. Важно отметить, что оставшиеся после выемки песка углубления, расположенные по периметру жилища, использовались для сброса разнообразного мусора и отходов.

В настоящее время пой-мат уже вышел из употребления у верхнетазовских селькупов. Связано это прежде всего с повсеместным распространением у них практики использования небольших сезонных избушек срубного типа. Тем не менее традиция строительства пой-мат пока окончательно не умерла, так как сооружением их уменьшенных копий занимаются подростки и дети.

Рассматриваемый тип построек обладал целым рядом параметров, благодаря которым он в течение нескольких эпох в полной мере отвечал адаптационным возможностям населения: простота и скорость возведения, доступные материалы и технологии, невысокие трудозатраты. Обнаруженные современные полуразрушенные сооружения позволяют провести параллели с аналогичными постройками древних периодов, восстановить и скорректировать представления о форме сооружения, материале, деталях конструкции.

Сопоставление информации по остаткам раскопанных древних сооружений и заброшенным селькупским постройкам свидетельствует об их вероятном сходном устройстве. Интересен факт, что подобные, «легкие» в нашем представлении конструкции использовались обитателями Севера в зимних условиях. Удаленность пой-мат верхнетазовских селькупов от крупных рек (на расстояние до нескольких сот метров) объясняется тем, что жители зимних поселений в меньшей степени зависели от водоемов: они могли легко получать воду из снега, а помимо рыбной ловли в зимний сезон для них приобретали актуальность и другие занятия (охота, выпас транспортных оленей).Примечательно, что подобная же удаленность жилищ от водоемов наблюдается и в древности. Так, иткульские поселения Притоболья в большинстве случаев расположены в глубине террас, вдали от современных водоемов. Среди белоярских поселений выделяются лесные (расположенные в глубине леса) и береговые [*Чемякин*, 2002: 35]. В Новосибирском Приобье в X–XIV вв. сезонные поселки с наземными постройками также располагались в глубине террас [*Адамов*, 2000: 11].

Версия смены домостроительной традиции верхнетазовских селькупов, у которых новый тип жилищ появился в связи с переселением на новую территорию и изменением хозяйственного комплекса, находит параллели в археологических материалах. Например, в Притоболье на рубеже бронзового и железного веков иткульские группы, расселившиеся в долине Тобола, строили только наземные дома, в то время как у обитавших в горно-лесной части Зауралья (основная территория распространения иткульской культуры) коллективов встречались три типа сооружений: наземные неуглубленные постройки, полуземлянки и жилища со слабо углубленными котлованами в центре помещения [*Очерки*…, 1994: 256].

Безусловно, прямая экстраполяция данных этнографии на археологические материалы неправомерна. Однако полученные этнографические сведения позволяют по-новому взглянуть на некоторые привычные археологические трактовки, касающиеся наземных жилищ каркасно-столбового типа, и выдвинуть на этой основе отдельные предположения, наметить перспективные для разработки параллели.

Адамов А. А. Новосибирское Приобье в X–XIV вв. – Тобольск ; Омск : Изд-во ОмГПУ, 2000. – 256 с. – (Культурное наследие народов Западной Сибири).

Древности Андреевской озерной системы. Т. 1. Археологические памятники / В. А. Зах [и др.] (в печати).

Зах В. А. К вопросу о происхождении андреевской культуры / В. А. Зах, Е. А. Фомина // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 1999. – Вып. 2. – С. 14–21.

Зимина О. Ю. Нижнее Притоболье на рубеже бронзового и железного веков / О. Ю. Зимина, В. А. Зах. – Новосибирск : Наука, 2009. – 232 с.

Ириков С. И. Жилище // Хомич Л. В. Тазовские селькупы: очерки традиционной культуры / Л. В. Хомич, С. И. Ириков, Г. Е. Аюпова. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 72–80.

История Ямала : в 2 т. Т. 1. Ямал традиционный. Кн. 1. Древние культуры и коренные народы. – Екатеринбург : Баско, 2010. – 416 с.

Кениг А. В. Этноархеология как метод археологических реконструкций (на примере тазовских селькупов). – Екатеринбург ; Ханты-Мансийск : Ассоц. малого бизнеса, 2010. – 128 с.

Косинская Л. Л. Археологическая карта Ямало-Ненецкого автономного округа / Л. Л. Косинская, Н. В. Федорова. – Екатеринбург : УрО РАН, 1994. – 114 с.

Лезова С. В. Жилище северных селькупов // Экспериментальная археология. – Тобольск, 1991. – Вып. 1. – С. 101–107.

Михалев В. В. Домостроительные традиции населения Нижнего Притарья в эпоху средневековья (к вопросу о сезонных поселениях) / В. В. Михалев, М. А. Корусенко // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Одесса ; Омск, 2007. – С. 310–313.

Михалев В. В. Городища с кольцевой системой обороны в Среднем Прииртышье (предварительное сообщение) // VII Исторические чтения памяти М. П. Грязнова. – Омск, 2008. – С. 223–224.

Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1. Поселения и жилища. − Томск : Изд-во Том. ун-та, 1994. − Кн. 1. − 485 с.

Полевые материалы В. Н. Адаева. Красноселькупский район, 2013.

Соколова З. П. Жилище народов Сибири (опыт типологии) – Москва : ИПА «ТриЛ», 1998. – 288 с.

Цембалюк С. И. Комплексное исследование баитовского городища Боровушка 2 (лесостепное Притоболье) / С. И. Цембалюк [и др.] // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2011. – № 15. – С. 58−72.

Чемякин Ю. П. Древняя история Сургутского Приобья / Ю. П. Чемякин, К. Г. Карачаров // Очерки истории традиционного землепользования хантов (материалы к атласу). – Екатеринбург, 2002. – 224 с.

Чемякин Ю. П. Барсова гора : археол. карта / Ю. П. Чемякин, А. П. Зыков. – Сургут ; Омск : Ом. дом печати, 2004. – 208 с.

Э. В. Камалеев

Россия, Уфа, Институт этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ ГОРОДА УФЫ XVI–XIX ВЕКОВ

The study presents main directions of ethnoarchaeological researches on the territory of the Republic of Bashkortostan. In addition to the traditional studies of towns and large settlements the research of ethnitical factories, its settlements and localities of XVI–XIX centuries is perspective for review. The research explores Ufa Archaeological horizon distribution dynamics since XVI century till XIX century and offers further study of the material culture of its population. The bounded territory of Ufa fortress is the main direction of the study. With increasing population of the city in XVIII–XIX centuries and slobodas, palace villages, manor houses building there were settlement on the south of the Ufa peninsula.

Выделение археологии нового времени как междисциплинарной отрасли исторической науки связано с наиболее перспективными исследованиями городов и населенных пунктов XVI–XIX вв. Специфика образования и организации позднесредневековых городов на территории Республики Башкортостан связана с их военно-административной и торгово-промышленной деятельностью. Целенаправленное этноархеологическое изучение городов и населенных пунктов в Республике Башкортостан может осуществляться по следующим основным направлениям:

1. Изучение русских городов, основанных как укрепленные административные центры (Уфа, Бирск, к указанной категории необходимо отнести современное село Табынское).

2. Изучение городских и крупных сельских поселений периода XVI–XIX вв., к числу которых относятся и уездные города (Стерлитамак, Белебей, Баймак, Николо-Березовка).

3. Изучение заводских поселений и заводов (Богоявленский завод в районе современного с. Красноусольск, Белорецкий завод на месте современного Белорецка, сюда следует также отнести Авзяно-Петровские верхний и нижние заводы, Благовещенский и Усень-Ивановский заводы и др.).

4. Изучение населенных пунктов XVI–XIX вв., имеющих установленную этническую принадлежность и, соответственно, специфические особенности материальной культуры населения, благодаря архивным и библиографическим сведениям. В качестве примера следует указать русское с. Николо-Березовка, основанное в конце XVI в., а также археологически исследованные башкирские села и аулы Шемяк, Азнаево и Ибрагимовский XVIII–XIX вв.

Исследование исторических городов на территории республики позволяет восстановить планировку, фортификационные сооружения и укрепленные цитадели городов-крепостей, хозяйственный уклад и материальную культуру их населения. В то же время возникает проблема исследования городских выселок, близлежащих сел и помещичьих усадьб, которые являются неотъемлемой частью агломерации русского города периода XVI–XIX вв.

Изучение города тем актуальнее, что в нем консолидируется культурная, хозяйственная и общественная жизнь населения края. Город способствует межэтническому диалогу и товарному обмену,

© Камалеев Э. В., 2015

тем самым удовлетворяя внутренние потребности и распространяя культурные традиции на близлежащее население. Комплексное археологическое исследование городов Нового времени в сравнении с материалами сельских населенных пунктов способствует наиболее полному и достоверному изучению ранней истории и материальной культуры населения Башкирии XVI – начала XX в.

В данной работе проведено изучение и наглядное выделение культурного слоя Уфы. Анализ распространения культурного слоя осуществлен на основе архивных и библиографических сведений с привлечением немногочисленных археологических исследований в исторической части города.

Наиболее ранним и археологически изученным городом Башкирии является Уфа. Возникший как оплот русского правительства в неспокойном и мятежном крае, город со дня своего основания строился как укрепленный военный гарнизон. Уфа стала как военно-сторожевым пунктом на юго-восточной окраине государства, так и центром сбора ясака с населявших этот край башкир [*Буканова*, 1979: 5].

Центром обороны и дислокации военного гарнизона, состоящая из стрельцов, являлась Уфимская крепость. Первоначально на месте Уфы стоял небольшой острог с полисадом по крутым скатам возвышенности, составляющей середину полуострова, образованного течением рек Белой и Сутолоки [*Ефремов*, 1913: 5].

В 1574 г. на месте острога русскими стрельцами во главе с Иваном Нагим сооружается укрепленный пункт, который в 1586 г. получил статус города. Появление в историографии двух разновременных дат возникновения города породило немало научных споров по этому поводу. Ряд исследователей придерживаются даты основания города 1574 г. [*Иванов,* 2001: 183], другие авторы не усматривают веских доводов в пользу первой даты и считают «научно доказанной датой основания первой русской крепости на территории Башкортостана» 1586 г. [*Буканова*, 2010: 264]. Возможно, этот, а также другие спорные вопросы истории можно будет разрешить благодаря этноархеологическим исследованиям позднесредневекового культурного слоя Уфы.

Сама крепость (Уфимский Кремль) описывается следующим образом: «...в плане он представлял собой ломаный четырехугольник. Общая площадь города была невелика и не превышала 1,2 га, длина же его стен равнялась 440 метрам. Городские стены были сооружены из поставленных вертикально огромных дубовых бревен. В состав укреплений входили три рубленные из дуба башни» [*Пулечкина*, 1999: 7]. Небольшой посад находился на правом берегу реки Сутолоки, у подножия мыса, на котором была расположена крепость.

При попытке реконструкции укрепленной цитадели в районе современного монумента Дружбы, согласно историческим картам и изображениям ранней Уфы, выясняется, что большая часть мыса была срыта во время строительства автодороги. Эти данные подтверждаются сведениями старожилов близлежащих домов. Верхний культурный слой сохранившейся части мыса также нарушен в ходе планирования территории под сквер. Выявление и изучение культурного слоя ранней Уфы представляется довольно сложной, в связи с хозяйственными и ландшафтными изменениями, но необходимой задачей исследователей.

В 1988 г. А. И. Лебедевым были проведены единственные на сегодняшний день раскопки Уфимского Кремля. В ходе археологических работ выявлен насыщенный культурный слой мощностью 3–3,5 м, были найдены монеты XVII–XIX вв., фрагменты поливной и неполивной гончарной керамики, нательные крестики, чугунные ядра, различные орудия труда и полихромные изразцы.

Результаты данного исследования могут быть рассмотрены неоднозначно, так как проводились не на площадке мыса, а на восточном склоне, представляющем из себя многолетние напластования в виде отвалов, за пределами установленных границ крепости. Обильный подъемный материал гончарной керамики вплоть до подножия во внутренней части мыса только подтверждает данные выводы.

Единственным перспективным направлением исследования культурного слоя периода основания Уфы является сохранившаяся площадка мыса непосредственно за памятником «Монумент Дружбы» размерами 70 × 50 × 70 × 80 м. В ходе археологических изысканий на данной территории могут быть выявлены остатки сооружения либо фундамент воеводского дома (севернее от современного монумента), приказной избы и караульной (в северо-восточной части), а также остатки Михайловской и Наугольной башен, полностью выгоревших во время пожара 1759 г. Утраченными для археологических исследований оказались пушечные склады, пороховой погреб и Никольская башня.

Существенный приток населения в середине XVII в. знаменует дальнейшее освоение, в процессе которого происходит значительное расширение городского посада в основном в западном направ-

лении и на левом берегу реки Сутолоки. По некоторым сведениям, численность населения города в этот период достигала 1500 человек с 66 дворами [*Ефремов*, 1913: 11], куда входили 206 человек посадского населения и 431 житель острога, а 888 ясачных башкир, вероятнее всего ошибочно причисленные к жителям, «не могут быть отнесены к населению г. Уфы» [*Буканова*, 2010: 11].

В 1664 г. с целью защиты посадского населения, а также ввиду значительного обветшания и утраты обороноспособности Уфимского Кремля, была сделана «новая» крепость с шестью въездными воротами – Успенскими, Спасскими, Сибирскими, Казанскими, Ильинскими и Фроловскими, по названию близлежащих церквей. О наличии указанных крепостных укреплений в западной и северо-западной части города указывал П. Ф. Ищериков, обнаруживший раннесредневековый слой городища Уфа-II благодаря строительству домов местными жителями и освоения территории в XVII–XVIII вв. [Научный архив УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 375. Л. 1].

Город имел выгодное военно-стратегическое расположение. С юга непреодолимым препятствием была река Белая, с востока – Сутолока. Северная часть города, по различным историко-географическим и этнографическим сведениям очевидцев, имела дополнительный полисад со рвом, строительство которого началось в 1728 г. Данное оборонительное сооружение было описано П. С. Палласом в 1770 г.: «…прежде бывшие около Уфы укрепления завалились; а от той полисадом укрепленной линии, которая на шесть верст от города между Уфою и Белою… и следов уже почти не видно, кроме некоторых остатков от деревянных караульных башен» [*Паллас*, 1809: 4–5]. Реконструкция оборонительной линии на хорошо узнаваемом рельефе исторической части города возможна благодаря сохранившейся гравюре П. И. Рычкова в рукописи «Известия о начале и состоянии Оренбургской комиссии».

Хотя площадь города значительно увеличилась, но уже в конце XVII в. часть населения селилась за границами «новой» крепости, образуя слободы – Московскую и Золотухинскую – на северо-востоке и востоке города. Новообразованные слободы наметили вектор дальнейшего распространения города и вместе с тем сыграли немаловажную роль в следующий наиболее драматичный этап истории Уфы.

На начало XVIII в. в городе уже насчитывалось 650 дворов. В отсутствие упорядоченной планировки города дома располагались хаотично в оврагах, на склонах уфимских холмов вдоль существующих улиц. Такое расположение домов также способствовало распространению наиболее губительного за всю историю существования города пожара 23 мая 1759 г. Пламя, охватившее Уфимскую крепость, уничтожило не только все деревянные постройки на ее территории, но и более 210 дворов близлежащих улиц. В раскопе А. И. Лебедева 1988 г. следы пожара фиксируются на глубине более 2 м от современной площадки мыса.

В середине XVIII в. образовалась новая слобода – Нижегородка, жители которой занимались кожевенными и сапожными ремеслами. Границы данной слободы отображены на некоторых исторических картах, а также фиксируются наличием подъемной поливной керамики на месте первоначального заселения выходцами Нижегородской губернии. Немаловажную роль в истории Уфы сыграли с. Богородское и с. Чесноковка, расположенные в границах современного города. В данных селах во время крестьянского восстания 1773–1775 гг. располагались повстанцы во главе с Чикой Зарубиным и Иваном Губановым. Если с. Богородское было оставлено восставшими в связи с наступлением правительственных войск, то с. Чесноковка было сожжено отступавшими [*Гуляев*, 1914: 70–72].

Таким образом, к концу XVIII в. город расширился не только за счет увеличения посадского населения, насчитывавшего более 1000 дворов, но и за счет новообразованных слобод, выселок и близлежащих сел.

Согласно генеральному плану 1819 г., определившему современную планировку исторической части Уфы, расширение границ города должно было осуществляться в западном направлении. Из «Дела по определению Оренбургского Гражданского губернатора о постройке и поправке домов за речкой Сутолокой» от 1824 г. читаем следующее: «…решительно запретить отвод мест и вообще строение домов в той части города, которые расположены по оврагам и местам, требующим планирование, дозволить же строение единственно по улицам Фроловской, Ильинской и Казанской, находящихся со въезду в город, также в части города, которые имеют гладкую и ровную поверхность» [ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 556. Л. 2 об.].

Выделение границ Уфы середины XIX в. с целью изучения культурного слоя нового времени совпадает с генеральным планом архитектора В. И. Гесте 1819 г. Данный план строго регулировал застройку и дальнейшее распространение города: «…когда же сия часть города будет застроена совершенно, тогда дозволить строение и над оврагами… сей безобразной части города (т. е. терри-

торию первоначального заселения Уфы. – Э. К.)» [ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 556. Л. 3]. В этом же архивном деле приложена карта 1830 г., в которой посад на левом берегу реки Сутолоки, а именно расположение улиц и дворов, совершенно не соответствует плану 1819 г. На картах конца XIX в. эта часть города изменена согласно действующему плану. Именно засутолочная часть города подверглась наибольшему изменению, где изучение материальной культуры посадского населения XVII – середины XIX в. требует дополнительных архивных исследований.

К концу XIX в. в 2,5 раза увеличилась численность населения города по сравнению с серединой XIX в., достигнув 49 000 человек, что сказалось и на увеличении его площади. К концу XIX в. граница города на западе вплотную подошла к слободе Нижегородка, а к началу XX в. фактически соединилась с ней. Восточная граница увеличилась лишь за счет образования Золотухинской слободы по склонам правого берега реки Белой, а северо-восточная и северная границы Уфы изменились незначительно – в рамках одного квартала и улицы.

Перспектива этноархеологического изучения исторической части Уфы заключается в первоочередном исследовании территории Уфимского Кремля XVI–XVIII вв. Дальнейшее изучение города находится в рамках выделенных авторами границ XVII – конца XIX в. в его исторической части. Полнота историко-археологического изучения Уфы связана с исследованием слобод, дворцовых сел, а также дворянских и помещичьих усадеб. Расположенные как в границах современного города, так и за его пределами, они возникали и увеличивались по мере роста городского населения и являются неотъемлемой частью истории ранней Уфы.

Буканова Р. Г. Из истории заселения Уфимского уезда в первой половине XVII в. (до сооружения Закамской черты). Деп. ст. в ИНИОН АН СССР. – Воронеж, 1979. – № 4423. – 23 с.

Буканова Р. Г. Города-крепости на территории Башкортостана в XVI–XVII вв. – Уфа : Китап, 2010. – 264 с.

Гуляев А. А. Иллюстрированная Уфа (Уфа в прошлом и настоящем). – Уфа : Электр. типолит. т-ва Ф. Г. Соловьева и К, 1914. – 126 с.

Ефремов В. А. Из истории Уфимского края. Уфимский край в конце XVI и в XVII вв. – Уфа : Электр. типолит. т-ва Ф. Г. Соловьева и К, 1913. – 16 с.

Иванов В. А. Археология города Уфы / В. А. Иванов, М. Ф. Обыденнов. – Уфа : Юрика, 2001. – 183 с.

Научный архив УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 375.

Паллас П. С. Путешествия по разным провинциям Российской губернии. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1809. – Ч. 2. – 657 с.

Пулечкина О. П. Прогулки по старой Уфе: архитектура XVI–XX вв. – Уфа : Китап, 1999. – 38 с.

ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 556.

М. С. Королева

Россия, Саранск, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЖАНЫХ ПОЯСОВ СТЕПАНОВСКОГО МОГИЛЬНИКА

The article deals with the problem of producing leather belts and their varieties. Noted their presence both male and female burials. The interrelation of having a leather belt and a person’s position in life.

С древних времен пояс являлся главным атрибутом костюма как мужчин, так и женщин. При этом долгое время считалось, что кожаные ремни предназначались только для мужчин. Женщины же предпочитали носить плетенные из цветных ниток пояски, которые не всегда сохраняются до наших дней. Таким образом, их вид, размеры, украшение говорили о положении человека в обществе. Чем

© Королева М. С., 2015

красивее, сложнее и больше был пояс, тем выше положение занимал человек в обществе. К тому же к поясу прикреплялись необходимые вещи, такие как нож, колчан, сумка, украшения и т. д.

Найденные пояса в мордовских памятниках говорят нам о большом разнообразии видов пряжек, накладок и наконечников. При этом часто встречаются пояса иностранного происхождения, в основном салтовского, булгарского и славянского типов. Они достаточно ажурные и богатые. Пояса местного происхождения с прямоугольными накладками, которые отчеканены пуансоном в два ряда по краю. Такой узор встречается в других элементах украшений древней мордвы. Бронзовые пластинки прикреплялись к кожаной основе гвоздиками с четырех углов плотно друг к другу. На одном конце ремня размещалась пряжка, а на другом имелся наконечник округлой или прямоугольной формы. Пояса с такими накладками найдены в погребении 16 Томниковского могильника [*Альбом...*, 1941: 23, рис. 17], в погребении 75 Елизавет-Михайловского могильника [*Материальная культура...*, 1969: 149, табл. 38, рис. 1–3], в Крюковско-Кужновском могильнике [*Материалы...*, 1952: 212, табл. 28, рис. 1, 18]. По находящимся рядом датирующим материалам их можно отнести к VIII–IX вв.

Такие же пояса найдены в девяти погребениях Степановского могильника (см. рис.). Вместе с покойным были обнаружены боевые топоры, наконечники копий, стрел, ножи, иногда конское снаряжение. Значит, при жизни они были воинами, принадлежавшими, судя по поясам, к одной дружине. Единственный цельной пояс найден в погребении 44 [*Петербургский,* 2008: 136, рис. 38: 10]. Остальные лишь фрагментарно сохранились до наших дней, что связано с ритуалом умерщвления предметов. Пояс необходимо было обязательно разорвать, чтобы умершему было уютно в потустороннем мире. Если же этого не сделать, то жителей ждут неприятности. Покойный не даст им жить спокойно.

Анализ поясов установил, что они производились из полоски кожи, сложенной пополам. Это придавало им большую плотность. Толщина пояса составляла в среднем 3–4 мм. Отсюда средняя толщина сырья из кожи – 1,4–2 мм. Поверхность кожи темно-коричневого цвета, сглаженная, поры выявить не удалось из-за плохой сохранности материалов. Ширина самого пояса составляла 2–2,5 см. Красителей не обнаружено.

Пояс Степановского могильника [*Петербургский*, 2008]

Говорить о качестве и производстве кожи в наши дни достаточно сложно. Лишь по толщине, а также этнографическим данным можно сказать, что для выделки поясов использовались кожи крупного рогатого скота [*Курбатов*, 2010: 170–171]. Их шкуры имеют более прочную структуру коллагенов, поэтому механические воздействия для них менее опасны, чем для кожи мелкого рогатого скота.

Поверхность кожи, напоминающая замшу, говорит о том, что кожа произведена сыромятным способом. Сначала она подвергались процессу отмочки в зольном растворе для упрощения удаления ворса. Затем кожу выравнивали скобелем. Кожу обязательно подсушивали, растягивали и смазывали жиром, чтобы она не порвалась. Для ремней, согласно данным специалистов, скорее всего, применялось растительное дубление до образования мягкой юфти. В качестве дубителя выступала кора дуба. Кожа получилась эластичной, гладкой и водоустойчивой. Сама кожа становилась коричневого оттенка. Для ее обработки мордовские мастера использовали такие орудия труда, как железные шилья, ножи, скобели с тупым лезвием и др.

В женских погребениях древней мордвы также встречаются кожаные пояса. Можно предположить, что они носили ритуальных характер. Мужчины клали в погребения обрывки ремня в качестве дарственного комплекса, оберега. Это объясняет их расположение в некоторых погребениях Степановского могильника у плеча погребенной. В то же время в ряде женских погребений Стексово 2, Елизавет-Михайловского, Пановского могильников пояса расположены в районе таза. Это может указывать на их ношение при жизни. Это также может указывать на положение женщины в обще-

стве, ее благосостояние. Например, в 32-м погребении 2-го Журавкинского могильника пояс найден в погребении женщины-литейщицы [*Петербургский,* 2010: 101, рис. 26].

Женские пояса отличаются размерами. Ширина их составляет 1,5–1,7 см. Способ их производства аналогичен мужским. Пояса в два сложения, достаточно плотные. Встречаются более ажурные пряжки и бляшки, часто в форме сердца, маленьких размеров. Но таких поясов мало, они встречаются в виде малых фрагментов.

Процессом производства поясов занимались мужчины, потому что требовалась достаточно большая сила для того, чтобы мять кожу. Датировать пояса Степановского могильника можно VIII–IX вв. согласно сюлгамам и височным привескам [*Вихляев,* 2008: 142–144]. По аналогиям со среднецнинскими поясами данная датировка верна и также соответствует VIII–IX вв. В это время происходят бурные процессы продолжения становления эрзи и мокши, активизируются контакты со славянскими и аланскими племенами. Отсюда остается неудивительным присутствие некоторых славянских украшений в Степановском могильнике.

Таким образом, пояса Степановского могильника произведены местными мастерами, предназначались мужчинам-воинам. Ареал их распространения – бассейны Цны и Лячи в VIII–IX вв. Кожа произведена сыромятным способом.

Альбом древностей мордовского народа / под ред. Ю. В. Готье, А. И. Яковлева. – Саранск : Мордов. НИИ, 1941. – 162 с.

Вихляев В. И. Хронология могильников населения I–XIV вв. западной части Среднего Поволжья / В. И. Вихляев, А. А. Беговаткин, О. В. Зеленцова. – Саранск : Изд-во МГУ, 2008. – 352 с.

Курбатов А. В. Кожевенное сырье, техническое обеспечение его выделки и сортамент кож средневековой Руси // Stratum plus. – 2010. – № 5. – С. 169–218.

Материальная культура Средне-Цнинской мордвы VIII–XI вв. / под общ. ред. А. П. Смирнова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1969. – 176 с.

Материалы по истории мордвы VIII–XI вв. Дневник археологических раскопок П. П. Иванова / под ред. А. П. Смирнова. – Моршанск : Изд. Моршан. краевед. музея, 1952. – 231 с.

Петербургский И. М. Древние памятники на реке Ляча / И. М. Петербургский, В. Н. Аксенов. – Саранск : Красный Октябрь, 2008. – 168 с.

Петербургский И. М. Второй Журавкинский могильник / И. М. Петербургский, В. И. Вихляев, С. В. Святкин. – Саранск : Красный Октябрь, 2010. – 132 с.

Г. Г. Король[1], О. Б. Наумова[2]

Россия, Москва, [1]Институт археологии РАН,
[2]Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ*

Some common problems arising by comparison of archaeological and ethnographic sources are considered. The attention to possibilities of attraction of ethnographic material for reconstruction of the organization of art metal working in early medieval Central Asia is for the first time focused.

Вопросы археологических реконструкций неизбежно заставляют археологов обращаться к этнографическим источникам. Проблемам такой интеграции посвящено немало исследований. Отме-

---

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-01-00306 (а).

© Король Г. Г., Наумова О. Б., 2015

тим важность публикации серийного издания «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума», предпринятого в 1996 г. омскими учеными (этноархеологами). Увидели свет уже более 10 томов, насыщенных работами, посвященными преимущественно конкретным исследованиям, требующим сопоставления археологических знаний и данных этнографии. Существенное место, особенно в первых томах, было уделено и методологическим, и теоретическим проблемам междисциплинарной интеграции. Практически все основные сложности и проблемы, возникающие перед археологами, привлекающими данные этнографии, отражены в работе Л. С. Клейна, подчеркивающего, что синтез разных видов источников и есть необходимая основа полной и всесторонней реконструкции прошлого [1998: 32].

От археолога, прибегающего к этнографическим источникам, требуется понимание терминологии, употребляемой в этнографической науке, и следование этой терминологии. Археологи нередко вольно обращаются не только с терминологией, но и по-своему интерпретируют используемые в этнографии понятия и смыслы, вкладываемые в обозначения тех или иных процессов: историко-культурных, этногенетических и пр.

К примеру, неправомерность идентификации археологических культур с этническими общностями убедительно показали С. А. Арутюнов и А. М. Хазанов еще 35 лет назад [1979: 80–82]. Однако и в настоящее время археологи, признавая сложность проблемы, видят в археологических памятниках (вариант культуры, археологическая культура, блок археологических культур) этнические общности разного таксономического уровня [*Савинов*, 1998: 11]. Отметим, что С. А. Арутюнов и А. М. Хазанов в принципе не отрицали наличие этносов в первобытном и раннеклассовом обществе, хотя уже тогда отмечали, что в ранние эпохи «и сами этносы были менее дискретны, менее четко отгорожены друг от друга, и самосознание, отражающее их единство, выступало не столько как *специфически этническое* (курсив наш. – *Г. К., О. Н.*), сколько слитно и нераздельно с осознанием других характеристик данной группы – социальных, кровнородственных, религиозных, хозяйственных, языковых и т. д.» [*Арутюнов*, 1979: 82]. Сегодня же многие этнографы не рассматривают этничность как универсальную характеристику человеческого сообщества со времени его возникновения. Например, в Средней Азии еще в XIX в. существовали общности, которые не были этническими – их объединяла родоплеменная, социально-хозяйственная, сословная, локальная или другая идентичность, и лишь в XX в. произошла «этнизация» их самосознания [подробнее см.: *Абашин*, 2007: 14–35]. Не будучи обстоятельно знакомы с современными дискуссиями о природе этничности, большинство российских археологов употребляют слово «этнический» как синоним понятия «социально-культурный»*. На наш взгляд, было бы более корректно применять именно последний термин к характеристике археологических общностей.

Нередко археологи обращаются к этнографическому материалу при изучении искусства. Это особенно продуктивно при исследовании средневекового пласта, отделенного от этнографического лишь несколькими веками. Так, например, анализ средневекового орнаментального искусства населения Среднего Енисея на примере художественной металлопластики из цветного металла последних веков I – начала II тыс. позволил выделить типы и группы орнамента и декора. Некоторые из них (с учетом ряда условий и условности такого сопоставления) можно было сопоставить с орнаментом населяющих этот регион современных народов, детально изученным по этнографическим материалам [*Кызласов*, 1990]. Некоторые археологи критически воспринимают даже такое относительно близкое по времени сопоставление археологических и этнографических данных. Но в конкретном случае известный знаток орнамента и декора народов Сибири, этнограф С. В. Иванов после знакомства с полученными результатами дал им в личной беседе с одним из авторов высокую оценку. Для него было важным, что на конкретном археологическом примере можно увидеть максимально информативную картину, каким именно в раннем средневековье был тот орнаментальный пласт, который в этнографии прекрасно сохранился и получил названия «саяно-алтайского» (для геометрического орнамента) и «южносибирского» (криволинейного с растительными элементами). Именно эти типы, выделенные С. В. Ивановым, по его мнению, преобладают в хакасском орнаменте, т. е. в искусстве народа, проживающего на Среднем Енисее [1961: 376]. И формирование этих типов (в первую оче-

* См., напр.: «Также нельзя в историко-культурном аспекте однозначно определить, были ли басьяновские общины самостоятельным этническим (социокультурным) явлением на стадии, видимо, формирующейся этнической группы (этникоса), обладающей только культурно-языковой общностью… Либо они были частью более крупной этнической (социокультурной) единицы» [*Шорин*, 2015: 14–15].

редь «южносибирского») происходило именно в раннем средневековье. Широкая панорама данных археологии, проанализированная и обобщенная, в этом случае оказалась интересной и для этнографа, подтвердив его выводы и наполнив их дополнительным конкретным содержанием.

Многие исследователи древнего и средневекового искусства нередко обращаются к сопоставлениям, иногда реконструкциям сюжетных изображений, антропоморфных и зооморфных на основе их семантики, реликты которой могли сохраниться в эпосе, традиционных представлениях и верованиях народов этнографического времени. Результаты бывают почти всегда интересными, но в них обязательно есть значительная доля домысла и много допущений. Литература по этому вопросу многочисленна [см., напр.: *Король*, 2008; *Бауло*, 2014; *Сазелова*, 2014].

Изучению произведений художественной металлообработки в раннесредневековой Центральной Азии посвящено немало работ. Особый интерес представляет самый массовый и хорошо изученный материал – ременная гарнитура всадников, украшения воинского снаряжения, одежды, амулеты и пр., известный по находкам из памятников Саяно-Алтая и прилегающих территорий Центральной Азии. Но концентрация находок на указанной территории никак не проясняет вопрос о том, кем и где изготавливались эти изделия из цветного металла. Следы плавки металлов для развитого средневековья отмечены только в Кузнецкой котловине, что позволило предполагать здесь местное сереброплавильное и ювелирное производство [*Илюшин*, 2003: 68–69]. Для раннесредневекового периода такие следы не известны, за исключением находок оловянных кружочков на Верхнем Енисее и единичных матриц для производства ременных украшений на Среднем Енисее и Алтае. Возможно, местное производство во второй половине X – начале XI в. в Рудном Алтае таких изделий позволяет предполагать лишь специфический состав металла (характерное «грязное» серебро), разный уровень качества отливок и всегда плохое качество декора, свидетельствующее о том, что если на месте и были литейщики, то среди них не было «художников». Изделия многократно тиражировались по изношенным образцам предшествующего времени с естественной потерей четкости изображения и понимания его смысла.

Исследование всего массива известного материала ременных украшений из цветного металла Саяно-Алтая позволило зафиксировать и обосновать существование нескольких уровней качества производства изделий. На этой основе была предложена модель возможной системы организации художественной металлообработки в раннесредневековой Центральной Азии [*Король*, 2007]. К сожалению, археологическое изучение средневековых городов Центральной Азии (в широком понимании термина) не проливает свет на этот вопрос. Достоверно и качественно в этом отношении исследован только Пенджикент, но зафиксированное там производство подобных украшений было прервано в первой трети VIII в. Кто же обеспечивал кочевников в IX–XI вв., период расцвета и наибольшей популярности декорированных украшений из цветного металла в Саяно-Алтае и сопредельных территориях? Как могло быть организовано такое производство? Можно ли на основе сопоставления археологических и этнографических данных определить возможные места производства, способы организации ремесла и пути распространения продукции?

Обратимся к наиболее известным данным о литье металла в этнографическое время. Существование бронзолитейного производства зафиксировано этнографами у некоторых современных центральноазиатских народов. Как процесс литья, так и организация этого ремесла имели свою специфику, связанную в основном с образом жизни населения – кочевым или оседлым.

Литье бронзы было известно кочевникам – монголам, бурятам [*Кочешков*, 1979: 22, 99, 104], тувинцам [*Вайнштейн*, 1974: 87–88]. У тувинцев этим ремеслом занимались лишь немногие кузнецы. Литье осуществлялось двумя способами: более древним – в глиняных формах, изготовленных путем выжигания деревянной модели, – который, по мнению С. И. Вайштейна, был известен и другим кочевникам [1974: 102]; и более поздним – при помощи литейных форм, вырезанных из камня. Процесс производства не требовал сложной организации: особых помещений для работы у мастеров не было, в некоторых случаях кузнецы сооружали навес над местом работы, и если у кузнеца не было взрослого сына, то он трудился, как правило, в одиночку, без помощников [там же: 84]. Немногочисленные мастера-литейщики работали главным образом на заказ. Возможно, изредка продукция литейщиков шла на продажу. Так, у монголов, по сведениям Н. В. Кочешкова, «иногда родственники или соседи объединялись по 2–4 человека, готовили изделия для продажи в соседних хошунах и других аймаках» [1979: 24].

Бронзолитейное производство у оседлых среднеазиатских народов описала О. А. Сухарева [1971: 155–161], исследовавшая ремесленные кварталы Бухары и других среднеазиатских городов.

Среднеазиатские литейщики бронзы – *рехтагары* – использовали для этого песчаные формы*, в которых оттискивалась точная деревянная копия отливаемого предмета. Некоторые изделия отливались по частям, которые затем спаивались. Производственный процесс имел свой цикл: пять дней велись подготовительные работы, а два дня отливали. Рехтагары работали в мастерских с подсобными работниками, «так как при литье обойтись без помощников было невозможно» [там же: 156–158, 160]. Бронзолитейное производство в среднеазиатских городах было гораздо масштабнее, чем у кочевников, хотя исследовательница и отмечает, что отливка предметов из бронзы в XIX – начале XX в. была одним из слаборазвитых промыслов [там же: 148]. В предреволюционной Бухаре литьем бронзы занимались 40 человек (мастера вместе с работниками и учениками), существовал квартал рехтагаров в Бухаре и село литейщиков в пригороде, где из 28 дворов 12 занимались литьем бронзовых колокольцев и бубенцов [там же: 160–161]. Мастера работали не только на заказ, часть продукции продавалась в городских лавках, а большая часть бронзовых пуговиц и колец «отсылалась в степь, где на них был большой спрос у полукочевых узбеков и казахов» [там же: 158].

Таким образом, известные этнографические данные свидетельствуют о разных вариантах организации художественной металлообработки литых бронзовых изделий: в городских центрах с традициями ремесленного производства, снабжавших и кочевую близкую и дальнюю округу таких городов; в точечных, отдельных небольших мастерских самих кочевников, которые работали только на заказ и редко на продажу в соседних районах. Упомянутая выше модель средневековой системы организации производства и распространения литых предметов художественной металлообработки в основных позициях совпадает с данными этнографии, но подтвердить ее могут только достоверные археологические свидетельства подобного производства. Исследование средневековых городов Среднеазиатского региона, особенно Семиречья, где есть все основания предполагать производство ременных украшений для кочевников, требует от археологов внимания и скрупулезности полевых исследований, которые были продемонстрированы при раскопках Пенджикента. По наблюдениям В. И. Распоповой, согдийские мастера, работавшие в индивидуальных мастерских, совмещали функции мастеров и торговцев, т. е. они сами продавали свою продукцию [1980: 109, 130]. Теоретически можно предположить, что помимо городских центров такие поселения ремесленников, прежде всего согдийцев, расселявшихся далеко на восток от своей родины, на своем уровне также могли снабжать тюркских воинов средневековья огромным количеством требовавшихся ременных украшений и других изделий художественной металлопластики из цветного металла.

Итак, для реконструкции организации художественной металлообработки в раннесредневековой Центральной Азии необходим максимально возможный комплекс источников, включая данные этнографии.

Абашин С. Н. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2007. – 304 с.

Арутюнов С. А. Проблема археологических критериев этнической специфики / С. А. Арутюнов, А. М. Хазанов // СЭ. – 1979. – № 6. – С. 79–89.

Бауло А. В. Металлические бляхи со Старого Искарского городища: атрибуция и сюжеты // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 4 (60). – С. 120–124.

Вайнштейн С. И. История народного искусства Тувы. – Москва : Наука, 1974. – 223 с.

Иванов С. В. Орнамент // Историко-этнографический атлас Сибири. – Москва ; Ленинград, 1961. – С. 369–434.

Илюшин А. М. Сереброплавильное ремесло аборигенов. У истоков сереброплавильного заводского производства в кузнецком уезде Колывано-Воскресенского, а затем Алтайского горного округа // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 2003. – Вып. 13. – С. 66–70.

Клейн Л. С. Археология и этнография: проблема сопоставлений // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1998. – Т. 3. – С. 29–66.

Король Г. Г. Производство и распространение раннесредневековой торевтики малых форм в Центральной Азии / Г. Г. Король, Л. В. Конькова // РА. – 2007. – № 2. – С. 25–32.

---

* Буряты делали земляную форму хэб, в которой оттискивали модель из дерева или глины [*Кочешков*, 1979: 104].

Король Г. Г. Искусство средневековых кочевников Евразии : очерки. – Москва ; Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. – 332 с. – (Тр. Сиб. ассоц. исследователей первобытного искусства ; вып. V).

Кочешков Н. В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX – середины XX века. – Москва : Наука, 1979. – 208 с.

Кызласов Л. Р. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник / Л. Р. Кызласов, Г. Г. Король. – Москва : Наука, гл. ред. вост. лит., 1990. – 216 с.

Распопова В. И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. – Ленинград : Наука, 1980. – 140 с.

Савинов Д. Г. Палеоэтнография как самостоятельное направление культурно-исторических исследований // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1998. – Т. 3. – С. 9–11.

Сазелова С. Этнологический подход к сибирской зооморфной скульптуре: в поисках смыслового содержания верхнепалеолитических изображений // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 4 (60). – С. 125–135.

Сухарева О. А. К вопросу о литье металлов в Средней Азии // Занятия и быт народов Средней Азии. – Ленинград, 1971. – С. 147–167. – (ТИЭ. Новая серия ; т. XVII : Среднеазиатский этнографический сборник. III).

Шорин А. Ф. Басьяновский археологический комплекс эпохи позднего неолита: основания выделения / А. Ф. Шорин, Е. В. Вилисов, А. А. Шорина // РА. – 2015. – № 1. – С. 5–18.

К. И. Котова

Россия, Омск, государственный университет им. Ф. М. Достоевского

ПРЕДМЕТЫ РЕЛИГИОЗНОГО БЫТА ХРИСТИАН В КОЛЛЕКЦИЯХ МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

In this article the information about the Cristian domestic implements from the archaeological and ethnographical collections of The Museum of archaelogy and ethnography of The Museum Complex of Omsk State University is presented. These items can be noticed in Russian, Ukrainian, German and Estonian collections. The items are classified according to their purpose, the history of collections' formation is also displayed.

В конце 2014 г. Музей археологии и этнографии, входящий в состав Музейного комплекса ОмГУ, отметил свое сорокалетие, в течение которого постоянно шло комплектование фондов. Мы обратим внимание на предметы религиозного быта христиан, хранящиеся в коллекциях МАЭ МК ОмГУ. Эти предметы представлены как в этнографическом, так и в археологическом фондах. В этнографических коллекциях их можно найти у русских, украинцев, эстонцев и немцев. Коллекции предметов быта русских и украинцев начали комплектоваться почти на 15 лет раньше, чем немецкие. В их сборе принимали участие такие известные этнографы, как Н. А. Томилов, М. А. Жигунова, Т. Н. Золотова, И. В. Лоткин, В. В. Реммлер и многие другие. Сборы проводились как на территории Омской области, так и в Тюменской области, Кустанайской области Казахской ССР, Кургане, Сургуте, в Алтайском крае. Но, несмотря на широкое географическое поле сбора, коллекции быта русских, как и украинцев, к сожалению, немногочисленны. Коллекции быта немецкого народа комплектовались Т. Б. Смирновой и А. Н. Блиновой и формировались из материалов этнографических экспедиций преимущественно в Омской области и Алтайском крае. Однако этнография немецкого народа представлена более разнообразно. Коллекции быта эстонцев – одни из самых малочисленных коллекций МАЭ МК ОмГУ. Они получены благодаря историко-этнографическим экспедициям под руководством И. В. Лоткина и В. В. Реммлера с 1986 по 1999 г. в Омскую, Кемеровскую и Томскую области. Культовые предметы христиан получены в ходе археологического исследования русских комплексов XVII–XIX вв. – Бергамака, Изюка, Ананьино – экспедициями под руководством археолога Л. В. Татауровой.

© Котова К. И., 2015

Необходимо заранее классифицировать предметы. Критерием здесь служит их назначение. Мы выделим три группы, на основе которых будет строиться дальнейшее исследование.

Во-первых, это предметы, используемые при богослужении (храмовом или внехрамовом). Такими предметами являются, например, иконы, крест (распятие), кадило, лампада, а также книги, употребляемые для молитвы.

Во-вторых, это книги и брошюры, предназначенные для наставления, а не для богослужения и шпрухи (настенные картины с высказыванием религиозного, назидательного содержания).

В третью группу выделим предметы, не имеющие прямого богослужебного и (или) назидательного назначения. К таким предметам отнесем различные открытки религиозного характера, скамейки из молельного дома, рушники, пояс с молитвой.

Итак, *предметы первой группы*.

Православные иконы:

«Господь Вседержитель» (№ 7-2).

Икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» (№ 7-3).

Икона Пресвятой Богородицы «Скорбящия» (№ 40-14).

Икона Пресвятой Богородицы «Троеручица» (№ 79-12). Икона в рамке со стеклом.

Икона-складень (центральная часть) (№ 117-1).

Икона великомученика и целителя Пантелеимона (№ 132-2).

Икона «Господь Вседержитель», без номера.

Икона святителя Николая, без номера.

В книге поступлений есть описания и таких предметов, как:

Икона «Святой Архистратиг Михаил» (№ 40-13). Изготовлена типографским способом на бумаге. Сверху покрыта лаком. Конец XIX – начало XX в.

Икона трех святых (№ 44-40). На иконе изображены святой Никодим, святые преподобные Сергий и Спиридон. Святые изображены на фоне пустынной местности с незначительной растительностью. Конец XIX – начало XX в.

Икона на дереве (№ 51-11). Масло без паволоки. Изображен Господь Саваоф. Икона в рамке из дерева. Под стеклом.

Икона святой Марии (№ 79-11).

Ручное кадило (№ 58-18) и подсвечник (№ 58-17) из украинских коллекций.

Предметы иных христианских течений:

Крест протестантский (распятие) (№ 85-28).

Книги Священного Писания:

Библия лютеранская, 1897 год издания. В кожаном переплете. Сохранились остатки замка, на который она закрывалась (№ 53-16).

Библия на немецком языке, 1904 год издания (№ 95-25).

Библия на немецком языке (№ 100-5).

Книга «Новый Завет и Псалтирь» на русском языке (№ 111-9).

Книга «Новый Завет и Псалтирь» на немецком языке (№ 112-12).

Молитвослов на немецком языке (№ 111-12).

Предметы были получены во время экспедиций под руководством Н. А. Томилова в Крутинский район Омской области в 1975 г., Д. Г. Коровушкина в Муромцевский район Омской области в 1992 г., Т. Н. Золотовой в Крутинский и Одесский районы Омской области в 2008 г., Г. И. Успеньева в Северо-Казахстанскую область Казахской ССР в 1983–1984 гг., М. А. Жигуновой в Курган в 2006 г., М. А. Жигуновой, В. В. Реммлера в Калачинский район Омской области в 1987 г., В. В. Реммлера в Исилькульский район Омской области в 1988 г. [*Жигунова*, 2009: 102–103, 144–145, 194–195], а также во время экспедиций под руководством Т. Б. Смирновой в Немецкий национальный район Алтайского края в 1997 г. [*Блинова*, 2012: 122].

Предметами второй группы являются книги и проповеди протестантских деятелей:

М. Лютер «Тезисы о христианстве», 1856 год издания (№ 60-20).

Рукописи пастора Ф. Шмидта в 10 тетрадях (№ 83-64, 65).

Кроме того, в этнографическом фонде есть многочисленные книги, журналы, брошюры, содержание которых не является проповедью в чистом виде или построено в вопросно-ответной форме. Также в эту категорию включены рукописи религиозного содержания. Они относятся к немецким коллекциям и имеют следующие номера: № 60-26; с № 83-62 по № 83-64, с № 83-66 по № 83-70;

№ 85-31; с № 86-32 по № 86-39; № 95-38, 95-40, с № 95-42 по № 95-49; № 100-1, 100-3, 100-10, 100-11, 100-13, 100-14; № 116-4.

Литература такого рода содержит ответы на насущные христианские вопросы.

Также во вторую группу входят шпрухи – немецкие картины с назидательными надписями. Мы отнесем их сюда, потому как они содержат цитаты из книг Священного Писания. Например, «Непрестанно молитесь». Шпрухи имеют следующие номера: № 83-21, 83-22, 83-33, 83-34; № 88-17, 88-18; с № 89-1 по № 89-3; № 95-37; № 100-12, с № 100-16 по № 100-18.

Предметы были получены во время экспедиций под руководством Т. Б. Смирновой в Немецкий национальный, Верхне-Суетский, Благовещенский, Табунский районы Алтайского края и Багайский район Новосибирской области в 1996–1997 г.; в Любинский, Горьковский, Москаленский, Нижнеомский, Тарский районы Омской области в 1995 и 1998–2000 гг.; в Любинский и Азовский районы в 2002 г. [там же: 58–62, 119–120, 122–123].

В *третью группу* входят следующие предметы:

«Листок на крещение» из коллекции быта эстонцев (№ 53-14).

Поделка «Пасхальный петушок», выполненная из картонной упаковки для яиц, перьев, бусин (№ 83-32). Подобные игрушки дарили немецким детям на Пасху, вставив внутрь фигурки крашеное яйцо [там же: 120].

Скамейка (№ 83-26) и стул (№ 83-29) из молельного дома баптистов.

Немецкие открытки с картинками религиозного характера либо подаренные к христианским праздникам. Они имеют номера: № 60-24/1, 60-24/2, 60-25/1, 60-25/2, 60-25/3, 60-25/4.

В данном случае перед нами встает вопрос об определении в конкретную группу открыток религиозного характера. Это связано с тем, что открытки имеют цитаты из Библии, и поэтому их можно было бы считать предметами, носящими наставительный характер. В то же время сами по себе открытки имеют цель поздравительную, а не проповедническую. Именно поэтому мы определим их в третью группу.

Интересным экспонатом является самодельная книжечка-помянник (№ 127-12), какой пользовались в семьях сибирских и оренбургских казаков при молитвах для упоминания имен здравствующих и почивших родственников в конце XIX–XX вв. [*Жигунова*, 2009: 145]. Из описания: «…в верхней части лицевой стороны обложки серебристой краской сделана надпись “ПОМИНАНІЕ”, посередине – крест, по контуру – черная рамка. На 1-й и 11-й страницах выполнены черной краской иллюстрации из Библии… На страницах имеются пометки “О ЗДРАВІИ”, “О УПОКОЕНІИ”. Некоторые страницы заполнены...».

Также в эту группу отнесем киот деревянный (№ 51-12), покрытый меловым левкасом. Декорация выполнена в виде виноградной лозы и крупных гроздьев винограда. Видны остатки позолоты. Этот киот служил рамой для настенной иконы в быту украинцев конца XIX – начала XX в. [там же: 194].

Рушник (№ 74-7) изготовлен специально для украшения икон, что ясно из его внешнего вида и зафиксировано в книге поступлений. Он представляет собой длинное и широкое полотно, согнутое пополам. Этой частью оно одевалось на икону. Нижние его концы, обычно свисающие по бокам иконы, сшиты смежными сторонами, образуют «петлю». Данный экземпляр относится к русской коллекции.

Пояс свадебный с молитвой «Да Воскреснет Бог» на церковнославянском языке (№ 56-1). Как и предыдущий предмет, он использовался русскими.

Предметы были получены во время экспедиций под руководством М. А. Жигуновой, В. В. Реммлера в Калачинский район Омской области в 1987 г.; В. В. Реммлера, А. Л. Чередникова в Исилькульский район Омской области в 1988 г.; М. А. Жигуновой в Маслянинский район Новосибирской области в 1988 г.; М. А. Жигуновой в Курган в 2006 г. [там же: 97, 145, 194], а также во время экспедиций под руководством И. В. Лоткина в Калачинский район Омской области в 1987 г.; Т. Б. Смирновой в Немецкий национальный район Алтайского края в 1996 г. [*Блинова*, 2012: 79, 120].

В фонде археологии МАЭ МК ОмГУ хранятся предметы, полученные в ходе раскопок русских населенных пунктов и кладбищ. Например, на археологическом комплексе Ананьино-I были обнаружены нательные крестики. Также кресты-тельники были обнаружены в ходе раскопок поселения Изюк-I [*Татаурова*, 2000: 81] и Бергамак I [*Татаурова*, 2003: 237].

Таким образом, из массива археологических и этнографических коллекций впервые выделены предметы религиозного быта. Мы попытались классифицировать их. Дальнейшее исследование предполагает более углубленное изучение предметов из каждой выделенной группы.

Блинова А. Н. Культура немцев, латышей, эстонцев Западной Сибири в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского / А. Н. Блинова, Т. Б. Смирнова. – Омск : Изд. дом «Наука», 2012. – 166 с. : ил. – (Культура народов мира в этнографических и археологических собраниях российских музеев).

Жигунова М. А. Культура восточных славян в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского / М. А. Жигунова, И. В. Захарова. – Омск : Изд. дом «Наука», 2009. – 266 с. : ил. – (Культура народов мира в этнографических и археологических собраниях российских музеев).

Татаурова Л. В. К вопросу о методике моделирования этнографо-археологического комплекса // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Владивосток ; Омск, 2000. – С. 80–83.

Татаурова Л. В. Русские на берегах Иртыша (по данным археологических исследований) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 2003. – Т. 6. – С. 233–244.

Н. В. Лещенко

Россия, Владивосток, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ С НИКОЛАЕВСКОГО-I ГОРОДИЩА В ПРИМОРЬЕ

This article is devoted to analyzing of the archaeological artifacts made of bone and horn excavated on the territory of Nikholayevka-I site – the Balhae settlement in Primorye. We have managed to observe techniques and methods of their processing and introduced some new sources into scientific use.

Городище находится в 3 км от южной окраины с. Николаевка (Приморский край, Михайловский район) вверх по долине реки Илистой. Оно расположено на возвышенном участке долины, недалеко от реки Чука – притока Илистой. Городище прямоугольной формы имеет внутреннюю площадь 60785 кв. м, площадь по внешней стороне вала – 74959 кв. м, продолжительность вала – 1010 м, внутренняя ширина – от 177 до 223 м, внутренняя длина – от 240 до 280 м. Городище ориентировано на северо-запад, юго-восток. На данный момент сохранилось трое ворот. В 1977 г. В. И. Болдиным был заложен небольшой раскоп у южных ворот городища и одновременно проведена его инструментальная съемка. Археологический материал, собранный в ходе раскопок, позволил исследователям датировать его VIII–X вв. и отнести к бохайскому времени [*Болдин*, 1977]. С 2010 г. раскопки проводятся ежегодно Николаевским археологическим отрядом Приморской археологической экспедиции под руководством С. Д. Прокопца. В ходе исследований было выяснено, что памятник неоднократно затапливался, имеет следы перестроек и существовал довольно длительное время. В 6,5 км на северо-запад от памятника находится городище Николаевское-II. Оно подпрямоугольной формы (140 × 290 м), укреплено валом 1–2 м. Имело двое ворот, на южной и западной сторонах. Исследована северо-западная, северо-восточная и центральная части памятника. Всего вскрыто 1511 кв. м. Городище однослойное, два строительных горизонта. Нижний датирован VIII – первой половиной IX в., верхний – второй половиной IX – X в., т. е. ранним и поздним этапами бохайской культуры [*Болдин*, 1978: 57–63].

В работе были проанализированы материалы, полученные в ходе раскопок 1977, 2010–2014 гг., большая часть артефактов впервые вводится в научный оборот.

На Николаевском-I городище была использована разработанная ранее классификация, работающая на бохайских памятниках Приморья [*Лещенко*, 1990: 60–69]. На настоящий момент исследования памятника удалось выявить четыре группы изделий: орудия труда и предметы домашнего оби-

© Лещенко Н. В., 2015

хода; предметы боевого и охотничьего снаряжения; предметы туалета и украшения; предметы для игр, культовые принадлежности. В первой группе фиксируются такие категории, как рукояти ножей (рис. 1: *7*); универсальные орудия из рога (рис. 1: *2–6*); шилья и проколки (рис. 3: *1, 2, 6*); орудия для копки женьшеня (рис. 1: *1*; рис. 3: *5*). Во второй группе присутствуют наконечники стрел (рис. 2: *1–3, 6*); свистунки (рис. 4: *2*); срединные накладки на лук (рис. 4: *1*). Третья группа – подвески (рис. 3: *3*); обкладки (рис. 3: *7*; рис. 4: *3*). Четвертая группа – альчики для игры.

Рис. 1: *1* – орудие для копки женьшеня; *2–6* – универсальные орудия из рога; *7* – рукоять ножа

Рис. 2: *1–3, 6* – наконечники стрел; *4, 5, 7, 8* – заготовки

Рис. 3: *1, 2, 6* – шилья, проколки; *3* – подвеска; *4* – предмет неизвестного назначения; *5* – орудие для копки женьшеня; *7* – обкладка

Рис. 4: *1* – накладка на лук; *2* – свистунок; *3* – обкладка; *4* – заготовка

В коллекции изделий из кости и рога есть предметы не совсем ясного назначения, но явно несущие на себе определенную функциональную нагрузку.

При исследовании памятника был найден сопутствующий инструментарий по выделке и обработке изделий из кости. Это миниатюрные ножи с односторонней заточкой лезвия, чуть выгнутого наружу, удобные при доработке поверхности. Ножи с прямым лезвием для более грубых срезов. Небольшие спиралевидные и перовидные сверла для просверливания отверстий. Для доработки, заточки, правки поверхности применялись различные оселки и точильные камни.

В ходе археологических исследований жилых и хозяйственных построек обнаружены разнообразные заготовки. Это подпиленные рога животных, пластинки из ребер животных, стержни, роговые цилиндрики с четко спиленными краями и гранями, срезанными ножом, заготовки с выбранной внутренней полостью.

Интересна и разнообразна категория, в которой представлены наконечники стрел. С округлой формой пера, использовавшиеся в охоте на пушных зверей; листовидные, ланцетовидные, с вытянутой формой пера. Следует отметить, что на памятнике широко представлены как костяные, так и железные наконечники стрел.

В группе орудий труда следует отметить одно – для копки женьшеня (рис. 1: *1*). Оно великолепной сохранности, со следами использования. Орудие могло подвешиваться к поясу охотника и имело многофункциональное назначение. Такие орудия широко известны по этнографическим свидетельствам [*Арсеньев*, 1947: 240; *Браиловский*, 1901: 85].

В качестве поделочного материала использовались и рыбьи кости (рис. 3: *6*).

В целом ассортимент изделий схож с коллекцией костяных изделий расположенного поблизости городища Николаевское-II [*Лещенко*, 2012: 286]. Конечно, на Николаевском-II он гораздо шире, но там и площади раскопаны несопоставимо большие. Способы обработки поверхностей и выделки изделий также повторяют приемы, зафиксированные нами на других бохайских памятниках Приморья. Это подпиливание оконечностей изделий под определенным углом; доработка поверхностей срезанием и выскабливанием ножами; использование различных оселков при заточке и доработке изделий; использование сверл при проработке отверстий; прочерчивание насечек на оборотной стороне изделия для лучшего сцепления с прилегающей поверхностью; полирование поверхностей. На памятнике не обнаружены пока орнаментированные костяные изделия. Для поделочного материала использовались в основном кости, рога, клыки диких животных (косуля, олень, кабан, медведь)*. На Николаевском-I городище, как и на ряде других бохайских памятниках Приморья, наблюдается использование кости и рога в домашнем производстве.

Арсеньев В. К. Искатели женьшеня // Арсеньев В. К. Соч. – Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1947. – Т. IV. – С. 229–245.

Браиловский С. Н. Тазы, или Удиhэ: опыт этнографического исследования // Живая старина [отд. оттиск]. – Санкт-Петербург : Изд. Отд-ния этнографии РГО, 1901. – 201 с.

Болдин В. И. Отчет об археологических исследованиях на городище Николаевское I и Николаевское II в Михайловском районе Приморского края. 1977 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 6748. 177 л.

Болдин В. И. Стратиграфия городища Николаевское-II и периодизация бохайской культуры в Приморье / В. И. Болдин, Л. Е. Семениченко // Археологические материалы по древней истории Дальнего Востока СССР. – Владивосток, 1978. – С. 57–63.

Лещенко Н. В. Изделия из кости и рога с бохайских памятников Приморья / Н. В. Лещенко, В. И. Болдин // Материалы по средневековой археологии и истории Дальнего Востока СССР. – Владивосток, 1990. – С. 60–69.

Лещенко Н. В. Система жизнеобеспечения населения городища Николаевское-II в Приморье (по материалам археологических исследований) // Средневековые древности Приморья. – Владивосток, 2012. – Вып. 2. – С. 284–294.

---

* Определения выполнены сотрудником Института экологии растений и животных УрО РАН, канд. биол. наук В. В. Гасилиным.

П. В. Мандрыка, П. О. Сенотрусова

Россия, Красноярск, Сибирский федеральный университет

ГРЕБЕНЬ С РИСУНКОМ ИЗ АНГАРСКОЙ ТАЙГИ

In the second cultural layer complex Prospikhinskaya Shivera-IV fined comb-hairpin making of the horn. The plate of the comb embossed compound composition of the straight and inclined lines. This comb finds analogy with other medieval combs of the taiga zone of Central Siberia and in the visual art of aboriginals this region.

В нижнем течении Ангары материалы, которые могут быть соотнесены с периодом позднего средневековья или началом нового времени, до сих пор остаются большой редкостью. В этой связи находка орнаментированного гребня на комплексе Проспихинская Шивера-IV представляет несомненный интерес. Комплекс находится на правом берегу Ангары, в 1 км выше устья реки Коды, и сейчас уже затоплен водами Богучанского водохранилища.

Односторонний роговой гребень трапециевидной формы был найден во втором культурном слое, в северо-западной части раскопа № 3 2011 г. Слой приурочен к мощной линзе темно-бурой гумусированной супеси, которая частично была нарушена древними и современными выворотами, зарезками от лесосводных работ. В слое отмечен русловой вал, насыщенный мелкими и крупными камнями, занесенными на край поверхности 10-метровой террасы во время ледохода. Гребень размещался в поселенческом слое вблизи края террасы, среди разновременных находок Средневековья и раннего железного века. Это позволяет рассматривать его вне связи с некрополем, который был изучен на комплексе [*Сенотрусова*, 2014: 536].

Гребень вырезан на пластине, полученной при разделке лосиной роговой лопатки. Он уплощенный, имеет слегка вогнутую форму. Щиток гребня трапециевидный, верхний край полукруглый. В нижней части прорезаны тринадцать зубцов, из которых семь с одного края обломаны практически под корень и два с другого края – только на концах. Сохранившиеся зубцы изделия, овальные в сечении, приострены на концах. Размеры гребня – 4,5 × 9,5 × 0,4 см. Обращает внимание высокая форма щитка, которая составляет почти ⅔ от длины гребня (5,8 см).

Наибольший интерес вызывает рисунок на щитке гребня. Он выполнен в технике резьбы, строится из прямых и наклонных прорезанных линий. Рисунок наносился одним острым металлическим предметом (резцом?) с шириной рабочей кромки около 0,5 мм. Основное прямоугольное поле изображения выделено на фоне вертикальных линий двумя горизонтальными параллельными парными линиями. Горизонтальной и вертикальной чертой рисунок делится еще на три прямоугольные части (см. рис.).

Нижнее поле – узкий прямоугольник – все заполнено часто расположенными вертикальными линиями, всего их 24. Правое верхнее поле несколько уже левого, в его нижней части расположено 9 вертикальных черточек, в верхней – 7. Поле между ними оставлено гладким. Возможно, что на нем чертилось какое-то изображение, по крайне мере под микроскопом здесь прослеживаются разрозненные царапины. В левом верхнем поле изображены два разновеликих дерева с направленными от вертикального ствола вверх ветвями. Левое дерево больше, у него на левой стороне 10 «веток», на правой – 8. Его крона ограничена разнонаправленными парными линиями. Правое дерево изображено в два раза ниже. У него с обеих сторон по 6 «веток». «Земля» между деревьями покрыта короткими вертикальными черточками, так же как и «небо» над большим деревом. В каждом поле рисунок создавался независимо и, видимо, нес самостоятельную смысловую и знаковую нагрузку в общей композиции.

Среди археологических материалов нижнего течения Ангары односторонние гребни найдены на могильниках Усть-Кова [*Леонтьев*, 1996: 40], Усть-Тасеева [*Лысенко*, 2006: 47] и Проспихинская Шивера-IV. Изображение гребня из Усть-Тасеевского могильника не опубликовано, что не позволяет сравнить его с найденным экземпляром. Остальные гребни имеют несомненные черты сходства.

На щитке гребня из могильника Усть-Кова также нанесены параллельные линии, строящиеся в квадрат [*Леонтьев*, 1996: рис. 1–6]. На могильнике Проспихинская Шивера-IV в погребениях № 9 и № 43 было найдено два гребня-заколки. Щиток первого украшен короткими вертикальными насеч-

© Мандрыка П. В., Сенотрусова П. О., 2015

ками по верхнему краю. На втором гребне поле с орнаментом поделено по вертикали на две половины, в которых узор строится зеркально. Орнамент состоит из вертикальных и наклонных параллельных линий. Верхний край рукояти украшен тремя небольшими круглыми петлями со сквозными отверстиями, возможно, этот гребень носили, подвешивая к одежде.

Подобные гребни из рога, отличающиеся «узкой» пропорцией соотношения длины и ширины и декорированные на рукояти плоскостной резьбой, широко представлены в памятниках Западной Сибири в раннем железном веке и позднем средневековье [*Новиков*, 2010: 215; 2011]. На юге Западной Сибири находки подобных гребней известны на могильнике Санаторный-2 [*Савинов*, 2008: 132], на некрополях монгольского времени Телеутский Взвоз I на Алтае [*Тишкин*, 2009: 124]. Гребень, имеющий близкую форму и пропорции, был найден в одной из построек городища XIII–XIV вв. Бухта Находка [*Кардаш*, 2012: 77]. Большая коллекция гребней-заколок, вырезанных из одного куска рога, происходит из Усть-Полуя [*Мошинская*, 1965: рис. 17].

Несмотря на имеющиеся параллели, гребни с изображением «двух деревьев под крышей» в археологических комплексах Приангарья и сопредельных территорий неизвестны.

Парные параллельные линии, расположенные под острым углом друг к другу над деревом, могли изображать крышу жилища, типа чума. Схожий сюжет распространяется в таежной зоне с раннего железного века, судя по каменной подвеске из городища Усть-Шилка-2 на Енисее [*Мандрыка*, 2008: 72, рис. 4–17].

Гребень из культурного слоя комплекса Проспихинская Шивера-IV

Изображения дерева хоть и не часто, но встречаются среди материалов по изобразительному искусству коренных народов Средней Сибири. Рисунки деревьев отмечены у селькупов на различной берестяной утвари. Стоит отметить близкие ангарским изображения «кедров» на селькупских чуманах (берестяных коробках). Но селькупские «кедры» более широкие и приземистые, их отличает большее число веток [*Иванов*, 1954: 59]. Наиболее близкие к сюжету на найденном гребне изображения деревьев известны на крышке эвенкийской берестяной коробки [там же: 114]. Изображения деревьев *туру*, представляющие собой связанные поперечинами два вертикальных столба, известны на культовых предметах забайкальских эвенков. *Туру* символизировали дорогу для шамана в верхний мир духов [там же: 173].

Идея о дереве, соединяющем верхний, средний и нижний миры, получила широкое распространение у коренных сибирских этносов. Кроме этого, известны мифы о происхождении человека от дерева и об особой связи души человека и дерева среди некоторых групп эвенков [*Василевич*, 1969: 215].

В целом представленный гребень, несмотря на индивидуальность, можно сопоставить с более поздними аналогиями и относить к изделию, принадлежащему аборигенам ангарской тайги позднего средневековья или нового времени. На такую датировку может указывать и хорошая сохранность материала (рога), из которого он сделан.

Василевич Г. М. Эвенки: Историко-этнографические очерки (XVIII–XX вв.). – Ленинград : Наука, 1969. – 304 с.

Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири (XIX – начало XX в.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 842 с.

Кардаш О. В. Гребни IX–XIII веков из раскопок археологических памятников на Севере Западной Сибири / О. В. Кардаш, Т. М. Пономарева // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 2. – С. 72–82.

Леонтьев В. П. Средневековый могильник многослойного поселения Усть-Кова на Ангаре / В. П. Леонтьев, Н. И. Дроздов // Гуманитарные науки в Сибири. – 1996. – № 3. – С. 39–46.

Лысенко Д. Н. Погребения по обряду трупосожжения могильника Усть-Тасеева / Д. Н. Лысенко, Ю. А. Гревцов // Археология, этнология, палеоэкология северной Азии и сопредельных территорий. – Красноярск, 2006. – Т. II. – С. 47–48.

Мандрыка П. В. Новая археологическая культура раннего железного века в южнотаежной зоне Средней Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 3 (35). – С. 68–76.

Мошинская В. И. Археологические памятники севера Западной Сибири. – М. : Изд-во Ин-та археологии АН СССР, 1965. – 90 с. – (Археология СССР: свод археологических источников ; вып. Д 03–08).

Новиков А. В. Гребни в культуре тюркоязычного населения Южной Сибири конца I тыс. н. э. (по материалам погребальных памятников) / А. В. Новиков, Ю. К. Сергеева // Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. – Томск, 2010. – С. 215–216.

Новиков А. В. Гребни Западной Сибири эпохи раннего железа – средневековья (опыт классификации и семантического анализа) / А. В. Новиков, Ю. К. Сергеева // Древнее искусство в зеркале археологии. К 70-летию Д. Г. Савинова. – Кемерово, 2011. – С. 101–116. – (Тр. Сиб. ассоц. исследователей первобытного искусства ; вып. VII).

Савинов Д. Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (басандайская культура) / Д. Г. Савинов, А. В. Новиков, С. Г Росляков. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 424 с.

Сенотрусова П. О. Проблемы культурной принадлежности средневековых памятников Северного Приангарья // Тр. VI (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань, 2014. – Т. III. – С. 535–537.

Тишкин А. А. Алтай в Монгольское время (по материалам археологических источников). – Барнаул : Азбука, 2009. – 208 с.

А. В. Матвеев[1], Г. Х. Самигулов[2]

Россия, [1]Омск, государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
[2]Челябинск, Южно-Уральский государственный университет

К ВОПРОСУ О ЮГО-ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦАХ СИБИРСКОГО ХАНСТВА (ДАННЫЕ ТОПОНИМИКИ И КАРТОГРАФИИ)

Archaeologists and ethnographers studying the history of the Siberian khanate of the XVI century, are interested in the question of the limits of this state and, accordingly, areas on which to focus their research. In the publication the authors on the basis of integration of written sources, the data toponymy and cartography offer their vision of the South-Western boundary of the Siberian khanate.

Археологи и этнографы, занимающиеся историей Сибирского ханства XVI в., заинтересованы решением вопроса о пределах этого государства и, соответственно, территории, на которой необходимо сосредоточить свои изыскания. Цель публикации – уточнить юго-западные границы Сибирского ханства на основании интеграции письменных источников, данных топонимики и картографии.

Различные версии расположения пределов Сибирского ханства на юго-западе в свое время представили К. Н. Сербина [1937: приложение], Р. Г. Скрынников [1982: 113], М. Абдиров [1993: 207], К. К. Данияров [2003: 23], Г. Л. Файзрахманов [2002: 148], Д. М. Исхаков [2009: 29], В. В. Николаев [2004], В. И. Соболев [2008: 226–227], Д. В. Поздняков [2007: 341], Г. Х. Самигулов [2011: 127; 2012: 130], А. В. Матвеев и С. Ф. Татауров [2012: рис. 9]. Наше исследование основано на картографировании ряда исторических фактов:

а) мест кочевания детей и внуков хана Кучума в 1600–1630-х гг., когда они проживали на территории своего государства, на максимальном удалении от первых русских городов, полноправно получая поддержку подданных;

© Матвеев А. В., Самигулов Г. Х., 2015

б) ряда волостей Южного Урала, население которых утверждало о своем прежнем существовании в пределах государства хана Кучума.

Некоторые важные сведения о юго-западных границах Сибирского ханства были почерпнуты из чертежей С. У. Ремезова конца XVII – начала XVIII в.

Места кочевания детей и внуков хана Кучума.

1. Одним из первых документов о местонахождении детей Кучума является «Отписка тюменского воеводы князя Луки Щербатова туринскому голове Федору Янову о слухах и вестях по поводу Кучумовых детей», датированная 1600 г. Она позволяет локализовать кочевья двух царевичей с сотней бойцов *в Уфинском уезде* на неком *Белом озере* [*Миллер*, 2000: 184]. У нас пока нет возможности определить, какое из многочисленных ныне существующих «Белых» озер, расположенных между г. Уфой и рекой Тобол, имел в виду автор отписки. Однако знание границ «Уфинского уезда» позволит определить точно те территории, которые находились к востоку от «кочевья двух царевичей». Согласно общеизвестной публикации Р. Г Букановой и Р. Р. Фазылова в «Башкирской энциклопедии» [2010: 500], границы Уфимского уезда в интересующее нас время на юго-востоке шли от верховьев Тобола. При такой трактовке территория восточнее верховьев Тобола однозначно входила в состав бывшего Сибирского ханства. Но сама реконструкция границ в данном случае вызывает сомнения, о чем ниже.

2. В 1601 г., согласно «Отписке уфимского воеводы Михаила Нагого тюменскому воеводе князю Луке Щербатому о сношениях с царевичами Алеем, Азимом, Кубеем и Канаем», на поиски царевичей были отправлены послы из Тюмени, которые не нашли, но искали Кучумовичей «*вверх по Обаге реке степью до Камай бору*» на расстоянии 1 дня лыжного пути, а затем «*на Уй реке до Терегеча бору*» [*Миллер*, 2000: 194]. В этом же году парламентеры из Уфы «наехали Каная царевича *в тобольской вершине, меж тобольские и ишимские вершины, 20 днищ от Уфы*». По результатам переговоров царевичи «наезжать себя велели *на Тоболе реке, на Арал Карагае, от Каратабынские и от башкирские волости езду пять днищ*» [там же: 195].

Обага река – современная река Обаган, правый приток Тобола. Поход вдоль ее берегов на расстояние 1 дня лыжного пути не мог превышать 30 км. Уй-река – правый приток Тобола, расположенный западнее и выше по течению от устья реки Обаган. К сожалению, топоним «Терегеч бор» сейчас нам ни о чем не говорит. Расстояние в 20 дней от Уфы – слишком неопределенный отрезок, чтобы его возможно было точно просчитать. Тот факт, что кочевье царевича Каная было обнаружено «в тобольской вершине, меж тобольские и ишимские вершины», говорит нам о том, что кочевал он восточнее верховий Тобола, возможно, в верховьях все той же Обаган-реки, расположенной как раз между Тобольскими и Ишимскими вершинами. Тем более любопытно, что Канай велел искать его далеко на западе от этих мест – на Арал-карагае, который мы локализуем в верховьях Тобола – на территории современных Брединского и Кваркенского районов Челябинской области. Там и сейчас есть остатки бора, а одна из малых речек, приток реки Синташты, называется Арал-Карагай. Камай-Карагай, или Хамакарай, Хама-Карагай, Хаман-Карагай, – бор, который начинался выше впадения реки Куртамыш в Тобол и продолжался вверх по Тоболу [*Маслюженко*, 2013: 69], включая и место впадения реки Уй [*Таймасов*, 2009: 103].

3. Следующее посольство ехало от Уфинского города до Каратабынской башкирской волости 10 днищ, а от нее до царевичевых кочевищ – 8 днищ. «А кочуют де царевичи Канай да Азим *меж Ишима и Обаги реки в дуброве, от устья Обаги реки 3 днища езду конного вверх по Абаге…*» Вместе с царевичами кочевали 150 человек «а все табынцы». «А брат де их большой Алей царевич, Кучумов сын, а они де называют его царем, кочует от них *в 5 днищах близко Сибири*, к Тобольскому городу, а с ним де кочуют братья их меньшие и сырянцы, и мякотинцы, а сказывают де с ним человек до 300 и больше» [*Миллер*, 2000: 196].

География кочевания Каная и Азима в этой части исторического документа также достаточно очевидна: междуречье Обагана и Ишима, на расстоянии примерно 150–200 км от устья реки Обаган. Местонахождение Алея выглядит менее явственным, приблизительно в 250–380 км северо-восточнее братьев, в направлении Тобольска.

4. В «Отписке тюменского головы Алексея Безобразова туринскому голове Ивану Лихареву о полученных вестях про ногайцев» 1603 г. говорится о том, что «зимовал де нагайский мурза Урус Алтыулова улусу *на Обуге реке* близко Кучумова сына Алея с братьею». В следующем послании Алексей Безобразов рассказывает Ивану Лихареву о том, что в 1603 г. он направил на разведку в проезжую станицу своих людей, которые 30 июля разбили небольшой (6 человек) сторожевой отряд царевича Алея и захватили в плен двух бойцов. Случилось это *на речке Чарлак*, в 3 или 4 верстах *не*

доезжая до Уя-реки. Пленные рассказали, что царевич Алей от них *в 3 днищах*, с ним 1100 человек и будет он на речке Чарлаке 1 августа, откуда двинется на Тюмень. «А кош де Алей останавливает *меж Ишима речки и Тобола*» [там же: 211].

К сожалению, установить речку Чарлак нам пока не представляется возможным. Здесь необходимы краеведческие изыскания. Тот факт, что кочевье Алея вновь оказывается в междуречье Ишима и Тобола, добавляет нам уверенности в том, что эти территории прочно входили в состав Сибирского ханства, и местонахождение Алея здесь не носит временный и случайный характер.

5. В 1603 г. тюменский воевода князь Александр Приимков-Ростовский и голова Федор Пушкин писали туринскому голове Федору Фофанову о том, что отправленный к Алею конный казак Степанко Дрогалев нашел царевича Алея *за Тоболом рекой на Емесбалак озере* [там же: 212]. Локализовать это озеро, которое, кстати, в документах начала XVII в. произносится еще и как *Балак-Емес* [там же: 240], нам не удалось. Однако общее направление «за Тоболом рекой» снова говорит нам о Тоболо-Ишимском междуречье, поскольку дорога из Тюмени на юг проходила в те времена по левому берегу Тобола.

6. В 1607 г. после удачного русского военного похода на отряды царевича Алея последний переместился к *Чигирлы озеру* [там же: 231]. Ишимский краевед В. Н. Малышев считает, что озеро Чигирлы можно связывать с упоминавшимся в документах XVIII–XIX вв. озером Чигирим/Чиграсы, расположенным на территории Сладковского района Тюменской области, которое в 1860-е гг. приобрело современное название – Сладковское озеро [2001: 10]. Если эта информация верна, то получается, что Алей перенес свои кочевья примерно на 700 км северо-восточнее прежних, расположившись в обильной пастбищами лесостепи Ишимо-Иртышского междуречья, на одинаковом расстоянии от городов Тюмени и Тары.

7. «Отписка тюменских воевод Федора Бобрищева-Пушкина и Михаила Елизарова тобольскому воеводе боярину Матвею Годунову о нападении калмыков на башкирские деревни Уфимского уезда, об отношениях между ними и царевичем Ишимом и намерении последнего идти войною на Уфимский уезд» 1623 г. сообщает нам некоторые интересующие нас сведения: «…а большие де их таиши Байбагиш с товарыщи прикочевали со всеми своими улусы *по Тоболу реке меж Тюмени, от Уфы за два днища от Уфинской волости от Ератабыни*, где кочевал наперед сего сибирской Кучум царь, а Ишим де царевич кочует ныне с тестем своим Урлюком таишею с товарыщи вместе» [*Миллер*, 2000: 350]. Документ указывает на то, что по реке Тобол, в двух днях пути восточнее Ератабыни Уфинской волости, располагались места, где кочевал ранее хан Кучум.

Под названием «Ератабынь» явно подразумевается волость племени табын, причем это могло быть искаженное при записи слово «Каратабын», т. е. Каратабынская волость, а могло быть и выражение «Ерак табын», т. е. «дальние табын» – вспомним выражение «Каратабынская дальняя волость» [там же: 195]. В целом фраза «*за два днища от Уфинской волости от Ератабыни»* с большой долей вероятности может быть истолкована как *«от Уфимского уезда Каратабынской волости*». Это очень важная фраза, поскольку и в процитированном выше документе 1600 г. расстояние до кочевий кучумовичей измеряется от Каратабынской волости, и в приведенном в рамках настоящего абзаца тоже. Определение «дальняя» указывает на пограничный характер этой волости в рамках Уфимского уезда. Ну а измерение расстояния от ее границ лишь подтверждает это наше предположение. Таким образом, юго-восточные границы Уфимского уезда в первой трети XVII в. не доходили до верховий Тобола, а «прижимались» к восточным склонам Уральского хребта. Вспомним приведенные выше слова о том, что царевичи «наезжать себя велели *на Тоболе реке, на Арал Карагае, от Каратабынские и от башкирские волости езду пять днищ*» [там же: 195]. Арал-Карагай реально находится не на Тоболе, а к западу от него. В 1623 г. калмыки и царевич Ишим кочуют в двух днях пути от границ Уфимского уезда и Табынской волости. Можно заключить, что кочевья Кучума, а впоследствии его потомков на Тоболе находись вовсе не на самой окраине территорий, подчинявшихся им. Очевидно, что реки Тогузак, Синташта, Миасс и Уй в нижнем и среднем их течении также входили в земли «царевичей».

8. В 1634 г. Кучумов внук Кирей Чуваков сын зимовал *за Ишимом рекой по сю сторону Итыковых гор на озере Чабалы*, а Абла де Ишимов сын тут же зимовал [там же: 478]. Существует ряд документов, которые позволяют нам выдвинуть гипотезу о местонахождении Итыковых гор, а соответственно, и кочевий царевичей Кирея и Девлеткирея. Г. Ф. Миллер прямо писал «*на Ишиме у горы Итик*» [там же: 131]. Ф. Скибин и Матвей Трошин, отправленные в 1692 г. послами в Казахскую орду к Тауке-хану, так описывали свой маршрут: «От Тоболска до Адбашского острогу ехали мы, Федка

и Матюшка, лошадми четыре дни, а из Адбашского острогу чрез Капканинские юрты до Ишимской Коркиной слободы степью ж сухим путем до ближняго Ишимского перевозу, от Шамши к Карагаю мимо *Итык камень* чрез Камышевские вершины до далного Ишимского броду десять дней, а от того броду до Нор Ишиму два дни, а от Нор Ишиму до Кынырбайских вершин шесть дней, а от Кынырбайских вершин до Сарысу реки четыре дни» [там же: 412].

С. У. Ремезов и его сыновья на 111-м листе своей «Хорографической чертежной книги» 1697–1711 гг. зафиксировали Итык камень в глубине правобережной террасы реки Ишим. Здесь из Итык камня в реку Ишим впадает река *Чаглык*. На рисунке присутствует надпись «*Камень Итык ходу 4 дня*», по всей видимости указывающая на то, что от реки Ишим до Итык камня 4 дня пути, и надписи «слуда» и «медная руда» [*Ремезов*].

Мы не согласны с исследователями, отождествляющими горы Итык с горой Едыге в Центральном Казахстане [*Древняя культура...*, 1966: 15]. Мы полагаем, что гора Итык связана с одной из гор Кокшетаусской возвышенности. Крупное озеро *Чагалытенгиз*, ныне расположенное на границе Аккайынского и Тайыншинского районов Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, река *Шагалалы,* вдоль левого берега которой и расположен низкогорный массив Еликты (каз. *Елікті*) в Зерендинском районе Акмолинской области Республики Казахстан, представили для нас достаточный топонимический ряд, определивший и главного претендента на наименование «Итык камень». Было бы интересно узнать, добывали ли в горе Еликты слюду и медную руду, что стало бы окончательным доводом в нашем топонимическом исследовании. Расстояние от горы Еликты до реки Ишим по прямой линии составляет около 140 км, что также вполне соответствует означенному С. У. Ремезовым «ходу 4 дня».

9. «Расспросные речи о калмыках и татарах, приходивших в Тарский уезд и под другие города» 1634 г. четко локализуют кочевья Кучумовых внучат: «Девлеткирея з братьею на *урочище на Игибарде камени*, от Тюмени ходу 3 недели…» [*Миллер*, 2000: 479]. К сожалению, локализовать местонахождение «на Игибарде камени» пока возможности нет.

10. В 1638 г. Кучумов внук Девлеткирей кочевал «*за Ишимом же на урочище на Чидетеи речке*, от Тарханова улусу в 3 днищах, к Тюмени ближе…» [там же: 522]. Лист 112 «Хорографической чертежной книги» 1697–1711 гг. С. У. Ремезова с сыновьями дает возможность локализовать кочевья Девлеткирея. Речка Чадета расположена в самых верховьях реки Ишим. Здесь же содержится надпись «коч Девлеткидея царевича» [*Ремезов*]. С. У. Ремезов зачем-то решил указать на карте информацию, которой на момент начала подготовки листов книги исполнилось почти 60 лет. Для нашего исследования, как оказалось, это имеет огромное значение. На территории городского акимата Экибастуз современной Павлодарской области Республики Казахстан протекает река Чидертинка, которая в настоящее время не впадает в Ишим, но находится в относительной близости от верховий Ишима. На протяжении 200 км по ее руслу проходит канал «Иртыш-Караганда». Зная некоторую условность географических знаний Ремезовых об отдаленных районах Великой степи, можно допустить, что современная река Чидертинка является летописной рекой Чидетеи. Тогда именно она являлась местом кочевания Девлеткирея на протяжении 1630-х, а возможно, и 1650-х гг.

11. В 1651 г., по данным Г. Ф. Миллера, «царевич Девлеткирей имел 200 человек и кочевал обычно *на Ишиме или, вернее, на впадающей в него речке Четете, неподалеку от горы Итик*» [*Миллер*, 2005: 31, 357]. У нас нет оснований считать, что Чететь и Чидетеи – это две разных реки.

Сведения о племенах бикатин, сынрян (сырян) и табын, ушедших к Кучумовичам.

В уже цитированной «Отписке уфимского воеводы Михаила Нагого тюменскому воеводе князю Луке Щербатому о сношениях с царевичами Алеем, Азимом, Кубеем и Канаем» 1601 г. есть такие сведения: «…с ними, з двема царевичи (Канаем и Азимом. – *А. М., Г. С.*), человек с 150, *а все табынцы*…», «…а с ним (Алеем. – *А. М., Г. С.*) де кочуют братья их меньшие *и сырянцы и мякотинцы*, а сказывают де с ним человек до 300 и больше», «…пришли де от Кучумовых детей *в тое Каратабынскую волость* 20 семей башкирцев с женами и с детьми; а бывали де, господине, оне прежде того тое же Каратабынские волости ясашные же башкирцы, были с Кучумом» [*Миллер*, 2000: 196–197]. Попробуем рассмотреть, где же располагались волости этих племен. Правда, информация, имеющаяся в нашем распоряжении, датируется не началом, а концом XVII в. Однако представляется, что это не критично, по крайней мере, у нас нет документальных данных об изменении местоположения этих племен на протяжении XVII в.

1. Граница *Табынской волости*, по документу 1692 г., в Зауралье проходила следующим образом: «...на вершину реки Урака и до устья оной на речку Ай до устья горы Шунгурыуя, потом уральскую

Мулдыбыик по речке Миясу и горе Укне-Имякне и на озеро Идрязи; поворот от оного на речку Тикюс и по оной до брода Кармали, со оного по речке Сумляне и до брода Буракая, лежащего через реку Миас, до устья реки Уя и до степи, состоящей за рекою Тоболом, до озера Юбелея и от оного до вершины реки до Черного тока и до местечка Акиар-Гиргу, от коего поворот до Чюрика-Икая» [*Материалы...*, 1936: 80]. Если перевести на современные названия ориентиров, то от реки Ай по реке Миасс до озера Аргази либо Ирдязи, затем, очевидно, до реки Теча, оттуда до брода в районе впадения реки Чумляк (Сумляне) в Миасс и далее на устье реки Уй и за Тобол – огромная территория. Эти данные в значительной степени подтверждаются документами XVIII в. Надо добавить, что и верховья Яика (Урала) входили в Каратабынскую волость – Верхо-Яицкая пристань, нынешний Верхнеуральск, была поставлена на землях именно этой волости. Означенные нами границы Табынской волости, очевидно, установилась после того, как прекратилась «традиция» зимовок Кучумовичей и калмыцких тайшей на Тоболе и прилегающих к нему территориях. Это случилось после того, как идея возрождения Сибирского ханства умерла, последствием чего и стал в 1660–1661 гг. массовый исход из степи тюркского населения на прежние места проживания – на Южный Урал и в Зауралье.

2. *Мякотинская (Бикатинская)* волость включала в себя территории с озерами Касли, Иртяш, Большая и Малая Нанога, речки Кыштымка и Маук, вплоть до реки Синары – большую часть своих территорий бикатин продали Я. Коробкову и Н. Н. Демидову под постройку Каслинского и Кыштымского заводов [ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 6. Л. 2 об. – 3; Д. 7. Л. 114–117].

3. О границах *Сырянской (Сынрянской) волости* говорится в документе 1673 г.: «Вотчина де у них у сенирянцов у всех вопче за Урал горою, на степной стороне, а межа той вотчине с вершины речки Багаряк и до устья, а от той речки с вершины речки Елганды (совр. Боевка. – *Г. С.*) и до устья, а от устья той речки по речку Казиганды до вершины и до устья, да на вершины речки Уйлабасты и до устья, да через речку Сесер (Сысерть. – *Г. С.*) на сосняг а с того соснягу на вершины речки Исеть и с вершины Исети на речку Уктус, с устья и до вершины» [ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1092. Л. 81]. В другом документе упоминается, что на территории Сынрянской волости поставлены Ремянская (Арамильская), Камышенская и Багаряцкая слободы и Колчеданский острог [ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1092. Л. 81 об.].

Если принять, что табын, бикатин и сынрян поддержали Кучума и впоследствии его сыновей в силу того, что являлись подданными Сибирского ханства, тогда встает другой вопрос: почему практически не известны сообщения о присутствии в «кочевьях» Кучумовичей представителей других племен Зауралья? Однако и здесь все непросто, в 1661 г. из степи вернулось много «выходцев» – людей, которые как раз таки кочевали с Кучумовичами, а возвратились домой, очевидно, из-за бесперспективности дальнейшей поддержки «царевичей» и абсолютного преобладания калмыков. Об их количестве говорит подслушанная русским толмачом информация: «…говорили де при мне те выходцы и хвалятца идти войной на Катайский острог и на Далматову пустыню во штистах, а в четыр де ста отпустим наперед себя в свою землю з женами и з детьми и со скотом» [*Материалы...*, 1936: 159]. Причем значительная часть «выходцев», как следует из приведенного фрагмента, до ухода в степь жила на Исети. На это есть и более конкретное указание, одна из групп «выходцев» «…били челом великому государю, чтоб им жить на старых своих жилищах *на Исети реке* от Тюмени в 5-ти днищах» [*Миллер*, 2005: 439].

Территории, подвластные хану Кучуму, по данным чертежей С. У. Ремезова конца XVII – начала XVIII в.

В 2001 г. В. Д. Пузанов обратил внимание на один из документов – фрагмент наказа, который получили в 1586 г. приставы Е. Ржевский и Г. Васильчиков, направленные для встречи польского посла [*Пузанов*, 2001: 7]. В наказе есть такие строки: «А ясаку положил на Сибирское царство и на Конду Большую, и на Конду Меньшую, и на Туру-реку, и на Иртышь-реку, и на Иргиское государство, и на Пегие колмаки, и на Обь великую реку и на все городки на сибирские, на девяносто и на четыре городы з году на год имати на государя по 5 тысяч сороков соболей, по 10 тысяч лисиц черных, да по 500 тысяч белков ебольших, сибирские и илетские» [*Преображенский*, 1972: 50]. Илетские белки – это белки из Илетского бора (Илет-карагай). Остатки этого лесного массива, сохранившиеся близ устья реки Ик, сегодня называют Илецко-Иковским бором. Он прекрасным образом изображен на «Чертеже крайних слобод по доезду драгунского полковника» Мейна 1700 г., на листе 53 «Служебной чертежной книги» С. У. Ремезова [*Служебная чертежная книга...*, 2006: 82]. Можно предположить, что эта территория, т. е. междуречье Миасса и Уя, входила в состав Сибирского ханства.

На 23-м листе «Чертежной книги Сибири» 1701 г. содержится «Чертеж и сходство наличие земель всей Сибири Тобольского города и всех розных городов и жилищ и степей». Он подробно показывает расселение народов Сибири и прилегающих регионов. Места обитания выделены на карте цветом, помимо этого, каждый ареал пронумерован от 1 до 92. Чертеж отражает этнические характеристики, соответствующие расселению племен на несколько десятилетий ранее времени составления атласа. Центральное место на чертеже занимает «Великая Тартария», под которой С. У. Ремезов, вероятно, понимал Сибирское ханство. Поскольку чертеж исполнен на географической основе «Чертежа всех Сибирских городов и рек и земель» 1701 г., с которой удалены все надписи, не имеющие отношения к этнографии, возможно уточнение южных и юго-западных границ «Великой Тартарии». На юге ее граница проходила *от верхнего течения реки Ишим (не включая ее истоки) на запад к истокам реки Тобол, затем на север в верхнее течение реки Теча, от нее на север в верхнее течение реки Исеть и далее в верховья Пышмы*. Стоит обратить внимание на тот факт, что в череде земель и народов С. У. Ремезов обозначил «*Кучумовскую землю*». Она на юге примыкает к «Великой Тартарии» и включает в себя истоки и верхнее течение реки Ишим, откуда направляется на юг по обе стороны реки Нор-Ишим (современная Нура), охватывая со всех сторон озеро Кургалчин. Это озеро сегодня называется *Коргалжын* и находится в Коргалжынском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Западная граница владений заканчивается у истока левого притока реки Сарысу – *Киныр*. Южные – в истоках рек *Сарысу, Чюй*. Юго-западная часть «Кучумовской земли» обозначена номером 27 – «Гурленская земля» [*Чертежная книга Сибири...*, 2007: 160–162].

Таким образом, анализ и систематизация данных письменных и изобразительных источников позволяют прийти к выводу: юго-западная граница Сибирского ханства совпадала с границей «Великой Татарии», показанной на карте С. У. Ремезова «Чертеж и сходство наличие земель всей Сибири, Тобольского города и всех розных городов и жилищ и степей». Она проходила от верховий Сары-су на северо-запад в район современного Державинска на среднем Ишиме, затем через верховья реки Тобол в район Брединского района Челябинской области, где располагался лесной массив Арал-карагай. Отсюда граница поворачивала на север и шла в районе современных Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Каслей, Снежинска, Екатеринбурга в район верховий Исети. На основании наших исследований была подготовлена карта на ресурсе «Яндекс. Карты», где отмечены все исторические упоминавшиеся локации [*Матвеев, Самигулов*].

Абдиров М. Хан Кучум // Простор. – 1993. – № 9. – С. 207–223.

Буканова Р. Г. Уфимский уезд / Р. Г. Буканова, Р. Р. Фазылов // Башкирская энциклопедия : в 7 т. – Уфа, 2010. – Т. 6. – С. 500.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1092.

Данияров К. К. История Сибирского ханства. О книге А. Дж. Тойнби «Цивилизация перед судом истории» применительно к Казахстану. – Алматы : [б. и.], 2003. – 216 с.

Древняя культура Центрального Казахстана / А. Х. Маргулан, К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. М. Оразбаев. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 435 с.

Исхаков Д. М. Тюрко-татарские государства XV–XVI вв. – Казань : Татар. кн. изд-во, 2009. – 142 с.

Малышев В. Н. Загадки Чигирима // Коркина слобода. Историко-краеведческий альманах. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 9–11.

Маслюженко Д. Н. Была ли татарская крепость «Царево городище» на месте города Кургана, или Об одном спорном моменте в региональной историографии // Историческая судьба Искера. – Тобольск, 2013. – С. 67–78.

Матвеев А. В. Юго-западная граница Сибирского ханства / А. В. Матвеев, Г. Х. Самигулов // Яндекс. Карты : [сайт]. – URL: https://maps.yandex.ru/?um=is-tVBchh5pTuxp60skz2Q5Ld6x6-sBq&ll=60.435795%2C5.892387&spn=3.757324%2C1.635598&z=8&l=map (дата обращения: 23.03.2015).

Матвеев А. В. Сибирское ханство: военно-политические аспекты истории / А. В. Матвеев, С. Ф. Татауров. – Казань : Изд-во «Фэн» АН РТ, 2012. – 260 с.

Материалы по истории Башкирской АССР / отв. ред. А. Чулошников. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – Ч. I. – 631 с.

Миллер Г. Ф. История Сибири. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – Т. II. – 630 с.

Миллер Г. Ф. История Сибири. – Москва : Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2005. – Т. III. – 598 с.

Николаев В. В. Присоединение Сибирского ханства к России. Поход Ермака (1582–1585 гг.), 2004 : [карта] // Хронос. Всемирная история в Интернете : [сайт]. – URL: http://www.hrono.ru/proekty/ostu/rus_siberia.gif (дата обращения: 23.02.2015).

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 6; 7.

Поздняков Д. В. Сибирское ханство // Сибирь. Атлас Азиатской России. – Новосибирск ; Москва : Феория, 2007. – С. 340–341.

Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века / отв. ред. М. В. Нечкина. – Москва : Наука, 1972. – 392 с.

Пузанов В. Д. Военно-политические факторы колонизации Приисетья. – Шадринск : ПО «Исеть», 2001. – 46 с.

Ремезов С. У. Хорографическая чертежная книга 1697–1711 гг. // Harvard University Librar : [сайт]. – URL: http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/18273155?printThumbnails=no&action= jp2pan&imagesize=1200&x=74&y=59 &jp2Res=0.5&rotation=0&n=135&op=j&thumbnail.x=73&thumbnail (дата обращения: 23.03.2015).

Самигулов Г. Х. Тюрки Южного Зауралья в конце XVI – первой половине XVIII в.: консолидация/разделение – к постановке вопроса // История экономика и культура тюрко-татарских государств Западной Сибири. – Курган, 2011. – С. 127–131.

Самигулов Г. Х. О границе Ногайской орды и Сибирского ханства в Южном Зауралье // Средневековые тюрко-татарские государства. – Казань, 2012. – Вып. 4. – С. 126–130.

Сербина К. Н. Карта Сибири XVI–XVII вв. (до 1618 г.) // Миллер Г. Ф. История Сибири. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937. – Т. I. – Вкладыш.

Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. – Новосибирск : Наука, 1982. – 254 с.

Служебная чертежная книга. Семен Ремезов и сыновья. Т. 2. Текст рукописи. Комментарии. – Тобольск : ОБФ «Возрождение Тобольска», 2006. – 170 с.

Соболев В. И. История сибирских ханств (по археологическим материалам). – Новосибирск : Наука, 2008. – 356 с.

Таймасов С. У. Башкирско-казахские отношения в XVIII веке. – Москва : Наука, 2009. – 344 с.

Файзрахманов Г. Л. История сибирских татар (с древнейших времен до начала XX века). – Казань : ФЭН, 2002. – 488 с.

Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. Исследования. Перевод. Комментарии. Указатели. – Москва : ОБФ «Возрождение Тобольска», 2007. – Т. II. – 207 с.

В. Е. Медведев

Россия, Новосибирск, Институт археологии и этнографии СО РАН

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ СКОБОК У ЧЖУРЧЖЭНЕЙ ПРИАМУРЬЯ И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ШАМАНИЗМА

This article analyses iron brackets beaded with rings which are usually found in the burials of Jurchen epoch (late 1st – early 2nd Mill. AD) in Amur River Basin and neighboring regions. It was found that the brackets with rings were attached to the wooden shell inside the shaman drum and served as noise elements.The analyzed materials evidence the existence of the most important attribute of shaman – a drum – already in the Early Middle Ages of this region. Observations and conclusions can be confirmed by ethnographic examples.

Нередко этнографические свидетельства являются единственной возможностью интерпретировать те или иные археологические материалы. Примером служат представленные в статье результаты выяснения принадлежности скобковидных предметов (скобок), встречающихся при раскопках средневековых памятников на юге Дальнего Востока.

© Медведев В. Е., 2015

Первые подобные изделия были найдены в погребении Болоньского могильника чжурчжэньской культуры на Нижнем Амуре в 1970 г. [*Медведев*, 1970: 51, рис. 66]. Несколько позже скобковидный предмет обнаружили при исследовании поселения Синие Скалы в Приморье. Автор раскопок Ж. В. Андреева назвала его скобой [*Андреева*, 1977: 170, рис. 2], а также витой рукоятью [*Синие Скалы…,* 2002: 117, 130, табл. 23, *5;* 31*, 9*]. Второе определение не может соответствовать действительности. Единичные скобки из витой проволоки известны в культуре мохэ на среднем Амуре [*Деревянко*, 1977: 172, табл. IX, 1], а также в бохайско-чжурчжэньских памятниках Приморья [*Бохайские памятники...*, 2010: 231, рис. 21, *3*; *Слепцов*, 2002: рис. 7, 12, 13] и Приамурья, в частности в Хорском городище.

Рассматриваемые предметы выявлены прежде всего в могильниках, относящихся к концу I – началу II тыс., т. е. к чжурчжэньской эпохе. Поскольку погребальные памятники названного времени на Дальнем Востоке лучше изучены в Среднем и Нижнем Приамурье, здесь скобковидных изделий найдено несравненно больше. Особенно многочисленные их серии отмечены в Корсаковском некрополе на острове Уссурийском, где исследовано 386 погребений (53 скобки).

В ряде его погребений залегало по 4–7, а порой и 10–12 этих своеобразных предметов. Все они, включая находки в других памятниках, изготовлены из железной проволоки квадратного сечения диаметром 0,3–0,5 см. Проволока почти полностью витая за исключением изогнутых и расплющенных концов. Подавляющее большинство скобок в форме буквы С (С-образные), есть в форме буквы Г (Г-образные). На многих скобках надеты железные кольца из витой проволоки, в некоторых случаях они лежали рядом со скобками. Длина скобок чаще от 5 до 8 см, есть до 10–12 см (рис. 1: *1–14*). В расположении серий скобок на дне могил наблюдается определенная закономерность – непосредственно вдоль длинной стенки цепочкой или в виде круга, чаще неподалеку от черепа или у рук погребенного. Например, в погребении 175 названного могильника 10 скобок из 12 зафиксированных залегали слева от верхней части костяка у стенки, остальные – в области ног. В погребении 202 рядом с юго-восточной стенкой могилы в виде цепочки располагались 10 скобок, из них 8 – горизонтально, а 2 торчали вертикально. Могильные ямы, в которых выявлены скопления скобок, глубже почти всех остальных могил Корсаковского и других погребальных памятников. Практически во всех случаях погребения, содержащие скобки, отличаются богатым набором инвентаря, чаще всего оригинального и уникального, принадлежащего исключительно одному конкретному погребению. В Корсаковском могильнике, к примеру, в упомянутом выше погребении 175 наряду с двенадцатью скобками и кольцами обнаружены остатки наборного пояса, украшенного пятью квадратными бляшками – предметами импорта, изготовленными из нехарактерного для могильника непрочного цветного металла. В центре бляшек − изображение морды дракона, обрамленное тонким геометрическим узором. К поясу были подвешены 6 бубенчиков – 5 железных и 1 бронзовый. В погребении находились также 2 лепных сосуда (один из них разбитый), 3 массивных серьги из того же цветного металла, что и квадратные бляшки, 2 разбитые нефритовые подвески. В области груди покойного лежали 2 фрагмента-обрубыша железного палаша, рядом с черепом − 4 железных наконечника стрел, еще 3 – в других местах погребения [*Медведев*, 1982: 109–111; табл. LXXX].

Рис. 1. Железные скобки (*1–7, 9–11, 13, 14*) и кольца от них (*8, 12*) из Корсаковского могильника (*1–13*) и Хорского городища (*14*)

В погребении 112 вместе с пятью скобками и кольцами находился разнообразный инвентарь (наконечники стрел, ножи, панцирные пластины, оселки, кресало, серьга, поясная ажурная бляшка), среди которого выделяется бронзовая позолоченная статуэтка Будды – единственная в археологии Приамурья [там же: 98–100; табл. LXVII].

Любопытно, что и в других могильниках чжурчжэньской культуры погребения со скобками выделяются своими большими размерами, глубиной, составом инвентаря. Так, в погребении 18 Дубовского могильника (могила наиболее глубокая и большая по размерам на некрополе), где зафиксированы 12 скобок, наряду со «стандартными» погребальными реалиями (сосуды, нож, серьги, браслеты, бусы, пряжка) обнаружены 3 весьма редкие фигурки лошадей с наездниками из бронзы и серебра, а также единственный в средневековом Приамурье железный ювелирный пинцет на цепочке [*Медведев*, 1980: 157, 159–162, рис. 38].

Среди 19 раскопанных погребений на Болоньском могильнике резко выделяется погребение 1, в котором вместе с погребенным довольно компактно располагались 8 скобок. Погребение занимало более 10 кв. м площади памятника. В нем найдены 9 разбитых сосудов, в том числе горшок, наполненный красной охрой, детали пояса и колчана, ножи, челюсть лошади, 2 железных и 1 бронзовый наконечники стрел. Последний примечателен не только тем, что это единственный подобного рода экземпляр из бронзы в средневековых древностях региона, но и тем, что наконечнику-срезню при отливке придан необычный вид. Наконечник, скорее всего, служил в качестве культового атрибута. Погребения с набором скобок были, как правило, обеспечены уникальными реалиями из цветных, полудрагоценных, иногда с позолотой, металлов. В них обычными являются находки наконечников стрел.

В свое время у автора не было твердого мнения о функциональном назначении скобок, хотя предполагалось, что отдельные небольшие экземпляры без колец могли быть деталями деревянной утвари [*Медведев*, 1977: табл. XXXIV, *3*]. Обращение к материалам этнографии позволяет считать скобки средневекового Приамурья (очевидно, и Приморья) принадлежностью шаманских бубнов.

Исследователями справедливо подчеркивается, что признаки определения шаманских погребений пока не разработаны. Выделяются шаманские погребения на основе их необычности, прежде всего по богатому набору и уникальности погребального инвентаря [*Сериков*, 1998: 29], а также большой глубины могилы.

Представленные выше результаты раскопок погребений чжурчжэньской эпохи демонстрируют не только значительный по количеству и уникальности инвентарь и более глубокие, по сравнению с обычными, могильные ямы, но и присутствие в них железных скобок с кольцами, деталей бубна – одного, как принято считать, из священных шаманских атрибутов.

Обращение к исследованиям шаманских бубнов большинства народов Сибири и Дальнего Востока показывает, что многие их бубны были снабжены скобками с шумящими подвесками чаще всего в форме колец. Бубен представляет собой круглую или овальную деревянную обечайку (обруч) диаметром от 30 до 80 см с натянутой мембраной – кожей косули или другого животного, изредка рыбы (у народов Амура). Ширина обечайки – 2,5–20 см. С внутренней стороны бубна на обечайке закреплены скобки из железной проволоки, нередко витой, на которые нанизаны кольца (иногда китайские монеты), издающие при движении бубном звон, отпугивающий, в представлении шаманов, злых духов. Подобные бубны известны, в частности, у нанайцев, удэгейцев, орочей, ульчей и других народов [*Прокофьева*, 1961: 435, 442, 443]. Аналогичные бубны были также у маньчжурских шаманов [*Решетов*, 1995: 103].

Особая близость со скобками и кольцами из чжурчжэньских погребений просматривается в этого же рода деталях шаманских бубнов зейских [*Иванов*, 1954: 173, рис. 64] (рис. 2: *1*) и амурских [*Мазин*, 1984: табл. 50] (рис. 2: *2*) эвенков. Примечательно, что шаманизм маньчжуров, одних из наиболее близких потомков чжурчжэней, обнаруживает глубокие генетические связи с шаманизмом иных тунгусо-маньчжурских этносов, например с эвенкийским [*Решетов*, 1995: 106].

О форме и размерах шаманских бубнов чжурчжэней Приамурья можно судить по расположению скобок с кольцами на дне могил. Так, в упомянутом выше погребении 18 Дубовского могильника все 12 скобок располагались по кругу диаметром 50–60 см. Это значит, что бубен был круглой формы указанных размеров, и положили его в могилу мембраной параллельно на ее дно. Другой пример связан с погребением 175 Корсаковского некрополя, о котором уже говорилось выше. В нем 10 скобок из 12 зафиксированных залегали вдоль могильной стенки в одну линию длиной до 85 см. Можно считать, что бубен соответствовал длине названной линии скобок, он был овальной формы и располагался обечайкой параллельно дну могилы.

Относительно физической сохранности погребального инвентаря, предметов шаманского культа (железных деталей бубна) в погребениях рассматриваемых могильников нельзя судить однозначно. В Корсаковском некрополе вещи в могилах залегали чаще в непотревоженном состоянии без особых признаков порчи. В Болоньском погребении картина оказалась иной: многочисленные сосуды были разбиты, ножи и наконечники стрел повреждены, скобки и кольца от них залегали рассеянно порознь. Похожая неопределенная картина наблюдается и в погребальной обрядности шаманов ряда народов Сибири и Дальнего Востока. У тувинцев, к примеру, все принадлежности шамана в полной сохранности размещались рядом с его могилой [*Кенин-Лопсан*, 1987: 86], у орочей в могилу шамана клали то, что ему принадлежало, предварительно все переломав и изорвав [*Ларькин*, 1964: 106].

Ранее автор при выделении шаманских погребений в могильниках чжурчжэньской эпохи пришел к выводу, что наиболее богатым, даже роскошным погребальным инвентарем были снабжены женские шаманские захоронения, оставленные в глубоких могилах. Для них характерно наличие целых поясных наборов (иногда до трех) с ажурными, бронзовыми, нередко позолоченными бляшками. К поясам прикреплялись различные шумящие подвески-бубенчики с камешком внутри, колокольчики, конусовидные предметы и другие вещи. В женских шаманских погребениях обнаружены наспинники и нагрудники с многочисленными бляшками, бубенчиками, подвесками, богатые украшения (ожерелья из различных пород камня, стекла с золотыми прокладками, серьги из серебра с нефритовыми кольцами, бронзовые с позолотой шпильки, иные реалии), а также зоо- и антропоморфные амулеты, кости и зубы животных. Остатков бубнов, скобок и колец в этих погребениях не было.

Есть серьезные основания считать, что у чжурчжэньского населения в конце I – начале II тыс. в Приамурье, Приморье и Маньчжурии служителями шаманского культа были и женщины, и мужчины. При этом основным шаманским атрибутом у женщин являлась особая одежда с разнообразными музыкально-шумящими поясами, наспинниками, нагрудниками и другими обрядово-культовыми аксессуарами.

Рис. 2. Шаманские бубны
с закрепленными скобками на обечайке
эвенков Зеи *(1)* [*Иванов*, 1954: рис. 64]
и Амура *(2)* [*Мазин*, 1984: 196, табл. 50].
Без масштаба

В мужских шаманских погребениях вместо выделяющихся своей роскошью элементов одежды и украшений, как мы это видим в могилах женщин-шаманок, сохранились уникальные образцы антропо- и зооморфных изображений, в том числе скульптурных, из цветных металлов, наконечники стрел, а самое главное – металлические детали бубнов.

Была настойчивая крайне предвзятая попытка Ю. М. Васильева «отнять» шаманизм у носителей чжурчжэньской культуры Приамурья, Приморья и Маньчжурии [*Васильев*, 2004]. Однако для подобной попытки нет каких-либо оснований, она необъективна, факты искажены, поэтому обречена на неудачу. Чжурчжэни, так же как и до них мохэ, обитавшие в указанных регионах, в подавляющем большинстве своем были шаманистами. К этому заключению мы пришли на основании прежде всего материалов собственных раскопок десятков памятников, сотен погребений. Китайские археологи, к примеру, также убеждены, что бронзовые наборные пояса «…мохэ-чжурчжэней… выражают идейные представления шаманского обряда», и шаманизм у них на среднем и нижнем Амуре уже во второй половине VIII в. получил полное развитие [*Ван, Пэйсинь*, 2002: 159, 161].

Андреева Ж. В. Приморье в эпоху первобытно-общинного строя: железный век. – Москва : Наука, 1977. – 240 с.

Бохайские памятники в Приморье и Константиновское 1 селище / В. И. Болдин, Ю. Г. Никитин, Сук-Бэ Чжун, Н. В. Лещенко. – Сеул : ИИАЭ ДВО РАН, Корейский гос. ун-т культурного наследия, 2010. – 765 с.

Ван Пэйсинь. Бронзовые поясные украшения мохэ-чжурчжэнй и связанные с ними вопросы // Археология и культурная антропология Дальнего Востока и Центральной Азии. – Владивосток, 2002. – С. 140–161.

Васильев Ю. М. Шаманские погребения в покровской культуре // Россия и АТР. – 2004. – № 2. – С. 56–70.

Деревянко Е. И. Троицкий могильник. – Новосибирск : Наука, 1977. – 224 с.

Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX в.: сюжетный рисунок и другие виды изображений на плоскости. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 838 с. – (ТИЭ. Новая серия ; т. XXII).

Кенин-Лопсан М. Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Конец XIX – начало XX в. – Новосибирск : Наука, 1987. – 168 с.

Ларькин В. Г. Орочи. – Москва : Наука, 1964. –176 с.

Мазин А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов (конец XIX – начало XX в.). – Новосибирск : Наука, 1984. – 201 с.

Медведев В. Е. Отчет о работах Нижнеамурского отряда в 1970 г. // Архив ИА РАН. Р1. № 4117.

Медведев В. Е. Культура амурских чжурчжэней: конец X – XI в. (по материалам грунтовых могильников). – Новосибирск : Наука, 1977. – 224 с.

Медведев В. Е. Могильник у с. Дубового – памятник ранних чжурчжэней Среднего Приамурья // Археологический поиск (Северная Азия). – Новосибирск, 1980. – С. 137–192.

Медведев В. Е. Средневековые памятники острова Уссурийского. – Новосибирск : Наука, 1982. – 216 с.

Прокофьева Е. Д. Шаманские бубны // Историко-этнографический атлас Сибири. – Москва ; Ленинград, 1961. – С. 435–490.

Решетов А. М. Костюм маньчжурского шамана в коллекции МАЭ // Шаманизм и ранние религиозные представления. – Москва, 1995. – С. 99–107.

Сериков Ю. Б. Шаманские погребения Зауралья // Вопр. археологии Урала. – Екатеринбург, 1998. – Вып. 23. – С. 29–47.

Синие Скалы – археологический комплекс: опыт описания многослойного памятника. – Владивосток : Дальнаука, 2002. – 328 с.

Слепцов И. Ю. Могильник Соколовский. Результаты археологической разведки 2001 г. / И. Ю. Слепцов, Н. А. Клюев, А. В. Гарковик и др. // Россия и АТР. – 2002. – № 3. – С. 88–94.

Ч. Мунхбаяр

Монголия, Ховд, государственный университет

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКАЛЬНОГО ПОГРЕБЕНИЯ ГООЖУУР (МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ)

Buyant archaeological expedition established by three universities (Altai, Hovd and Ulaanbaatar), studies sites of historical and cultural heritage in the territory of Hovd aimag (Mongolia) for several years. One result of this activity was the study of rock burial Goozhuur on the territory of the Mongolian Altai. This article summarizes the findings from this site.

В течение нескольких лет Буянтская археологическая экспедиция, созданная в ходе выполнения совместных научно-исследовательских проектов тремя университетами (Алтайский, Ховдский и Улан-Баторский), изучает на территории Ховдского аймака Монголии памятники историко-культурного наследия. Одним из результатов такой деятельности стали исследования скального погребения Гоожуур на территории Монгольского Алтая. В данной статье представлены предварительные результаты такой деятельности.

Изучение обнаруженных скальных погребений Монгольского Алтая началось в 1-й половине XX в. В ходе разведки археологических памятников, проведенной А. В. Бурдуковым в 1910 г., было обнаружено первое известное нам пещерное захоронение на горе Улаан унээт (здесь и далее географические названия даны на языке автора. – *Прим. ред.*) [*Бурдуков*, 1987: 4; *Мөнхбаяр*, 2014: 45–52]. О последнем погребении нам предоставил информацию сын жителя одного из сомонов Ховдского аймака Б. Лхагжав Мянгад [*Алтай...*, 2013: 4].

После исследований А. В. Бурдукова на сегодняшний день по всему Большому Алтаю изучено около 20 подобных памятников. Около 10 из них зафиксировано на территории Монгольского Алтая [*Хүрэлсүх*, 2012]. Скальные погребения известны в Российском Алтае [*Тишкин*, 2009].

В 2007 г. местные жители обнаружили скальное погребение в местности Гоожуур при разработке карьеров. В том же году была проведена разведка в урочище Хар говийн дээд увулжуу в Мунххайрханском сомоне Ховдского аймака международной американско-монгольской экспедицей Восточного Пенсильванского университета и Национального исторического музея в рамках программы проекта «Ховд» [*Баярсайхан*, 2010], результаты которой опубликованы в монографическом исследовании археолога С. Хурэлсуха [2012: 27, 90].

В период с 24 по 26 октября 2014 г. отрядом Буянтской археологической экспедиции было исследовано скальное погребение в Гоожууре (около с. Борта Мунххайрханского сомона) в рамках проведения инспекции памятников историко-культурного наследия Ховдского аймака. В составе отряда работали: ученый секретарь Социально-гуманитарного института Ховдского государственного университета Ч. Мунхбаяр, научный сотрудник Ховдского музея Х. Бямбасурэн, научный сотрудник Культового центра Мунххайрханского сомона Х. Мягмаржав, представитель Рейнджэрс парка Мунххайрхана О. Баянмунх и водитель Т. Энхцагаан.

Урочище Гоожуур расположено в 23 км к западу от центра Мунххайрханского сомона, на левобережном склоне реки Бооржа (рис. 1: *1*). Его географические координаты по GPS-навигатору следующие: N – 48˚09.847′ и E – 91˚13.728′. Высота над уровнем моря, полученная тем же прибором, – 2857 м. Рядом находится зимник. В северной части урочища выделяется один большей валун. Скальное погребение находилось с правой стороны этого валуна, в нише, заложенной камнями (рис. 1: *2*).

После разбора каменного завала в нише была обнаружена деревянная конструкция в виде лестницы, выполнявшей роль перекрытия для умершего человека (рис. 1: *3–4*). Кроме этого, зафиксированы деревянные части какой-то хозяйственной постройки или приспособления (рис. 2: *1*), остатки кожаной одежды (рис. 2: *2*), фрагменты берестяных деталей женского головного убора *богтаг (бокка)* (рис. 2: *3–4*), деревянное крестообразное основание под плюмаж для бокки (рис. 2: *5–6*).

В нише была захоронена взрослая женщина. Она лежала вытянуто на спине, руки вдоль тела, головой на север. Тело частично мумифицировалось (рис. 1: *4*). При разборе деревянной погребальной конструкции было установлено, что, несмотря на частичную мумификацию тела, нижние час-

© Мунхбаяр Ч., 2015

ти конечностей отсутствовали (возможно, по причине действий грызунов). Тело оказалось частично смещено (не исключено, что это было вызвано действием сейсмической активности). Правая сторона погребенной и берестяные фрагменты бокки располагались в нише на более низком уровне, что, возможно, свидетельствует об их изначальном положении.

Рис. 1. Гоожуур: *1* – карта местонахождения скального погребения; *2* – общий вид; *3* – вид на погребение и деревянную конструкцию после разбора завала камней; *4* – процесс извлечения останков человека

Рис. 2. Гоожуур. Находки из наскального погребения и их аналогии:
1 – фрагменты крышки копытной; *2* – остатки кожаной одежды; *3, 4* – части берестяного каркаса «бокки»; *5, 6* – деревянная основа для плюмажа бокки (*5* – лицевая сторона; *6* – оборотная сторона); *7, 8* – реконструкция «бокки» [по: *Табалдиев*, 1996]; *9* – деревянная основа «бокки» из кургана Нарта [*Хурэлсух*, 2012: 20, 117, рис. 32, 33]

В итоге характерный обряд и условия находки позволяют предварительно отнести скальное погребение в урочище Гоожуур ко времени существования Монгольской империи (XIII–XIV вв.). Об этом свидетельствуют следующие факты:

1. Использование характерных деревянных конструкций.
2. Обнаруженные детали бокки (рис. 2: *5–9*).
3. Ориентация погребенной головой на север.
4. Особенности расположения захоронения.

Для изучения всех полученных материалов потребуются дальнейшие лабораторные исследования. Необходимо изучить мумифицированные останки человека при помощи современных технологий, получить радиоуглеродные даты и др.

Информация о скальном погребении Гоожуура и других памятниках Мунххайрханского сомона имеется на нескольких сайтах Монголии. Дальнейшее накопление материалов позволит наполнить конкретным содержанием историю населения Монгольского Алтая.

Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. – Бишкек : Айбек, 1996. – 256 с.

Тишкин А. А. Алтай в Монгольское время (по материалам археологических памятников). – Барнаул : Азбука, 2009. – 208 с.

Алтай III төслийн 2012 оны намар Увс аймагт явуулсан экспедицид гүйцэтгэгч Ч. Мөнхбаярын хийсэн ажлын тайлан // Монголын Баруун бүс нутгийн ард түмний түүх, угсаатны зүй, хэл аялгуу, аман зохиол («Алтай-III») суурь судалгааны сэдэвт ажил. – Ховд : Ховд их сургуулийн Түүхийн тэнхимийн гар бичвэрийн сан, 2013. – 36 с.

Баярсайхан Ж. Ховд аймгийн нутагт хийсэн археологийн судалгааны ажлын тайлан. – Улаанбаатар : Үндэсний түүхийн музейн гар бичвэрийн сан, 2010.

Бурдуков А. В. Хуучин ба шинэ Монголд / орос хэлнээс орчуулсан Э. Базаржав. – Улаанбаатар : Улсын хэвлэх үйлдвэр, 1987. – 261 с.

Мөнхбаяр Ч. А. В. Бурдуковын археологийн үйл ажиллагаа // А. В. Бурдуков – 130 Баруун монголын түүх сөелын асуудлууд (А. В. Бурдуков – 130 олон улсын ЭШ-ний бага хурал. Увс 2013.07.25-08.03). BIBLIOTHECA OIRATICA-XXXIV. – Улаанбаатар : Соембо принтинг, 2014. – С. 45–52.

Хүрэлсүх С. Хадны оршуулгын судалгааны зарим асуудал. – Улаанбаатар : Эдмин хэвлэлийн компани, 2012. – 144 с.

Д. А. Мягков

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН

ОХОТА НА МЕДВЕДЯ В ПРОМЫСЛОВОЙ КУЛЬТУРЕ СИБИРСКИХ ТАТАР*

The hunting for brown bear as a component of the Tobol and Irtysh and Baraba Tatars' economy is considered on the basis of field ethnographic materials. The relation of man to bear, features of social group of hunters for bear, bear hunting methods, the use of products such hunting are investigated.

Будучи неотъемлемым компонентом традиционного хозяйственного комплекса сибирских татар, охота играла неодинаковую роль в экономике их разных локальных групп [*Томилов*, 1993: 78]. Экономическое значение охоты состояло в обеспечении источников существования для человека: непосредственно – путем получения мяса как продукта питания, опосредованно – путем реализации продуктов пушной охоты. При этом промысел медведя занимал совершенно особое место в структуре охоты сибирских татар, поскольку он не мог иметь существенного материального значения в удовлетворении витальных потребностей населения в силу малочисленности объекта промысла, но тем не менее обладал значительной мировоззренческой ценностью в представлении охотников.

Цель настоящей статьи состоит в характеристике охоты на бурого медведя как компонента традиционной промысловой культуры сибирских татар. Источником исследования послужили полевые этнографические материалы, собранные автором в 2002–2012 гг. в ходе этнографических экспедиций Омского филиала ИАЭТ СО РАН в местах компактного проживания тоболо-иртышских и барабинских татар на территории районов Омской, Новосибирской, Тюменской областей. Собранные материалы хранятся в МАЭ МК ОмГУ и Музее народов Сибири Омского филиала ИАЭТ СО РАН.

---

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 14-01-00412 «Татары Барабы: трансформация культуры в эпоху модернизации».

© Мягков Д. А., 2015

Ареал бурого медведя (лат. *Ursus arctos*, далее – медведь) охватывает преимущественно лесную и частично лесостепную и степную зоны Западной Сибири [*Млекопитающие*…, 1967: 416]. Соответственно, распространение (и значение) охоты на медведя уменьшалось по мере следования от северных, таежных районов расселения сибирских татар к южным, лесостепным. В последних промысел медведя имел спорадический характер, усиливаясь в периоды миграции зверя на юг, например, в результате лесных пожаров.

Предваряя рассмотрение собственно охоты на медведя, необходимо осветить особенности восприятия охотниками отношений между человеком и медведем, которые влияли на их поведение в процессе промысла.

Среди сибирских татар широко распространено представление о том, что в обычных условиях медведи *(ою/аю)* по своей инициативе никогда не нападают на человека. Считается, что медведь, обнаружив человека, не выдает себя и не показывается последнему. По наблюдениям охотников, медведь, как правило, обнаруживает человека первым и сразу пытается скрыться, уйти в сторону («лоб в лоб его редко обнаружишь»), либо «начинает деревья ломать, показывает, что он здесь (чтобы человек ушел. – *Д. М.*)».

Случаи нападения медведя на человека воспринимаются информаторами как аномалия, вызванная либо провоцирующим поведением человека, либо болезненным состоянием зверя. Известные факты нападения медведя на людей имели место тогда, когда зверя ранили (здесь налицо защитная реакция животного), либо в период гона, который обычно приходится на август, либо животное не запасает на зиму достаточно подкожного жира и потому не впадает в спячку (медведь-шатун), либо это старый медведь.

Более того, по некоторым сообщениям информаторов, медведи не нападают даже на домашних животных. Характерно объяснение эпизода, произошедшего вблизи д. Тарханы Тюменской области, когда медведь напал на корову и исцарапал ей спину, в результате чего ее пришлось зарезать: местные жители объясняют такое «ненормальное» поведение медведя тем, что он, вероятно, был старым. Отметим, что в действительности факты нападения медведей на домашних животных случались в разных поселениях.

Любопытно, что в сознании охотников медведь наделен рядом психологических и физических признаков, свойственных человеку. В различных поселениях зафиксированы представления о том, что туша ободранного медведя похожа на женщину или что его лапы похожи на кисти рук человека.

В деревнях Чебурга Тюменской области, Тайчи Омской области нами зафиксировано поверие о том, что медведь боится смотреть в глаза человеку. Видимо, это представление лежит в основе легенды, согласно которой медведь при причинении смерти человеку снимает с него «скальп»: нападая, медведь обычно бьет человека по шее, затем сдирает с головы кожу и закрывает ею лицо (глаза). С существованием такой легенды связано следующее правило поведения: при встрече с медведем человеку не следует отводить от него глаз и необходимо медленно отступать спиной («не показывать спину»).

В с. Казанка Тюменской области зафиксировано народное знание о том, что у медведей «есть своя территория», которую они отмечают царапинами на толстых стволах деревьев. В связи с этим, если человек будет делать на таких деревьях зарубки топором, «его подстережет медведь и накажет».

Специфика медведя как объекта охоты нашла отражение в социальных и психологических особенностях охотников на медведя.

Обращают на себя внимание особенности самоидентификации охотников, родившихся в годы советской власти. Так, например, представители поколения 1950-х гг. зачастую указывают, что «мы, молодежь, ходили обычно на дичь и зайца», в то время как «пожилые, опытные охотники (их было немного. – *Д. М.*) ходили на лося и медведя». Интересно, что охота на медведя воспринимается самими информаторами как атрибут традиционной промысловой культуры сибирских татар, в значительной степени утраченный к середине XX в. Вероятно, мужчины, родившиеся в 1910–1920-е гг., стали последним поколением охотников, сумевшим органично воспринять традицию этой охоты, которая впоследствии была прервана внедрением единообразной модели советского быта и экономики.

Между поколениями охотников обнаруживаются также ценностные различия. Среди охотников-промысловиков, родившихся в первой трети XX в., фиксируется представление о том, что «нельзя зря убивать» животных, если это не обусловлено экономическими потребностями или опасностью

с их стороны. Именно с таким воззрением связан бытовавший запрет на охоту на медведя, когда она совершалась без необходимости. В то же время охотники следующего поколения не стесняются признаваться в том, что охотятся на медведя из интереса, «чтобы проверить себя» и т. п., чем вызывают неодобрение к себе со стороны старших.

Охота на медведя требует от охотника особых знаний, навыков и выдержки, в связи с чем она ведется далеко не всеми охотниками, даже из числа наиболее опытных. Показателен случай опытного охотника 1932 г. р., который в 1972 г. с двумя напарниками впервые участвовал в охоте на медведя: «...у тех осечки произошли, и они убежали; а я только с четвертого выстрела из двустволки на колени его (медведя. – *Д. М.*) посадил; ему только в сердце попадать надо, а я тогда не знал этого; тогда решил, что больше на медведя охотиться не буду, и с тех пор не ходил».

По представлениям охотников, главное в охоте на медведя – не бояться: «...если боишься, то нечего идти на медведя». Страх опасен в том числе и потому, что если испугался один охотник, то страх может передаться его напарнику.

Как известно, бурый медведь не образует скоплений и относительно малочисленен в природе, поэтому добывать его возможно эпизодически, по 1–2 особи за одну охоту [*Косинцев*, 2003]. В связи с этим охота на медведя сибирских татар имела зачастую случайный (нецеленаправленный) характер. Например, Т. К. Курманов из д. Тахтагул Тюменской области (1949 г. р.), будучи профессиональным рыбаком и охотником, за свою жизнь добыл 6 медведей, причем всех случайно. Впервые он подстрелил медведя в 1975 г. на озере Большой Уват, на котором зверь по ночам выбирал рыбу из расставленных котцов (ловушка для лова рыбы) и ломал их. Другая встреча с медведем произошла на озере Шишкарым, когда собаки случайно обнаружили его залезшим на дерево. Однако специальная охота на медведя, когда охотники вели целенаправленный поиск зверя, также была распространена, особенно в лесных районах.

Анализ техники охоты на медведя сибирских татар позволяет выделить следующие три ее вида.

1. Охота на берлоге.

Берлоги устраиваются медведями в укромных и высоких местах в лесу или на болоте, как правило, вблизи крупных деревьев, корни которых образуют естественную и устойчивую кровлю. В одну берлогу, как правило, ложится либо один взрослый медведь (самец), либо медведица с пестуном (медвежонок текущего года, зимующий с матерью). Берлоги могут заранее обнаруживаться охотниками весной, при движении по насту в направлении, противоположном следу зверя. Осенью и зимой в поисках берлоги используются собаки, которые при ее обнаружении начинают облаивать зверя.

Оптимальный период такой охоты продолжается с конца октября – середины ноября, когда медведь основательно залегает в берлогу, по начало января, т. е. когда запас накопленного зверем подкожного жира является максимальным. Если лето «сытное», животное успевает запасти жир к концу октября, если «голодное» – к 10–15 ноября, ко времени ледостава.

Убедившись, что медведь залег в берлогу, приступали к охоте. В качестве орудий использовались ружья, а также заточенный березовый кол длиной 3–4 метра или такой же длины металлический прут. Участвовали в охоте обычно три человека: один вбивал в кровлю берлоги кол и начинал им вращать, выгоняя зверя наружу; двое других с ружьями вставали в 3–4 метрах от лаза *(чоп)* наискосок или вплотную, чтобы выстрелом не задеть друг друга.

2. Охота на приманку.

Осуществляется в летний и осенний период. В зависимости от конкретных обстоятельств известны активные и пассивные, коллективные и индивидуальные формы такой охоты.

Установив по следам места перехода медведя, в одном из таких мест из деревянных жердей сооружали загон размером 2 × 2 м, высотой 1 м. Внутри загона помещали приманку в виде протухшего мяса лосей, коров, других домашних животных, рыбы. В загоне оставляли суживающийся проход шириной 50 см, в котором, рядом с приманкой размещалась петля из стальной проволоки, прикреплявшаяся к ветке близстоящего дерева или ко вбитому колу. Вблизи загона на дереве мог устраиваться лабаз (деревянная платформа), на котором укрывались охотники. Если, пытаясь проникнуть к приманке, медведь не удушался, охотник добивал его из ружья.

Практиковался также способ охоты на приманку с активным участием охотника. В этом случае загон мог не сооружаться, а выбиралось дерево, с которого обеспечивался хороший обзор, и неподалеку от него укладывалась приманка. На дереве устраивался лабаз (охотничий шалаш), на котором в ожидании зверя укрывались один или два охотника с ружьями.

3. Охота с собаками.

Осуществлялась, как правило, одним охотником с использованием пары охотничьих собак. Собаки, обнаружив в процессе поиска добычи медведя, начинали его облаивать и задерживали на месте до прихода охотника. Охотник подходил на лай и стрелял в медведя из ружья.

Для охоты на медведя используются специально отобранные собаки, поскольку некоторые из охотничьих собак боятся этого зверя. Чрезмерно смелые, «настырные» собаки также не годятся, поскольку активно бросаются на зверя и в результате погибают. Как отмечают охотники, «умная собака близко к медведю не подойдет». Оптимально участие в охоте двух собак: одна облаивает и отвлекает зверя, вторая кусает его сзади.

Вне зависимости от конкретного вида охоты техника охоты на медведя обладала рядом общих элементов. Это касается прежде всего активной охоты, которая, в силу особой опасности, требовала обязательного участия собак. Считалось нежелательным участие в охоте большого количества охотников (больше двух-трех). Кроме того, предъявлялись особые требования к точности выстрелов, поскольку единственная ошибка могла обернуться летальным исходом для самого охотника или его напарника. По словам охотников, стрелять из ружья необходимо в сердце или лоб медведя, чтобы убить его первым выстрелом. Отметим также бытовавшее среди части охотников представление о том, что пуля на сможет пробить лоб зверя, потому стрелять надлежит именно в сердце.

В д. Тайчи Омской области зафиксировано наблюдение, согласно которому, если ранить медведя (не смертельно), то впоследствии он «подкараулит»: «...один раз подбили медведя, но он ушел, а потом задрал 8 нетелей, отомстил».

Освежевание и разделка туши убитого медведя обычно производились на месте охоты, в лесу. В качестве орудия применялся самодельный нож, отличавшийся от бытового особой прочностью. Технология разделки не имела существенных отличий от разделки туш домашнего скота. При обдирании череп обычно оставляли внутри шкуры, предварительно вычистив его изнутри. После потрошения и отделения конечностей мясо разрезалось на куски такого размера, чтобы его можно было донести на себе до дороги. Для временного хранения мясо укладывалось на нарубленных ветках (осенью) или на снегу, накрывалось сверху шкурой, которая засыпалась травой или снегом. Позднее, приведя из дома коней, охотники разрубали мясо топором, раскладывали по мешкам и вместе со шкурой транспортировали до дома на санях или телеге.

Высокий статус охоты на медведя выражался в бытовании традиций распределения добычи: охотник, выследивший и убивший зверя, получал его голову, шею, сердце, шкуру; другим охотникам доставались остальные лучшие куски мяса; оставшаяся добыча распределялась в ауле между родственниками и соседями охотников.

Мясо *(ит)* медведя употреблялось в пищу. По описаниям охотников, медвежье мясо «плотное и жирное» и этим отличается от лосиного. В ряде случаев информаторы отмечают, что у медведя «самое питательное мясо». Известен, к примеру, случай, когда в одной семье родился недоношенный ребенок массой 2 кг, и отец поил его для поправления здоровья медвежьим салом, растопленным в молоке. В то же время мясо медведя имеет специфический вкус («сластит») и запах, в связи с чем не все опрошенные люди употребляют его в пищу. Чтобы избавиться от неприятного запаха, в д. Тайчи мясо медведя и барсука обычно отваривали в открытых кастрюлях и преимущественно на костре. В д. Матмасы Тюменской области зафиксирована информация о том, что охотники поедают сырую печень медведей, равно как и лосей. Отметим, что мясо добытого медведя могло разделяться с напарником, не участвовавшим в охоте, но оказавшим помощь в доставке туши в деревню.

Желчь *(үт)* и жир *(мой)* медведя повсеместно использовались как лечебное средство. Медвежий жир (наряду с барсучьим) считался ценнейшим медицинским средством, которое использовалось для лечения простуды, бронхита, туберкулеза, бронхиальной астмы и других болезней легких. Для медицинского применения жир растапливался. Сообщается, что в пос. Надцы Тюменской области жили охотники, добывавшие медведя исключительно с целью получения желчного пузыря, поскольку медвежья желчь ценилась «на вес золота». По словам информаторов, медвежья желчь полезна для лечения рака и болезней печени. Желчь растворяется в бутылке спирта или водки и употребляется для лечения внутрь человека. Чтобы сохранить желчный пузырь для дальнейшей реализации, его засушивали или замораживали.

Шкура *(тире)* медведя развешивалась охотниками дома в качестве украшения либо продавалась. Медвежья шкура не содержит жировой пленки с внутренней стороны, что упрощает процесс ее обработки. Сама обработка состояла в просаливании шкуры с внутренней стороны с целью закреп-

ления луковиц волос и предотвращения их выпадения. Выделка шкур медведя обычно не производилась, поскольку они не пригодны для производства одежды.

Из когтей *(торнак)*, клыков медведя изготавливались талисманы, которые, по повериям охотников, защищают от несчастий. Они же могли использоваться в качестве простых украшений, сувениров.

Таким образом, охота на бурого медведя являлась традиционным элементом культуры сибирских татар. Ее утилитарная ценность определялась в первую очередь возможностью применения уникальных лечебных свойств медвежьего жира и желчи. В то же время значительную роль играла статусная, престижная ценность такой охоты, которая выражалась в утверждении охотника как в своих глазах, так и в глазах окружающих.

Косинцев П. А. Человек и медведь в голоцене Северной Евразии (по археозоологическим данным) // Народы Сибири: история и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. – Новосибирск, 2003. – URL: http://www.sati.archaeology.nsc.ru/sibirica/Data/?html=bear2.1.htm&mi=25&id=550 (дата обращения: 04.06.2015).

Млекопитающие Советского Союза. Т. 2. Ч. 1. Морские коровы и хищные. – Москва : Высш. шк., 1967. – 1014 с.

Томилов Н. А. Проблемы этнической истории (по материалам Западной Сибири). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1993. – 222 с.

В. В. Никитин

Россия, Йошкар-Ола, Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории при Правительстве Республики Марий Эл

ЖЕНСКОЕ БОЖЕСТВО В ПРЕДМЕТАХ БЫТА И ИСКУССТВА ФИННО-УГРОВ ПОВОЛЖЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МОГИЛЬНИКОВ)

Medieval Finno-Ugric peoples of European Russia (Mordvinian, Mari, Merya, Muroma, Meshchera, Ves’, Karelian, Komi, Udmurt) used in a funeral ceremony a variety of household objects and ornaments with a strong symbolism that reflects the various pagan cults and rituals devoted to particular deities. Among them is the image of the Great Goddess, the subject of this article.

Богатейшие комплексы древнемарийских некрополей IX–XII вв. хранят обширную информацию наших далеких предков, оставленную ими для своих потомков. Они верили в продолжение жизни в ином мире, верили в воскрешение и переход в другое духовное состояние. С этой верой наши предки покидали земной мир без страха, с уверенностью в цикличность земного бытия и небесного перевоплощения. Эта вера воплотилась в народных пословицах и поговорках, легендах и мифах. Вера древнего марийца, впрочем, как и многих народов, в перевоплощение после смерти в другое состояние обязывала относится к окружающей природе как к живому существу, в которое его душа, возможно, воплотится.

Особое место в мифологии финно-угров уделено небожителям, и в первую очередь матери рождения, матери всего сущего *Шочын Ава Юмо*. Она была общей для всех трех миров (нижнего, среднего и верхнего), т. е. была всебогом [*Тойдыбекова*, 2007: 39, 98, 273]. Среди небожителей большим почтением пользуется *Пиямбар кува* – младшая дочь *Юмо* (верховного бога), а также ее дочь *Пиямбар ӱдыр* – главные боги и духи-покровители женщин. Особое внимание уделялось матери земли *Мланде ава Юмо*, богине неба *Кава Юмо*, богине звезд *Шӱдыр Юмо*.

© Никитин В. В., 2015

Образ женского божества в предметах быта и искусства:
1–4 – на неолитической посуде Валдая, Карелии и Средней Волги; *5* – на жертвенном камне;
6–8 – на марийской и северо-русской вышивке; *9* – наконечник ремня; *10* – пластина;
11–13 – пластины с городищ Подмосковья; *14* – пластина; *15, 18* – подвески древнемарийские;
16–17 – подвески восточных славян; *19* – подвеска веси; *20* – поясная пряжка, марийцы XVII в.
[*Никитин*, 1995: 43–44; 2011: 440; *Крюкова*, 1951: обложка; *Рыбаков*, 1981: 43, 341; *Никитина*, 1992: 59; 2012: 402; *Архипов*, 1973: 137; 1986: 133; *Розенфельдт*, 1980: 268; *Воронина*, 2008: 370; *Косменко*, 1984: 123]

Богиня неба ввиду своей многофункциональности имела множество атрибутов и символов. Хорошо известна ее функция в качестве покровительницы прядения (в народном творчестве представлена искусной девой-пряхой). Ее атрибуты связаны с прядением: пряслице, прялка, веретено четко указывают на связь с верхним миром и отражают древнейшие космогонические представления. *Кава* в марийском языке означает и небо, и пряслице, *шӱдыр* – и звезда, и веретено. Вращая звезды, луну и солнце, богиня, подобно вращению веретена, плетет нить судьбы каждого живого существа. Семантика украшений (кольца, бубенчики, цепочки, обоймочки и различные подвески) указывает на их связь с небожителями, а их положение на костюме или теле при жизни на значимость той части тела, на которой они находятся. Множество духов-охранителей вызывало и обилие их символических воплощений в различных предметах [*Никитин*, 2000: 54–66].

С принятием христианства на Руси в языческую культуру многобожия и пантеон проникли ряд христианских богов и празднеств, они наложились на функции местных богов и духов, постепенно составляя часть этой культуры. В этом разрезе представляет интерес женское божество, которое разнообразно отражено в археологическом материале. Этот сюжет известен с эпохи неолита на обширной территории, занятой племенами, изготовлявшими посуду, украшенную в гребенчато-ямочной манере, на стоянках Кубенино в Новгородской области, Пегрема в Карелии (рис.: *1–4*), на стоянке Нижняя Стрелка IV на Средней Волге (рис.: *4*), на камне у средневекового горородища Аламнер (рис.: *5*). Подобные изображения (рис.: *11–13*) найдены на дьяковских городищах Москвы и Подмосковья в слоях IV–V вв. н. э. [*Розенфельдт*, 1980: 267–271]. Этот же сюжет встречается и на глиняных грузилах (пряслицах) в слоях дьяковских племен [*Дубынин*, 1966: 269–274]. В эпоху средневековья изображения часто встречаются на нагрудных и поясных пластинах финно-угорских народов, заселяющих Волго-Окское междуречье и Среднее Поволжье. Больше всего нагрудных трапециевидных пластин с сюжетом женского божества обнаружено в погребальных комплексах средневековой мордвы. Подвеска из мордовского Пановского могильника (рис.: *14*) датируется IX–X вв. и трактуется как оберег богини плодородия (Макошь) [*Воронина*, 2008: 363–370]. Пластина с изображением женского божества обнаружена в Веселовском марийском могильнике IX–XI вв. (рис.: *10*) [*Архипов*, 1973: 137]. Общим для всех изображений является основание – овал, треугольник или ромб, от которых строится фигура (в виде столба или геометрического элемента) с поднятыми руками (иногда согнутыми в локтях), над фигурой круг или дуга, иногда с лучами. Техника исполнения на металле, в основном чеканка. Часть изделий выполнена острым резцом в технике «качалки». Похожий сюжет отражен на наконечнике ремня в материалах марийского могильника X в. Нижняя Стрелка (рис.: *9*). Он проходит через столетия до настоящего времени и сохраняется в традиционном народном искусстве финно-угорских народов (рис.: *6–8*) [*Крюкова*, 1951; *Маслова*, 1951; *Рыбаков*, 1948].

Популярными оберегами второй половины I тыс. н. э. у населения лесной части Волжского бассейна, особенно Волго-Окского междуречья, становятся треугольные составные подвески из плоской или ложновитой проволоки [*Голубева*, 1987: 79]. Как правило, треугольная основа разделена вертикальной пластиной, от которой иногда отходят под углом две проволочки, соединяющие центральную часть с углом подвески. Внизу припаяны кольца, к которым подвешивались различные привески (рис.: *15–19*) [*Архипов*, 1986: 37–38]. В марийских могильниках IX–XII вв. их известно более 40 экземпляров. Этническая принадлежность треугольной составной подвески как финно-угорской не вызывает сомнений [*Голубева*, 1982: 110–124]. В Среднем Поволжье она впервые найдена в материалах древнемарийского Младшего Ахмыловского могильника VII в. н. э. [*Никитина*, 1999: 90]. Изображение богини с прибогами читается на ременной пряжке из Картуковского марийского могильника XVII в. [*Никитина*, 1992: 59]; богиня изображена в виде равнобедренного треугольника, разделенного по вертикали пополам, сверху – ромб. Сопровождают богиню представители всех стихий (рис.: *20*).

Культовое значение подвесок иллюстрируется и их положением в наборах-оберегах, где наряду со всевозможными и на все случаи жизни вещами собраны амулеты (когти зверей и птиц, костяные уточки и коньки, мини-копии орудий труда, копоушки, расчески и пр.), известные в средневековых памятниках славян и финно-угров Европейской России [*Голубева*, 1997: 153–166, 339, табл. 93, *12–14*].

Рассматривая сюжет на трапециевидных пластинах, мы видим отголосок древнего культа *Кава Юма* (небесной богини), заправляющей всем живым в природе животного и растительного мира, в том числе предопределяющей человеческую судьбу. Со временем функции этой богини разделились между ее помощниками и посредниками; одним отошла функция скотоводческая, другим – земледе-

льческая, кому-то – водные и небесные стихии, кто-то получил возможность управлять подземным миром и т. д., но главная идея человеческого воспроизводства, благополучия и долголетия все же оставалась за богиней неба. Она, как и славянская или мордовская Макошь, осталась девой-пряхой, продолжала покровительствовать женским ремеслам и плести судьбу человека.

С развитием христианской религии культ Макоши и подобных ей божеств в среде средневековых народов от Прибалтики до Урала к середине XV в. значительно ослабевает. Повсеместно появляется двойник Макоши и ей подобных – полухристианская-полуязыческая богиня Параскева Пятница, достаточно удачно и безболезненно наложившаяся на марийскую богиню неба и ее свиту с их многочисленными функциональными обязанностями. Она, как и Макошь, со своими русалками (у марийцев Мать воды со своими водяными девами) была связана с водной стихией.

У марийцев существовала пятидневная неделя. Со временем повсеместно распространяется семидневная неделя с нерабочим выходным днем (*рушарня*). Само название говорит о его позднем применении (русская неделя), в отличие от языческих *изарня* – малая неделя и *кугарня* – большая неделя. И если языческой богине неба (как покровительнице женских ремесел) посвящается каждый пятый день недели, то Параскеве Пятнице (христианской богине) – лишь несколько праздников в году. Жертвоприношения и моления богине воды проводились всегда у родников или колодцев. Здесь просили здоровья родным и близким, избавления от недугов и увечий, просили достатка в доме и прибавления домашнего стада. В благодарность богине бросали в воду монеты, ставили свечи, развешивали шерстяную пряжу и лоскутки тканей. В редких случаях у родников имелись каменные жертвенники с изображением женского божества (рис.: *5*).

Можно отметить для всех божественных изображений в металле или вышивке, что голова представлена в виде круга или ромба (иногда с отростками), нередко не обозначалась вовсе. Детали лица не наносились. Если божество очеловеченное, то, как правило, у него подняты руки, обращенные к светилу в позе моления. Еще в начале XX в. у марийцев был известен обряд, когда, встав лицом на восток, воздев руки к небу у святого дерева (*онапу*), молились всевышнему [*Тойдыбекова*, 2007: 38].

Архипов Г. А. Марийцы IX–XI вв. К вопросу о происхождении народа. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1973. – 200 с.

Архипов Г. А. Марийцы XII–XIII вв. (к этнокультурной истории Поветлужья). – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1986. – 162 с.

Воронина Р. Ф. Два оберега одной богини. К вопросу о некоторых культах древней мордвы // Актуальные проблемы археологии Урала и Поволжья. – Самара, 2008. – С. 363–367.

Голубева Л. А. К истории треугольной подвески // Средневековые памятники бассейна р. Чепцы. – Ижевск, 1982. – С. 110–124.

Голубева Л. А. Поволжские финны // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. – Москва, 1987. – С. 67–115. – (Археология СССР ; т. 18).

Голубева Л. А. Амулеты // Древняя Русь. Быт и культура. – Москва, 1997. – С. 153–166. – (Археология СССР ; т. 16).

Дубынин А. Ф. Об орнаменте грузиков из Троицкого городища // СА. – 1966. – № 1. – С. 269–274.

Косменко А. П. Народное изобразительное искусство вепсов. – Ленинград : Наука, 1984. – 199 с.

Крюкова Т. А. Марийская вышивка. – Ленинград : ГМЭ народов СССР, 1951. – 194 с.

Маслова Г. И. Народный орнамент верхневолжских карел. – Москва : АН СССР, 1951. – 137 с. – (ТИЭ. Новая серия ; т. 11).

Никитин В. В. Мифы, застывшие в археологических древностях (к вопросу о космогонических представлениях охотников лесной полосы Евразии) // Финно-угроведение (Йошкар-Ола). – 1995. – № 2. – С. 41–50.

Никитин В. В. Символы древних предметов (размышления по поводу одного сюжета) // Финно-угроведение (Йошкар-Ола). – 2000. – № 1. – С. 54–66.

Никитин В. В. Ранний неолит Марийского Поволжья. – Йошкар-Ола : МарНИИЯЛИ, 2011. – 440 с. – (Тр. Марийской археол. экспедиции ; т. IX).

Никитина Т. Б. Марийцы (конец XVI–XVIII вв.) – Йошкар-Ола : МарНИИЯЛИ, 1992. – 160 с.

Никитина Т. Б. История населения Марийского края в I тыс. н. э (по материалам могильников). – Йошкар-Ола, 1999. – 160 с. – (Тр. Марийской археол. экспедиции ; т. V).

Никитина Т. Б. Погребальные памятники IX–XII вв. Ветлужско-Вятского междуречья. – Казань : Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2012. – 408 с. – (Археология евразийских степей ; вып. 14).

Розенфельдт И. Г. Детали ритуальных поясов позднедьяковских городищ // СА. – 1980. – № 1. – С. 267–271.

Рыбаков Б. А. Древние элементы в русском народном творчестве (женское божество и всадники) // СЭ. – 1948. – № 1. – С. 90–106.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – Москва : Наука, 1981. – 608 с.

Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология. – Йошкар-Ола : Марийская бумажная компания, 2007. – 312 с.

Т. Б. Никитина

Россия, Йошкар-Ола, Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории при Правительстве Республики Марий Эл

ЖЕРТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВЫЖУМСКОГО МАРИЙСКОГО МОГИЛЬНИКА X – НАЧАЛА XII ВЕКА (К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ)

The subject of the study is sacrificial complexes between burials at the Vyzhumsk Mari cemetery of X – beginning of XII century. The place of the complexes in the sacred space of the monument is defined. New, previously marked features of the internal structure of objects showing the complex ritual activities, related to the commemoration of the ancestors, are revealed.

Выжумский могильник расположен в нижнем течении реки Ветлуги; по погребальному обряду и инвентарю отнесен к марийской культуре X – начала XII в. В 2013, 2014 гг. в рамках программ «Культурное наследие РМЭ» и «Культура России» начаты раскопки: на площади 424 кв. м изучено 21 погребение и 16 жертвенных комплексов (ЖК) в межмогильном пространстве, которые являются предметом данной статьи, как объекты, наиболее ярко выражающие специфику культовой практики средневекового марийского населения. ЖК в качестве диагностирующих признаков марийских средневековых могильников обозначены автором еще в 90-е гг. [*Никитина*, 2001]. Впоследствии были освещены различные стороны (функциональное назначение, типология, семантика) данного явления [*Никитина*, 2012]. Совершенствование полевой методики вскрытия таких объектов позволило выявить в устройстве комплексов новые, ранее неизвестные черты, которые содержат дополнительные сведения для характеристики духовной культуры населения Ветлужско-Вятского междуречья эпохи средневековья.

ЖК представляют собой ямки с отвесными стенками округлой или овальной формы диаметром от 25 до 60 см, преобладают размеры 30–35 см, глубина заполнений – 10–30 см. Очертания фиксируются на уровне контуров погребений пятном серого заполнения разных оттенков. Объекты Выжумского могильника различаются по внутреннему устройству, количеству и составу инвентаря.

Наиболее простые (ЖК 1–5, 8) представлены небольшим количеством вещей, преимущественно украшений, завернутых в ткань (реже – в мех) и уложенных в ямку. В отдельных случаях на дне зафиксирован войлок.

ЖК 7, 9–16 имеют более сложную конструкцию. Вещи, завернутые в ткань и мех, находились в деревянном сосуде или берестяном туесе. Узелки с вещами поверх меха перевязаны ремнем или ремень идет по верхнему краю туеса (рис. 1). Дно ямки покрыто толстым слоем войлока, иногда удается реконструировать коврики (рис. 2). Ткань и мех представлены крупными фрагментами. Судя по швам, можно сделать заключение, что это была одежда или ее части. На отдельных фрагментах заметны отверстия от целенаправленной порчи.

Сводный план всех участков показывает, что большинство ЖК расположено с восточной стороны от погребений в непосредственной близости от последних, но тесной связи с погребениями не

© Никитина Т. Б., 2015

обнаруживают. ЖК образуют группы и неправильные ряды. Такое же расположение ЖК характерно и для других марийских могильников Поветлужья: ряды прослежены на Русенихинском могильнике и групповое расположение на Веселовском могильнике. Ни в одном случае не зафиксировано нарушений жертвенными комплексами контуров погребений, и, наоборот, погребения не перекрывают ЖК.

Датировка конкретных объектов показывает, что в рядах по соседству располагаются комплексы, достаточно удаленные по времени. Например, ЖК 13 имеет достаточно ранний для этого памятника облик (рис. 3: *2–4*). Гривна с накладной пластиной с ровным верхним краем по материалам среднецнинских мордовских памятников и Танкеевского булгарского могильника [*Хронология...*, 2008: 22, рис. 24-1; *Казаков*, 1992: 318], каплевидные полые бубенчики с горизонтальным желобком по центру по аналогиям в Пермском Предуралье [*Белавин*, 2008: 397] и Волжской Болгарии [*Руденко*, 2003: рис. 58-17] относятся к X в. Датировка по вещам подтверждается находками монет: подражание дирхему Муэмина ибн ал-Хасана (Сувар, 973 г.) и фельс династии Саманидов (959 г.).

Рис. 1. План жертвенного комплекса 14

Рис. 2. Фрагмент войлочного коврика из жертвенного комплекса 13

Рис. 3. Металлическая подвеска из жертвенного комплекса 16 *(1)*; костяные фигурки из жертвенного комплекса 13 *(2–4)*

ЖК 12, 14, расположенные с обеих сторон вышеописанного комплекса, по звериноголовым браслетам, украшенным в центральной части дрота волчьим зубом, могут быть датированы XI в. [*Седова*, 1981: 112].

В указанных выше публикациях автора приведены доводы в пользу трактовки данных комплексов как ритуальных, связанных с поминовением ранее умерших сородичей.

Учитывая то обстоятельство, что компактно расположенные ЖК и погребения не перекрывают друг друга, можно предположить наличие специальных площадок для поминовений на территории древних могильников. Пространственное разграничение захоронений и мест совершения поминальных обрядов фиксировалось по археологическим материалам и у других народов. Например, жертвоприношения у ранних кочевников Горного Алтая связывались с восточной и юго-восточной сторонами [*Дворников*, 2014]. На основании того факта, что поздние комплексы находились в непосредственной близости с ранними, не нарушая их, становится очевидным наличие каких-то опознавательных знаков на поверхности. В противном случае при малых размерах объектов и достаточно слабом их заполнении в верхних слоях взаимные разрушения были бы неизбежны.

Цикл поминальных мероприятий мог быть существенно удален по времени и в пространстве от погребальных действий [*Ольховский*, 1993: 87]. Поэтому не удивительно, что на Выжумском могильнике не обнаружено устойчивых единовременных пар: погребение – жертвенный комплекс. Согласно верованиям марийцев, поминовения производились на 7, 40-й день, годовщину, 3 года, 7 лет. Понятно, что такие периоды неуловимы в археологическом материале. Разницу по времени между погребениями и различными жертвенными комплексами можно объяснить поминками *утым-влак* в честь дальних предков. «У восточных бирских марийцев под словом *Утым* разумеются прапрадед и прапрабабушка и далее раньше их умершие» [*Васильев*, 1927: 108]. Именно во время этого обряда после совершения определенных действий часть жертвоприношений марийцами закапывалась на территории кладбища [*Чагин*, 2001].

Связь «мир живых – мир мертвых» и переход из одного мира в другой сопровождались определенными действиями, которые в ЖК подтверждаются присутствием войлока, порчей одежды и переворачиванием вещей. Войлок в качестве подстилки в марийских захоронениях этого периода фиксировался достаточно часто, но формально. Впервые на Русенихинском могильнике были обнаружены расшитые войлочные коврики квадратной формы, согнутые пополам в виде треугольников и уложенные на дно ЖК. Публикации этих ковриков и значению войлока в качестве символа перехода посвящена специальная статья [*Никитина*, 2013]. На Выжумском могильнике войлок обнаружен в десяти из шестнадцати комплексов, в двух четко сохранились фрагменты расшитых ковриков. Возможно, количество комплексов с войлоком было больше, но при малом количестве металлических украшений в объектах с простой конструкцией органика почти не сохранилась. У большинства народов, в том числе и у марийцев, использующих войлок в культовой практике, он символизирует границу между мирами и способствует перемещению человека (или бога) из одного состояния или мира в другое состояние или другой мир и связан с обрядами перехода (рождение, свадьба и похороны). ЖК, направленные в качестве поминального дара в потусторонний мир, наиболее ярко отражают данное функциональное и семантическое значение войлока.

Такую же направленность имеет и поворачивание вещей лицевой стороной вниз (ЖК 7, 16 (рис. 3: *1*) Выжумского могильника).

На отдельных фрагментах ткани, меха и войлока имеются круглые отверстия, свидетельствующие о том, что органические материалы преднамеренно повреждены. Такое явление и ранее было замечено на фрагментах одежды в ЖК на марийских одновременных могильниках (Нижняя стрелка, Русенихинский), но первоначально мы не обратили на это явление должного внимания. Осмотр таких фрагментов под микроскопом показал, что отверстия имеют опаленные края, т. е. проделаны металлическим, предварительно накаленным предметом. Обычай портить погребальную одежду известен достаточно широко у тюркских и угорских народов. Смысл этого явления очень разный: умерщвление вещи [*Константинов*, 1971: 157–158], облегчение выхода души из тела покойника [*Саввинов*, 2011: 14] или выхода души живого человека, которого покойник захочет увести за собой [*Туголуков*, 1980: 169], представление о том, что часть вещи мира живых может стать целой в мире мертвых [*Косарев*, 2003: 150]. Все объяснения так или иначе связаны с процессом перехода в потусторонний мир.

В целом более детальное изучение жертвенных комплексов показывает перспективность их изучения для реконструкции духовной культуры населения эпохи средневековья.

Белавин А. М. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественск / А. М. Белавин, Н. Б. Крыласова. – Пермь : ПГГПУ, 2008. – 603 с.

Васильев В. [М.] Материалы для изучения верований и обрядов народа мари. – Краснококшайск : Мариздат, 1927. – 128 с.

Дворников Э. П. Пространство и время: организация сакрального пространства в погребально-поминальной практике ранних кочевников Горного Алтая // Вестн. ТГУ. – 2014. – № 378. – С. 112–119.

Казаков Е. П. Культура ранней Волжской Болгарии (этапы этнокультурной истории). – М. : Наука, 1992. – 335 с.

Константинов И. В. Материальная культура якутов XVIII века: по материалам погребений. – Якутск : Кн. изд-во, 1971. – 210 с.

Косарев М. Ф. Основы языческого миропонимания. – М. : Ладога-100, 2003. – 352 с.

Никитина Т. Б. Жертвенно-поминальные комплексы как этноопределяющий признак погребального обряда марийцев в эпоху средневековья // АЭМК. – Йошкар-Ола, 2001. – Вып. 25. – С. 42–51.

Никитина Т. Б. Отражение культа предков марийцев в погребальном обряде могильников Ветлужско-Вятского междуречья IX – XI вв. / Т. Б. Никитина, Д. Ю. Ефремова // Stratum. Культурная антропология и археология. – 2012. – № 5. – С. 179–194.

Никитина Т. Б. Войлок в погребальном обряде Русенихинского могильника // КСИА РАН. – 2013. – Вып. 230. – С. 253–260.

Ольховский В. С. Погребальная обрядность (содержание и структура) // РА. – 1993. – № 1. – С. 78–93.

Руденко К. А. Средневековое оружие Волго-Камья: железные наконечники стрел VIII–VII вв. н. э. (справочник-определитель археологического материала). – Казань : Заман, 2003. – 512 с.

Саввинов А. И. Традиционная одежда в обрядах и представлениях долган // Изв. РГПУ им. А. И. Герцена. – 2011. – № 140. – С. 7–20.

Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). – Москва : Наука, 1981. – 194 с.

Туголуков В. А. Эвенки и эвены // Семейная обрядность народов Сибири. – Москва, 1980. – С. 165–177.

Хронология могильников населения I–XIV вв. западной части среднего Поволжья / В. И. Вихляев, А. А. Беговаткин, О. В. Зеленцова и др. – Саранск : Красный Октябрь, 2008. – 352 с.

Чагин Г. Н. Культ предков уральских марийцев в XIX–XX вв. // Археология и этнография Среднего Приуралья. – Березняки, 2001. – С. 162–167.

А. В. Новиков, Ю. Н. Гаркуша

Россия, Новосибирск, Институт археологии и этнографии СО РАН

ПОГРЕБЕНИЯ СОБАК НА ВОЙКАРСКОМ ГОРОДКЕ

Two dog burials are analyzed in the article. It was found into the area of forsaken dwelling of the XVII – XIX centuries in Ust-Voykarskoe-1 hill fort. The results indicate that animal burials were premeditated, but not associate with the ritual activity followed by the sacrifices.

Городище Усть-Войкарское-1 (Войкарский городок) расположено в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в левобережной пойме реки Горная Обь. Его современные рельефные признаки представляют собой вытянутый по линии север-юг холм длиной около 100 м, шириной до 50 м, верхняя площадка длиной около 60 м, шириной 15–20 м. Холм был сформирован органическими культурными отложениями из щепы и других остатков деревообработки и содержит образования многолетней мерзлоты. Для исследованных в период 2003–2008 гг. ряда архитектурных конструкций были получены дендрохронологические датировки. Образцы, взятые от пост-

© Новиков А. В., Гаркуша Ю. Н., 2015

роек у подножья холма, были датированы XIV и XV вв., на вершине холма – XVII – концом XIX в. [*Гурская*, 2008].

Описание погребений собак. В ходе работ 2012 г. на верхней площадке холма, на глубине 0,2–0,25 м от дневной поверхности, были обнаружены останки двух собак*, расположенных in situ и сохранивших, в основном, анатомическую целостность. Отметим, что ранее на памятнике два погребения собак были обнаружены в границах жилых строений [*Федорова*, 2006: 14], однако в обобщающей статье по палеозоологии Войкарского городка они не были отмечены [*Бачура*, 2010: 209].

Скелет № 1 располагался в центральной части срубной постройки № 1**. За время своего существования она перенесла несколько этапов реконструкции [*Новиков*, 2014б: 251]. Скелет собаки располагался среди развалин сруба, относящегося к последнему периоду реконструкции. Останки размещены в углублении, выполненном в верхнем, грунтовом слое заполнения остатков постройки, и засыпаны мелкими древесными обломками, что позволяет определить погребение как преднамеренное. Животное было положено на левый бок, головой на запад.

Скелет № 2 располагался в центральной части участка, занимаемого руинами трех жилых построек – № 2, 2А, 3, последовательно возводимых в пределах одной площади, наиболее поздней была постройка № 2 [*Новиков*, 2014а: 32]. Скелет находился среди нагромождения строительной древесины, оставшейся от построек № 2 и 2А. Небольшой почвенный слой, перекрывающий останки, позволяет утверждать, что погребение собаки на этом участке произошло уже после разрушения (либо демонтажа) построек. Скелет крупной особи был уложен на правый бок с ориентацией головой на юго-запад. Труп собаки был размещен на крупном фрагменте берестяного полотна. В районе сгиба передние лапы были перевязаны веревочкой. Дистальные части передних конечностей раздроблены. В области шейных позвонков, в районе отсутствующей нижней челюсти, располагался фрагмент кожаного ремешка. У передних лап была положена миниатюрная берестяная коробочка с расположенными в ней семенами хвойного дерева.

Таким образом, на верхней площадке холма, на площади жилых построек, нами выявлено два преднамеренных погребения собак, совершенных после того, как строения были заброшены и, возможно, демонтированы. Опираясь на имеющиеся результаты дендрохронологического датирования, полученные для построек на вершине холма, время сооружения всего комплекса исследованных строений авторы оценивают предварительно в пределах XVII–XIX вв.

Аналогии. На поселенческих памятниках второй половины II тыс. н. э. в Северо-Западной Сибири анатомически целые скелеты собак встречаются редко. В Надымском городке, за пределами жилой постройки, обнаружен скелет собаки в сопровождении останков щенков, присутствие которых связывается с некой ритуальной деятельностью [*Кардаш*, 2009: 32, 282]. В посадской части Полуйского мысового городка обнаружены два скелета взрослых особей собак, которые определены как преднамеренные, «ритуальные жертвы-захоронения, связанные со строительством дома и, возможно, с основанием всего поселка» [*Кардаш*, 2013: 119]. На обоих памятниках останки собак обнаружены без сопроводительного инвентаря, за пределами жилых построек и приурочены к горизонтам, отнесенным ко времени не позже первой трети XVIII в. [*Кардаш*, 2009: 89, рис. 2.42; 90, рис. 2.43; 2013: 155, рис. 2.48].

Интерпретация. Исторически в указанное время северо-таежная зона Нижнего Приобья являлась и до сих пор является местом проживания этнографической группы обских угров – северных хантов, сформированной на основе самодийского субстрата и миграций угорского населения, частью которых являются войкарские ханты, проживающие в бассейне реки Войкар [*Перевалова*, 2004: 117–119; *Мартынова*, 2005]. На основе предметного комплекса, полученного ранее при изучении Войкарского городка, его население предварительно было охарактеризовано как угро-самодийское [*Федорова*, 2006: 17]. Однако вопрос о степени соответствия имеющегося материала разным этническим группам остается еще не решенным.

Особое отношение к собаке известно как у самодийцев, так и у обских угров, однако формы ее почитания, проявляющиеся в обрядовой деятельности этих этнических групп, имеют порой противо-

---

* Предварительные видовые определения палеозоологической коллекции 2012–2013 гг. были произведены канд. биол. наук, науч. сотр. лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН О. П. Бачурой.

** В ходе наших исследований используется самостоятельная сквозная нумерация архитектурных сооружений.

положное выражение. Для ритуальной практики самодийского населения характерно использование собаки в качестве жертвы, а в основе представлений обских угров лежит запрет на кровавые жертвоприношения собак, которые совершаются лишь в исключительных случаях [*Карьялайнен*, 1995: 101; *Мошинская*, 1982: 55; *Старцев*, 1928: 98–99; *Федорова*, 2000: 85]. Именно у северных хантов, проживающих в бассейне рек Войкар и Питляр, в известных формах почитания собаки наиболее явственно выражено двойственное к ней отношение [*Перевалова*, 2004: 298].

По нашему мнению, появление погребений собак на территории городища не связано с проведением ритуальных действий, сопровождающихся кровавыми жертвоприношениями. Многочисленные описания угро-самодийских обрядов, при исполнении которых в жертву приносятся различные животные, показывают, что непременным атрибутом таких действий является разделка туши жертвенного животного [см., напр.: *Источники*..., 1987: 87, 119; *Кулемзин*, 1984: 111]. В то же время у различных групп хантов и манси зафиксирован обычай погребения умерших собак, связанный в основном с преданием останков земле [*Источники*…, 1987: 46, 208; *Кулемзин*, 1984: 160; *Мошинская*, 1982: 56–59]. Использование в ритуале погребения собаки (№ 2) сопроводительного инвентаря пока следует считать исключительным явлением.

Захоронения собак были совершены на уже заброшенном поселении (или его заброшенном участке). С такими поселениями у обских угров были связаны особые представления, вплоть до наделения их статусом священного места, что влекло за собой различные ограничения в использовании этих земель [*Карьялайнен*, 1995: 65, 67; *Кулемзин*, 1977: 146]. Остатки построек были погребены под почвенными отложениями, вследствие чего внешние признаки архитектурных сооружений практически не фиксируются. В отсутствие ясного представления о времени появления захоронений собак не стоит исключать и случайного совпадения мест погребений и расположения конкретных построек, однако при этом не вызывает сомнения осознанный выбор площади покинутого поселения для исполнения преднамеренных погребений животных.

Бачура О. П. Промысловые и домашние животные в хозяйственной деятельности населения городища Усть-Войкарский (XIV–XIX вв.) / О. П. Бачура, А. Е. Некрасов // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2010. – № 2. – С. 206–213.

Гурская М. А. Дендрохронологическая датировка археологических образцов древесины городища Усть-Войкарского (Северо-Западная Сибирь) // Фауна и флора Северной Евразии в позднем кайнозое. – Екатеринбург ; Челябинск, 2008. – С. 212–231.

Источники по этнографии Западной Сибири. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1987. – 284 с.

Кардаш О. В. Надымский городок в конце XVI – первой трети XVIII вв. История и материальная культура. – Екатеринбург ; Нефтеюганск : Магеллан, 2009. – 360 с.

Кардаш О. В. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных. – Екатеринбург ; Нефтюганск : Магеллан, 2013. – 380 с.

Карьялайнен К. Ф. Религия югорских народов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1995. – Т. II. – 284 с.

Кулемзин В. М. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX – начале XX вв. / В. М. Кулемзин, Н. В. Лукина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – 226 с.

Кулемзин В. М. Человек и природа в верованиях хантов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – 192 с.

Мартынова Е. П. Войкарские ханты: кто они? // Культурное наследие народов Сибири и Севера. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 121–126.

Мошинская В. И. О некоторых особенностях в отношении к собаке у обских угров / В. И. Мошинская, Н. В. Лукина // Археология и этнография Приобья. – Томск, 1982. – С. 46–60.

Новиков А. В. Некоторые особенности деревянного домостроительства аборигенного населения приполярной зоны Западной Сибири в XVII–XIX вв. (по материалам работ 2012–2013 гг. на Войкарском городке) / А. В. Новиков, Ю. Н. Гаркуша // Баландинские чтения. – Новосибирск, 2014а. – Т. IX, ч. 1. – С. 28–36.

Новиков А. В. Продолжение археолого-геофизических исследований Войкарского городка в 2014 году / А. В. Новиков, Ю. Н. Гаркуша, А. Н. Шеин // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2014б. – Т. XX. – С. 251–254.

Перевалова Е. В. Северные ханты: этническая история. – Екатеринбург : УрО РАН, 2004. – 414 с.

Старцев Г. [А.] Остяки: социально-этнографический очерк. – Ленинград : Прибой, 1928. – 152 с.

Федорова Е. Г. Рыболовы и охотники бассейна Оби: проблемы формирования культуры хантов и манси. – Санкт-Петербург : Европейский дом, 2000. – 368 с.

Федорова Н. В. Войкарский городок. Итоги раскопок 2003–2005 гг. // Научный вестник. – Салехард, 2006. – Вып. 4. – С. 11–17.

Ю. И. Ожередов, А. Ю. Ожередова

Россия, Томск, Музей истории Томска

ГРАВИРОВАННАЯ «КУКЛА» ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ

The study is focused on the rock slabs found in the Altai Mountains and other Siberian territories. The slabs are decorated with engravings of female figures, and represent a completely new artifact for scientific research. The interpretation of these objects varies from children's toys to a sacral stones seen as containers of human souls, similar to Australian Tjurungas.

В 1998 г. М. А. Дэвлет по результатам своих работ и со ссылкой на монографию Л. Р. Кызласова и Н. В. Леонтьева [1980] писала: «В последние годы на Енисее, на Алтае и в других районах Сибири активно изучались изображения на скалах, созданные в XVII – начале XVIII вв.». Автор отметила, что в этот период в изобразительном искусстве возникают специфическая стилистика и новые закономерности в выборе сюжетов [*Дэвлет*, 1998: 194].

Вместе с тем отмеченные изменения в это время коснулись не только наскальной графики. Наряду с недвижимыми петроглифическими объектами, располагавшимися на скальных плоскостях и массивных обломках горной породы, изменения произошли в стилистике и сюжетах графических работ, выполненных на гальках и пластинах мобильного формата. Как отмечается исследователями, обратившими внимание на данные артефакты, это особая группа изделий в ряду традиционного изобразительного искусства, связанная с этнографическим периодом жизни народов горной части Южной Сибири и Центральной Азии [*Гричан*, 1987; *Дэвлет*, 1982: 114–121; *Кызласов,* 1980; *Савинов*, 2003; *Трифанова,* 2010].

Особое место в ряду мобильных изображений из Горного Алтая занимают артефакты с одиночными антропоморфными фигурами, имеющими самостоятельное семиотическое значение. Сегодня в литературе отмечено уже несколько десятков экземпляров таких находок, которые отметают любые сомнения в системности данного явления. Однако, несмотря на это, к данным изделиям остается много вопросов, в том числе вопрос об их назначении.

В настоящей работе вводится в научный оборот еще один предмет, специфика которого, на наш взгляд, способна помочь еще немного приблизиться к пониманию семантического содержания интересующих нас гравированных пластин и галек.

В 1956 г. в Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ поступила каменная пластинка с гравированным антропоморфным изображением (колл. № 6763). Предмет был найден в 1953 г. ассистентом ТГУ А. И. Родыгиным в ходе геологического обследования среднего течения реки Ирбисту, высокогорного левого притока Чуя, протекающего в южной части Горного Алтая.

Форма пластинки и граффити, нанесенные вкруговую на все четыре ее поверхности, доказывают неординарность данного изделия и требуют специального изучения (см. рис.). В современном состоянии изделие фрагментировано, поэтому судить можно лишь о сохранившейся части, представляющей собой вытянутую, плавно сужающуюся в одну сторону пластинку с закругленной вершиной и наискось обломленным основанием. Линия излома прошла по низу изобразительного поля, утратившего в результате часть изображения. Максимальная длина артефакта составляет 11 см, а ширина варьирует от 4,3 см у места слома внизу до 2,4 см у начала закругления вверху. Толщина по всей длине пластинки неизменна – 0,5 см.

© Ожередов Ю. И., Ожередова А. Ю., 2015

Плитка с реки Ирбисту: *1* – фото лицевой стороны; *2* – фото тыльной стороны; *3* – прорисовка сторон плитки

Предмет был изготовлен из плитки темно-серого глинистого сланца филлита*. Выделка контура производилась путем скалывания, отчего по периметру плитки появились ступенчатые уступы и лунки, в дальнейшем частично скрытые шлифовкой. После выделки формы лицевую и оборотную стороны отшлифовали продольными движениями мелкозернистого абразива, подготовив тем самым для нанесения рисунка. Боковая плоскость по всему периметру зашлифована почти до состояния полировки.

Изображения нанесены острым, видимо, металлическим резцом по всем четырем сторонам пластины. На передней или лицевой стороне изображена ростовая фигура в длиннополой одежде с запахом направо, охваченной широким поясом (возможно, кушак), состоящим из двух полос, украшенных спиральным орнаментом. Лицо проработано в виде почти правильного круга с Т-образной формой бровей и надбровных дуг, переходящих в линию носа. Форма передачи черт лица сильно напоминает древнетюркскую традицию, использовавшуюся при изготовления поминальной скульптуры, в просторечии именуемой каменными бабами.

При создании образа художник использовал прием совмещения в единую изобразительную систему контура пластины и линий графики. Плавное сужение плитки к вершине ассоциируется с антропоморфной фигурой, а хорошо детализированное лицо надежно закрепляет первоначальное впечатление. Другие антропоморфные детали автор исключил. Более того, добиваясь предельной формы обобщения, он не озаботился даже прорисовкой рук. Вместе этого через центр прошла осевой линией полоса отстроченной отделки края полы одежды, в верхней части охватывающая лицо персоны. Смысловой границей туловища стал контур пластины, частично заполненный 66 двойными кружками. Персонификацию антропоморфного пространства символически подчеркивает пояс, целиком охватывающий орнаментированное поле одеяния и уходящий за его пределы на боковые плоскости, а затем на спину героя.

---

* Определение выполнено на кафедре минералогии и геохимии ТГУ канд. геол.-минерал. наук, доцентом С. И. Коноваленко.

Лаконичная графика на тыльной стороне пластины подчеркивает контур антропоморфа и преподносит новую деталь – его пребывание в природной среде. В первую очередь фиксируется пояс из двух полос, украшенный спиральным орнаментом, и прическа в виде косы, спускающейся от верхней кромки плитки почти до нижнего ее края (9 см). Во вторую очередь отмечаются «растущие» из обломленной части завитки и листовидная форма, вероятно символизирующие травяной покров, на котором стоит персонаж.

Пояс на тыльной стороне повторяет форму, показанную спереди. Но здесь намеренно создан разрыв длиной 1,1 см, через который вниз спускается коса, украшенная подвесками. По краям проема с пояса свешивается бахрома из 8–9 линий. Коса из трех нитей сплетена в единый жгут, украшенный линией зигзага, символизирующей, возможно, ленту или шнур (косоплетку), снизу оснащенную овальны «узлом», от которого спускаются две нити, украшенные бубенцами с круглыми ушками или другими подвесками сходной формы: по одному привязано чуть ниже середины нитей внизу на концах. От нижних, в свою очередь, протянулось десять ниток (4 от одного и 6 от другого), образующих длинную бахрому.

По форме и отделке запахнутой направо полы видно, что персонаж одет в длиннополую плечевую одежду типа мужской шубы *алтай кижи* [*Историко-этнографический атлас*…, 1961: 234, табл. 48-*1*].

Очевидно, что мастер не случайно изготовил антропоморфную форму из плоской плитки и разместил на ее сторонах рисунки, персонифицирующие человека. Применение данного способа значительно сократило затраты на изготовление полновесной «круглой» фигурки, для выделки которой потребовалось бы много больше времени и усилий. Таким образом, графическая стилизация стала приемом, заменившим долгую и трудоемкую скульптурную работу, посильную лишь узкой группе людей, обладавших специальными навыками. Теперь культовую скульптуру мог изготовить почти каждый человек, хоть немного знакомый с работой по камню и владеющий способностью процарапывать простые линии на камне.

Генезис перехода от «круглой» скульптуры к «плоской» прослеживается на достаточно долгом отрезке времени. Под воздействием каких-то причин объемные скульптурные миниатюры, зародившиеся в палеолите (Мальта, Буреть), замещаются в памятниках энеолита-бронзы Сибири (Самусь-4), Монголии и юга Алеутских островов на галечные и пластинчатые. Не исключено, что данная замена происходит под воздействием эпохальных событий, во многом поменявших идеологические установки населения большинства территорий Евразии. Могли быть и более приземленные причины. Рост населения расширил потребности в сакральных предметах, а новые художественные поиски привели к обобщению пластических форм и художественных образов. Появление «плоских» миниатюр не означает, что «круглые» исчезают вовсе, но со временем их становится заметно меньше. Металл индоевропейцев сильно потеснил камень, но не вытеснил бесповоротно. Кроме того, если вначале женский образ остается лидирующим или рассматривается в одном ряду с растущим в популярности мужским, то с течением времени в иконографии начинает доминировать мужская тема [*Ковтун*, 2013: табл. 42, 44], в том числе и в плоских формах. Доказательством тому могут служить находки в памятниках консервативных тажных самусьской, кулайской и релкинской культур Среднего Приобья [*Чиндина*, 1991: рис. 30-*3*; *Панкратова*, 2011].

Примеры «параллельной» женской идеологии, выросшей из палеолита, демонстрируют исследованные памятники Хакасии – Уйбат III, Верхний Аскиз I, Черновая VIII, Чебаки, Торгажак и некоторые другие. Данная картина в полной мере освещена в обобщающей работе Д. Г. Савинова, где объединяющим признаком для исследованных им образцов является антропоморфная форма, дополненная в некоторых случаях круговой прорисовкой, детализирующей женский образ [*Савинов*, 1996: табл. XX – 1-3, 5, XXI – 1-8; 2003: 51–57, рис. 9-15]. Помимо других достоинств, исследование Савинова в полной мере презентовало архитипический женский образ, материализованный в целой цепи артефактов, последними звеньями которой стали поздние изделия, в том числе публикуемая пластинка с реки Ирбисту. Учитывая сакральность традиционного искусства на протяжении всей его прошлой истории, следует, видимо, согласиться с мнением о том, что женщины на камнях являются персонификацией каких-то божественных существ, подобных женщине-матери, хранительнице очага или тюркской Умай [*Чевалков*, 2007: 110]

Из работ Д. Г. Савинова в нашем случае важны следующие выводы: 1) наличие в исторической ретроспективе миниатюрной (или мобильной) пластики на плоских носителях, имитирующей «круглую» скульптуру; 2) принадлежность «взрослых» изображений к женскому пантеону; 3) сакральность каменных предметов, сравнимая с «чурингами».

В I тыс. н. э. граффити появляются на целом ряде памятников Восточной Сибири: Шишкинская писаница [*Окладников*, 1959: 156], писаницы Кудинской долины (гора Манхай, Укыр, Байтог) [*Николаев*, 2008] и Хар-Хад в Западной Монголии [*Ожередов, Ожередова,* 2009; *Ожередов, Мунхбаяр, Ожередова*, 2011]. Более того, на городище Манхай собрана представительная коллекция граффити, выполненных на отдельных плитках, определенно сакрального значения [*Николаев,* 2008]. Помимо других сюжетов, на горе Байтог найдены рисунки с изображением младенцев в люльках [там же: табл. 44-*1*, 63-*2а, б, в*], семантически близких к торгажакским галькам в форме запеленатых младенцев. Второй и третий пласты изображений Кудинской долины несут образы, созданные в VII–XIV вв., т. е. вплотную примыкающие к этнографическому времени, о гравировках которого писала М. А. Дэвлет и другие исследователи. В 1999–2004 гг. нашей экспедицией было найдено несколько плиток с граффити этнографического облика на территории Западной Монголии. По словам местных информаторов, их использовали в качестве жертвоприношений на священные места.

Ирбистуйская плитка не имеет ярко выраженных этнографических символов с безоговорочной хронологической привязкой. Поэтому делать уточнения по абсолютной ее дате исходя из соображений общего свойства не имеет смысла.

Помимо хронологической неопределенности, при интерпретации возникли и другие затруднения. Как правило, половую принадлежность алтайских этнографических изображений выдает верхняя одежда. Обычно это фигуры в шубах специфического женского покроя, главным признаком которого является особый прямоугольный выступ на левой поле [*Потапов*, 1951; *Тадина*, 1995].

Вопреки традиции ирбистуйская фигура «одета» в шубу с мужским покроем, а коса сплетена в один жгут, не свойственный замужним женщинам алтайского этнического круга. Однако, по наблюдениям Л. П. Потапова, «готовое мужское платье не воспринимается алтайцами чисто мужским, и девушки и женщины охотно его носят» [*Потапов*, 1951: 48]. Особенно заметное сходство мужских шуб наблюдается с детскими [*Тадина*, 1995: фото 13, 16].

Последней загадкой верхней одежды ирбистуйской пластинки стали 66 двойных кружков на ее поверхности, природа которых, как нам кажется, состоит в традиции отделки шуб тканью. Н. Я. Ядринцев, а вслед за ним и другие исследователи указывали, что шубы богатых алтайцев поверх кожи покрывались тканью китайского производства, более распространенной, например, чем русская мануфактура. Самой богатой и особенно ценимой тканью был плотный шелк *мандык* [по: *Тадина*, 1995: 97]. Л. П. Потапов писал: «Шубы богачей, как мужчин, так и женщин, покрыты китайским цветным шелком, с вытканными по нему узорами или парчой…» [*Потапов*, 1951: 9–10]. Как показывают источники и собственные наблюдения в Монголии, у народов Саяно-Алтая большой популярностью пользуются шелк и парча с символикой благопожелательного китайского иероглифа *шоу*, имеющего целую гамму графических вариантов. Один из наиболее распространенных видов выполнен в форме розетки, имитирующей двойной круг [*Челпанов*, 2000: 89–91, рис. 1-3]. Также двойным кружком оформлено несколько вариантов монгольского орнамента с благопожелательной символикой, например изображение священного узла *ульзы* [*Майдар*, 1981: цв. вкл.].

Еще одним загадочным элементом одежды ирбистуйской дамы явилось «отстроченное» обрамление вокруг головы. В силу того, что его контур с левой стороны сливается в единое целое с отстрочкой полосы по краю полы шубы, создается впечатление их неразрывности. Однако в материалах алтайской этнографии не обнаруживается верхней одежды с пришивными капюшонами, к каковым мог бы относиться указанный элемент одежды. Но известно, что в «домашней обстановке женщины, да и девушки носили круглую войлочную шапку с загнутыми вверх полями... Шапка эта покрывалась материей и была простегана нитками» [*Потапов*, 1951: 39]. Не исключено, что именно такая шапка была на голове ирбистуйской модели в момент ее «портретирования».

Другим важным индикатором гравированных фигур является их прическа. В силу того, что эти персоны принято считать женщинами-матерями, то и прически они обязаны носить из двух кос, как подобает алтайским замужним женщинам. В нашем случае прическа не подпадает под данное определение, так как волосы собраны в одну косу. Изучение данного вопроса по этнографическим источникам алтайских тюрков позволило убедиться, что ирбистуйская прическа не принадлежит замужней женщине. Не попадает такая форма и в разряд детских причесок, которые отличались наличием трех и более косичек [*Потапов*, 1951: 44; *Тадина*, 1995: 91].

Однако, по сведениям Л. П. Потапова и Н. А. Тадиной, особую категорию составляли прически совершеннолетних девушек на выданье. С наступление брачного возраста (15–16 лет) девушек украшали накосным убранством *шанкы*, одним из основных элементов декора которого выступали

раковины каури, выполнявшие апотропеическую охранительную роль. Однако в какой-то момент данный тип прически изменился, якобы под влиянием бурханизма: вместо каури в косички стали вплетать перламутровые пуговицы, пуговицы-подвески с ушками и др. И самое главное, на смену многокосью пришла одна коса, украшенная снизками бус, бисера и шелковыми кисточками [*Потапов*, 1951: 44; *Тадина*, 1995: 91–95, фото 8]. Учитывая определенную условность и стилизованность рисунка на камне, можно предположить, что именно такая прическа стала прототипом, получившим воплощение на ирбистуйской пластине.

Модернизация культуры южных алтайцев под воздействием бурханизма, если таковая была, формально означает усиление влияния монгольского ламаизма и его культурных проявлений. В таком случае появляется шанс сузить датировку публикуемого артефакта. Известно, что становление бурханизма в Горном Алтае приходится на вторую половину XIX в., а пик его активности – на первые годы XX в. Знаменитое моление в долине Теренг произошло в 1904 г., после чего бурханистское движение было разгромлено, а его активные участники в 1906 г. осуждены [*Шерстова*, 2010: 122, 142]. Следовательно, примерно в эти же годы была создана ирбистуйкая пластина.

Последний вопрос, которому хотелось бы уделить внимание, заключается в назначении данной пластины. Первые к тому ответы дают ранние исследователи, близко знавших алтайцев периода их культурной архаики. Учитывая уровень изученности духовной культуры сибирских народов на период XIX – начала XX в., наверное, можно остановиться на усредненном мнении. К примеру, Н. М. Ядринцев в своем отчете о поездке в Горный Алтай в 1880 г. писал на этот счет: «Камень и доселе играет видную роль в хозяйстве Алтая. Паскотина огораживается камнем, мостики для скота покрываются камнем. Мы нашли подле старинных баба игрушки детей, состоящие из маленьких разрисованных плит, которыми алтайские дети заменяли куклы. Алтайцы на своих *обо* употребляют камень даже как жертву» [*Ядринцев*, 2007: 116–117].

В тексте нет прямого ответа на поставленный вопрос, но содержится довольно прозрачная подсказка: «...игрушки детей, состоящие из маленьких разрисованных плит, которыми… дети заменяли куклы». В этом отрывке упоминаются и разрисованные плитки, и куклы, которых эти плитки заменяли. Чем же тогда были сами куклы? Судя по материалам и их интерпретации известного этнолога Н. П. Дыренковой, куклы, как их называли русские исследователи, есть изображения женских духов предков эмегендеров (ӧрекеннеров), являвшихся покровителями женского, деторождения и благополучия детей. Говорили, что в старину они были живыми, а потом умерли. Эти куклы были носителями душ родного дома, поэтому женщины, чтобы не терять связи с родным очагом, после свадьбы забирали их в дом мужа. В одном из магических заклинаний женщины обращались к духам-куклам со словами: «Дайте детям играть в ваших руках» [*Дыренкова*, 1937: 134]. Процесс игр с куклами в традиционном представлении содержит не столько игровую, сколько сакральную составляющую. Легенда о происхождении кукол *эмегендеров* рассказывает, что в детстве героиня постоянно играла в куклы, которые, когда ложилась спать, укладывала себе под мышки. Отогретые куклы оживали. Однажды уже в замужестве ей приснился сон, в котором получила указание забрать их из родительского дома и держать при себе. По возвращении домой героиня решила их накормить, после чего куклы стали настоящими людьми, только очень маленького роста. Спустя некоторое время героиня родила двоих сыновей [там же: 136–137]. Из сказанного следует, что игра с куклами в традиционном представлении – это общение с одухотворенной материей, которая рождает новую жизнь. В этом отношении можно добавить еще более убедительный пример В. Г. Богораза из чукотской этнографии. Он писал, что чукотские девочки играют в куклы, изображающие людей, чаще всего детей, особенно грудных. Кукол им дают матери, извлекая из своих мешков, где хранятся эти идолы-покровители женского плодородия. В дальнейшем для удержания преемственности в продолжении рода матери передают своих кукол дочерям [там же: 138]. Таким образом, обладание куклами – это, в традиционном понимании, обладание душами новорожденных. Следовательно, куклы являлись некими хранилищами будущих людей, подобно тому, как хранилищами душ являлись «чуринги» австралийских аборигенов. Следовательно, вывод, сделанный Д. Г. Савиновым в отношении таргожакских и других аналогичных им галек об их духовной наполненности, вполне подтверждается этнографическими материалами XIX–XX вв.

Остается добавить, что изображения на плитках, известные сегодня из этнографии Южной Сибири и Центральной Азии, предварительно можно разделить на те, которые изготавливались в качестве предметов для жертвоприношений, и те, которые были куклами-изображениями духов и хранилищами душ детей.

Гричан Ю. В. Новые материалы по изобразительному искусству Горного Алтая // Традиционные верования и быт народов Сибири. – Новосибирск, 1987. – С. 178–201.

Дыренкова Н. П. Пережитки идеологии материнского рода у алтайских тюрков (духи emegender ~ örökenner) // Памяти В. Г. Богораза (1865–1936). – Москва ; Ленинград, 1937. – С. 123–145.

Дэвлет М. А. Петроглифы на дне Саянского моря (гора Алды-Мозага). – Москва : Памятники ист. мысли, 1998. – 287 с.

Дэвлет М. А. Петроглифы на кочевой тропе. – Москва : Наука, 1982. – 128 с.

Историко-этнографический атлас Сибири. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 498 с.

Ковтун И. В. Предыстория индоарийской мифологии.– Кемерово : Азия-принт, 2013. – 702 с.

Кызласов Л. Р. Народные рисунки хакасов / Л. Р. Кызласов, Н. В. Леонтьев. – Москва : Наука, 1980. – 176 с.

Николаев В. С. Петроглифы Кудинской долины / В. С. Николаев, Л. В. Мельникова. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. – 170 с.

Майдар Д. Памятники истории и культуры Монголии. – Москва : Мысль, 1981. – 174 с.

Ожередов Ю. И. Воины Черной Скалы / Ю. И. Ожередов, А. Ю. Ожередова // Изв. лаборатории древних технологий. – Иркутск, 2009. – Вып. 7. – С. 149–154.

Ожередов Ю. И. Граффити с воинами комплекса Хар-Хад / Ю. И. Ожередов, Б. Ч. Мунхбаяр, А. Ю. Ожередова // Эрдэм шинжилгээний бичиг. – Улаанбаатар, 2011. – № 4 (16). – С. 103–110.

Окладников А. П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья. – Иркутск : Иркут. кн. изд-во, 1959. – 210 с.

Панкратова Л. В. Камень с гравировкой из поселения Половинка-I // Тр. III (XIX) Всероссийского археологического съезда. – Санкт-Петербург ; Москва ; Великий Новгород, 2011. – Т. I. – С. 366–367.

Потапов Л. П. Одежда алтайцев // Сб. МАЭ. – Москва ; Лениград, 1951. – Т. XIII. – С. 5–59.

Савинов Д. Г. Древние поселения Хакасии: Торгажак. – Санкт-Петербург : Петерб. востоковедение, 1996. – 112 с.

Савинов Д. Г. Торгажакские гальки (основные аспекты изучения, интерпретация) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 2 (14). – С. 48–70.

Тадина Н. А. Алтайская свадебная обрядность (XIX–XX вв.). – Горно-Алтайск : Юч-Сюмер, 1995. – 207 с.

Трифанова С. В. Гравированные гальки из фондов Музея археологии ГАГУ / С. В. Трифанова, Н. А. Константинов // Туухийн товчоон. – Уланбаатаар, 2010. – Т. 5. – С. 295–298.

Чевалков Л. М. Рисунки на каменных плитках с Горного Алтая // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. – Горно-Алтайск, 2007. – Т. I. – С. 108–110.

Челпанов И. Б. Мотивы китайских иероглифов в орнаментах Центральной Азии / И. Б. Челпанов, Т. В. Кочева, С. О. Никифоров // Реалистическое и символическое в художественной культуре Бурятии. – Улан-Удэ, 2000. – С. 88–92.

Чиндина Л. А. История Среднего Приобья в эпоху раннего средневековья. – Томск : Изд-во ТГУ, 1991. – 184 с.

Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса и религии. – Томск : Изд-во ТГУ, 2010. – 288 с.

Ядринцев Н. М. Отчет о поездке по поручению Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества в Горный Алтай, к Телецкому озеру и в вершины Катуни члена-сотрудника Отдела Н. М. Ядринцева в 1880 году // Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX вв. – Барнаул, 2007. – Т. 2. – С. 95–126.

Д. Н. Павлов

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН, научный центр СО РАН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГЛУБОКОЙ ЩЕЛОЧНОЙ ПРОМЫВКИ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ МУЗЕЙНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

This article is devoted to the conservation of archaeological objects of iron. It considered and finalized the most affordable method of stabilization of the items and the results of its use.

Проблема сохранения артефактов из железа является актуальной для любых музеев, имеющих археологические коллекции. Такие предметы могут разрушаться еще в процессе раскопок, но нередко подобное состояние является следствием не проведенной вовремя консервации. Активатором разрушительных процессов выступают ионы хлора, содержащиеся в оксидной корке предмета. Ионы хлора попадают на предмет из почвенной влаги, которая в зависимости от засоленности почвы содержит то или иное количество хлорсодержащих солей (KCl; NaCl и др.). Концентрация хлоридов в порах предмета может быть больше, чем в окружающем грунте, благодаря их передвижению к металлу в процессе электрохимической коррозии [*Минжулин*, 1992: 24].

При хранении железных археологических находок на воздухе, относительная влажность которого выше 40 %, хлорид двухвалентного железа вступает в реакцию с водой и кислородом воздуха, окисляется до трехвалентного с образованием соляной кислоты (HCl). В результате этого в реакцию вступает сохранившийся металл, одновременно увеличивается растворимость продуктов коррозии ($2FeCl_2 + 3H_2O + 1/2O_2 – 2FeO(OH) + 4HCl$; $2Fe + 4HCl + O_2 – 2FeCl_2 + 2H_2O$). Таким образом, самоподдерживающаяся реакция быстрее будет разрушать предмет, в котором сохранился металл. Растворение продуктов коррозии приводит к развитию трещин и ослаблению предмета. Активное разрушение происходит на локальных участках, в которых имеется повышенная концентрация хлора.

Одним из наиболее доступных способов стабилизации археологического железа в современной музейной практике является метод глубокой щелочной промывки [*Реставрация...*, 1981: 24]. Предмет помещается в емкость с 5 % раствором едкого натрия (NaOH) и выдерживается там до удаления с поверхности предмета иона хлора. Это происходит в результате реакции замещения, при которой ионы хлора вытягиваются из пор предмета и связываются с натрием, образовывая хлорид натрия ($FeCl_3 + 3NaOH = Fe(OH)_3 + 3NaCl$). Качество промывки проверяется при помощи влажной камеры. Метод достаточно продуктивен, не требует особых условий и крупных затрат. Кроме того, при использовании данного метода есть возможность параллельно заниматься обработкой других предметов, так как он не требует непрерывного контроля. Недостатком описанного метода является продолжительность срока обработки – до одного месяца. Для ускорения процесса метод был модернизирован – добавлена предварительная механическая очистка предметов и нагрев раствора, что ускоряет реакцию. Помимо этого, к методу добавлена обработка жидкостью WD–40 (коммерческий продукт, химическая формула недоступна) для вытеснения остатков влаги из полостей предметов. Кроме того, выяснилось, что влажную камеру с легкостью заменяет замачивание в спирте. После стабилизации для консервации предметов использован 5 % раствор ПМБА в ацетоне. После обработки подобным образом предметы будут стабилизированы и защищены от появления новых очагов активной коррозии изолирующей пленкой [*Павлов*, 2014: 191].

Методика была использована для стабилизации 27 предметов, полученных в результате археологических работ на памятниках Чеплярово 27 в 2006 и 2007 гг., Алексеевка 51 в 2008 г., Черталы 3 в 2013 г. (Муромцевский район Омской области, автор работ – канд. ист. наук М. А. Корусенко). Для удобства обработки предметам присвоены условные номера с 1 по 27.

Наша методика состоит из трех этапов и основывается на химических свойствах хлористых соединений железа, проявляющихся в слабощелочном растворе, и гидроизоляционных свойствах соединений акрилата [*Минжулин*, 1992: 34; *Алтынбеков*, 2014: 56].

© Павлов Д. Н., 2015

Этап 1. Очистка.

Очистка производилась механическим путем при помощи скальпелей, стоматологического зонда и набора жестких кистей. На этом этапе работ были сняты, насколько это представлялось возможным, оксидные корки, обнажены и вычищены очаги активной коррозии, удалена грязь. После механической обработки были отобраны образцы продуктов коррозии и направлены на фазовый и рентгенофазовый анализ для выяснения количественного и качественного состава корок. Количественный и качественный анализ позволяет выяснить состав предмета, почвы и механизм их взаимодействия [*Леонтьева, Потасова, Павлов,* 2011: 241].

Этап 2. Стабилизация.

На этом этапе предметы были погружены в 5 % раствор едкого натрия (NaOH) в дистиллированной воде. Важно использовать именно дистиллированную воду, так как в ней нет посторонних примесей (того же хлора), которые могут вызвать нежелательные химические реакции на поверхности предмета. Затем раствор нагревался до 80 ºС для ускорения реакции. При достижении указанной температуры нагрев прекращался, и раствор остывал до 40 ºС. Затем снова нагревался до той же температуры. Процедура нагрева и остывания повторялась 5–7 раз. Количество циклов нагрева – остывания зависит от объема, формы, сложности структуры обрабатываемого предмета и регулируется визуально по изменению окраса раствора. При этом цвет раствора изменяется с прозрачного или слегка желтоватого до ярко-рыжего или грязно-коричневого. Изменение насыщенности цвета раствора служит индикатором, указывающим на степень насыщения раствора вымываемыми соединениями солей железа. При нагреве раствора на поверхности предмета, помещенного в раствор, появляются пузырьки газа (выделение водорода вследствие реакции). Пузырьки появляются только в местах присутствия активных очагов коррозии. Затем поверхность пузырьков покрывается серо-желтой мягкой корочкой. Корочку периодически необходимо разрушать. Это можно делать при помощи стоматологического зонда.

Во время появления первых пузырьков на поверхности раствора выступает белая пена, которая впоследствии пропадает.

Во время цикла обработки раствор меняет цвет с прозрачного или слегка желтоватого до грязно-коричневого. Грязно-коричневый цвет свидетельствует о перенасыщении раствора. Это также показывает и корка из рыхлых продуктов коррозии, оседающая на стенках емкости на границе уровня раствора.

После завершения цикла обработки в растворе фиксируется взвесь и осадок серо-рыжего цвета. Это остатки корок, образовывавшихся на местах активных очагов коррозии.

При достижении раствором грязно-коричневого цвета нагрев прекращался, предмет извлекался из раствора и помещался в спирт. Важно извлекать предмет из раствора после полного остывания во избежание резкого перепада температуры и повреждения предмета. Помещение предмета в спирт не дает поверхности предмета контактировать с окружающей средой, а остатки щелочного раствора смываются в спирте. Емкость со спиртом плотно закрывается крышкой и оставляется на сутки. Через сутки на поверхности предмета фиксируются локальные рыжие высыпания. Это гидроксид железа ($Fe(OH)_2$ или $Fe(OH)_3$). Он появляется вокруг активных очагов и показывает их наличие на предмете. Предмет извлекается из спирта. Спирт и гидроксид железа снимаются при помощи бумажных салфеток. Остатки спирта быстро испаряются, и предмет моментально высыхает. Выявленные активные очаги прометаются при помощи жесткой кисти. После этого предмет снова помещается в щелочной раствор и процедура повторяется. Предмет обрабатывается таким образом до тех пор, пока в спирте не перестает появляться гидроксид железа ($Fe(OH)_2$ или $Fe(OH)_3$). Хватает 2–4 циклов обработки для полной очистки предмета. Количество циклов зависит от степени активности предмета, его структуры и глубины поражения хлоридами. После обработки предмет опрыскивается жидкостью WD-40 и помещается в пакет до полного высыхания на 3–10 суток. Это делается для образования на предмете защитного слоя, препятствующего контакту поверхности предмета с окружающей средой, и предотвращения активизации старых и появления новых очагов активной коррозии. Помимо этого, жидкость вытесняет остатки влаги из пор предмета.

Этап 3. Консервация.

На этом этапе работ поверхность предмета покрывалась слабым раствором ПМБА в ацетоне. Это необходимо для создания на поверхности предмета защитного слоя, изолирующего предмет. Слабый раствор использовался для лучшего проникновения в поры на поверхности предмета. Излишки ПМБА удаляются при помощи ватного тампона, смоченного ацетоном.

Эта методика подходит для стабилизации и консервации предметов из археологического железа, имеющих в своей структуре металлическое ядро. Методика создавалась для стабилизации массового материала в Музее народов Сибири Омского филиала ИАЭТ СО РАН, но подходит и для остальных музеев, например музеев университетов, так как не имеет особых требований для работы. Методика проста в использовании, условно безопасна как для работника, так и для окружающих, материалы достаточно дешевы и не требуют особых разрешений. Кроме этого, следует отметить, что метод можно применять и в полевых условиях.

Алтынбеков К. Возрожденные сокровища Казахстана: опыт научной реставрации. – Алматы : Остров Крым, 2014. – 360 с.

Леонтьева Н. Н. Исследование химического и фазового состава археологического металла методами рентгеновской флуоресцентной спектроскопии и рентгенофазового анализа / Н. Н. Леонтьева, О. В. Потасова, Д. Н. Павлов // Теоретические знания – в практические дела. – Омск, 2011. – Ч. 2. – С. 241–244.

Минжулин А. И. Введение в реставрацию металла. – Киев : Изд-во М-ва культуры Украины : Нац. музей истории Украины : Укр. акад., 1992. – 100 с.

Павлов Д. Н. Методика реставрации и консервации уникального экспоната из коллекции музея народов Сибири – железного ножа с костяной рукоятью // Теоретические знания – в практические дела : сб. науч. ст. – Омск, 2014. – Ч. 2. – С. 191–193.

Реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей: обзорная информация. Вып. 1. Проблемы реставрации археологического металла / М. С. Шемаханская. – Москва : М-во культуры СССР, 1981. – 40 с.

Н. А. Павлова

Россия, Москва, Музеи Московского Кремля

ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО У ПОВОЛЖСКИХ ФИННОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ II ТЫС. Н. Э. (ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Textile making of the Volga Finns in the second half of the second millennium AD (comprehensive analysis). The reconstruction of the technological process of historical production is now attracting more and more attention. The article deals with the textile production of the Volga Finns of the end of XVI–XIX centuries. The complex study of ethnographic, archaeological and written sources focuses on the way textiles of the Volga Finns were made.

Реконструкция технологического процесса того или иного исторического производства в настоящее время привлекает все больше внимания. Предлагаются как специализированные методики, так и общие схемы, работающие на материале любого ремесленного процесса. Рост интереса к археологическому текстилю в последние десятилетия привел к формированию методики [*Исследование*..., 2002; *Глушкова*, 2011], позволяющей с достаточной степенью достоверности реконструировать процесс производства текстильных изделий. Тем не менее дополнить получаемые сведения данными письменных и этнографических источников удается нечасто [*Глушкова*, 2002] прежде всего из-за зачастую значительной разнесенности по времени. Однако при изучении текстильного производства поволжских финнов конца XVI – начала XIX в. возможно комплексно использовать все перечисленные виды источников.

© Павлова Н. А., 2015

Данные этнографических экспедиций Лепехина и Палласа, заметки ряда исследователей XIX [*Записки*..., 1840] и XX вв. [*Куклин*, 1966; *Молотова*, 2004] содержат ценные сведения о ткачестве у мордвы и марийцев. Письменные источники – данные писцовых книг [*Гераклитов*, 1938; 2011], ряд архивных материалов также содержат определенное количество любопытных сведений. Археологически могильники мордвы и марийцев конца XVI – начала XIX в. наряду с более ранними памятниками исследовались еще с конца XIX в. [*Радищев*, 1914], особенно активно – в 1920-е гг. [*Alikhova*, 1929; *Горюнова*, 1937; 1948]. В конце 1980-х – 1990-е гг. появился ряд обобщающих работ, исчерпывающим образом характеризующих погребальные инвентарь и обряд различных народов Поволжья [*Никитина*, 1992; *Шутова*, 1992], при этом специальное исследование текстильных материалов закономерно осталось за рамками. В целом археологическому текстилю из памятников поволжских финнов до последнего времени было уделено крайне мало внимания [*Ефимова*, 1966]. В настоящее время ситуация изменяется [*Никитина*, 2013; *Орфинская*, 2014]. В нашей работе используются, помимо этнографических и письменных источников, данные 486 образцов текстильных изделий из 32 могильников мордвы и марийцев конца XVI – начала XIX в.

Цель работы заключается в попытке последовательной реконструкции процесса производства текстильных изделий поволжскими финнами в XVI–XIX вв. на основе комплексного анализа письменных, этнографических и археологических источников. Очевидна при этом сложность выявления навыков, присущих именно финскому населению Поволжья, а также заимствованных у русского и тюркоязычного населения. Кроме того, существует ряд источников, свидетельствующих о широком применении импортных материалов на разных ступенях текстильного производства. Так, например, по свидетельству Фалька, шелк, используемый в том числе поволжскими народами, был привозным до середины XVIII в., и даже позднее довольно значительная часть сырья ввозилась из Ирана или Италии [*Пажитнов*, 1958: 306].

Итак, в целом технологический процесс текстильного производства реконструируется следующим образом. Предварительное исследование вопроса об используемом в текстильном производстве сырье без привлечения физико-химических методов позволяет сделать определенные выводы относительно различных групп сырья. Так, среди растительных волокон преобладали, вероятно, конопляные, в то время как льняные были в употреблении в значительно меньших объемах и, возможно, стоили дороже. Об этом свидетельствует как аналогичный археологический материал, так и данные письменных источников [*Записки*..., 1840; *Гераклитов*, 2011: 211–212; *Куклин*, 1968: 176–182; *Harris*, 2012: 65].

Основным источником волокон животного происхождения были овцы. На основании этнографических свидетельств можно более подробно описать процесс получения шерсти. И. Лепехин отмечал: «…овец своих стригут обыкновенно по два раза в год, то есть весною, когда их пускают в стадо, и осенью после Семенова дни…» [1821: 160]. Волокно обрабатывалось двумя способами: разборкой руками и битьем при помощи лучка со струной. Микроскопическое исследование волокон с археологических памятников позволяет утверждать, что битая шерсть подразделялась по крайней мере на два основных сорта, а отсутствие волосяных луковиц свидетельствует о практике срезания шерсти с овцы. Орудие срезания определить весьма сложно. Более вероятно, что это были ножи или бритвы, поскольку ножницы – крайне редкая находка на памятниках поволжских финнов. По приводимым Г. Ф. Миллером в конце XVIII в. данным, марийцы что «…на платье употребляют, то покупают у русских: ножи, ножницы, мелкие фарфоровые куски, шелехи…», поскольку «…ремесленных людей у них столько нет, сколько к убранству их платья требуется» [1791: 24]. Видимо, именно с XVIII в. поволжские финны начинают широко использовать ножницы, изготовленные русскими, в том числе и для стрижки овец и получения шерсти для изготовления нитей. По А. А. Бобринскому, сбор и обработка исходного сырья – приспособительные навыки, которые меняются в течение одного поколения [1978]. Видимо, это же утверждение справедливо и для текстильного производства. И именно процесс перехода к новому типу орудий фиксируется в этнографических источниках.

Следующая ступень текстильного производства – получение первичных текстильных изделий. Схема прядения как шерстяных нитей, так и нитей из растительных волокон к XVII–XVIII вв. уже полностью сформирована. По археологическим материалам, для нитей из растительных волокон характерна крутка первого порядка, направления Z. Для шерстяных нитей возможны были два основных варианта: 1) нити крутки Z, первого порядка; 2) нити крутки S, второго порядка.

Это отражает два последовательных этапа изготовления нитей: 1) получение нити первичного трощения (крутки Z) (нити преобладают в тканях); 2) скручивание этой нити в обратном направле-

нии, что приводит к образованию нити крутки S вторичного трощения (нити сшивные, нити вышивки, нити, используемые для ткачества поясов).

При этом никакого различия для памятников различных этнических объединений не отмечено. По наблюдению Н. И. Лебедевой, употребление «верховых» пряслиц необходимо при сучении спряденных ниток [1996: 13]. Этот способ, необходимый для получения нитей второй группы, фиксируется и этнографически. И. Лепехин приводит следующие сведения: «Прядут обыкновенно пряжу на пряслицо веретеном, как и русския бабы, но не так поспешно. Веретена у них несколько от русских отменны в том, что гузку имеют толстую, которую они, выпряв нитку, прижимают к лядвее, и так на веретено наверчивают» [*Лепехин*, 1821: 161]. В этнографических данных второй половины XX в. у марийцев фиксируется способ прядения, при котором рука с веретеном опускалась вниз [*Молотова*, 2004: 37]. Если следовать экспериментальным данным, приводимым в том числе Е. Остергард [*Ostergaard*, 2004: 45–52], прядение, если веретено запускается по бедру под наклоном (именно этот вариант зафиксирован И. Лепехиным), возможно лишь в том случае, если пряслице надето на веретено сверху.

Таким образом, у поволжских финнов в эпоху раннего Нового времени использовались оба способа прядения шерсти: при изготовлении нитей первичного трощения пряслица надевали на нижнюю часть веретена, для получения нитей второго порядка крутки S употреблялись веретена с пряслицами, насаженными сверху.

Следующим этапом текстильного производства является процесс получения ткани. По археологическим материалам предшествующего периода известно, что для ткачества долгое время использовался вертикальный ткацкий стан (на территорию Поволжья он приходит позже, чем в соседние земли), и лишь в раннее Новое время он полностью заменяется простым горизонтальным ткацким станом без рамы и заднего навоя. Приводимые выводы предварительны и опираются лишь на данные этнографических источников, а именно на свидетельство Анны Фукс о марийцах: «… станы для тканья также странны и просты, без навоев; точно так, как ткут тесемки, холсты». Применить известные методики определения типа стана по кромкам ткани [*Нахлик*, 1963: 249, 252] и ткацким ошибкам [*Глушкова*, 2008: 31–34] не удалось из-за особенностей материала. Помимо ткацких станов, использовались и другие приспособления для тканья: дощечки (процесс подробно описан у В. Н. Куклина для мордвы [1968: 233] и Т. Л. Молотовой [2004: 78] для марийцев) и бердо, при этом ткачество на берде можно считать менее характерным для Поволжья и, возможно, заимствованным финнами у русского населения не ранее XVIII в. (население, оставившее Одошнурский могильник, в материалах которого зафиксированы ленты, тканные на берде, испытывало сильное влияние соседнего русского населения). Среди многочисленных способов плетения выделяется дерганье, широко используемое марийцами и мордвой-мокшей. Помимо плетения, для получения узкой тесьмы использовали вязание.

Последней основной ступени технологического процесса – получению вторичных текстильных изделий – этнографы отводят довольно значительное место в описаниях. При этом использовать материал из погребальных памятников необходимо с осторожностью. Сопоставление этнографических, письменных и археологических свидетельств при изучении процесса изготовления и декорирования вторичного текстильного изделия позволяет, пока предположительно, говорить об отсутствии у поволжских финнов в изучаемый период особого погребального костюма. Данное утверждение предварительно, поскольку, например, М. Т. Маркелов отмечает наличие особой смертной одежды с архаичным декором: «В д. Азъял у некоторых старух приходилось видеть смертные рубахи с совершенно иной вышивкой, чем бытует там… <…> …Старухи изготовили себе эти рубахи, копируя вышивки с рубах своих матерей и бабок по матери…» [*Маркелов*, 1994: 142]. Естественно, что эта ситуация, характерная для начала 1920-х гг., не может проецироваться на XVII–XVIII вв., однако учитывать возможность использования более архаичных типов костюма необходимо.

Таким образом, даже предположительная реконструкция процесса производства текстильных изделий у поволжских финнов представляется возможной лишь с применением комплексного анализа данных.

Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. – Москва : Наука, 1978. – 275 с.

Гераклитов А. А. Алатырская мордва (по переписям 1624–1721 гг.). – Саранск : Мордгиз, 1938. – 111 с.

Гераклитов А. А. Арзамасская мордва. По писцовым и переписным книгам XVII–XVIII вв. // Гераклитов А. А. Избр. : в 2 ч. – Саранск, 2011. – Ч. 1. – 464 с. – (Наследие).

Глушкова Т. Н. Археологические ткани Западной Сибири. – Сургут : СурГПИ, 2002. – 206 с.

Глушкова Т. Н. Методология и методика источниковедческого исследования археологических текстильных материалов / Т. Н. Глушкова, А. В. Сутула // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. – Томск, 2008. – С. 31–34.

Глушкова Т. Н. Методика исследования археологического текстиля (опыт обобщения) : науч.-метод. пособие / Т. Н. Глушкова, А. К. Елкина, И. И. Елкина. – Сургут : СурГПУ, 2011. – 147 с.

Горюнова Е. И. Шойбулакский и Аксаркинксий могильники // СА. – 1937. – № 3. – С. 167–177.

Горюнова Е. И. Сарлейский могильник // Археологический сборник. – Саранск, 1948. – Т. 1. – С. 6–47.

Ефимова Л. В. Ткани из финно-угорских могильников I тыс. н. э. // КСИА АН СССР. – Москва, 1966. – Вып. 107. – С. 127–134.

Записки Анны Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии. – Казань : Тип. Имп. Казан. ун-та, 1840. – 340 с.

Исследование уникальных археологических памятников из собрания Государственного исторического музея – комплексов одежд XIII–XIV вв. / О. Б. Лантратова, В. П. Голиков, О. В. Орфинская [и др.]. – Москва : ГИМ, 2002. – 237 с.

Куклин В. Н. К вопросу о ткачестве у мордвы (подготовка пряжи к тканью) // Тр. НИИЯЛИИЭ. – Саранск, 1966. – Вып. 30. – С. 176–188.

Куклин В. Н. Приемы обработки и изготовление изделий из шерсти мордвой в XIX – начале XX вв. // Тр. МНИИЯЛИЭ. – Саранск, 1968. – Вып. 34. – С. 227–242.

Лебедева Н. И. Прядение и ткачество восточных славян в XIX – начале XX века // Лебедева Н. И. Научные труды (Творческое наследие Натальи Ивановны Лебедевой. Этнографические исследования и материалы) : в 2 т. – Рязань, 1996. – Т. 2. – С. 3–41.

Лепехин И. И. Записки путешествия академика Лепехина. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1821. – 554 с. – (Полное собрание ученых путешествий по России ; т. 3).

Маркелов М. Т. Вышивание у марийцев // ЭО. – 1994. – № 6. – С. 138–143.

Миллер Г. Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих народов: этнографическое исследование. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1791. – 131 с.

Молотова Т. Л. Традиционное марийское ткачество. – Йошкар-Ола : МарНИИЯЛИ, 2004. – 152 с.

Нахлик А. Ткани Новгорода. Опыт технологического анализа // Тр. Новгород. археол. экспедиции. Т. IV. Жилища древнего Новгорода. – Москва, 1963. – С. 228–313. – (МИА ; № 123).

Никитина Т. Б. Марийцы (конец XVI – начало XVIII вв.) по материалам могильников. – Йошкар-Ола : МарНИИЯЛИ, 1992. – 159 с.

Никитина Т. Б. Войлок в погребальном обряде Русенихинского могильника // КСИА РАН. – Москва, 2013. – Вып. 230. – С. 153–159.

Орфинская О. Ф. Ткани из могильников Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв. / О. Ф. Орфинская, Т. Б. Никитина // Поволжская археология. – 2014. – № 2 (8). – С. 70–91.

Пажитнов К. А. Очерки истории текстильной промышленности дореволюционной России. Хлопчатобумажная, льно-пеньковая и шелковая промышленность. – М. : Наука, 1958. – 425 с.

Радищев М. А. Старо-Яблонский могильник // Тр. Саратов. учен. архив. комиссии. – 1914. – Вып. 31. – С. 145–148.

Шутова Н. И. Удмурты XVI – первой половины XIX в.: по данным могильников. – Ижевск : УИИЯЛ УрО РАН, 1992. – 264 с.

Alikhova A. E. Sur quelques modifications chronologiques de la civilisation de Mordva-Moksha / A. E. Alikhova, S. Preobrazenski // Eurasia septentrionalis antiqua. – Helsinki, 1929. – IV. – P. 332–339.

Harris S. From the Parochial to the Universal: Comparing Cloth Cultures in the Bronze Age // European Journal of archaeology. – 2012. –Vol. 15, N 1. – P. 61–97.

Ostergaard E. Woven into the Earth: Textile finds in Norse Greenland. – Aarhus : Aarhus University Press, 2004. – 296 p.

Д. В. Папин[1, 2], Н. Ф. Степанова[2], А. А. Редников[1]

Россия, Барнаул, [1]Алтайский государственный университет,
[2]лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири
Института археологии и этнографии СО РАН

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГОРОДИЩА ПИКЕТ*

The article summarizes the study of complex ceramic Piket fort, located in the foothills of the Altai. Concludes its history and cultural identity, about the features of pottery production technology of the ancient population.

Городище Пикет расположено на юго-западной окраине с. Сростки Бийского района Алтайского края. Оно занимает площадку на правой береговой террасе реки Катуни высотой до 50 м, на восточном мысовом выступе горы Пикет, и с трех сторон ограничено крутым склоном. Площадь памятника составляет до 1,5 га. Склон имеет выпуклую форму: верхняя часть более пологая, нижняя – более крутая. Поверхностные отложения представлены покровными лессовидными суглинками. Городище состоит из 86 жилищных западин размерами от 4 × 5 до 13 × 14 м, глубиной 0,4–0,8 м и имеет четко выраженную архитектурно организованную застройку. С напольной стороны его огибает ров шириной до 7 м, глубиной до 1,3 м. Жилищные западины располагаются вдоль мыса по направлению запад – восток и концентрируются в центральной части памятника.

Хотя материалы памятника широко используются в научной литературе, археологических раскопок ранее не производилось. Коллекция Бийского краеведческого музея была сформирована из подъемных материалов С. М. Сергеева, и впоследствии памятник не раз осматривался археологами. В полевых сезонах 2011, 2012, 2014 гг. авторами раскапывался аварийный участок, разрушаемый оврагом [*Кирюшин* и др., 2011; *Папин* и др., 2014]. Площадь раскопа составила 118 кв. м, он выявил котлован конструкции площадью 88 кв. м.

Находки представлены фрагментами керамики, развалами сосудов и камнем, в том числе и со следами утилизации. Для керамического комплекса характерны сосуды двух типов. Первый тип наиболее массовый – крупные плоскодонные профилированные сосуды горшкообразной формы, в подавляющем числе случаев орнаментированные двойным рядом жемчужника с разделителем; в качестве разделителя выступают наклонные отпечатки штампа или подтреугольные вдавления, иногда перемежающиеся с сеткой, елочкой, наклонными отпечатками штампа. Своеобразным индикатором этого типа является оформление сосудов срезом венчика наружу, при этом он украшен наклонными отпечатками штампа (рис.: *4–17*). Второй тип – полусферические чашки. Чаще всего они без орнамента, или нанесены горизонтальные линии и сетка (рис.: *1–3*). Всего реконструируется около 40 сосудов. Доля неорнаментированных фрагментов составляет 84,6 %, это обусловлено спецификой орнаментальной схемы, когда декор сосредоточен в верхней трети сосуда. Ведущими являются два мотива орнамента – двойной ряд жемчужника (77,14 %) и подтреугольные отпечатки штампа в качестве разделителя данного жемчужника (88,57 %). В равной степени зафиксировано использование двух горизонтальных линий, отделяющих жемчужник (11,4 %), и трех горизонтальных линий, первая расположена ниже первого ряда жемчужника, вторая и третья – сверху и снизу второго ряда жемчужника (11,42 %). Особенностью комплекса является высокий процент использования элемента «срез венчика наружу» (85,7 %), причем в 80 % случаев он орнаментировался.

Для технико-технологического исследования были отобраны 27 образцов (фрагменты тулова сосудов и венчики), работа проводилась в рамках историко-культурного подхода по методике А. А. Бобринского. Фрагменты различаются по цвету (однотонные и двухцветные, темные, красные и др.) в изломе, что связано в первую очередь с обжигом. Однако о необычных условиях обжига для этого памятника можно говорить только применительно к черепку № 9.

Все 27 фрагментов изготовлены из ожелезненного сырья, которое происходит из нескольких источников, незначительно различающихся между собой по естественным примесям, в частности наличию и отсутствию бурого железняка, его размерности и количеству.

---

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 15-11-22009.

© Папин Д. В., Степанова Н. Ф., Редников А. А., 2015

Керамический комплекс городища Пикет

Для 25 фрагментов отмечен один рецепт – глина (исходное сырье) + дресва (искусственно дробленный камень). Частички различаются размерами (от 0,5 до 3 мм) и концентрацией (от 1 : 1 до 1 : 4–5). Концентрация 1 : 4–5 зафиксирована всего в одном фрагменте (№ 7), который выделяется и цветом (красный). Для дробления использовали разные камни, в одних случаях граниты содержали в большом количестве слюду (мусковит), в других ее было заметно меньше. Все эти различия свидетельствуют лишь о том, что посуду изготавливали разные мастера, однако в рамках одной общей традиции.

В большинстве фрагментов органики нет, в нескольких она зафиксирована, однако в качестве естественной примеси. В шести фрагментах определить органику как искусственную или естественную примесь затруднительно. В целом необычными для коллекции являются образцы № 15 и 25. В первом из них зафиксирован песок в концентрации 1:2, в во втором – смешанный рецепт: глина + дресва + шамот.

Подводя итог, отметим, что местной культурной традицией является добавление в исходное сырье дресвы (дробленого камня), не местной – использование шамота и песка. Более того, во фрагменте № 25 отмечено смешение традиций, которое связано с контактами населения.

Для нанесения орнамента использовали зубчатые инструменты с подпрямоугольными зубцами, размер последних – около 1 мм. Орнамент в виде уголка, видимо, наносили этим же инструментом, так как в нескольких случаях четко видны отпечатки зубцов. Использование подобных инструментов сближает керамику из Пикета с аналогично украшенной керамикой из Малого Дугана, Узензи-1 и других поселений Горного Алтая [*Степанова*, 1998].

Аналогичные традиции использования исходного сырья, куда также добавляли дресву из гранитов, содержащих слюдистые породы, отмечены и на поселении Енисейское. Там также зафиксированы различия только в размерности дресвы и концентрации [*Абдулганеев*, *Степанова*, 2007]. Дресва в качестве искусственной минеральной примеси отмечена и в формовочных массах Малого Дугана.

Рассматриваемый керамический комплекс находит широкие аналогии среди раннескифских древностей Бие-Катунского междуречья, что позволяет отнести данное городище к кругу памятников большереченской культуры переходного времени [*Абдулганеев, Папин,* 1999: рис. 2].

Абдулганеев М. Т. Памятники раннескифского времени в междуречье Бии и Катуни / М. Т. Абдулганеев, Д. В. Папин // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул, 1999. – С. 5–13.

Абдулганеев М. Т. Предварительные результаты изучения керамики бийского этапа поселения Енисейское-2 / М. Т. Абдулганеев, Н. Ф. Степанова // Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. – Барнаул, 2007. – С. 30–33.

Кирюшин Ю. Ф. Археологическое изучение памятников эпохи бронзы и раннего железного века Алтайского Приобья / Ю. Ф. Кирюшин, Д. В. Папин, А. А. Редников, А. С. Федорук, О. А. Федорук, Я. В. Фролов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2011. – Т. XVII. – С. 165–170.

Папин Д. В. Археолого-геофизические исследования городища Пикет / Д. В. Папин, А. А. Редников, А. С. Федорук, Я. В. Фролов, Д. В. Черных, Р. Ю. Бирюков // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2014. – Т. XX. – С. 264–267.

Степанова Н. Ф. Керамика VIII–VI вв. до н. э. с поселений Средней Катуни // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул, 1998. – Вып. IX. – С. 120–123.

Д. В. Пикалов

Россия, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет

СКИФСКИЙ ХРАМ ОГНЯ У ХУТОРА КРАСНОЕ ЗНАМЯ В СВЕТЕ ДАННЫХ ЭТНОГРАФИИ И АРХЕОЛОГИИ

Today temple complexes of Scythians, except for a cult construction at the farm the Red Banner (the Aleksandrovsky region of Stavropol Krai) constructed on all canons of the Iranian temple architecture, and having numerous analogies in Iran are almost unknown to science. The author tries to answer a question, what reasons induced Scythians build the Zoroastrian temple, and after a funeral ceremony, to fill up it together with an imperial barrow.

На сегодняшний день науке практически неизвестны храмовые комплексы скифов, за исключением культового сооружения у хутора Красное Знамя (Александровский район Ставропольского края), построенного по всем канонам иранской храмовой архитектуры и имеющего многочисленные аналогии в ахеменидском Иране. План постройки большого кургана, под насыпью которого располагался храм, также несет в основе своей формы солярную символику. Большинство найденных в кургане предметов инвентаря покрыты солярными изображениями (свастиками и т. д.). Вероятнее всего, храмовый комплекс у хутора Красное Знамя посвящен зороастрийскому Ахурамазде, а не скифской богине огня Табити. Факт отсутствия храмовых комплексов богини огня у скифов подтверждает и Геродот (IV, 59): *«У скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам кроме Ареса. Ему они строят такие сооружения»* [*Геродот*, 1999: 253].

Геродот (IV, 62) также оставил нам описание храма скифского Ареса: *«Аресу же совершают жертвоприношения следующим образом. В каждой скифской области по округам воздвигнуты такие святилища Аресу: горы хвороста нагромождены одна на другую на пространстве длиной и шириной почти в три стадии, в высоту же меньше. Наверху устроена четырехугольная площадка, три стороны ее отвесны, а с четвертой есть доступ. От непогоды сооружение постоянно оседает, и поэтому приходится ежегодно наваливать сюда по полтораста возов хвороста. На каждом холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир Ареса»* [там же: 254].

Такие детали, как применение дерева (хвороста) для его сооружения, четырехугольная форма площадки на вершине жертвенника в сочетании с вертикально укрепленным на вершине мечом, находят многочисленные типологические параллели. В нартском эпосе рассказывается о восхождении Батрадза, образ которого алановед Ж. Дюмезиль трактует как мифологическую ипостась бога войны, на костер-жертвенник, сооруженный нартами по его приказанию из сотни возов древесного угля, что имеет аналогию с сооружениями в честь скифского Ареса [*Пикалов*, 2011: 114]. Батрадз всходит на этот костер, а когда огонь разгорается, мечом отрубает головы и запястья у людей, раздувавших этот костер, что также отсылает нас к «Истории» Геродота: *«…у заколотых жертв отрубают правые руки и бросают их в воздух; затем, после заклания других животных, заканчивают обряд и удаляются. Рука же остается лежать там, где она упала, а труп жертвы лежит отдельно»* [*Геродот*, 1999: 255].

Четырехугольная форма характерна для древнейших ритуальных сооружений многих индоевропейских народов. Наиболее полно концепция четверичных форм исследована по отношению к древнеиндийскому ритуалу, где она напрямую связана с символизмом мирового древа. Скифские «алтари» можно сравнить с ритуальными сооружениями народов Сибири, символизировавшими шаманское древо. В основе тех и других сооружений лежала одна общая идея общения с верхним и нижним миром посредством вертикального столба, дерева, мировой оси.

Четырехугольность скифских «алтарей» Ареса находит аналогии в четырехугольных очертаниях Скифии в рассказе Геродота: *«Если принять Скифию за четырехугольник, две стороны которого вытянуты к морю, то линия, идущая внутрь страны, по длине и ширине будет совершенно одинакова с приморской линией. Ибо от устья Истра до Борисфена 10 дней пути, а от Борисфена до озера Меотиды еще 10 дней и затем от моря внутрь страны до меланхленов, живущих выше скифов, 20 дней пути. Дневной переход я принимаю в 200 стадий. Таким образом, поперечные стороны [четырехугольника] Скифии составляют 40 000 стадий, а продольные, идущие внутрь материка, – еще столько же. Такова величина этой области»* [там же: 268].

© Пикалов Д. В., 2015

Концепция соотнесения рассказа Геродота с реальной географией давно подвергнута критике, причем вполне обоснованно. Представление о четырехугольной стране имеется в «Авесте». В поэме Фирдоуси «Шахнаме» Иран имеет форму четырехугольника. В основе этих представлений лежит мифологема о том, что равносторонний четырехугольник есть простейшая модель организованного мира. Эта модель находит выражение в общераспространенных представлениях о четырех сторонах света.

Возможно, в скифской религиозной традиции четырехугольные алтари Ареса воспроизводили архетипическую модель самой Скифии, четырехугольность которой является отражением мифологических представлений. В этой связи интересна и планировка храма у хутора Красное Знамя, в плане это квадрат в квадрате. Внутреннее помещение имело у основания квадратную глинобитную платформу с северной стороны, а с южной большая часть стены его была выдвинута вперед. Между наружным и внутренним помещениями имелся узкий обводной коридор. Стены внутреннего помещения были выложены из каменных плит, а внутренняя часть его оказалась засыпана землей. На ней в центре стоял каменный корытообразный жертвенник, на котором разводили огонь. От земли жертвенник отделяли две каменные плиты, положенные одна на другую. Стены наружного помещения были тщательно обмазаны глиной, а с севера и юга имели следы окрашенности красной краской.

И все же больший интерес вызывают причины, заставившие скифов Северного Кавказа возвести зороастрийский храм близ кургана 1 у хутора Красное Знамя. Тот факт, что сам храм был засыпан после погребального ритуала, указывает на то, что его не предполагалось больше использовать, а значит, среди скифов иных зороастрийцев, кроме самого погребенного вождя, не было. Для погребения вождя скифы использовали как собственный традиционный погребальный ритуал, так и зороастрийский, это указывает на то, что именно вождь и являлся последователем учения Заратуштры. Однако зороастризм чужд прозелитизма, и хотя, как утверждают исследователи, в ранний период существования учения Заратуштры его последователи активно проповедовали свое учение, оно так и не стало мировой религией по целому ряду причин. И в первую очередь потому, что проповедь зороастризма была ограничена ираноязычной ойкуменой. Скифы – ираноязычные племена, и вполне возможно, что проповедники зороастризма действовали и среди них. Но в то же время иных свидетельств проникновения зороастризма в скифскую среду, кроме храма у хутора Красное Знамя, пока не известно. Да и сам этот храм, как уже говорилось нами выше, был создан для единичного погребального ритуала вождя. Логично предположить, что если бы зороастрийские проповедники вели агитацию среди скифов, то сохранились бы и другие материальные свидетельства распространения учения Заратуштры. Учитывая опыт других прозелитических религий, видно, что их проповедники идут в первую очередь не к вождям и правителям, а в народные массы.

Кроме того, социально-экономическое содержание религиозного учения Заратуштры изначально отвечало потребностям борьбы оседлых скотоводов и землевладельцев с кочевниками, коими как раз и были скифы. Последние, скорее всего, воспринимались зороастрийцами как противники Ахура Мазды и божественного порядка, поэтому, по нашему мнению, проповедники учения Заратуштры игнорировали скифские племена.

Тогда вопрос о принятии скифским вождем учения Заратуштры так и остается открытым. Но мы знаем, что до сегодняшнего дня среди консервативных кругов зороастрийского духовенства сохранилось убеждение, что учение Заратуштры могут принять лишь те, чьи родители зороастрийцы. Вот здесь, на наш взгляд, и скрыт ответ на вопрос о причинах появления храма огнепоклонников у хутора Красное Знамя на Ставрополье.

В то же время Геродот пишет, что скифы избегают иных религиозных обрядов: *«Скифы, как и другие народы, также упорно избегают чужеземных обычаев, притом они сторонятся не только обычаев прочих народов, но особенно эллинских. Это ясно показала судьба Анахарсиса и потом Скила»* [*Геродот*, 1999: 259]. Анахарсис, по рассказу Геродота, был убит скифским царем Савлием за то, что участвовал в греческом празднике в честь Матери Богов: «...навесил на себя маленькие изображения богини и бил в тимпаны». Более показательна судьба Скила, сына Ариапифа – царя скифов. Матерью его была не скифянка, а исриянка. Очень важное для нас замечание, прямо указывающее, что скифские цари и вожди брали в жены чужеземок. Став царем скифов, Скил, как пишет Геродот, *«...вовсе не любил образа жизни этого народа. В силу полученного им воспитания царь был гораздо более склонен к эллинским обычаям и поступал, например, так: когда царю приходилось вступать с войском в пределы города борисфенитов (эти борисфениты сами себя называют милетянами), он оставлял свиту перед городскими воротами, а сам один входил в город и приказывал запирать*

городские ворота. Затем Скил снимал свое скифское платье и облачался в эллинскую одежду. В этом наряде царь ходил по рыночной площади без телохранителей и других спутников (ворота же охранялись, чтобы никто из скифов не увидел царя в таком наряде). Царь же не только придерживался эллинских обычаев, но даже совершал жертвоприношения по обрядам эллинов. Месяц или даже больше он оставался в городе, а затем вновь надевал скифскую одежду и покидал город. Такие посещения повторялись неоднократно, и Скил даже построил себе дом в Борисфене и поселил там жену, местную уроженку» [*Геродот*, 1999: 261].

Закончилось все это для него печально, как повествует Геродот, царь скифов решил принять посвящение в таинства Диониса Вакха, но про это прознали скифы, провозгласили царем Октамасада и подняли восстание против Скила. *«Октамасад велел тут же отрубить голову Скилу. Так крепко скифы держатся своих обычаев и такой суровой каре они подвергают тех, кто заимствует чужие»* [там же: 262].

Но факт нахождения зороастрийского храма огня у хутора Красное Знамя позволяет говорить об исключении из правил. Мы видим, что скифского вождя хоронят по традиционному скифскому ритуалу – погребение в кургане, а не по зороастрийскому. Для зороастрийцев неприемлемы зарывание трупов в землю и трупосожжение, которые признаются большим грехом. Иранская «Видевдата» указывает, что в случае смерти человека люди должны искать «дахну» – естественный холм или курган, поэтому традиционным способом погребения у сохранившихся общин зороастрийцев Ирана и Индии является выставление трупа на открытом, специально подготовленном месте или в специальном сооружении для утилизации птицами и собаками. Такой обычай объясняется тем, что зороастрийцы не испытывают к трупу никакого почтения. По представлениям зороастрийцев, труп – это не человек, а оскверняющая материя, символ временной победы Ахримана в земном мире. Однако в кургане 1 у хутора Красное Знамя мы видим совсем иное отношение к погребенному, его хоронят в земле, со всеми почестями, предположительно богатым инвентарем (погребение разграблено), с антропоморфным каменным изваянием, что противоречит учению Заратуштры. Но дополнительно к скифскому погребальному ритуалу добавляются еще и элементы зороастрийского культа, причем не погребального. Так как в зороастризме место захоронения «считается одним из несчастливейших мест на земле», никаких храмов там не возводится [*Мейтарчиян*, 1999: 102].

Диодор Сицилийский отмечает, что священный огонь персы гасили при похоронах царей. Вполне возможно, что подобный же ритуал мог происходить и в храме огня у хутора Красное Знамя.

Согласно устоявшимся научным представлением, в VII в. до. н. э. скифы возвращаются на Северный Кавказ после ряда успешных походов в Переднюю Азию, где, собственно, и мог состояться их контакт с зороастризмом. Однако, на наш взгляд, учение Заратуштры, не имело сильного воздействия на скифские племена. Факт единичного памятника, а именно храма у хутора Красное Знамя, возведенного исключительно для погребальных церемоний вождя, как раз об этом и говорит. Кроме того, мы можем предположить, что сам факт создания подобного сооружения говорит не о проповеднической деятельности последователей Заратуштры в скифской среде, а скорее о браке знатного скифа с женщиной-зороастрийкой во время походов в Переднюю Азию. Мы не можем это утверждать со стопроцентной уверенностью, однако других явных причин пока нет. Но и самое главное, религиозные обычаи скифов VII–VI вв. до. н. э., на наш взгляд, не сильно отличались от идей зороастризма, и в том и в другом случае мы видим почитание огня как символа божественного порядка.

Геродот. История : в 9 т. – Москва : Ладомир, 1999. – 752 с.

Мейтарчиян М. Б. Погребальный обряд зороастрийцев. – Москва : ИВ РАН, 1999. – 243 с.

Пикалов Д. В. Мифология и космогония ираноязычных кочевников Евразии. Опыт реконструкции. – Саарбрюккен : Изд. дом LAP, 2011. – 176 с.

А. А. Пушкарев, М. В. Вавулин

Россия, Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОГРАММЕТРИИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПОЛЕВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК*

Article is devoted to the use of photogrammetry in the preparation of field documentation of archaeological excavations. Authors give a comparison of this new technology with the traditional method of fixation of archaeological objects. As a result, the main benefits of the use of photogrammetry were identified: significant time savings and better quality of field documentation.

Фотограмметрия постепенно входит в комплекс методик, которые используются археологами в их полевых исследованиях. Данная технология позволяет с помощью цифрового фотоаппарата и программного обеспечения получить детализированную 3d-модель практически любого археологического объекта как до, так и в процессе раскопок [*De Reu*, 2013]. Уникальность современной технологии фотограмметрии заключается в том, что для ее использования не требуется дорогостоящего оборудования и программного обеспечения, а сама методика съемки является достаточно простой в освоении.

Суть технологии построения 3d-моделей с помощью фотограмметрии заключается в следующем: археологический объект фотографируется со всех сторон, далее программа сравнивает полученные снимки между собой и по соотношению общих точек рассчитывает 3d-поверхность объекта. Обязательным условием для обработки является наличие значительного «перекрытия» между фотографиями. В результате исследователь получает детализированные 3d-модели археологических объектов с текстурой, которые впоследствии можно изучать посредством их визуального осмотра, измерения, построения разрезов и др.

В современной литературе технологию фотограмметрии в полевой фиксации археологических объектов уже назвали революционной [*Kjellman*, 2012]. С каждым годом исследователи находят все больше сфер применения данной технологии, ведется отработка методик фиксации разных типов объектов [*Koutsoudis*, 2013; 2014], а также поиск условий для наиболее быстрой и качественной съемки [*Ahmadabadian*, 2013].

Использование фотограмметрии, как и многих других современных технологий, сталкивается с определенной инерцией в среде археологов. На первый взгляд может показаться, что фиксация объектов с помощью фотограмметрии является лишь дополнением к полевой документации раскопок и отбирает у археолога дополнительное время и силы, которых и так в процессе исследований не всегда достаточно. Однако при правильном применении данной технологии, ситуация оказывается обратной – фиксация с помощью фотограмметрии позволяет получать высококачественную полевую документацию, полностью соответствующую основным нормативным документам по ведению раскопок [*Положение*..., 2013]. При соблюдении простых правил фотограмметрической съемки исследователь не только выигрывает время и силы, но и получает более высокое качество полевой документации, чем при использовании традиционных методов фиксации.

Для наглядности проанализируем следующие основные параметры традиционной фиксации и фиксации с помощью фотограмметрии: временные затраты, техническое обеспечение и качество получаемого результата (табл. 1, 2).

Из данных таблиц мы видим, что при использовании традиционной методики основное время на фиксацию тратится на полевом этапе. В свою очередь, применение фотограмметрии позволяет сократить время фиксации объекта на полевом этапе в несколько раз. Для использования данного метода требуется лишь установка 4–5 дополнительных маркеров и более подробная съемка объекта (для большинства объектов требуется не более 50–60 фотографий).

На камеральном этапе обработка данных фотограмметрии может занять значительно больше времени, так как для создания 3d-модели требуются длительные компьютерные вычисления, кото-

* Работа выполнена в рамках государственного проекта «Обеспечение проведения научных исследований» № 1257 (Госзадание «Наука»).

© Пушкарев А. А., Вавулин М. В., 2015

рые могут выполняться несколько часов. Однако необходимо отметить, что 90 % времени на данном этапе уходит на автоматизированную математическую обработку данных, которая не требует каких-либо усилий от исследователя.

Таблица 1

Временные затраты при использовании традиционных методов фиксации

Действие	*Необходимое время, мин.*	*Примечание*	
1. Фотографирование объекта	5–15	Съемка объекта с 2–3 сторон для получения видовых фотографий	Полевой этап (45–335 мин.)
2. Зарисовка объекта на миллиметровку	30–300	Самый трудоемкий процесс. Фиксация объекта, как правило, производится в масштабе 1 : 10 и больше. Точность воспроизведения зависит от опыта исследователя, производящего зарисовку	
3. Измерение нивелировочных значений на объекте	10–30	Как правило, требуется от 10 до 50 измерений в зависимости от объекта	
4. Сканирование и привязка плана в программе для последующей отрисовки	20–60	Сканирование с разрешением не менее 300 dpi. При размерах плана более формата А3 сканирование производится частями, а после собирается в программе	Камеральный этап (50–240 мин.)
5. Отрисовка плана в программе	30–180	Обводка плана, нарисованного на миллиметровке	

Таблица 2

Временные затраты при фиксации с использованием фотограмметрии

Действие	*Необходимое время, мин.*	*Примечание*	
1. Фотографирование объекта	5–30	Размещаются 4–5 маркеров для последующей привязки 3d-модели. Производится детальная фотосъемка объекта для дальнейшего построения 3d-модели. Качество полученной модели не будет зависеть от опыта исследователя. Требуется лишь соблюдение элементарных правил съемки	Полевой этап (10–40 мин.)
2. Измерение координат маркеров для привязки объекта	5–10	Как правило, требуется измерение 4–5 маркеров для привязки 3d-модели	
3. Создание 3d-модели в программе, ее привязка и экспорт для последующей отрисовки	20–360	Обработка данных в программе практически полностью производится в автоматическом режиме: 90 % времени на данном этапе уходит на математическую обработку данных, которая не требует каких-либо усилий от исследователя	Камеральный этап (50–540 мин.)
4. Отрисовка плана в программе	30–180	Отрисовка плана по детализированной ортофотографии	

Таблица 3

Техническое обеспечение процесса фиксации

Традиционные методы фиксации	*Фиксация с помощью технологии фотограмметрии*
Оборудование:	Оборудование:
1. Фотоаппарат (полупрофессиональный или профессиональный). 2. Тахеометр/теодолит/нивелир. 3. Персональный компьютер среднего класса	1. Фотоаппарат (полупрофессиональный или профессиональный). 2. Тахеометр/теодолит/нивелир. 3. Персональный компьютер среднего класса
Программное обеспечение:	Программное обеспечение:
Программа для отрисовки планов (AutoCAD/Corel Draw/IndorCAD)	1. Программа для отрисовки планов (AutoCAD/Corel Draw/IndorCAD). 2. Программа для обработки данных фотограмметрии и построения 3d-моделей (Agisoft Photoscan)

Из приведенного сравнения (табл. 3) видно, что для использования фотограмметрии требуется практически тот же набор технических средств, что и для традиционной методики фиксации. В качестве дополнительного инструмента выступает программное обеспечение для обработки данных фотограмметрии и построения 3d-моделей.

На сегодняшний день существует достаточно много бесплатных программ, позволяющих создавать 3d-модели по технологии фотограмметрии (123d Catch, Insight 3d, Arch 3D и др.), однако для построения планов археологических объектов они не подходят, так как у них отсутствуют ключевые функции привязки модели по контрольным точкам и экспорта ортофотоснимков.

Из программ, имеющих данные функции, на сегодняшний день наиболее доступной является Agisoft Photoscan. Программа является коммерческой, однако для образовательных учреждений лицензия продается со значительной скидкой. На момент написания статьи ее стоимость составляла 549 $ (профессиональная версия, которая имеет все необходимые функции).

В результате использования традиционной фиксации исследователь получает статичный план объекта в масштабе, который определен во время его создания. Этот план имеет значительную субъективную составляющую, так как качество сильно зависит от квалификации специалиста, который его составлял. У исследователя практически нет возможности произвести дополнительные измерения объекта после раскопок, так как в его распоряжении имеется лишь несколько его видовых фото, которые позволяют визуально оценить только внешний облик объекта.

В результате применения фотограмметрии исследователь получает полноценную 3d-модель объекта с высококачественной текстурой. Использование даже недорогого фотоаппарата позволяет получать модели с детализацией и точностью до 1 мм. Это дает возможность создавать планы в масштабе до 1 : 1 в зависимости от необходимости. 3d-модель является фотографической копией объекта, и поэтому в ней отсутствует характерная для традиционных планов субъективная составляющая. Специалист может в любое время провести дополнительные исследования объекта: добавить на план нивелировочные отметки, вывести разрезы объекта, произвести линейные измерения.

Отдельно стоит оговорить вопрос надежности использования метода фиксации с помощью фотограмметрии. Его можно сформулировать так: есть ли вероятность, что программа не сможет обработать данные съемки, создать 3d-модель и информация об объекте так и останется набором фотографий?

Такая вероятность ничтожно мала, так как при соблюдении элементарных правил съемки вам гарантирован положительный результат. Современные программы отлично собирают модели даже из фотографий плохого качества (с размытыми участками, контрастным освещением и т. п.).

Кроме того, в отличие от плана, выполненного на миллиметровке традиционным способом, электронные данные можно для надежности скопировать на несколько носителей или сохранить в сети Интернет сразу после съемки.

Подводя итог, необходимо отметить, что фиксация археологических объектов с помощью фотограмметрии дает исследователю значительные преимущества.

Во-первых, происходит значительная экономия времени при проведении раскопок.

Во-вторых, качество получаемых данных значительно превышает то, которое характерно для традиционной методики фиксации. 3d-модель объекта, выполненная методом фотограмметрии, поз-

воляет создавать высокоточные планы, которые соответствуют всем основным нормативным документам по ведению раскопок. Помимо этого, исследователь может в любой момент открыть данную модель и произвести на ней дополнительные измерения.

В-третьих, для фиксации с помощью фотограмметрии требуется практически то же оборудование, что используется при традиционной съемке. Исключением является лишь дополнительное программное обеспечение для создания 3d-моделей. Однако время, а соответственно, и средства, сэкономленные благодаря использованию этого программного обеспечения, очень быстро окупят затраты на его приобретение.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. – Москва : [б. и.], 2013. – 40 с.

Ahmadabadian A. H. Comparison of dense matching algorithms for scaled surface reconstruction using stereo camera rigs / A. H. Ahmadabadian, S. Robson, J. Boehm [etc.] // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2013. – Vol. 78. – P. 157–167.

De Reu J. Towards a three-dimensional cost-effective registration of the archaeological heritage / J. De Reu, G. Plets, G. Verhoeven [etc.] // Journal of Archaeological Science. – 2013. – Vol. 40. – P. 1108–1121.

Kjellman E. From 2D to 3D: a photogrammetric revolution in archaeology? – Tromso, 2012. – 88 p.

Koutsoudis A. Performance evaluation of a multi-image 3D reconstruction software on a low-feature artefact / A. Koutsoudis, B. Vidmar, F. Arnaoutoglou // Journal of Archaeological Science. – 2013. – Vol. 40 – P. 4450–4456.

Koutsoudis A. Multi-image 3D reconstruction data evaluation / A. Koutsoudis, B. Vidmarb, G. Ioannakisa // Journal of Cultural Heritage. – 2014. – Vol. 15. – P. 73–79.

К. А. Руденко

Россия, Казань, государственный университет культуры и искусств

САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ: КРИТЕРИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, ХРОНОЛОГИЯ И ТОПОГРАФИЯ (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ)

On the Middle Volga region on settlements Imenkovo cultures VI–VII centuries are AD localised places where took place ritual actions and which were considered as the sacred. They settled down on small sites of hillforts or ancient settlements, nearby from inhabited constructions. There is a communication between a sacred place and the industrial objects connected from fusible iron ore and metallurgy of copper. The further archaeological researches especially on ancient settlements, will allow to correct the come out assumptions.

Изучение древностей раннесредневекового времени Европейской России, особенно относящихся к эпохе Великого переселения народов (III–IV вв. н. э.), сталкивается с различными проблемами. Особую сложность вызывает этническое определение многих археологических культур, выяснение их генезиса и последующей судьбы. Особый случай представляет именьковская культура IV–VII вв. н. э., занимавшая огромные пространства Средневолжья и Предуралья [*Старостин*, 1967; *Матвеева*, 2003]. Исследования последних лет показали ее многокомпонентность и поставили вопрос о выделении хронологических этапов и локальных вариантов [*Матвеева*, 1998: 87–96; *Сташенков*, 2010: 111–116]. До сих пор не решен вопрос об этнокультурной принадлежности именьковских памятников [*Матвеева*, 2003; *Седов*, 2001: 5–15]. Здесь сказывается неравномерность изученности разных категорий памятников этой культуры: в Татарстане исследовались преимущественно могильники [*Старостин*, 2001: 40–45], в Самарском и Ульяновском Поволжье (как и в Мордовии) –

© Руденко К. А., 2015

поселения, чаще всего городища. Исследования последних лет именьковских поселений в Татарстане [*Руденко*, 2010; 2011] и могильников в Ульяновском Поволжье и Самарской области позволили скорректировать ряд положений, касающихся хронологии и этнокультурных компонентов [*Руденко*, 2012: 160–162; 2013: 58–74].

Особый интерес представляют вопросы, связанные с культовой практикой этих племен. К моменту выделения именьковской культуры в начале 1950-х гг. считалось, что основной обряд погребения у именьковцев – кремация; в 1980-х гг. была установлена биобрядность их погребального культа, вызвавшая дискуссию в научных кругах [*Казаков*, 1996: 40–57; *Матвеева*, 1996: 58–65]. Своеобразие расположения погребальных памятников и особенности ряда элементов похоронных ритуалов [*Старостин*, 2001: 40–45; *Казаков*, 2004: 76–85] позволили высказать ряд мнений по поводу специфики мировоззрения и культовых практик именьковского населения на территории Казанского Поволжья. Однако только новые материалы с раскопок поселений, прежде всего Тетюшского II городища в Тетюшском районе Татарстана, дали возможность вплотную исследовать эти вопросы на материале не только могильников, но и поселений [*Руденко*, 2014а: 161–166; 2014б: 106–128; 2014в: 42–60].

Тема, которая практически не рассматривалась ранее, – выделение сакрального пространства на именьковских памятниках, т. е. среды общения человека с высшим миром, местами проведения ритуалов и культовых действий. Предположение о культовом характере именьковского городища Шелом в Спасском районе Татарстана как «жертвенного места» было высказано Б. Б. Жиромским в конце 1950-х гг. и поддержано А. П. Смирновым. В 1960-х гг. эта гипотеза была отвергнута П. Н. Старостиным, после чего данные вопросы по отношению к именьковским памятникам рассматривались лишь эпизодически. Сакральные действия – различные ритуалы и религиозные обряды, как правило, привлекали внимание ученых только с точки зрения погребальных практик, как сюжет по этнокультурной атрибуции.

Интерпретация сакральных территорий у именьковского населения стала возможной только после определения комплекса культовых предметов, использовавшихся в ритуалах, и их связей с какими-либо видами деятельности в профанном мире. Из выявленных к настоящему времени предметов такого характера (что освещено в работах П. Н. Старостина, Г. И. Матвеевой, К. А. Руденко и др.) отметим миниатюрную глиняную пластику, в числе которой стилизованные фигурки животных, человека, различные объемные формы (сигаровидные, подцилиндрические и т. п.), а также миниатюрные сосуды. Из бытовых предметов к числу культовых (в особых ситуациях) нужно причислить глиняные прясла с орнаментами и без них. Можно предполагать, что глиняные копии янтарных и стеклянных бус, подвесок, глиняные шарики небольшого размера и т. п. могут быть жертвенными или культовыми предметами.

Анализ этого явления в настоящее время неполон: изучено очень мало именьковских селищ, что не позволяет провести комплексный анализ данных явлений, хотя имеющиеся наблюдения на раскопанных селищах [*Руденко*, 1998: 185–197] результатам, полученным при исследовании городищ, в целом не противоречат. В данном вопросе если ориентироваться только на один вид источников, например, могильники, то при интерпретации археологических данных можно впасть в заблуждение. Так, использование коня, точнее его частей (череп и ноги), в жертвенных погребальных комплексах именьковских могильников по обряду ингумации отнюдь не связано с широким развитием коневодства и в целом культом коня у этого населения, а глиняные миниатюрные фигурки, традиционно именуемые коньками в большинстве случаев, вовсе не изображают этих животных и к этому явлению отношения не имеют. Гипотезы о земледельческих культах именьковского населения также пока не подтверждаются новыми материалами.

Критерии. Выявлены следующие признаки священного места для памятников именьковской культуры в Казанском Поволжье, связанные друг с другом: 1) место или площадка на городище, реже – все городище; 2) металлургическое и/или кузнечное производство; 3) наличие культовых предметов со следами ритуальных действий; 4) особенный состав остеологических материалов. Косвенным признаком может служить расположение городища на очень маленькой площади, не приспособленной для жилья, без культурного слоя, но с солидными укреплениями (городища Сокол I и II).

Топография. Чаще всего священные места располагались на мысовых городищах небольшой площади, расположенных на высоких береговых террасах Волги (Шелом, Тетюшское II) и Камы (Троицко-Урайское), реже – в глубине террасы в излучине реки или в оврагах (Именьковское городище; V Малополянское и Рождественское селища). На II Тетюшском городище сакральное место, судя по находкам культовых глиняных фигурок и прясел, подвергнувшихся «ритуальной» очистке

огнем (случайность здесь исключается), совпадало с местом расположения производственной площадки, которая к тому времени могла функционировать либо уже не использовалась. Иначе говоря, сакральное место территориально было, с одной стороны, обособлено от жилой территории (хотя и находилось на не очень большом расстоянии от нее), а с другой – непосредственно было связано с ним, т. е. имело некое практическое назначение в сознании именьковского населения.

Хронология. Функционировали места такого типа вVI–VII вв. [*Руденко*, 2014а: 161–166; 2014б: 106–128].

Таким образом, в Казанском Поволжье на поселениях именьковской культуры VI–VII вв. н. э. выявлены места, связанные с проведением определенных ритуальных действий и, вероятно, считавшиеся священными. Располагались они на небольших городищах или селищах. Там, где зафиксированы жилые постройки, сакральное пространство определялось поблизости от них. Имеется определенная связь между священным местом и производственными объектами, связанными с плавкой железной руды и металлургией меди. Дальнейшие археологические исследования, особенно на селищах, позволят скорректировать высказанные предположения.

Казаков Е. П. К вопросу о турбаслинско-именьковских памятниках // Культуры Евразийских степей вт. пол. I тыс. н. э. – Самара, 1996. – С. 40–57.

Казаков Е. П. Кенотафы эпохи Тюркских каганатов в низовьях р. Камы // Древности Востока. – Москва, 2004. – С. 76–85.

Матвеева Г. И. К вопросу о происхождении погребений с трупоположениями на территории именьковской культуры // Культуры Евразийских степей второй пол. I тыс. н. э. – Самара, 1996. – С. 58–65.

Матвеева Г. И. Памятники лбищенского типа – ранний этап именьковской культуры // Культуры Евразийских степей вт. пол. I тыс. н. э. (вопросы хронологии). – Самара, 1998. – С. 87–96.

Матвеева Г. И. Среднее Поволжье в IV–VII вв.: именьковская культура : учеб. пособие. – Самара : Самар. ун-т, 2003. – 160 с.

Руденко К. А. Малополянское V селище // Культуры Евразийских степей вт. пол. I тыс. н. э. (вопросы хронологии). – Самара, 1998. – С. 185–197.

Руденко К. А. Тетюшское II городище в Татарстане. – Казань : Заман, 2010. – 152 с.

Руденко К. А. Древние Тетюши. Археологическое исследование. – Казань : Заман, 2011. – 144 с.

Руденко К. А. Тетюшское II городище: датировка и особенности материальной культуры // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2012. – Т. 30, № 2. – С. 160–162.

Руденко К. А. О характере взаимоотношений кочевых угров и оседлого населения Среднего Поволжья в «эпоху великого переселения народов» (по материалам Тетюшского II городища в Татарстане) // Теория и практика археологических исследований. – 2013. – № 2 (8). – С. 58–74.

Руденко К. А. Производственные культы и обряды у населения Среднего Поволжья во второй половине I тыс. н. э. по археологическим данным: к проблеме выявления и интерпретации // Религия в истории народов России и Центральной Азии. – Барнаул, 2014а. – С. 161–166.

Руденко К. А. О магических и культовых предметах именьковской культуры: к вопросу о мировоззрении населения Казанского Поволжья в эпоху великого переселения народов // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. – Барнаул, 2014б. – Вып. VII. – С. 106–128.

Руденко К. А. Клад железных топоров с Тетюшского II городища в Татарстане эпохи раннего средневековья // Теория и практика археологических исследований. – 2014в. – № 1 (9). – С. 42–60.

Седов В. В. К этногенезу волжских булгар // РА. – 2001. – № 2. – С. 5–15.

Старостин П. Н. Памятники именьковской культуры. – Москва : Наука, 1967. – 97 с. – (САИ ; вып. Д 1-32).

Старостин П. Н. О топографии могильников именьковской культуры // Вопросы древней истории Волго-Камья. – Казань, 2001. – С. 40–45.

Сташенков Д. А. О ранней дате именьковской культуры // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции : краевед. записки / отв. ред. Л. В. Кузнецова. – Самара, 2010. – Вып. XV. – С. 111–116.

А. Н. Сарапулов

Россия, Пермь, государственный гуманитарно-педагогический университет

РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПАХОТНОГО ОРУДИЯ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

The article deals with the reconstruction of the mediaeval tillage implement. The classification shows that all the shares form a group of ard shares. The analysis of quantitative and qualitative attributes of the shares reveals that ards fitted with them had horizontal or nearly horizontal soles.

С конца XI – начала XII в. н. э. на территории Пермского Предуралья распространяется пашенное земледелие. Среди находок, относящихся к земледельческому инвентарю, на поселениях и в могильниках при раскопках встречаются железные наконечники пахотных орудий. На современном этапе исследования установлено 71 местонахождение наконечников пахотных орудий, имеется информация о 233 целых наконечниках и 6 обломках, из них обработано 99 целых наконечников пахотных орудий и 5 обломков. Все имеющиеся в нашей базе данных наконечники были подвергнуты классификации по функциональному принципу. В качестве критериев использовались показатели, предложенные Ю. А. Красновым [*Краснов*, 1978: 98–114] и дополненные нами.

Для классификации выбраны такие же таксономические единицы, которые использует Ю. А. Краснов.

ОТДЕЛ. Втульчатые (с трубицей) (рис. 1).

ГРУППА I. Наконечники рала (ральники) (рис. 1). Все наконечники, подвергшиеся классификации, являются ральниками, т. е. составляют одну группу. Средняя ширина втулки (трубицы) (d_1) таких наконечников составляет 81 мм при отношении общей длины к наибольшей ширине (L/d_2) – 1,3. Поперечное сечение втулки (трубицы) у них, как правило, овальное, относительная ширина втулки (трубицы) и лопасти различна, рабочий конец заостренный, умеренно заостренный или округлый. Все наконечники симметричны, за исключением отдельных экземпляров, асимметричность которых была непреднамеренной.

Подгруппа 1. (5 экз.). «Роговые» ральники (рис. 1: *1, 2*).

Подгруппа 2. (94 экз.) (рис. 1: *3–5*). Оставшуюся часть наконечников возможно отнести лишь к одной подгруппе, в которую попали наконечники с разной выраженностью плечиков относительно ширины лопасти. Плечики этих наконечников образованы путем разрубания железной пластины-заготовки орудия. Наконечники имеют следующие размеры: общая длина наконечника (L) – 124–242 мм, ширина лопасти (d_2) – 70–180 мм, ширина трубицы (d_1) – 60–110 мм. Все они имеют овальную в сечении втулку (трубицу), разную форму заострения лопасти, на многих из них присутствует наварка.

После классификации наконечников можно проводить реконструкцию пахотного орудия, использовавшегося на территории Пермского Предуралья в период развитого средневековья.

Отнесение всех имеющихся в нашей коллекции наконечников к группе I свидетельствует о том, что они принадлежали ралам.

Классификация рал с территории Восточной Европы была подробно разработана в трудах Ю. А. Краснова [1987].

С большой долей вероятности анализируемые нами ральники могли принадлежать ралам типа I (однорукояточные прямогрядильные рала со стойкой между грядилем и ральником) (рис. 2), о чем свидетельствуют функциональные характеристики самих ральников. Относительная широколопастность и выраженность плечиков указывают прежде всего на то, что рало имело горизонтальный полоз, т. е. было подошвенным. Некоторая отогнутость лопасти ральников в направлении к втулке (трубице) также свидетельствует об их горизонтальном или близком к горизонтальному положении к обрабатываемой поверхности (рис. 2: *2, 3*).

Ральники **подгруппы 1**, имеющие овальную в сечении и небольшую по длине втулку (трубицу), принадлежали к ралам с горизонтальным или близким к горизонтальному положением полоза (рис. 2: *2, 3*). «Рога» в данном случае являются более прогрессивным конструктивным элементом, нежели плечики, так как, с одной стороны, по ним сползала земля, а с другой стороны, один из краев, подогнутый

© Сарапулов А. Н., 2015

Рис. 1. Наконечники пахотных орудий с территории Пермского Предуралья

Рис. 2. Пахотные орудия

в сторону сильнее, чем другой, мог подрезать пласт земли. По-видимому, происхождение ральников этой подгруппы связано с генезисом широколопастных ральников (с ярко выраженными плечиками, образующими с втулкой (трубицей) прямой угол) подгруппы 2. Поэтому «роговые» ральники, скорее всего, имеют позднее происхождение. Они напоминают по виду наконечники сох-курашимок (рис. 2: *1*), распространенных в Пермской губернии в XVI–XIX вв. Соха-курашимка (рис. 2: *1*) имела один наконечник и пригнанный к заднему краю последнего отвал с довольно широкой вогнутой поверхностью. Курашимский наконечник насаживается на конец рассохи несколько наискось, причем левое перо, загнутое сильнее правого, принимает вертикальное положение и исполняет вследствие того роль резца [*Теплоухов*, 1892: 26, 28]. Вполне может быть, что существовавший у родановского населения «роговой» ральник был заимствован активно переселявшимся русским населением в Прикамье в период русской колонизации (с начала XVI в. н. э.) и, исходя из их агоротехнического опыта, стал наконечником сохи, т. е. остов был оставлен как у обыкновенной русской сохи, был прикреплен отвал, а один из краев самого наконечника был отогнут и стал выполнять роль резца.

Ральники **подгруппы 2** могли принадлежать однорукояточным прямогрядильным ралам со стойкой между грядилем и полозом (рис. 2: *2, 3*). Этот тип рал является территориально наиболее широко распространенным типом как по археологическим и иконографическим данным, так и по этнографическим. Его ареал охватывает практически всю территорию распространения пашенного земледелия в Евразии [*Краснов*, 1965: 63–67, 77–78].

Этнографическими материалами рала в Прикамье не зафиксированы. Вероятно, с массовым проникновением в край русского населения их быстро вытеснили обыкновенные русские сохи, более пригодные для лесных почв. Поэтому реконструировать основные технологические особенности орудия позволяет нам анализ количественных и качественных характеристик самих наконечников.

Широколопастность и сравнительно большие размеры плечиков свидетельствуют о том, что рало было подошвенным, т. е. с горизонтальным положением полоза. Это необходимо для того, чтобы при движении разрыхлить борозду более широкую, тогда деревянная подошва рала пойдет по этой борозде без затора. Ральники со слабо выраженными плечиками и заостренным рабочим концом могли использоваться с положением полоза под небольшим углом к почве, что регулировалось, по-видимому, конструкцией самого рала. Прямизна продольного сечения лопасти может быть объяснена тем, что соответствующие им рала имели высокий клиновидный полоз. Толщина полоза, если сравнивать ее с внутренней шириной втулки (трубицы) ральников, могла составлять 60–110 мм. Упло-

щенное или эллипсоидное поперечное сечение лопасти также свидетельствует о том, что рало было с полозом, а наконечник мог находиться в положении, близком к горизонтальному. Об этом же свидетельствует короткая или средней длины втулка (трубица). На большинстве наконечников имеются наварные полоски, которые делались для того, чтобы придать прочность и жесткость рабочей части ральника, что свидетельствует о трудности вспашки.

Рала могли иметь стойку между рабочей частью и грядилем, которая придавала жесткость конструкции орудия и могла быть использована для регулирования глубины вспашки.

В качестве тягловой силы использовалась лошадь, о чем свидетельствует ряд археологических данных. М. В. Талицкий подсчитал возрастной состав лошадей и пришел к выводу, что с XI–XII вв. н. э. возраст лошадей увеличивается, т. е. молодых лошадей перестают использовать в пищу и, по-видимому, сохраняют в качестве тягловой силы [*Талицкий*, 1951: 44]. Кроме того, В. А. Оборином на городище Анюшкар была найдена костяная рукоятка, на которой был вырезан рисунок, представляющий собой, по мнению ученого, реалистическую картину, автором которой является один из обитателей Анюшкара. На рукоятке была изображена «пашня, слабо заболоченная пойма Иньвы с заливными лугами, на которой пасется лошадь, использовавшаяся для обработки пашни» [*Оборин*, 1956: 66–75]. Это изображение еще раз подтвердило предположение о применении тягловой силы в обработке полей.

Как отмечают исследователи, подошвенные прямогрядильные рала были наиболее приспособленными для разного типа почв. Орудием с горизонтальным положением полоза, скорее всего, в большей степени распахивали старопахотные почвы, а орудиями, у которых наконечник располагался несколько под углом к почве, обрабатывали целинные земли [*Краснов*, 1987: 77–78].

Таким образом, наконечники, найденные на изучаемой территории, являются наконечниками рал с горизонтальным или близким к горизонтальному положением полоза. С проникновением в край русского населения широкое распространение получают более удобные для обработки местных почв различные виды сох, которые со временем вытесняют менее удобные рала.

Краснов Ю. А. Древнейшие упряжные пахотные орудия. – Москва : Наука, 1965. – 183 с.

Краснов Ю. А. Опыт построения классификации наконечников пахотных орудий (по археологическим материалам Восточной Европы) // СА. – 1978. – № 4. – С. 98–114.

Краснов Ю. А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. – Москва : Наука, 1987. – 234 с.

Оборин В. А. К истории земледелия у древних коми-пермяков // СЭ. – 1956. – № 2. – С. 66–75.

Талицкий М. В. Верхнее Прикамье в X–XIV вв. // МИА. – 1951. – № 22. – С. 4–58.

Теплоухов Ф. А. Земледельческие орудия Пермской Чуди. – Пермь : Тип. Н-ков Каменского, 1892. – 18 с.

Р. М. Сатаев[1], Н. А. Дубова[1], Л. В. Сатаева[2], В. В. Куфтерин[3]

Россия, [1]Москва, Институт этнологии и антропологии РАН,
[2] Уфа, Башкирский государственный аграрный университет,
[3]Башкирский государственный педагогический университет

СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ ЮГА СРЕДНЕЙ АЗИИ В СРАВНЕНИИ С ТАКОВОЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И СОВРЕМЕННОСТИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

The results of complex studies of archaeological sites of Turkmenistan (Bronze Age site Gonur Depe, multilayer New Nisa city and medieval Ancient Merv) and of Tajikistan (Ephtalite cemetery Shakhidon) are analyzed on the base

---

© Сатаев Р. М., Дубова Н. А., Сатаева Л. В., Куфтерин В. В., 2015

of the opposition of azonal-zonal systems. It is shown that this model can be used to compare the strategies of interaction of human communities and the natural environment in the case of archaeological objects and ethnological ones as well.

Задача выяснения особенностей материального обеспечения социумов, которое представляет собой результат взаимодействия человеческих коллективов с окружающей природной средой, одинаково актуально стоит как перед этнологами, так и перед археологами. Очевидно, что материальная культура является необходимым субстратом и для развития духовной культуры. Само взаимодействие общества и природы реализуется в виде многокомпонентных систем жизнеобеспечения, в большей или меньшей степени отвечающим экологическим реалиям освоенной территории [*Алексеев*, 1975; 1984; *Крупник*, 1977; 1989; *Арутюнов*, 1980; 1989; 2000; *Культура жизнеобеспечения...*, 1983; *Козлов*, 1983; 1991; 1994; *Ямсков*, 2009а; 2009б]. Поскольку общий научный интерес представляет установление общих закономерностей этого историко-культурного процесса, этнологи не могут обойтись без привлечения ретроспективных данных, а археологи – без использования этнологических аналогий. Кроме того, нужно учитывать, что, когда мы говорим об обществах, не оставивших письменных свидетельств, ретроспективные данные – это исключительно археологические материалы (артефакты и экофакты). Тогда возникает вопрос: как сопоставлять результаты археологических исследований с этнологическими наблюдениями?

Здесь нужно вспомнить, что, говоря о системах жизнеобеспечения современных или древних обществ, мы в действительности ведем речь об их моделях (этнологических или археологических и не всегда однозначных), с той или иной степенью приближения отражающих структуру реально существующих систем, иерархию составляющих их элементов и характер связей между ними. Поэтому нужна модель, одинаково применимая и к современным традиционным системам, и к древним – реконструируемым на основе археологических источников (для письменного периода – не только археологических).

Наиболее простой и операционной нам представляется модель оппозиции азональных – зональных систем. Азональные системы тесно не связаны с условиями природных зон, поэтому могут реализовываться в разных вариациях независимо от зональной приуроченности. Зональная же система реализуется в строгой зависимости от вполне определенных природно-климатических условий и ресурсов, присущих какой-либо природной зоне (т. е. в другой природной обстановке реализоваться не может).

Предлагаемая модель в содержательном плане близка к характеристикам двух типов антропогеоценозов В. П. Алексеева [2007]. Согласно В. П. Алексееву, первый тип антропогеоценозов «характеризуется преобладающей ролью природной среды, которая в значительной степени определяет в них интенсивность хозяйственной деятельности, численность хозяйственных коллективов, направление динамики антропогеоценоза и его устойчивости». Второй тип антропогеоценозов отличается ориентацией на развитые формы хозяйства: земледелие, стойловое и полукочевое скотоводство, что «предоставляет хозяйственным коллективам гораздо больше перспектив развития в виде повышения производительности и интенсивности труда, направленного изменения географической среды, создания пищевых запасов и, следовательно, освобождения от непосредственной и повседневной зависимости от эксплуатируемой территории» [*Алексеев*, 2007: 470–471].

Можно заметить, что «зональные» системы в идеале ориентированы на достижение наилучшего приспособления к природно-ресурсным условиям зоны проживания социума, сильно специализированы, закрыты и слабо пластичны. «Азональные» системы толерантны, в большей степени открыты, включают универсальные элементы, которые позволяют им реализовываться в различных природных зонах, но при этом слабее адаптированы к конкретным природно-климатическим условиям и подвержены кризисным явлениям, нередко являющимся последствиями функционирования самой системы жизнеобеспечения. А. Г Исаченко [2010] называет это явление ответной реакцией ландшафта на антропогенное воздействие. Таким образом, «зональные» системы развиваются в сторону усиления связи-зависимости (вплоть до абсолютизации) человеческих коллективов с окружающими условиями, а «азональные» – в направлении автономизации от них.

Предложенный выше подход для сравнительной оценки систем жизнеобеспечения традиционных и древних обществ не один год реализуется авторами в своих исследованиях, в том числе в рамках проекта РФФИ № 13-06-00233. Проиллюстрируем все вышесказанное на результатах комплексных исследований систем жизнеобеспечения населения разных исторических эпох Средней Азии.

Изученные археологические памятники включают городище эпохи бронзы Гонур Депе, многослойное городище Новая Ниса, средневековый город Древний Мерв (Туркменистан) и могильник эфталитского времени Шахидон (Таджикистан).

В процессе исследования изучались археологические (в том числе зооархеологические и археоботанические) и палеоантропологические данные, проводился сбор этнографической информации. Объектами исследования были орудия труда и другие приспособления, а также разнообразные свидетельства эксплуатации природных ресурсов (растительные и животные остатки – земледелие, лесопользование, охота, животноводство; признаки обработки почвы, добычи полезных ископаемых и др.), а также палеоантропологические данные. Последнее обусловлено тем, что «характер и степень антропогенизации окружающей среды и пространства отражают состояние и жизнеспособность социально-экономической сферы человеческого общества» [*Селиверстов*, 1990: 15] и, несомненно, влияют на условия труда, быта, отдыха, питания, воспроизводства и поведения людей, которые обычно объединяют под термином «качество жизни» [*Кочуров*, 2003]. В свою очередь основной мерой качества жизни для традиционных обществ, вероятно, будут демографические (рост продолжительности жизни, снижение уровня детской смертности, увеличение плотности населения и в целом рост численности) и медицинские показатели (увеличение процента возрастных дегенеративных изменений, переход ряда заболеваний в хроническую форму, рост так называемых профессиональных заболеваний) [*Дубова*, 1991; *Комарова*, 1991; *Сатаев*, 2011].

На основе полученных данных, с использованием предлагаемого подхода были сделаны следующие выводы:

1. Система жизнеобеспечения древнего населения городища бронзового века Гонур Депе и средневекового города Древний Мерв относится к «азональному» типу, поскольку характер ведения хозяйства (в том числе состав стада домашних животных, спектр культивируемых растений, а также особенности их использования) не был строго детерминирован местными природными условиями. При этом как палеодемографические, так и палеопатологические данные показывают хорошую адаптацию населения к аридным условиям среды.

2. Материал из многослойного городища Новая Ниса демонстрирует в своей динамике (первые века до н. э. – XVII в.) значительную зависимость хозяйственного уклада (в первую очередь характера животноводства) от изменяющихся условий природной среды, т. е. система близка к «зональному» типу.

3. Особым случаем являются данные, полученные при изучении материала из могильника Шахидон. Известно, что материал из могильников сложно интерпретировать в плане реконструкции жизнеобеспечения населения. Однако уникальность самого памятника стала причиной попыток сделать некоторые заключения предположительного характера. Так, встречаемость стрессовых маркеров у погребенных невысока, что говорит о хорошей адаптированности населения к условиям среды. Встреченные в погребениях остатки животных принадлежат лошади и козе. При этом лошадь (за редким исключением, помещалась в погребения в виде «шкуры» – голова и конечности) по своим экстерьерным показателям относится преимущественно к «средней» категории и в целом соответствует лошадям кочевников степей Евразии. Можно предположить, что система жизнеобеспечения населения, оставившего могильник, не была ни обусловлена местной обстановкой, ни адаптирована к локальным природным условиям. Возможно, это другая форма «азональной» системы, характерной не для земледельцев, а для кочевников и стойко проявляющейся независимо от природной зональности.

4. Результаты этнологических наблюдений (было опрошено 87 семей – более 50 % таковых в поселении) в пределах кишлака Шайдон (джамоат Сари Хосор, Балджуванский нахият, Хатлонский вилоят) показывают, что население достаточно эффективно использует природно-климатические условия и ресурсы, во многом сохраняя традиционный образ жизни. Последнее обусловлено спецификой географического положения и природных условий, в которых жизнеобеспечивающие инновации малоэффективны, а также сравнительной труднодоступностью селения. Такая система может быть отнесена к разряду «зональных».

В заключение отметим, что модель бинарной оппозиции «азональные» – «зональные» системы вполне можно использовать для сравнения стратегий взаимодействия человеческого коллектива с окружающей природной средой независимо от того, какие данные берутся за основу – археологические или этнологические.

Алексеев В. П. Антропогеоценозы – сущность, типология, динамика // Природа. – 1975. – № 7. – С. 18–23.

Алексеев В. П. Генезис антропогеоценозов // Становление человечества. – Москва : Политиздат, 1984. – С. 348–383.

Алексеев В. П. Избранное. Т. 1. Антропогенез. – Москва : Наука, 2007. – 711 с.

Арутюнов С. А. Культурологические исследования и глобальная экология // Вестн. АН СССР. – 1980. – № 12. – С. 92–98.

Арутюнов С. А. Культура жизнеобеспечения и ее место в культурной динамике этноса // Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – Москва : Наука, 1989. – С. 200–229.

Арутюнов С. А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие. – Lewiston – Queenston – Lampeter : The Edwin Mellen Press, 2000. – 385 с.

Дубова Н. А. Биологические аспекты этнической экологии // Этническая экология: теория и практика. – Москва, 1991. – С. 77–100.

Исаченко А. Г. Географические корни древнейших цивилизаций // Изв. РГО. – Москва, 2010. – Т. 142, вып. 4. – С. 1–22.

Козлов В. И. Основные проблемы этнической экологии // СЭ. – 1983. – № 1. – С. 3–16.

Козлов В. И. Жизнеобеспечение этноса: содержание понятия и его экологические аспекты // Этническая экология: теория и практика. – Москва, 1991. – С. 14–43.

Козлов В. И. Этническая экология: становление дисциплины и история проблем.– Москва : ИЭА РАН, 1994. – 230 с.

Комарова О. Д. Демографические аспекты этнической экологии // Этническая экология: теория и практика. – Москва, 1991. – С. 44–76.

Кочуров Б. И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. – Москва ; Смоленск : Маджента, 2003. – 384 с.

Крупник И. И. Факторы устойчивости и развития традиционного хозяйства народов Севера: к методике изучения этноэкологических систем : автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1977. – 23 с.

Крупник И. И. Арктическая этноэкология. Северная Евразия. – Москва : Наука, 1989. – 272 с.

Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурного исследования (на материалах армянской сельской культуры). – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1983. – 319 с.

Сатаев Р. М. Исторические аспекты изучения природопользования / Р. М. Сатаев, Л. В. Сатаева, В. В. Куфтери и др. // Проблемы региональной экологии. – 2011. – № 6. – С. 12–17.

Селиверстов Ю. П. Антропогенизация природной среды – важнейшая причина геоэкологических кризисов // Геоэкология: глобальные проблемы. – Ленинград, 1990. – С. 15–22.

Ямсков А. Н. Трактовки понятия «жизнеобеспечение» в этнической экологии и возможный подход к изучению культурной адаптации // Этнос и среда обитания. – Москва, 2009а. – Т. 1. – С. 73–94.

Ямсков А. Н. Этноэкосистема: содержание понятия и история его развития в отечественной этноэкологии // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы. – Москва, 2009б. – Вып. 34. – С. 130–142.

В. И. Семенова

Россия, Тюмень, государственная академия культуры, искусств и социальных технологий

АТРИБУЦИЯ РУКОЯТЕЙ НОЖЕЙ С БИБЛЕЙСКИМИ СЮЖЕТАМИ (СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ С СЕВЕРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Subject of given clause are two metal handles of XVIII century. Similar subjects from the north of the Tyumen region are published by S. I. Rudenko, A. G. Chernov, O. A. Murashko and N. A. Krenke. Typologically all hafts

© Семенова В. И., 2015

make a series. They have ellipse section with expanded pommels and covered by ornaments and biblical stages of tsar Solomon law-courts.

Предметом данной статьи служат две металлические рукояти, являющиеся случайными находками с севера Тюменской области. Аналогичные предметы опубликованы С. И. Руденко [1914: 39–40], А. Г. Черновым [1951: 102–103], О. А. Мурашко и Н. А. Кренке [2001: 37]. Все они имеют эллипсоидное сечение с расширенными затыльниками, покрыты орнаментами, сценами, которые Е. Елькова связывает с изображением судов царя Соломона [*Мурашко*, 2001: 37].

Первая рукоять длиной 11 см полая, украшена 6 клеймами с сюжетами – по 3 на каждой стороне (клейма пронумерованы, на одной стороне – нечетными номерами, на другой (оборотной) – четными) (рис.: *а*). Два верхних клейма ориентированы зеркально четырем нижним, одно из последних утрачено. Верхние клейма разделены с нижними валиками – одним тонким, гладким и тремя, имитирующими шнур, средний из которых широкий. Под широким пояском с одной стороны есть зона треугольников, обращенных вершинами вниз, с другой ее нет. Сверху клейма обрамлены тонким шнуровым валиком и пояском из чередующихся гладких и заштрихованных треугольников. Четыре нижних клейма разделены тонкими шнуровыми валиками, снизу идет валик и бордюр из квадратов с точками в центре, окончание гладкое. На клеймах все фигуры изображены в профиль.

На клейме 1 изображены три фигуры. Слева – стоящая в одеянии до колен с согнутой в локте правой рукой, безбородым лицом, длинными волосами. Справа к ней обращены на переднем плане коленопреклоненная, за ней стоящая с протянутой вперед рукой в подпоясанном кафтане. Между фигурами находится неясный предмет (сундук, ящик). За правой стоящей фигурой колонна с капителью. Перед левой фигурой плохо просматриваемая часть драпировки (велума), что указывает на то, что сцена внутри здания.

На оборотной стороне на клейме 2 изображено пять фигур. Слева – стоящая в длинном кафтане, в центре – персонаж, держащий ребенка вниз головой за ноги и замахнувшийся мечом. Справа лицом к ним – одна стоит, слегка откинувшись назад с протянутой вперед рукой, вторая коленопреклоненная. Ребенок и коленопреклоненная фигура читаются плохо. Нож в руках экзекутора слился с велумом.

На клейме 3 изображены три фигуры. Правая фигура в короткой одежде стоит, правая рука согнута, левая подпирает подбородок. Две невысокие одинаковые фигуры слева повернуты к ней лицом и стоят на возвышении.

На клейме 4 изображены три стоящие фигуры: левая держит мешок (кошелек), напротив нее – две фигуры.

На клейме 6 (5-е утрачено) – три фигуры. Слева сидящая у кулисы в длинном одеянии протягивает правую руку. Две фигуры справа обращены лицом к ней и стоят друг за другом. Обе в длинной одежде. Ближняя предстоящая фигура протягивает кубок.

На овальной плоскости затыльника рукояти размерами 4,5 × 3,3 см изображены две зеркальные фигуры в профиль.

Вторая рукоять массивная, цельнолитая, длиной 10,7 см, внутри сохранился обломок черенка и деревянные клинья (рис.: *б*). Рукоять украшена орнаментальными поясками и четырьмя клеймами – по два на каждой стороне, разделенными шнуровыми валиками. Сверху клейма обрамлены двумя бордюрами – дугообразным и зигзагообразным. Нижняя оконечность рукояти орнаментирована дугообразными бордюрами сверху и снизу, по центру – с одной стороны желоб, с другой – вытянутые окружности. Декоративная композиция в нижней части рукояти ориентирована зеркально к основной. Она представляет собой как бы сцену, окаймленную ниспадающей занавесью. У клинка поверхности рукояти выемчатые, закругленные и гладкие. Поверхность затыльника рукояти размерами 4,5 × 3,4 см гладкая, с отверстием в центре, в котором виден деревянный клин. Рукоять отлита небрежно и не имеет доработки гравировкой.

Клеймо 1 – верхнее, изображает плохо пропечатанные очертания какого-то строения (дворца? храма?) с треугольным, выступающим по центру фронтоном, в центре его – арочное окно. Фасад трехчастный: в центре под фронтоном – арочный вход, по бокам под уплощенной крышей – по арочному окну. Клеймо 2 – нижнее, здесь две фигуры, левая в коротком до колен одеянии стоит фронтально, руки согнуты в локтях в величавом жесте и направлены в сторону второй фигуры, припадающей к ногам первой. Вся сцена обрамлена занавесью. Голова стоящей фигуры находится на фоне левой половины верхней части занавеси, от некачественной отливки она кажется «рогатой».

На оборотной стороне рукояти на клейме 3 изображен всадник, скачущий влево, перед мордой коня изображено дерево. Клеймо 4 – нижнее, с двумя фигурами. Левая сидит на табурете, тулово развернуто фронтально, в правой руке меч (жезл?), левая согнута в локте и в величавом жесте поднята и направлена к предстоящей фронтальной фигуре в длинном платье с рукавами. Правая рука фигуры согнута в локте и прижата к сердцу, левая опущена вниз вдоль тела.

Определенное толкование имеет только сцена на клейме № 2 первой рукояти о споре из-за младенца. Аналогичная сцена есть на рукояти из Халас-Пугора (рис.: *в*). Наиболее популярными в народной культуре кроме судов Соломона были строительство храма, поимка Асмодея-Китовраса, визит царицы Савской, похищение жены Соломона.

Сцена на клейме 1 близка по композиции имеющейся на рукояти из Халас-Пугора. На ней также есть одна фигура в профиль слева, ее рука согнута в локте, но в ней царский жезл, опущенный на плечо, справа – не одна, а три фигуры (одна коленопреклоненная, две стоящие), за ними – колонна. В протянутой руке первой стоящей фигуры – Ш-образный предмет. Коленопреклоненная фигура опирается на предмет, также напоминающий ящик (сундук). Изображение на рукояти из Халас-Пугора более качественное. Ш-образную фигуру можно интерпретировать как три ларца (три сосуда, три ковчега, три лукна) на подносе. Можно предположить, что речь идет о первом суде, на котором разбирался спор трех братьев о наследстве. Отец зарыл в земле сокровище – три ларца с золотом, костями и землей. Золото было предназначено для старшего. Младшие возмутились и потребовали честного дележа. Мудрый Соломон рассудил, что золото должно достаться старшему, а двум другим – скот и земля. Общий смысл может быть прочтен как прошение справедливого суда. На клейме 3, возможно, изображен спор о наследстве раба и законного сына. На клейме 4, возможно, суд об украденном в дороге золоте. Соломон определяет вора, рассказав притчу о девушке, которая не может выйти замуж за избранника, потому что ранее была помолвлена с другим. Она упрашивает жениха получить разрешение у его предшественника. В пути на них нападает разбойник, который, услышав рассказ, проявляет великодушие. Соломон спрашивает, чей поступок благородней – девушки, которая не может нарушить слова, разбойника, впечатленного ее поведением, юноши, вернувшего данное слово. Приговор: кто удивился поступку разбойника, тот и украл. Возможно, здесь финал суда – возвращение украденного золота. На клейме 6 сцена напоминает близкую по композиции на рукояти из Халас-Пугора. Возможно, эта сцена подношения даров (кубка).

Прорисовки рукоятий: *а* – рукоять № 1; *б* – рукоять № 2; *в* – рукоять из могильника Халас-Пугор

Изображение на торце рукояти связано с темой двойничества, которая постоянна в истории Соломона. Самая главная – это утверждение, что Соломон и Китоврас братья, между которыми идет соперничество в мудрости, хитрости, власти. Косвенно эту версию может подтвердить изображение на торце рукояти из Халас-Пугора «дивьего зверя» – льва с высунутым языком (Китоврас-Асмодей?).

Рукоять № 2 аналогична рукояти с реки Щучьей, но исполнена хуже. В сценах передается сама идея прошения справедливого суда и вынесения вердикта торжественно восседающим на престоле Соломоном.

До XVII в. Давид и Соломон были известны высшим и грамотным сословиям русского общества и являлись высокими образцами идеального царствования. В росписях царских палат были сюжеты с участием Соломона. По мнению И. Е. Забелина, «библейская история послужила молодому государю (Ивану IV. – *В. С.*) во многом путеводным светочем» [*Забелин*, 1990: 152, 156]. Во дворце царя Алексея Михайловича были сцены благословения царем Давидом Соломона на царство, визита царицы Савской с дарами, судов Соломона и т. д.

В XVII в. происходит бурное развитие русской беллетристики [*Ярошенко-Титова,* 1974: 262, 265]. В этот период демократизации литературы именно Соломон становится излюбленным и популярным народным героем. Складываются повести о царе Соломоне [*Титова*, 1979: 343]. Повести сразу богато иллюстрировались, источниками для изображений явились народные «Библии бедных», изданные в Западной Европе. Наиболее популярна на Руси была библия Пискатора, а также русские библии такого рода, выполненные Ильей и Василием Корнем. В источниках XVIII в. упоминается о шутовской «игре о Соломоне» на Масленицу, в одном из эпизодов которой представляли суд над вором [*Асеев*, 1977: 169]. Для публики очень привлекательными были справедливость, хитроумность, находчивость царя Соломона. Распространение сюжетов о Соломоне в XVII в. связано со Смутным временем, в этом отразился всенародный запрос на справедливый суд, на идеального царя, на мир и стабильность. Известно, что он не воевал, но укреплял армию, Иерусалим, строил храм, был мудрым, справедливым правителем, т. е. представлял идеал царя, который был актуален на протяжении XVII–XVIII вв.

В XVIII в. мастера уже не совсем понимали детали. На книжных иллюстрациях-первоисточниках отчетливо видны велумы, колонны. У литейщиков кулисы превращаются в человекообразные фигуры, велумы – в рогатые головные уборы. Несмотря на это, рукояти являются ярким свидетельством распространения книжных сюжетов в декоративно-прикладном русском искусстве и могут быть включены в «народную книгу» средневековых сказаний Соломонова цикла [*Ярошенко-Титова*, 1974: 257], подтверждая сознательный выбор народом своих героев.

Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII в. – Москва : Искусство, 1977. – 576 с.

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – Москва : Книга, 1990. – 312 с. – (Историко-литературный архив).

Мурашко О. А. Культура аборигенов Обдорского Севера в XIX веке (по археолого-этнографическим коллекциям Музея антропологии МГУ) / О. А. Мурашко, Н. А. Кренке. – Москва : Наука, 2001. – 155 с.

Руденко С. И. Предметы из остяцкого могильника возле Обдора // Материалы по этнографии России. – Санкт-Петербург, 1914. – Т. 2. – С. 35–56.

Титова Л. В. Неизданная редакция «Повести о рождении и похождениях царя Соломона» // Тр. Отдела древнерусской литературы. Т. 33. Древние литературные памятники. – Ленинград, 1979. – С. 343–363.

Чернов Г. А. Археологические находки на реке Щучьей // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. – Ленинград, 1951. – Вып. XL. – С. 96–104.

Ярошенко-Титова Л. В. «Повесть об увозе Соломоновой жены» в русской рукописной традиции XVII–XVIII вв. (характеристика редакций) // Тр. Отдела древнерусской литературы. Т. 29. Вопросы истории русской средневековой литературы. – Ленинград, 1974. – С. 257–273.

Ю. Б. Сериков

Россия, Нижний Тагил, государственный социально-педагогический институт

К ВОПРОСУ ОБ ОДНОМ ИЗ ПРИЗНАКОВ СТАТУСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В КАМЕННОМ И БРОНЗОВОМ ВЕКАХ УРАЛА

Figured hammers, maces and discs are well known on the territory of Ural. Their characteristic feature is a round perforation 1,5 cm in diameter and more. The process of making such perforations was very labour-intensive, that is why we may classify such artifacts like prestigious. The main appropriation of them was to demonstrate special status, riches and power.

На территории Урала известна малочисленная группа изделий с отверстиями большого диаметра – от 1,5 см и больше. Датируются они в широком хронологическом диапазоне – от неолита до бронзового века. В эту группу входят фигурные молоты, булавы, подпятники и крупные диски.

Всего на Среднем и Южном Урале известно десять фигурных молотов (9 каменных и 1 из рога). Все они выполнены в виде голов животных: лося (3), бобра (2), белки, зайца, лошади (по 1). Один молот не закончен в обработке. Молот из рога лося изображает голову фантастического животного, по мнению автора, мамонта-щуки («кволи-козар»). Диаметр отверстий на молотах колеблется от 1,5 до 2,3 см. Поскольку сверление производилось встречным методом, диаметр сверлин с одной из сторон мог достигать 2,5–3 см [*Сериков*, 2014: 7–10].

Длина отверстий у фигурных молотов составляет от 4 до 10 см. Для их изготовления использовались полые сверла, выполненные из диафизов трубчатых костей копытных и других животных. Практически все фигурные молоты сверлились с двух сторон, причем сверлить начинали с нижней стороны изделия.

Интересно отметить, что почти все фигурные молоты являются случайными находками, и не всегда их местонахождение связано с археологическим памятником. Также интересно, что все фигурные молоты дошли до нас в целом виде.

Иная ситуация с каменными булавами. Все булавы обнаружены либо в погребениях, либо на святилищах. Из семи известных булав только три сохранились в целом виде. Отверстия в булавах производились путем встречного сверления как каменными сверлами, так и полой костью. Диаметр отверстий довольно стандартный – 1,9–2,5 см, но иногда доходил и до 3,5 см.

Уникальным изделием является навершие булавы в виде хрустального шара. Обнаружено оно в одном из кизильских курганов бронзового века в Челябинской области. Шар диаметром 5,7 см и высотой 3,8 см отшлифован, но не отполирован. При направленном освещении он аккумулирует свет и сверкает. В центре шара проделано сквозное коническое отверстие диаметром в широкой части 1,9 см, в узкой – 1,1 см. Академик Н. П. Юшкин подчеркивает, что изготовление подобного шара требовало наличия больших прозрачных кристаллов хрусталя, которые встречаются довольно редко, а также большого умения и затрат труда [*Юшкин*, 2005: 76].

Также в так называемом погребении литейщика (могильник бронзового века Сатыга XVI, Ханты-Мансийский округ) находилась крупная булава из гальки кварцитопесчаника. Еще одна целая булава найдена на дне Шигирского озера во время подводных археологических раскопок. Три расколотые булавы выявлены на искусственно насыпанных культовых холмах – Усть-Вагильском и Махтыльском (север Свердловской области). Еще одна разбитая пополам булава залегала в энеолитическом погребении Гладунино-3 (Курганская область).

Расколотые булавы (не менее 6 экз.) известны и на других культовых памятниках, но датируются они уже ранним железным веком.

В краеведческом областном музее Екатеринбурга хранится четыре изделия с недосверленными отверстиями. Раньше их считали незаконченными булавами, на самом деле это не булавы, а подпятники – орудия, служившие упором при добывании огня путем высверливания лучковым способом. Среди них интересен подпятник с могильника Тыня (Свердловская область), который изготовлен в виде птицы. Правда, относится он уже к средневековью. К этой же группе относится случайная находка из разработок на реке Сундук в бывшем Орском уезде. Она также названа булавой из горно-

© Сериков Ю. Б., 2015

го хрусталя в форме шара. Диаметр шара доходит до 5,5 см, диаметр глухой сверлины – 2 см [*Панина*, 2004: 256].

Большой интерес представляют крупные сверленые диски диаметром от 6,5 до 15 см с нанесенным на их поверхности гравированным орнаментом. Их всего четыре, и все они найдены на Среднем Урале. Причем три диска происходят с памятников на озерах: Аятском, Романовском, Шувакиш. И только один диск найден вне археологического памятника – на склоне горы у пос. Антоновский (окрестности Нижнего Тагила). Он и представляет наибольший интерес.

Изделие имеет овальную форму, диаметр длинной оси – 14 см, короткой – 11,8 см. Толщина диска – 1,5 см. Он изготовлен из мягкого сланца. Все поверхности тщательно отшлифованы. В центре изделия находится круглое отверстие диаметром 3,5–3,7 см. Оно образовано путем двустороннего пикетирования. Обе плоские поверхности диска украшены многочисленными насечками, количество которых позволяет предположить, что он являлся своеобразным календарем и служил для фиксации и определения астрономических явлений [*Герасименко*, 2004: 83–90].

На лицевой стороне изделия изображены два антропоморфных фантастических существа. Одно из них стоит, второе (по отношению к первому) лежит. Антропоморфы выполнены в технике так называемого скелетного стиля. Изображение обеих фигур настолько необычно, что их можно трактовать не только как ряженых людей (шаманов, колдунов), но и как пресмыкающихся (ящеров, ящериц).

Остальные диски украшены разнообразным геометрическом орнаментом [*Сериков*, 2014: 87–90].

Практически все диски просверлены каменными сверлами методом встречного сверления. Этому способствовали небольшая толщина дисков (от 1,5 до 3,5 см) и мягкое минеральное сырье, из которого они изготовлены (сланец, тальк). В некоторых случаях их отверстия путем дополнительной обработки расширены для удобства насаживания на рукоять. Но чаще всего они оставлены биконическими. Из этого круга выбивается диск из Антоновского. Отверстие диаметром 3,5–3,7 см изготовлено путем двустороннего пикетирования с последующим заглаживанием его стенок. Выбор такого необычного способа изготовления отверстия можно объяснить отсутствием сверл необходимого диаметра.

Кроме крупных дисков, украшенных гравировками, известны диски меньшего размера без гравировок. Половина диска диаметром 8 см из зеленой породы лежала в области шеи в энеолитическом погребении на Аятском озере (Свердловская область). Один диск диаметром 9,2 см найден на берегу Шигирского торфяника. Он расколот на две половинки. Еще один диск найден на скальном святилище Шайтанский Шихан, расположенном на северном берегу Шайтанского озера. Он расколот не только поперек на две части, но и вдоль. Диаметр диска – 8,5–9 см, реконструируемая толщина – 1,3–1,5 см, диаметр отверстия – 1,6 см [*Сериков*, 2013: 136].

Обращает на себя внимание малочисленность находок изделий с отверстиями крупного диаметра. Интересно отметить, что еще в 1887 г. М. В. Малахов удивлялся почти полному отсутствию в уральских коллекциях сверленых каменных изделий [*Малахов*, 1887: 6]. На всей территории Урала их известно менее 40 экз. Причем свыше двух третей этих изделий сосредоточено на территории Среднего Урала.

Анализ мест их находок позволяет предполагать, что булавы и диски участвовали в особом ритуале, при исполнении которого они разбивались на половинки, и одна часть помещалась на святилище, а вторую могли положить в могилу или оставить на памятнике, но в особом месте. Известны факты, что диски с отверстием в центре, вырезанные из мягкого камня, шаманы народов Севера носили на груди. Эти диски помогали шаманам производить магические действия, т. е. в них заключалась магическая сила [*Кернер*, 2004: 207]. Можно также предположить, что изделия в культовых комплексах, а также вне археологических памятников (фигурные молоты, диск из Антоновского) являлись своеобразными культовыми маркерами, размещенными на символической границей между мирами или между освоенным и неосвоенным пространством [*Сериков*, 2007: 224–232]. Не случайно пять предметов из этой группы найдены в погребениях, а восемь – на святилищах.

Функционально все изделия этой группы условно можно отнести к навершиям – все они насаживались на рукоятки и являлись статусными предметами. Практически все рассмотренные выше изделия строго индивидуальны в исполнении (за исключением дисков без орнамента). Определенная часть этих наверший изготовлена из твердых пород камня при помощи затратных технологий (пикетажа и сверления). По всей видимости, трудоемкость изготовления подобных предметов (в том числе и сверление отверстий) являлась одним из условий повышения их статусного уровня. Некоторые

изделия выполнены из редких и эффектных видов минерального сырья. Все это позволяет данную группу изделий отнести к предметам престижных технологий, главной задачей которых является демонстрация престижа, статуса, богатства и власти [*Лбова,* 2009: 110–114].

Таким образом, отверстия крупного диаметра являются одним из маркирующих признаков изделий статусного назначения.

Герасименко А. А. Древний календарь и календарная мифология населения Среднего Зауралья (опыт интерпретации одной находки) // Четвертые Берсовские чтения. – Екатеринбург, 2004. – С. 83–90.

Кернер В. Ф. Магический кристалл // Культовые памятники горно-лесного Урала. – Екатеринбург, 2004. – С. 193–209.

Лбова Л. В. Культура, искусство, ритуал. Происхождение и ранние этапы / Л. В. Лбова, А. В. Табарев. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2009. – 142 с.

Малахов М. В. О доисторических эпохах на Урале // Зап. УОЛЕ. – 1887. – Т. XI, вып. 1. – С. 1–9.

Панина С. Н. Культовые предметы в собрании археологических коллекций Свердловского областного краеведческого музея // Культовые памятники горно-лесного Урала. – Екатеринбург, 2004. – С. 256.

Сериков Ю. Б. Культовые объекты и памятники как маркеры освоенного пространства (по материалам Среднего Зауралья) // Миф, обряд и ритуальный предмет в древности. – Екатеринбург ; Сургут, 2007. – С. 224–233.

Сериков Ю. Б. Шайтанское озеро – священное озеро древности. – Нижний Тагил : НТГСПА, 2013. – 408 с.

Сериков Ю. Б. Очерки по первобытному искусству Урала. – Нижний Тагил : ИП «Языкова Е. С.», 2014. – 268 с.

Юшкин Н. П. Кварцевые шары в материальной культуре человека // Археоминералогия и ранняя история минералогии. – Сыктывкар, 2005. – С. 74–77.

Т. Н. Собольникова

Россия, Ханты-Мансийск, Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЙ КОНДЫ)

The results of the spatial analysis of archaeological monuments Lower Konda (left tributary of the river Irtysh). The information collected on 190 archaeological monuments. Systematization and analysis of spatial data carried out with the help of GIS software. As a result, certain patterns were identified in the arrangement with respect to archaeological sites of natural and cultural landscapes, as well as identified “promising” areas to search for sites.

В последние два десятилетия на стыке нескольких научных дисциплин сформировалось геоархеологическое направление, в рамках которого археологический объект понимается как пространственно-временная форма системы «человек – среда» (геоархеологический объект) [*Воробьева*, 2007: 90]. В этом контексте большое значение при изучении систем расселения и освоения территорий древними обществами отводится пространственному анализу археологических памятников, исследованию закономерностей их расположения, приуроченности к тому или иному типу региональных ландшафтов.

В настоящей работе представлены результаты пространственного анализа археологических памятников Нижней Конды (левый приток Иртыша). В соответствии с ландшафтным районированием эта территория является частью Кондинской провинции плоских болотных и болотно-таежных низин (Кондинское Полесье) [*Москвина*, 2001: 25, 26]. Местность характеризуется незначительным

© Собольникова Т. Н., 2015

перепадом высот, широким распространением озерных и болотных ландшафтов. В рамках провинции по своим физико-географическим и гидрологическим особенностям выделяются три района – Нижняя Конда, Средняя Конда и Верхняя Конда. Нижняя Конда включает в себя территорию, расположенную между устьем Конды и до впадения в нее реки Юконды [*Экология...*, 1997: 134].

Выбор района исследования обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, необходимостью систематизации разрозненной информации. Дело в том, что археологические исследования здесь на протяжении XX–XXI вв. проводились в основном в рамках «точечных» разведок, в окрестностях населенных пунктов [*Стефанова*, 2002: 12]. В научный оборот введены данные по ограниченному количеству объектов [*Глушков*, 1994: 25–28].

Во-вторых, в археологическом отношении это «слабоизученный» район. Доля памятников археологии на сегодняшний день составляет около 15 % от общего количества памятников бассейна реки Конды, хотя по площади эта территория занимает примерно половину всей провинции. Этот район до сих пор является труднодоступным для полевых исследований.

Пространственный анализ археологических памятников Нижней Конды включал в себя несколько этапов. Первостепенной задачей был сбор данных. Основными источниками информации являлись отчеты по НИР. Хронологические рамки – с 1970-х гг. по 2013 г. В результате были собраны данные по 190 памятникам археологии. В суммарном виде информация по их типологии и хронологической принадлежности представлена в табл. 1, визуально – в виде общей карты археологических памятников Нижней Конды (см. рис.). По типу наиболее распространены поселения. На настоящий момент здесь не выявлено ни одного могильника. Следует отметить, что в табл. 1 нашел отражение уровень исследованности территории. Около 60 % памятников археологии не датированы, что не дает нам возможность в полной мере проанализировать особенности расположения археологических объектов в разные периоды древности и средневековья.

Таблица 1

Типологическая и хронологическая принадлежность объектов археологии низовий реки Конды

Тип памятника	*Археологические периоды*						
	Неолит	*Энеолит – бронзовый век*	*Ранний железный век*	*Средневековье*	*Охватывают разные периоды*	*Не датированы*	*Всего*
Городище	–	–	6	1	3	7	17
Поселение	3	36	4	3	12	73	131
Промысловые объекты (ловчие ямы)	–	–	–	–	–	18	18
Местонахождения	–	3	1	2	–	17	23
Всего	3	39	11	6	15	115	**189**

Данные по памятникам были систематизированы в рамках картографо-информационной базы, созданной в программной оболочке Mapinfo. Инструменты, заложенные в ГИС-ресурсе, позволили провести многоаспектный пространственный анализ, используя доступные карты крупного и среднего масштаба. При исследовании приуроченности археологических объектов к определенным ландшафтным единицам за основу было взято ландшафтное районирование территории ХМАО-Югры, проведенное Н. Н. Москвиной и В. В. Козиным [*Москвина*, 2001; 2004]. В качестве таксономической единицы ландшафтов, взятой за основу, была выбрана такая единица, как тип местности. По мнению Н. Н. Москвиной, «одним из важнейших факторов интегрирования типов местности служит позиционное единство в пределах элемента макроформы рельефа и связанный с ним парагенезис слагающих урочищ» [*Москвина*, 2004: 10]. При этом она отмечает, что «на территории округа ареалы

большинства типов местностей обширны, многие из них повторяются в разных подклассах, группах и подгруппах ландшафтов, образуя зональные аналоги» [там же: 10, 11]. Таким образом, в этой единице находят отражение и специфические характеристики ландшафта, и региональные. В дальнейшем это позволит проводить сравнительный анализ с сопредельными территориями.

Археологическая карта низовий реки Конды

Статистические данные, полученные в ходе анализа ландшафтной приуроченности памятников археологии, отражены в табл. 2.

Таблица 2

Приуроченность археологических памятников низовий реки Конды к ландшафтным единицам

Тип местности	*Тип памятника*					
	Городища	*Поселения*	*Промысловые объекты*	*Культовые объекты*	*Местонахождения*	*Всего*
Придолинно-дренированный	3	62	18	1	8	92
Пойменно-таежный	7	36	–	–	10	53
Долинно-таежный	6	19	–	–	–	25
Террасовый	–	8	–	–	3	11
Соровый	1	4	–	–	–	5
Центрально-пойменный		2	–	–	2	4
Всего	17	131	18	1	23	190

Основные выводы и наблюдения, сделанные в ходе пространственного анализа памятников археологии Нижней Конды:

1. Большинство археологических памятников располагается в придолинно-дренированных (48,5 %) и пойменно-таежных типах местности (28%). Подавляющее большинство памятников, расположенных в этих ландшафтах, – поселенческие объекты.

2. К долинно-таежному типу местности приурочены 13 % археологических памятников. Поселения и городища концентрируются компактными группами по берегам рек малых порядков (реки Чилимка, Карым, протока Пашкина). Такой тип урочищ, как долинно-озерная система с болотами, удобен для ведения традиционных видов хозяйства. Следует отметить, что в Нижней Конде большое количество таких рек и проток, многие из которых до сих пор не обследовались археологами.

3. В контурах террасового типа местности выявлено 11 археологических памятников (6 %), датированных эпохой бронзы и ранним средневековьем. Этот тип относится к серии ландшафтов остаточно-флювиальных супесчано-суглинистых низких надпойменных террас. Интерпретация данных требует проведения дополнительных исследований.

4. Такие типы местности, как центрально-пойменный и соровый, приурочены к пойме реки Конды (сверхкрупного порядка). Здесь выявлены всего 9 памятников, 7 из них (поселения) датированы эпохой энеолита – раннего бронзового века. Анализ ситуационных планов показал, что, как правило, они были приурочены к устьевым участкам рек малых порядков, стариц, ручьев, впадающих в Конду. Другими словами, по пространственной организации памятники близки к группе объектов, расположенных на реках малого порядка.

5. Все объекты промысловой деятельности (группы ловчих ям) приурочены к придолинно-дренированному типу местности. Располагаются они преимущественно в низинных заозеренных и подболоченных пространствах, вглубь от речных террас. Данный тип памятников пока слабо изучен, поэтому в большинстве своем они не датированы. Для объяснения такой их приуроченности необходимо привлечение этнографических данных.

6. Анализ пространственной организации памятников относительно водотоков и друг друга позволяет сделать вывод о том, что для данной территории характерна локализация археологических объектов в виде компактных групп (археологических микрорайонов), включающих в себя от 4–5 до 23 памятников. Как правило, они приурочены к устьевой зоне или к низовьям малых рек, проток (60 %) либо располагаются по берегам соровых озер (39 %). Расстояние между микрорайонами варьирует от 12 до 20 км на отрезке от устья Конды до ее поворота в широтном направлении. Далее на протяжении примерно 70–80 км выявлено несколько отдельно расположенных объектов (что, впрочем, может быть связано со слабой изученностью – все они выявлены в ходе эпизодических разведок). В районе пос. Кондинское кусты археологических памятников располагаются на расстоянии от 5 до 10–12 км и сосредоточены по берегам многочисленных соровых озер, связанных между собой сетью малых рек, ручьев и проток.

Памятники в пределах археологических микрорайонов датируются разными хронологическими периодами, что позволяет интерпретировать их как своеобразные экологические ниши – места, удобные для проживания и промысловой деятельности на протяжении разных периодов истории [*Матющенко*, 2003: 148–149; *Воробьева*, 2007: 84].

В рамках микрорайонов представлены разные типы памятников, при явном преобладании поселенческих комплексов. Большинство городищ раннего железного века и средневековья в низовьях Конды располагаются в микрорайонах, территориально близких к магистральным водотокам – Конде, Иртышу (Чилимка 1, 7, 9, 13, Кама 5, Орлово 1–4, Болчары 1/3, 2 и др.). Все они приурочены к устьям и низовьям небольших рек и проток. Исключением являются городища с мощными фортификациями – Карым 1 (Усть-Толт) и Карым 5 на реке Юконде, расположенные на значительном удалении от магистральных рек (более 50 км до Конды, более 160 км до Иртыша).

В заключение следует отметить, что проведенный пространственный анализ археологических памятников Нижней Конды является начальным этапом исследования. Он позволил выделить определенные закономерности в расположении объектов археологии относительно природных и культурных ландшафтов. Для интерпретации полученных данных необходимо проведение комплексных исследований, в частности детальное изучение микрорельефных особенностей памятников археологии разных периодов, их пространственной организации в рамках микрорайонов и т. д. Кроме того, картографический анализ выявил перспективные участки для проведения разведок на Нижней Конде.

Воробьева Г. А. Картография для археологов : учеб. пособие по работе с крупномасштабными топографическими картами и созданию пояснительных записок для территории исследования / Г. А. Воробьева, Н. Е. Бердникова. – Иркутск : Оттиск, 2007. – 100 с.

Глушков И. Г. Культурно-хронологическая колонка памятников неолита и бронзового века Чилимского микрорайона // Археологические микрорайоны Западной Сибири. – Омск, 1994. – Ч. 1. – С. 25–28.

Матющенко В. И. Экологические аспекты изучения археологических микрорайонов // Экология древних и современных обществ. – Тюмень, 2003. – Вып. 2. – С. 148–150.

Москвина Н. Н. Ландшафтное районирование Ханты-Мансийского автономного округа / Н. Н. Москвина, В. В. Козин. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2001. – 44 с.

Москвина Н. Н. Ландшафтный анализ территории Ханты-Мансийского автономного округа для обеспечения рационального природопользования : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. – Барнаул, 2004. – 21 с.

Стефанова Н. К. Археология таежного Обь-Иртышья. Хроника полевых исследований на территории Ханты-Мансийского автономного округа / Н. К. Стефанова, В. А. Борзунов. – Екатеринбург : Академкнига, 2002. – 134 с.

Экология Ханты-Мансийского автономного округа. – Тюмень : СофтДизайн, 1997. – 288 с.

С. В. Сотникова

Россия, Тюмень, государственный университет

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПТИЦЫ НА ЗЕРКАЛЕ ИСТЯЦКОГО «КЛАДА» В СВЕТЕ ИНДОИРАНСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ

The article is devoted to the Ob-Ugric myths about the giant bird Kars and its engraved image on the metal mirror from the Istyatsky “treasure”. The author concludes that the Ob-Ugric Kars detects the most significant similarities with Iranian mythical bird Saena/Senmurv/Simurg (the connection with the world tree, healing, possession of Farr).

В обско-угорской мифологии имеется чрезвычайно интересный образ гигантской хищной птицы, именуемой *Kârs* у манси и *Kârəs* у хантов. Она известна по фольклорным материалам как «крылатый Карс» или «небесный Карс». Однако, как было отмечено В. Н. Чернецовым, «образ ее не всегда вполне четок и варьирует как по местностям, так и у отдельных рассказчиков». У вогулов (манси) это птица, во всем напоминающая орла, только во много раз больше него. У остяков (хантов), как указывает К. Карьялайнен, Карс рисуется в виде орла, только больше размерами. У васюганских остяков есть эпитет «Карес с крыльями в семь сажень» [*Чернецов*, 1947: 115]. Наиболее полное и отличное от остальных определение Карса зафиксировано С. К. Патканов у иртышских остяков: «...эта птица огромна и имеет человекоподобную голову с большим клювом. Сразу за руками у нее на плечах выросли два сильных крыла, а на кистях – длинные и острые когти. *Tôxtiŋ-Kâris* обладает необыкновенной силой: ей не стоит никаких усилий нести человека на спине. Кроме того, эта птица отличается разумом и может говорить, как человек. Родиной ее являются теплые моря и водоемы южных местностей, откуда она периодически отправляется на север» [*Патканов*, 1999: 167–168].

В мансийском фольклоре образ мифической птицы Карс связан со сказками об Эква-пырище (Эква-пырищ – это сказочное имя Мир-суснэ-хума). На озере или на море, иногда на море с горячей водой растет гигантская лиственница. На ее вершине находится гнездо четырех крылатых Карсов. В основании гнезда живет «не имеющая сердца и печени железная лягушка». Когда оба Карса улетают за пищей для детей, лягушка взбирается в гнездо и грызет крылья птенцов, поэтому они не могут научиться летать. В воде, окружающей дерево, живут водяные существа *liliŋ sossəl* – «живые *sossəl*». В. Н. Чернецов полагает, что *sossəl* – «водяные чудовища, представляющиеся не то в виде змей, не

© Сотникова С. В., 2015

то в виде ящеров». Б. Мункачи переводит это слово как «ящеро- или драконоподобное животное». *Sossəl* враждебны Карсу и, если он попадает в воду, пожирают его. Карсы питаются тем, что уносят людей из близлежащего городка. Эква-пырищ взбирается на лиственницу и убивает железную лягушку. В благодарность за спасение птенцов Карс отказывается в дальнейшем есть человеческое мясо и переносит героя на своей спине через море в городок [*Чернецов*, 1947: 117, 131–134].

Как отмечал В. Н. Чернецов, мифы о Карсе нашли свое отображение также в изобразительном искусстве обско-угорского населения. Представляют интерес гравированные изображения на металлических зеркалах: одно происходит из Истяцкого «клада», другое – из коллекции Ханты-Мансийского музея. «Карс изображен в виде хищной птицы, выполненной достаточно реалистично. Выделяет его необычайная форма головы, увенчанной тремя остроконечными зубцами, обозначавшими, по А. Спицыну, особое дарование или силу». На истяцком зеркале Карс изображен нападающим на змее- или ящероподобное существо. На ханты-мансийском – с человеческой фигурой на груди. В. Н. Чернецов считает, что во втором изображении следует «видеть Карса в роли переносчика героя» [*Чернецов*, 1947: 119, рис. 1, 2].

В. Н. Чернецов полагает, что образ Карса в фольклоре обских угров возник не конвергентно, а в тесной связи с соответствующим циклом индоиранских мифов, и сопоставляет его с индийским Гарудой и иранским Сенмурвом. С Гарудой сходство проявляется в том, что Карс имеет человеческую голову и руки, а с Сенмурвом – выполняет роль переносчика героя через море или из одного мира в другой, причем здесь обнаруживается совпадение даже в деталях. Сколько бы пищи для кормления птицы в дороге ни было заготовлено, ее не хватает к концу перелета, и герой вынужден отрезать куски своей ноги и скармливать их Карсу. Но при прилете на место Карс возвращает их герою и залечивает раны [там же: 118].

Роль Гаруды в Индии ограничена кругом мифов из первой книги Махабхараты, где устойчивым мотивом является борьба Гаруды со змеями. У обских угров мотив борьбы Карса с хтоническим противником присутствует в изобразительной традиции, однако отсутствует в фольклорной. Более того, гигантские птицы бессильны перед железной лягушкой, которая грызет крылья их птенцов. По-видимому, в угорской фольклорной традиции первостепенная роль отводилась характеристике образа мирового дерева, представленного в виде огромной лиственницы посреди горячего моря, которая «сучьев не имеет, глазков (неровностей на коре) не имеет». Гнездо Карсов, находящееся на вершине дерева, маркирует, соответственно, верхний мир, тогда как железная лягушка и другие существа, живущие в воде у корней дерева и враждебные птицам, являются олицетворением нижнего мира. Мотив связи мифической птицы с мировым деревом (мировой горой) характерен прежде всего для иранской птицы Саэна/Сенмурва/Симурга.

Самые ранние упоминания этой птицы встречаются в Авесте – в Яштах и Вендидаде, где имеется словосочетание *saçnô mərəγo* (например, Яшт 14, 41). А. Е. Бертельс отмечает, что это словосочетание можно приблизительно перевести, опираясь на словарь Х. Бартоломе, как «название какой-то большой хищной птицы, очевидно орла». В среднеперсидском это словосочетание получает форму *sçnturv,* в новоперсидском – *Симург.* Авестийская форма *saçnô* сопоставляется у Х. Бартоломе с древнеиндийским *śyena* – «орел, сокол» [*Бертельс*, 1997: 123–124].

Наиболее характерной чертой иранской птицы Саэна/Сенмурва/Симурга является ее связь с целительством. Птица Саэна Авесты сидит на вершине «всеисцеляющего» дерева. Обиталище Сенмурва – «на дереве всех семян, исцеляющем от зла», вероятно, в первую очередь от болезней. Эта легендарная птица под именем Симург появляется в поэме Фердоуси «Шах-наме». Несмотря на то, что многие мотивы древних преданий в этой поэме уже подверглись обработке и приобрели более реальную окраску, образ Симурга сохранил характерные черты мифической птицы древних ариев. Он обитает на высокой горе, недоступной ни для зверя, ни для человека. Эта огромная птица сравнивается с «крылатой горой», о ней говорится: «Как тучи спустился и взмахами крыл сиянье небесных светил погасил». Симург считался вещей птицей, которой открыто будущее. Он знал человеческий язык [*Бонгард-Левин,* 2014: 130–132]. В «Шах-наме» повествуется о Симурге в связи с судьбами богатырей Сама, Заля и Рустама. Симург упоминается прежде всего в связи с его чудесной способностью к исцелению. В обоих случаях, связанных с исцелением героев, Симурга призывает на помощь Заль, сжигая перо этой птицы, т. е. действуя магическими (шаманскими) средствами. Иначе говоря, Симург выступает как дух – помощник «волшебника» Заля. Причем при лечении жены Заля Симург лишь дает советы, а в отношении сына Заля птица сама занимается излечением героя от ран. Целительные способности Симурга во многом связаны с чудодейственными свойствами его перьев. Если в лечебную

смесь добавить истолченное перо Симурга, то сень его *фарра* сотворит чудо. Как отмечает А. Е. Бертельс, «Симург в “Шах-наме” – носитель *фарра,* счастья и божественной помощи, сияния над головой, духовного пламени (его перья, сгорая, спасают), изображенного на десятках миниатюр не в виде нимба христианских икон, а в виде устремленных ввысь языков огня…» [*Бертельс*, 1997: 239].

В мансийском фольклоре связь птицы Карс с целительством практически не прослеживается, за исключением сюжета об излечении Эква-пырища от ран после перелета. Но к излечению болезней причастен Эква-пырищ, которому она покровительствует, выступая в роли духа-помощника. Эква-пырищ, пройдя испытания, становится Мир-сусне-хумом – «наблюдающим за миром человеком» и выполняет роль посредника между людьми и богами [*Карьялайнен*, 1995: 145]. Он помогает излечению болезней и является подателем счастья, успеха, и здоровья [*Гондатти*, 2000: 411–412; *Карьялайнен*, 1995: 145]. Принося жертвы Мир-сусне-хуму, манси были уверены, что он обязан защищать человека от болезней. К нему обращались со следующим призывом: «Для того тебя произвел твой отец золотой Кворыс, чтобы ты защищал душу моей дочери, моего сына. Ночью умоляем тебя со слезами, днем умоляем тебя со слезами: защити нас от болезни. Если заболеет женщина, вылечи ее, если заболеет мужчина, вылечи его! Золотой князь, золотой человек, об этом тебя просим, об этом тебя умоляем» [*Гемуев*, 2001: 90].

В мансийском сказании сохранились следы представлений о чудодейственных свойствах перьев мифической птицы. После того как Карс помог Эква-пырищу справиться с трудными поручениями и получить в жены дочь старика-богатыря, птица просит героя забрать у мамонта-старика три своих маховых пера: «…те мои (перья) если бы при мне были, таким сильным стал бы, эта священная земля при моем передвижении на другую сторону перевернулась бы!» [*Чернецов*, 1947: 133–134].

Гравировки на зеркалах интересны тем, что достаточно отчетливо передают те важные свойства мифической птицы, которые весьма смутно отразились в сказаниях о Карсе. Речь идет о трех остроконечных зубцах на голове птицы, которые, по-видимому, следует трактовать как изображение *фарра* – счастья и божественной помощи, сияния над головой, которое на иранских миниатюрах было представлено в виде устремленных ввысь языков огня и носителем которого выступала иранская птица Симург.

Вероятно, далеко не случайно, что птица, выгравированная на бронзовых зеркалах, очень напоминает петуха. В Авесте второй элемент в названии мифической птицы Саэны – *mərəγa,* взятый отдельно, значит «птица, особенно большая, петух, курица» [*Бертельс*, 1997: 124]. У обских угров образ петуха присутствует в ритуале излечения от болезни. Согласно сведениям К. Ф. Карьялайнена, когда душа *is* покидала человека, он заболевал и даже мог умереть, если она не будет своевременно возвращена на место. В этом случае изготавливали литейную форму в виде петуха, куда заливали свинец. Если отливка удалась, душа возвращалась, и человек выздоравливал [*Карьялайнен*, 1994: 37].

Таким образом, обско-угорский Карс обнаруживает наиболее значимые черты сходства именно с иранской мифической птицей Саэной/Сенмурвом/Симургом, а не с индийским Гарудой. Гигантские размеры, позволяющие переносить героя на огромные расстояния, связь с мировым деревом (верхним миром), целительство, обладание *фарром* – все это, в различной степени, нашло отражение в обеих традициях.

Бертельс А. Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX–XV веков (Слово, изображение). – Москва : Вост. лит. РАН, 1997. – 422 с.

Бонгард-Левин Г. М. Древние арии: мифы и история. От Скифии до Индии / Г. М. Бонгард-Левин, Э. А. Грантовский. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – 224 с.

Гемуев И. Н. Мир-сусне-хум // Мифология манси. – Новосибирск, 2001. – С. 89–91.

Гондатти И. Л. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири // Выдающиеся губернаторы Тобольские и Сибирские. – Тюмень, 2000. – С. 404–443.

Карьялайнен К. Ф. Религия угорских народов. – Томск : Изд-во ТГУ, 1994. – Т. 1. – 152 с.

Карьялайнен К. Ф. Религия угорских народов. – Томск : Изд-во ТГУ, 1995. – Т. 2. – 284 с.

Патканов С. К. Иртышские остяки и их народная поэзия // Патканов С. К. Соч. : в 2 т. – Тюмень : Изд-во Ю. Мандрики, 1999. – Т. 1. – С. 25–381.

Чернецов В. Н. К вопросу о проникновении восточного серебра в Приобье // ТИЭ (Новая серия). – Москва ; Ленинград, 1947. – Т. 1. – С. 113–134.

Н. Ф. Степанова[1], С. Ж. Рахимжанова[2], К. Ю. Кирюшин[1]

Россия, [1]Новосибирск, Институт археологии и этнографии СО РАН,
[2]Барнаул, Алтайский государственный университет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИЛЬИНКА-III

Results of the technical and technological analysis and studying of features of ceramics ornament from the Novoilyinka-III settlement (the first half of the 3rd millennium BC) located in Kulunda on the east periphery of the area of the comb-pit, pit-comb and indent-dimple-pit community are published.

Эпохи неолита и энеолита Южной Сибири остаются одними из наименее изученных, поэтому открытие каждого нового памятника вносит существенный вклад в их изучение. Поселение Новоильинка-III исследовано в Кулунде, в своеобразной буферной зоне между крупными ареалами культур лесостепного Алтая, Казахстана и Барабы. Памятник открыт в 2004 г. С. М. Ситниковым, который в 2005–2006 гг. вскрыл около 40 кв. м [*Кирюшин*, 2013: 210]. В 2010–2014 гг. К. Ю. Кирюшин исследовал 560 кв. м [*Кирюшин*, 2011; 2015]. Находки представлены керамикой, каменными артефактами и костями животных. Фрагменты одних и тех же сосудов находились на разных глубинах – от 0,35 до 0,85 м, а обломки сосудов различных морфолого-орнаментальных групп залегали на одном уровне. По костям животных с поселения получена серия радиоуглеродных дат: 4270 ± 170 (Ле-7534), 4585 ± 170 (СОАН-8318), 4310 ± 110 (СОАН-8319), 4250 ± 120 л. н. (СОАН-8320), которые позволяют датировать его серединой – второй половиной III тыс. до н. э. Калибровка дат почти на 1000 лет удревняет культурный слой памятника. Разброс значений по 1 σ (вероятность 68,2 %) занимает интервал от 3650–3600 до 2650–2630 гг. до н. э., по 2σ (95,4 %) – от 3700–2850 до 3500–2400 гг. до н. э. Таким образом, максимальный разброс составляет 1020–1300 лет, минимальный – 650–950 лет. Это значительный интервал. Скорее всего, процесс формирования культурного слоя происходил в более короткий промежуток времени. С учетом калибровки радиоуглеродных дат поселение можно отнести к первой половине III тыс. до н. э. [*Кирюшин*, 2015: 26].

На поселении Новоильинка-III обнаружены фрагменты более 50 сосудов с острым или округлым дном. В данной работе предоставлены первые результаты технико-технологического анализа фрагментов 53 сосудов.

Исследования осуществлялись в рамках историко-культурного подхода, разработанного А. А. Бобринским [1978; 1999]. Основная задача сводилась к выявлению специфики культурных традиций в отборе исходного сырья, подготовке формовочных масс, особенностей нанесения орнамента. В рамках поставленных задач рассматривались следующие вопросы: 1) выделение культурных традиций в навыках отбора исходного сырья, подготовки формовочных масс; 2) выявление местных и неместных культурных традиций в навыках отбора глины и подготовки формовочных масс; 3) признаки смешения этих традиций. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 изучались свежие изломы и поверхности образцов. При изучении исходного сырья устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них грубых примесей, использование одной или двух глин. Для определения степени ожелезненности глин фрагменты сосудов дополнительно были нагреты в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850 °С.

Исходное сырье. Для изготовления посуды использовалось ожелезненное сырье, как правило, низкопластичное из-за большого содержания мелкого речного песка. Из естественных минеральных примесей, кроме кварцевого песка пылевидного (размеры частиц – менее 0,5 мм) и мелкого (от 0,5 до 0,9 мм), зафиксирован бурый железняк. Отмечены различия в концентрации примесей. Обычно содержание песка достигает 1 : 2–3, в отдельных случаях – 1 : 4. Из пластичных глин изготовлено 17 % сосудов. Сравнительный анализ исходного сырья позволяет сделать вывод, что использовалось несколько залежей, которые незначительно различались по ожелезненности и более существенно – по количеству естественных примесей. На Новоильинке-III местной традицией было использование ожелезненного низкопластичного сырья с мелким речным песком.

© Степанова Н. Ф., Рахимжанова С. Ж., Кирюшин К. Ю., 2015

Керамика с поселения Новоильинка-III

Формовочные массы. Выделено пять рецептов: глина + пух + органика (79 %); глина + дресва + органика (11 %); глина + шамот + дресва + пух + органика (2 %); глина + дресва + шамот + органика (2 %); шамот + пух + органика (2 %). Из-за фрагментарности образцов состав формовочных масс двух сосудов определен предварительно. Основным является рецепт: глина + пух + органика. Всего в 15 % сосудов нет пуха и в 19 % есть минеральные примеси (шамот или дресва). Искусственное введение минеральных примесей не характерно для данного памятника, а такие рецепты, как

глина + шамот + дресва + пух + органика, глина + дресва + шамот + органика, шамот + пух + органика, относятся к смешанным. Дважды дресва отмечена в шамоте. В целом смешение традиций отмечается как в использовании минеральных примесей (одновременное применение дресвы и шамота), так и в появлении сосудов, в формовочные массы которых добавляли не только пух, но и минеральные примеси. Местной для данного памятника является традиция использования пуха, который обнаружен в формовочных массах 85 % сосудов. К неместным традициям относится использование минеральных примесей.

Изучение орнамента выявило две традиции: 1) отступающе-накольчато-ямочную с узором из рядов ямок, оттисков незубчатых инструментов, нанесенных накалыванием и отступанием по всей поверхности изделий, орнаментацией внутренней стороны стенок и венчиков сосудов (рис.: *1–4*); 2) с орнаментацией зубчатыми штампами шаганием и качалкой, необычную традицию, вероятнее всего связанную с пришлым населением (рис.: *5–7*). Для первой группы характерно добавление пуха птиц в формовочные массы, для второй – смешанные рецепты, искусственное введение минеральных примесей в формовочные массы, отсутствие пуха. На изделиях второй группы смешение признаков проявляется и в орнаментальных традициях (например, ямки по венчику в 1–2 ряда). На изделиях первой группы отмечается, что отпечатки незубчатых штампов нанесены поверх оттисков гребенчатых инструментов. Следы последних встречаются на внутренней поверхности сосудов. Выделяющиеся по орнаменту сосуды объединяет с основной коллекцией наличие пуха в формовочных массах, ямок, оформление венчика с внутренней стороны.

Анализ полученных данных позволяет определить, что коллекция с Новоильинки-III занимает особое место среди памятников неолита – ранней бронзы Алтая. К одной из наиболее своеобразных черт керамики из Новоильинки-III относится добавление большого количества пуха в формовочные массы. Подобная культурная традиция в Южной Сибири пока не выявлена. Использование птичьего помета с примесью пуха известно в неолите Восточной Европы [*Бобринский*, 1978; *Цетлин*, 1991; 2012; *Степанова*, 2010]. Традиция украшать сосуды полностью незубчатыми штампами, как на Новоильинке-III, характерна для керамики «кипринского» типа Барнаульско-Бийского Приобья. Аналогии прослеживаются и с материалами поселения Венгерово-3 в Барабе [*Молодин*, 1977; 1985], поселения Ботай в Северном Казахстане [*Зайберт*, 1993; *Мосин*, 2003]. Соотнести вторую группу посуды с известными археологическими культурами или типами керамики сложно. Керамика, украшенная отпечатками шагающей гребенки, распространена от Урала до Алтая и встречается в комплексах от неолита до эпохи бронзы. Больше других сосуды с качалкой и шаганием имеют сходство с большемысскими, но отличаются от них наличием ямок и рядом других признаков [*Кирюшин*, 2002, рис. 3 – *1, 4*; 4; 8 – *1*; 15 – *3*].

Подводя итог, отметим, что основная масса керамики с Новоильинки-III декорирована отступанием и накалыванием незубчатого штампа и рядами ямок, по композиционному построению узора и орнаментальным мотивам имеет сходство с гребенчато-ямочной и ямочно-гребенчатой посудой лесной зоны Зауралья и Северного Казахстана. Очевидно, это поселение расположено на восточной периферии ареала так называемой гребенчато-ямочной, ямочно-гребенчатой и отступающе-накольчато-ямочной общности, протянувшегося от лесной зоны Восточной Европы (Прибалтика) до Верхнего Приобья. Скорее всего, своеобразие керамики с Новоильинки-III определяется периферийным (восточным) положением памятника в ареале этой культурно-исторической общности [*Кирюшин*, 2015]. В целом на основании изучения технологии изготовления и орнаментации керамики поселения Новоильинка-III подтверждается единовременность и единокультурность этого комплекса, так как прослеживается смешение традиций, которые отражают процессы взаимодействия и начавшейся консолидации населения с разными культурными и этнографическими традициями, сложившимися, вероятнее всего, в районах, отличающихся по ландшафтным характеристикам.

Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. – Москва : Наука, 1978. – 272 с.

Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. – Самара : Изд-во СамГПУ, 1999. – С. 5–109.

Зайберт В. Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. – Петропавловск : Наука Респ. Казахстан, 1993. – 246 с.

Кирюшин Ю. Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2002. – 293 с.

Кирюшин К. Ю. Поселение Новоильинка-III – памятник энеолита Кулунды / К. Ю. Кирюшин, С. М. Ситников, В. П. Семибратов, Ю. И. Гельмель // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. – Санкт-Петербург ; Великий Новгород, 2011. – Т. I. – С. 226–227.

Кирюшин К. Ю. Исследование поселения Новоильинка-III в 2012–2013 годах / К. Ю. Кирюшин, С. М. Ситников // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2013. – Т. XIX. – С. 207–211.

Кирюшин К. Ю. Морфолого-орнаментальные группы керамики с поселения эпохи энеолита Новоильинка-III в Северной Кулунде // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – № 1 (61). – С. 25–36.

Молодин В. И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. – Новосибирск : Наука, 1977. – 174 с.

Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск : Наука, 1985. – 200 с.

Мосин В. С. Энеолитическая керамика Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск : ЮУрГУ, 2003. – 220 с. – (Этногенез уральских народов).

Степанова Н. Ф. Особенности исходного сырья и формовочных масс керамики эпохи неолита и бронзы Горного Алтая и его северных предгорий // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. – Москва, 2010. – С. 117–125.

Цетлин Ю. Б. Периодизация неолита Верхнего Поволжья. Методические проблемы. – Москва : ИА РАН, 1991. – 195 с.

Цетлин Ю. Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. – Москва : ИА РАН, 2012. – 384 с.

С. В. Суслова, Л. Н. Донина

Россия, Казань, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА КАЗАНСКИХ ТАТАР: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

The article is devoted to the issues of terminology and classification of the technology processes of the Kazan Tatars jewelcrafting. It will be a methodological basis for identifying the ethno-specific jewelry traditions of Tatars, their archaeological and ethnographic interpretation in the context of the jeweler's art of the various Eurasian civilizations.

Художественные изделия из металла наиболее устойчивы к разрушительной силе времени, что позволяет при диахронном анализе увидеть в них тенденции трансформации этнической культуры на протяжении тысячелетий. Нетленность и емкость заключающейся в художественном металле научной информации (технико-технологические параметры ювелирных изделий, их конструкция и формально-морфологические признаки, орнаментальные знаки и символы) делают его фундаментальным источником познания этапов формирования ювелирного искусства, тесно связанного с этнокультурной историей народа.

Значительное место в торевтике, как правило, занимают женские ювелирные украшения. Для эпохи XVIII – начала XX в. они составляют самый мощный пласт в традиционной культуре и искусстве тюркских народов Евразии. Именно это исследовательское поле является чрезвычайно богатым и определяющим для татар, в отличие от других изделий из художественного металла, мало представленных в их традиционной культуре.

В 1980 г. была опубликована книга, в которой впервые разработана типологическая классификация татарских украшений, выделены типы украшений, осуществлена их историко-генетическая интерпретация [*Суслова*, 1980]. В монографии не были досконально исследованы все векторы такой сложной, многоаспектной и практически неизученной области, как татарское ювелирное искусство. Неисследованными фактически остались и сложнейшие вопросы технологии.

© Суслова С. В., Донина Л. Н., 2015

Первоочередной задачей является разработка четкой терминологии и классификации технико-технологических параметров татарского ювелирного дела, которыми мы будем руководствоваться на всех этапах исследования. Этот инструментарий явится методической основой при выявлении этноспецифических ювелирных традиций, их археолого-этнографической интерпретации в контексте ювелирного искусства разновременных цивилизаций Евразии.

Из всех известных у татар видов художественной обработки металла мы остановимся на классификации двух наиболее характерных – это чеканка и филигрань.

А. Чеканка. Чеканка как термин и как технологический процесс в современных исследованиях применяется неоднозначно и понимается по-разному. Под чеканкой понимаются такие ее разновидности, как чеканка предметов из листового металла с помощью чеканов, получение чеканного рельефа из листового металла штампами, обработка литых форм посредством чеканов. Одним термином обозначаются разные по сути технологические процессы.

А. 1. Чеканка предметов из листового металла включает три технологических метода – насечку, формование, смещение.

А. 1.1. *Метод насечки* визуально мало отличается от гравировки. Разница заключается в том, что при насечке металл вдавливается чеканом, при этом не образуется стружка, как при гравировке. Метод насечки заключался в следующем: на металлическую пластину наносился рисунок чеканом-*канфарником* только с лицевой стороны, затем контуры рисунка углублялись чеканом-*расходником.* Для разработки фонов применялись так называемые чеканы-*зернильники* различных диаметров. Фон не опускался, а лишь зернился и тем самым слегка осаживался. Отсюда – мизерная высота рельефа, напрямую зависящая от созданной фактуры, и плавные нечеткие очертания контуров рисунка. Метод насечки предопределяет линейно-графическое двухмерное решение, визуально близкое, но далеко не идентичное гравировке. В татарском ювелирном искусстве насечка является самым распространенным методом чеканки. Орнаментация насечкой прослеживается на серебряных булгарских перстнях конца XI – XIII в. [*Руденко*, 2010: рис. 2].

А. 1.2. *Метод формования (или выколотки)* применяют для получения рельефного изображения. Для этого рисунок выколачивают с изнаночной стороны листа чеканом с закругленным бойком, высота рельефа формируется с обеих сторон попеременно. Полученный рельеф орнаментировался методом насечки. Формованием изготавливались и так называемые желуди, входящие в состав булгарских височных подвесок и ожерелий, относящихся к домонгольскому времени [*Руденко*, 2011: ил. 79, 82, 83].

А. 2. Получение чеканного рельефа из листового металла штампами нередко трактуется как чеканка, хотя по сути представляет собой особый вид художественной обработки листового металла, включающий два метода: ручной – *тиснение* и механический – *штамповку*.

А. 2.1. *Тиснение* *(басма* **–** тюрк.) – выдавливание рельефа между верхним и нижним штампами, когда тонкие листы металлической фольги накладывали на отлитую из бронзы матрицу с невысоким рельефом. Фольгу накрывали свинцовой пластинкой, по которой ударяли молотком. Свинец заполнял углубления матрицы, точно повторяя рельеф. *Басма* явилась своеобразным усовершенствованием ручной чеканки. С одной матрицы можно было сделать многократные оттиски. Техника тиснения получила широкое распространение в Волжско-Камской Булгарии благодаря распространенности искусства *черни* [*Валеев*, 1975: 112].

А. 2.2. *Штамповка* – изготовление изделий с помощью различных штампов, установленных на прессе. В татарских украшениях встречается *односторонняя* и *двусторонняя* штамповка. В первом случае рельеф гравируется только на одном из штампов. Штампы *двустороннего тиснения* имеют, как правило, разные рисунки со стороны пуансона и матрицы.

А. 3. Обработка литых форм посредством чеканов. Задачей чеканки по литью является художественное завершение отлитой формы.

Б. Филигрань. Филигрань была известна еще ювелирам Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Наивысшего совершенства она достигла в XVIII в., но к началу XX в. в силу различных исторических причин практически исчезла.

Технологическими основами филигранного дела явились производство волоченной проволоки и развитие паяния. Филигрань изготавливали только из сплавов серебра или золота.

Исследователи выделяют три основных варианта проволоки: это *штампованная*, *витая (скань)* из двух проволок, *спиральная (канитель)* [*Жилина*, 2010: 12, 38]. При изготовлении татарской филиграни использовались все варианты проволоки.

Казанско-татарским мастерам была известна филигрань трех разновидностей: ажурная (плоская), бугорчатая (рельефная) и накладная.

Б. 1. Ажурная (плоская) скань – наиболее трудоемкая, требующая высочайшей квалификации ювелира, у татар получила наибольшее распространение и развитие. Основой такого изделия служит каркас из проволоки прямоугольного сечения**,** для орнаментации используется витая вальцованная проволока. Мотивом, формирующим художественный образ такого украшения, является спираль.

М. Г. Крамаровский считает, что «казанская филигрань спирального стиля являет собой самостоятельное значение, связанное с культурой Казанского ханства. Эволюция развития ювелирного дела казанской школы филиграни должна рассматриваться в контексте истории культуры Золотой Орды» [*Крамаровский*, 2000: 278].

Ажурная филигрань бывает и так называемой *объемной*, не получившей широкого развития у татар в XVIII–XIX вв. Хотя, например, в средневековых археологических материалах она представлена (пуговицы, подвески).

Б. 2. Бугорчатая (рельефная) филигрань является этноспецифической для казанско-татарской ювелирной школы, лучшие образцы которой относятся к XVIII – середине XIX в. Технология ее изготовления во многом сходна с производством ажурной скани. Принципиальная разница заключается в использовании не витой, а штампованной проволоки и в характере завитка (спирали), который в виде плотного бугорка возвышался выше каркаса изделия.

В научной литературе сложилось твердое убеждение, что бугорчатая скань является изобретением казанско-татарских мастеров и достигла у них совершенства на уровне шедевров. Однако в начале – середине XIX в. ее, как оказалось, знали и изготавливали на Кавказе. Еще более тонкой работы, без характерных для бугорчатой филиграни острых зазубрин – ожерелья, серьги, броши, их изготавливали и итальянские мастера. То есть эта техника была известна и другим народам, но не получила у них распространения. В чем причина? В целом бугорчатая филигрань, по сравнению с накладной и ажурной, более проста в изготовлении, однако менее практична (острые бугорки цепляются за волосы, могут попортить одежду). Вероятно, дело в том, что изделия из бугорчатой скани, обычно бляхи, татары нашивали на матерчатую основу традиционных украшений. Кстати, ювелирные изделия, соприкасающиеся с телом и волосами женщины (серьги, ожерелья, браслеты, перстни), татарские ювелиры тоже не изготавливали.

Б. 3. Накладная скань. Основой изделия служила металлическая пластина, которая могла быть гладкой, покрытой чеканным или гравированным орнаментом. На основе по законам декоративной упорядоченности из скани и зерни выкладывался геометрический орнамент.

В многочисленных музеях Евразии, в том числе в России, Украине, Средней Азии и Казахстане, встречаются предметы, выполненные в технике накладной скани – с миниатюрной металлической орнаментацией зернью и сканью. В основном это предметы культа: коранницы, крышки от коранниц и амулетницы (филактерии). Причем каждый из евразийских народов, как правило, считает их исконно своими. Тем не менее структурное единство образной системы, единство композиционных норм и постоянство использования одних и тех же элементов орнаментации позволяют отнести эти изделия к кругу достаточно ранних евразийских цивилизаций. Идентичные изделия видим и в составе средневековых кладов, особенно Золотой Орды (Симферопольский, Нейзацкий клады). Возникают закономерные вопросы: изготавливались ли эти изделия евразийскими ювелирами (в том числе и татарскими) в этнографическое время или они сохранились в качестве реликта от более ранних цивилизаций путем известных торговых связей? К сожалению, эти вопросы не всегда можно решить эмпирическим путем. Относительно точную датировку средневековых и более ранних изделий из металла можно осуществить только в современных специальных лабораториях.

Представляется очевидным, что при выявлении этноспецифических и привнесенных ювелирных технологий сравнительно-исторический анализ следует проводить не на уровне вида (чеканка, скань, литье и т. д.), а на нижних таксономических уровнях классификации (разновидности, методы). Именно на этих глубинных уровнях, как видели, выявляется этническая специфика того или иного вида технологии. Именно по этим параметрам целесообразно будет осуществлять кросс-культурный (синхронный и диахронный) анализ. Изучение технологий на основе тщательно разработанной классификации позволит, надеемся, сделать новые выводы и переосмыслить некоторые выводы предшествующих исследований.

Валеев Ф. Х. Древнее и средневековое искусство Среднего Поволжья. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1975. – 216 с.

Жилина Н. В. Зернь и скань Древней Руси. – Москва : ИА РАН, 2010. – 260 с.

Крамаровский М. Г. К истокам казанской скани // Средневековая Казань: возникновение и развитие. – Казань, 2000. – С. 272–278.

Руденко К. А. Булгарское черневое искусство: перстни : метод. пособие. – Казань : Изд-во МОиН РТ, 2010. – 44 с.

Руденко К. А. Булгарское золото: филигранные височные подвески. Древности Биляра. – Казань : Заман, 2011. – Т. I. – 256 с.

Суслова С. В. Женские украшения казанских татар середины XIX – начала XX вв.: историко-этнографическое исследование. – Москва : Наука, 1980. – 125 с.

А. В. Табарев, Д. А. Иванова

Россия, Новосибирск, Институт археологии и этнографии СО РАН

АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРКИ ЯПОНИИ: ЭКСПОЗИЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФОРМАТ*

Ethnoarchaeological parks in Japan are the very interesting example of multifunctional cultural complexes which combine scientific, museum, and social activities. The publication is devoted to three famous parks of Jomon culture located in various regions of the Japanese Archipelago – Sannai-Maryama (Aomori prefecture), Mizuko (Saitama prefecture), and Uenohara (Kagoshima prefecture).

Археолого-этнографические парки Японии – интереснейший пример создания мультифункциональных культурных и научных комплексов, успешно сочетающих исследовательскую, музейную и просветительскую сферы деятельности. В рамках работы над проектом, связанным с изучением поселенческих комплексов культуры дземон (13,8–2,2 тыс. л. н.), мы целенаправленно посещаем археологические парки в различных частях Японского архипелага. В данной публикации мы рассматриваем три таких парка – Саннай-Маруяма (префектура Аомори, север острова Хонсю), Мидзуко (префектура Сайтама, центральная часть Хонсю) и Уэнохара (префектура Кагосима, юг острова Кюсю).

Археологический памятник Саннай-Маруяма расположен на горе Маруяма (в трех километрах от г. Аомори). В 2000 г. памятнику был присвоен статус национального исторического памятника, а на территории стоянки был открыт современный музей. В 2014 г. комитетом по образованию г. Аомори подана заявка в ЮНЭСКО для причисления памятника к объектам всемирного наследия. Первые раскопки на данной территории были проведены в 1953–1963 гг. под руководством специалистов из университета Кейо (Токио) и командой археологов из комитета по образованию г. Аомори. Масштабные работы начались в 1992 г. во время строительства бейсбольного стадиона.

На основе найденных материалов поселение Саннай-Маруяма датируется рамками с конца Раннего до середины Среднего дземона. Время существования поселения можно разделить на три этапа: конец Раннего дземона – 5,9–5,4 тыс. л. н.; начало Среднего дземона – 5,4–4,9 тыс. л. н. и середина Среднего дземона – 4,9–4,2 тыс. л. н. [*Habu*, 2004: 108].

К раннему периоду относятся полуземлянки и мусорные кучи в западной части Северного холма. Ко второму периоду – полуземлянки и наземные жилища. К этому же времени относятся погребения взрослых в могилах и детские погребения в сосудах, остатки двух дорог и ямы для хранения

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 4-01-00017 «Поселенческие комплексы культуры дзёмон: эволюция, особенности, тихоокеанский контекст».

© Табарев А. В., Иванова Д. А., 2015

припасов. Во времена третьего периода были возведены наиболее крупные дома, уникальное ритуальное сооружение и южная земляная насыпь.

Общая площадь памятника – 243,341 кв. м. В ходе раскопок археологи зафиксировали следы около 700 жилищных конструкций, среди которых можно выделить полуземлянки (диаметр – 3–4 м, площадь – 12 кв. м) и строения каркасно-столбового типа. Пятнадцать жилищ реконструированы. Одной из примечательных особенностей поселения Саннай-Маруяма стало обнаружение жилища большого размера (длина – 32 м, ширина – 9,8 м) – «Длинный дом». Вероятно, данное строение предназначалось для особых собраний или совместной работы. Уникальный объект был зафиксирован в северо-западной части памятника. На основе информации о ширине, глубине и расстоянии между ямами, а также благодаря находкам обгорелых деревянных опор внутри ямок удалось реконструировать данное сооружение. Оно представляет собой масштабную деревянную конструкцию высотой около 17–20 м, на шести опорных столбах. Столбы поддерживают три яруса платформ. По мнению большинства специалистов, перед нами сооружение ритуального или астрономического назначения.

На территории памятника также были раскопано две земляные насыпи – северная и южная. Во время их расчистки обнаружено большое количество керамики стиля Верхний и Нижний Энто (5,9–2,2 тыс. л. н.), украшения (бусы и подвески из нефрита), изделия из камня и керамики, антропоморфные фигурки (догу). В слое с раковинами удалось найти изделия из органических материалов (плетеная корзина, лакированная деревянная посуда, орудия из дерева), скорлупки орехов и семена растений, кости крупных и мелких млекопитающих, рыбьи кости, а также инструменты из кости (иглы, крючки, наконечники для гарпунов).

Раскопки показали, что памятник Саннай-Маруяма представляет собой сложный поселенческий комплекс с развитой общественной системой. Он состоял из жилищных конструкций – полуземлянок, имеющих один очаг. В центре располагалось большое общественное здание для совместной работы, рядом был построен ритуально-астрономический объект. Вокруг жилищ располагались небольшие сооружения, выполнявшие роль кладовых, а также ямы для хранения продуктов. С севера и с юга поселение окружали две земляные насыпи и раковинные кучи, а также некрополь (около 900 погребений) и две дороги.

Музейный комплекс включает в себя парковую зону с реконструированными жилищами, хранилище, научно-исследовательский центр, экспозиционное помещение, реставрационные лаборатории, а также культурный центр для гостей памятника. Сегодня Саннай-Маруяма входит в число 18 комплексов культуры дземон на территории острова Хоккайдо и севера Хонсю, имеющих важное национальное и историческое значение. Музейная экспозиция представлена 1700 артефактами, манекенами, которые изображают жителей Саннай-Маруяма, одеждой, орудиями труда, украшениям, а также реконструкциями мужского и женского погребений. Каждый день работники музея проводят многочисленные экскурсии, показывают научно-популярные фильмы о культуре дземон, организуют мастер-классы по изготовлению керамических сосудов и догу. На памятнике проводятся календарные фестивали и праздники, посвященные весеннему и осеннему равноденствию, а также летнему и зимнему солнцестоянию.

Парк «Раковинная куча Мидзуко» был открыт в 1994 г. на территории археологического памятника Мидзуко, известного археологам еще с начала XX в. В 2007 г. комплекс был включен в число 100 наиболее значимых исторических парков Японии и 18 национальных исторических памятников на территории префектуры Сайтама [*Исторические места...*, 2001: 2–3].

В ходе целой серии исследовательских проектов на памятнике обнаружены следы около 100 расположенных вокруг центральной площадки жилищ, большая часть из которых связана с раковинными кучами. Пять жилищ реконструированы, в одном из них были найдены и сохранены для экспонирования погребение женщины в возрасте около 30 лет и погребение собаки. Реконструированные жилища представляют собой полуземлянки с каркасно-столбовой конструкцией и кровлей из тростника. Углубления для опорных столбов фиксируются по периметру и в центре неглубоких (50–70 см) котлованов. Внутри, в зависимости от размеров конструкции, располагалось от одного до двух стационарных очагов с каменной обкладкой. Самым большим сооружением на стоянке является жилище № 15, его размеры: 7,7 × 6,5 м, глубина котлована – 70 см. По японским меркам, этот дом вмещал 30 татами (90 × 180 см). Памятник датируется возрастом 7–5,5 тыс. л. н., что совпадает со временем голоценового оптимума, наиболее теплым и комфортным для эксплуатации различных наземных и акватических ресурсов. Парковый комплекс включает в себя помещения музея и храни-

лища коллекций, реконструированные жилища (отдельно каркасы и жилища с кровлей), раковинные кучи (выделенные на зеленом газоне белыми выкладками), несколько наблюдательных платформ для осмотра панорамы поселения. Кроме того, создана целая серия постеров с сюжетами о раскопках на памятнике, о находках и даже реконструкциями жизни древнего поселка в стиле аниме. Парк Мидзуко является излюбленным местом для прогулок и отдыха местных жителей и гостей префектуры Сайтама. Регулярно проводятся экскурсии и игры для школьников, включая популярную игру-квест «Поиски клада Мидзуко», во время которой несколько команд идут по этапам (сборка керамического сосуда из фрагментов, угадывание названия полезных растений, викторина о дземоне и т. д.), стремясь обнаружить спрятанный в одном из реконструированных жилищ «артефакт».

Археологический памятник Уэнохара был обнаружен в 1986 г., масштабные раскопки, которые производились на нем в середине 1990-х гг., позволили зафиксировать следы более 50 котлованов от жилищ, хозяйственные площадки с очагами, многочисленные изделия из керамики и камня. На сегодняшний день Уэнохара – это одно из древнейших поселений на архипелаге, которое датируется в широком диапазоне 12,8–7,4 тыс. л. н. и позволяет проследить эволюцию культуры на этапах Начального – Раннего дземона [*Pearson*, 2010: 240]. В январе 1999 г. Уэнохара получил статус национального исторического памятника (всего в префектуре Кагосима таких памятников 27), а в октябре 2002 г. на памятнике был открыт музей и археологический парк «Дземонский лес Уэнохара» (Uenohara Jomon-no-mori) общей площадью более 36 га [*Синто*, 2006: 3–4].

Посетители парка могут ознакомиться с весьма представительной музейной экспозицией, а также с детальной реконструкцией внешнего вида и внутреннего убранства жилищ. Это одна из немногих реконструкций жилищ времени Раннего дземона, так называемых куполообразных конструкций (полусферический каркас, покрытый соломой). Их особенность заключается в отсутствии центрального опорного столба и внутреннего очага. Таким образом, жилище было более легким, а его обитатели не страдали от очажного дыма. Целый ряд этнографических и археологических аналогий позволяет предположить, что такой вид жилищных конструкций был характерен для тихоокеанских культур тропической и субтропической зон. В парке Уэнохара постоянно проводятся экскурсии, костюмированные праздники и интерактивные мастерские, во время которых посетители могут принять участие в разведении огня, в приготовлении блюд из «дземонского меню», в изготовлении керамической посуды, каменных орудий и плетеных украшений.

Еще раз подчеркнем, что данные комплексы являются частью огромной сети эффектных культурных центров, предназначенных для популярного в Японии семейного отдыха, тематических экскурсий, образовательных программ, театрализованных представлений. Важно и то, что на многих из них продолжаются археологические исследования и существуют комфортные условия для работы с коллекциями.

Синто К. Расцвет культуры дземон на юге Кюсю. Стоянка Уэнохара. – Токио : Ниноми, 2006. – 93 с. – (Изучение памятников ; т. 26) (на яп. яз.).

Исторические места: Раковинная куча Мидзуко. – Фудзими : Комитет по образованию музея «Раковинная куча Мидзуко», 2001. – 15 с. (на яп. яз.).

Habu J. Ancient Jomon of Japan. – Cambridge : Cambridge University Press, 2004. – 332 p.

Pearson R. Jomon Hot Spot: Increasing Sedentism in Southwestern Japan in the Incipient Jomon (14,000–9,250 cal. BC) and Earliest Jomon (9,250–5,300 cal. BC) Periods // World Archaeology. – 2010. – N 38 (2). – P. 239–258.

А. Д. Таиров

Россия, Челябинск, Южно-Уральский государственный университет

ХОЗЯЙСТВО БАШКИР ЛЕСОСТЕПИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ XVIII–XIX ВЕКОВ КАК МОДЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА*

Half-nomadic cattle breeding was the basis of economy of Bashkirs forest-steppe South Ural in XVIII–XIX centuries. Bashkirs were settled in winter, in warm time they travel by seasons pastures. Hunting and fishing were auxiliary. It's supposed to use Bashkirs economy like model of economy the people in South Ural in Early Iron Age.

В лесостепи Южного Зауралья для эпохи раннего железа можно выделить два основных ареала – иткульский и гороховский или гороховско-саргатский. Первый занимал лесостепь от восточного склона Урала до, примерно, границ современных Челябинской и Курганской областей. Второй охватывал лесостепное Притоболье в пределах современной Курганской области.

Хозяйство населения зауральской лесостепи этой эпохи большинством исследователей характеризуется как сочетающее производящие (скотоводство) и присваивающие (охота, рыболовство) отрасли, при доминировании скотоводства. Допускается наличие земледелия, хотя без всяких на то оснований.

Скотоводство определяется как полукочевое. Судя по остеологическим материалам, среди домашних животных преобладала лошадь, второе место в стаде занимал крупный рогатый скот, третье – мелкий рогатый скот. На ряде поселений найдены немногочисленные кости верблюда.

Как предполагается, зиму и раннюю весну население зауральской лесостепи проводило на стационарных поселениях, перекочевки происходили весной, летом и осенью. О жизни на поселениях лишь в зимний период свидетельствует планировка поселений, различие в застройке их частей, очень тонкий и бедный находками культурный слой.

Определенную роль в хозяйстве населения играла охота. Ее объектами, судя по остеологическим материалам поселений, являлись копытные (лось, косуля, северный олень), пушные (бобр, лиса, волк, заяц), медведь. Охотились на боровую и водоплавающую дичь. На ряде поселений найдены кости рыб [*Стоянов*, 1977; *Корякова* 1986; 1988: 140–151; 1989; *Косинцев*, 1986; 1988; 1991; *Матвеева*, 2000: 54–60; 111–113; *Среда*…, 2009: 262–266].

Привлечение данных по хозяйству башкир лесостепи Южного Зауралья XVIII–XIX вв. позволяет конкретизировать представления о хозяйстве населения этого региона раннего железного века. Такое привлечение обусловлено и оправдано рядом факторов. Во-первых, зауральские башкиры, «иткульцы» и «гороховцы» занимали одну и ту же территорию лесостепи Южного Зауралья от восточных склонов Урала до Тобола. Во-вторых, климатические условия XVIII–XIX вв. и VII–IV вв. до н. э. весьма близки. В-третьих, зауральские башкиры и население лесостепи раннего железного века вели одинаковый полукочевой образ жизни, имели сходный состав стада. Отметим также, что природные условия лесостепного Зауралья, благоприятные для полукочевого скотоводства, способствовали длительному сохранению здесь традиций номадизма. Даже в конце XIX – начале XX в. значительная часть зауральских башкир летом выезжала на кочевки [*Руденко*, 2006: 59]. В Курганской области кочевки прекратились лишь в конце 20-х гг. XX в. [*Кузеев*, 1962: 203; *Ахатов*, 2012: 20–21].

К середине XIX в. в лесостепном Зауралье башкиры жили двумя крупными группами. Одна занимала территорию по течению рек Исеть, Синара, Караболка, Теча и верховья Миасса. Вторая занимала лесостепь между Миассом на севере и Тоболом и его притоком Уй на востоке и юге [*Кузеев*, 1968: 301]. Такое расселение в целом соответствует иткульскому (первая группа) и гороховско-саргатскому ареалам.

По своему типу башкирское скотоводческое хозяйство в лесостепном Зауралье XVII – первой половины XIX в. было полукочевым. Башкиры, имея постоянные зимние поселения, кочевали весной, летом и осенью по сезонным пастбищам и содержали скот на подножном корму. В стаде преобладали лошади, чуть меньше было овец. Крупный рогатый скот составлял до трети от количества

* Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 33.2644.2014к.

© Таиров А. Д., 2015

лошадей. В небольшом количестве держали верблюдов [*Кузеев*, 1968: 306, 308–309, табл. 1; *Мурзабулатов*, 1979: 62; *Ахатов*, 2012: 13].

Отмечая разницу в количественном соотношении животных в стаде башкир, с одной стороны, «иткульцев», «гороховцев» и «саргатцев» – с другой, надо иметь в виду следующее: показатели количественного соотношения животных в древнем стаде, исчисляемые по остеологическим материалам, отличаются от действительного количественного соотношения животных в стаде, исчисляемого по живому поголовью [*Стоянов*, 1977: 156]. Одной из причин этого может быть то, что в теплый период года на мясо забивался преимущественно мелкий рогатый скот. Лошади и крупный рогатый скот забивался, судя по этнографии кочевых и полукочевых народов, в том числе и башкир, преимущественно в зимний период. Поэтому на зимних поселениях полукочевников раннего железного века лесостепного Зауралья в остеологическом материале преобладают кости лошади и крупного рогатого скота. В реальном же стаде башкир этого же региона преобладают лошади и мелкий рогатый скот.

Зимовья зауральские башкиры покидали, в зависимости от их местоположения и погодных условий, в конце апреля – конце мая [*Паллас*, 1786а: 94–95; *Попов*, 1813: 14; *Никольский*, 1899: 49] и переходили на весенние пастбища, расположенные недалеко от деревни. За время, проведенное на весенних пастбищах, исхудавший за зиму скот поправлялся и набирался сил. В конце мая – начале июня скот отгоняли к летним стоянкам – еще дальше от зимних жилищ. Как свидетельствуют источники, в летнее время «деревни пустеют и не остается в них не только ни одной души, но даже собак» [*Черемшанский*, 1859: 145; см. также: *Паллас*, 1786а: 157; *Никольский*, 1899: 49].

В зависимости от травостоя летние стоянки менялись несколько раз. Особо отметим, что места стоянок и маршруты перекочевок были традиционными, их нарушение допускалось лишь в исключительных случаях [*Мурзабулатов*, 1979: 65; *Янгузин*, 1989: 72].

Башкиры северных районов современной Челябинской области в XVIII в., по свидетельству П. С. Палласа, «для пастьбы своих стад избирают летом по большей части горы и около оных лежащие места… а осенью и зимою кочуют они по большей части в долинах солонцами и многими солеными озерами наполненных» [*Паллас*, 1786б: 8]. Об этом же в начале XIX в. писал Н. С. Попов: «Башкирцы Екатеринбургского уезда (севера современной Челябинской области. – *А. Т.*) занимают южную часть оного по рекам Зузелке, Тече, Караболке, Синаре и около озер, между ими лежащих. Все имеющие довольное количество скота выезжают летом из юрт своих для кочевания в Уральские горы, а недостаточествующие им остаются при своих деревнях». В другом месте он отмечает, что башкиры этого уезда «выезжают из юрт своих весною для кочевья в Уральские горы, на 40 и 70 верст расстояния от своего жилища» [*Попов*, 1813: 5, 16; см. также: *Кузеев*, 1962: 203; *Башкиры...*, 2002: 48–49][*].

Основная часть курганских башкир во второй половине XVIII – начале XIX в. с мая по октябрь кочевала в пределах лесостепи в долине реки Уй, вплоть до ее впадения в Тобол. «Башкирцы Шадринского уезда обитают также при реках, в южную сторону Исети текущих, и около озер, между ними лежащих. Летом также выезжают они из юрт своих для кочевки со всем скотом и имением» [*Попов*, 1813: 7]. Некоторые из курганских башкир вплоть до начала XIX в. перегоняла скот к Уральским горам, к верховьям рек Синара, Теча и Караболка (нынешняя Челябинская область), а также на реку Белянку (Белокатайский район Республики Башкортостан). Таким образом, основная часть курганских башкир проводила все время в лесостепной зоне в пределах Миасско-Уйского междуречья, а часть перемещалась на полгода в горно-лесную зону [*Кузеев*, 1962: 203; *Ахатов*, 2010: 13; 2012: 12, 16].

Башкиры, кочевавшие в лесостепи, на летовках ставили юрты. В горно-лесной зоне сооружались «небольшие деревянные избушки, род наших крестьянских погребов или скорее полевых избушек, которые покрываются дерном или лубом». Такие летовки башкиры устраивали в нескольких местах (2–3 и более) и переходили из одной в другую по мере того, как трава съедалась скотом. Бедные башкиры вместо избушек «делают род шалашей из тонких жердей, которые связываются наверху веревкой; крыша делается из бересты… Иногда же делаются просто берестовые домики» [*Никольский*, 1899: 50–51; см. также: *Попов*, 1813: 14–16; *Черемшанский*, 1859: 146–147; *Ахатов*, 2012: 21].

---

[*] Перегон лошадей и крупного рогатого скота из северо-восточного Кунашакского района Челябинской области в Уральские горы практиковался и во второй половине XX в. Так, автор настоящей работы летом 1978 г. наблюдал в верховьях реки Уфы (Верхнеуфалейский городской округ) стада крупного рогатого скота, пригнанные сюда на летний откорм из Кунашакского района.

В конце июля и начале августа переходили на осенние пастбища. Время пребывания на них совпадало с сенокосом и там, где практиковалось земледелие, – с жатвой [*Лепехин*, 1802: 37; *Попов*, 1813: 16; *Мурзабулатов*, 1979: 72]. Впрочем, «…не довольно сена на зиму запасают» [*Паллас*, 1786а: 97], «токмо для мелкой скотины и для лошадей, которых берегут к войне зимою малое число» [*Материалы*…, 1949: 486; см. также: *Янгузин*, 1989: 35].

В деревни возвращались в разное время. Малосостоятельные хозяева – в сентябре, после заготовки сена и уборки урожая, состоятельные же – в октябре, с первыми морозами, реже – после первого снега.

Зимой скот старались держать как можно дольше на подножном корму в окрестностях деревни. С наступлением холодов при высоком снежном покрове и других неблагоприятных для выпаса погодных условиях крупный и мелкий рогатый скот содержали в специальных помещениях, подкармливая заготовленным кормом. Продолжительность подкормки скота в стойлах зависела от состояния погоды и, как правило, не превышала 2–3 дней. Как только заканчивались неблагоприятные условия, скот вновь выгоняли на зимние пастбища. В качестве подкормки использовали сено. С развитием земледелия стали использовать солому, реже – мякину и зерно. Для подкормки мелкого рогатого скота использовали ветки и кору деревьев. На ночь скот, за исключением лошадей, пригоняли домой или в специальные загоны на околице и запирали [*Лепехин*, 1802: 36–37; *Попов*, 1813: 14, 18; *Мурзабулатов*, 1979: 65–67].

Башкиры севера нынешней Челябинской области практиковали отгон основной части лошадей и крупного рогатого скота на тебеневку за Миасс, в южную лесостепь [*Попов*, 1813: 5; *Бикбулатов*, 2002: 49].

Заметное место в хозяйстве зауральских башкир до середины XVIII в. занимала охота. Как отмечал П. С. Паллас, башкиры Исетской провинции «ловят довольно обоих родов куниц… также простых лисиц и волков». В мирное время ходят «на ловлю в пустые степи до самого Тобола и Ишима и возвращаются обыкновенно с богатой добычею, состоящею в корсаках, лисицах, волках, бобрах и выдрах». В числе добываемых пушных зверей упоминаются также горностай и соболь [*Паллас*, 1786б: 14]. Охотились и на копытных – косулю и лося, а также на птицу. Во второй половине XVIII – первой половине XIX в. зауральские башкиры на сезонных кочевках практиковали рыболовство [*Ахатов*, 2012: 16–17].

Таким образом, для реконструкции хозяйства древнего населения недостаточно опираться на материалы, полученные при исследованиях поселенческих и погребальных памятников, и общие представления о формах хозяйства в ту или иную историческую эпоху. Создавая модель древней хозяйственной деятельности, необходимо привлекать данные этнографии о народах, живших на той же территории, что и древнее население, почти в таких же климатических условиях, ведущих близкий образ жизни. На наш взгляд, в качестве модели хозяйства населения лесостепи Южного Зауралья раннего железного века может выступать хозяйство зауральских башкир XVIII–XIX вв.

Ахатов А. Т. Скотоводческое хозяйство башкир Миасско-Уйского междуречья во второй половине XVIII в. // Урал – Алтай: через века в будущее. – Уфа, 2010. – С. 12–15.

Ахатов А. Т. Традиционный хозяйственный комплекс курганских башкир во второй половине XVIII – первой четверти XX вв. (формирование и развитие) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Ижевск, 2012. – 26 с.

Башкиры: этническая история и традиционная культура / Н. В. Бикбулатов, Р. М. Юсупов, С. Н. Шитова, Ф. Ф. Фатыхова. – Уфа : Науч. изд-во «Башкирская энциклопедия», 2002. – 248 с.

Корякова Л. Н. Географический аспект хозяйственной деятельности населения саргатской культуры / Л. Н. Корякова, А. С. Сергеев // Проблемы Урало-Сибирской археологии. – Свердловск, 1986. – С. 90–98.

Корякова Л. Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 240 с.

Корякова Л. Н. Некоторые вопросы хозяйственной деятельности племен саргатской культуры / Л. Н. Корякова, А. С. Сергеев // Становление и развитие производящего хозяйства на Урале. – Свердловск, 1989. – С. 165–175.

Косинцев П. А. Особенности хозяйства восточного склона Урала в раннем железном веке // Проблемы Урало-Сибирской археологии. – Свердловск, 1986. – С. 79–89.

Косинцев П. А. Голоценовые остатки крупных млекопитающих Западной Сибири // Современное состояние и история животного мира Западно-Сибирской низменности. – Свердловск, 1988. – С. 32–51.

Косинцев П. А. Фауна городища Павлиново и некоторые аспекты скотоводства саргатской культуры / П. А. Косинцев, Е. Н. Бородина // Проблемы изучения саргатской культуры. – Омск, 1991. – С. 46–53.

Кузеев Р. Г. Зауральские башкиры (Этнографический очерк быта и культуры конца XIX – начала XX вв.) / Р. Г. Кузеев, Н. В. Бикбулатов, С. Н. Шитова // Археология и этнография Башкирии. – 1962. – Т. I. – С. 171–267.

Кузеев Р. Г. Развитие хозяйства башкир в X–XIX вв. (к истории перехода башкир от кочевого скотоводства к земледелию) // Археология и этнография Башкирии. – 1968. – Т. III. – С. 261–321.

Матвеева Н. П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке. – Новосибирск : Наука, Сиб. издательская фирма РАН, 2000. – 399 с.

Лепехин И. [*И.*] Продолжение дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 году. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1802. – 338 с.

Материалы по истории Башкирской АССР. Экономика и социальные отношения в Башкирии в первой половине XVIII в. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – Т. III. – 691 с.

Мурзабулатов М. В. Скотоводческое хозяйство зауральских башкир в XIX – начале XX в. // Хозяйство и культура башкир в XIX – начале XX в. – Москва, 1979. – С. 62–77.

Никольский Д. П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследование. – Санкт-Петербург : Тип. П. П. Сойкина, 1899. – 378 с.

Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1786а. – Ч. 2, кн. 1. – 476 с.

Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1786б. – Ч. 2, кн. 2. – 571 с.

Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ее состоянию. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1813. – Ч. III. – 355 с.

Руденко С. И. Башкиры: Историко-этнографические очерки. – Уфа : Китап, 2006. – 376 с.

Среда, культура и общество лесостепного Зауралья во второй половине I тыс. до н. э. (по материалам Павлиновского археологического комплекса). – Екатеринбург ; Сургут : Магеллан, 2009. – 298 с.

Стоянов В. Е. Некоторые черты социально-экономической организации древнего населения Зауральско-Западносибирской лесостепи (ранний железный век) // Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. – Свердловск, 1977. – С. 152–159.

Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. – Уфа : Тип. Оренб. губ. правления, 1859. – 472 с.

Янгузин Р. З. Хозяйство башкир дореволюционной России. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1989. – 192 с.

Ф. С. Татауров

Россия, Омск, государственный историко-краеведческий музей,
филиал Института археологии и этнографии СО РАН

СТЕКЛО ИЗ РУССКИХ ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КАК СТАТУСНЫЙ ПРЕДМЕТ В XVII–XVIII ВЕКАХ*

This article examines the objects of glass and glassware as one of the indicators of social status within the Russian society of Western Siberia in XVII–XVIII centuries.

* Работа подготовлена по гранту РГНФ № 14-31-01023 «Культура, система жизнеобеспечения и этносоциальная история деревни Ананьино в XVII–XIX вв. (по археологическим, письменным, этнографическим источникам и результатам естественнонаучных исследований)».

© Татауров Ф. С., 2015

На протяжении многих веков на Руси основу посудного комплекса составляли предметы из дерева и глины, лишь люди самых высших социальных слоев могли позволить себе посуду из драгоценных металлов: золота и серебра. Но технологический прогресс, происходивший в Европе в XVI–XVII вв., привел к тому, что появился новый вид посуды – стеклянная. Первоначально предметы из стекла имели высокий статус и обладать ими могли только члены высших слоев общества, но со временем и развитием стекольного производства в России происходит трансформация социального восприятия, и посуда из стекла прочно входит в обиход уже не только высших, но и средних слоев общества.

В отличие от Европейской России, Сибирь шла по другому пути социального развития. Это было связано с тем, что в Сибири русские первоначально были чужаками, это не была их родная земля, и им нужно было, базируясь на русской культуре, по-новому формировать свой быт и традиции. Процессы, происходившие в Западной Сибири в XVII–XVIII вв., связанные с построением социального облика «русского сибиряка», наглядно иллюстрировались, как и любые другие подобные процессы, вещами, которые этот облик создавали. Стеклянная посуда и предметы из стекла являются неплохим маркером изменения социального статуса отдельных слоев населения в сибирском обществе. Например, в XVII в., когда стеклянная посуда обладала высоким статусом, основу сибирского общества составляло военное сословие, стремящееся подчеркнуть свой статус и положение, продемонстрировать отличия от жителей Центральной России. В итоге мы видим широкое распространение стеклянной посуды на ранних русских памятниках Западной Сибири, где основу населения составляли как раз служилые люди.

Производство стекла в России началось только при Алексее Михайловиче, а потребности российского рынка в стеклянной посуде в XVII в. удовлетворялись главным образом за счет западноевропейской продукции, которая ввозилась в страну через Архангельск, а также за счет стеклянной посуды из Украины, откуда в Россию поставлялась продукция из так называемого черкасского стекла. Посуда эта имела довольно широкое распространение, в том числе и на территории Западной Сибири. Фрагменты венецианских штофов были обнаружены на территории Тарской крепости. Фрагмент изделия из розового стекла с белой эмалевой росписью богемского производства был обнаружен в ходе раскопок Кузнецкого острога, как и фрагменты стеклянных штофов из «черкасского» стекла [*Кауфман*, 1994: 55]. Большое количество фрагментов посуды голубого, белого, коричневого полупрозрачного стекла, украшенного голубыми и красными волнистыми полосами, было обнаружено в ходе археологического изучения Тобольска [*Адамов*, 2008: 58]. Аналогичные находки известны в Мангазее [*Белов*, 1981: табл. 51, 1–6].

При исследовании Березовского городища в слое построек были найдены фрагменты нескольких штофов из прозрачного зеленоватого стекла и бутылок [*Пархимович*, 2008]. В материалах археологических коллекций из Старотуруханска, Томска, Саянского острога также присутствуют фрагменты стеклянных штофов и целые образцы. Большое количество фрагментов стеклянных бутылок и штофов обнаружено и на сельских памятниках Омского Прииртышья Изюк-I, Ананьино-I, Бергамак-I.

Как мы видим, стеклянная посуда была распространена достаточно широко, ее можно встретить практически на всех русских памятниках Западной Сибири, датированных XVII–XVIII вв. Необходимо отметить, что по статусности всю стеклянную посуду описываемого периода можно разделить на две группы – это посуда, предназначенная для хранения и транспортировки вина (штофы), и бытовая посуда (рюмки). Предметы первой группы статусны не только сами по себе, значение имеет и то, что в них перевозилось – вино. Бутылочное вино, особенно в XVII в., было достаточно дорогим, и употреблять его мог не каждый. Так, в 1660 г. цена за вино была установлена для «городов низовских, которые ниже Казани» по 3 руб. за ведро при продаже чарками или оптом. В октябре 1661 г. цена повышена [*Прыжов*, 2009: 105–106]. «...В Перми, Чердыни и Соликамской приказано продавать ведро по 5 руб., а в Сибири цена была еще выше» [*История Сибири*, 1889], особенно в городах Томского разряда, куда вино привозили с Верхотурья. Как считал П. А. Словцов, до 1698 г. все хлебное вино в Сибирь поставлялось из-за Урала [2011: 206]. Лишь с конца первой трети XVIII в. вино подешевело в связи с распространением винокурения в Сибири. Пили дорогое бутылочное вино, скорее всего, в особых случаях и по праздникам, количество и качество такого вина определяли не столько достаток, сколько статус человека, который его употреблял, – этим он пытался подражать высшим сословиям, показывал свою приближенность к ним.

Вторая группа – предметы бытового назначения – в археологических материалах представлена слабо, хотя, по данным этнографии, первые рюмки – «братинки стекольчатые» появляются у русских

сибиряков к концу XVII в. [*Люцидарская*, 2004: 144]. Эти предметы являлись атрибутом исключительно высших слоев общества, обычные люди в своей массе пользовались глиняными рюмками.

Интересна функция отдельных стеклянных предметов, в частности чаш, которые использовали при совершении погребального обряда. Подобные находки были встречены на некрополях Барнаула, Екатеринбурга и Иркутска. По всей видимости, они имели функцию ритуальных сосудов для елея, использующихся при отпевании покойного [*Бердников*, 2009: 205].

Еще одной группой статусных предметов из стекла являются бусы. Конечно, необходимо отметить, что только некоторые виды бус (например, западноевропейские, бусы из драгоценных металлов) и их количество могли являться показателем статуса человека. Этот вид украшения был широко распространен в Западной Сибири. Присутствовали как китайские бусы (синий одекуй), которые, по материалам таможенных книг, уже в начале XVII в. бухарские купцы стали ввозить на территорию Сибири [*Вилков*, 1990: 30–35], так и западноевропейские: голландские и венецианские [*Довгалюк*, 2010: 43–44]. Западноевропейские бусы были обнаружены в ходе археологических исследований г. Березова в Нижнем Приобье [*Визгалов*, 2008: 146].

Особо выделяется медная бусина эллипсоидной формы: ее медная основа оплетена тончайшей (около 0,03 см) серебряной проволокой, обмотанной светло-коричневой шелковой нитью [*Пархимович*, 2008].

Находки бус отмечены на территории Саянского острога [*Шаповалов*, 1997: 11], в погребениях русского Покровского кладбища в Красноярске. Это бусы разных цветов из стекла, бисер голубого цвета, стеклянные подвески в виде бусин со впаянными бронзовыми проволочками [*Скобелев,* 2001]. Бусы являлись частью женского костюмного комплекса, они подчеркивали статус их обладателя вместе с другими предметами.

Подводя итоги, можно сказать, что стеклянная посуда и предметы из стекла довольно широко применялись прежде всего высшими слоями общества – чиновниками царской администрации, офицерами. Но при этом средний слой общества, служилое сословие также активно использовали стеклянные предметы, покупая дорогое бутылочное вино, стеклянные украшения, возможно, даже в ущерб хозяйственной деятельности, желая подчеркнуть свой статус и достаток. Это еще одна деталь в образе русского сибирского общества XVII–XVIII вв. Новые модные тенденции, связанные с расширением контактов с Европой, предопределили и появление принципиально новых способов демонстрации социального статуса. Стеклянная посуда, практически не имевшая распространения в начале XVII в., к середине века XVIII прочно входит в обиход не только высших, но и средних социальных слоев. На примере описываемой группы предметов мы видим, как происходил процесс потери вещью статусности: если в начале описываемого периода стеклянная посуда и предметы из стекла были показателем принадлежности их владельца к высшим слоям общества, то к его концу иметь в обиходе такой предмет мог любой служилый, особенно в Сибири, где материальное положение военного сословия было выше, чем в Европейской России.

Адамов А. А. Город Тобольск. Археологический очерк / А. А. Адамов, И. В. Балюнов, П. Г. Данилов. – Тобольск : [б. и.], 2008. – 114 с.

Белов М. И. Мангазея: материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI–XVII вв. / М. И. Белов, О. В. Овсянников, В. Ф. Старков. – Ленинград : Наука, 1981. – 148 с.

Бердников И. М. Особенности погребального обряда Спасского некрополя Иркутского острога // Вестн. НГУ. – 2009. – Т. 8, вып. 5. – С. 252–260.

Визгалов Г. П. Археологические исследования Березовского городища / Г. П. Визгалов, С. Г. Пархимович // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск, 2008. – С. 144–152.

Вилков О. Н. Очерки социально-экономического развития Сибири конца XVI – начала XVIII в. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1990. – 324 с.

Довгалюк Н. П. Стеклянные бусы из слоев сельских поселений Среднего Прииртышья как источник для реконструкции торговых связей русских переселенцев XVII–XVIII веков / Н. П. Довгалюк, Л. В. Татаурова // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2 (42) – С. 37–45.

История Сибири. Ч. 2. Период с 1660 года до воцарения императрицы Елисаветы Петровны / сост. В. К. Андриевич. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. В. В. Комарова, 1889. – 487 с. // Археограф сибирский : [сайт]. – URL: http://vsofronov.narod.ru/arheograf/history_10.htm#_f (дата обращения: 16.07.2015).

Кауфман А. О. Ремесло и торговля Кузнецка // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 1994. – Вып. 2. – С. 47–61.

Люцидарская А. А. Вещный мир Сибирского горожанина XVII в. // Сибирский этнографический вестник. – 2004. – № 18 (19) – С. 141–145.

Пархимович С. Г. Коллекция артефактов из раскопок Березовского городища // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск, 2008. – С. 251–262.

Прыжов И. Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа. – Санкт-Петербург : Авалонъ, 2009 – 292 с.

Скобелев С. Г. Сложение в XVII–XVIII вв. единого комплекса предметов материальной культуры коренного и русского населения Средней Сибири // Сибирская заимка. – 2001. – № 8. – URL: http://zaimka.ru/skobelev-material-culture (дата обращения: 12.02.2015).

Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. – Москва : Книга по требованию, 2011. – 601 с.

Шаповалов А. В. Саянский острог – памятник материальной культуры русских первопроходцев Южной Сибири XVIII в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1997. – 17 с.

Л. В. Татаурова

Россия, Омск, государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
филиал Института археологии и этнографии СО РАН

КОСТЯНЫЕ ГРЕБНИ ИЗ СЕЛЬСКИХ КОМПЛЕКСОВ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ XVII–XVIII ВЕКОВ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

In this research a collection of bone combs from the rural complex of the Russian population of Omsk Priirtishje of XVII–XVIII centuries was published. Author gives a typology of objects, their purpose and history of existence.

В деревенских комплексах русского населения XVII–XVIII вв. находки костяных гребней – распространенное явление. На сегодняшний день в коллекциях памятников Изюк-I и Ананьино-I (Большереченский и Тарский районы Омской области) насчитывается 15 экземпляров разной сохранности. Все они принадлежат к категории цельных предметов, которые можно разделить на два типа – односторонние и двусторонние. Типологии этих изделий были разработаны в связи с раскопками славянских древностей в Старой Ладоге [*Давидан*, 1962: 101–103] и Новгороде [*Колчин*, 1982: 156, 157]. Обоими авторами бытование этих изделий ограничивается XIII в. А. Р. Артемьев предложил уточнить и дополнить эти типологии и хронологию предметов, попавших в Сибирь из Европейской России, опираясь на сибирские археологические материалы [2005: 260–261].

В коллекции из памятников Омского Прииртышья к типу односторонние гребни (расчески) относятся четыре экземпляра, среди которых по морфологическим признакам можно выделить три варианта: гребни с округлой спинкой (рис.: *1, 4*); с прямой спинкой и отверстием посередине спинки, которое служило, вероятно, для подвешивания (рис.: *3*); гребни с прямой спинкой и ее декоративным оформлением (рис.: *2*). В первом варианте можно выделить два вида: собственно гребень, отличающийся небольшими размерами (рис.: *1*), и расческу (рис.: *4*). Длина гребня – 3,3 см (часть его обломана), она не намного больше зубцов, длина которых – 3 см. У расчески длина изделия составляет 7,5 см, а длина зубцов – 1,3 см. Вариативность гребней первого типа обусловлена их функциями. Есть мнение, что их, как и двусторонние гребни небольших размеров, использовали мужчины для расчесывания усов и бороды. Поэтому становится понятным, почему с Петровскими реформами XVIII в. этот аксессуар постепенно выходит из употребления. В материалах Тобольска двусторонние гребни небольших размеров встречаются преимущественно в слоях XVII в. [*Балюнов*, 2014: 156]. Гребни третьего варианта, скорее всего, использовали женщины для украшения причесок [*Давидан*, 1962: 102].

© Татаурова Л. В., 2015

Второй тип – двусторонние гребни – численно преобладает (рис.: *5–9*). Имеющийся материал можно разделить на два варианта: прямоугольные и трапециевидные. Прямоугольные гребни также можно разделить на два вида: 1) крупные, размеры которых составляют: длина – 6,5–7,0; ширина – 6,3 см; 2) небольшие: длина – 4,0–4,2 см, ширина – 4,5–5,3 см. В каждом виде выделяются по две группы: орнаментированные и неорнаментированные.

Среди крупных гребней орнаментированные представлены тремя подгруппами. Первая подгруппа – с прочерченным (две полосы) вдоль линий зубцов орнаментом (рис.: *5*); вторая – с прочерченным (две полосы) вдоль линий зубцов и циркульным (окружности, вписанные друг в друга) орнаментом – три окружности по центру гребня (рис.: *6*); третья – с прочерченным орнаментом: две полосы вдоль линий зубцов и четыре прочерченные линии по центру предмета, украшенные треугольными насечками (рис.: *7*). На гребне второго вида орнамент можно отнести к четвертой подгруппе – прочерченный – три полосы вдоль линий зубцов (рис.: *9*).

Костяные гребни из сельских комплексов русского населения XVII–XVIII вв. Омского Приртышья

Ко второму варианту – трапециевидные гребни – относится один экземпляр длиной 6,4 см в верхней части и 4,5 см в нижней части и 5,5 см шириной, без орнамента (рис.: *8*).

Гребни и расчески были принадлежностью костюмного комплекса и предметом личной гигиены. По материалам г. Мангазеи О. В. Овсянников на основании их размеров выделил мужские и женские гребни [*Белов*, 1981: 41, 42]. В нашей коллекции к мужским предметам, которые использовали для расчесывания усов и бороды, можно отнести гребни второго типа, первого варианта, второго вида. К женским, возможно, относится односторонний гребень, относимый к третьему варианту (рис.: *2*).

Костяные гребни и расчески имели широкое распространение не только среди русского переселенческого населения, но и среди коренных народов Сибири [*Алексеев*, 1996: 46–48; *Артемьев*, 2005: 260–261; *Балюнов*, 2014: 155–158; *Визгалов*, 2008: 97]. Их использовали до конца XIX в.

Алексеев А. Н. Первые русские поселения XVII–XVIII вв. на северо-востоке Якутии. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – 152 с.

Артемьев А. Р. О типологии и хронологии некоторых бытовых предметов XVII–XVIII вв. // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск, 2005. – С. 260–267.

Балюнов И. В. Материальная культура населения города Тобольска конца XVI–XVII вв. по данным археологических исследований : дис. ... канд. ист. наук. – Тобольск, 2014. – Т. I. – 204 с.

Белов М. И. Мангазея: материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI–XVII вв. / М. И. Белов, О. В. Овсяников, В. Ф. Старков. – Москва : Наука, 1981. – Ч. II. – 147 с.

Визгалов Г. П. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.) / Г. П. Визгалов, С. Г. Пархимович. – Екатеринбург ; Нефтеюганск : Магеллан, 2008. – 296 с.

Давидан О. И. Гребни Старой Ладоги // Археологический сборник: славянские древности. – Ленинград, 1962. – Вып. 4. – С. 95–109.

Колчин Б. А. Хронология Новгородских древностей // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. – Москва, 1982. – С. 156–177.

К. Н. Тихомиров

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

In the article on the example of these late Middle Ages – the latest time received in the Middle Irtysh discusses some issues to identify socio-cultural systems and study their dynamics archaeological methods.

Изучая этнокультурную историю, исследователи стремятся выделить группы культурных признаков, объединяющих определенное население, полагая, что это поможет лучше понять механизмы этнокультурных процессов. В результате в литературе освещаются различные типы, формирования культурных черт населения и их влияние на этнокультурную историю. Здесь можно вспомнить богатое наследие исследователей XIX–XX вв. Это и А. Бастиан с его географическими провинциями, и Ф. Ратцель с его антропогеографической средой и культурными зонами, и размышления Л. Фробениуса о культурных кругах [*Марков*, 2004]. В XX в. ряд российских исследователей продолжили эту традицию. Например, Н. Н. Чебоксаров, разработавший понятие хозяйственно-культурных типов [1985], или Б. В. Андрианов и культурно-исторические области [1988].

В конце XX в. интерес к данным проблемам возрождается. Проявлением этого стало исследование этнографо-археологических комплексов, которые много лет изучает группа омских исследований под руководством Н. А. Томилова [*Этнографо-археологические комплексы…*, 2014], и археологических микрорайонов, проблемы которых активно разрабатывала группа омских ученых, начинавшая свою деятельность под руководством В. И. Матющенко [*Археологические микрорайоны...*, 2011; *Нижнетарский археологический микрорайон*, 2001].

Происходит формирование понятия социокультурной системы, которое позволяет избегать социальной, экономической или культурной обусловленности при исследовании различных сообществ. Оригинальные размышления о социокультурной системе и ее динамике предложил Д. В. Николаенко [1999]. Согласно его определению, социокультурная система – тип социокультурного образования с большим размером территории и значимой численностью населения, имеющего свой стандарт организации пространства, общества и государства и обладающего многими уникальными свойствами, отличающими его от остальных социокультурных образований.

В нашей работе проанализированы некоторые возможности исследования динамики социокультурных систем на основе данных археологических исследований.

При исследовании древних сообществ на основе лишь археологических материалов уверенно можно говорить лишь о существовании, трансформации или движении каких-либо культурных маркеров в течение определенного времени на данной территории. О принадлежности этих маркеров к какой-либо социокультурной системе, о ее динамике исключительно по археологическим материалам судить очень сложно, и существует большая вероятность того, что размышления на эту тему примут спекулятивный характер. Наиболее достоверным будет исследование отдельных аспектов, некоторых составляющих указанных систем на наиболее поздних памятниках, когда появляется возможность корректировки гипотез, созданных по археологическим материалам, данным письменной истории, этнографии, устной истории и т. д.

© Тихомиров К. Н., 2015

Анализ таких систем по археологическим материалам в первую очередь связан с проблемами информативности источника и его корректности. Такая ситуация вызвана тем, что при раскопках практически всегда исследуется лишь часть памятника, являющегося лишь мизерной частью «живой» социокультурной системы. При этом в коллекцию попадают предметы, субъективно отобранные исследователем, на основе его представлений об их значимости. Таким образом, перед исследователем древности предстают субъективно отобранные предметы, фрагментарно свидетельствующие только о небольшой части культуры, к тому же значительно искаженные в результате разрушения временем. Преодолеть эти сложности можно, используя комплекс источников, в которых для реконструкции привлекаются факты, полученные на других памятниках и даже на соседних территориях. Благодаря ним, несмотря на сложность исследования и некоторые условности, отдельные аспекты динамики социокультурных систем при помощи археологических данных все же можно изучать.

С точки зрения археологических исследований, социокультурная система – это некая общность людей, проживавших в определенное время на конкретной территории и оставивших после себя яркие маркеры культуры. В соответствии с этим археологическое исследование социокультурных систем будет сводиться к исследованию таких маркеров. В археологических исследованиях при наличии маркеров, единой территории и одновременном существовании принято говорить об археологической культуре. Схожие культуры, существовавшие на смежных территориях одновременно, в некоторых случаях объединяют в культурно-исторические общности. Именно об этих общностях можно говорить как о социокультурных системах для археологических исследований.

Под динамикой таких систем следует понимать не только прогрессивное или регрессивное движение, но и любое возмущение в традиции. Обычно это связанно с воздействием на традицию каких-либо внешних или внутренних факторов, создающих условия некомфортного существования социума в рамках прежней традиции. Такие условия могли привести и к ситуации, когда она угрожала самому факту существования социума. В результате отбора средств выживания могла произойти новация, а могло произойти и отторжение новаций. В последнем случае торжествовала традиция (практически всегда с микроизменениями).

Основой для анализа динамики социокультурных систем должны стать опорные памятники. Используя материалы, полученные с этих памятников, можно будет построить каркас социокультурной системы, дающий возможность ее более-менее достоверно реконструировать. Однако следует отметить, что социокультурная система в археологическом понимании есть не только ограниченная территориально и хронологически группа археологических памятников. Прежде всего это сложная совокупность природных, исторических, экономических, политических и культурных связей как внутри системы, так и с другими системами, ей подобными.

Яркой иллюстрацией формирования таких систем является ситуация с рядом культурно-исторических микрорегионов, расположенных в южнотаежной зоне Среднего Прииртышья, на территории Тевризского, Знаменского, Тарского районов Омской области. Здесь на основе археологических, письменных и картографических исследований были выявлены регионы, где с конца XVII в. до наших дней компактно проживают группы сибирских татар. С этих же территорий получены этнографические данные.

Указанные регионы образуют замкнутые самодостаточные структуры, содержащие все необходимое: летние и зимние (часть из которых имели укрепления) поселения, могильники, рыбные зимовальные ямы, пастбища, охотничьи угодья и т. д. Наиболее достоверно данные структуры истолковываются как территории расселения и хозяйственного освоения неких моноэтнических образований, скорее всего, родственников.

Данная система имеет свои особенности и свои маркеры, по которым ее можно выявить и исследовать археологическими (с привлечением других источников – письменных и этнографических) методами. Оригинальность этой системы жизнеобеспечения может служить одним из маркеров для выделения местной культуры по археологическим материалам.

Начиная с конца XVI в. территорию Западной Сибири осваивают выходцы из европейской части России с преимущественно земледельческим хозяйством и доминирующим феодальным укладом. Чаще всего указанные группы первоначально имели слабые родственные связи. Они демонстрируют другую модель освоения пространства. Прослеживается следующая закономерность в размещении первых поселений русских: они образуют наибольшую концентрацию в нескольких районах (по рекам Таре, Оше, в районе г. Тары, сел Знаменское, Такмык), не создавая замкнутых структур.

Доминирующим местом для поселения являются вытянутые мысы или бровка высокой террасы (на территории современного Знаменского района это левобережье Иртыша) на определенном расстоянии от реки Иртыш. Такая ситуация может быть объяснена разными факторами. Прежде всего, пришлое население с оседлым образом жизни нуждалось в обширных пространствах для ведения своего хозяйства с доминированием пашенного земледелия и подсобной ролью скотоводства. Подобное расположение позволяло заниматься земледелием и визуально контролировать большие пространства, обеспечивая свою безопасность и сохранность скота, пасущегося в пойме.

Еще одним проявлением динамики социокультурной системы может быть фиксация ее пространственной динамики (расширение или сужение границ распространения или смешение локализации культур) с помощью археологических материалов. Такую ситуацию можно наблюдать на территории Западной Сибири в эпоху раннего железного века и позже (саргатская, кулайская культуры и др.), когда территория распространения комплексов этих культур сначала расширяется, потом сужается и меняет места своего распространения. Ряд исследователей утверждают, что в период раннего средневековья происходит смещение локализации памятников потчевашской культуры в глубинные зоны тайги.

Схожие процессы происходили и во второй половине XIX – XX в. В это время вследствие ряда социально-политических процессов обширные территории Западной Сибири плотно заселялись выходцами из европейской части страны. Анализируя картографические данные, можно заметить, что в этот период происходило заселение глубинных районов. Все наиболее выгодные места для поселений уже были заняты, и новоприбывшие основывали свои деревни в менее удобных местах. Кроме того, освоению глубинных и менее удобных мест способствовали и нужды экономики, и принудительные поселения. Примером могут служить такие поселения, как Омгортоп (Омское городское топливо), Большая Пристань в Знаменском районе, Пристань Гомана в Муромцевском районе Омской области и др. Во второй половине XX в. в результате различных событий проживание в указанных деревнях стало нерациональным, и практически все они были заброшены. Остались лишь те, которые были освоены в наиболее удобных местах в предыдущие периоды. Таким образом, и на материалах прошлого века можно наблюдать динамику социокультурных систем.

Материалы раскопок могут предоставить данные об изменениях в жизни поселений. Именно сферы культуры, связанные с хозяйством, военным делом, домостроительством, являются наиболее восприимчивыми к новациям, и, следовательно, именно они наиболее чутко будут сигнализировать об изменениях в обществе и социокультурной системе в целом. Так, например, в культурных слоях ряда заброшенных в 1950-е гг. деревень Омской области фиксируются вещи, вошедшие в быт сельчан лишь недавно, незадолго до оставления деревень (изделия из пластмассы, керамические изоляторы для линий электропередач, резиновые технические изделия и др.).

Используя эти и другие данные, можно реконструировать в более-менее удовлетворительной степени социокультурные системы и, сравнивая их с более поздними материалами, в некоторых случаях полученными из тех же комплексов, представить динамику социокультурных систем. А опираясь на известные исторические события, можно проследить их влияние на быт населения и исследовать особенности и механизмы трансформации социокультурных систем.

Андрианов Б. В. Историко-культурные области // Народы мира. Историко-этнографический справочник. – Москва : Сов. энцикл. 1988. – 580 с.

Археологические микрорайоны Западной Сибири: теория и практика исследований / С. С. Тихонов, С. Ф. Татауров, Л. В. Татаурова [и др.]. – Омск : Изд. дом «Наука», 2011. – 196 с.

Марков Г. Е. Немецкая этнология. – Москва : Акад. проект : Гаудеамус, 2004. – 576 с.

Николаенко Д. В. Пространственно-временная динамика процессов социокультурного освоения территорий : дис. ... д-ра геогр. наук. – Санкт-Петербург, 1999. – 357 с.

Нижнетарский археологический микрорайон / отв. ред. В. И. Матющенко. – Новосибирск : Наука, 2001. – 256 с.

Чебоксаров Н. Н. Народы. Расы. Культуры / Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова. – Москва : Наука, 1985. – 272 с.

Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: природная среда, этносы, источники / М. Л. Бережнова, С. Н. Корусенко, А. В. Матвеев [и др.]. – Омск : Изд. дом «Наука», 2014. – 192 с. – (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума ; т. 13).

М. Н. Тихомирова

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН

КУХОННАЯ УТВАРЬ ИЗ ДЕРЕВА И КОЖИ У БАРАБИНСКИХ ТАТАР (ОБЗОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)*

This work is devoted to the survey characteristic of kitchen utensils of the indigenous Turkic people of the Baraba forest-steppe – Baraba Tatars from a wood and leather on the published written, archaeological and ethnographic materials. Primary analysis of materials indicates ethno-cultural community with Turkic groups and the people of Southern Siberia.

Барабинские татары долгое время вызывали интерес среди исследователей как группа татар Западной Сибири, которая отличалась своеобразием языка, особенностями этнической истории и традиционной культуры. По истории тюркоязычного населения Барабинской лесостепи (Барабы) к концу XX в. сформировалась наиболее представительная база источников (письменных, археологических, этнографических, лингвистических и фольклорных), которая позволила ряду российских ученых: Л. В. Дмитриевой, Н. В. Кулешовой, В. И. Молодину, А. Г. Селезневу, В. И. Соболеву, Н. А. Томилову – изучить многие аспекты этнической истории и культуры.

В 2000-х гг. группой сотрудников Омского филиала ИАЭТ СО РАН: М. А. Корусенко, Д. А. Мягковым, М. Н. Тихомировой – было продолжено изучение культуры татар Барабинской лесостепи со второй половины XX в. по настоящее время. С 2002 по 2008 г. исследованием были охвачены практически все сельские населенные пункты, где сосредоточенно татарское население Новосибирской области**.

Татары Барабы до настоящего времени представляют собой массив, неоднородный по этническому составу, где выделяется местный (барабинские татары (*бараба/барабинцы*)) и пришлый (группы волго-уральских татар) компоненты. На этнические и этнокультурные процессы у коренных татар значительное влияние оказали переселенцы из Волго-Уральского региона России, в большом количестве расселявшиеся на данной территории в последней четверти XIX – первой трети XX в. [*Корусенко*, 1999: 56]. В обеих группах шел процесс взаимной аккультурации. О культуре татар Барабы в настоящее время можно говорить как о смешанном типе, в котором местный компонент утратил значительное количество самобытных и специфических черт.

В данной работе предполагается рассмотреть кухонную утварь барабинских татар до момента массовых переселений волго-уральских татар в Барабу в последней четверти XIX в. [там же: 56]. Эта статья носит обзорный, предварительный, характер.

Находок остатков утвари из дерева и кожи в материалах археологических раскопок памятников позднего средневековья немного по причине плохой сохранности материалов. Поэтому одним из основных источников для нас послужили опубликованные работы ученых, краеведов, чиновников, бывавших в Барабинской лесостепи и описывающих барабинских татар во второй половине XVIII – XIX в.

Кроме археологических находок и опубликованных описаний быта барабинских татар, нами привлекались этнографические полевые материалы и музейные коллекции, полученные во второй половине XX в., как дополнительные источники, позволяющие рассмотреть детали и конструкцию вещей, название, их использование. Анализ диалектных названий предметов позволил очертить круг аналогий, параллелей, направления этнокультурных связей.

1. Утварь из дерева.

1.1. Большая часть **деревянной утвари**, известная по письменным источникам XVIII в., а также XIX в., связана с обработкой злаковых и молочных продуктов.

Для переработки зерна на крупу и *талкан* барабинцы использовали ручной жернов и ступу. Судя по имеющемуся описанию, ручная мельница не претерпела существенного изменения вплоть

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01-00142 «Татары Барабы: трансформация культуры в эпоху модернизации».

** По современному административному-территориально делению Барабинская лесостепь относится к Новосибирской области.

© Тихомирова М. Н., 2015

до второй половины XX в. Я. И. Линденау, описывая барабинских татар в середине XVIII в., сообщал, что деревянный жернов (*teurman*) «обшит железными тупыми гвоздями» [1983: 149]. Ручные жернова татар, судя по этнографическим материалам и музейным коллекциям, представляют собой два отпиленных и ошкуренных куска бревна, на рабочие части каждого из которых набиты железные пластины, поставленные ребром. В середине каждого из брусков имеется отверстие, куда засыпается зерно [МАЭС ТГУ. МЭЭ ТГУ. 1971. Тетр. 503-6. Л. 2, д. Новокурупкаевка Барабинского района Новосибирской области]. Жернова такого типа также повсеместно использовались другими группами татар Западной Сибири (МАЭ ОмГУ. Ф. VII. № 1–74, 80–1). Кроме татар, в Западной Сибири они использовались русским населением (МАЭ ОмГУ. Ф. VII. № 61-5; ТОКМ № 4539-1) [описание см: *Жигунова*, 2009: 49; *Культура русских*..., 1997: 106–107; и др.].

Использование дерева и металла для жерновов в Западной Сибири связано с дефицитом каменного сырья, хотя известны случайные находки каменных жерновов на территории Барабинской лесостепи исследователями XIX в., а также в результате раскопок археологических памятников, но более раннего периода – X–XII вв.* Однако эти факты скорее исключение из правила. Говорить о преемственности в их использовании у тюркоязычного населения Барабинской лесостепи нет оснований.

Для обработки зерен ячменя барабинские татары использовали ступу (*sokma*), врытую в землю [*Линденау*, 1983: 149]. На рисунке из труда Я. И. Линденау эта ступа изображена в виде высокой кадки с прямыми стенками. Она выглядит как довольно сложное устройство. К песту крепилась длинная перекладина, которая, в свою очередь, каким-то образом соединена с еще одной жердью, изображенной на рисунке параллельно ступе. Длинная перекладина – это своеобразный рычаг, который позволял человеку очищать зерно от кожуры, затрачивая меньше усилий.

И. Г. Георги, вслед за Я. И. Линденау, проезжая через населенные пункты барабинцев, описал работу на такой ступе более подробно: «...толкушка прикрѣплена кЪ долгой перекладинѣ; и какЪ подЪ оною лежитЪ поперечина, то толкушка, когда ступитЪ кто на конецЪ перекладины, поднимается» [*Георги*, 1799: 114]. Исследователь также отметил, что такие ступы имеются почти в каждой «хижине» барабинских татар, а также встречаются у «чулымских и других татар» [там же].

По этнографическим материалам у татар Западной Сибири также известны деревянные ступы и песты, однако без специального рычага. В некоторых группах и населенных пунктах сохранилось название деревянных ступ – *сокма*, причем ступы из чугуна называются иначе – *авансук*. Вообще, название ступы происходит из древнетюркского языка – *sökti*, что означает «отруби» [*Древнетюркский словарь*, 1969: 510, 647]. Вероятно, первоначальным назначением деревянных ступ у тюркских групп Южной Сибири было очищение зерна от кожуры.

По форме современные (этнографические) ступы отличают от той, что изображена у Я. И. Линденау, – они похожи на рюмку (МАЭ ОмГУ. Ф. VII. № 1–70, 13–37, 22–58, 36–29). У некоторых ступ ножка практически отсутствует, а у других она хорошо выделяется. Такие ступы в основном выточены мастерами на токарном станке, хотя в музейных коллекциях хранятся ступы, изготовленные долблено-резной технологией (МАЭ ОмГУ Ф. VII. № 27-5).

Среди предметов, которые использовались для обработки зерна, упомянем простейшую мешалку для его обжаривания (*колак*), но она известна только по полевым этнографическим материалам (аул Кошкуль Чановского района Новосибирской области от информатора У. С. Аминовой, 1929 г. р.), причем не только у татар Барабинской лесостепи. Мешалка интересна тем, что, в отличие от веселок, у которых рабочий конец уплощен и расширен, на простую палочку наматывалась ткань. Такая конструкция рабочей части удобнее для перемешивания зерна, особенно в котле, чем если бы она была полностью деревянной.

Аналогичный предмет для обжаривания зерна для *талкана* бытовал не только в Барабе, но и у тюркоязычных групп таежной Хакасии [*Селезнев*, 2006: 257, ил. 32а]. В. П. Дьяконова, описывая такие мешалки народов Южной Сибири (без указания народа), отмечала, что первоначально к палкам крепили кошму, а позже стали заменять ее на тряпку [1988: 61].

Деревянные изделия «чашки и корытца» упоминаются авторами труда «Бараба в эпоху позднего средневековья» в материалах раскопок археологического памятника Сопка-2, но детальных опи-

---

* Два каменных жернова было обнаружено на поселении Седова Заимка (Новосибирский район Новосибирской области) [*Адамов*, 2000: 51]. Каменные средневековые жернова также были обнаружены Н. М. Ядринцевым во время путешествия по Барабинской лесостепи в 1879 г. Он предположил, что они принадлежали барабинским татарам [*Молодин*, 1979: 4].

саний в книге не приведено. В тексте помещена одна иллюстрация предмета наподобие чашки или корытца; его внешний вид сильно отличается от этнографических предметов [*Молодин*, 1990: 180, рис. 112-4]. У барабинских татар, как, впрочем, в других группах татар Западной Сибири, миски и корыта изготавливались долблено-резной технологией. Корыта были овальными или прямоугольными, с вырезанными ручками или без них. Миски преимущественно представляли собой сосуд в виде усеченного конуса основанием вверх, а усеченной вершиной вниз, а в середине – углубление [подробнее см.: *Тихомирова*, 2014: 106–108].

Отметим, что деревянные корыта у барабинских татар назывались *тәпше* [*Тумашева*, 1992: 207] или *типше* – у томской группы [*Томилов*, 1980: 189]. Данный термин был характерен только для этих диалектов сибирских татар. Его бытование в среде восточных групп свидетельствует о связях с народами Южной Сибири. В частности, созвучным термином корыта назывались у алтайцев, бурят, тувинцев, шорцев, монголов и др. [*Бадмаев*, 2005: 117; *Дьяконова*, 1988: 58; и др.].

В конце XIX в. Е. С. Филимонов при описании быта барабинских татар обратил внимание еще на ряд предметов: кадочку (*куба*) для приготовления кисломолочного напитка *айран*, а также ковши и чашки. Куба в его кратком описании выглядела как длинная, узкая кадка [1892: 44]. В XX в. кадка, называемая по-татарски *көбе*, повсеместно у татар Западной Сибири использовалась только для сбивания масла, поэтому этот вид утвари в настоящее время относится к маслобойкам.

Такие кадочки делались как во времена Е. С. Филимонова, так и позднее двумя способами: долблением или из дощечек-клепанок, скрепленных несколькими обручами. Чаще всего этот вид утвари покупали у мастеров-бондарей [*Тихомирова*, 2014: 106].

1.2. Утварь из коры и веток.

Утварь и посуда из бересты, изготовляемая барабинскими татарами, была представлена в нескольких работах [*Богомолов*, 1987; *Тихомирова*, 2003], поэтому мы не будем останавливаться на ее описании. Отметим, что берестяная посуда известна не только по этнографическим материалам, но и по археологическим – в двух погребениях Абрамово-10 были найдены остатки посуды [*Молодин*, 1990: 89]. Хорошая сохранность материала позволила провести реконструкцию утвари – в виде туеса цилиндрической формы и коробочки подпрямоугольной формы [там же: 90, рис. 66]. Эти две формы – цилиндр и подпрямоугольная коробка – лежат в основе всех видов берестяной утвари у данного населения, известных по этнографическим материалам и музейным коллекциям.

Название посуды из бересты – *konjak*, зафиксированное Я. И. Линденау в середине XVIII в., встречается по этнографическим материалам у барабинских татар в огласовке *түс күнәк* и означает сосуды из бересты любой из двух названных формы [*Линденау*, 1983: 149; *Тихомирова*, 2003: 255]. В описании Я. И. Линденау речь шла о сосуде, в котором *барабинцы* хранили *талкан*, поэтому, вероятнее всего, в этом конкретном случае имелся в виду туес [1983: 149].

Кроме изделий из бересты, Я. И. Линденау упоминает круглые корзины из ивовых веток *kugunak*, напомнившие исследователю своим внешним видом немецкие корзины для хлеба [1983: 149].

2. Утварь из кожи.

З. Д. Титова, со ссылкой на Д. Г. Мессершидта, при описании погребального обряда и пищи барабинцев упоминала о мешке с молоком, фляге с брагой [1976: 131–132].

Кожаная утварь не использовалась барабинскими татарами, как, впрочем, и другими группами татар Западной Сибири, практически на протяжении всего XX в. Случаи ее применения единичны. Немногочисленные полевые этнографические материалы, собранные у барабинских татар, довольно подробно описывают предметы и их использование. Согласно устным рассказам информаторов, барабинские татары изготавливали кожаные мешки, которые использовали для изготовления *кумыса* и хранения *талкана*.

Один их информаторов Н. А. Томилова, житель д. Юрт-Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области сибирский татарин (*бараба*) Х. В. Ниязов, 1924 г. р., подробно описал сосуды, изготавливаемые из конских шкур, для кисломолочного напитка *кумыс:*

«...А дно такое широкое, а горлышко узенькое, горлышко совсем узенькое. Такой мешок положишь, никому не нужно если, он лежит, а как подымешь, нальешь, он стоит. Язык есть деревянный, – когда кумыс квасишь, день-два постоит, когда заквасят, тогда начинают качать, масло набивают тоже.

Дно было четырехугольным, а стенки уже круглые, как мешком поднимаются, к горлышку мешок сужался. Мешок шился четырьмя швами – шили из четырех лоскутов. Шили суровыми нитками, конопляными (конопля – *тарма*), а если кто умел, то лошадиными жилами. Пробка деревянная

четырехугольная и круглая (у кого какая была). Для затягивания пробки в горлышке была веревочка. А сверху еще опять кожу нашивали, чтобы по этим дырочкам воздух не вышел. Только в месте выхода оставляли веревочки, за которые затягивали. Вставляли сыромятный ремешок» [МАЭ ОмГУ. Ф. I. Д. 1-28. МЭЭ ОмГУ. 1975. Т. 4-2. Л. 9–25, д. Юрт-Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области].

Ф. Т. Валеев считал, что татары кожаную посуду (бурюки (*саба*) из конской кожи для приготовления кумыса, а также хранения айрана) заимствовали у казахов [1980: 138]. Действительно, сосуд, описанный информатором, похож на казахские (напр.: МАЭ ОмГУ. Ф. VII. № 8-47) [*Ахметова*, 2006: 17–18]. Однако, на наш взгляд, элементы культуры, которые соотносятся со скотоводами (лошадь, кумыс, кожаные изделия и пр.), появились у барабинских татар не как результат заимствования от казахов, а имеют более древние корни. Скотоводческие черты также присущи рассматриваемому населению, только в меньшей степени, чем присваивающие отрасли [*Селезнев*, 1994: 129–130][*].

Помимо больших кожаных сосудов, по рассказу информатора Х. В. Ниязова, 1924 г. р., еще были «походные кожаные сумки». По форме они были разными: круглые, типа графинов, т. е. с горлышком и деревянной пробкой, с сыромятным ремнем, чтобы на плечо надевать. В такие сосуды наливали кумыс или чай. Эти сосуды были разного размера, они подвешивались к седлу лошади или на плечо [МАЭ ОмГУ. Ф. I. Д. 1-28. МЭЭ ОмГУ. 1975. Т. 4-2. Л. 9–25]. Барабинские фляги, описанные информатором, также похожи на фляги (грушевидной формы) *торсык* казахов (МАЭ ОмГУ. Ф. VII. № 34-20) [*Ахметова*, 2006: 17–18].

У барабинских татар использовались мешочки, изготавливаемые из мочевого пузыря домашних животных. В них хранили топленое масло, поэтому они назывались *карын май*. Более подробной информации о данном предмете на сегодняшний день нам не известно; в карточке дополнительно сообщалось, что масло в таком мешочке не портилось [МАЭС ТГУ. МЭЭ ТГУ. 1973. Тетр. 542-1. Л. 28, аул Кошкуль Чановского района Новосибирской области]. Мешочки барабинских татар похожи на мешочки (*буйен*) из овечьей кишки для хранения мяса и масла, изготавливаемые казахами (МАЭ ОмГУ. Ф. VII. № 8-34) [*Ахметова*, 2006: 18].

Вообще, изготовление кожаной посуды, использование внутренних органов домашних животных для изготовления различных мешочков для хранения широко распространено у народов Южной Сибири и связано со скотоводческими традициями [*Дьяконова*, 1988: 66–69].

Таким образом, мы расмотрели кухонную утварь из дерева и кожи коренного тюркоязычного населения Барабинской лесостепи – барабинских татар – по опубликованным письменным, археологическим и этнографическим материалам. Можно сделать следующие выводы:

1. Во второй половине XVIII – XIX в. у барабинских татар бытовали следующие изделия из дерева: жернова, ступы, мешалки, миски и корытца, кадки.

2. Барабинские татары, судя по археологическим и этнографическим материалам, а также музейным коллекциям, широко использовали в качестве кухонной утвари берестяные изделия типа туесов и подпрямоугольные коробки разного размера. Из веток деревьев они плели различные корзины.

3. Во второй половине XVIII – XIX в. у данного населения бытовала кожаная посуда: сосуды для приготовления и хранения кисломолочных напитков, фляги, а также мешочки, изготавливаемые из внутренних органов домашних животных.

4. Первичный анализ материалов свидетельствует об этнокультурной общности с тюркоязычными группами и народами Южной Сибири.

Адамов А. А. Новосибирское Приобье в X–XIV вв. – Тобольск ; Омск : Изд-во ОмГПУ, 2000. – 256 с. – (Культурное наследие народов Западной Сибири).

Ахметова Ш. К. Культура народов и национальных групп Сибири и Казахстана в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного университета / Ш. К. Ахметова, И. В. Захарова, Г. М. Патрушева. – Новосибирск : Наука, 2006. – 192 с. – (Культура народов мира в этнографических собраниях российских музеев).

---

[*] Хотя нельзя не учитывать, что между этой группой татар и казахами Барабинского, Чановского районов Новосибирской области были непосредственные контакты.

Бадмаев А. А. Традиционная утварь бурят в XIX – начале XX в.: технологический и мировоззренческий аспекты (к проблеме этнокультурных контактов). – Новосибирск : ООО «ПреПресс Студио», 2005. – 204 с.

Богомолов В. Б. Изделия из бересты барабинских татар // Проблемы происхождения и этнической истории тюркских народов Сибири. – Томск, 1987. – С. 113–136.

Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX вв.: историко-этнографические очерки. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1980. – 232 с.

Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей : в 4 ч. Ч. 2. О народах татарского племени и других нерешенного еще происхождения северных сибирских. – Санкт-Петербург : Имп. акад. наук, 1779. – 178 с.

Древнетюркский словарь. – Ленинград : Наука, 1969. – 678 с.

Дьяконова В. П. Посуда народов Южной Сибири в собраниях МАЭ // Материальная и духовная культура народов Сибири. – Ленинград, 1988. – С. 50–70. – (Сборник МАЭ ; т. XLII).

Жигунова М. А. Культура восточных славян в коллекция Музея археологии и этнографии Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского / М. А. Жигунова, И. В. Захарова. – Омск : Изд. дом «Наука», 2009. – 266 с. – (Культура народов мира в этнографических собраниях российских музеев).

Корусенко С. Н. Генеалогия и этническая история барабинских татар и курдакско-саргатских татар / С. Н. Корусенко, Н. В. Кулешова. – Новосибирск : Наука, 1999. – 312 с. – (Культура народов России ; т. 5).

Культура русских в коллекциях Тюменского областного краеведческого музея. – Новосибирск : Наука, Сиб. предприятие, 1997. – 190 с. – (Культура народов мира в этнографических собраниях российских музеев).

Линденау Я. И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII века): историко-этнографические материалы о народах Сибири и Северо-Востока. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1983. – 176 с.

МАЭ ОмГУ. Ф. I. Д. 1-28. Материалы этнографической экспедиции ОмГУ. 1975. Т. 4-2. Барабинские татары.

МАЭС ТГУ. Материалы этнографической экспедиции ТГУ. 1971; 1973.

Молодин В. И. Кыштовский могильник. – Новосибирск : Наука, 1979. – 182 с.

Молодин В. И. Бараба в эпоху позднего средневековья / В. И. Молодин, В. И. Соболев, А. И. Соловьев. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 262 с.

Селезнев А. Г. Барабинские татары: истоки этноса и культуры. –Новосибирск : ВО «Наука», Сиб. изд. фирма, 1994. – 176 с.

Селезнев А. Г. Мир таежных культур юга Сибири (традиционное хозяйство и сопутствующие компоненты жизнедеятельности) / А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, Е. А. Бельгибаев. – Омск : Изд. дом. «Наука», 2006. – 260 с.

Титова З. Д. Барабинские татары (историко-этнографический очерк) // Из истории Сибири. Западносибирский этнографический сборник. – Томск, 1976. – Вып. 19. – С. 108–147.

Тихомирова М. Н. Берестяная утварь у сибирских татар // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2003. – С. 254–256.

Тихомирова М. Н. Коллекции кухонной утвари и посуды татар Западной Сибири в омских музеях (сравнительное изучение) // Культурологические исследования в Сибири. – 2014. – № 2 (43). – С. 102–110.

Томилов Н. А. Этнография тюркоязычного населения Томского Приобья (Хозяйство и материальная культура). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. – 200 с.

Тумашева Д. Г. Словарь диалектов сибирских татар. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1992. – 256 с.

Филимонов Е. С. Экономический быт государственных крестьян и инородцев Северо-Западной Барабы, или Спасского участка Каинского округа Томской губернии. – Санкт-Петербург : Тип. «Счетовод» Г. Букешина, 1892. – 212 с. – (Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири).

С. С. Тихонов

Россия, Омск, филиал Института археологии и этнографии СО РАН

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЭТНОГРАФО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УЗЛОВ НА ВЕРЕВКАХ, ШНУРАХ И РЕМЕШКАХ*

In this work author considered several direction of research of knots on the ropes, founded during archaeological excavations of Tara fortress in the cultural layers of the XVII–XVIII centuries. The first thing that suggests the author is to review the status of the issue of knots's studies in the literature. It's analysis shows, that, unfortunately, archaeologists and ethnographers not paid special attention for studying of the knots. The second direction of research is the study of the pattern of knots and method of its making. This can help determine the presence or absence of social or ethnic groups. Finally, mastering the way of tying the knots will give the opportunity to define its scope, and to identify the subject, which was applied to the knots.

В ходе раскопок археологами Омского филиала ИАЭТ СО РАН исторического центра Тарской крепости (построена князем Андреем Елецким в 1594 г., ныне – г. Тара, районный центр Омской области в 300 км к северу от Омска) в нижних слоях, датируемых XVII–XVIII вв., были найдены шнуры и веревки из растительных волокон, шерсти, конского волоса и кожаные ремешки (для простоты в дальнейшем все это будем называть веревками) с узлами на них. Предварительные результаты их исследований были опубликованы [*Тихонов*, 2013а; 2013б, 2014].

В данной работе остановимся на трех направлениях в изучении узлов на веревках, полученных в ходе археологических работ.

История изучения вопроса – это обычно первое, с чего начинается исследование. Однако поиски археологической литературы, посвященной узлам, успехом фактически не увенчались. Хотя в одной из книг по археологии ацтеков [*Domenici*, 2012] имеется значительное количество фотографий статуэток, на которых ясно видны узлы, пригодные для анализа.

Две этнографические монографии, в которых есть сведения об узлах, мне любезно указал А. Г. Селезнев, за что я его благодарю. Одну из них написал Д. Н. Функ. В ней приведены названия четырех узлов, которые вяжут бачатские телеуты, и показана схема завязывания одного из них. Интересно замечание автора: «...многообразие способов вязки узлов… и их использование на практике могло бы стать темой для самостоятельного этнографического очерка» [*Функ*, 1993: 153]. Но до сих пор, как видно, не стало.

Другую книгу написал В. К. Даржаа. Он был не профессиональным ученым, а человеком, любившим Туву и культуру ее народа. При всей занятости, он сумел собрать материалы для трех книг, в одной из которых на двух страницах приведены названия, способы использования и рисунки десяти узлов, которые завязывают тувинцы [*Даржаа*, 2003: 29–30].

Весьма отрадно, что есть минимум два автора, описавших узлы. К сожалению, в указанных работах отсутствует или схема узла (т. е. неясно, как он выглядит на рисунке в незатянутом виде), или способ его завязывания (дело в том, что один и тот же узел можно завязать разными способами).

Есть немного сведений об узлах, применявшихся японскими самураями, ниндзя и полицейскими для связывания противника (искусство *ходзедзюцу*). Речь идет о размещенной в Интернете компиляции работ Нава Юмио – специалиста по боевым искусствам [*Nawa Yumio*, 1964; 1985], выполненной П. Ричардсоном в 1998 г. и выставленной Р. Клэвером [*Cleaver*] и отечественными любителями японской культуры [*Ходзедзюцу*], а также иллюстрации к книге, посвященной джиу-джитсу [*Hayanawa Kappon Kenpo Kyohan Zukai, Zen*].

Этим исчерпывается известная нам историография изучения узлов, которые умеют завязывать представители разных народов. На конференциях, где автор выступал с докладами об узлах, коллеги из разных городов говорили, что в таких-то музеях есть рисунки узлов, сделанные чуть ли не в позапрошлом веке, что есть археологические коллекции, найденные в русских городах Сибири, и т. д.

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, проект № 33.1684.2014/К «Алгоритмический анализ динамики социокультурных систем народов Северной Евразии в XVIII–XIX веках».

© Тихонов С. С., 2015

Но суть от этого не меняется: большого интереса ученых к такому интересному элементу культуры, как узлы на веревках, не наблюдается.

Можно возразить, что существует масса литературы, посвященной морским узлам. Это бесспорно. В качестве примера приведем книги, которые написали Л. Н. Скрягин [1994], Р. Хопкинс [2007], C. W. Ashley [1947], R. Graumont и J. Hensel [2000], R. S. Lee [1993]. Однако подавляющее большинство узлов, приведенных там, не имеют хронологической и территориальной привязки, иными словами, не связаны с народом и временем бытования. Вероятно, по этим книгам можно освоить искусство завязывания узлов, скорее всего, они могут быть полезны как справочники, помогут узнать, в каких ситуациях применялся тот или иной узел. Но по сути это не археологические и этнографические работы. Самый же главный недостаток всех книг с описаниями узлов состоит в том, что авторы или не приводят способ завязывания узла, или не объясняют последовательность действий при этом.

Несколько иначе обстоит дело с литературой, посвященной спелеологии. Одним из наиболее популярных изданий является книга известного болгарского спелеолога Петко Недкова [1983], неоднократно переизданная в нашей стране. В ней объяснены приемы завязывания узлов, а также приведен список англо-, франко-, германо- и итальяноязычной литературы, в том числе и посвященной узлам. Но опять-таки эти узлы невозможно соотнести со временем и местом их появления и функционирования.

Способ завязывания узла – следующее, на что надо обратить внимание при их изучении. Отметим, что речь идет только об узлах на веревках примерно одного диаметра, использовавшихся в хозяйстве. Не рассматриваются способы завязывания узлов женщинами на платках, шарфах, накидках, парео и т. д., поскольку в этих случаях на первый план выходит не собственно узел, а способ обвивания тканью головы или тела. Но вернемся к узлам на веревках и отметим, что есть узлы, которые можно завязать несколькими способами, но их конечный рисунок будет всегда одинаков.

Например, самый простой узел (он так и называется – простой узел, это одинарный узел на веревке) можно завязать минимум четырьмя способами (рис. 1: *1*, *а–г*), что зависит от того, какой рукой держать ходовой конец и как его заводить. Прямой (риф-сезневый) узел можно завязать двумя способами: под нагрузкой (рис. 1: *2, а, г*) как два полуузла один над другими, а также без нее с обводом ходового конца вокруг петли, образованной коренным концом (рис. 1: *2, б–г*) Развязать этот узел можно тремя способами. Калмыцкий узел вывязывается тремя способами (рис. 1: *3, а–в*). Разница в том, как держать коренной конец. Рисунок узла в любом случае выглядит одинаково (рис. 1: *4, а, б*). Но способ его завязывания на археологических материалах установить не удастся.

Но при этнографических работах этот аспект – способ завязывания узла – необходимо зафиксировать. Полагаем, что этот способ является ноу-хау какой-либо группы людей (семьи, патронимии, может быть, этноса). Связано это с тем, что искусству завязывать узлы человека учат, причем не в школе, а в семье или в производственном коллективе, и ученик его вывязывает, причем автоматически, так, как показывал учитель.

Например, трудно переучить человека завязывать шнурки на обуви. Осмотренные нами узлы на обуви русских знакомых, коллег, родственников и т. д. можно назвать «бантик» или «двойной бантик». Обувь их учили завязывать родители, старшие братья или сестры, воспитатели в детском саду (рис. 2: *1, а, б*). А вот студенты из Мексики (автономный университет штата Мехико, г. Тенансинго), участвовавшие в раскопках Тарской крепости, завязывали обувь иначе, чем русские (рис. 2: *1, в, г*). Но и их учили завязывать обувь родители или старшие братья и сестры.

Факт, что узел может являться своего рода идентификатором, подтверждают наши наблюдения за способом вязания коровы за рога, когда представители разных патронимий завязывали веревку на рогах коров разными способами.

Наконец, в фильме «Золотые руки» из серии «Следствие вели…», показанном 27 декабря 2014 г. по НТВ, рассказано, как милиция в 1946–1948 гг. искала серийного убийцу, и одним из доказательств его преступной деятельности явился узел, которым тот связывал своих жертв.

Еще в уже упомянутых работах по ходзедзюцу есть сведения о том, что кланы ниндзя, семьи самураев, полицейские держали в секрете свои способы связывания пленных: «Интересно, что, поскольку конкретные приемы варьировались в зависимости от местности, при транспортировке преступника по стране непосредственно перед тем, как передать его в руки конвоя из другой провинции, его освобождали от веревки, чтобы даже коллеги не могли подсмотреть, как он связан. Конвой обычно состоял из четырех человек, и пока один вязал, остальные становились вокруг в кольцо, и не только для того, чтобы преступник не мог бежать, но и чтобы скрыть процесс от любопытных глаз» [*Ходзедзюцу*].

Рис. 1. Варианты завязывания узлов:
1 – простой узел: *а–б* – коренной конец в правой руке, *в–г* – в левой;
2 – прямой (риф-сезневый) узел:
а, г – вывязывается как два полуузла,
б, в, г – вывязывается обводом петли,
г – узел в готовом виде;
3 – способы захвата ходового конца:
а – пальцами, *б* – кулаком (большой палец направлен к себе), *в* – кулаком (большой палец направлен от себя);
4 – *а* – калмыцкий узел, *б* – петля калмыцкого узла

Рис. 2. Варианты завязывания узлов:
1 – *а, б* – узлы на обуви русских археологов, *в, г* – узлы на обуви мексиканских студентов-археологов;
2 – узел «глухая петля»: *а* – веревка с узлом, *б* – веревка с узлом лицевая сторона, фрагмент), *в* – веревка с узлом (оборотная сторона, фрагмент);
3 – кинограмма завязывания глухой петли;
4 – схема завязывания глухой петли

Есть еще одна тонкость: узлы, которые вывязывает человек на себе (например, галстучные узлы), будут зеркальны таким же узлам, которые этот же человек завязывает на ком-то или на чем-то. Поэтому полагаем, что изучение способа завязывания узла и его рисунка – важный показатель наличия семейных, социальных, профессиональных или иных групп.

Изучение узлов, найденных при раскопках, – еще одно направление исследований. Извлеченная из культурного слоя веревка с узлом выглядит непрезентабельно – мокрый и грязный комок спутанных волокон (рис 2: *2*). Задача состоит в том, чтобы его очистить и подсушить. На этом археологическое часть исследования заканчивается. Далее наступает период эксперимента: необходимо рассмотреть и зафиксировать узор узла (на рисунке, на фотографии, в описании), воспроизвести его на современной веревке и, наконец, понять и опробовать способ его завязывания, а также выяснить

способ его применения и найти аналогии узлу. Вот здесь-то и нужны этнографические сведения, которых пока катастрофически не хватает.

К моменту подготовки этой работы закончено изучение четырех находок, которые можно интерпретировать:

1) как гайтан (шнурок для ношения нательного креста);

2) как глухую петлю, обвязанную вокруг шеста (или жерди) диаметром 3–4 см (рис. 2: *2, а–в*). Изучена последовательность движений при завязывания этого узла (рис. 2: *3, а–з*) и его схема (рис. 2: *4, а–г*);

3) как хомут для соединения тонких элементов, например прутьев (если это так, то этот хомут является частью метлы);

4) как мерную ленту с несколькими фиксированными расстояниями между узлами.

Представленными тремя направлениями изучение узлов пока и ограничивается, в дальнейшем планируется рассмотреть особенности веревок, на которых были завязаны узлы, а также провести серию экспериментов по вывязыванию узлов и их функционированию в течение продолжительного времени.

Даржаа В. К. Лошадь в традиционной практике тувинцев-кочевников. – Кызыл : ТувИКОПР СО РАН, 2003. – 184 с.

Недков П. Азбука техники одинарной веревки. – София : Медицина и физкультура, 1983. – 60 с.

Скрягин Л. Н. Морские узлы. – 3-е изд. – Москва : Транспорт, 1994. – 128 с.

Тихонов С. С. Узел XVII века из Тарской крепости // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Иркутск ; Омск, 2013а. – Т. 2. – С. 134–139.

Тихонов С. С. Узлы на шнурах и веревках как объект археолого-этнографических исследований // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий : материалы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН. – Новосибирск, 2013б. – Т. XIX – С. 529–532.

Тихонов С. С. Узлы на шнурах и веревках и вопросы их этнографо-археологического изучения // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск ; Тюмень ; Екатеринбург, 2014. – Т. I. – С. 299–303.

Функ Д. А. Бачатские телеуты в XVIII – первой четверти XIX века: историко-этнографическое исследование. – Москва : ИЭА РАН, 1993. – 325 с. – (Народы и культуры).

Ходзедзюцу // Miuki Mikado. Виртуальная Япония : [сайт]. – URL: http://miuki.info/2011/04/xodzyodzyucu (дата обращения: 25.01.2015).

Хопкинс Р. Искусство завязывать узлы. – Москва : Эксмо, 2007. – 256 с.

Ashley Clifford W. The Ashley Book of Knots. – London : Faber and Faber Limited, 1947. – 620 p.

Cleaver R. Hojojutsue // Japanese Rope Art : [сайт]. – URL: http://japaneseropeart.com/RopeArt/Hojojutsu/hojo_cleaver.html (дата обращения: 25.01.2015).

Domenici D. Los aztecas. Tresoros de las grandes civilizaciones. – Mexico : Numen. Arte a traves del tiempo, 2012. – 208 p.

Graumont R. Encyclopedia of Knots / R. Graumont, J. Hensel. – New York : Cornell Maritime Press : Tidewater Publishers, 2000. – 460 p.

Hayanawa Kappon Kenpo Kyohan Zukai, Zen. Complete illustrated Book of the Teaching Method of Tying, Resuscitation, and (the Jujutsu Method of) Kenpo. – Tokyu : Kinseido, 1898. – 108 p. // Hawaii Karate Museum : [сайт]. –URL: http://museum.hikari.us/books/kenpo/index.html (дата обращения: 25.01.2015).

Lee R. S. All The Knots You Need. – Almonte : Algrove Publishing, 1993. – 374 p.

Nawa Yumio. Studies in Jitte and Torinawa. – Tokyo : Yuzankaku Shuppan, 1964. – 64 p.

Nawa Yumio. An Illustrated Encyclopedia for Historical Studies: Constables' Tools. – Tokyo : Shinjinbutsu Oraisha, 1985. – 122 p.

А. А. Тишкин[1], О. С. Мамонтова[2]

Россия, Барнаул, [1]Алтайский государственный университет,
[2]Алтайский государственный краеведческий музей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНОГО СПЕКТРОМЕТРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАРИЙСКИХ УКРАШЕНИЙ ИЗ СОБРАНИЯ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ*

The article describes the experience of the testing of metal coins, which were used for making Mari jewellery stored in the Altai State Museum of Local History (Barnaul). For this purpose a portable X-ray fluorescence spectrometer was used. A description of the female head bandage of meadow Mari (“nashmak”) and female breast jewellery of Eastern Mari.

В настоящее время рентгенофлюоресцентный анализ стал широко применяться для определения количественного состава сплавов цветных металлов в древних и средневековых изделиях находящихся в собраниях различных музеев России и зарубежья [*Зайков*, 2009; *Тишкин*, 2013а; 2013б; 2014; и др]. Данный метод является неразрушающим и имеет ряд преимуществ [*Ениосова,* 2008: 114–120; *Черных,* 2009; *Тишкин,* 2011: 61–66; и др.]. Несмотря на то, что в основном спектрометром тестируется поверхностность изделия, полученные результаты позволяют не только характеризовать качественный состав сплава, но и демонстрировать конкретные показатели по каждому выявленному элементу при незначительной доли погрешности.

Современные приборы могут широко применяться в музейной практике по отношению и к этнографическим экспонатам разного плана. В данной статье представлен опыт сплошного изучения металлических изделий в виде монет, использованных для изготовления марийских украшений (рис. 1, 2), которые ныне хранятся в Алтайском государственном краеведческом музее (Барнаул). Исследования проводились в марте 2014 г. на кафедре археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета с помощью портативного рентгенофлюоресцентного спектрометра ALPHA SERIES™ (модель Альфа-2000, производство США). Для этого использовалась специальная аналитическая программа выявления отдельных элементов сплава из цветных металлов (оператор – И. Вальков, аналитик – А. А. Тишкин).

Рис. 1. Головная женская повязка луговых марийцев из собрания АГКМ (Барнаул)

Рис. 2. Нагрудное женское украшение восточных марийцев из собрания АГКМ (Барнаул)

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-11-22001 «Энциклопедия музеев Алтайского края»).

© Тишкин А. А., Мамонтова О. С., 2015

Прежде чем представить значительный объем результатов тестирования металлических предметов, необходимо дать характеристику украшений, которые были приобретены у жителя Барнаула в ходе реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края» (2012–2014). Несмотря на отсутствие легенды, артефакты имеют существенное историко-культурное значение. Они отражают разные аспекты бытования показательных вещей в традиционной культуре коренного населения Поволжья и Приуралья во 2-й половине XIX – начале XX в. Следует отметить, что в прошлом такие изделия были широко распространены. Однако сейчас, учитывая сужение этнографического поля, приобрести детали костюмного комплекса представляется проблематичным (особенно вне компактного проживания народов).

Процесс переселения марийцев на территорию современного Алтайского края обозначился с начала XX в. Существенное их количество приехало в годы освоения целинных и залежных земель. Так, например, в Змеиногорском районе фиксируется группа марийцев, прибывших в 1950-е гг. В настоящее время на Алтае зарегистрированы 550 марийцев, которые делятся на такие этнотерриториальные подразделения, как «горные», «луговые» и «восточные». Вероятно, публикуемые предметы попали в Алтайский край с различными потоками переселенцев. Первый из них (рис. 1) – головная женская повязка луговых марийцев – «нашмак» (1-я треть XX в.; ткань, металл, бусины, вышивка, ручная работа; размеры: 53 × 4 см; ОФ 19424/1 В-11852). Налобная повязка (*нашмак, машмак*) – деталь составного полотенчатого головного убора, бытовавшего у луговых марийцев во 2-й половине XIX – начале XX в. О том, что «нашмак», скорее всего, принадлежал луговым марийцам, свидетельствует стилистика и цвета вышивки, специфика ленточного набора, дополнительные элементы декора (бусины, монеты). Подобные детали головных уборов были распространены и у чувашей (*вирьял*). Вероятно, основа украшения изготовлена в начале XX в., а на протяжении 1-й трети XX в. она дополнилась новыми материалами (бусины). Повязка представляет собой вытянутый прямоугольный отрез ткани красного цвета с подкладом из белого домотканого полотна. Детали сшиты между собой вручную. На лицевой стороне (на красном фоне) расположена вышивка, выполненная в технике «косой стежок» (*темышан, ӱмбачкерыштыш*) нитями черного, зеленого, оранжевого цветов. Узор – геометрический (крючья), четко очерченный черными нитями. Под вышивкой нашиты две узкие ленты из фабричной ткани розового и салатного цветов. В центре повязки прикреплены три крупные монеты из беловатого металла. На розовой ленте находится ряд из повторяющихся 14 монеток-чешуек и 13 матовых бусин голубого, синего, красного, оранжевого, желтого и розового цветов. На торцах повязки имеются петельки для крепления к полотенчатому головному убору. Сохранность экспоната удовлетворительная. Но следует отметить общее загрязнение, нити вышивки местами утрачены, металлические детали потерты.

Рентгенофлюоресцентный анализ осуществлялся указанным прибором слева направо в соответствии с условной нумерацией:

1. Бляха-нашивка № 1 (копейка допетровского времени): Ag (серебро) – 92,26 %; Cu (медь) – 7,06 %; Pb (свинец) – 0,68 %.

2. Бляха-нашивка № 2 (копейка допетровского времени): Ag – 96,24 %; Cu – 3,11 %; Fe (железо) – 0,33 %; Pb – 0,32 %.

3. Бляха-нашивка № 3 (копейка допетровского времени): Ag – 90,34 %; Cu – 8,65 %; Pb – 0,75 %; Fe – 0,26 %.

4. Бляха-нашивка № 4 (копейка допетровского времени): Ag – 89,82 %; Cu – 5,53 %; Au (золото) – 4,15 %; Pb – 0,5 %.

5. Бляха-нашивка № 5 (копейка допетровского времени): Ag – 96,07 %; Cu – 3,44 %; Pb – 0,49 %.

6. Бляха-нашивка № 6 (копейка допетровского времени): Ag – 95,08 %; Cu – 4,33 %; Pb – 0,59 %.

7. Бляха-нашивка № 7 (копейка допетровского времени): Ag – 69,96 %; Cu – 22,96 %; Zn (цинк) – 6,06 %; Pb – 0,76 %; Fe – 0,26 %.

8. Монета-подвеска № 8 (25 копеек):

– лицевая сторона: Ag – 89,97 %; Cu – 9,85 %; Pb – 0,18 %;

– оборотная сторона: Ag – 91,13 %; Cu – 8,64 %; Pb – 0,23 %.

9. Монета-подвеска № 9 (25 копеек):

– лицевая сторона: Ag – 90,99 %; Cu – 8,66 %; Pb – 0,35 %;

– оборотная сторона: Ag – 93,5 %; Cu – 6,2 %; Pb – 0,3 %.

10. Монета-подвеска № 10 (25 копеек):

– лицевая сторона: Ag – 90,33 %; Cu – 8,7 %; Sn (олово) – 0,76 %; Pb – 0,21 %;

– оборотная сторона (тестировалась в двух местах): 1) Ag – 92,85 %; Cu – 6,08 %; Sn – 0,77 %; Pb – 0,3 %; 2) Ag – 91,28 %; Cu – 6,05 %; Sn – 1,59 %; Pb – 1,08 %.

11. Бляха-нашивка № 11 (копейка допетровского времени): Ag – 83,13 %; Cu –16,34 %; Pb – 0,41 %; Fe – 0,12 %.

12. Бляха-нашивка (копейка допетровского времени): Ag – 95,09 %; Cu – 3,12 %; Sn – 1,12 %; Pb – 0,38 %; Fe – 0,29 %.

13. Бляха-нашивка № 13 (копейка допетровского времени): Ag – 90,28 %; Cu – 8,84 %; Pb – 0,8 %; Bi (висмут) – 0,08 %.

14. Бляха-нашивка № 14 (копейка допетровского времени): Ag – 90,5 %; Cu – 8,58 %; Pb – 0,6 %; Fe – 0,32 %.

15. Бляха-нашивка № 15 (копейка допетровского времени): Ag – 94,9 %; Cu – 3,46 %; Sn – 1,44 %; Pb – 0,2 %.

16. Бляха-нашивка № 16 (копейка допетровского времени): Ag – 82,74 %; Cu – 15,98 %; Sn – 0,98 %; Pb – 0,3 %.

17. Бляха-нашивка № 17 (копейка допетровского времени): Ag – 93,78 %; Cu – 4,99 %; Sn – 0,97 %; Pb – 0,26 %.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что все металлические предметы (монеты) имеют серебряную основу (от 69,96 до 96,24 %). Бляха-нашивка № 4 отличается от фиксируемого «стандарта» наличием золота. В изделии № 7 обнаружено повышенное содержание меди и существенное наличие цинка. Кроме этого, исследованные копейки делятся на две группы (№ 1–6, 11, 13–14 и № 12, 15–17) по присутствию или отсутствию такого компонента, как олово, которое отмечено и у монеты-подвески № 10 (25 копеек). Продемонстрированная вариация состава сплавов указывает на то, что для создания украшения использовались монеты, изготовленные не одновременно и, по-видимому, в разных местах. При этом в большинстве случаев фиксируется определенный «стандарт», свидетельствующий о производственном характере создания монет.

Второй экспонат – нагрудное женское украшение восточных марийцев (1-я половина XX в.; ткань, кожа, металл, бусины, бисер, позумент, вязание, ручная работа, машинные швы; размеры: 20 × 18 см; ОФ 19424/2 В-11853) – относится к группе шейно-нагрудных украшений (рис. 2). Такие изделия бытовали у восточных марийцев в конце XIX – начале XX в. Подобные украшения были распространены у чувашей и южных удмуртов. Вероятно, основа рассматриваемого украшения была изготовлена в 1-й четверти XX в. и вплоть до середины XX в. дополнялась новыми материалами (кружево, бусины). Украшение представляет собой подквадратный отрез кожи коричневого цвета с подкладом из тонкой ткани с цветочным растительным орнаментом. Верхний и боковые края обшиты на швейной машине тонкими полосками темно-вишневой ткани. По верхнему краю полоски ткани имеют небольшие продолжения – завязки для крепления на теле (рис. 2). Кожаная основа украшения обшита вручную серебряными монетами (180 ед.), которые закреплены горизонтальными рядами, имитирующими чешую. Изображения на монетах (год, номинал) сильно потерты. По верхнему краю украшения нашита горизонтальная полоса позумента (тесьма, воздушные петли). Поверх позумента находятся шесть белых, плоских и многоугольных бусин неправильной формы. В центре каждой бусины закреплен бисер зеленого или голубого цвета. Нижний край украшения оформлен горизонтальной полосой зубчатых кружев, связанных крючком из черных хлопчатобумажных нитей. Зубцы кружева декорированы голубыми бусинами овальной формы. По верхнему ряду кружева нашиты, чередуясь, пять белых, плоских и многоугольных бусин неправильной формы с бежеватым бисером и шесть монеток-чешуек из беловатого металла. Сохранность изделия удовлетворительная. Однако следует отметить общее загрязнение, кожа потерта, позумент потерт и имеет местами порывы, на металле видны потертости и потемнения.

Тестирование ренгенофлюоресцентным спектрометром осуществлялось системно: слева направо и сверху вниз. Каждая монета получила свой номер, который соответствует приводимой ниже информации:

1. Монета № 1 (5 копеек): Ag – 89,5 %; Cu – 8,48 %; Sn – 1,64 %; Pb – 0,38 %.
2. Монета № 2 (5 копеек): Ag – 90,68 %; Cu – 7,18 %; Sn – 1,97 %; Pb – 0,17 %.
3. Монета № 3 (5 копеек): Ag – 88,92 %; Cu – 9,16 %; Sn – 1,54 %; Pb – 0,38 %.
4. Монета № 4 (5 копеек): Ag – 89,97 %; Cu – 8,38 %; Sn – 1,32 %; Pb – 0,33 %.
5. Монета № 5 (5 копеек): Ag – 90,77 %; Cu – 7,26 %; Sn – 1,7 %; Pb – 0,27 %.
6. Монета № 6 (5 копеек): Ag – 80,4 %; Cu – 18,54 %; Sn – 0,78 %; Pb – 0,28 %.

7. Монета № 7 (5 копеек): Ag – 55,96 %; Cu – 42,24 %; Sn – 1,61 %; Pb – 0,19 %.
8. Монета № 8 (5 копеек): Ag – 53,43 %; Cu – 45,65 %; Sn – 0,78 %; Pb – 0,14 %.
9. Монета № 9 (5 копеек): Ag – 78,07 %; Cu – 20,31 %; Sn – 1,07 %; Bi – 0,48 %; Pb – 0,07 %.
10. Монета № 10 (5 копеек): Ag – 89,69 %; Cu – 9,02 %; Sn – 1,14 %; Pb – 0,15 %.
11. Монета № 11 (5 копеек): Ag – 88,11 %; Cu – 11,61 %; Pb – 0,28 %.
12. Монета № 12 (5 копеек): Ag – 81,68 %; Cu – 16,09 %; Sn – 1,49 %; Pb – 0,53 %; Bi – 0,21 %.
13. Монета № 13 (5 копеек): Ag – 53,22 %; Cu – 45,55 %; Sn – 1,02 %; Pb – 0,21 %.
14. Монета № 14 (5 копеек): Ag – 90,86 %; Cu – 7,01 %; Sn – 1,41 %; Ti (титан) – 0,52 %; Pb – 0,2 %.
15. Монета № 15 (5 копеек):Ag – 90,35 %; Cu – 7,48 %; Sn – 1,9 %; Pb – 0,27 %.
16. Монета № 16 (5 копеек): Ag – 88,53 %; Cu – 9,02 %; Sn – 2,12 %; Pb – 0,33 %.
17. Монета № 17 (5 копеек): Ag – 90,82 %; Cu – 7,31 %; Sn – 1,6 %; Pb – 0,15 %; Bi – 0,12 %.
18. Монета № 18 (5 копеек): Ag – 88,87 %; Cu – 8,87 %; Sn – 2,09 %; Pb – 0,17 %.
19. Монета № 19 (5 копеек): Ag – 90,7 %; Cu – 7,81 %; Sn – 1,37 %; Pb – 0,12 %.
20. Монета № 20 (5 копеек): Ag – 83,55 %; Cu – 14,74 %; Sn – 1,43 %; Pb – 0,28 %.
21. Монета № 21 (5 копеек): Ag – 89,31 %; Cu – 8,04 %; Sn – 2,36 %; Pb – 0,29 %.
22. Монета № 22 (5 копеек): Ag – 60,88 %; Cu – 37,8 %; Sn – 1,09 %; Pb – 0,23 %.
23. Монета № 23 (5 копеек): Ag – 88,25 %; Cu – 9,38 %; Sn – 2,1 %; Pb – 0,16 %; Bi – 0,11 %.
24. Монета № 24 (5 копеек): Ag – 69,27 %; Cu – 28,91 %; Sn – 1,29 %; Pb – 0,53 %.
25. Монета № 25 (5 копеек): Ag – 84,92 %; Cu – 13,29 %; Sn – 1,44 %; Pb – 0,35 %.
26. Монета № 26 (5 копеек): Ag– 78,08 %; Cu – 20,22 %; Sn – 1,56 %; Pb – 0,14 %.
27. Монета № 27 (5 копеек): Ag – 89,12 %; Cu – 9,07 %; Sn – 1,6 %; Pb – 0,21 %.
28. Монета № 28 (5 копеек): Ag – 84,21 %; Cu – 13,19 %; Sn – 2,4 %; Pb – 0,2 %.
29. Монета № 29 (5 копеек): Ag – 89,64 %; Cu – 7,89 %; Sn – 2,12 %; Pb – 0,35 %.
30. Монета № 30 (5 копеек): Ag – 88,34 %; Cu – 9,49 %; Sn – 1,9 %; Pb – 0,17 %; Bi – 0,1 %.
31. Монета № 31 (5 копеек): Ag – 85,47 %; Cu – 12,19 %; Sn – 1,94 %; Pb – 0,4 %.
32. Монета № 32 (5 копеек): Ag – 84,09 %; Cu – 13,59 %; Sn – 2,05 %; Pb – 0,27 %.
33. Монета № 33 (5 копеек): Ag – 56,57 %; Cu – 41,65 %; Sn – 1,58 %; Pb – 0,2 %.
34. Монета № 34 (5 копеек): Ag – 90,02 %; Cu – 8 %; Sn – 1,77 %; Bi – 0,13 %, Pb – 0,08 %.
35. Монета № 35 (5 копеек): Ag – 81,81 %; Cu – 16,62 %; Sn – 1,43 %; Pb – 0,14 %.
36. Монета № 36 (5 копеек): Ag – 90,12 %; Cu – 7,35 %; Sn – 2,33 %; Pb – 0,2 %.
37. Монета № 37 (5 копеек): Ag – 89,57 %; Cu – 7,57 %; Sn – 2,41 %; Bi – 0,34 %, Pb – 0,11 %.
38. Монета № 38 (5 копеек): Ag – 54,37 %; Cu – 43,64 %; Sn – 1,71 %; Pb – 0,28 %.
39. Монета № 39 (5 копеек): Ag – 87,91 %; Cu – 9,35 %; Sn – 2,26 %; Pb – 0,48 %.
40. Монета № 40 (5 копеек): Ag – 91,63 %; Cu – 5,85 %; Sn – 2,29 %; Pb – 0,23 %.
41. Монета № 41 (5 копеек): Ag – 78,39 %; Cu – 19,45 %; Sn – 1,88 %; Pb – 0,28 %.
42. Монета № 42 (5 копеек): Ag – 87,86 %; Cu – 9,85 %; Sn – 2,09 %; Pb – 0,2 %.
43. Монета № 43 (5 копеек): Ag – 91,67 %; Cu – 5,87 %; Sn – 2,28 %; Pb – 0,18 %.
44. Монета № 44 (5 копеек): Ag – 85,76 %; Cu – 11,08 %; Sn – 2,76 %; Pb – 0,4 %.
45. Монета № 45 (5 копеек): Ag – 87,84 %; Cu – 9,23 %; Sn – 2,59 %; Pb – 0,34 %.
46. Монета № 46 (5 копеек): Ag – 89,87 %; Cu – 7,32 %; Sn – 2,53 %; Pb – 0,28 %.
47. Монета № 47 (5 копеек): Ag – 88,39 %; Cu – 9,75 %; Sn – 1,59 %; Pb – 0,27 %.
48. Монета № 48 (5 копеек): Ag – 87,87 %; Cu – 9,74 %; Sn – 2,05 %; Pb – 0,34 %.
49. Монета № 49 (5 копеек): Ag – 89,71 %; Cu – 7,92 %; Sn – 2,16 %; Pb – 0,21 %.
50. Монета № 50 (5 копеек): Ag – 70,51 %; Cu – 27,35 %; Sn – 1,97 %; Pb – 0,17 %.
51. Монета № 51 (5 копеек): Ag – 89,1 %; Cu – 7,86 %; Sn – 2,45 %; Pb – 0,47 %; Bi – 0,12 %.
52. Монета № 52 (5 копеек): Ag – 58,7 %; Cu – 39,03 %; Sn – 2,11 %; Pb – 0,16 %.
53. Монета № 53 (5 копеек): Ag – 56,94 %; Cu – 41,11 %; Sn – 1,78 %; Pb – 0,17 %.
54. Монета № 54 (5 копеек): Ag – 87,39 %; Cu – 9,86 %; Sn – 2,51 %; Pb – 0,24 %.
55. Монета № 55 (5 копеек): Ag – 87,29 %; Cu – 10,0 %; Sn – 2,5 %; Pb – 0,21 %.
56. Монета № 56 (5 копеек): Ag – 89,23 %; Cu – 8,27 %; Sn – 2,24 %; Pb – 0,26 %.
57. Монета № 57 (5 копеек): Ag – 89,28 %; Cu – 8,45 %; Sn – 2,04 %; Pb – 0,23 %.
58. Монета № 58 (5 копеек): Ag – 88,02 %; Cu – 8,21 %; Sn – 2,77 %; Pb – 1,0 %.
59. Монета № 59 (5 копеек): Ag – 89,45 %; Cu – 7,46 %; Sn – 2,74 %; Pb – 0,35 %.
60. Монета № 60 (5 копеек): Ag – 89,96 %; Cu – 7,41 %; Sn – 2,55 %; Bi – 0,08 %.

61. Монета № 61 (5 копеек): Ag – 87,8 %; Cu – 9,13 %; Sn – 2,76 %; Pb – 0,31 %.
62. Монета № 62 (5 копеек): Ag – 89,61 %; Cu – 7,81 %; Sn – 2,34 %; Pb – 0,24 %.
63. Монета № 63 (5 копеек): Ag – 89,87 %; Cu – 7,06 %; Sn – 2,85 %; Pb – 0,22 %.
64. Монета № 64 (5 копеек): Ag – 90,01 %; Cu – 7,5 %; Sn – 2,24 %; Pb – 0,25 %.
65. Монета № 65 (5 копеек):
1) Ag – 88,93 %; Cu – 6,93 %; Sn – 2,59 %; Cr (хром) – 0,52 %; W (вольфрам) – 0,49; Bi – 0,45 %; Pb – 0,09 %;
2) Ag – 90,88 %; Cu – 6,45 %; Sn – 2,16 %; Bi – 0,44 %; Pb – 0,07 %.
66. Монета № 66 (5 копеек): Ag – 90,22 %; Cu – 6,8 %; Sn – 2,63 %; Pb – 0,35 %.
67. Монета № 67 (5 копеек): Ag – 91 %; Cu – 6,25 %; Sn – 2,53 %; Pb – 0,22 %.
68. Монета № 68 (5 копеек): Ag – 88,53 %; Cu – 8,8 %; Sn – 2,36 %; Pb – 0,31 %.
69. Монета № 69 (5 копеек): Ag – 90,17 %; Cu – 6,93 %; Sn – 2,72 %; Pb – 0,18 %.
70. Монета № 70 (5 копеек): Ag – 91,38 %; Cu – 6,58 %; Sn – 1,76 %; Pb – 0,28 %.
71. Монета № 71 (5 копеек): Ag – 90,35 %; Cu – 7,15 %; Sn – 2,16 %; Pb – 0,23 %; Mn (марганец) – 0,11 %.
72. Монета № 72 (5 копеек): Ag – 89,9 %; Cu – 7,52 %; Sn – 1,96 %; Pb – 0,45 %; Bi – 0,17 %.
73. Монета № 73 (5 копеек): Ag – 88,06 %; Cu – 9,55 %; Sn – 2,2 %; Pb – 0,19 %.
74. Монета № 74 (5 копеек): Ag – 89,71 %; Cu – 7,46 %; Sn – 2,52 %; Pb – 0,31 %.
75. Монета № 75 (5 копеек): Ag – 89,43 %; Cu – 7,52 %; Sn – 2,57 %; Bi – 0,27 %; Pb – 0,21 %.
76. Монета № 76 (5 копеек): Ag – 90,5 %; Cu – 6,77 %; Sn – 2,47 %; Pb – 0,26 %.
77. Монета № 77 (5 копеек): Ag – 88,77 %; Cu – 7,85 %; Sn – 3,28 %; Pb – 0,1 %.
78. Монета № 78 (5 копеек): Ag – 88,33 %; Cu – 8,2 %; Sn – 3,22 %; Pb – 0,25 %.
79. Монета № 79 (5 копеек): Ag – 89,09 %; Cu – 7,79 %; Sn – 2,61 %; Pb – 0,51 %.
80. Монета № 80 (5 копеек): Ag – 90,02 %; Cu – 7,0 %; Sn – 2,76 %; Pb – 0,12 %; Bi – 0,1 %.
81. Монета № 81 (5 копеек): Ag – 90,69 %; Cu – 6,64 %; Sn – 2,25 %; Pb – 0,42 %.
82. Монета № 82 (5 копеек): Ag – 56,41 %; Cu – 41,44 %; Sn –1,93 %; Pb – 0,22 %.
83. Монета № 83 (5 копеек): Ag – 89,45 %; Cu – 7,09 %; Sn – 2,37 %; Pb – 1,09 %.
84. Монета № 84 (5 копеек): Ag – 90,1 %; Cu – 7,25 %; Sn – 2,17 %; Pb – 0,31 %; Bi – 0,17 %.
85. Монета № 85 (5 копеек): Ag – 90,95 %; Cu – 6,08 %; Sn – 2,75 %; Pb – 0,22 %.
86. Монета № 86 (5 копеек): Ag – 90,41 %; Cu – 6,28 %; Sn – 3,13 %; Pb – 0,18 %.
87. Монета № 87 (5 копеек): Ag – 89,81 %; Cu – 8,01 %; Sn – 2,02 %; Pb – 0,16 %.
88. Монета № 88 (5 копеек): Ag – 88,63 %; Cu – 8,55 %; Sn – 2,29 %; Pb – 0,39 %; Bi – 0,14 %.
89. Монета № 89 (5 копеек): Ag – 89,55 %; Cu – 7,97 %; Sn – 2,38 %; Pb – 0,1 %.
90. Монета № 90 (5 копеек): Ag – 57,32 %; Cu – 40,5 %; Sn – 2,04 %; Pb – 0,14 %.
91. Монета № 91 (5 копеек): Ag – 89,61 %; Cu – 7,04 %; Sn – 3,04 %; Pb – 0,31 %.
92. Монета № 92 (5 копеек): Ag – 85,9 %; Cu – 11,24 %; Sn – 2,6 %; Pb – 0,26 %.
93. Монета № 93 (5 копеек): Ag – 89,6 %; Cu – 7,94 %; Sn – 2,23 %; Pb – 0,23 %.
94. Монета № 94 (5 копеек): Ag – 85,51 %; Cu – 7,47 %; Cr – 4,9 %; Sn –1,66 %; Fe – 0,24 %; Pb – 0,22 %.
95. Монета № 95 (5 копеек): Ag – 56,48 %; Cu – 41,71 %; Sn – 1,73 %; Pb – 0,08 %.
96. Монета № 96 (5 копеек): Ag – 89,56 %; Cu – 7,4 %; Sn – 2,66 %; Pb – 0,21 %; Bi – 0,17 %.
97. Монета № 97 (5 копеек): Ag – 90,68 %; Cu – 6,78 %; Sn – 2,27 %; Pb – 0,27 %.
98. Монета № 98 (5 копеек): Ag – 88,53 %; Cu – 8,15 %; Sn – 2,97 %; Pb – 0,22 %; Bi – 0,13 %.
99. Монета № 99 (5 копеек): Ag – 55,71 %; Cu – 42,0 %; Sn – 2,19 %; Pb – 0,1 %.
100. Монета № 100 (5 копеек): Ag – 89,74 %; Cu – 7,37 %; Sn – 2,62 %; Pb – 0,27 %.
101. Монета № 101 (5 копеек): Ag – 91,32 %; Cu – 5,63 %; Sn – 2,48 %; Pb – 0,42 %; Bi – 0,15 %.
102. Монета № 102 (5 копеек): Ag – 89,26 %; Cu – 7,81 %; Sn – 2,61 %; Pb – 0,32 %.
103. Монета № 103 (5 копеек): Ag – 89,76 %; Cu – 8,3 %; Sn – 1,77 %; Pb – 0,17 %.
104. Монета № 104 (5 копеек): Ag – 90,09 %; Cu – 6,71 %; Sn – 2,87 %; Pb – 0,33 %.
105. Монета № 105 (5 копеек): Ag – 90,37 %; Cu – 6,99 %; Sn – 2,4 %; Pb – 0,24 %.
106. Монета № 106 (5 копеек): Ag – 90,33 %; Cu – 7,42 %; Sn – 2,16 %; Pb – 0,09 %.
107. Монета № 107 (5 копеек): Ag – 89,59 %; Cu – 7,58 %; Sn – 2,64 %; Pb – 0,19 %.
108. Монета № 108 (5 копеек): Ag – 89,82 %; Cu – 7,79 %; Sn – 2,17 %; Pb – 0,2 %.
109. Монета № 109 (5 копеек): Ag – 61,07 %; Cu – 36,55 %; Sn – 2,25 %; Pb – 0,13 %.

110. Монета № 110 (5 копеек): Ag – 89,76 %; Cu – 7,38 %; Sn – 2,76 %; Pb – 0,1 %.
111. Монета № 111 (5 копеек): Ag – 89,3 %; Cu – 8,32 %; Sn – 2,02 %; Pb – 0,36 %.
112. Монета № 112 (5 копеек): Ag – 89,75 %; Cu – 7,6 %; Sn – 2,35 %; Pb – 0,3 %.
113. Монета № 113 (5 копеек): Ag – 69,56 %; Cu – 28,17 %; Sn – 2,16 %; Pb – 0,11 %.
114. Монета № 114 (5 копеек): Ag – 89,58 %; Cu – 7,79 %; Sn – 2,51 %; Pb – 0,12 %.
115. Монета № 115 (5 копеек): Ag – 88,97 %; Cu – 7,94 %; Sn – 2,51 %; Pb – 0,44 %; Bi – 0,14 %.
116. Монета № 116 (5 копеек): Ag – 91,13 %; Cu – 5,27 %; Sn – 3,44 %; Pb – 0,16 %.
117. Монета № 117 (5 копеек): Ag – 89,58 %; Cu – 7,29 %; Sn – 3,01 %; Pb – 0,12 %.
118. Монета № 118 (5 копеек): Ag – 90,61 %; Cu – 6,54 %; Sn – 2,62 %; Pb – 0,23 %.
119. Монета № 119 (10 копеек):
1) Ag – 86,79 %; Cu – 8,98 %; Sn – 2,68 %; Cr – 0,62 %; W – 0,52 %; Pb – 0,21 %; Bi – 0,2 %.
2) Ag – 88,72 %; Cu – 7,78 %; Sn – 3,13 %; Pb – 0,21 %; Bi – 0,16 %.
120. Монета № 120 (10 копеек): Ag – 96,46 %; Cu – 3,42 %; Pb – 0,12 %.
121. Монета № 121 (гривенник): Ag – 81,11 %; Cu – 18,72 %; Pb (свинец) – 0,17 %.
122. Монета № 122 (10 копеек): Ag – 92,13 %; Cu – 7,25 %; Fe – 0,5 %; Pb – 0,12 %.
123. Монета № 123 (10 копеек): Ag – 91,54 %; Cu – 8,26 %; Pb – 0,2 %.
124. Монета № 124 (10 копеек): Ag – 91,76 %; Cu – 7,97 %; Pb – 0,27 %.
125. Монета № 125 (15 копеек): Ag – 86,77 %; Cu – 10,9 %; Fe – 2,12 %; Pb – 0,21 %.
126. Монета № 126 (15 копеек): Ag – 59,08 %; Cu – 40,76 %; Pb – 0,16 %.
127. Монета № 127 (15 копеек): Ag – 59,01 %; Cu – 40,44 %; Pb – 0,55 %.
128. Монета № 128 (15 копеек): Ag – 58,42 %; Cu – 41,44 %; Pb – 0,14 %.
129. Монета № 129 (15 копеек): Ag – 90,27 %; Cu – 8,51 %; Sn – 1 %; Pb – 0,22 %.
130. Монета № 130 (10 копеек): Ag – 92,27 %; Cu – 7,53 %; Pb – 0,2 %.
131. Монета № 131 (10 копеек): Ag – 96,14 %; Cu – 3,74 %; Pb – 0,12 %.
132. Монета № 132 (10 копеек): Ag – 60,17 %; Cu – 39,78 %; Pb – 0,05 %.
133. Монета № 133 (10 копеек): Ag – 97,32 %; Cu – 2,53 %; Pb – 0,15 %.
134. Монета № 134 (15 копеек): Ag – 95,95 %; Cu – 2,98 %; Pb – 1,07 %.
135. Монета № 135 (15 копеек): Ag – 57,02 %; Cu – 41,84 %; Sn – 0,88 %; Pb – 0,26 %.
136. Монета № 136 (15 копеек): Ag – 62,01 %; Cu – 36,86 %; Sn – 0,94 %; Pb – 0,19 %.
137. Монета № 137 (15 копеек): Ag – 58,7 %; Cu – 40,21 %; Sn – 0,95 %; Pb – 0,14 %.
138. Монета № 138 (15 копеек): Ag – 84,62 %; Cu – 14,18 %; Sn – 0,99 %; Pb – 0,21 %.
139. Монета № 139 (15 копеек): Ag – 57,99 %; Cu – 41,33 %; Sn – 0,64 %; Pb – 0,04 %.
140. Монета № 140 (15 копеек): Ag – 84,88 %; Cu – 14,01 %; Sn – 0,78 %; Pb – 0,33 %.
141. Монета № 141 (15 копеек): Ag – 64,73 %; Cu – 34,12 %; Sn – 0,89 %; Pb – 0,13 %; Fe – 0,13 %.
142. Монета № 142 (15 копеек): Ag – 62,17 %; Cu – 36,99 %; Sn – 0,69 %; Pb – 0,15 %.
143. Монета № 143 (15 копеек): Ag – 55,33 %; Cu – 43,87 %; Sn – 0,8 %.
144. Монета № 144 (15 копеек): Ag – 56,61 %; Cu – 42,24 %; Sn – 0,99 %; Pb – 0,16 %.
145. Монета № 145 (15 копеек): Ag – 63,03 %; Cu – 35,91 %; Sn – 0,88 %; Pb – 0,18 %.
146. Монета № 146 (15 копеек): Ag – 32,83 %; Sn – 29,57 %; Pb – 28,75 %; Cu – 8,85 %.
147. Монета № 147 (15 копеек): Ag – 85,88 %; Cu – 14,03 %; Pb – 0,09 %.
148. Монета № 148 (15 копеек): Ag – 84,69 %; Cu – 13,7 %; Sn – 1,61 %.
149. Монета № 149 (15 копеек): Ag – 57,56 %; Cu – 41,11 %; Sn – 1,16 %; Pb – 0,17 %.
150. Монета № 150 (15 копеек): Ag – 57,24 %; Cu – 41,61 %; Sn – 0,93 %; Pb – 0,22 %.
151. Монета № 151 (15 копеек): Ag – 56,33 %; Cu – 42,43 %; Sn – 1,09 %; Pb – 0,15 %.
152. Монета № 152 (15 копеек): Ag – 53,42 %; Cu – 45,27 %; Sn – 1,22 %; Ni (никель) – 0,05 %; Pb – 0,04 %.
153. Монета № 153 (15 копеек): Ag – 94,81 %; Cu – 3,73 %; Sn – 1,24 %; Pb – 0,22 %.
154. Монета № 154 (15 копеек): Ag – 90,37 %; Cu – 8,28 %; Sn – 1,16 %; Pb – 0,19 %.
155. Монета № 155 (15 копеек): Ag – 88,7 %; Cu – 9,28 %; Sn – 1,52 %; Pb – 0,4 %; Fe – 0,1 %.
156. Монета № 156 (15 копеек): Ag – 55,34 %; Cu – 43,05 %; Sn – 1,53 %; Pb – 0,08 %.
157. Монета № 157 (15 копеек): Ag – 81,06 %; Cu – 16,37 %; Sn – 1,8 %; Pb – 0,65 %; Zn – 0,12 %.
158. Монета № 158 (15 копеек): Ag – 85,03 %; Cu – 13,32 %; Sn – 1,54 %; Pb – 0,11 %.

159. Монета № 159 (15 копеек): Ag – 58,56 %; Cu – 40,27 %; Sn – 1,04 %; Pb – 0,13 %.

160. Монета № 160 (20 копеек): Ag – 57,35 %; Cu – 41,22 %; Sn – 1,21 %; Pb – 0,22 %.

161. Монета № 161 (20 копеек): Ag – 89,69 %; Cu – 8,69 %; Sn – 1,37 %; Pb – 0,25 %.

162. Монета № 162 (20 копеек): Ag – 55,38 %; Cu – 43,0 %; Sn – 1,38 %; Pb – 0,15 %; Bi – 0,09 %.

163. Монета № 163 (20 копеек): Ag – 54,14 %; Cu – 44,27 %; Sn – 1,35 %; Pb – 0,24 %.

164. Монета № 164 (20 копеек): Ag – 55,63 %; Cu – 42,73 %; Sn – 1,32 %; Pb – 0,32 %.

165. Монета № 165 (20 копеек): Ag – 82,7 %; Cu – 15,2 %; Sn – 1,8 %; Pb – 0,3 %.

166. Монета № 166 (20 копеек): Ag – 56,05 %; Cu – 42,41 %; Sn – 1,32 %; Pb – 0,22 %.

167. Монета № 167 (20 копеек): Ag – 63,35 %; Cu – 35,2 %; Sn – 1,39 %; Pb – 0,06 %.

168. Монета № 168 (20 копеек): Ag – 73,39 %; Cu – 24,55 %; Sn – 1,89 %; Pb – 0,17 %.

169. Монета № 169 (20 копеек): Ag – 54,94 %; Cu – 43,78 %; Sn – 1,09 %; Pb – 0,19 %.

170. Монета № 170 (20 копеек): Ag – 53,6 %; Cu – 44,93 %; Sn – 1,34 %; Pb – 0,08 %; Ni – 0,05 %.

171. Монета № 171 (20 копеек): Ag – 89,23 %; Cu – 8,46 %; Sn – 1,99 %; Pb – 0,32 %.

172. Монета № 172 (20 копеек): Ag – 55,43 %; Cu – 42,56 %; Sn – 1,68 %; Pb – 0,33 %.

173. Монета № 173 (20 копеек): Ag – 91,82 %; Cu – 4,97 %; Sn – 2,23 %; Fe – 0,81 %; Pb – 0,17 %.

174. Монета № 174 (20 копеек): Ag – 90,25 %; Cu – 7,88 %; Sn – 1,66 %; Pb – 0,21 %.

175. Монета № 175 (20 копеек): Ag – 82,79 %; Cu – 14,48 %; Sn – 1,61 %; Pb – 0,6 %; Fe – 0,52 %.

176. Монета № 176 (20 копеек): Ag – 85,69 %; Cu – 11,86 %; Sn – 1,47 %; Pb – 0,71 %; Fe – 0,27 %.

177. Монета № 177 (20 копеек): Ag – 58,33 %; Cu – 39,94 %; Sn – 1,64 %; Pb – 0,09 %.

178. Монета № 178 (20 копеек): Ag – 54,7 %; Cu – 43,16 %; Sn – 1,8 %; Pb – 0,34 %.

179. Монета № 179 (20 копеек): Ag – 58,46 %; Cu – 39,63 %; Sn – 1,45 %; Pb – 0,41 %; Ni – 0,05 %.

180. Монета № 180 (20 копеек): Ag – 82,18 %; Cu – 15,53 %; Sn – 2,02 %; Pb – 0,27 %.

Осуществленный рентгенофлюоресцентный анализ свидетельствует, что подавляющее большинство монет изготовлено из сплава, основу которого составляло серебро. Лишь изделие № 146 (15 копеек) демонстрирует нестандартную ситуацию, связанную со значительным присутствием олова и свинца. Еще одной отличительной особенностью является широкий диапазон наличия меди в изученных монетах. В подавляющей массе (независимо от номинала) данный компонент не превышал 10–15 %. При этом выделяется группа предметов, где количество меди составляло около 30 и более процентов, что выше отмечено при демонстрации всех показателей. Проведенные исследования подтверждают уже ранее зафиксированное явление, когда монетными дворами Российской империи, занимавшимися чеканкой, не выдерживались пределы установленных отклонений. При этом не стоит исключать и другие варианты изготовления, что требует дополнительной экспертной оценки в рамках существующих рекомендаций [*Узденников*, 2004]. Стоит обратить внимание еще на один момент, связанный с выявлением отличительных черт у монет № 65 и 119. Наличие в составе сплавов хрома, вольфрама и висмута, возможно, отражает присутствие данных элементов в качестве рудных примесей именно в серебре.

Изучение спектрометром оставшихся шести деталей, расположенных в нижнем ряду рассматриваемого украшения, дало следующие результаты:

1. Бляха-нашивка № 181 (копейка допетровского времени): Ag – 91,11 %; Cu – 7,09 %; Sn – 1,44 %; Pb – 0,36 %.

2. Бляха-нашивка № 182 (копейка допетровского времени): Ag – 90,59 %; Cu – 6,71 %; Sn – 1,53 %; Pb – 0,64 %; Cr – 0,53 %.

3. Бляха-нашивка № 183 (копейка допетровского времени): Ag – 94,86 %; Cu – 3,11 %; Sn – 1,7 %; Pb – 0,33 %.

4. Бляха-нашивкка № 184 (копейка допетровского времени): Ag – 94,31 %; Cu – 3,68 %; Sn – 1,65 %; Pb – 0,36 %.

5. Бляха-нашивка № 185 (копейка допетровского времени): Ag – 92,49 %; Cu – 5,62 %; Sn – 1,28 %; Pb – 0,61 %.

6. Бляха-нашивка № 186 (копейка допетровского времени): Ag – 90,47 %; Cu – 7,11 %; Sn – 1,74 %; Pb – 0,68 %.

По выявленному химическому составу они схожи со второй группой копеек, отмеченной при исследовании металлических изделий головной повязки.

Таким образом, значительное количество проанализированных монет сделано на основе серебра с добавлением меди, а также олова и свинца. В отдельных поэлементных рядах зафиксировано присутствие некоторых естественных рудных примесей (висмут, никель, марганец и др.), а также продуктов окисления и взаимодействия с другими изделиями. Наряду с выявленными стандартами, можно отметить наличие нехарактерных сплавов, что может быть обусловлено целым рядом причин технологического характера (брак, подделка, эксперимент и т. п.). Более детальная аналитическая работа возможна при накоплении дополнительных материалов и проведении сравнительного анализа с другими результатами исследований. Основная задача данной публикации заключалась во введении в научный оборот новых этнографических экспонатов АГКМ, имеющих культурно-историческую ценность.

Ениосова Н. В. Химический состав ювелирного сырья эпохи средневековья и пути его поступления на территорию Древней Руси / Н. В. Ениосова, Р. А. Митоян, Т. Г. Сарачева // Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья. – Москва : Вост. лит., 2008. – Ч. 2. – С. 107–154.

Зайков В. В. Состав золотых изделий Вылчитрынского клада (Болгария) / В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев // Уральский минерологический сборник. – 2009. – № 16. – С. 168–173.

Тишкин А. А. Перспективные возможности проведения рентгенофлюоресцентного анализа изделий из цветных металлов в музеях Алтайского края // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. – Барнаул, 2013а. – С. 93–98.

Тишкин А. А. Коллекция случайных находок из музея Ховдского государственного университета (Монголия) / А. А. Тишкин, Б. Ч. Мунхбаяр // Культуры и народы Северной и Центральной Азии в контексте междисциплинарного изучения. – Томск, 2013б. – Вып. 3. – С. 327–337.

Тишкин А. А. Рентгенофлюоресцентный анализ металлических ножей из музея г. Ховда (Монголия) / А. А. Тишкин, Б. Ч. Мунхбаяр // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань, 2014. – Т. IV. – С. 191–195.

Тишкин А. А. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета) / А. А. Тишкин, Н. Н. Серегин. – Барнаул : Азбука, 2011. – 144 с.

Узденников В. В. Монеты России XVIII – начала XX века. Очерки нумизматики. Факты, предположения, рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Круг коллекционеров, 2004. – 590 с.

Черных Е. Н. Методика рентгено-флуоресцентного анализа меди и бронз в лаборатории Института археологии / Е. Н. Черных, В. Ю. Луньков // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. – Москва, 2009. – Вып. 1. – С. 78–83.

А. А. Тишкин[1], С. П. Грушин[1], Лянжэнь Чжан[2]

[1]Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет
[2]Китай, Нанкин, Нанкинский университет

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И МУЗЕЕВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ)*

The concerns the program of Russian-Chinese cooperation in the study of ancient metallurgical traditions in Central Asia. It involves determination of the composition of the ancient alloys, reconstruction processes of production of metal products, as well as survey and excavation sites on the territory of Altai, Xinjiang, eastern Kazakhstan and western Mongolia.

Одним из приоритетных направлений научной деятельности Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского государственного университета, созданной в 2014 г. под руководством академика РАН А. П. Деревянко, является реконструкция древнего и средневекового металлургического производства на территории так называемого Большого Алтая, который географически включает в себя собственно Алтай, а также Монгольский и Гобийский Алтай. Актуальность такого исследования определяется наличием в данном регионе мощной рудно-сырьевой базы в виде полиметаллических и других месторождений. Добыча имеющихся компонентов для производства высококачественной оловянной бронзы способствовала формированию своеобразных металлургических центров, функционировавших в рамках Алтае-Саянской горной страны в течение длительного времени. Металл из этих центров обеспечивал древние и средневековые общества обширной территории Сибири, Монголии, Средней и Центральной Азии. Данный фактор являлся значимым, а порой и определяющим в контексте развития культуры у населения существенной части Евразии.

К настоящему времени на территории Большого Алтая известна серия археологических памятников, а в музеях находятся представительные собрания изделий из цветных металлов. Данная источниковая база позволяет приступить к реализации программы изучения древних металлургических традиций в Центральной Азии, при этом опираясь на уже имеющийся исследовательский опыт.

Начало сложения на Алтае первого металлургического центра приходится на период существования афанасьевской общности (конец IV – 1-я половина III тыс. до н. э.), в рамках развития которой был освоен ряд месторождений, а также выработаны своеобразные формы металлических изделий при налаживавшемся ремесленном производстве. Исходным импульсом развития «афанасьевской» традиции, как и в целом становления горнорудного дела и металлургии на Алтае, стало продвижение племен с запада, которые принесли с собой производство, характерное для очагов Циркумпонтийской металлургической провинции.

Эпоха бронзы представлена чемурчекскими, елунинскими, андроновскими, саргаринско-алексеевскими, ирменскими и другими культурными традициями, которые развивались в зависимости от природных условий, хозяйственного уклада и военно-политических обстоятельств. В раннем железном веке на их смену пришли другие общности, демонстрирующие новации во всех сферах жизнедеятельности.

Отдельные аспекты древней и средневековой металлургии затрагивались во многих научных трудах, посвященных конкретным регионам и обозначенным археологическим культурам. Например, для территории лесостепного Алтая была собрана представительная серия данных по составу металла и ассортименту медных и бронзовых изделий, предложены подходы к их классификации и типологии. На основании данных разработок очерчены очаги металлургии и металлообработки указанного региона в бронзовом веке [*Алтай...*, 2009]. Подобная работа начата китайскими коллегами для тер-

* Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (постановление № 220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», договор № 14.Z50.31.0010, проект «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии».

© Тишкин А. А., Грушин С. П., Чжан Лянжэнь, 2015

ритории Синьцзяна [*Чжан Лянжэнь*, 2013]. На современном этапе исследования актуальной научной задачей должна стать синхронизация культурно-исторических образований в различных частях Большого Алтая. Многие исследователи, занятые изучением древних культур Синьцзяна, отмечали, что данная территория имеет глубокие связи с китайскими, центрально-азиатскими и европейскими культурами [*Wang Binghua*, 1985; *Han Kangxin*, 1993; *Mallory*, 2000; *Mei Jianjun*, 2000; *Debaine-Francsort,* 2001; *Kuz'mina*, 2004; *Han Jianye*, 2007; *Shao Huiqiu*, 2007; *Guo Wu*, 2012; и др.].

Решение задачи, поставленной в названии данной публикации, невозможно без тесного сотрудничества ученых из различных стран, и в первую очередь государств Большого Алтая – России, Китая, Казахстана и Монголии. Алтайский государственный университет может стать исследовательской базой для координации и выполнения намеченных работ, так как коллектив археологов имеет многолетний опыт международного сотрудничества в области полевых изысканий в различных регионах Центральной Азии, обладает необходимыми приборами, специалистами и источниками, полученными в течение длительного времени. Коллектив Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ обеспечен двумя рентгенофлюоресцентными спектрометрами: портативным – ALPHA SERIES™ (модель Альфа-2000, производство США) и стационарным – Х-АртМ (сделан в России, фирма-изготовитель «Комита»), а также геомагнитным градиентометром FOERSTER FEREX 4.032 DLG GPS, геодезическим и другим оборудованием.

На первом этапе целью комплексных исследований должно стать выявление особенностей становления и развития металлургии на территории Большого Алтая с конца IV до конца I тыс. до н. э. В этом плане предполагается изучение древних объектов горнорудного производства и металлургии. Исследование будет включать поиск и фиксацию выработок и поселений металлургов в наиболее перспективных районах. Базовыми объектами для исследования станут археологические памятники с выраженной металлургической специализацией на территории лесостепного и Горного Алтая, Синьцзяна, Восточного Казахстана и Западной Монголии. При реализации проекта будет предпринята попытка аргументированно ответить на вопрос о местном или привнесенном характере возникновения металлургии на Алтае, выявить исходные импульсы проникновения данных традиций в регион (если они имели место), определить роль местных племен периода энеолита в формировании металлургических традиций эпохи бронзы и др.

На основе археологических, естественно-научных, письменных и других данных предполагается произвести картирование известных и вновь выявленных древних горнорудных выработок и поселений металлургов; осуществить пространственную локализацию следов такой деятельности для последующей организации археологических раскопок; организовать полевые исследования на базовых памятниках горняков и металлургов; дать характеристику технологии горнорудного дела и металлургического производства на разных этапах развития; определить использовавшиеся типы рудного сырья; реконструировать основные этапы металлургического процесса (рецептура сплавов, типы металлов и т. д.); выявить место и значение различных очагов металлургии.

Комплексное исследование древних объектов горнорудного дела и металлургического производства будет включать широкий спектр методов естественно-научного и гуманитарного характера. Кроме традиционных археологических и исторических подходов, предполагается использование современных достижений в естественно-научных дисциплинах (геофизические изыскания, многочисленные анализы (петрографический, спектральный, радиоуглеродный, фаунистический, археоботанический) и др.). Особое значение планируется уделить металлографическому и изотопному анализам. Такие результаты, а также картирование выявленных химических и металлургических групп металлов создадут основу для понимания технологий древней металлообработки и процесса обмена металлами в рамках Большого Алтая и сопредельных территорий.

Кроме археологических источников, необходимо изучение архивных материалов, в которых упоминаются древние выработки – «чудские копи». Эти данные позволят использовать имеющуюся информацию для проведения обследований и картографирования таких объектов.

Исходя из поставленных в исследовании задач, планируется сбор и обобщение определений уже осуществленного спектрального анализа металлических предметов культур энеолита, эпохи бронзы и раннего железного века лесостепного и Горного Алтая, а также Верхнего Прииртышья и Монгольского Алтая. Это позволит сформировать единую базу данных и продолжить проведение аналогичных работ на новой приборной базе. Такая работа позволит выделить сходные группы сплавов в рамках конкретных культур и культурно-исторических общностей, а также определить заимствования технологических приемов. При реализации проекта планируется нанесение на карту химических

групп, основных существовавших металлообрабатывающих схем и типов металлических изделий. Это создаст возможности для определения границ очагов металлургии и металлообработки. Системный подход даст возможность рассмотреть каждый очаг как систему и подсистему в рамках горно-металлургических областей и металлургических провинций.

Полученные результаты могут быть использованы:

– в научной сфере для дальнейшей разработки обозначенной проблематики и обобщения полученных результатов;

– в сфере сохранения культурного наследия региона, при этом важными станут полученные пространственные данные по памятникам горнорудного дела и металлургического производства (GPS-координаты, топо- и магнитопланы и др.);

– в учебно-образовательной сфере для разработки и реализации курсов по древней истории металлургии и горнорудного дела и написания квалификационных студенческих работ и диссертаций.

В перспективе появится возможность восстановить историю возникновения и развития древней металлургии в обширном Южно-Сибирском, Западно-Сибирском и Центрально-Азиатском регионах в бронзовом и раннем железном веке.

Результатом реализации проекта станут:

– базы данных по металлическим изделиям культур эпохи бронзы и раннего железного века Большого Алтая, в которых будут отражены (по возможности) основные сведения и параметры: тип предмета, металлургическая группа, технологическая схема изготовления, культурно-хронологическая принадлежность, химико-металлургическая группа и др.;

– картирование «чудских копий» и других памятников горнорудного дела Алтая, построенное на полевых исследованиях и архивных данных;

– магнитограммы, полученные на основе геофизических методов с применением соответствующей аппаратуры для известных поселенческих комплексов (Колыванское-I, Советский Путь-I и др.);

– рудно-минералогическая характеристика районов выработок и поселений металлургов.

По результатам реализации проекта планируется подготовка серии статей, в том числе в рецензируемых и реферируемых журналах, а также издание каталогов музейных коллекций и монографий. Намечены выступления на конференциях с докладами, посвященными отдельным аспектам планируемого долгосрочного исследования.

Таким образом, кратко представленный проект международного плана позволит существенным образом продвинуться в решении актуальных проблем древней и средневековой истории Большого Алтая.

Алтай в системе металлургических провинций энеолита и бронзового века / С. П. Грушин, Д. В. Папин, О. А. Позднякова, Е. А. Тюрина, А. С. Федорук, С. В. Хаврин. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 160 с.

Чжан Лянжэнь. Металлургия в Синьцзяне в доисторическую эпоху: настоящее и будущее проекта // Современные решения актуальных проблем Евразийской археологии. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. – С. 165–172.

Debaine-Francfort C. Xinjiang and Northwestern China Around 1000 B. C. // Ricardo Eichmann and Hermann Parzinger ed., Migration und Kullturtransfer: Der Wandel vorder- und zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2 1. Vorchristlichen Jahrtausend. – Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2001. – P. 57–70.

Guo Wu. Ouya caoyuan dongbu de kaogu faxian yu sijitai de zaoqi lishi wenwu (Archaeological discoveries in the Eastern Eurasian steppe and early historical cultures of the Scythians) // Kaogu. – 2012. – N 4. – P. 56–69.

Han Jianye. Xinjiang de qingtong shidai he zaoqi tieqi shidai wenhua (Bronze Age and early Iron Age cultures of Xinjiang). – Beijing : Wenwu Press, 2007.

Han Kangxin. Sichou zhilu gudai jumin zhongzu renleixue yanjiu (Anthropological studies of ancient residents of the Silk Road). – Urumqi : Xinjiang Renmin Chubanshe, 1993.

Kuz'mina E. Historical Perspectives on the Andronovo and Early Metal Use in Eastern Asia // Katheryn Linduff ed., Metallurgy in Ancient Eastern Eurasia from the Urals to the Yellow River. – Lewiston, Queenston and Lampeter : The Edwin Mellen Press, 2004. – P. 37–84.

Mallory J. P. The Tarim Mummies: Ancient China and the Mystery of the Earliest Peoples from the West / J. P. Mallory, Victor H. Mair. – London : Thames and Hudson, 2000.

Mei Jianjun. Copper and Bronze Metallurgy in Late Prehistoric Xinjiang. – BAR International Series 865, 2000.

Shao Huiqiu. Xinjiang Shiqian Shiqi Wenhua Geju de Yanjin jiyi yu Zhoulin Diqu Wenhua de Guanxi (The Development of the Pre-historic Cultures in Xinjiang and the Interaction with Neighbor Cultures) : PhD dissertation. – Jilin, 2007.

Wang Binghua. Xinjiang diqu qingtong shidai kaogu wenhua shixi (A preliminary analysis of Bronze Age archaeological cultures of Xinjiang) // Xinjiang Shehui Kexue. – 1985. – N 4. – P. 50–61.

Н. П. Турова

Россия, Тобольск, комплексная научная станция УрО РАН

ПОПЫТКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЕКОРА НА СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЗАПАДНОСИБИРСКИХ РУКОЯТЯХ С ОРНИТОМОРФНЫМ НАВЕРШИЕМ

The article analyses the Ob-Ugrian folklore and gives interpretation of the decor element which is represented on the bronze knife handles with profiled image of a bird of prey (Western Siberia, IXth–XIIth centuries).

Рассуждая о «реализме» в изобразительном творчестве древнего населения, современные исследователи пишут: «Древние мастера никогда не ставили перед собой задачу жизнеподобного отображения окружающей среды – природной и человеческой, они стремились передать свои мировоззренческие представления, воззвать к окружающим их со всех сторон духам, оградить дом и себя от вредных влияний злых сил…» [*Зыков,* 2001: 32].

Прочтение древних изображений – это возможность проникнуть в мировосприятие их творцов, а через них прикоснуться к духовному миру древних народов.

В данном контексте определенный интерес представляет бронзовая рукоять с навершием в виде хищной птицы (рис.: *1, 1а*), происходящая из самого крупного из исследованных на сегодняшний день некрополя, относимого к юдинской археологической культуре*, – грунтового могильника Вак-Кур (находится в Ярковском районе Тюменской области, на правобережье Тобола). Работы на памятнике были начаты В. А. Захом и М. А. Бусловой в 1986, 1987, 1990 гг. [*Буслова*, 1991; *Зах,* 2010] и продолжены в 2003–2005 гг. А. А. Адамовым [*Адамов*, 2003; *Адамов, Турова*, 2006]. Могильник датируется исследователями по-разному: XI–XII вв. н. э. [*Буслова*, 1991: 14], X–XI вв. н. э. [*Адамов*, 2003: 249] и X–XIII вв. н. э. [*Зах,* 2010: 118].

Наше внимание привлекла одна деталь в оформлении данной рукояти – декорированная перегородка, примыкающая к грудной клетке (крылу) птицы (рис.: *1а*). Цель данной работы – попытаться раскрыть семантику данного элемента навершия.

Рукоять обнаружена в раскопе № 4 могильника Вак-Кур, в погребении № 122 (раскопки А. А. Адамова). Высота изделия – 15,3 см; ширина нижней части – 4 см, а максимальная ширина верхней – 5,2 см. Рукоять овальная в сечении (толщина втулки – 1,4 см).

Композиционно рукоять делится на три зоны. Нижняя зона гладкая по центру, по нижнему краю орнаментирована аркой из валиков и жемчужин, под которыми расположен зигзаг, а в верхней части орнаментирована двумя валиками, между которыми находится ряд жемчужин. Выше располагается средняя зона декора, состоящая из трех «лепестков»: боковые заполнены мелкими жемчужинами, а центральный – крупными. Венчает композицию профилированное изображение хищной птицы. Хвост и массивный крючковатый клюв птицы упираются в боковые «лепестки», а мощные трехпалые лапы – в средний «лепесток». Сложенные на спине щитообразные крылья декорированы жемчужинами и веревочкой. Хвост опущен и передан колосовидным декором. На шее птицы «ошейник» из жемчужин. К грудной клетке птицы примыкают два отростка разной длины, декорированные тем же колосовидным узором, что и хвост.

* Многие исследователи связывают юдинскую археологическую культуру с этногенезом манси.

© Турова Н. П., 2015

Бронзовые рукояти из Западно-Сибирского региона: *1, 1а* – могильник Вак-Кур; *2* – могильник Усть-Балык [*Семенова*, 2001: 92, рис. 92, 4]; *3* – Омское Прииртышье [*Соловьев*, 2003: 190, рис. 26]; *4* – Нижнее Прииртышье, частная коллекция; *5* – Нижнее Приобье [*Сокровища...*, 1996: кат. № 17]

Возникает ощущение, что данные отростки не являются просто дополнительными перегородками или декоративным заполнением пустоты, а непосредственно связаны с образом птицы. В данном случае наличие вышеописанных элементов очень сильно затмевает образ крылатого хищника (маскирует его).

Рукоять, практически аналогичная данной, но несколько меньшая по размеру и более ажурная, была обнаружена в мужском погребении № 153 могильника Усть-Балык (рис.: *2*), которое датировано X–XI вв. н. э. [*Семенова*, 2001: 98, рис. 22, 4; 103]. По мнению В. И. Семеновой, на рукояти изображен орлиноголовый грифон.

Профилированное одиночное изображение птицы присутствует примерно на половине бронзовых литых рукоятей из Западно-Сибирского региона. Нам удалось по различным источникам (публикации, частные коллекции, сайты) выявить 31 рукоять IX–XII вв. н. э. с территории Западной Сибири. Из них 19 рукоятей – из публикаций (из материалов археологических раскопок, включая изделие могильника Вак-Кур, а также из этнографических сборов), 4 – из частных коллекций, 8 – находки «черных копателей», выставленные на продажу в Интернете. Интересующий нас элемент – перегородка, примыкающая к груди (крылу) птицы, имеется на 11 рукоятях: на двух рукоятях перегородки представлены сдвоенными отростками (рассмотренные выше рукояти могильника Вак-Кур и Усть-Балык), а на девяти – одинарной перегородкой, декорированной жемчужинами (рис.: *5*). На 16 изделиях перегородки отсутствуют (рис.: *3–4*), а остальные четыре рукояти по причине плохой сохранности не дают информации по интересующему нас аспекту.

Можно было бы предположить, что подобные декорированные перегородки являются необходимыми «техническими» (конструктивными) деталями, служащими для усиления конструкции верхней части рукояти путем заполнения (скрадывания) пустот, или же технологически необходимыми деталями – дополнительными каналами для заливки металла. Однако, учитывая то, что «пустоты» находятся в верхней части рукояти, нагрузка на которую при работе минимальная, а также то, что более чем на половине подобных изделий с изображениями птиц пустоты не были усилены, можно предположить, что их наличие незначительно влияло на качество и срок службы изделия.

Также сложно связать интересующую нас деталь и с технологическим каналом для отливки: разные по размеру отростки на рукояти могильника Вак-Кур соединяются лишь с телом птицы и заканчиваются, не доходя до ближайшего элемента рукояти – бокового «лепестка».

Принимая во внимание отмечаемую многими авторами консервативность архаических обществ так называемого традиционного типа, где ничего случайного и лишнего быть не могло, можно предположить, что рассматриваемый нами элемент рукояти, выполненный достаточно тщательно и декорированный тем же способом, что и оперение птицы, непосредственно связан с ее образом.

Для интерпретации данного элемента целесообразно обратиться к богатейшему историческому источнику – фольклору хантов и манси. Может возникнуть вопрос: насколько правомерно использование современных текстов для интерпретации сюжета тысячелетней давности? Одним из удачных примеров «прочтения» средневекового сюжета на основе хантыйских и мансийских мифологических текстов является работа А. В. Бауло. Автор делает вывод: «То, что с помощью этих мифов мы уверенно можем “прочитать текст” средневекового сюжета, позволяет говорить об устойчивости мифологических представлений обских угров на протяжении всего II тыс.» [*Бауло*, 2001: 126].

Многие исследователи, занимавшиеся проблемами археологии и этнографии народов Западной Сибири, многократно подчеркивали особенности развития археологических культур и этносов в этом регионе: замедленность и преемственность в культуре. Отсюда и большая устойчивость в культуре народов этой территории, наличие пережиточных и архаических явлений даже в XX в.

Итак, обратимся к фольклорным источникам. Наибольший интерес для нас представляет мансийский текст «Как Эква-пырись* встретился с птицей Товлынг-карс**», записанный В. Н. Чернецовым в 1934 г. на реке Северная Сосьва [*Мифы*..., 1990: 346–352]. Данный текст входит в серию сказок об Эква-пырисе и имеет мифологические черты.

Сюжет сказки следующий: отправившийся на поиски жены Эква-пырись посватался к дочери вождя (городского князя) Усынг-отыра; отец соглашается отдать ему свою дочь, но после выполнения Эква-пырисем трех заданий. Самым первым заданием было убить разрушающих город птиц Товлынг-карс, которые живут на высокой лиственнице, расположенной посреди горячего моря. Эква-пырись взбирается на дерево в облике горностая и спасает птенцов Карса, убив железную лягушку, которая грызла им крылья; в благодарность за это Карс обещает больше не есть людей и помогает герою выполнить остальные задания. Эква-пырись, в свою очередь, выполняет просьбу Карса и помогает ему вернуть маховые перья, оставшиеся у мамонта (когда-то давно они воевали: мамонт у Карса три маховых пера выдернул, а у Карса остались отростки рогов мамонта). Товлынг-карс говорит: «Если эти перья у меня будут, я таким сильным стану, как повернусь – земля задрожит» [там же: 351]. Герой совершает обмен и возвращает гигантской птице ее маховые перья: «Товлынг-карс перья в крыло вставил, они туда и вросли» [там же: 352]. В итоге Эква-пырись женился на дочери Усынг-отыра.

Удивительным образом хищная птица на рассматриваемой нами рукояти напоминает гигантского Товлынг-карса, а перьевидные отростки – маховые перья. Вполне вероятно, что именно этот фрагмент мифа мог быть запечатлен на рукояти. Таким образом, у нас есть основание предположить, что по крайней мере на части средневековых бронзовых рукоятей с орнитоморфными навершиями изображена птица Карс, вернувшая с помощью Мир-сусне-хума свои маховые перья.

Вероятнее всего, на рубеже I–II тыс. н. э., в самый расцвет «героической эпохи», предки обских угров использовали этот сюжет на рукоятях для успеха в сражении или на охоте (рукояти из могильников Вак-Кур и Усть-Балык обнаружены в мужских погребениях), как напоминание о долге ранее враждебного Карса перед людьми.

Косвенным подтверждением предложенного нами варианта прочтения данного сюжета могут служить выводы А. В. Бауло о сложении к рубежу I–II тыс. н. э. собственно угорского облика Мир-сусне-хума [2001: 126].

Адамов А. А. Исследования на грунтовом могильнике Вак-Кур в Притоболье // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2003. – Т. IX, ч. I. – С. 248–250.

Адамов А. А. Новые данные по погребальному обряду населения юдинской культуры (по материалам могильника Вак-Кур) / А. А. Адамов, Н. П. Турова // Ежегодник Тобольского музея-заповедника. – Тюмень, 2006. – № 3–4 (32–33). – С. 176–178.

---

* Эква-пырись (у манси), Ими-хиты (у хантов) – сказочное имя культурного героя и покровителя обских угров – Мир-суснэ-хума («за миром наблюдающий человек»). Его представляли всадником на белом восьмикрылом коне [*Лукина*, 1990: 18].

** У обских угров широко известен образ птицы Карс. Ее внешний вид рисовался подобным гигантскому орлу или грифу. В легендах и мифах по отношению к людям Карс чаще всего выступает как враждебное существо [*Лукина*, 1990: 25].

Бауло А. В. Богатырь и невеста (серебряное блюдце с реки Сыня) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 2 (6). – С. 123–127.

Буслова М. А. Отчет об исследованиях Ботниковского 2 поселения в Исетском районе Тюменской области и многослойного памятника (поселение Вак-Кур I и грунтовый могильник Вак-Кур) в Ярковском районе Тюменской области в 1990 г. // Архив ИА РАН. – Москва, 1991. – № 15508.

Зах В. А. Средневековый могильник Вак-Кур (по материалам 1986, 1987 гг.) / В. А. Зах, И. Ю. Чикунова // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2010. – № 1 (12). – С. 107–118.

Зыков А. П. Холмогорский клад: коллекция древностей III–IV веков из собрания Сургутского художественного музея / А. П. Зыков, Н. В. Федорова. – Екатеринбург : Сократ, 2001. – 176 с.

Семенова В. И. Средневековые могильники Юганского Приобья. – Новосибирск : Наука, 2001. – 296 с.

Сокровища Приобья. – Санкт-Петербург : Формика, 1996. – 228 с.

Соловьев А. И. Оружие и доспехи: сибирское вооружение: от каменного века до средневековья. – Новосибирск : ИНФОЛИО-пресс, 2003. – 224 с.

Лукина Н. В. Предисловие // Мифы, предания, сказки хантов и манси. – Москва : Наука, 1990. – С. 5–57.

Мифы, предания, сказки хантов и манси. – Москва : Наука, 1990. – 568 с.

В. В. Ушницкий

Россия, Якутск, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

РОДОВОЙ СОСТАВ ЖИГАНСКИХ ЯКУТОВ

The article studies the generic composition Zhigansk Yakuts. Zhiganskiye Yakuts in the first half of the XVII century on the periphery of the Yakut of the world, from them in the future colonization occurred Kovyayskogo district, northern and Viliui areas. In their formation, along with immigrants from Central Yakut groups involved generic group Tungus.

По письменным источникам конца 30-х – начала 40-х гг. XVII столетия, якутское население проживало: 1) в центральной части Якутии; 2) в верховьях и среднем течении реки Яны; 3) у устья реки Олекмы; 4) в низовьях реки Вилюя; 5) в районе Жиганска и устья реки Молоды; 6) на Оймяконе [*Парникова*, 1962].

Начиная с 40-х гг. XVII в. документы фиксируют перемещение некоторых якутов из различных районов Якутии в нижнее течение Лены. Уже в 1643/1644 г. в Жиганском зимовье наряду с жиганскими якутами внесли ясак 10 якутов, прибывших с Алдана. В район Жиган якутское население прибывало также с Вилюя, от Якутского острога и других местностей. В начале XVIII столетия число пришельцев в нижнем течении Лены составляло солидную цифру. По данным ясачной книги 1718 г., в Жиганском зимовье платили ясак 327 человек «подгородных якутов».

Первое сообщение о жиганских якутах имеется в ясачной книге 1638/1639 г., составленной енисейскими служилыми людьми Андреем Котловым и его товарищами. Здесь два небольших списка якутов, в одном поименовано 9 человек, в другом – 23 человека. Во главе их был князец по имени Шапка [там же].

В 1897 г. в Жиганском наслеге было 8 наслегов с численностью 1341 человек: 1, 2-й Батулинские, Кангаласский, Туматский, 1, 2, 3, 4-й Хатылинские наслеги. По данным А. Бунге, главный контингент коренного населения Лены состоял из якутов, на нижней Лене они слились с тунгусами [по: *Парникова*, 1971: 121]. Ездящие на собаках и более оседлые назывались якутами, владеющие оленями – тунгусами. По данным карты XVII в., опубликованной в «Истории Сибири», на территории современных северных улусов Якутии в низовьях Лены, конкретно на территории Жиганского улуса, кочевали следующие тунгусоязычные роды:

© Ушницкий В. В., 2015

Эдигены (ижиганы) жили в окрестностях Жиганска, вдоль реки Муна.

Фугляды – по рекам Тюнг, Линда.

Шелогоны – по реке Муна.

Кимчаны – на устье Муны, где было Столбовское зимовье.

Кантокули – от устья Вилюя по Верхоянскому хребту.

Кумкогиры – по реке Менкере, Верхоянскому хребту.

Яндыри – по правому берегу Лены в низовьях до Омолой.

Синигиры – по рекам Анабар, Оленек.

Догочагиры – по рекам Оленек, Вилюй.

Тавги – по устью Анабара и Хатанги.

Род Увалагир обитал в XVII в. в среднем Вилюе. Другими транскрипциями того же этнонима были: «фугляд», «дуглят», «увлят», «фуфлят», «вугляк». В XIX – начале XX в. тот же этноним писался как «угулят» – видимо, это якутское произношение. В членах этого рода Б. О. Долгих видел «сравнительно поздно отунгушенных аборигенов, не знавших в прошлом оленеводства».Исследователь этноним «увалагир» – «угулят» выводит от эвенкийского слова «увала» (угала) – «нести поклажу на себе» [*Долгих*, 1960: 472–473]. Однако у увалагиров XVII в. олени имелись. О тесной связи увалагиров с дотунгусскими аборигенами, согласно В. А. Туголукову, свидетельствует татуировка, которая покрывала их лица. В 1729 г. по указу Петра I в Петербург были вывезены три семьи «шитых рож» «из Фугляцкого рода». Поэтому данный автор предполагал, что род Увалагир образовался в результате смешения эвенков рода Нанагир с аборигенами Вилюя [*Туголуков*, 1985: 189].

Как утверждал В. А. Туголуков, пришедшие с территории Амура в X–XI вв. на Среднюю Лену эвенки образовали три крупные территориальные группировки – Сологон (верхние), Дулиган (средние) и Эдиган (нижние). Они вступали в контакт с аборигенами – самодийцами и древними уральцами (предками юкагиров) [там же: 232–233].

Г. М. Василевич этноним «эджен» связывает с названием народа Уцзи, в китайских источниках обитавшего в V–VI вв. в территории Приамурья. Они были потомками древних сушеней и предшествовали широко известным мохэ. Этноним «эджен/удзин» широко встречается среди тунгусо-маньчжурских народностей, начиная с VII в. по настоящее время имеется среди монголов и тюрков Саянского нагорья [*Василевич*, 1941: 37–47]. Данный этноним нами сравнивается с названием «эжень» – обозначение «диких чжурчжэней» в летописях китайских династий Ляо и Цзинь из числа «малых народов» Маньчжурии. Таким образом, носителей этнонима «эжень» можно считать «лесными» чжурчжэнями, ушедшими жить в глухую таежную зону.

До эпидемии оспы в 1651–1652 гг. азяны (110 взрослых мужчин) были многочисленным и воинственным племенем, вместе с синигирами совершали набеги на есейских ванядыров (майаатов) [*Долгих*, 1960: 450]. Эдяне представляли собой ламутизированную часть среднеленской группировки Эдиган. С Оленека они перешли на Таймыр [*Туголуков*, 1985: 191–192]. Все эдяне и эдигане в начале XX в. говорили только на якутском языке.

Сологоны отождествляются с солонами, они проникли на север с территории Амура, до прихода тюрков на Среднюю Лену [*Василевич*, 1941: 37–47]. Г. В. Ксенофонтов отметил факт существования «Шелогонского» наслега в составе Западно-Кангаласского улуса. Они были типичными скотоводами саха. Этноним «Сологон (Шологон)» образован от эвенкийского «сологон/шологон» – «житель верховьев реки». Сологоны в XVIII–XIX вв. на Вилюе были объякучены. Часть этих сологонов осела и завела хозяйство якутского типа [по: *Туголуков*, 1985: 189].

Считается, что этноним «ваняд (маят)» произошел от эвенкийского слова «ванядал» – «пришедшие убивать». Ваняды (маяты) были единой этнографической группой с нерумнялами [там же: 164–165].

По своему происхождению соседи долганов кумкогиры представляли отунгушенных юкагиров. Их называли «вшиным родом» (от «кумко» – «вошь» по эвенкийски). Кумкогиры, как и соседние юкагиры, были охотниками и рыболовами [*Долгих*, 1960: 462].

Род Синигир в XVII в. упоминался на Оленеке, и на Анабаре, и на Чоне, и на Нижней Тунгуске. В основном они кочевали в бассейне Оленека и Анабары. В ходе движения вместе с долганами в конце XVII в. на Таймыр они были ассимилированы якутами и самодийцами. Вероятно, эти синигиры (оссанягиры) упоминались в 1733 г. среди плательщиков ясака в Жиганском зимовье на нижней Лене под названием «Есанягирского» рода тунгусов. Современные эвенки помнят только о чинагирах, отличительным признаком которых были «поднятые вверх» волосы. Синигиры были одним из

эвенских родов, который вместе с долганами и эденями перебрался с правой стороны Нижней Лены на левую [*Василевич*, 1969: 209].

Г. М. Василевич идентифицировала синигиров с шилягирами Нижней Тунгуски [1969: 209]. Б. О. Долгих синигиров рассматривал как очень большой род Эденского (азянского) рода [1960: 450]. Англичанин Роберт Финч о шилягирах писал как об особом народе наряду с тунгусами [по: *Алексеев*, 1941: 232].

Есть и другие варианты самоназвания. Старое русское название нганасан – тавги, тавгийцы – встречается в русских документах впервые лишь в 1627 г. Русские, встретившиеся с нганасанами еще в начале XVII в., первоначально называли их (с 1614 г.) пясидскими самоедами – по названию реки Пясины.

В середине XVII в. русскими документами зафиксировано присутствие по соседству с предками авамских нганасан – на юге от тавгов, в бассейне реки Котуй и в верховьях правых притоков Хеты – тунгусского племени ванядырей (ванядов) (с 1625 г.). В низовьях Вилюя и в правобережье Лены к приходу русских служилых людей в начале XVII в. кочевали тунгусы нескольких родов – калтакули (кэлтээки), кумкогиры, долганы и жакутский (ньяку). А. А. Алексеев из них к эвенам (ламутам) относит калтакулей и жакут [1941].

Б. О. Долгих утверждает, что Бетильский род имеет тунгусское происхождение [1960]. Во времена Иохельсона бетильцы на Колыме были самой многочисленной группой юкагизированных тунгусов, говорившей на юкагирском языке. Считается, что тунгусы рода Бети происходят от якутов Бетунской волости, сильно раздробленной после разгрома их карательным отрядом Василия Пояркова. Но присутствие в XVII в. Петайского рода среди юкагиров ставит ряд вопросов. Якуты называли Бетильский род юкагизированных тунгусов Ханаайы омук.

По переписи 1733 г., в Жиганском зимовье значилось 490 якутов и тунгусов. Тунгусы принадлежали к Бетильскому, Маядыльскому, Синигирскому и Эжанскому родам. Якуты – к Коринской, Одейской, Кангаласской и Мальжегарской волостям [*Гурвич*, 1966: 86].

Кангаласский улус, обитавший по благодатной долине Эркээни и Туймаада, считается сильнейшим. В Кангаласском улусе в XVII в. существовали роды Оргетский (Эргисский), Немюгинский и Хоринский. По предположению Б. О. Долгих, Малягарская волость обособилась из Кангаласской волости, образовав новый самостоятельный род, получивший свое название от имени лица, возглавившего отделившуюся группу [1960: 376]. Действительно, в преданиях мальжегарцев указывается, что «в старину со стороны Китая, с земли Тонгус Молдьу, прибыл человек по имени Молдьу и, женившись на якутской девушке, сел в наших местах» [*Васильев*, 1995: 30].

В. А. Туголуков предполагал, что жители Хатылинской волости представляли собой ассимилированных саха тунгусов Хатыгынского рода, известного в XVII в. у эвенков-скотоводов Южного Забайкалья. Забайкальские хатагины считались «мунгальскими выходцами». Его утверждение имеет силу, так как в некоторых источниках население Каталинской волости именуется «тунгускими и брацкими людьми» [*Туголуков*, 1985: 125]. На огромных пространствах Якутии проживали представители хатыгынского рода, имеющиеся и среди тунгусов. Хатыгыны обитали в Анабыре и в Оленекском улусе, имелись среди есейских саха [*Иванов*, 1982: 148]. Весьма интересно, что род северных саха хатыгын отождествляли с центральноякутскими хатылы. Представляется, что разделение между оленеводами-хатыгынами и скотоводами-хатылы могло произойти в дорусскую эпоху.

Согласно Г. Ф. Миллеру, якутов-саха можно подразделить на три группы (по нему – секты): 1. Батулинцы и хоринцы, почитавшие орла как наивысшее божество, самое близкое к божеству Урун Айыы. 2. Намцы и остальные относящиеся к ним волости, исключая бетунцев, почитающие лебедя так же, как вышеупомянутые – орла. 3. Остальные улусы и волости, не относящиеся к двум, но все же почитающие орла под именем Хомпоруун Хотой [по: *Элерт*, 2001: 112–113].

Батулинцы почитали орла, что роднит их с хоро: «Предком этого Баатылы была, говорят, птица-орел. Батылинцы его не убивают и очень чтят. Женщины рода Баатылы, если увидят парящего орла, надевали, говорят, ровдужный кафтан, называемый тангалай, почитая его, как невестки своего свекра» [*Исторические предания*…, 1960: 63].

Кроме того, о сыне Омогоя Баарагай Баатылы сообщается: «Терпел нищету и питался добычею, которую приносила черная собака». Следовательно, бедность батулинцев и их занятия охотой и рыболовством были поговоркой [*Ксенофонтов*, 1992: 166]. То же сообщается о баягантайцах, возможно, эти два рода некогда были одного происхождения. Баягантайцы и батулинцы не поминали в своих молениях Юрюнг Айыы, они не должны были отпускать в свои табуны сплошь белого

жеребца, не должны держать веревку «сэлэ» [*Ксенофонтов*, 1977: 28]. Наконец, необходимо напомнить, что монголоязычные племена в древности были обитателями лесов, занимавшимися охотой и рыболовством.

Примечательно, что батулинцы или же боотулу встречались среди вилюйских и северных саха, однако считается, что они разбежались по окраинам Якутии в итоге ясачного произвола. Название «боотулу» зафиксировано в вилюйских, оленекских, жиганских и усть-янских группах саха [*Васильев*, 1995: 31]. Эгинцы Верхоянского улуса также считаются подразделением батулинцев [*Долгих*, 1960: 376, 463].

В фольклоре северных саха существовали легенды о народе хоро: «В древности в районе реки Индигирки проживал народ хоро. Говорят, их было такое множество, что невозможно было и сосчитать их. Этот многочисленный народ какими-то судьбами целиком вымер. Они будто бы проживали много раньше чукчей» [*Ксенофонтов*, 1992: 58].

Роды северных саха: байдунцы, юсальцы и эгинцы, платившие ясак в Верхоянском и Жиганском зимовьях, в первой половине XVII в., вероятно, являлись потомками хоро. Исходя из таких преданий, можно предполагать, что ареал обитания хоро охватывал районы Крайнего Севера. Предания подчеркивают древность и многочисленность хоро. Нужно отметить заметное отличие преданий саха о племени хоро среди жителей центральных улусов от северных районов. Например, согласно фольклору северных саха, хоро – вымерший народ, живший в древние времена, по преданиям саха центральных улусов, он переселился с юга и боролся с Тыгыном. Следует учесть фольклорные сюжеты о глубокой древности и многочисленности хоролоров в прошлом. К ответвлению хоро можно отнести и намский род Юедэй. Подтверждением этого является наличие топонимов Хоро Юедэй. Например, II Юедэйский наслег называется Хоро Юедэйэ.

По фольклорному источнику, когда предки хоринцев во время наводнения сидели без огня, «прилетел ворон, держа во рту огниво с мешочком для трута, и спустил это хоринцам» [*Ксенофонтов*, 1977: 84]. Следует выделить, что хоро поклонялись ворону. Надо отметить, что ворон является любимым мифологическим героем палеоазиатских народов. Мифы о вороне-первопредке распространены и у североамериканских индейцев.

Имеются фольклорные сведения о том, что туматов с долины Туймаады изгнал Омогой Баай, победив их. Особое воинственное племя тумат, проиграв в войне с Омогоем, перекочевало на север и в сторону Вилюя и там осело. От их потомков произошли туматские роды северных районов [*Боло*, 1994: 256]. Судя по этим преданиям, туматы до прихода саха могли проживать на территории Средней Лены и только потом сосредоточиться на Нижнем и Среднем Вилюе. Имя туматов запечатлено в названии долины Туймаады.

В фольклорных источниках саха XVIII в. сохранялись сведения о прибытии туматов с юга: «В рукописном сочинении иркутского надворного советника Ивана Эверса на основании устных свидетельств якутов сообщается, что туматы, не желавшие подчиняться монголам, “со всеми семействами перебрались к началу реки Лены” и спустились вниз по ее течению до пределов нынешной Якутии» [*Туголуков*, 1985: 214].

Архивные данные XVII в. позволяют утверждать, что имя «тумат» применялось по отношению к группе «пеших» якутов Среднего Вилюя [*Долгих*, 1960: 468–469]. Но в начале XVII в. русские землепроходцы в Вилюе встретились с родами «пеших» саха, живших только рыболовством и охотой [там же: 460–462].

В тундровой зоне и в глухой, непролазной таежной зоне Севера быстро передвигаться можно только с помощью оленей. С освоением северного оленеводства якуты получили возможность быстрее передвигаться по таежной и тундровой зоне Арктики, слияние и ассимиляция с тунгусскими и юкагирскими группами стали протекать в более интенсивном темпе. Первые упоминания о наличии среди якутов Северо-Запада оленеводов относятся к 1739–1740 гг. Сообщения о значительных миграциях якутов с Лены на Оленек, с Оленека на Хатангу, о переходах в Верхне-Вилюйское зимовье являются косвенными свидетельствами в пользу того, что якуты в конце XVII в. уже обладали ездовыми оленями [*Гурвич*, 1977: 18].

В глазах северных и вилюйских якутов термин «тунгус» стал пониматься как синоним кочевника-оленевода, а не этнической принадлежности. Однако, как установил И. С. Гурвич во время специальной экспедиции на север Якутии, якуты-оленеводы являлись потомками переселенцев из Центральной Якутии, а тунгусами переписчики их записывали по старой привычке относить к тунгусам все оленеводческие группы [там же: 26].

В 1950–1952 гг. на страницах «Советской этнографии» произошла дискуссия по поводу этнической принадлежности северных якутов. Участвовавшие в дискуссии Б. О. Долгих, И. С. Гурвич, П. Терлецкий и И. М. Суслов в своих статьях высказали различные точки зрения.

По утверждению автора двух статей в «Советской этнографии» по данной проблеме И. С. Гурвича, тунгусское происхождение имели роды Бети, Угулят, Сологон и Чорду, так как в них произошло полное смешение эвенкийского населения с якутами, причем якуты ассимилировали эвенкийское население [*Гурвич*, 1952: 80]. Б. О. Долгих указывал, что в пределах Оленекского и Анабарского районов якутов 93 %, а если считать якутами и потомков членов наслега Бети, то якутами окажутся все 100 % коренного населения этих районов. Предположение П. Е. Терлецкого о нахождении на Оленеке и Анабаре двух разных (якутская и эвенкийская) этнических групп он считал явным недоразумением [*Долгих*, 1952: 90].

Таким образом, жиганские якуты имеют сложное тунгусо-якутское происхождение. В их происхождении активное участие принимали мигранты с центральных якутских улусов и верхоянские якуты, а также представители тунгусо-юкагирских родов края.

Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей. – Иркутск : Обл. кн. изд-во, 1941. – 500 с.

Боло С. И. Прошлое якутов до прихода русских на Лену (по преданиям якутов бывшего Якутского округа). – Якутск : Бичик, 1994. – 320 с.

Васильев Ф. Ф. Военное дело якутов. – Якутск : Бичик, 1995. – 220 с.

Василевич Г. М. Древнейшие этнонимы Азии и названия эвенкийских родов // СЭ. – 1941. – № 4. – С. 34–49.

Василевич Г. М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII – начало XX в.). – Москва : Наука, 1969. – 304 с.

Долгих Б. О. О населении бассейнов Оленека и Анабара // СЭ. – 1952. – № 2. – С. 86–91.

Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. – Москва : Наука, 1960. – 600 с.

Гурвич И. С. По поводу определения этнической принадлежности населения бассейнов рек Оленека и Анабара // СЭ. – 1952. – № 2. – С. 73–85.

Гурвич И. С. Этническая история северо-востока Сибири. – Москва : Наука, 1966. – 277 с.

Гурвич И. С. Культура северных якутов-оленеводов: к вопросу о поздних этапах формирования якутского народа. – Москва : Наука, 1977. – 248 с.

Иванов М. С. Дойду сурахтаах, алаас ааттаах (Топонимы Якутии). – Якутск : Кн. изд-во, 1982. – 232 с.

Исторические предания и рассказы якутов. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – Ч. I. – 322 с.

Ксенофонтов Г. В. Эллэйада : материалы по мифологии и легендарной истории якутов. – Новосибирск : Наука, 1977. – 245 с.

Ксенофонтов Г. В. Ураанхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов. – Якутск : Бичик, 1992. – Т. I, кн. I. – 416 с.

Туголуков В. А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири. – Москва : Наука, 1985. – 286 с.

Парникова А. С. О расселении якутов в XVII–XVIII вв. // Сибирь XVII–XVIII вв. – Новосибирск, 1962. – URL: http://zaimka.ru/to_sun/yakut.shtml (дата обращения: 21.05.2105).

Парникова А. С. Расселение якутов в XVII – начале XX вв. – Якутск : Кн. изд-во, 1971. – 152 с.

Элерт А. Х. Новые материалы о пантеоне якутских божеств и духов в первой половине XVIII века (статья первая) // Общественное сознание и литература XVI–XX вв. – Новосибирск, 2001. – С. 107–124.

С. А. Федорова[1], А. Д. Степанов[1], А. Н. Алексеев[2], Э. К. Хуснутдинова[3]

Россия, [1]Якутск, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Амосова,
[2]Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН,
[3]Уфа, Институт биохимии и генетики УНЦ РАН

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРАЗИИ: МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ*

Study of genetic structure and genetic history of the populations of the Sakha Republic (Yakutia) (Yakuts, Evenks, Evens, Yukagirs and Dolgans) was carried out using haploid systems of mitochondrial DNA (*n* = 701) and the Y-chromosome (*n* = 318), and analysis of 600 000 autosomal SNP-markers in 758 individuals from 55 populations. It was found that the populations of Yakutia are included in a genetic continuum, covering the north-eastern part of Eurasia (the territory of South and West Siberia, Mongolia, the Far East, Chukotka and Kamchatka), which is characterized by predominance of East Eurasian genetic component and a high content of mtDNA haplogroups C and D, Y-chromosome haplogroups N and C. The majority of lineages (91 %) belongs to haplogroups of Asian origin (Hgs A, B, C, D, F, G, M7, M13a, Y, Z of mtDNA and Hgs N1c, N1b, C3, C3c, C3d of Y-chromosome). The phylogeographic analysis of mtDNA and Y-chromosome lineages spread in Yakutia have showed their southern origin.

Close genetic relationships between populations of Yakutia and those of Southern Siberia were established. At the genetic level Yakutia is an extension of southern Siberia, the closest of its derivative. Our results support a scenario in which the territory of Yakutia was populated from the regions surrounding Lake Baikal, while the gene flow from the South Okhotsk region and Kamchatka was insignificant. Thus, the hypothesis of historians who linked the peoples of Yakutia with ancient tribes inhabited Southern Siberia, found genetic proof.

Polymorphism of mtDNA and the results of analysis of autosomal SNPs have demonstrated deep genetic differences between populations of Yakutia and the neighboring regions of Chukotka and Kamchatka. Genetic discontinuity between Yakutia and Chukotka-Kamchatka formed, apparently, as a result of the relative isolation of the Far North-East of Eurasia since the Late Neolithic period, during 3–4 thousand years. Results of the analysis of mtDNA samples of ancient Late Neolithic Kerdyugensky burial (Hgs A4 and G2a) confirm our suggestions that population of Yakutia was distanced from the ancestors of modern Paleo-Asiatic populations at the Late Neolithic period.

Haplogroups of West Eurasian origin (Hgs H, U, HV1, T, W, J of mtDNA and Hgs R1a, R1b, J, E1b1b1, I1, I2a of the Y-chromosome) found in the gene pool of native populations of Sakha (Yakutia) have low frequencies, their content in the total sample is 9 %. A dual origin of West Eurasian lineages in the gene pool of the peoples of Sakha (Yakutia) was established – some of them originated from recent admixture with East Europeans came in Yakutia in XVII century, others have a much more ancient origin related to the Middle East, Central Asia and South Siberia, and penetrated in Yakutia through the steppe zone of Eurasia, stretching between the Black and Yellow Seas. Ancient Caucasoid component is presented mainly in the gene pool of the Yakuts and Evenks.

Проведено исследование генетической структуры и генетической истории народов Якутии (якуты, эвенки, эвены, юкагиры и долганы) с использованием гаплоидных систем митохондриальной ДНК (*n* = 701) и Y-хромосомы (*n* = 318), а также полногеномного анализа 600 тыс. аутосомных SNP-маркеров у 758 индивидов из 55 популяций. Установлено, что популяции Якутии входят в единый генетический континуум, охватывающий северо-восточную часть Евразии (территория Южной и Западной Сибири, Монголии, Дальнего Востока, Чукотки и Камчатки), который характеризуется

* Работа выполнена при финансовой поддержке республиканской программы «Развитие генодиагностики в РС(Я)», грантов Европейского Союза “The European Union European Regional Development Fund through the Centre of Excellence in Genomics, Estonian Biocentre and Tartu University and European Commission” grant 205419 ECOGENE to the EBC, гранта Эстонского фонда фундаментальных исследований Estonian Basic Research Grant (SF 0270177s08), ГЗ Министерства образования и науки РФ № 6.656.2014/К.

This work was supported by the Republican program “Development of Human Gene Diagnostics in the Sakha Republic”, by the European Union European Regional Development Fund through the Centre of Excellence in Genomics, by the Estonian Biocentre and the University of Tartu, by the European Commission grant 205419 ECOGENE to the EBC, by the Estonian Basic Research Grant SF 0270177s08, by the Project № 6.656.2014/K of the Ministry of Education and Science of Russian Federation.

© Федорова С. А., Степанов А. Д., Алексеев А. Н., Хуснутдинова Э. К., 2015

преобладанием в генофонде восточноевразийского компонента, высоким содержанием гаплогрупп C и D мтДНК, гаплогрупп N и C Y-хромосомы. Подавляющее большинство линий (91 %) относится к азиатским кластерам: A, B, C, D, F, G, M7, M13a, Y, Z мтДНК, N1c, N1b, C3, C3c, C3d Y-хромосомы. Результаты филогеографического анализа линий мтДНК и Y-хромосомы, распространенных в Якутии, свидетельствуют об их южном происхождении.

Установлено тесное генетическое родство народов Якутии с народами Южной Сибири. На генетическом уровне Якутия является продолжением Южной Сибири, наиболее близкой ее производной. Наши результаты подтверждают сценарий, согласно которому территория Якутии заселялась главным образом из регионов Прибайкалья и Забайкалья, в то время как поток генов из Южно-Охотского региона и Камчатки был незначителен. Таким образом, предположения об исторических связях современных народов Якутии с древними племенами, населявшими Южную Сибирь, находят генетическое подтверждение.

По полиморфизму мтДНК и результатам полногеномного анализа наблюдаются глубокие генетические различия между народами Якутии и соседних регионов Чукотки и Камчатки. Генетический разрыв между Якутией, Чукоткой и Камчаткой сформировался, по-видимому, в результате относительной изолированности народов крайнего северо-востока Евразии начиная с эпохи позднего неолита, в течение 3–4 тыс. лет. Результаты анализа мтДНК древних образцов Кердюгенского погребения (гаплогруппы A4 и G2a), датированного радиоуглеродным методом временем позднего неолита Якутии, подтверждают наши предположения о том, что дистанцированность населения Якутии от предков современных палеоазиатов была характерна и для эпохи позднего неолита.

Западноевразийские линии гаплогрупп H, U, HV1, T, W, J мтДНК и R1a, R1b, J, E1b1b1, I1, I2a Y-хромосомы встречаются в генофонде народов Якутии с низкой частотой – их суммарное содержание в общей выборке составляет ~ 9 % по обеим маркерным системам. Установлено двойственное происхождение европейских линий в генофонде народов РС(Я) – часть из них привнесена европейскими этносами, заселившими Якутию с XVII в., другие имеют намного более древнее происхождение, связанное с регионами Ближнего Востока, Средней Азии и Южной Сибири, и проникли в Якутию через степную зону Евразии, простирающуюся между Черным и Желтым морями. Древний европеоидный компонент представлен в большей степени в генофонде якутов и эвенков.

Я. В. Фролов, С. П. Грушин

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет

КОЛЧАН ИЗ ЗАХОРНЕНИЯ МОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ – МОГИЛЬНИКА КАЛИСТРАТИХА 3 (ВЕРХНЕЕ ПРИОБЬЕ)*

A birch bark quiver found in a XIIIth–XIVth c. AD grave in Altai is described in the publication. Many details of its design and decor were reconstructed.

В ходе раскопок памятника «Калистратиха 3, грунтовый могильник» (Барнаульское Приобье) было выявлено два погребения, относящихся к монгольскому времени. В одном из них (могила № 5) был обнаружен берестяной колчан. Сохранность предмета позволяет реконструировать ряд элементов его конструкции.

Колчан был уложен сверху на погребенного. Он размещался с правой стороны, закрывая правую руку от локтя. Нижний край колчана лежал на правом бедре умершего. Правый край колчана находился поверх загнутого края берестяного короба, в котором был погребен умерший. По-види-

* Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (постановление № 220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», проект № 2013-220-04-129 «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии».

© Фролов Я. В., Грушин С. П., 2015

мому, колчан одной стороной опирался о край берестяного короба и после деформации последнего опустился на его стенку.

Внутри колчана находились стрелы, помещенные наконечниками вверх. Хорошо сохранились костяные и деревянные наконечники, а также древки. Железные изделия в погребении имели очень плохую сохранность, полностью разрушились железные наконечники стрел, железное изделие нож или напильник с деревянной рукоятью в деревянных ножнах, помещенное внутрь колчана.

Колчан представлял собой берестяной короб (рис.: *1, 2*), стенки которого были усилены деревянными планками. В верхней части колчана прослежен карман или воротник. Общая длина колчана составила около 85 см. Плохая сохранность верхнего края воротника непозволяет указать более точные размеры. Судя по сохранившемуся фрагменту деревянного днища короб колчана в разрезе имел подпрямоугольную форму, углы закруглены. Тул колчана имел расширения внизу и у горловины. Зауженная часть (перехват) прослеживается чуть выше середины короба. Короб изготовлен из двух листов бересты, которые, возможно, между собой сшивались. На лицевой и оборотной поверхности колчана прослежено значительное количество парных отверстий, вероятнее всего необходимых для крепления при помощи пришивания к листам бересты деталей конструкции колчана и элементов декора. Сквозные отверстия в двух слоях берестяных стенок колчана выявлены по бокам в месте крепления деревянных планок – деталей каркаса изделия. Другая серия отверстий на внешней поверхности колчана, протянувшихся в линии внутри полос, образованных параллельными рисками, вероятно служившая для крепления декоративных элементов, прослежена только на внешнем листе покрытия (рис.: *1*).

При изготовлении короба колчана сворачивали сразу два листа бересты, сложенных вместе. Их стыки расположены на тыльной стенке короба. Видно, что край внутреннего листа расположен внахлест поверх внешнего. Кроме того, края внешнего листа не состыкуются между собой. Имеется небольшой зазор (рис.: *1-D*). Дополнительным креплением, соединяющим края листов бересты, образующих тул колчана, являлась широкая деревянная планка, прикрывающая стыки и зазоры между листами на оборотной стороне изделия (рис.: *1-D*). На внешней стороне короба у края устья колчана прослежена берестяная прямоугольная вставка, вероятно вклеенная в основу внешнего листа короба колчана. Хорошо видны места соединений (склеек?) в виде срезанных под углом и наложенных друг на друга торцов листов бересты. Назначение данной вставки неясно. Часто в колчанах подобного типа на внешней поверхности у устья располагались широкие накладки, не только служившие декоративным элементом, но и применяющиеся для усиления и предохранения от разрывов края кармана колчана. Не исключено, что берестяная вставка колчана из Калистратихи 3 может быть результатом починки изделия, а также являться специальным элементом, усиливающим край колчана. Похожее оформление устья имеет колчан из могильника Усть-Алейка Клуб [*Кунгуров*, 1991: 164, рис. 3-13; *Горбунов*, 2006: рис. 41-2; *Тишкин*, 2009: рис. 88-11].

Как уже отмечалось выше, каркас колчана сделан из деревянных плашек. Их остатки разной степени сохранности обнаружены по бокам колчана и на его тыльной стороне. Боковые планки после деформации колчана оказались расположены: одна – поверх правого края тула, другая – внизу под местом сгиба левого края короба колчана (рис.: *1*).

Лучше всего сохранилась плашка с правой стороны колчана. Она прослежена от верхнего края кармана (воротника) примерно до середины изделия. Далее ее следы выявлены в виде тлена и отдельных небольших фрагментов до нижней части короба. Зафиксированная часть плашки имела ширину до 4–5 см и толщину около 0,5 см. В профиле правая боковая планка имела изогнутую Г-образную форму и, вероятно, укрепляла угол короба колчана (рис.: *1-B, C*). На участке края кармана колчана в профиле планка была загнута еще под более острым углом. У внешнего края воротника на планке прослежены две небольших бороздки (канавки), которые могли иметь как декоративное назначение, так и быть связаны с какими-то технологическими особенностями крепления каркаса. Похожая канавка прослежена на планке и в районе соединения кармана и тула колчана. Правая плашка имеет разломы в нескольких частях. Сейчас неясно, являлись ли эти отдельные фрагменты одним целым или боковая планка каркаса колчана состояла из нескольких отдельных деталей.

Левая плашка сохранилась в небольших фрагментах, но древесный тлен прослеживался по всему краю колчана. Вероятно, она имела похожую форму, что и правая деталь. Об этом говорит ее фигурный фрагмент, зафиксированный у верхнего края кармана (рис.: *1-E*).

Планка, расположенная с тыльной стороны колчана, имела максимальную ширину 10–12 см и толщину 0,5–0,7 см и, вероятно, проходила по всей длине изделия. Похожая деталь каркаса колчана зафиксирована в могиле 8 памятника Ближние Елбаны VI [*Тишкин*, 2009: 70–71].

Берестяной колчан из погребения № 5 памятника «Калистратиха 3, грунтовый могильник»:
1 – лицевая сторона с поперечными разрезами колчана по линиям A, B, C, D;
2 – внутренняя часть колчана;
3 – фрагмент миниатюры с изображением колчана [по: *Staatsbibliothek zu Berlin...* : 7]

Еще одна деревянная деталь – днище короба колчана – находилась ниже изделия. Возможно, в ходе археологизации захоронения под весом заполнения могилы днище было выдавлено наружу. Судя по сохранившемуся фрагменту днище представляло собой деревянную плашку подпрямоугольной формы с закругленными углами (рис.: *1*). Торцы плашки были срезаны под углом и дополнительно подработаны.

Карман или воротник колчана сохранился плохо. Его боковые стенки были образованы деревянными планками, имевшими дополнительные закраины – бортики с передней стороны. Задняя стенка, вероятно, была изготовлена из бересты. Из-за плохой сохранности нельзя ничего определенного сказать о верхней крышке кармана. Вероятно, она была изготовлена из дерева.

Из-за плохой сохранности левого края колчана следов его крепления к стрелковому поясу не прослежено. Не исключено, что эти детали крепежа были выполнены из железа и не сохранились.

По-видимому, к нижнему краю колчана с лицевой стороны крепился шнурок из перевитой полоски кожи. Он шел от лицевой стороны нижнего края колчана и располагался поверх днища. У правого края тула обнаружены следы еще одного шнурка, возможно, крепившегося к боковой планке в нижней части колчана. Назначение данных элементов крепления авторам неясно.

О том, что колчан имел декоративное оформление из накладных деталей, свидетельствуют бороздки-риски, прослеженные на внесшем листе бересты, покрывающей тул. Бороздки образуют три узкие полосы, начинающиеся от днища и постепенно сходящихся к середине колчана, оттуда они продолжаются уже в виде одной широкой полосы (рис.: *1*). Полосы были декорированы несохранившимися накладками (нашивками?) из органического материала, следы от крепления которых в виде линий парных отверстий, расположенных внутри орнаментальных полос, прослежены по всей длине тула. Продольные бороздки обнаружены и на тыльной стороне колчана, но их конфигурацию проследить не удалось. Сходную орнаментальную композицию на внешней стороне тула можно увидеть на колчане из могильника Кудыргэ [*Горбунов*, 2006: рис. 41-4; *Тишкин*, 2009: рис. 114-3].

Находка колчана из могильника Калистратиха 3 продолжает представительную серию подобных изделий из погребений монгольского времени Барнаульского Приобья. На сегодняшний день с этой территории известно более 10 колчанов разной степени сохранности [*Кунгуров*, 1991: 164, рис. 3-13; *Горбунов*, 2006: рис. 41; *Тишкин*, 2002: 88–90, рис. 41, 48, 54, 55, 64; 2009: 61, 68–71, 102, рис. 24, 32, 50, 53, 65, 88-11]. В. В. Горбунов и А. А. Тишкин выделяют среди них два типа: с прямым верхом и с карманом [*Горбунов*, 1998: 266]. Наиболее территориально близкая аналогия нашему колчану происходит из могильника Усть-Алейка Клуб. У этого колчана также имелся карман – сохранилась деревянная рамка, выполненная из изогнутой заготовки [*Кунгуров*, 1991: 164, рис. 3-13; *Горбунов*, 2006: рис. 41; *Тишкин*, 2009: рис. 88-11]. Интересно то, что и состав наконечников, входящих в колчанный набор из могильника Усть-Алейка Клуб, близок серии стрел из погребения № 5 могильника Калистратиха 3 [*Кунгуров*, 1991: 164, рис. 3-3–12; *Тишкин*, 2009: рис. 88-11].

В целом тип берестяного колчана-короба цилиндрической или близкой к ней уплощенной формы широко распространен в северной Евразии в монгольское время и в предшествующие периоды [*Горбунов*, 2006: 45–46].

Хронологическую и культурную специфику несут, видимо, конструктивные особенности создания колчанов – каркас из деревянных планок и детали декоративного оформления. Аналогичную композицию декоративного оформления колчана из Калистратихи 3 можно увидеть на миниатюре начала XIV в. – иллюстрации сборника летописей Рашид-ад-Дина, где изображен штурм Багада в 1258 г. монгольскими войском (рис.: *3*) [*Staatsbibliothek zu Berlin*...: 7]. На изображении лучников миниатюры представлена явно элита монгольского войска. На рисунке отображено много специфических деталей одежды и вооружения, по-видимому маркирующих статусные или этнические отличия. Обнаружение колчана с подобной композицией декора в Верхнем Приобье на северной периферии монгольского мира в погребении рядового воина, с одной стороны, позволяет говорить о том, что местное население этого региона воспроизводит некоторые традиции, характерные для элитных групп монгольского населения (об этом свидетельствует, возможно, находка бокки в могильнике Телеутский Взвоз [*Тишкин*, 2002: 125–130]), а с другой – позволяет ставить вопросы о происхождении и этнической принадлежности группы населения, проживавшей в монгольское время в Верхнем Приобье.

Находка колчана из Калистратихи 3 открывает новые перспективы для интерпретации происхождения и контактов группы населения, оставившей памятники монгольского времени, выделенные А. А. Тишкиным в кармацкую культуру [*Тишкин*, 2009: 36–37].

Горбунов В. В. Вооружение населения лесостепного Алтая в монгольское время (XIII–XIV вв.) / В. В. Горбунов, А. А. Тишкин // Военная археология: оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 262–266.

Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. II. Наступательное вооружение (оружие). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006 – 232 с.

Кунгуров А. Л. Реконструкция погребального обряда и предметов материальной культуры грунтового могильника монгольского времени у с. Усть-Алейка // Материальная культура и проблемы археологической реконструкции. – Новосибирск, 1991. – С. 161–168.

Тишкин А. А. Алтай в монгольское время (по материаламархеологических памятников). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 110 с.

Тишкин А. А. Курганный могильник Телеутский Взвоз-I и культура населения лесостепного Алтая в монгольское время / А. А. Тишкин, В. В. Горбунов, А. А. Казаков. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. – 276 с.

Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Orientabteilung, Diez A fol. 70. – S. 7.

А. В. Харинский

Россия, Иркутск, национальный исследовательский технический университет

ОХОТНИЧЬЕ ЗИМОВЬЕ: ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

The materials of ethno-archeological research is presented in this article which took place in a middle part of the river valley of the Verhnyaya Angara in the North Baikal region of Buryatia. The remnants of the zimovyo dated by 30s XX century were found in Tukola area. This remnants are drew an analogy with the zimovyo built in 1990 by locals of settlement Stariy Uayan. Reconstruction of the zimovyo and the characteristic of constructive details of similar constructions is given in the valley of the Verhnyaya Angara.

Ведение промысла в отдаленных от долговременных населенных пунктов районах требовало от сибирских охотников сооружения жилых построек, известных под названием «зимовье». Как правило, каждый охотник имел в своих угодьях одно или несколько зимовий. Если угодья были большими, то одно зимовье исполняло роль базового, а остальные носили временный характер. В базовом зимовье охотник проводил большую часть времени, и строилось оно более основательно. Временные зимовья были необходимы для освоения большой охотничьей территории, для обхода которой требовалось несколько дней. Зимой, когда велся основной промысел зверя, потребность в таких временных жилищах, где можно было согреться, приготовить пищу и в случае необходимости отремонтировать охотничье снаряжение, была особенно высока. Друг от друга зимовья располагались на расстоянии дневного перехода. Поэтому, отправляясь на промысел по заранее определенному маршруту – «путику», охотник знал, что к вечеру он придет в избушку, в которой сможет переночевать.

Обычно для строительства зимовья выбирались возвышенные участки местности, расположенные недалеко от источников питьевой воды. С одной стороны, зимовье не должно было бросаться в глаза, поэтому, как правило, оно сооружалось на лесной полянке или у края леса, с другой стороны, в окна зимовья должно было попадать достаточное количество света, чтобы согревать и освещать избушку. Поэтому чаще всего одно из окон зимовья, обычно расположенное с торцевой стороны, противолежащей двери, смотрело на юг. Расположенное на возвышенности, зимовье не страдало от сырости и лучше обдувалось ветром, отгонявшим гнус.

Для того чтобы понять, как происходит археологизация этого типа сооружений, в 2007 г. в рамках Байкальского археологического проекта (руководитель – профессор университета Альберты Анджей Вебер) этноархеологическим отрядом Иркутского государственного технического университета проводились исследования в среднем течении Верхней Ангары Северобайкальского района Бурятии. По берегам Верхней Ангары начиная со второй половины XVII в. наряду с эвенкийским населением проживали русские промышленники. Со строительством БАМа количество русских охотников и рыбаков стало превышать эвенкийское население.

© Харинский А. В., 2015

Предварительно место для будущих раскопок выбиралось на основании данных, представленных в «Атласе р. Верхней Ангары…» за 1932 г. [*Самойлов,* 1935]. В 2006 г. все береговые участки, на которых в Атласе были отмечены эвенкийские стойбища или зимовья охотников, были осмотрены. На одном из них, отделенном от берега протокой Тукола, обнаружены остатки зимовья, представленного нижними венцами. Размер конструкции: 4,4 × 4,4 м. Она квадратной формы и ориентирована двумя стенками по линии с азимутом 117°, а двумя другими – по азимуту 27°. Зимовье располагалось в юго-восточной части поляны, занимавшей центральное положение в местности Тукола. К ней примыкали еще две поляны, одна – с северо-западной, а другая – с северо-восточной стороны.

К югу от поляны на краю берега оборудовано место для ловли омуля во время его осеннего хода на нерест. Для обогрева рыбаки, которые вытаскивали с помощью сачков рыбу из холодной речной воды, разжигали костер, остатки которого здесь зафиксированы. Лов рыбы осуществлялся со специально построенного для этих целей помоста. На два бревна, уложенных у воды поперек берега, прибивались жерди. К помосту со стороны поляны вела тропинка. В месте, где построен помост, глубина реки достаточно большая. Поэтому шедший на нерест омуль подходил вплотную к берегу, на котором его поджидали рыбаки.

На месте зимовья было решено разбить раскоп размером 4,5 × 5,0 м. Короткими сторонами раскоп ориентирован по линии с азимутом 26°. Во время исследований на площади раскопа были вскрыты рыхлые отложения на глубину 10–15 см. Они включали дерновый слой мощностью 6–10 см и кровлю расположенного под ним слоя серой супеси. В ходе раскопок расчищен нижний венец зимовья и расположенные внутри него остатки жизнедеятельности людей (см. рис.).

Бревна, образующие венец зимовья, диаметром около 20 см. Концы бревен, образующих северо-западную и юго-восточную стенки, лежат на концах бревен, составляющих северо-восточную и юго-западную стенки. Концы бревен на 30 см выходят за края сруба. В 50–60 см к северо-западу от сруба лежит отдельное бревно длиной 2,3 м.

Археологический материал располагался преимущественно внутри сруба и к северо-западу от него. В северо-восточном углу сруба обнаружен стеклянный флакон от духов. У северо-западной стенки найдена железная трехзубая острога. На каждом из зубцов остроги имеется бородка. Два зубца остроги в средней части перевязаны. У юго-западной стенки сруба найдена железная заслонка печи четырехугольной формы.

К северо-западу от зимовья найдена стеклянная бутыль, фрагменты железа и железная пилка с мелкими зубцами с одной из сторон. У юго-восточной стенки и в северном углу обнаружены детали капкана на пушного зверя. У северо-западной стенки сруба зафиксировано два железных клина четырехугольной формы. За пределами зимовья, у западного угла, найдено железное долото. В этом же углу внутри зимовья обнаружен кусок листового железа и фрагмент железной пилки с мелкими зубцами. В южном углу зимовья зафиксировано несколько осколков оконного стекла и конусовидная поделка из камня.

Внутри зимовья обнаружено три консервных банки. Одна из них находилась у юго-восточной стенки, другая – в центре сооружения; третья обнаружена в северном углу. У юго-восточной стенки зимовья, рядом с деталями капкана, найдена двадцатикопеечная монета 1936 г. У юго-западной стенки сруба обнаружена гильза.

В центре зимовья найден лист металла, перекрывавший сверху печь. В середине листа сохранилось круглое отверстие для установки котла или кастрюли. Окна зимовья были застеклены. Осколки стекла найдены в юго-восточной части зимовья. Судя по обнаруженным остаткам, печь находилась в западном углу зимовья, возле входа. Вход был с северо-западной стороны. С противоположной стороны располагалось окно, выходившее к реке. Вдоль юго-западной и северо-восточной стенок, вероятно, находились нары, остатки которых были нами зафиксированы. В северо-западном углу зимовья, скорее всего, находилась полка с разным инвентарем.

Найденные во время раскопок артефакты свидетельствуют о том, что зимовье использовалось людьми во второй четверти XX в. Прежде всего на это указывает найденная монета. Основным занятием его обитателей был пушной промысел и охота на более крупного зверя. Костей животных в зимовье не найдено, возможно, они отдавались собакам. В северо-западном углу зимовья найдены кости щуки. Наличие у западной стены остроги свидетельствует о промысле жителями зимовья крупной рыбы.

Тукола, раскоп на месте старого зимовья, расположение находок:
1, 33 – стеклянные бутылки; *2, 18* – камень; *3, 16, 24, 40* – береста; *4, 10, 36, 37, 38, 39* – фрагменты капкана; *5, 54* – кости; *6* – фрагмент консервной банки; *7* – костяной скребок; *8* – позвонки рыбы; *9, 23, 29* – консервные банки; *11, 19* – проволока; *12, 32* – бутылочное стекло; *13* – острога; *14* – металлическая заслонка от печки; *15, 21, 28, 34, 47, 48, 49* – железные фрагменты; *17* – железные клинья; *20* – железные лист от печки; *22* – кирпич; *25, 30* – фрагменты оконного стекла; *26* – гильза; *27* – гвоздь; *31* – поделка из камня; *35* – монета; *41, 51* – пилки; *42, 43, 44, 45, 46* – деревянные щепки; *50* – долото; *52, 53* – неатрибутированные автором находки из раскопа

Для обоснования реконструкции раскопанных на Туколе остатков жилища рассмотрим конструкцию современного зимовья, расположенного в 10 км к северо-востоку от них. Оно построено Алексеем Тимофеевичем Сарычевым и его сыновьями Александром (1967 г. р.), Алексеем (1972 г. р.) и Игорем (1965 г. р.). А. Т. Сарычев (1934 г. р.) переехал вместе с отцом в с. Делакоры из Пензы во время Великой Отечественной войны. Тимофей был раньше в Делакорах в ссылке и поэтому знал эти

места. Чтобы как-то прокормиться, он предложил уехать в Сибирь. Жена Алексея Тимофеевича – Елизавета Николаевна Алсанова, 1937 г. р., родом из Ирканы. В конце 1950-х гг. они с мужем переехали в Уоян, где и родились все их дети. В 1980 г. Сарычевы построили на берегу Верхней Ангары первое зимовье, но через некоторое время берег подмыло, и зимовье завалилось. В 1990 г. было построено новое зимовье. Оно располагается в 0,5 км к северу от берега Верхней Ангары и в 0,4 м к северо-западу от ее правого притока Юкта. Сейчас территория от Туколы до Юкты считается охотничьими угодьями Сарычевых. На охоту Сарычевы заезжают в конце октября и охотятся до конца февраля. До этого, с конца сентября по начало октября, они занимаются ловлей омуля. Для себя ловят около 1000 омулей и засаливают их. Из соровой рыбы летом ловят в основном щуку. Рыбачат как на спиннинг с блесной, так и на сеть.

Зимовье представляет собой четырехугольный дом с двухскатной крышей, сложенный из кругляка. Вход в дом находится с северной стороны. Дверь открывается наружу. С улицы она подпирается палочкой. К западу от входа на северной стене устроена полочка. На ней лежал металлический трос, проволока, резиновый ремень. Под полкой стояло перевернутое вверх дном ведро. В южной и западной стенах сделаны окна. Рамы разделены вертикальной срединной планкой на две части, в каждую вставлено стекло.

Внутри зимовья к окну примыкает стол, покрытый желтой клеенкой. С двух сторон от стола, вдоль западной и восточной стен, располагаются нары. На нарах лежат матрасы и подушки. К западу и востоку от окна над нарами на стене деревянные полки. Стены зимовья украшают плакаты с изображением девушек. Под нарами валяются пустые бутылки и обувь.

К западу от входа в зимовье устроен умывальник. Рядом с ним располагается стол, над которым на гвоздях и на небольшой полке находятся разные хозяйственные принадлежности. Стол покрыт красной клеенкой. На ней стояла четырехугольная коробочка, в которой находилась зажигалка, проволока, наждачка и шурупы. К востоку от входа располагается металлическая печь. Между печью и восточной стенкой зимовья в целях безопасности установлен лист шифера. Над дверью прибиты две заячьих лапки.

С севера к зимовью примыкает лабаз. Над ним закреплена крыша, имеющая наклон в западную сторону. Крыша состоит из семи продольных досок, покрытых толью. Толью покрыта и крыша зимовья.

В 6 м к северо-востоку от входа в зимовье устроен таган. Он состоит из трех жердей, верхние концы которых связаны, а нижние упираются в землю. К месту соединения трех жердей привязана проволока, на которую крепится крюк. На крюк по мере необходимости подвешивался котел, под которым разводился огонь. В 6 м к северо-западу от тагана в кустах построена собачья будка. В 3 м к северо-востоку от нее располагается еще одна будка.

Как показывают полевые этнографические материалы, собранные на территории Северобайкальского района, при строительстве зимовья соблюдалось несколько основных принципов. Нижний венец избушки укладывался прямо на землю, и над ним возводились стены четырехугольного жилища, размеры которого составляли 4–5 м × 4–5 м. Крыша делалась односкатной или двухскатной. Вход ориентировался на север с отклонениями в ту или иную сторону, что зависело от рельефа местности, расположения леса и локализации водоема. В противоположной к двери стене делалось окно, которое должно было хорошо освещаться. Дополнительные окна также имелись в восточной или западной стенке. Они стеклились или, с появлением полиэтилена, закрывались им. Вдоль восточной и западной стен сооружались нары. Между ними, под окном в южной стенке, устанавливался стол. У входа в зимовье с правой или левой стороны располагалась печь-буржуйка. Такое расположение печи способствовало формированию теплового заслона перед входной дверью, что не давало холодному воздуху возможности проникнуть в жилище. Особенно важно это было зимой. По стенкам зимовья крепились полки, по которым раскладывались мелкие предметы бытового или промыслового назначения. Крупные вещи помещались на чердак.

В результате разрушения от зимовья, как правило, сохранялся лишь нижний венец, который во время строительства иногда присыпался землей. На место расположения печи и окон в раскапываемом жилище зачастую указывают битое стекло и железные детали печи. Наибольшая концентрация находок наблюдается вдоль стен. Часть из них, как ненужные, забрасывались охотниками под нары, а часть в результате разрушения зимовья падали с полок. Крупные вещи могли оказаться внутри остатков зимовья в результате разрушения чердака, где они до этого находились. Некоторые вещи находятся снаружи зимовья у входной двери. На площадке перед зимовьем промысловики проводили значительную часть времени, о чем свидетельствуют и найденные здесь артефакты.

Сравнение действующего и уже археологизированного зимовья позволяет исследователю более детально проследить тенденции, связанные с организацией промыслового и жилого пространства охотниками на протяжении длительного времени, более детально реконструировать археологический объект и определить назначение всех выявленных на нем элементов.

Самойлов И. И. Атлас р. Верхней Ангары от Камнеокона до устья / И. И. Самойлов, В. Д. Калинин-Иванов. Сост. по исследованиям 1932 г. П/р инженера И. Ф. Молодых. – Иркутск : [б. и.], 1935.

Л. Д. Чадамба

Россия, Кызыл, Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВ И КОМПОЗИЦИЙ ПЕТРОГЛИФОВ ТУВЫ СКИФСКОЙ ЭПОХИ

The article is devoted to some special way and compositions of rock art of Tuvain Scythian time. Analysis of the images of the Scythian period showed that despite some differences, figures presented on the rocks in Tuva do not differ from the “standard” set of characteristic of Central Asia and South Siberia is primarily a way of red deer, predators, wild boar, horse riders , goats, etc. Particular artistic style of the Scythian period in Tuva are similar to the works of art of the early nomads of East Kazakhstan, Mongolia and the Altai.

Пласт петроглифов скифского времени выделяется в Туве очень четко. К ним относится самая большая группа изображений, которые известны на всех памятниках наскального искусства республики.

Анализ материалов наскального искусства Тувы позволяет говорить о том, что если на раннем этапе излюбленным персонажем скифского времени был козел или баран, то затем выделяются олень и кабан, реже – лошадь (обычно со всадником). Изредка, как сопровождающие копытных, воспроизводятся хищники. Изображения людей немногочисленны, в основном в сценах охоты – это всадники, скачущие на лошадях, и пешие лучники, держащие в руках лук с натянутой тетивой и стрелой. Они имеют реальный человеческий облик. По некоторым деталям – островерхой шапке, короткому кафтану, простому луку, гориту или колчану на поясе или за спиной – можно говорить, что здесь изображены воины скифского времени. На позднем этапе скифской культуры продолжают изображаться олени, но уже преобладают козлы и бараны, а также появляются лоси и верблюды. Лошади выбиваются только вместе со всадниками. На скалах продолжают изображаться сцены охоты всадников или пеших охотников в сопровождении собак. Фигуры людей становятся более схематичными. Найдено несколько одиночных фигур хищников, птиц и солярных знаков в виде триквестров, спиралей.

Для изображений скифского времени Тувы выделяются группы петроглифов, самые яркие из которых представляют серию ранних петроглифов, выполненных в аржано-майэмирском стиле, а также группу петроглифов монголо-забайкальского стиля.

Особое значение для датировки и определения особенностей раннего пласта изображений, т. е. выполненных в аржано-майэмирском стиле, имеют изобразительные материалы кургана Аржан II. При исследовании этого погребально-поминального комплекса помимо захоронений были обнаружены плиты с петроглифами, выполненными в аржано-майэмирском стиле. Здесь найдены 4 оленных камня и 34 плиты с изображениями [*Чугунов*, 2008: 53–69]. Это изображения оленей, кабанов, верблюдов, выполненных в едином стиле. Также на оленном камне, перекрытом кладкой кургана, расположены фигуры горного козла и кабана, которые, несмотря на некоторый схематизм выполнения,

---

© Чадамба Л. Д., 2015

близки к аржано-майэмирскому стилю. Животные показаны с вытянутыми вниз ногами, рог козла с характерными выступами, а у кабана острый выступ на спине. Не будем вдаваться в подробности обнаружения и описания плит с рисунками Аржана II, поскольку в настоящее время они достаточно подробно исследованы К. В. Чугуновым, что отражено в ряде его работ. Если принять на вооружение предложенные этим автором даты, то целые серии изображений с разных памятников Тувы можно датировать в пределах IX–VII вв. до н. э.

Рисункам из Аржана близки зооморфные фигуры с памятников Орта-Саргол, «дорога Чингисхана», Хербис, Шолде-Тей, Шанчиг.

На аржанской плите 13/02 (по К. В. Чугунову) изображен воин с подвешенным к поясу кинжалом, чуть поодаль от него изображена лошадь. Сам исследователь писал, что это единственное известное ему изображение человека в аржано-майэмирском стиле [*Чугунов*, 2008: 65]. Тем удивительнее аналогия, обнаруженная нами среди изображений одной из композиций памятника Мортук II (Южная Тува), на которой помимо подобной антропоморфной фигуры имеются изображения аналогичных лошадей. Судя по длинным ушам, это, возможно, куланы [*Килуновская*, 2011: 89]. Аржанскую сцену К. В. Чугунов датирует по рисунку кинжала у правого бедра воина в пределах от рубежа IX–VIII вв. до н. э. до начала VII в. Кинжал имеет перекрестие в виде свисающих усиков, брусковидного или валикового навершия рукояти и листовой абрис клинка. На скалах Тувы имеются и другие сцены с изображениями оружия. Так, например, на отдельной скале в долине реки Бегире изображены три горизонтально расположенных кинжала [*Килуновская*, 2002: 137]. Антропоморфная фигура из Мортука II имеет много сходных черт с аржанским персонажем. Обращает на себя внимание изображенный на голове воина «хохолок» (?), общий облик слегка «кривоногих» фигур. Этот персонаж пополняет список пока малочисленных антропоморфных фигур аржано-майэмирского стиля, но открывает путь к поиску не только подобных изображений, но и соответствующих мифологем, связанных с загадочным персонажем и его конем.

Аржанские материалы позволяют также обратить внимание на фигуры кошачьих хищников, выразительные изображения которых изредка, но встречаются на памятниках Тувы. Это, например, хищники из Мортука I, Куйлуг-Хема [*Дэвлет*, 1969] и Аржана II [*Чугунов*, 2008, цв. вкл. – плита 1/00]. У мортукского зверя оскаленная пасть, когтистые лапы, проработанный округлый глаз и опущенный вниз и загнутый на конце кошачий хвост. Он уже чуть более «зрелый» в художественном отношении.

Если создание аржанского хищника, по мнению К. В. Чугунова, следует отнести к традиции, предшествующей аржано-майэмирскому стилю [2008: 66], то мортукский явно представляет именно этот стиль.

Одним из довольно популярных персонажей, выполненных в аржано-майэмирском стиле, является кабан. Опять же эталонными можно считать изображения кабанов с плиты 1/00 Аржана 2. Подобные фигуры известны на памятниках Тувы – Шанчиг и Ээрбек 1. Стилистически близкие изображения известны в петроглифах Хакасско-Минусинской котловины [*Советова*, 2005: 51, рис. 22-Б; и др.], российского и Монгольского Алтая [*Кубарев,* 2005: 72–77].

Таким образом, плиты с петроглифами из кургана Аржан II являются действительно «эталонными» для наскального искусства Тувы, а также более обширных территорий. Они позволяют определить время сложения и, в какой-то мере, развития аржано-майэмирского стиля. Не исключено, что время возникновения и развития этой традиции следует определять в рамках IX–VII вв. до н. э. Столь ранние даты дают материалы плит кургана Аржан II. Но, скорее всего, на скалах в основном представлены серии рисунков уже достаточно сложившегося стиля, во всяком случае, следует согласиться с рядом исследователей, полагающих, что самые ранние изображения в аржано-майэмирском стиле, представленные на скалах, могут быть датированы VIII – первой половиной VII в. до н. э.

Среди ранних петроглифов Тувы выделяется еще одна яркая группа изображений, выполненная в орнаментально-стилизованном стиле (олени с клювовидными мордами, собаки, свернувшиеся в кольцо хищники). Исследователи связывают их главным образом с поздним этапом карасукской культуры [*Грязнов*, 1972; *Шер*, 1980: 345].

Следует подчеркнуть, что на скалах Тувы монголо-забайкальский канон представлен не в чистом виде. Это обусловлено тем, что фигуры, нанесенные на скалы, утрачивают свое декоративное, орнаментальное назначение: они не вписываются друг в друга, не покрывают сложным узором изобразительную поверхность, а существуют сами по себе, даже когда входят в композиции [*Савинов*,

1990: 174–181; *Черемисин*, 1998: 609–614]. Самый яркий пример таких рисунков – это фигуры с местонахождений Мозага-Комужап, Устю-Мозага, Орта-Саргол, рисунки на Куйлуг-Хеме (гора Йиме и Шолде-Тей), на Чайлаг-Хеме и др.

Не вдаваясь в дискуссию относительно хронологического соотношения различных типов оленных камней, дающих изумительные образцы воплощения изобразительных стилей, отметим лишь, что в последнее время получила распространение точка зрения об относительно синхронном бытовании оленных камней монголо-забайкальского и саяно-алтайского типов. М. А. Дэвлет была высказана очень продуктивная, на наш взгляд, гипотеза, по которой различия в стилистической трактовке фигур оленей монголо-забайкальского и саяно-алтайского типов, т. е. орнаментально-декоративная и «реалистическая», изначально была связана с семантикой изображений. Этот вывод был сделан на основе анализа петроглифов Мозага-Комужап (камень 84, Саянский каньон Енисея), где изображения, свойственные обоим типам оленных камней, встречены в единой композиции [*Дэвлет*, 2009: 181–183]. Здесь представлены реальные животные – олень, оленухи и их детеныши, переданные в относительно реалистической манере, а изображения предполагаемых душ жертвенных животных, возносящихся на небеса, – в декоративном стиле. Из этого сделан вывод, что на этой территории происходило не смешение, а зарождение двух тенденций [там же].

Можно выделить также группу «переходных» рисунков, в которых сочетаются черты аржано-майэмирского и монголо-забайкальского стилей. Например, олени с клювовидными мордами изображаются стоящими на вытянутых ногах, но иногда на кончиках копыт или лежащими с подогнутыми под брюхо ногами: Алага, камень у горы Догээ, Йиме и др.

Как правило, различные персонажи в наскальном искусстве скифского времени представлены во взаимодействии друг с другом, т. е. в композициях или сценах. Чаще всего это некоторая совокупность фигур, связанных между собой ограниченным пространством скалы, одинаковыми размерами, позами, направлением движения. Акценты в такой композиции расставляются с помощью примитивных приемов – уменьшением или увеличением размеров фигур (литота и гипербола) или помещением главной фигуры в центре изобразительного поля.

Можно выделить наиболее типичные композиции, характерные для наскального искусства Тувы в скифскую эпоху: чаще всего это сцены шествия животных (козлов, баранов, оленей) друг за другом. Выразительны, но весьма статичны сцены с животными, обращенными мордами друг к другу, – зеркальные (геральдические) композиции [*Советова*, 2011: 168–182]. К ним мы прежде всего отнесем «зеркальные» пары животных из Аржана II: кабанов, козлов, лосей [*Чугунов*, 2008: 57, 58] и сцену из Мортука I (Южная Тува) с противостоящими фигурами оленей, выполненных в монголо-забайкальском стиле [*Килуновская*, 2011: рис. I]. Встречаются композиции с копытным (олень или козел), окруженным хищниками (редко – кошачьей породы, чаще – собаками). Но здесь изображаются не сцены терзания, столь ярко проявляющиеся в предметных сериях, а скорее преследование хищниками зверя. Имеются и иные варианты сцен аналогичного характера, но без явного «преследования». Так, на плоскости 3 памятника Мортук I представлены хищник и, очевидно, «жертвенные» животные. Они расположены, казалось бы, независимо друг от друга, но связь их очевидна. В левой части плоскости изображено небольшое по размерам копытное животное с подогнутыми передними ногами (жертвенная поза?), а у самого крупного животного (коня?) задние ноги отсутствуют из-за скола, в силу чего невозможно понять по передним «вскинутым» ногам: животное показано в прыжке (предсмертном?) или лежачим? Тело его неестественно прогнуто, вскинутые ноги имеют укороченные пропорции при очень крупной голове, фигура выглядит беспомощной. Во всяком случае, оскаленное животное и его могучие лапы не оставляют иллюзий насчет исхода запечатленных событий.

В ряде сцен животные располагаются по кругу (так называемые круговые композиции). В целом можно говорить о том, что наскальные композиции отличаются тем, что в них не используются специальные изобразительные приемы, как в произведениях декоративно-прикладного искусства или в оформлении оленных камней: часто они носят характер присоединительной связи, отражающей их повествовательное назначение. Об этом уже писали некоторые авторы [*Килуновская*, 1996: 19–20; *Подольский*, 1998: 78–95].

Для скифо-евразийского искусства характерна стабильность иконографических схем, однотипных в стилистически разнящихся локальных вариантах анималистического искусства степей и представленных определенными каноническими позами, в которых передаются разные животные. Активность животного зависит от того, как развернута фигура по отношению к фронтальной плоскости. Поскольку в наскальных рисунках глубина не фиксируется, в них ракурсы исключены, и фи-

гура показывается либо в профиль, либо анфас. Среди петроглифов Тувы встречается смешанный вариант, когда тело животного изображено в профиль, а рога – анфас.

В целом набор образов, зафиксированных на скалах Тувы в скифское время, практически не отличается от «стандартного» набора, характерного для Центральной Азии и Южной Сибири. Это прежде всего образы благородного оленя, хищников, кабанов, всадников, козлов и т. д.

Также анализ композиционного построения показал, что для петроглифов скифского времени характерны композиции, которые появляются в эпоху бронзы: «круговые», «шествие животных» и др. Имеют место композиции с линейным построением фигур на плоскости, иногда с элементами «бустрофедона» (когда одна группа животных направляется в одну сторону, другая – в противоположную). Для раннескифского времени также характерно вертикальное построение композиций, когда фигуры изображались друг над другом, причем верхняя фигура вписывалась в нижнюю. Такое композиционное построение возникло под влиянием оленных камней.

Выделенные нами характерные особенности художественного стиля скифской эпохи Тувы находят аналогии с произведениями искусства эпохи ранних кочевников Восточного Казахстана, Монголии и Алтая. В VIII–V вв. до н. э. большие соответствия находятся с наскальными рисунками Восточного Казахстана и Монголии, что подтверждается и анализом произведений декоративно-прикладного искусства.

Грязнов М. П. Раскопки царского кургана раннескифского времени в Туве // Тез. докл. на сессии, посвящ. итогам полевых исслед. 1971. – Москва, 1972. – С. 420–421.

Дэвлет М. А. Наскальные изображения Куйлуг-Хема // Этногенез народов Северной Азии. – Новосибирск, 1969. – С. 131–132.

Дэвлет М. А. Мозага-Комужап – памятник наскального искусства в зоне затопления Саянской ГЭС. – Москва : ИА РАН, 2009. – 216 с.

Килуновская М. Е. Скифо-сибирский звериный стиль в культуре ранних кочевников Центральной Азии (основные сюжеты и некоторые вопросы семантики) // Животные и растения в мифоритуальных системах. – Санкт-Петербург, 1996. – С. 19–20.

Килуновская М. Е. Композиция в стиле оленных камней на скалах Бегреды // Учен. зап. ТИГИ. – Кызыл, 2002. – С. 136–141.

Килуновская М. Е. Новые петроглифы на южном склоне восточного Танну-Ола в Туве // Археология Южной Сибири. К 80-летию Я. А. Шера. – Кемерово, 2011. – Вып. 25. – С. 86–90.

Кубарев В. Д. Петроглифы Цаган-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай) / В. Д. Кубарев, Д. Цэвээндорж, Э. Якобсон. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН ; Улан-Батор : Юджин, 2005. – 640 с.

Савинов Д. Г. Наскальные изображения в стиле оленных камней // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. – Москва, 1990. – С. 174–181.

Советова О. С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 140 с.

Советова О. С. Приемы композиционного построения в наскальном искусстве Евразии // Древнее искусство в зеркале археологии. К 70-летию Д. Г. Савинова. – Кемерово, 2011. – С. 161–185. – (Тр. Сиб. ассоц. исследователей первобытного искусства ; вып. VII).

Подольский М. Л. Интуиция бесконечности в наскальных изображениях // Своя и чужие культуры. Сознание. Искусство. Образ. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 78–95.

Черемисин Д. В. Стиль оленных камней в петроглифах Алтая // Сибирь в панораме тысячелетий. – Новосибирск, 1998. – Т. 1. – С. 609–614.

Чугунов К. В. Плиты с петроглифами в комплексе кургана Аржан-2 (к хронологии аржано-майэмирского стиля) // Тропою тысячелетий. – Кемерово, 2008. – С. 53–69.

Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – Москва : Наука, 1980. – 328 с.

Е. В. Шелепова

Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ АЛТАЯ И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

The article examines the features of the use of archaeological monuments of the Altai and Western Mongolia in the XIX and early XX century. Travellers and researchers have identified several traditions: the veneration and maintainance of the stone statues, utilitarian use, including for religious purposes; the construction of the iconic characters of the mounds; the sacralization of sanctuaries that have arisen in ancient times and the middle ages.

Сохранение культурного наследия прошлых эпох является актуальной задачей современного общества. Археологические памятники, как ее неотъемлемая часть, всегда подвергались антропогенному и природно-климатическому воздействию, которое особенно усилилось в XX в. Облик сооружений менялся также из-за культовой деятельности человека, обусловленной его религиозными представлениями. На территории Евразии исследована масса курганов с впускными погребениями, которые показывают определенное отношение к памятникам инородцев или свидетельствуют об утилитарном использовании объектов как удобных мест для собственных захоронений. Зафиксированы переиспользованные и переоформленные изваяния. Например, оленные камни эпохи поздней бронзы – раннескифского времени служили подходящим материалом при строительстве курганов и различных ритуальных конструкций [*Шелепова*, 2011; *Тишкин, Шелепова*, 2014]. Кроме того, обелиски разбивались, устанавливались в перевернутом положении преднамеренно, что демонстрировало факт надругательства над традициями со стороны враждебных групп населения.

Путешественники, побывавшие на Алтае и в Монголии в XIX – начале XX в., отмечали разный характер использования древностей местными этносами. Эти наблюдения являются необходимым источником для реконструкции облика тех археологических объектов, которые за последующее время существенно изменились или вообще были разрушены, а также понимания специфики религиозных представлений населения Алтая и Западной Монголии.

Зафиксировано самое различное отношение к каменным изваяниям. Путешествуя по Сибири и Монголии, В. В. Радлов отмечал, что коренные жители чтут каменные скульптуры, смазывают их жиром и даже проводят своеобразный ритуал «кормления» [*Радлов*, 1896: 24–26]. Многие изваяния к моменту фиксации были перемещены с места изначальной установки [*Радлов*, 1989: 432–436].

О поклонении скульптурам из камня писал Г. Н. Потанин. В Западной Монголии близ оз. Даяннуур он обнаружил изваяние, вокруг которого был сооружен специальный деревянный сруб, а на шее повязаны ленточки (яламы) [*Потанин*, 1881: 72–73, фиг. 34]. Спустя более чем столетие В. Д. Кубарев осмотрел это изваяние, но деревянной конструкции не нашел. В то же время его внимание привлекли другие элементы культового места. Например, хорошо сохранились следы краски на губах, а также остатки жира или масла на правом плече изваяния [*Кубарев,* 2000: 53, 55], т. е. скульптура продолжала почитаться. Тюркское изваяние, подобное описанному Г. Н. Потаниным, видел Д. А. Клеменц недалеко от Улангома. Над камнем была выстроена глинобитная избушка и весь он увешан лоскутами [*Архив востоковедов* СПбФ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 1. Д. 89. Л. 21 об.].

Об удивительном отношении к тюркским монументальным комплексам в Хошо-Цайдаме писал Н. М. Ядринцев: «…монголы относятся к этим древним памятникам, как видно, с уважением, что обнаруживается из поставленных корытцев, камешков, обо, раскиданных около фигур и около львов, а также из следов прикосновения. Монголы трутся около камней до того, что они шлифуются» [*Ядринцев*, 1892: 105].

Но были и другие отзывы. Английский путешественник Д. Каррутерс, побывавший в Южной Сибири и Монголии в 1911 г., обратил внимание, что почитаются не все древние фигуры. Достойными жертвоприношения считаются только те, которые способны приносить добро [*Каррутерс*, 1914: 59–60].

Такое же неоднозначное восприятие изваяний видел А. В. Адрианов в ходе поездки по Западному Алтаю. Одну скульптуру он обнаружил в куче навоза, в связи с чем пришлось срочно ее вывозить

© Шелепова Е. В., 2015

в целях сохранения [*Адрианов*, 1916: 82]. И, наоборот, некоторые фигуры «…обнесены большими балаганами из хвороста… где совершаются моления» [там же: 90].

Своеобразное использование каменных изваяний наблюдал П. К. Козлов во время путешествия в Монголию в 1925 г. В Центральном Хангае по Онгин-голу он нашел две средневековые скульптуры. Одна из них – женская гранитная фигура без головы – лежала отдельно и была украшена двумя хадаками. Перед головой скульптуры стояла медная чашечка для возжигания масла. Вокруг другой – «Цаган-ушхай» («добрая старуха») – монголы соорудили небольшую кумирню [*Козлов*, 1949: 124–125]. Интересно, что изваяние было «одето» в буддийские одежды и соответствующим образом почиталось. В 1987 г. монгольский археолог Д. Баяр [2013: 222] осмотрел данную скульптуру и установил, что внешний облик комплекса претерпел изменения и некоторые элементы утрачены.

Еще одна описанная путешественниками особенность использования археологических объектов представлена традицией сооружения обо, которые широко распространены у многих народов Южной Сибири и Центральной Азии. Алтайцы сооружают такие культовые знаки в местах так называемых тургакту (т. е. с препятствиями), опасных для жизни. Обо можно встретить на перевалах, у священных гор и озер. Каждый проезжающий мимо обо путник должен положить на него «свой» камень, какой-либо предмет, кусочки пищи, повязать священную ленту на шесты, воткнутые в груду камней, обойти ее троекратно и т. д. На обо издавна совершались индивидуальные и коллективные моления. У тюрко-монгольских народов обо делятся на два вида: сооруженные в виде конической груды камней с воткнутым в нее шестом, на котором развеваются ленты; представляющие подобие шалаша, сложенного из веток, хвороста и также с шестом. Для алтайцев характерен первый вид [*Шерстова*, 2010: 217].

Особенности строительства обо отражены в путевых дневниках А. М. Позднеева. В Западной Монголии их сооружают на вершинах, украшают ленточками [*Архив востоковедов* СПбФ ИВР РАН Ф. 44. Оп. 1. Д. 210. Л. 9]. А «калмыцкие обо» возводят прямо на могилах [там же. Л. 7 об.]. Об этом же упоминал в своих дневниках Д. А. Клеменц [*Шелепова*, 2013]. Во время поездки в Монголию в 1894–1895 гг. южнее Улясутая, а также близ Улангома он обратил внимание на херексуры, превращенные в обо [*Архив востоковедов* СПб ИВР РАН Ф. 28. Оп. 1. Д. 88. Л. 125 об.; *Архив МАЭ РАН*. Кол. 574. Л. 28]. Сохранились даже легенды о длительности поклонения обо. В предварительном отчете об экспедиции в долину Орхона Д. А. Клеменц [1892: 2–3] писал о громадном обо, высотой 4–5 сажен, которое, якобы состояло из снесенных из разных мест камней, а появилось по приказанию Чингисхана.

Наряду с почитанием отдельных археологических памятников, путешественники встречались с фактами грабительских раскопок. Так, Н. М. Ядринцев писал, что монголы «разрыли один из херексуров на левом берегу Толы в надежде найти богатство» [*Ядринцев*, 1892: 64].

Сравнивая сведения, полученные в XIX в., с результатами современных исследований, можно отметить различное отношение и использование изваяний, курганов и других сооружений. Место нахождения скульптур превращается в своеобразный жертвенник [*Леус*, 2000: 225–227], отдельные культовые объекты охраняются от разрушения и уничтожения. Например, изваяния перемещаются в другое место или укрепляются с помощью «оград» и пр. [там же: 227–228]. Фигурам, известным с XVIII–XIX вв., по-прежнему поклоняются; есть поверья, что некоторые камни избавляют от болезней и недугов [*Тугужекова*, 2009: 104].

В связи с этим стоит обратить внимание на планиграфию современных культовых мест. Они располагаются недалеко от святилищ, которые возникли в древности и функционировали вплоть до этнографического времени. К примеру, алтайцами сакрализована местность, где находится памятник Кучерла-I (Усть-Коксинский район Республики Алтай). Неподалеку от святилища протекает ручей, который является частью современного культового места [*Молодин,* 2010: рис. 6]. У скалы с петроглифами обнаружены подношения, что в очередной раз демонстрирует специфичные элементы религиозных традиций местных жителей [там же: рис. 159]. Таким образом, многие древние святилища остаются сакрализованными участками.

Зафиксированы и обратные примеры. Например, по данным В. М. Кимеева [2011: 15–16], некоторые древние конструкции используются монгольскими дербетами во время праздника наадам. При постройке обо продолжают сносить камни с археологических объектов.

Отмеченное использование памятников свидетельствует о синкретичности культовых воззрений современных этносов Алтая и Западной Монголии, в которых остается целый пласт шаманистских верований.

Адрианов А. В. К археологии Западного Алтая (из поездки в Семипалатинскую область в 1911 г.). – Петроград : Тип. Гл. упр. уделов, 1916. – 94 с. – (ИИАК ; вып. 62).

Архив востоковедов СПбФ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 1. Д. 85, 88, 89; Ф. 44. Оп. 1. Д. 210.

Архив МАЭ РАН. Колл. 574 (фотографии).

Каррутерс Д. Неведомая Монголия. Т. I. Урянхайский край. – Петроград : Изд. Переселен. упр. Гл. упр. землеустройства и земледелия, 1914. – 341 с.

Кимеев В. М. Культовые места Российского Саяно-Алтая и Западной Монголии (сравнительный аспект) // Древние и современные культовые места Алтая. – Барнаул, 2011. – С. 14–18.

Клеменц Д. А. Предварительный отчет о результатах экспедиции для археологических исследований бассейна реки Орхона // Сборник трудов Орхонской экспедиции. – Санкт-Петербург, 1892. – Вып. I. – С. 1–23.

Козлов П. К. Путешествие в Монголию. – Москва : Гос. изд-во геогр. лит., 1949. – 242 с.

Кубарев В. Д. Terra incognita в центре Азии / В. Д. Кубарев, Д. Цэвээндорж // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 1. – С. 48–56.

Леус П. М. О традиции почитания древнетюркских каменных изваяний в Туве // Святилища: археология ритуала и вопросы семантики. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 225–229.

Молодин В. И. Грот Куйлю – культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай) / В. И. Молодин, Н. С. Ефремова. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – 264 с.

Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии (Результаты путешествия, исполненного в 1876–1877 гг. по поручению Императорского Русского Географического Общества) : в 3 вып. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1881. – Вып. II. – 280 с.

Радлов В. В. Сибирские древности (из путевых записок по Сибири). – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1896. – 70 с.

Радлов В. В. Из Сибири (страницы дневника). – Москва : Наука, 1989. – 718 с.

Тишкин А. А. Об использовании «оленных» камней при сооружении тюркских оградок Монгольского Алтая / А. А. Тишкин, Е. В. Шелепова // Изв. АлтГУ. – 2014. – № 4/1. – С. 221–229.

Тугужекова В. Н. Священные места Хакасии // Астроархеология – естественно-научный инструмент познания протонаук и астральных религий жречества древних культур Хакасии. – Красноярск, 2009. – С. 100–105.

Шелепова Е. В. «Переиспользование» и «переоформление» «оленных» камней в памятниках древних и средневековых кочевников Центральной и Северной Азии // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. – Иркутск, 2011. – Вып. 2. – С. 292–297.

Шелепова Е. В. Историко-культурные исследования Д. А. Клеменца в Монголии // Изв. АлтГУ. Сер. История. Политология. – 2013. – № 4 (1). – С. 88–96.

Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса и религии. – Томск : Изд-во ТГУ, 2010. – 288 с.

Ядринцев Н. М. Отчет экспедиции на Орхон, совершенной в 1889 г. действительным членом Восточно-Сибирского отдела Императорского Географического общества Н. М. Ядринцев по поручению Отдела // Сборник трудов Орхонской экспедиции. – Санкт-Петербург, 1892. – Вып. I. – С. 51–113.

Баяр Д. Монголын дундад зууны археологийн судалгаа. I боть (1972–1990 он). – Улаанбаатар, 2013. – 338 с.

В. Р. Эрлих

Россия, Москва, государственный музей Востока

СВЯТИЛИЩЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПСЕНАФА (АДЫГЕЯ) В СВЕТЕ РИТУАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ МЕОТСКОЙ КУЛЬТУРЫ*

The article is devoted to the material recently discovered shrine Psenafa (Adygea) existed for a long period from the end of the IV BC to the I AD. Against the background of already known the corps of Meotian shrines Psenafa is the first-meeting the "village-shrine" existed as long as there is the settlement itself .

Впервые вопрос о существовании меотских святилищ был поставлен после исследования Кавказской археологической экспедицией Музея Востока в 1981–1982 гг. ритуальных комплексов скифского времени на территории некрополя у аула Уляп. В настоящее время почти с каждым сезоном увеличивается количество вновь открываемых меотских памятников ритуального характера.

Несколько раз нами были предприняты попытки обобщить материалы меотских святилищ VIII–II вв. до н. э., выделить основные виды этих памятников [*Эрлих*, 2001: 115–119; 2011: 82–94, 2013: 72–89]. В то же время святилище, открытое во время раскопок 2011–2012 гг. на северо-восточной окраине Майкопа в урочище Псенафа, уже не укладывается в те рамки, которые мы определили известным ранее святилищам. В предлагаемом докладе пытаемся рассмотреть этот памятник на фоне уже известных ритуальных памятников меотской культуры, выделяя общее и особенное.

Краткая характеристика. Археологический комплекс Псенафа расположен на краю материковой террасы реки Псенафа, у северной окраины г. Майкопа, в 700 м от пос. Подгорного, ныне входящего в черту Майкопа. В состав археологического комплекса Псенафа входили два кургана высотой 4,2 м и 1,8 м. В межкурганном пространстве выявлен слой поселения, а также погребения грунтового могильника (некрополь). По встреченному здесь амфорному материалу, фрагментам меотской керамики и индивидуальным находкам дата слоя поселения относится к IV в. до н. э. – I в. н. э. К югу от раскопа на поселении в 2011–2012 гг. был раскопан курган 1. В верхней части насыпи кургана, сооруженного в эпоху бронзы, на глубине 20–150 см от его вершины были обнаружены более 300 жертвенных комплексов меотской археологической культуры. Это прежде всего остатки принесенных в жертву животных – быков и лошадей – вместе развалами керамики – сосудами для ритуальных возлияний, подвергшимися преднамеренной порче. Кроме этого, здесь были обнаружены различные приношения в святилище, которые фиксировались как отдельные находки или скопления находок.

Ниже мы остановимся на общем и особенном в характеристике этого святилища. Прежде всего, уникальность данного памятника в продолжительности приношения жертв, которые длились, предположительно, с конца IV в до н. э. по крайней мере по I в. н. э. До сих пор мы лишь предполагали, что на некоторых меотских святилищах совершались неоднократные ритуальные действия в течение какого-то периода времени, опираясь на стратиграфию, но установить продолжительность этого процесса нам не удавалось.

Хронология памятника. Жертвенные приношения в святилище Псенафа относятся к периоду более 400 лет. Таким образом, святилище существовало ровно столько, сколько существовало поселение Псенафа и расположенный рядом могильник. Это самое долговременное святилище из всех нам известных.

Наиболее ранним из исследованных является жертвоприношение коня в узде с бронзовыми двудырчатыми псалиями в виде лежащей пантеры с подогнутыми задними лапами [*Древности*...: кат. 73]. Подобные псалии находят аналогии среди меотских зооморфных псалиев IV в. до н. э. [*Канторович, Эрлих*, 2006: кат. 64, 67, 83, 84, 91, 92], а по способу передачи черт кошачьего хищника восходят к изображениям на знаменитых псалиях из 4-го Семибратнего кургана середины V в. до н. э. [*Scythian Art*..., 1986: cat. 86]. Вероятно, полными аналогиями им является кубанский псалий из коллекции Мерля Массоно, хранившийся до Великой Отечественной войны в фондах Государственного музея Берлина и известный лишь по рисунку [*Leskov,* 2008: 216–217, cat. 299]. Также половина такого псалия

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 15-01-00002.

© Эрлих В. Р., 2015

происходит из юго-восточного Крыма [*Скорый*, 2014: 68, № 1/241]. Последняя находка датирована авторами публикации V в. до н. э.

Псалии из Псенафы интересны тем, что изображения пантеры на них – односторонние, что сближает их с рядом уздечных принадлежностей из раскопанных Н. И. Веселовским курганов у станицы Елизаветинской, а также с другими близкими зооморфными изделиями так называемого елизаветинского стиля, прежде всего с конскими налобниками. Все эти предметы датируются в пределах IV в. до н. э. Таким образом, IV в. до н. э., скорее всего его вторая половина либо конец этого столетия, является наиболее вероятной датой начала функционирования святилища. Наиболее позднюю дату совершения ритуальных действий в нем (I в. н. э.) фиксируют удила с колесовидными псалиями, мечи и кинжалы с черенковыми рукоятями без перекрестия и зеркала-подвески (ск. 12; кж. 35; ск. 67, ск. 83, ск. 96; кж. 22, кж. 23). Все эти артефакты появляются около рубежа эр и бытуют уже в I в. н. э. Таким образом, на сегодняшний день святилище археологического комплекса Псенафа является единственным известным нам меотским святилищем, функционировавшим несколько веков. В то же время столь долговременные святилища на других территориях встречаются достаточно часто, как, например, перевальное святилище «Гурзуфское седло» в Крыму, существовавшее с архаического времени до эпохи раннего средневековья, или святилище Кидели-Шайни в Дагестане.

Планиграфия ритуальных комплексов. Как показывает общий план, вершина кургана 1 относительно свободна как от ритуальных комплексов, так и от погребений меотской культуры. Данная пустота на вершине (в которой всего три жертвенные находки меотского времени) представляет собой круг диаметром около 16 м. Это позволяет полагать, что на вершине кургана во время функционирования святилища находилось некое наземное сооружение в ограде, внутри которого жертвоприношения практически не совершались. За пределами данного круга жертвенные комплексы располагались достаточного густо.

Типы ритуальных комплексов. Все ритуальные комплексы, встреченные в святилище Псенафа, можно отнести к ритуальным комплексам, состоящим из костей и вещей, оставленных вне какой-либо системы (жертвоприношения первого вида) [*Эрлих*, 2001: 116; 2011: 93; 2013: 72]. В процессе раскопок комплексы, в которых отсутствовали человеческие кости, фиксировались нами как кости животных, скопления вещей, развалы керамики или отдельные находки. Однако в конечном итоге это материальные остатки двух видов ритуальных действий – ритуальной трапезы (и возлияния) и вещественного приношения (жертвенного дара) святилищу.

Остатки жертвенной пищи и питья – кости животных и фрагменты разбитых сосудов – свидетельствуют о частоте совершавшихся в этом месте ритуальных действий (молений), сопровождавшихся совместным поеданием сородичами жертвенного животного и ритуальным возлиянием. О том, что жертвенное животное употреблялось в пищу, говорят находки костей животных, а также части конских черепов с конечностями либо без них. Эта традиция в меотской культуре известна с протомеотского времени. Подобный обычай оставлять головы и шкуры жертвенных животных на месте моления, например, этнографически прослеживается у абхазов [*Инал-Ипа*, 1965: 556]. Остеологические определения костей животных в жертвенных комплексах святилища Псенафа, сделанные зоологом Ю. Н. Спасовским, показали, что в подавляющем большинстве в жертву приносились лошади (69 определений), в 14 случаях в жертву принесены особи крупного рогатого, а в 4 случаях – мелкого рогатого скота, единожды обнаружены кости собаки.

Достаточно близкая картина в предпочтениях жертвенных животных была прослежена и по материалам Тенгинских святилищ второй половины IV в. до н. э.: здесь также на втором месте после лошадей находятся быки, гораздо реже в жертву приносили коз либо овец, единична находка костей свиньи [*Спасовский*, 2011: 191–196, табл. 1–3] .

Связь святилища с некрополем. Еще в 2001 г. мы обратили внимание на то, что меотские святилища, как правило, связаны с некрополем. Причем, как показало исследование святилищ Уляпского некрополя, наиболее типичной картиной является расположение самого святилища на вершине выступающего в окружающем рельефе кургана эпохи бронзы. Меотский некрополь находился в межкурганном пространстве и частично в полах курганов эпохи бронзы [*Меоты Закубанья*..., 2005: 7], погребения обнаружены между курганами-святилищами и в станице Тенгинской [*Эрлих*, 2011: 45–47]. Исследование археологического комплекса Псенафа показывает, что некрополь возникает и существует одновременно с возникшим поселением и святилищем, располагаясь в полах и вокруг кургана эпохи бронзы. Как мы указали выше, на самой вершине имелось пространство, относительно свободное от комплексов меотский культуры. Погребения меотского могильника

начинались на значительном удалении (в 15–20 м) от вершины кургана. Они перемежались с ритуальными комплексами. В связи с этим, нельзя исключать и связь каких-то жертвоприношений с обрядом погребения.

Преднамеренная ритуальная порча прослеживается практически на всех вещях, принесенных в святилище: предметы вооружения – мечи, наконечники копий – ломались или гнулись, у зеркал отрывались ручки, сосуды для возлияний разбивались после совершения жертвоприношений. Показательна находка золотой фибулы-броши в центральной части кургана. Ее намеренно согнули и оторвали подвески.

Общий план кургана показывает большую плотность находок, что позволяет полагать, что первоначально на кургане находилось нагромождение из приношений, иногда весьма ценных, которые многие годы оставались нетронутыми. Это характерно для кавказских святилищ более позднего времени. Так, например, свидетели пишут об абхазском святилище в с. Эшера: «На берегах этой реки в окрестностях селения Ешира, расположенного в восьми верстах от Сухума и четырех от моря, находится очень древняя церковь; все четыре стены ее хорошо сохранились; внутри она полна приношений – сабель, ружей и даже денег, к которым никто не прикасается» [*Дюбуа де Монпере*, 2002: 230]. Практически то же пишет В. Ф. Миллер о знаменитом осетинском святилище Реком: «...никто никогда из опасения смерти ни дерзнул бы украсть что-нибудь у Рекома» [*Миллер*, 1882: 256].

Отметим, что именно этот запрет, соблюдавшийся древним населением из поколения в поколение, позволил сохранить для потомков в меотских святилищах такие всемирно известные вещи, как, например, драгоценные ритоны из аула Уляп.

Из других черт, характерных для других меотских святилищ, отметим бронзовые котлы, которые в Псенафе обнаруживаются во фрагментах. Очевидно, что они разбивались после совершения жертвоприношения.

Имеется здесь и выкладка из речной гальки (скопление 91), подобная встреченным в серии меотских святилищ.

В то же время в Псенафском святилище практически полностью отсутствуют следы огненного ритуала: прокала или «очищения огнем», а также человеческие жертвоприношения, встречающиеся в ряде меотских ритуальных комплексов IV–II вв. до н. э.

Подводя итоги, можно отметить, что святилище археологического комплекса Псанафа демонстрирует существование у меотов местных святилищ – святилищ поселения, в которых на протяжении нескольких веков жители поселка периодически совершали жертвоприношения.

Древности «Долины яблонь» : кат. выставки. – Москва : ГМВ, 2014. – 144 с.

Дюбуа де Монпере Фредерик. Путешествие вокруг Кавказа. – Нальчик : Изд. центр «Эль-Фа», 2002. – Т. I. – 284 с.

Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы. – Сухуми : Алашара, 1965. – 696 с.

Канторович А. Р. Бронзолитейное искусство из курганов Адыгеи / А. Р. Канторович, В. Р. Эрлих. – Москва : ГМВ, 2006. – 232 с.

Меоты Закубанья в середине VI – начале III вв. до н. э. Некрополи у аула Уляп. Вып. 1. Погребальные комплексы грунтовых могильников / А. М. Лесков, Е. А. Беглова, И. В. Ксенофонтова, В. Р. Эрлих. – Москва : Наука, 2005. – 194 с.

Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Ч. II. Исследования. – Москва : Тип. А. Иванова, 1882. – 304 с. – (Учен. зап. Имп. Мос. ун-та. Отд. историко-филологический ; вып. 2).

Скорый С. А. Скифские древности Крыма: материалы одной коллекции : [кат.] / С. А. Скорый, Р. В. Зимовец. – Киев : ФОП «Видавець Олег Філюк», 2014. – 180 с.

Спасовский Ю. Н. Описание костного материала // Прил. к : Эрлих В. Р. Святилища некрополя Тенгинского городища II (IV в. до н. э.) – Москва : Наука, 2011. – С. 191–196.

Эрлих В. Р. Святилища в меотской культуре Закубанья скифского времени (к постановке проблемы) // Боспорский феномен. – Санкт-Петербург, 2001. – Ч. 2. – С. 115–119.

Эрлих В. Р. Святилища некрополя Тенгинского городища II (IV в. до н. э.). – Москва : Наука, 2011. – 213 с.

Эрлих В. Р. Святилища в меотской культуре // Меоты Закубанья IV–III вв. до н. э. Некрополи у аула Уляп. Святилища и ритуальные комплексы / А. М. Лесков, Е. А. Беглова, И. В. Ксенофонтова, В. Р. Эрлих. – Москва : ГМВ, 2013. – С. 72–89.

Leskov A. M. The Maikop treasure. – Philadelphia : University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2008 . – 294 p.

Scythian Art: The legacy of the Scythian World: Mid. 7th to 3rd century B. C. – Leningrad : Aurora, 1986. – 184 p.

А. Н. Ямсков

Россия, Москва, Институт этнологии и антропологии РАН

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОТГОННОМ СКОТОВОДСТВЕ РУССКИХ КРЕСТЬЯН ВОСТОЧНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ В КОНЦЕ XIX ВЕКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ФАКТОРОВ И СКОРОСТИ ПЕРЕХОДА К ПОДВИЖНЫМ ФОРМАМ СКОТОВОДСТВА В ДРЕВНОСТИ*

The author discusses factors of transformation of pastoralism from home-based to transhumant in Russian villages in the mountains of Azerbaijan and the time that took this process to come to an end in the XIXth century. Russian peasants retained settled way of life but adopted techniques of local seminomadic Azerbaijanis who practiced winter grazing on lowlands.

Исследователи неолитической культуры Кереш конца VII – первой половины VI тыс. до н. э. в Венгрии, близкой к синхронным культурам Криш в Румынии и Старчево в Сербии [*Becker*, 2007], обратили внимание на видовой состав домашних животных и формы скотоводства ее носителей. Точнее говоря, они поставили вопросы о скорости возникновения этой отрасли хозяйства, или ее трансформации вследствие миграций населения [*Whittle*, 2007]. Те же самые вопросы были рассмотрены применительно к другой эпохе – I тыс. н. э., когда на территории Среднедунайской низменности сменяли друг друга волны вторгавшихся с востока кочевников-скотоводов (сарматы, авары, венгры), постепенно переходивших к оседлости [*Bartosiewicz*, 2003]. В обоих случаях в качестве иллюстрации возможной скорости фундаментальных изменений в сфере скотоводства был приведен пример [*Yamskov*, 1988] того, насколько быстро, в течение жизни двух поколений, произошел во второй половине XIX в. переход к пастушескому скотоводству у части русских крестьян-переселенцев (молокан и духоборцев) в Восточном Закавказье [*Whittle*, 2007: 739–740; *Bartosiewicz*, 2003: 120].

Материалы полевых исследований 1986–1990 гг., посвященных адаптивным изменениям культуры у русских крестьян в Азербайджане в 1840–1980-е гг., в том числе в сфере расселения и скотоводства, были представлены в обзорных публикациях [*Дубова*, 1989; *Козлов*, 1988] и сборниках [*Русские старожилы Азербайджана...*, 1990; *Русские старожилы Закавказья...*, 1995]. Рассматривались изменения в скотоводстве переселенцев [*Ямсков*, 1995; *Yamskov*, 1988], включая пример горной русской деревни [*Ямсков*, 1990]. Кратко указанные изменения можно резюмировать так. В Закавказье (субтропические степи и полупустыни, горы с высотной поясностью) русские крестьяне – переселенцы из Центрально-Черноземной России (лесостепи умеренного пояса) сохранили придомную стойлово-пастбищную форму скотоводства (вариант 1а), расселившись в лесном поясе среднегорий. В условиях многоземелья они в ряде случаев усложнили систему расселения и хозяйства путем создания сезонных хозяйственных баз на окраинах сельского ареала для летнего выпаса (вариант 1б) либо зимнего стойлового содержания (вариант 1в) части поголовья; работники при этом сохраняли постоянные связи с селом, бывая там не реже, чем раз в неделю. Это имеет частичные параллели с эволюцией русского крестьянского хозяйства в горах Алтая [*Ямсков*, 2007].

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 13-06-00233 «Биологическая и социальная адаптация древнего и средневекового населения южных районов Средней Азии к среде обитания» (рук. Н. А. Дубова).

© Ямсков А. Н., 2015

В горах Восточного Закавказья в некоторых деревнях русских крестьян возникло также перегонное скотоводство с использованием отдаленных (50–150 км) зимних хозяйственных баз на равнинах для зимнего выпаса части скота с эпизодическими краткими периодами стойлового содержания (вариант 2а); в этом случае работники уходили из села на несколько месяцев. В двух горных селениях сложился летний отгон на высокогорные отдаленные (30–50 км) пастбища (вариант 2б). Большую роль в появлении у русских форм пастушеского скотоводства (варианты типа 2) сыграло заимствование ими технологий зимнего выпаса или летнего отгона в высокогорья у наемных чабанов-азербайджанцев из групп, практиковавших кочевое или полукочевое пастбищное скотоводство (варианты типа 3). Изменения произошли менее чем за 50 лет, или примерно за два поколения.

К сожалению, ранее автором не был детально рассмотрен ключевой, с точки зрения возможности использования данных материалов при археологических реконструкциях изменений в расселении, хозяйстве и скотоводстве, вопрос о скорости и факторах адаптивной эволюции форм скотоводства у русских крестьян-переселенцев, равно как и дискуссионная проблема типологии форм скотоводства и образа жизни.

Имеются фундаментальные различия между оседлой и неоседлой моделями адаптации [*Ямсков*, 1987: 12]. В первом случае основная часть членов хозяйственного коллектива (общины), в том числе практически все неработоспособные ее члены (дети и старики), проживают на одном месте в течение всего года. Только трудоспособное меньшинство (чаще всего молодые мужчины) может надолго покидать оседло живущую общину с целью освоения природных ресурсов, иногда уходя на большие расстояния (как, например, в случае горного пастушеского скотоводства). Во втором случае, при неоседлой модели адаптации, уже основная часть общины, включая всех либо большинство неработоспособных ее членов, в течение года перемещается по освоенной территории, как это происходит при кочевом или полукочевом скотоводстве. В такой подход хорошо вписывается широко известная классификация образа жизни, с делением последнего на оседлый и, с другой стороны, неоседлый, т. е. полукочевой и кочевой [*Вайнштейн*, 1972: 71–73].

Появление отгонной (с использованием летних высокогорных отдаленных пастбищ и зимним стойловым содержанием скота в селе, вариант 2б) или перегонной (с пастбищным содержанием летом в горах у села и зимой на отдаленных предгорных равнинах, вариант 2а) форм пастушеского скотоводства у русских крестьян было обусловлено сочетанием двух факторов. Во-первых, возможностью позаимствования навыков зимнего выпаса скота на равнинах или летнего выпаса в высокогорье вдали от селения у нанимаемых пастухов-азербайджанцев из местных полукочевых родоплеменных групп. Во-вторых, наличием соответствующих доступных природных ресурсов, т. е. летних высокогорных и зимних равнинных пастбищ. Эти два фактора в некоторых переселенческих горных деревнях вызвали довольно быструю, в течение менее 50 лет, трансформацию форм скотоводства у русских крестьян, эволюционировавших от придомного к пастушескому. Впрочем, во многих других случаях скотоводство у поселенцев осталось «придомным» (см. выше варианты 1а и 1б), в смысле приуроченным всецело к компактному, хотя и обширному присельскому хозяйственному ареалу.

Однако если бы у крестьян-переселенцев не было перед глазами ни успешной практики полукочевых групп азербайджанцев, выпасавших скот в течение всего года и перекочевывавших с летних высокогорных альпийских и субальпийских пастбищ на зимние степные и полупустынные равнинные, ни тесных контактов с ними при найме в пастухи, то у русских явно не произошло бы столь быстрых и серьезных изменений в скотоводстве. Так что данный пример сам по себе ничего не говорит о возможной скорости независимой трансформации придомного скотоводства в пастушеское при наличии соответствующих природных условий и ресурсов, но без возможности перенимания технологий последнего у представителей других культур.

Важно отметить, что русские крестьяне, даже перейдя частично к формам пастушеского горного скотоводства, не изменили при этом своей оседлой модели адаптации. Иными словами, у новых соседей – кочевников и полукочевников азербайджанцев – были заимствованы только технологии выпаса (зимой на равнинах или летом в высокогорьях), но не их неоседлая модель адаптации. То есть модель адаптации, или оседлый образ жизни в данном случае, является гораздо более устойчивой чертой культуры, нежели технологии природопользования, т. е. выпаса скота.

Наконец, уточним, что если у кочевых и полукочевых групп азербайджанцев в стаде абсолютно преобладали овцы, то русские крестьяне сохранили преобладание крупного рогатого скота в стаде, отгоняя на дальние зимние пастбища в основном гулевой скот. Но при появлении летнего отгона на отдаленные высокогорные пастбища произошло изменение видового состава скота с переключени-

ем на разведение преимущественно овец. В нашем случае видовая структура стада оказалась более устойчивой частью культуры, чем технологии выпаса скота, но менее стабильной, чем образ жизни скотоводов.

Вайнштейн С. И. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. – М. : Наука, 1972. – 314 с.

Дубова Н. А. Адаптация русских старожилов в Азербайджане / Н. А. Дубова, Н. М. Лебедева, Е. А. Оборотова, А. П. Павленко // СЭ. – 1989. – № 5. – С. 39–50.

Козлов В. И. Проблемы адаптации русских старожилов в Азербайджане (середина XIX – XX вв.) / В. И. Козлов, О. Д. Комарова, В. В. Степанов, А. Н. Ямсков // СЭ. – 1988. – № 6. – С. 34–49.

Русские старожилы Азербайджана. Материалы по этнической экологии. Ч. 1 / ред. : В. И. Козлов, Н. А. Дубова. – Москва : ИЭ АН СССР, 1990. – 168 с.

Русские старожилы Закавказья: молокане и духоборцы / ред. В. И. Козлов. – Москва : ИЭА РАН, 1995. – 299 с.

Ямсков А. Н. Отгонно-пастбищное скотоводство. Опыт этноэкологического и типологического исследования (на примере хозяйства народов Кавказа в конце XIX – начале XX в.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Москва, 1987. – 24 с.

Ямсков А. Н. Новоивановка: история селения и крестьянского хозяйства // Русские старожилы Азербайджана. – Москва, 1990. – Ч. 1. – С. 98–112.

Ямсков А. Н. Эволюция форм скотоводства у русских старожилов Азербайджана // Русские старожилы Закавказья: молокане и духоборцы. – Москва, 1995. – С. 115–127.

Ямсков А. Н. Адаптация русского крестьянского хозяйства к условиям многоземелья в горно-лесном поясе: закавказско-алтайские параллели и различия // Русский вопрос: история и современность. – Омск, 2007. – С. 385–387.

Bartosiewicz L. A Millenium of Migrations: Proto-historic Mobile Pastoralism in Hungary // Bulletin of the Florida Museum of Natural History. – 2003. – Vol. 44. – P. 101–130.

Becker V. The Körös culture // Donau-Archäologie, 2007 : [сайт]. – URL: http://www.donau-archaeologie.de/doku.php/kulturen/koeroes_english_version (дата обращения: 01.03.2015).

Whittle A. (ed.). The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain. Investigations of the Körös Culture site of Ecsegfalva 23, County Békés // Varia Archaeologica Hungarica. – 2007. – XXI, Vol. 2. – P. 395–809.

Yamskov A. N. Environmental Conditions and Ethno-Cultural Traditions of Stock-Breeding (The Russians in Azerbaijan in the 19th and Early 20th Centuries). – Moscow : Nauka Press, 1988. – 7 p. – (Institute of Ethnography, the USSR Academy of Sciences. Papers, presented at the 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Zagreb, July 24–31, 1988).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГКМ – Алтайский государственный краеведческий музей
АлтГУ (АГУ) – Алтайский государственный университет
АН РТ – Академия наук Республики Татарстан
АН РУз – Академия наук Республики Узбекистан
АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
АО – Археологические открытия
Архив ИИМК – Архив Института истории материальной культуры
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион
АЭМК – Археология и этнография Марийского края
БГПУ – Башкирский государственный педагогический университет
ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации
ВАУ – Вопросы археологии Урала
ВГВ – Вятские губернские ведомости
ВГУ – Воронежский государственный университет
ВДИ – Вестник древней истории
ВИ – Вопросы истории
ВУАК – Вятская ученая архивная комиссия
ГААК – Государственный архив Алтайского края
ГАГУ – Горно-Алтайский государственный университет
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
ГБУК НПЦ МК РБ – Государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан при Министерстве культуры Республики Башкортостан»
ГИМ – Государственный исторический музей
ГИС – геоинформационная система
ГМВ – Государственный музей Востока
ГМИИ им. А. С. Пушкина – Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
ГМИЛИКА – Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая
ГМЭ народов СССР – Государственный музей этнографии народов Союза Советских Социалистических Республик
ГНТП – Государственная научно-техническая программа
Госархив СПД РА – Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай
ГУП РБ УПК – Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Уфимский полиграфический комбинат»
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук
ДНУ – Донецкий национальный университет
ДТС – Древнетюркский словарь
ДУМ РТ – Духовное управление мусульман Республики Татарстан
ЕГПИ – Елабужский государственный педагогический институт

ЕНУ им. Л. Н. Гумелева – Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумелева
ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук
ИАК – Императорская археологическая комиссия
ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук
ИВ РАН – Институт востоковедения Российской академии наук
ИИ АН РТ – Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
ИИАК – Известия Императорской археологической комиссии
ИИАЭ ДВО РАН – Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук
ИИМК – Институт истории материальной культуры
ИИС – Из истории Сибири
ИИЯЛ БФАН СССР – Институт истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук Союза Советских Социалистических Республик
ИИЯЛ УНЦ РАН – Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук
ИЛАИ – Известия лаборатории археологических исследований
ИНИОН – Институт научной информации по общественным наукам
ИРГО – Императорское Русское географическое общество
ИрГТУ – Иркутский государственный технический университет
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
ИЭА РАН – Институт этнографии и археологии Российской академии наук
ИЭИ УНЦ РАН – Институт этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук
КарГУ – Карагандинский государственный университет
КВАЭ – Камско-Вятская археологическая экспедиция
КВГ – Календарь Вятской губернии
КГПИ – Кемеровский государственный педагогический институт
кж. – кости животных
КИО – культурно-историческая общность
КСИА АН СССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук Союза Советских Социалистических Республик
КСИА РАН – Краткие сообщения Института археологии Российской академии наук
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук Союза Советских Социалистических Республик
КузГТУ – Кузбасский государственный технический университет
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
МаГУ – Магнитогорский государственный университет
МАЕСВ – Материалы по археологии европейского северо-востока
МарГУ – Марийский государственный университет
МарНИИ – Марийский научно-исследовательский институт
МарНИИЯЛИ – Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории Российской академии наук
МАЭ МК ОмГУ – Музей археологии и этнографии Музейного комплекса Омского государственного уни-верситета имени Ф. М. Достоевского (до 2012 г. – МАЭ ОмГУ)
МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера)
МАЭС ТГУ – Музей археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
МГУ – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
МИА – Материалы и исследования по археологии Союза Советских Социалистических Республик
МинОКН Монголии – Министерство образования, культуры и науки Монголии
МНИИЯЛИЭ (НИИЯЛИЭ) – Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете министров при Мордовской Автономной Советской Социалистической Республике
МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан

МОКИСАР – Материалы Особого комитета по исследованию Союзных и автономных республик
НА ЛАИИ ИИПО БГПУ им. М. Акмуллы – Научный архив Лаборатории археологического источниковедения и историографии Института исторического и правового образования Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы
НАН РК – Национальная академия наук Республики Казахстан
НГУ – Новосибирский государственный университет
НИИ – научно-исследовательский институт
НИР – научно-исследовательская работа
НЛО – Новое литературное обозрение
НПФ – научно-производственная фирма
НРФ МарНИИЯЛИ – Научный рукописный фонд Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени В. М. Васильева
НТГСПА – Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия
ОАВЕС – Отдел археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа
ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГИК музей – Омский государственный историко-краеведческий музей
ОмГПУ – Омский государственный педагогический университет
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ПВЛ – Повесть временных лет
ПГГПУ – Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
ПККВГ – Памятная книжка и календарь Вятской губернии
ПМБА – полибутилметакрилат
ПСВ – Повесть о стране Вятской
РА – Российская археология
РАН – Российская академия наук
РБ – Республики Башкортостан
РГНФ – Российский государственный научный фонд
РГО – Русское географическое общество
РГПУ – Российский государственный университет имени А. И. Герцена
РМЭ – Республика Марий Эл
РС(Я) – Республика Саха (Якутия)
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований
СА – Советская археология
САИ – Свод археологических источников
СамГПУ – Самарский государственный педагогический университет
СГЭ – Сообщения Государственного Эрмитажа
ск. – скопления
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
СОКМ – Сахалинский областной краеведческий музей
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет
СПбФ ИВР РАН – Санкт-Петербургский филиал Института восточных рукописей Российской академии наук
СурГПУ (СурГПИ) – Сургутский государственный педагогический университет (институт)
СЭ – Советская этнография
ТГПУ – Томский государственный педагогический университет
ТГУ – Томский государственный университет
ТИГИ – Тувинский институт гуманитарных исследований
ТИЭ – Труды Института этнографии Академии наук Союза Советских Социалистических Республик
ТОКМ – Тюменский областной краеведческий музей имени И. Я. Словцова (в настоящее время – Тюменский музейный комплекс имени И. Я. Словцова)
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТСК – торгово-сервисный комплекс
ТувИКОПР СО РАН – Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук
УГПИ – Удмуртский государственный педагогический институт
УдГУ – Удмуртский государственный университет

УИИЯЛ УрО РАН – Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук
УНЦ РАН – Уфимский научный центр Российской академии наук
УОЛЕ – Уральское общество любителей естествознания
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук
ХМАО-Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
ЦИА РБ – Центральный исторический архив Республики Башкортостан
ЦСИ – центр системных исследований
ЭЗВ – Энциклопедия земли Вятской
ЭО – Этнографическое обозрение
ЮУрГУ – Южно-Уральский государственный университет

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЛИЧНОСТИ, АВТОРСКИЕ ПОДХОДЫ, ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ

HISTORIOGRAPHIC ASPECTS OF INTERACTION OF ARCHAEOLOGIC AND ETHNOGRAPHICAL RESEARCH: PERSONALITIES, ORIGINAL APPROACHES, EXPERIENCE AND PROBLEMS OF INTEGRATION

Бубнель Е. В., Гарустович Г. Н., Проценко А. С. Современное состояние изучения угорской проблематики на Южном Урале. Междисциплинарные аспекты научной темы 3

Гаврилов С. С. Комплексный метод изучения этнографического материала в концепции С. М. Широкогорова 6

Гарустович Г. Н. Полевые исследования С. И. Руденко в Волго-Уральском регионе 9

Глушкова Т. Н., Мухьярова А. Р. Роль С. И. Руденко в изучении текстиля и костюма раннего железного века на территории Алтая и Монголии 12

Дашковский П. К. Историко-этнографическое изучение мировоззрения тюркоязычных народов Центральной Азии в творчестве С. Г. Кляшторного 15

Демин М. А. Использование данных археологии, этнографии и топонимики в трудах А. П. Уманского по истории телеутов 18

Жук А. В. Александр Федорович Миддендорф как исследователь «первобытного состояния народов» (к 200-летию со дня рождения) 21

Киреев С. М. Новые сведения о пребывании С. И. Руденко в Горном Алтае в 1924 году 25

Кузнецов Н. А. О попытках применения этнонима «Бома» к носителям верхнеобской культуры 27

Макаров Л. Д. Соотношение письменных и археологических источников в реконструкции процессов русской колонизации бассейна Средней Вятки 30

Марсадолов Л. С. Научное влияние работ С. И. Руденко на современное изучение хронологии памятников пазырыкской культуры Алтая 34

Овчинников А. В. Этноархеология в бриколаже национальной истории (по материалам работ И. Л. Измайлова) 38

Подобед В. А., Усачук А. Н., Цимиданов В. В. Лисица в «текстах» культур степной и лесостепной Евразии эпохи бронзы 42

Татауров С. Ф. Археологические мифы о распространении ислама в Западной Сибири 45

Тихонов С. С., Корусенко М. А., Томилов Н. А. XX Международный симпозиум по этноархеологии (Россия, Иркутск, май 2013 года) 49

Тишкин А. А. Личное дело студента С. И. Руденко в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 51

Тишкин А. А., Тишкина Т. В., Семкина Т. П. Археологическая коллекция в Шелаболихинском музее Алтайского края 54

Федотова И. В. История формирования археологического фонда в Музее археологии и этнографии Омского государственного университета в 1974–1984 годах: краткий очерк 59

Филиппова О. Г. Археологические коллекции профессора С. И. Руденко в Бийском краеведческом музее имени В. В. Бианки 62

Чернова А. А. Фольклорно-этнографическое наследие А. В. Анохина как составляющая изучения культуры населения Горного Алтая 65

ЭТНОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИСТОЧНИКИ, МЕТОДИКА И ТЕОРИЯ

ETHNOARCHAEOLOGIC RESEARCH: SOURCES, METHODOLOGY AND THEORY

Ахатов А. Т. Проблемы выделения и изучения этнографо-археологических комплексов народов Южного Урала XVIII – начала XX века (по археологическим материалам Республики Башкортостан) 69

Герасимов Ю. В. Погребальные комплексы развитого средневековья – нового времени в Тарском Прииртышье: преемственность и новации 72

Дашковский П. К., Гончарова Н. С. Использование этнографических данных при реконструкции мировоззрения населения Южной и Западной Сибири эпохи палеометалла: историографический и методический аспекты 75

Ефремова Д. Ю. Сакральное пространство марийцев по археологическим и этнографическим материалам 78

Илюшин А. М. Социальные статусы индивида в пространстве жизни и смерти (по материалам раскопок погребальных памятников развитого средневековья Кузнецкой котловины) 81

Кимеев В. М. Опыт реконструкции мировоззрения на примере музеефицированных археологических памятников Притомья 84

Корусенко М. А., Полеводов А. В. Предмет, объект, источник в концепции этнографо-археологического комплекса: к проблеме теоретических разработок в рамках научного направления 89

Назаров Р. Р. Интеграция этнографии и археологии (на материалах исследований в Центральной Азии) 93

Селезнев А. Г. Археологический памятник как основа хронотопа сакрального пространства (к 120-летию со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина) 96

Серегин Н. Н. К вопросу о «комплексе власти» в погребальных памятниках раннесредневековых тюрок Центральной Азии 100

Тихонов С. С. Этнографо-археологические исследования и вопросы картографирования исторических объектов (на примере первой Омской крепости) 104

Томилов Н. А. Этноархеология как отрасль знания в омских научных сериях 108

Шубина О. А. Айнские погребения на Сахалине по данным археологии и этнографии 115

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛАЙСКОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

PROBLEMS OF RESEARCHING KOULAY HISTORICAL-CULTURAL ENTITY IN WESTERN SIBERIA

Горбунов В. В. Памятники кулайской культуры на юге Западной Сибири: вопросы датировки и периодизации 119

Гусев А. В. Изделия из рога и кости Усть-Полуя: технология изготовления (по результатам раскопок 2006–2014 годов) 122

Данченко Е. М. Кулайский феномен: в плену методологии пятидесятых 124

Кузьминых С. В. Металлообработка Урала и Западной Сибири в эпоху раннего железа (лесостепь и тайга): основные этапы развития 127

Панина С. Н. «Мир перевертышей»: полиморфические фигуры в бинарной оппозиции в иткульском и кулайском культовом литье 128

Рыбаков Д. Ю. Культурные особенности Томского Приобья в конце IV – II веке до н. э. 131

Чемякин Ю. П. О нижней дате и ареале формирования кулайской культуры 136

Чемякин Ю. П. Усть-Полуй: городище, святилище, культура 139

Шерстобитова О. С. Кулайская культура в Среднем Прииртышье: некоторые вопросы генезиса и взаимодействия 142

Ширин Ю. В. Размещение и культурная специфика южных групп памятников кулайской культурной непрерывности 145

Шишкин А. С. Некоторые элементы картины мира кулайцев (по материалам могильника Каменный Мыс) 148

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ, ДРУГИХ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

PRACTICAL RESEARCH RESULTS IN THE SPHERE OF INTEGRATION OF ARCHAEOLOGY, ETHNOGRAPHY AND OTHER HUMANITIES AND NATURAL SCIENCES

Gian Luca Bonora Bonora. Double-spiral Pin-heads in Middle Asia and Their Diffusion across the Eurasian Steppe: Some Cultural and Chronological Assessments 152

Аболина Л. А. Развал печи как один из важных источников для реконструкции жилых помещений XVII–XIX веков 152

Артемьева Н. Г. Функциональное назначение дополнительных фортификационных сооружений на чжурчжэньских долинных городищах 156

Ахметова Ш. К. Передача грехов в похоронном обряде казахов Западной Сибири 158

Бахшиев И. И., Бахшиев Р. И. Применение ГИС-технологий в изучении раннесредневековых памятников Уфимского полуострова 162

Борисов В. А. Технологические традиции в древнем гончарстве как этнокультурный признак ... 165

Васильева Т. А. Хозяйство населения Екатериновского городища (Приморский край) 169

Водясов Е. В. Железорудные месторождения в средневековом культурном ландшафте Томского Приобья 172

Галеева Н. Ф. Остяки в исторической памяти татар севера Омской области 176

Гребенникова Т. Г. Музеи под открытым небом как форма интеграции археологии, этнографии и музеологии 179

Грушин С. П., Фролов А. В., Пилипенко С. А. Берестяная погребальная конструкция монгольского времени из грунтового могильника Калистратиха 3 (Верхнее Приобье) 181

Дубова Н. А., Сатаев Р. М. Планиграфия административно-культового центра эпохи бронзы Туркменистана Гонур Депе и специфика его отдельных территорий 185

Жущиховская И. С. Корейцы Российского Приморья в 60-х годах XIX – 30-х годах XX века: керамическая и фарфоровая посуда в контексте культурных традиций 188

Зимина О. Ю., Адаев В. Н. Наземные каркасно-столбовые постройки в свете адаптационных стратегий и возможностей древнего и современного населения Западной Сибири 192

Камалеев Э. В. Историко-культурный слой города Уфы XVI–XIX веков 195

Королева М. С. Реконструкция кожаных поясов Степановского могильника..... 198

Король Г. Г., Наумова О. Б. Организация художественной металлообработки в раннесредневековой Центральной Азии: возможности реконструкции 200

Котова К. И. Предметы религиозного быта христиан в коллекциях Музея археологии и этнографии Музейного комплекса Омского государственного университета 204

Лещенко Н. В. Изделия из кости с Николаевского-I городища в Приморье..... 207

Мандрыка П. В., Сенотрусова П. О. Гребень с рисунком из ангарской тайги 210

Матвеев А. В., Самигулов Г. Х. К вопросу о юго-западных границах Сибирского ханства (данные топонимики и картографии)..... 212

Медведев В. Е. О функциональном назначении железных скобок у чжурчжэней Приамурья и некоторых вопросах шаманизма 218

Мунхбаяр Ч. Предварительные результаты исследования скального погребения Гоожуур (Монгольский Алтай)..... 223

Мягков Д. А. Охота на медведя в промысловой культуре сибирских татар 226

Никитин В. В. Женское божество в предметах быта и искусства финно-угров Поволжья (по материалам средневековых могильников) 230

Никитина Т. Б. Жертвенные комплексы выжумского марийского могильника X – начала XII века (к вопросу о связи живых и мертвых)..... 234

Новиков А. В., Гаркуша Ю. Н. Погребения собак на Войкарском городке 237

Ожередов Ю. И., Ожередова А. Ю. Гравированная «кукла» из Горного Алтая 240

Павлов Д. Н. Использование метода глубокой щелочной промывки для стабилизации и консервации музейных археологических предметов из черных металлов 246

Павлова Н. А. Текстильное производство у поволжских финнов во второй половине II тыс. н. э. (опыт комплексного исследования) 248

Папин Д. В., Степанова Н. Ф., Редников А. А. Керамический комплекс городища Пикет 252

Пикалов Д. В. Скифский храм огня у хутора Красное Знамя в свете данных этнографии и археологии 255

Пушкарев А. А., Вавулин М. В. Практическое применение фотограмметрии при составлении полевой документации археологических раскопок..... 258

Руденко К. А. Сакральное пространство на раннесредневековых поселениях Среднего Поволжья: критерии, интерпретация, хронология и топография (по археологическим материалам) 261

Сарапулов А. Н. Реконструкция средневекового пахотного орудия Пермского Предуралья 264

Сатаев Р. М., Дубова Н. А., Сатаева Л. В., Куфтерин В. В. Система жизнеобеспечения населения эпохи бронзы юга Средней Азии в сравнении с таковой средневековья и современности: междисциплинарный подход 266

Семенова В. И. Атрибуция рукоятей ножей с библейскими сюжетами (случайные находки с севера Тюменской области) 269

Сериков Ю. Б. К вопросу об одном из признаков статусных изделий в каменном и бронзовом веках Урала 273

Собольникова Т. Н. Пространственный анализ памятников археологии таежной зоны Западной Сибири (на примере территории Нижней Конды)..... 275

Сотникова С. В. Изображение фантастической птицы на зеркале истяцкого «клада» в свете индоиранских параллелей 279

Степанова Н. Ф., Рахимжанова С. Ж., Кирюшин К. Ю. Результаты предварительного изучения керамики поселения Новоильинка-III 282

Суслова С. В., Донина Л. Н. Новое в изучении ювелирного искусства казанских татар: опыт классификации технологических процессов 285

Табарев А. В., Иванова Д. А. Археолого-этнографические парки Японии: экспозиции, реконструкции, интерактивный формат 288

Таиров А. Д. Хозяйство башкир лесостепи Южного Зауралья XVIII–XIX веков как модель хозяйства лесостепного зауральского населения раннего железного века 291

Татауров Ф. С. Стекло из русских памятников Западной Сибири как статусный предмет в XVII–XVIII веках 294

Татаурова Л. В. Костяные гребни из сельских комплексов русского населения XVII–XVIII веков Омского Прииртышья 297

Тихомиров К. Н. Некоторые вопросы исследования динамики социокультурных систем археологическими методами 299

Тихомирова М. Н. Кухонная утварь из дерева и кожи у барабинских татар (обзорная характеристика) 302

Тихонов С. С. О некоторых направлениях этнографо-археологического изучения узлов на веревках, шнурах и ремешках 307

Тишкин А. А., Мамонтова О. С. Использование рентгенофлюоресцентного спектрометра при изучении марийских украшений из собрания Алтайского государственного краеведческого музея 311

Тишкин А. А., Грушин С. П., Чжан Лянжэнь. Перспективы изучения древних металлургических традиций в Центральной Азии (по материалам археологических памятников и музеев Большого Алтая) 319

Турова Н. П. Попытка интерпретации одного элемента декора на средневековых западносибирских рукоятях с орнитоморфным навершием 322

Ушницкий В. В. Родовой состав жиганских якутов 325

Федорова С. А., Степанов А. Д., Алексеев А. Н., Хуснутдинова Э. К. История заселения человеком северо-востока Евразии: молекулярно-генетические реконструкции 330

Фролов Я. В., Грушин С. П. Колчан из захорнения монгольского времени – могильника Калистратиха 3 (Верхнее Приобье) 331

Харинский А. В. Охотничье зимовье: этнографические и археологические аспекты 335

Чадамба Л. Д. Особенности образов и композиций петроглифов Тувы скифской эпохи 339

Шелепова Е. В. Особенности использования археологических памятников Алтая и Западной Монголии в XIX – начале XX века 343

Эрлих В. Р. Святилище археологического комплекса Псенафа (Адыгея) в свете ритуальных памятников меотской культуры 346

Ямсков А. Н. Этнографические материалы об отгонном скотоводстве русских крестьян Восточного Закавказья в конце XIX в. и основные проблемы реконструкции факторов и скорости перехода к подвижным формам скотоводства в древности 349

Список сокращений 352

Научное издание

Интеграция археологических и этнографических исследований

Сборник научных трудов

Редактор *И. И. Бабикова*
Технический редактор *Е. А. Балова*

Подписано в печать 22.07.2015. Формат 60 × 84/8.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ. л. 45,0. Уч.-изд. л. 47,0.
Тираж экз. Заказ Б-52.

Издательство ООО «Издательский дом “Наука”».
Омск, пр. Комарова, 15, тел./факс: +7 (3812) 700-502